БИБЛИОТЕКА ПРОЕКТА *БОРИСА АКУНИНА*

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

САЙМОН СЕБАГ МОНТЕФИОРЕ

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ И ПОТЕМКИН

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Библиотека проекта «История Российского государства» – это рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники исторической литературы, в которых отражена биография нашей страны от самых ее истоков. Саймон Себаг Монтефиоре – английский историк, член Королевского литературного общества, один из самых известных в Англии специалистов по русской истории. Творчество Монтефиоре отмечено многими наградами, а книги изданы на 48 языках и стали мировыми бестселлерами. Основанная на документальных источниках книга «Екатерина Великая и Потёмкин» номинировалась на награды «Samuel Johnson», «Duff Cooper» и «Marsh Biography Prizes», а также на премию «British Book Awards» в номинации «Лучшая историческая книга года».

- Саймон Себаг-Монтефиоре
  - ○
  - ○
  - ○ Отзывы
  - ○ Об авторе
  - ○ Пролог. Смерть в степи
  - ○ Часть первая. Потёмкин и Екатерина
    - ■
    - ■ 1. Юноша из провинции
    - ■ 2. Гвардеец и великая княгиня: переворот Екатерины
    - ■ 3. Первая встреча: дерзкий поклонник императрицы
  - ○ Часть вторая. Ближе
    - ■
    - ■ 4. Циклоп
    - ■ 5. Герой войны
    - ■ 6. На верху щастия
  - ○ Часть третья. Вместе
    - ■
    - ■ 7. Любовь
    - ■ 8. Власть
    - ■ 9. Венчание: госпожа Потёмкина
    - ■ 10. Разбитое сердце и примирение
  - ○ Часть четвертая. Страсть и партнерство
    - ■
    - ■ 11. Ее фавориты

        - 12. Его племянницы
        - 13. Герцогини, дипломаты и шарлатаны
    - Часть пятая. Колосс
        -
        - 14. Византий
        - 15. Император Священной Римской империи
        - 16. Три свадьбы и корона
        - 17. Крым, потёмкинский рай
    - Часть шестая. Соправитель
        -
        - 18. Император южных земель
        - 19. Британские негры и чеченские боевики
        - 20. Англомания: Бентамы в России и император цветущих парков
        - 21. Белый негр
        - 22. Один день из жизни Григория Александровича
    - Часть седьмая. Апогей
        -
        - 23. Волшебный театр
        - 24. Клеопатра
        - 25. Амазонки
        - 26. Еврейские казаки и американские адмиралы: война по-потёмкински
        - 27. Смута: штурм Очакова
        - 28. «Успехи мои принадлежат прямо тебе»
        - 29. «Утончённый и бессердечный»: Сарданапал
        - 30. Кровавое море: Измаил
    - Часть восьмая. Последний танец
        -
        - 31. Прекрасная гречанка
        - 32. Карнавал и кризис
        - 33. Последний путь
    - Эпилог. Жизнь после смерти
    - От автора
    - Список персонажей
    - Благодарности
    - Вклейка
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5

- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49

- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93

- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137

- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167

Саймон Себаг-Монтефиоре Екатерина Великая и Потёмкин: имперская история любви

SIMON SEBAG MONTEFIORE
CATHERINE THE GREAT AND POTEMKIN: THE IMPERIAL LOVE AFFAIR

© Simon Sebag Montefi ore, 2019
© А. Володина. Перевод, 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019

* * *

Посвящается Санте

Отзывы

Шорт-лист на премию Сэмюэля Джонсона в жанре «Non-Fiction», литературная премия Даффа Купера

«Чудесная история, и Саймон Себаг Монтефиоре рассказывает её энергично и с удовольствием. Он с очевидной теплотой относится к чрезмерно раздутой личности Потёмкина и наслаждается тем, как вились вокруг того искатели приключений. Он твёрдо разбирается в политике русского двора и дипломатическом контексте эпохи, а это непросто, ведь действие перемещается между Санкт-Петербургом, Веной, Берлином и Стамбулом. Очень хорошо у него описаны взаимоотношения Потёмкина и Екатерины. Он легко и уверенно, эмоционально и психологически достоверно объясняет, как функционировал этот необычный союз».

Адам Замойский, The Times

«Если вам нужно качественное, колоритное историческое чтение, то “Екатерина великая и Потемкин” – это именно оно!».

Антония Фрэзер, Daily Mail, Книги года

«“Потёмкин” открыл целый мир… для меня».

Ален де Боттон, Sunday Telegraph, Книги года

«Великолепная историческая книга!»

Джереми Паксман, программа «Начало недели» на BBC Radio Four

«Эта хорошо обоснованная и претендующая на многое биография воссоздаёт с триумфальным успехом жизнь исключительного и неуравновешенного человека… Кроме того, Себаг Монтефиоре предлагает весьма качественный обзор той эпохи».

Энтони Бивор, Sunday Times

«Эта исчерпывающая и прекрасно написанная биография… Монтефиоре живописно выводит свою массовку завистливых заговорщиков, аристократок-любовниц, денди, дипломатов и искателей приключений».

Кристофер Хадсон, Daily Mail

«С блестящим мастерством детализации и достаточным литературном талантом, чтобы увлечь неспециалиста, Саймон Себаг Монтефиоре выявляет необычную смесь дарований, необходимых для успеха при беспокойном и распутном русском дворе».

Economist

«Эта книга – заметное достижение. Автор провёл широкое исследование и достиг образцового владения предметом. Его повествование, живое и мелодраматичное, своим высоким классом не уступает самому предмету. Он идеально обрисовывает личность Потёмкина… Потёмкин в его работе изображён тем гигантом, которым он, несомненно, и был, и эта биография обеспечит ему новых почитателей и обновлённое место в истории».

Саймон Хеффер, Country Life

«Эта великолепно написанная биография. Ясно, что Себага Монтефиоре восхищает сам этот человек – его личность, достижения, длившиеся до самой смерти отношения с его государыней и любовницей – и это восхищение сквозит на каждой странице книги. Хотя в ней более 500 страниц, она могла бы быть и вдвое длиннее, так приятно её читать. Очевидно, что писать её было не менее приятно».

Энн Эпплбаум, Sunday Telegraph

«Он с большим терпением и огромным энтузиазмом прочёсывал архивы, чтобы дать нам подробное описание титанической, но до сих пор почти забытой фигуры. Язык книги лёгок, симпатии очевидны».

Найджел Джонс, Sunday Times

«Одна из величайших историй любви в новой истории… Характер Потёмкина прекрасно отображен в блистательной биографии».

Петронелла Уайатт, Independent

«Этой объёмистой биографией он заявил о себе как об историке, которого стоит воспринимать всерьёз».

Виктор Себестьен, Evening Standard

«Эта великолепная биография, такая же широкая, блистательная и экзотичная, как и её герой, впервые на английском языке предлагает основанную на детальном изучении, точную и увлекательную историю исключительного человека».

Николай Толстой, Literary Review

«Изумительно… Страстный и убеждённый ревизионизм Монтефиоре, защищающего своего героя, – это только одно из многочисленных достоинств книги. Эта тонкая научная работа основана на глубоком изучении российских архивов… Это великолепная биография, и трудно представить, чтобы она была когда-нибудь превзойдена».

Фрэнк Маклинн, Financial Times

«Пьяняще… Описывая карьеру Потёмкина, Себаг Монтефиоре восхитительно схватывает её масштаб и амбициозность».

Стелла Тильярд, Mail on Sunday

«Эта захватывающая биография, основанная на множестве источников… хорошо показывает, почему романисты часто уступают соблазну перейти от вымысла к биографии: в последних иногда неправдоподобная реальность многократно превосходит всё, что можно правдоподобно выдумать».

Питер Нейсмит, Times Literary Supplement

«Это чудесная книга так же величественна, как и её герой. Два столетия этого подобного “ревущему

великану" человека либо игнорировали, либо неверно оценивали. Теперь Саймон Себаг Монтефиоре написал книгу, передающую переменчивый дух этого величайшего авантюриста России».

Аманда Форман

«Образец того, как сделать увлекательное чтиво из самого глубокого исследования».

New Statesman

«Безупречно изученная, отлично написанная и красиво представленная, она в неослабном темпе проводит нас сквозь красочную жизнь одного из самых легендарных представителей русского народа – героя войн, изощрённого политика, провидца и любовника Екатерины Великой».

Саймон Хеффер, Daily Mail

«Это чрезвычайно русская история любви, рассказанная с живостью и знанием дела, достойными её неусидчивого и неотразимого героя».

Хайвел Уильямс, The Oldie

«Эта неотразимая биография – об истории, которая делалась сверху. Чтобы создать этот поразительный, захватывающий шедевр, первую биографию Потёмкина на каком-либо языке с 1891 года, Монтефиоре посвятил много часов изучению архивов Москвы и Петербурга, а также проехал тысячи миль по бывшей Российской империи…»

Филип Мансел, Spectator

«Себаг Монтефиоре читается без труда и с интересом. Именно так нужно описывать историю».

Брайан Мортон, Sunday Herald

«Эта книга… написанная с огромной энергией… основана на множестве источников… Повествование Монтефиоре вдохнуло в них новую жизнь. Монтефиоре заставляет читателя ценить гениальность и прощать странности».

Профессор Линдси Хьюз, журнал Rossica

Об авторе

Саймон Себаг Монтефиоре – писатель, лауреат престижных премий. Его книги стали бестселлерами и были переведены на 48 языков.

Книга «Екатерина Великая и Потемкин» попала в число финалистов премии Сэмюэля Джонсона; произведение «Сталин: двор Красного монарха» победило в номинации «Книга по истории» в премии «Историческая книга года» Британской книжной премии; книга «Молодой Сталин» получила премию «Costa» (в номинации «Биография»), приз за лучшую биографию от газеты «Лос-Анджелес Таймс», а также Гран-при за политическую биографию; «Иерусалим. Биография» признан книгой года Еврейским книжным советом и Национальной библиотекой Китая; «Романовы. 1613–1918» принесли автору премию Lupicaia del Terriccio Book Prize.

Саймон Себаг Монтефиоре написал так называемую «московскую трилогию» – романы «Сашенька», «Красное небо в полдень» и «Однажды ночью зимой» (признана книгой года в номинации «Политический роман»).

Совместно с Сантой Монтефиоре пишет книги в серии «Королевские кролики Лондона». Многие произведения Саймона Себага Монтефиоре были экранизированы.

Пролог. Смерть в степи

Посвящается Санте

Князь князей.

Иеремия Бентам о князе Потёмкине

Чей одр – земля; кров – воздух синь;
Чертоги – вкруг пустынны виды?
Не ты ли счастья, славы сын,
Великолепный князь Тавриды?
Не ты ли с высоты честей
Незапно пал среди степей?

Гавриил Державин. «Водопад»

Около полудня 5 октября 1791 года медленно двигавшаяся по пустынной холмистой Бессарабской степи вереница экипажей, сопровождаемая ливрейными лакеями и отрядом казаков в форме Черноморского казачьего войска, неожиданно остановилась на проселочной дороге. Странное место для привала выбрали путники: рядом не было ни трактира, ни даже крестьянской лачуги. Первой встала большая спальная карета, которую тянула восьмерка лошадей. За ней задержались ехавшие следом четыре кареты. Лакеи и спешившиеся конники из сопровождения подбежали узнать, что стряслось. Придворные распахнули дверцы своих карет. Услышав отчаяние в голосе своего господина, они поспешили к его экипажу.

«Довольно, – вымолвил князь Потёмкин. – Довольно! Ехать дальше бессмысленно». Три встревоженных доктора и худенькая графиня с каштановыми волосами, находившиеся с ним в карете, склонились над князем. Он был покрыт испариной и стонал. «Вынесите меня из экипажа…» – попросил Потёмкин. Доктора приказали казакам выполнить желание грузного пациента. Началась суета, как всегда, когда он командовал, а он долгое

время распоряжался почти всем в России. Казаки и генералы собрались вокруг открытой дверцы кареты и медленно и осторожно стали вытаскивать поверженного гиганта.

За этим процессом с любопытством наблюдали двое пастухов-молдован, гнавших скот по степи и остановившихся посмотреть, что происходит.

Сначала из кареты показались босые ноги, затем сам больной в наполовину расстегнутом халате. Этот халат был знаменит – все знали, что Потёмкин часто встречал царственных особ и послов босиком, в небрежно накинутом халате. Несмотря на страшные муки, больной сохранил свою невероятную славянскую красоту и густую шевелюру, некогда считавшуюся лучшей во всей империи. За чувственный греческий профиль в молодости его прозвали Алкивиадом [1][1]. Но теперь прекрасные седые волосы были мокры от обильного пота и прилипли к пылающему лбу. Это был статный человек-великан. Всё в нем казалось чрезмерным, колоссальным, первозданным, но из-за пылавших в груди желаний и безрассудного потакания всем своим прихотям тело Потёмкина оплыло, а лицо постарело. У князя, как у Циклопа, был только один глаз, второй, поврежденный, ничего не видел, и поэтому князь походил на пирата. Грудь его была широкой и волосатой. Некогда сильный, как стихия, человек, этот величественный зверь, превратился в изнемогающую гору плоти.

Графиня вышла из кареты следом, она держала князя за руку, вытирала его горячий лоб. Слезы градом катились по ее курносому скуластому лицу с чувственными губами.

Князь встал босиком на траву, слегка пошатываясь и опираясь на своих казаков, а потом медленно опустился на землю.

Человек, который в изнеможении лежал в этой дикой степи, был не кто иной, как светлейший князь Священной Римской империи Григорий Александрович Потёмкин, предполагаемый муж российской императрицы Екатерины Великой, любовь всей ее жизни, фаворит, соправитель ее империи, разделявший ее мечты. Он был князем Таврическим, фельдмаршалом, главнокомандующим Российской армии, великим гетманом Екатеринославского и Черноморского казачьих войск, главнокомандующим Черноморским и Каспийским флотом, президентом Государственной военной коллегии, наместником южных губерний; он мог бы стать правителем Польши или какого-то другого собственноручно созданного княжества. Светлейший, как его называли в Российской империи, правил вместе с Екатериной Второй почти двадцать лет. Другие определения князь отрицал, и историки до сих пор не знают подробностей. Екатерина, переживавшая кризис, заметила

остроумного молодого человека и призвала его к себе, сделав своим любовником. Когда любовная история закончилась, он остался ее другом, партнером, министром и стал соправителем. Она всегда боялась, уважала и любила его, но их отношения были непростыми. Она звала его «колоссом», «тигром», «кумиром», «героем», «величайшим оригиналом» [2]. Он был ее «гением» [3], во много раз увеличившим империю, создавшим Черноморский флот, завоевавшим Крым, добившимся победы во второй Русско-турецкой войне, основавшим великие города – Севастополь и Одессу. Со времен Петра Первого в России не было второго такого успешного государственного деятеля – как в мечтах, так и в делах. Светлейший был сам себе хозяин и диктовал свои правила – иногда руководствуясь вдохновением и будучи чересчур идеалистичным – и строил свой собственный мир. Его власть зависела от Екатерины, но он мыслил и вел себя как один из суверенных правителей Европы. Потёмкин очаровывал европейских чиновников и правителей своими титаническими достижениями, энциклопедическими знаниями и тонким вкусом, в то же время шокируя их своим высокомерием, распутством, леностью и любовью к роскоши. Враги ненавидели его за могущество и непредсказуемость, но даже они признавали его недюжинный ум и творческий подход.

Путешественники находились на дороге между Яссами (теперь в Румынии) и Кишиневом (теперь в Республике Молдова). Эта местность, раньше принадлежавшая султану Османской империи, и была завоевана Потёмкиным. Даже сегодня туда нелегко добраться, но вряд ли там что-то сильно изменилось за прошедшие двести лет [4].

Справа зеленела долина, в отдалении виднелись заросшие кустами курганы, поросшие высокой степной травой, сегодня почти исчезнувшей. Слева в туман убегали холмы, покрытые лесом. Дорога, на которой остановилась процессия, уходила вниз между густыми кустарниками и терялась вдалеке. Потёмкин, любивший ездить в экипаже ночью под дождем [5], попросил остановиться в этом диком и живописном месте [6].

Его свита была не менее примечательной. Сочетание экзотики и цивилизованности в людях, сопровождавших в тот день Потёмкина, отражало его собственную противоречивость. «Князь Потёмкин – это символ необъятной Российской империи, – говорил хорошо знавший его принц де Линь. – В нем то же сочетание диких бесплодных степей и золотоносных жил» [7]. Придворные – ведь он был почти государем – стояли посреди степи, Екатерина в шутку называла его окружение «птичником» – не то царским, не то скотным двором [8].

Многие из спутников князя уже всхлипывали. На графине, единственной женщине, был русский сарафан с длинными рукавами, который так любила ее подруга-императрица. Правда, чулки и туфли на ней были французскими, сшитыми по последней моде. Их выписал из Парижа сам Светлейший. Она надела в поездку бесценные бриллианты из обширной коллекции Потёмкина. В свите находились генералы и графы. Одетые во фраки и военную форму, с орденскими лентами, медалями, в треуголках – они ничем не выделялись бы в британской конной гвардии или при любом европейском дворе восемнадцатого века. Были там и казацкие атаманы, восточные князьки, молдавские бояре, османские паши, переметнувшиеся на сторону русских, слуги, чиновники, простые солдаты, а также церковные иерархи, раввины, факиры и муллы – компания этих людей была Потёмкину особенно приятна. Больше всего его успокаивали разговоры о византийской теологии, обычаях восточных племен, например башкир, палладианской архитектуре, голландских живописцах, итальянской музыке, английских садах…

Епископов можно было узнать по развевающимся одеждам православных иерархов, раввинов – по завиткам их пейсов, османские отступники были в чалмах, шароварах и шлепанцах Блистательной Порты. Молдаване – православные подданные Османской империи – были одеты в расшитые драгоценностями кафтаны и высокие шляпы, подбитые мехом и украшенные рубинами; простые русские солдаты носили «потёмкинские» шапки, куртки, мягкие сапоги и штаны из оленьей кожи – форму, которую для их удобства разработал сам князь. И, наконец, казаки, в основном запорожцы, с огромными усами и бритыми головами с прядью волос на макушке, которая на затылке превращалась в конский хвост, как у персонажей «Последнего из могикан». Они размахивали короткими кривыми кинжалами, покрытыми резьбой пистолетами и особыми длинными копьями. Мужчины печально смотрели на своего господина, потому что Потёмкин обожал казаков.

Тридцатисемилетняя графиня Александра Браницкая – великолепная и высокомерная женщина – была племянницей Потёмкина. Она давно приобрела собственное политическое значение. Любовные похождения Потёмкина, его связи с императрицей и несчетным количеством знатных женщин и куртизанок приводили в изумление даже французских придворных, помнивших Версаль при Людовике Пятнадцатом. Правда ли, что все пять прекрасных племянниц были любовницами князя? Любил ли он графиню Браницкую больше, чем остальных?

Графиня приказала расстелить на траве роскошный персидский ковер, на нем и лежал сейчас князь. «Я хочу умереть в поле», – сказал он. Последние пятнадцать лет он бывал в таких отдаленных и диких уголках России, куда в восемнадцатом веке мало кто заезжал. Гавриил Державин писал в своей оде «Водопад», посвященной Потёмкину: «Ветр медлен течь его стезями». Как и подобало человеку, находившемуся в постоянном движении и почти не жившему в своих бесчисленных дворцах, Светлейший не хотел умирать в экипаже [9]. Он предпочел уйти в иной мир в степи.

Потёмкин попросил казаков возвести для него временную палатку при помощи своих копий, покрыв их одеялами и мехами. Это было в духе Потёмкина, как будто простота небольшого казацкого лагеря могла избавить его от страданий.

Обеспокоенные доктора, два француза и один русский, стояли рядом с распростертым князем и заботливой графиней, но они мало что могли сделать. Екатерина и Потёмкин считали, что доктора лучше проявляют себя за карточным столом, чем у постели больного. Императрица шутила, что ее шотландский доктор прикончил большинство пациентов своими любимыми средствами от всех болезней – рвотными и чередой кровопусканий. Доктора боялись, что их обвинят в смерти князя, так как обвинения в отравлении при русском дворе были не редкостью. К тому же экстравагантный Потёмкин не желал слушать рекомендации докторов – он распахивал настежь окна, обливал голову одеколоном, съедал за один раз доставленного из Гамбурга соленого гуся, запивал еду литрами вина, а теперь еще и пустился в мучительное путешествие по степи.

Роскошный шелковый, подбитый мехом халат, который был на Потёмкине, несколько дней назад прислала сама императрица из далекого Санкт-Петербурга. Она советовалась с графом, по-дружески делилась с ним сплетнями и решала судьбы империи. Она уничтожила бóльшую часть его писем, но, к счастью для нас, он романтично сохранил многие из ее посланий в кармане, расположенном у самого сердца.

Их двадцатилетняя переписка рассказывает историю удивительно успешного партнерства двух политиков и любовников, поражает современным характером их отношений, трогательных в их простой близости и впечатляющих с точки зрения политического мастерства. Их любовная связь и политический союз несравнимы даже с историями Антония и Клеопатры, Людовика XVI и Марии-Антуанетты, Наполеона и Жозефины, потому что они примечательны не только достижениями, но и романтикой и трогают как человечностью,

так и мощью. Отношения Потёмкина с Екатериной, как и вся его жизнь, полны загадок: правда ли, что они тайно поженились? Зачали ли они ребенка? Действительно ли они вместе правили? На самом деле ли они договорились оставаться партнерами, невзирая на череду новых любовных увлечений? Поставлял ли Потёмкин императрице юных фаворитов и правда ли, что она помогла ему соблазнить племянниц и превратить императорский дворец в гарем?

Независимо от того, усиливалась ли его болезнь или утихала, в путешествиях князь всегда получал заботливые записки от Екатерины. Она посылала ему халаты и шубы, бранила за переедание или за то, что он не принимал лекарства, умоляла отдыхать и восстанавливать силы, просила Бога не забирать ее возлюбленного. Потёмкин плакал, читая ее послания.

В этот самый миг курьеры мчались по России в двух разных направлениях, меняя на императорских почтовых станциях измученных лошадей. Один курьер вез князю из Санкт-Петербурга очередное письмо Екатерины, а другой из Молдавии письмо от него к ней. Так продолжалось уже долго – и оба всегда с нетерпением ждали новостей друг о друге. Но теперь письма становились все грустнее.

«Друг мой сердечный Князь Григорий Александрович, – писала она третьего октября. – Письмы твои от 25 и 27 я сегодня чрез несколько часов получила и признаюсь, что они крайне меня безпокоят, хотя вижу, что последние три строки твои немного получе написаны. И доктора твои уверяют, что тебе полутче. Бога молю, да возвратит тебе скорее здоровье». Она не беспокоилась, когда писала эти слова, потому что в то время письма шли с юга до столицы десять дней, а если очень спешить, то семь [10]. За десять дней до того казалось, что Потёмкину стало лучше, потому Екатерина и была спокойна. Но несколькими днями раньше, тридцатого сентября, до того, как здоровье князя улучшилось, ее письма были очень взволнованными. «Всекрайне меня безпокоит твоя болезнь, – писала она. – Христа ради, ежели нужно, прийми, что тебе облегчение, по рассуждению докторов, дать может. Бога прошу, да возвратит тебе скорее силу и здравье. Прощай, мой друг […] посылаю шубенку» [11]. Это были лишь шум и ярость – шуба была отправлена раньше, но ни одно из этих писем уже не застало Потёмкина.

Их разделяли две тысячи верст, и посыльные наверняка встретились по пути. Екатерина не была бы так оптимистична, если бы успела прочесть письмо Потёмкина, написанное третьего октября, за день до его отъезда. «Матушка Всемилостивейшая Государыня, – продиктовал он своему секретарю. – Нет сил более

переносить мои мучения. Одно спасение остается оставить сей город, и я велел себя везти в Николаев. Не знаю, что будет со мною. Вернейший и благодарнейший подданный». Письмо написал секретарь, но внизу страницы Потёмкин нацарапал слабой рукой: «Одно спасение уехать» [12]. Письмо осталось неподписанным.

Очередные письма Екатерины Потёмкину накануне привез его самый быстрый курьер бригадир Бауэр – преданный адъютант, которого он часто посылал в Париж за шелковыми чулками, в Астрахань за стерлядью, в Петербург за устрицами, в Москву за танцовщицей или шахматистом, в Милан за нотами, виртуозным скрипачом или духами. Бауэр путешествовал по делам Потёмкина так часто и так далеко, что сочинил себе шуточную эпитафию: «Cy git Bauer sous ce rocher, Fouette, cocher!»[2] [13]

Сгрудившиеся вокруг Потёмкина чиновники и придворные наверняка размышляли о том, какие последствия происходящее будет иметь для Европы, их императрицы, для незавершенной войны с турками и вероятных действий по отношению к революции во Франции и дерзкой Польше. Армии и флот под руководством Потёмкина завоевали земли Османской империи, расположенные рядом с Черным морем на месте нынешней Румынии: теперь великий визирь султана надеялся заключить с ним мир. Все европейские дворы настороженно следили за болезнью Потёмкина: в Лондоне – пропитанный портвейном молодой Первый лорд Казначейства Уильям Питт, не сумевший остановить войну, которую вел Потёмкин, и венский канцлер – старый ипохондрик князь Венцель Кауниц.

Его планы могли перекроить карту континента. Потёмкин жонглировал коронами, как клоун в цирке. Собирался ли этот непостоянный провидец сделать себя королем? Или у него было больше власти в том положении, в котором он находился – при императрице всея Руси? А если бы он решил короноваться, то стал бы королем Дакии, в теперешней Румынии, или королем Польши, где он уже владел обширными владениями? Сохранил бы он целостность Польши или разделил ее? Даже когда он лежал в степи, польские аристократы тайно собирались и ждали его загадочных приказов.

Ответы на все вопросы были связаны с исходом этого отчаянного бегства из охваченных лихорадкой Ясс в новый город Николаев, находившийся вдалеке от побережья Черного моря в глубине страны – именно туда больной просил перевезти его. Николаев стал его последним городом. Потёмкин основал много поселений, как и Петр I, на которого он хотел походить. Потёмкин тщательно планировал каждый город, относясь к нему,

как к дорогой его сердцу любовнице или к ценному произведению искусства. Николаев, расположенный на прохладных берегах реки Буг (сейчас это территория Украины), стал судоходной и военной базой. Там Потёмкин построил себе у реки дворец в молдавско-турецком стиле, – его овевал постоянный бриз, который мог бы остудить его жар [14]. Такое путешествие было слишком длинным для умирающего человека.

Основная часть каравана выехала на день раньше. Отряд провел ночь в придорожной деревне и тронулся в путь в восемь утра. Через пять верст Потёмкину стало так нехорошо, что его перенесли в спальный экипаж. Там он еще мог сидеть [15]. Проехав еще пять верст, отряд остановился [16].

Графиня держала голову умирающего у себя на коленях. Она по крайней мере находилась рядом с ним – двумя его ближайшими друзьями были женщины. Одной из них была его любимая племянница, второй, разумеется, сама императрица, с волнением ожидавшая новостей за сотни миль от князя. Посреди степи Потёмкин бился в судорогах, трясся, покрывался испариной и стонал. «Я горю, – сказал он. – Я весь в огне». Графиня Браницкая, которую Потёмкин и Екатерина называли Сашенькой, умоляла его успокоиться, но «он отвечал, что свет померк в его глазах, он ничего не видел и мог лишь различать голоса». Слепота означала, что у князя, как это часто бывает с умирающими, падало давление. Его могучий организм боролся с малярийным жаром, с вероятным отказом печени и воспалением легких, но был ослаблен многими годами напряженной работы, бесконечных путешествий, нервного напряжения и разнузданного гедонизма и все-таки сдался. Князь спросил врачей: «Чем вы можете помочь мне теперь?» Доктор Сановский отвечал, что теперь ему стоит уповать только на Господа. Он протянул Потёмкину, которому не чужды были и злой скептицизм французского Просвещения, и суеверное благочестие российского крестьянства, дорожную икону. Тому хватило сил взять ее и поцеловать.

Старый казак, наблюдавший за сценой, сказал, что Потёмкин отходит, выказав то почтение к смерти, которое характерно для людей, живущих близко к природе. Потёмкин отнял руки от иконы. Браницкая взяла их в свои. Потом она обняла его [17].

В этот величественный момент он, конечно, подумал о своей возлюбленной Екатерине и пробормотал: «Прости меня, милостивая матушка-государыня…» [18]. С этими словами Потёмкин умер [19].

Ему было пятьдесят два года.

Окружающие замерли, стоя вокруг тела в той возвышенной

тишине, которая всегда наступает после смерти великого человека. Графиня Браницкая осторожно положила его голову на подушку, подняла руки к лицу и упала в глубокий обморок. Некоторые громко всхлипывали, другие опустились на колени, чтобы помолиться, и поднимали руки к небесам. Люди обнимались и утешали друг друга, доктора не могли оторвать глаз от пациента, которого им не удалось спасти, а некоторые просто смотрели на лицо князя с единственным открытым глазом. Рядом с покойным сидели группки молдавских бояр и купцов, наблюдая, как казак пытается усмирить вставшую на дыбы лошадь, которая, вероятно, учуяла, что «Полсвета потряслось за ней / Незапной смертию твоей!» [20]. Солдаты и казаки, ветераны потёмкинских войн, всхлипывали. Они не успели достроить навес для своего господина.

Так умер один из самых знаменитых государственных деятелей Европы. Современники хоть и отмечали его неоднозначность и эксцентричность, но высоко его ценили. Все, кто посещал Россию, хотели встретиться с этим явлением природы. Он всегда был в центре внимания, просто из-за силы своей личности: «Когда его не было поблизости, говорили только о нем, в его присутствии все смотрели только на него» [21]. Те, кто с ним встречался, никогда не оставались разочарованы. Иеремия Бентам, английский философ, гостивший в его имениях, назвал его «князем князей» [22].

Принц де Линь, знавший всех титанов своего времени – от Фридриха Великого до Наполеона, описал Потёмкина так: «Это самый удивительный человек, которого мне доводилось встретить ‹…› скучающий среди удовольствий; несчастный от собственной удачливости; неумеренный во всем, легко разочаровывающийся, часто мрачный, непостоянный, глубокий философ, способный министр, искусный политик – и вдруг десятилетний ребенок ‹…› В чем заключался секрет его волшебства? Гений, гений и еще раз гений; природная одаренность, отличная память, возвышенный строй души; насмешливость без стремления оскорбить, артистичность без наигранности ‹…› способность завоевывать в лучшие моменты любое сердце, бездна щедрости ‹…› тонкий вкус – и глубочайшее знание человеческой души» [23]. Граф Сегюр, знавший Наполеона и Джорджа Вашингтона, говорил, что для него «из всех, с кем он встречался, всего любопытнее и важнее было знакомство со знаменитым и могущественным князем Потёмкиным. Он представлял собою самую своеобразную личность, потому что в нем непостижимо смешаны были величие и мелочность, лень и деятельность, честолюбие и беззаботность. Везде этот человек был бы замечен своею странностью».

Американский путешественник Льюис Литтлпейдж писал, что «удивительный» светлейший князь обладал в России большей властью, чем у себя дома кардинал Уолси, граф-герцог Оливарес и кардинал Ришелье [24].

Александр Пушкин, родившийся через восемь лет после смерти князя в Бессарабской степи, был зачарован Потёмкиным, расспрашивал его племянниц о нем и записывал их рассказы: имя князя, говорил он, «будет отмечено рукой истории». Эти двое напоминали друг друга своими яркими и явно русскими характерами [25]. Через двадцать лет лорд Байрон еще писал о человеке, которого он назвал «испорченным ребенком ночи» [26].

По русской традиции глаза умершего нужно закрыть и положить на них монеты. На глаза великих принято класть монеты золотые. Потёмкин был «богаче некоторых королей», но, как и многие очень состоятельные люди, никогда не носил с собой денег. Ни у кого из его приближенных денег сейчас тоже не было. Можно представить себе неловкий момент, когда все начали шарить по карманам, похлопывать себя по верхней одежде, доставать кошельки – и не нашли ничего. Кто-то кликнул солдат.

Седой казак, наблюдавший за смертью Потёмкина, достал пять копеек. Пришлось закрыть глаза князя мелкими медными монетками. Несоответствие обстоятельств смерти и личности усопшего немедленно превратилось в легенду. Возможно, тот же старик-казак пробормотал, отойдя в сторону: «Жил на золоте, умер на траве».

Это меткое замечание вошло в обиход княгинь и простых солдат: через несколько лет художница Элизабет Виже-Лебрен расспрашивала об этом событии одну сварливую петербургскую княгиню. «Увы, моя дорогая, великий князь, у которого было столько бриллиантов и золота, умер на траве», – ответила вдовствующая княгиня таким тоном, будто Потёмкин осмелился умереть на ее собственном газоне [27]. Во время Наполеоновских войн русская армия маршировала, распевая песню о том, как Потёмкин умер в степи, лежа на плаще [28]. Поэт Гавриил Державин увидел поэзию в том, что этот безграничный человек умер на лоне природы, «как на распутьи мгла» [29]. Два наблюдателя в разных концах империи – граф Федор Ростопчин (известный как человек, который в 1812-м сжег Москву) в близлежащих Яссах и шведский посол, граф Курт Стедингк в далеком Петербурге [30] – на известие о смерти светлейшего ответили одинаково: «Его смерть была так же необычна, как его жизнь» [31].

Нужно было немедленно известить императрицу. Ей могла бы

сообщить Сашенька Браницкая, которая всегда отчитывалась Екатерине о здоровье князя, но она была вне себя от горя. Поэтому к преданному и неизменному секретарю Потёмкина, Василию Попову, отправили адъютанта.

Оставался один, почти ритуальный момент. Когда охваченный грустью отряд двинулся в сторону Ясс, кто-то, вероятно, захотел отметить то место, где скончался князь, чтобы потом поставить здесь памятник в его честь. Вокруг не было камней. Ветер бы унес ветки. И тогда атаман Павел Головатый, знавший Потёмкина тридцать лет, забрал у одного из своих конников запорожское копье. Перед тем как присоединиться к арьергарду процессии, он подъехал к тому месту, где скончался князь [32], и вонзил копье в землю. Казачье копье, отмечающее место смерти Потёмкина, было так же символично, как стрела на могиле Робин Гуда.

Получив новость, Попов[3] написал императрице: «Нас постиг страшный удар! Всемилостивейшая государыня, светлейшего князя Григория Александровича нет больше среди живых» [33]. В Петербург был отправлен доверенный молодой офицер с приказом не останавливаться в пути, пока не доставит ужасную новость.

Через семь дней, в шесть часов вечера 12 октября [34] одетый в черное и покрытый дорожной пылью курьер доставил письмо Попова в Зимний дворец. Императрица упала в обморок. Придворные решили, что ее хватил удар. Позвали докторов, чтобы сделать кровопускание. «Слезы и отчаяние, – записал личный секретарь Екатерины Александр Храповицкий. – В 8 часов пустили кровь, в 10 легли в постель» [35]. Императрица была так плоха, что к ней не допускали даже внуков. «Она потеряла не любовника, – записал Массон, шведский учитель математики великих князей, хорошо понимавший смысл отношений императрицы и Потёмкина. – Это был друг» [36]. Екатерина не могла спать. В два часа ночи она поднялась, чтобы написать своему преданному и хлопотливому другу, философу Фридриху Мельхиору Гримму[4]: «Ужасный удар обрушился на мою голову. В шесть часов пополудни курьер привез мне известие, что мой ученик, мой друг, почти мой кумир, князь Потёмкин Таврический умер в Молдавии после болезни, тянувшейся почти месяц. Вы не можете представить себе, как я потрясена…» [37]

В каком-то смысле императрица так и не оправилась. Золотой век ее правления умер вместе с князем. Но умерла и его репутация: в ту трагическую бессонную ночь Екатерина в Зимнем дворце при свете свечей писала Гримму, что завистливые «болтуны» всегда очерняли достижения Потёмкина. Но если враги

не могли победить его при жизни, они добились этого после смерти. Не успело тело остыть, как его диковинный характер уже оброс грязными слухами, которые на две сотни лет заслонили достижения князя.

Екатерина была бы неприятно удивлена, узнав, что имя ее «кумира» и «государственного деятеля» сегодня известно как синоним обмана и как название фильма. Он запомнился «потёмкинскими деревнями», хотя строил города, и благодаря фильму «Броненосец Потёмкин», рассказывающему историю мятежных матросов, участвовавших в революции, которая через много лет после его смерти разрушила любимую им Россию. Легенда о Потёмкине была создана врагами российской нации, завистливыми придворными и непостоянным преемником Екатерины, Павлом I, мстившим за себя и осквернившим не только репутацию, но даже могилу любовника своей матери. В XIX веке Романовы, руководившие строгой милитаризированной бюрократией, обладавшей викторианской чопорностью, пользовались славой Екатерины, но стыдились ее частной жизни и особенно той роли, которую в ней играл «полуцарь» Потёмкин [38]. Последовавшие за ними советские лидеры разделяли их моральные принципы и усугубляли их ложь (хотя недавно стало известно, что Сталин, прилежный ученик истории, восхищался Потёмкиным)[5]. Даже признанные западные историки до сих пор расценивают его скорее как клоуна-дебошира и сексуального гиганта, а не как исторически значимого политика[6]. Всё это привело к тому, что князь не получил подобающего ему места в истории. Екатерина Великая, не знавшая о клеветнических настроениях будущего, оплакивала своего друга, любовника, солдата, политика и, вероятно, мужа все оставшиеся годы своей жизни.

Двенадцатого января 1792 года Василий Попов, доверенный слуга князя, вернулся в Санкт-Петербург с особым поручением. Он привез самое ценное сокровище Потёмкина – тайные письма Екатерины о любви и государственной политике. Они все еще были в связках. Некоторые из них были (и остались) покрыты слезами умирающего Потёмкина, перечитывавшего их снова и снова и знавшего, что он больше никогда не увидит Екатерину.

Императрица приняла Попова. Он передал ей письма. Она отпустила всех, кроме Попова, и закрыла дверь. Оба заплакали [39]. Прошло почти тридцать лет с тех пор, как Екатерина увидела Потёмкина в тот самый день, когда она захватила власть и стала императрицей всея Руси.

Часть первая. Потёмкин и Екатерина

1739–1762

1. Юноша из провинции

Лучше я хочу услышать, чтобы ты был убит, нежели бы себя осрамил.

(Напутствие смоленского дворянина своему сыну, отправляющемуся в армию)

Л.Н. Энгельгардт. Записки

Говорят, в юности Потёмкин похвалялся друзьям: «Когда я вырасту, стану государственным деятелем или архиепископом». Вероятно, гимназические товарищи насмехались над его мечтами, ведь он родился в уважаемой, но мелкопоместной провинциальной дворянской семье и потому не был наделён ни именем, ни состоянием. Крёстный, который относился к нему с большим пониманием, порой ворчал, что мальчик либо «станет великим человеком, либо не снесёт головы» [1]. В те времена в России был только один способ быстро дослужиться до такого высокого поста – благодаря милости монарха, и никому не известный юноша из провинции к своим двадцати двум годам умудрился встретиться с двумя правящими императрицами.

Григорий Александрович Потёмкин родился 30 сентября 1739 года[7] в маленьком селе Чижово неподалёку от Смоленска. Потёмкины владели скромным поместьем и 430 крепостными. Семья была совсем небогатой, однако и не бедной; чтобы укрепить своё неблистательное положение, они прибегали к странным способам, необычным даже по меркам глухих окраин Российской империи. Это был весьма многочисленный род польского происхождения, и как любое благородное семейство, они выдумали себе довольно сомнительную генеалогию. Чем скромнее происхождение, тем грандиознее генеалогическое древо: Потёмкины заявили, что ведут свой род от вождя италийских племён Телезина, который осаждал Рим в I веке до н. э., и вождя далматов Истока, жившего в XI веке н. э. На несколько столетий следы этих итало-далматских потомков царственных особ теряются, а затем вдруг возникают в Смоленской губернии, где носят совершенно не латинскую фамилию Потёмкины, на польский манер – Потемпские.

Семейство искусно лавировало между московскими царями и польскими королями, получая земли под Смоленском от тех и от других. Родоначальником считался Ян-Ганс Потёмкин (после

перехода в православие – Тарасий, что, вероятно, являлось отсылкой к Телезину), у которого было двое сыновей – Иван и Илларион. Они и дали начало двум ветвям потёмкинского рода [2]. Григорий принадлежал к младшим потомкам Иллариона. Как со стороны матери, так и со стороны отца в его предках числились придворные и офицеры среднего звена. Со времён прадеда Григория семья служила только московскому двору. Московская Русь постепенно отвоёвывала у Речи Посполитой земли, утраченные Киевской Русью. Потёмкина уважали смоленские дворяне, где благодаря многочисленным бракам все были друг другу родня. Здешнее общество обладало особой польской идентичностью: если русская знать называлась *дворянством*, то смоленские аристократы вслед за польскими собратьями именовали себя *шляхтичами*. Сегодня Смоленск представляется нам неотъемлемой частью России, но когда Потёмкин родился, Смоленская губерния всё ещё была приграничной территорией.

В 1739 году Российская империя простиралась от Смоленска через Сибирь к китайской границе и от Балтики на севере до предгорий Кавказа на юге, но всё ещё охотилась за главной добычей – Чёрным морем. Смоленск был завоёван относительно недавно, при отце Петра Первого царе Алексее Михайловиче в 1654 году, а до этого относился к Польше. Местная знать принадлежала к польской культуре, и Алексей Михайлович сохранил за ней привилегированное положение, а также разрешил Смоленскому полку самому выбирать офицеров (правда, им не позволялось сохранять польские связи) и издал указ о том, что следующее поколение шляхтичей должно жениться на русских девушках, а не на польках. Дома отец Потёмкина мог порой говорить по-польски и надевать широкие панталоны и длинную блузу польского дворянина, но на людях он носил униформу офицера российской армии, более схожую с германской.

Итак, Потёмкин воспитывался в наполовину польской среде и унаследовал значительно более тесные связи с Польшей, чем большинство русских дворян. Эти связи будут иметь значение позже: он приобретет польское гражданство, станет заигрывать с польским троном и даже, по всей видимости, сам уверится в том, что он – поляк [3].

Единственный знаменитый предок Потёмкина – Пётр Иванович Потёмкин, одарённый полководец и впоследствии посол Алексея Михайловича и его наследника Фёдора Алексеевича. Деятельность этого Потёмкина в Европе постоянно сопровождалась дипломатическими инцидентами.

В 1667 году окольничий (один из высших придворных чинов) и губернатор Пётр Потёмкин стал первым русским послом в Испании и Франции, а в 1680 году – дипломатическим представителем во многих европейских столицах. Он прилагал все усилия к тому, чтобы укрепить престиж своего царя в глазах тех европейцев, кто всё ещё считал его варваром. Русские, в свою очередь, были также не чужды ксенофобии и презирали неправославные западные народы не намного меньше, чем турок. В ту эпоху все монархи относились к титулам и этикету с большой скрупулёзностью, и русские понимали, что должны быть в этом вопросе вдвойне внимательны.

Прибыв в Мадрид, посол с окладистой бородой и в богатом облачении стал настаивать, чтобы король Испании обнажал голову всякий раз, когда упоминается имя русского царя. Когда король надел головной убор, Пётр Потёмкин потребовал объяснений. Затем испанцы позволили себе усомниться в титулах царя, что вылилось в конфликт, усугубившийся еще и из-за того, что титулы оказались указаны в неправильном порядке.

На обратном пути в Париж Потёмкин снова затеял спор о титулах, чуть не подрался с таможенными служащими, отказался платить пошлину за свои иконы в драгоценных окладах и русские одежды, усыпанные бриллиантами, жаловался на то, что таможенники требуют слишком много денег, и обзывал их «грязными безбожниками» и «собаками проклятыми». Людовик XIV лично извинился за недоразумения, так как хотел усмирить эту политическую силу, зарождавшуюся на европейской арене. Во время второй поездки в Париж Потёмкин вел себя так же скандально. Позднее он отплыл в Лондон, где был принят Карлом Вторым. По-видимому, это была единственная аудиенция в его карьере дипломата, которая не окончилась фарсом. Во время своего визита в Копенгаген Пётр Потёмкин застал датского короля больным в постели и попросил, чтобы для него поставили кушетку рядом с постелью монарха и дали ему возможность вести переговоры на равных, возлежа по-королевски. Вернувшись, Потёмкин обнаружил, что царь Фёдор Алексеевич умер, и правительница-регентша Софья[8] строго отчитала посла за его чрезмерное усердие. Столь требовательный характер, похоже, унаследовали обе ветви потёмкинского рода [4].

Отец Григория Потёмкина Александр Васильевич Потёмкин был одним из тех нескладных чудаков-военных, благодаря которым жизнь в провинциальных гарнизонах XVIII века была неприятной, но красочной. Этот первый русский прототип полковника Блимпа был почти безумен, постоянно возмущён и безрассудно импульсивен. Юношей Александр служил в

петровской армии, прошёл Северную войну и в 1709 году сражался в решающей Полтавской битве, в которой Пётр I одержал победу над шведским захватчиком Карлом XII и тем самым обезопасил как недавно построенный Санкт-Петербург, так и выход России к Балтийскому морю. Затем Александр принял участие в осаде Риги и захвате четырёх шведских фрегатов, был представлен к награде, а позднее получил ранение в левый бок.

После войны ему пришлось отслужить военным чиновником, проводя утомительные переписи населения в удалённых губерниях, Казанской и Астраханской, и командуя маленькими гарнизонами. О его характере и карьере известно немного, но до нас дошли сведения о следующем случае: когда Александр Потёмкин подал в отставку из-за своих ранений, его вызвали к руководству Военной коллегии и согласно традиции попросили снять униформу и продемонстрировать свои шрамы. Раздеваясь, он заметил, что один из членов коллегии служил унтер-офицером под его началом. Потёмкин немедленно оделся и указал на этого мужчину: «ОН будет осматривать МЕНЯ? Я этого НЕ ПОТЕРПЛЮ. Уж лучше останусь на службе, невзирая на то, как болят мои раны!» Сказав это, он стремительно вышел и отслужил ещё два тоскливых года. Наконец в 1739 году, после рождения сына, он, совсем ослабев здоровьем, вышел в отставку в чине подполковника [5].

Старого Александра Потёмкина знали как домашнего тирана. Его первая жена была ещё жива, когда он обратил внимание на Дарью Скуратову, вероятно, посетив поместье Большое Скуратово неподалёку от села Чижово. Урождённая Дарья Васильевна Кондырева была двадцатилетней вдовой почившего главы поместья. Полковник Потёмкин тут же женился на ней. Юную девушку не привлекал ни первый, ни второй супруг, но семья Скуратовых была рада, что удалось найти ей новый дом. Однако молодую жену ждало неприятнейшее потрясение: будучи уже беременной первым ребёнком, дочерью Еленой (Марфой), она обнаружила, что первый брак полковника Потёмкина всё ещё действителен и его жена живет в их деревне. Надо полагать, вся деревня была прекрасно осведомлена об этом секрете полковника, и Дарье, вероятно, казалось, что её выставили на посмешище перед собственными крепостными.

В ту эпоху, как и теперь, двоеженство было незаконным и противоречило церковным канонам, но сёла, подобные Чижову, были слишком удалены от столиц, архивные записи велись беспорядочно, а власть мужчин над женщинами распространялась так широко, что двоеженство провинциальных дворян было нередким явлением. Примерно в те же годы абиссинский прадед

Пушкина Абрам Ганнибал женился второй раз, а первую жену бросил в темницу, где её пытали, пока она не согласилась уйти в монастырь; позже так же поступил и один из его сыновей [6]. Как правило, русским жёнам не нужны были пытки, чтобы принять монашеский постриг и тем самым позволить своим мужьям вступить в новый брак. Дарья пришла к первой жене Потёмкина в слезах и убедила её принять обет, узаконив таким образом своё супружество.

То немногое, что нам известно об этом браке, позволяет заключить, что он был глубоко несчастливым. Жена Александра Потёмкина постоянно ходила беременной. Она родила пятерых дочерей и сына – Григорий был её третьим ребёнком. Несмотря на это, раздражительный начальник маниакально ревновал супругу. Но ревность сама часто становится причиной того, чего больше всего страшится, и у молодой жены не было недостатка в поклонниках. В одном из источников говорится, что незадолго до рождения Григория полковник Потёмкин стал чрезвычайно подозрительно относиться к гостившему у них двоюродному брату, Григорию Матвеевичу Кисловскому, который должен был стать крестным отцом Григория. Кисловский был светским человеком и важным московским чиновником. По всей вероятности, в честь него и был назван Григорий, но значит ли это, что Кисловский – его биологический отец? Этого нам не узнать: Потёмкин унаследовал маниакальную замкнутость отцовской натуры. Стоит, однако, заметить, что после смерти полковника Григорий относился к Кисловскому с сыновней любовью. Нам следует просто взглянуть правде в глаза: даже в распутном восемнадцатом веке дети порой в самом деле были отпрысками своих законных отцов.

О матери Потёмкина известно куда больше, чем об отце, поскольку она прожила достаточно долго, чтобы увидеть, как Григорий стал первым человеком в империи. Дарья была хороша собой, сообразительна и образованна. С портрета, изображающего её в зрелые годы, на зрителя смотрит пожилая госпожа в шляпке; на усталом, но волевом и хитром лице – крупный выразительный нос и острый подбородок. Черты её лица грубее, чем у сына, хотя считалось, что он похож на нее. Когда в 1739 году она обнаружила, что беременна в третий раз, делу сопутствовали хорошие приметы. Жители Чижова по сю пору пересказывают сон Дарьи: ей привиделось, что солнце падает с небес на её живот, и в этот момент она проснулась. Деревенская гадалка Аграфена сочла этот сон предзнаменованием рождения сына. Но полковник всё же нашёл способ разрушить её счастье [7]. Когда пришёл срок, Дарья удалилась рожать сына в деревенскую баню, где о

ней, вероятно, заботились крепостные девушки. Её муж, как сегодня рассказывают местные, не спал всю ночь, прикладываясь к крепкому домашнему ягодному вину. Крепостные тоже не спали, надеясь, что после двух дочерей у хозяев наконец-то будет наследник. Когда Григорий родился, зазвонил церковный колокол. Крепостные пустились в пляс и выпивали до самого утра [8]. Место его рождения оказалось вполне подходящим – именно в баню в Зимнем дворце он станет приходить для свиданий с Екатериной Великой.

Дом, где родились дети Дарьи, накрыла тень отцовской паранойи. В их семейной жизни больше не осталось даже тех скупых чувств, которые существовали до того, как Дарья узнала о двоеженстве полковника. Его обвинения в неверности только ухудшали положение: он был так ревнив, что, когда его дочери вышли замуж, запретил зятьям целовать руку Дарьи, поскольку прикосновение мужских губ к коже неминуемо должно было привести к греху. После рождения наследника Александра помимо прочих навестил с поздравлениями его двоюродный брат Сергей Потёмкин, который сообщил ему, что Григорий – не его сын. Сергеем двигало отнюдь не человеколюбие: он хотел, чтобы поместье унаследовала его семья. Старый солдат разгневался и подал прошение об аннулировании брака и объявлении сына незаконнорожденным. Дарья, представив, как за ней захлопываются двери монастыря, бросилась за помощью к практичному и рассудительному крёстному Кисловскому. Тот примчался из Москвы и убедил дряхлеющего супруга отозвать прошение. Так отец и мать остались вместе [9].

Окружающим миром для Григория Потёмкина в первые шесть лет его жизни было отцовское село. Чижово стояло на речке, которая текла в узком, крутом и грязном овраге, пересекавшем широкую равнину. Село находилось в нескольких часах езды от Смоленска и на расстоянии 350 вёрст до Москвы и 837 вёрст до Петербурга. Летом там бывало невыносимо жарко, а зимы стояли суровые: равнина была открыта всем ветрам. Сегодня, как и в то время, это глухое, распахнутое на все стороны место; ребенку, наверное, жизнь там казалась увлекательной и радостной.

Во многих отношениях Чижово представляло собой русское общество в миниатюре, поскольку воплощало две основные черты устройства российской жизни в ту эпоху. Во-первых, постоянное и непреодолимое стремление империи расширять свои границы во всех возможных направлениях (Чижово находилось у неспокойной западной границы России), а во-вторых, разделение на помещиков и крепостных (родное село Потёмкина делилось на две части, что до сих пор заметно глазу, хотя сегодня Чижово

практически вымерло).

Первый дом Потёмкина стоял на небольшом холме над рекой. Это была скромная одноэтажная деревянная усадьба с благообразным фасадом. Трудно себе представить больший контраст с домами помещиков-богачей, занимавших высокое положение в обществе. Возникшее через несколько десятков лет на юге Украины поместье графа Кирилла Разумовского «напоминало скорее небольшой город, чем загородный дом… со своими сорока или пятьюдесятью строениями… охраной, бесконечными процессиями слуг и огромным оркестром» [10]. Единственной хозяйственной постройкой рядом с усадьбой в Чижове была, вероятно, та самая баня, где родился Григорий, – должно быть, она стояла прямо над рекой и рядом с колодцем. Баня – неотъемлемая часть русской жизни. В ней вместе мылись крестьяне обоих полов[9], что чрезвычайно потрясло воображение приезжего учителя-француза. Он писал, что люди всех возрастов и обоих полов вместе ходят в баню, и привычка с самых ранних лет видеть друг друга обнажёнными убивает в них всякие чувства [11]. Для русских баня была продолжением дома – уютным местом для общения и отдыха.

Не считая супружеских разногласий родителей, обстановка, в которой рос Григорий, была, по-видимому, простой и благополучной. Сохранилось одно свидетельство о том, как взрослел мальчик из мелкой дворянской семьи в Смоленской губернии, – записки родственника Потёмкина Льва Николаевича Энгельгардта. Хотя он родился на тридцать лет позже, описанная им жизнь в близлежащей деревне едва ли изменилась со времён детства Григория. Ему позволялось бегать босиком и в крестьянской рубахе: «Физически мое воспитание сходствовало с системою Руссо, хотя бабка моя не только не читала сего автора, но едва ли знала хорошо российскую грамоту» [12]. Другой мемуарист, тоже родственник Потёмкина, писал: «У одного только Михаила Ильича Мартынова, владельца тысячи душ, более других гостеприимного и роскошного, было с полдюжины серебряных ложек; их клали пред почетными гостями, а другие должны были довольствоваться оловянными» [13].

Гриша был наследником поместья и единственным, кроме отца, мужчиной в семье. Вероятно, пять сестёр и мать уделяли ему много внимания, и эта семейная атмосфера наверняка повлияла на формирование его характера – ведь в дальнейшем на него всегда были устремлены все взгляды. Поднимаясь по карьерной лестнице, он называл себя «баловнем Фортуны». Ему необходимо было выделяться среди остальных и доминировать. Жизнь в кругу женщин приучила его чувствовать себя свободно в

женском обществе. Близкими друзьями повзрослевшего Потёмкина также становились женщины, и от отношений с одной из них зависела вся его карьера. Но неприхотливая домашняя обстановка Потёмкиных, оживлявшаяся мельтешением женских юбок, вскоре изменилась. Все сёстры, кроме умершей в девятнадцать лет Надежды, удачно вышли замуж за членов ближнего круга смоленского дворянства. У Елены (Марфы) с Василием Энгельгардтом и Марии с Николаем Самойловым родились сыновья и дочери, которые впоследствии сыграли не последнюю роль в жизни Потёмкина [14].

Государственная служба была единственной возможной профессией для русского дворянина. Поскольку Гриша родился в семье офицера, который сражался под началом Петра I в Полтавской битве, ему, должно быть, с детства внушали, что его долг и путь к успеху – лишь в служении империи. Военные достижения отца, вероятно, всегда оставались где-то на периферии воображения мальчика. В России честь мундира была превыше всего, особенно для провинциального дворянства. В 1721 году Пётр I учредил Табель о рангах, чтобы структурировать иерархию воинских, гражданских и придворных чинов. Дослужившись до Четырнадцатого воинского чина или Восьмого статского, любой человек автоматически становился потомственным дворянином, хотя одновременно получал обязательство пожизненной службы. К моменту рождения Потёмкина дворянству удалось смягчить это унизительную повинность, но, тем не менее, служба оставалась надёжным способом обрести достаток.

Потёмкина привлекал духовный сан. Среди его предков был архимандрит, живший в XVII веке, и отец определил его в смоленскую церковную школу. Но ему было суждено связать свою жизнь с государственным флагом [15].

Прямо рядом с усадьбой, у реки, находился источник, названный в честь Екатерины и сохранивший это название вплоть до сегодняшнего дня. Легенда гласит, что Потёмкин привозил сюда императрицу, чтобы показать ей свои родные места. Вполне возможно, что в детстве он сам таскал воду из этого источника, поскольку быт мелкопоместных дворян был немногим лучше положения их зажиточных слуг. После рождения Григория, вероятно, отдали крестьянке-кормилице, и словно «благородный дикарь», он был – буквально или нет – вскормлен молоком русской деревни. Его воспитывали в равной степени и мать с сёстрами, и служанки; его музыкой были задушевные жалобные песни крестьян, которые те пели вечерами и по праздникам. Залихватские, но изящные крестьянские танцы были ему куда

ближе, чем кадрили на балах в соседних имениях. Он был знаком с деревенской гадалкой и со священником и чувствовал себя как дома и в усадьбе, и в крестьянской избе у тёплой печки, где томились каша, щи и квас. По обычаям тех времён мальчик жил в простоте – играл с детьми священника, пас вместе с ними лошадей и собирал сено вместе с крестьянами [16].

В крестьянской части поместья стояла деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Чижове (сегодня здесь лежит в руинах построенная вместо неё каменная церковь). Потёмкин проводил там много времени. Крестьяне были набожными людьми: как вспоминал Массон, помимо освящённой ладанки на шее каждый из них носил с собой маленькую медную фигурку своего святого покровителя. Солдаты и крестьяне часто доставали фигурки из карманов, плевали на них и потирали, затем ставили их перед собой и внезапно падали пред ними на колени [17]. Когда крестьянин входил в избу, то крестился на иконы в красном углу.

Потёмкин рос в свойственной крестьянской жизни атмосфере набожности и суеверий: его крестили в сельской церкви. Многие землевладельцы могли себе позволить нанять своим детям иностранного учителя – обычно они предпочитали французов и немцнв, но иногда это мог быть и пожилой шведский военнопленный, захваченный в Северной войне, как в неоконченном романе Пушкина «Арап Петра Великого». Но у Потёмкиных не было и этого. Говорили, что местный священник Семён Карцев и дьячок Тимофей Краснопевцев учили Григория грамоте и молитвам и вызвали у ребенка увлечение религией, сохранявшееся всю его жизнь. Гриша научился петь и полюбил музыку, и эта любовь тоже останется с ним на всю жизнь: князя Потёмкина всегда сопровождал оркестр с кипой новых партитур. Существует легенда, что несколько десятилетий спустя один из этих сельских учёных мужей приехал в Санкт-Петербург и, услышав, что его ученик теперь занимает первое место при дворе, нанёс ему визит; Потёмкин тепло принял его и устроил на должность хранителя Медного всадника, статуи Петра Великого авторства Фальконе [18].

На другой стороне села, за церковью, жили 430 мужиков-крепостных с семьями. При подсчёте крепостных, или душ, учитывалось только количество мужчин. Достаток дворянина измерялся в душах, а не в деньгах или десятинах земли. В то время в России из 19 миллионов общего населения мужчин-дворян было всего лишь 50 000 человек, а 7 800 000 человек были крепостными. Половина из них были помещичьими и дворцовыми крестьянами, то есть принадлежали помещикам или

императорской семье, а остальные находились в собственности государства. По закону только дворянин мог владеть крестьянами, при этом обладатели более тысячи крепостных составляли всего лишь один процент от общего числа дворян. Поместья наиболее знатных аристократов, владевших сотнями тысяч крестьян, становились всё более роскошными и живописными. В екатерининскую эпоху они достигли своего расцвета, там появились крепостные оркестры, художники, портретисты и иконописцы: граф Шереметев, самый богатый помещик в России, владел крепостным театром, в репертуаре которого было сорок опер. Князь Юсупов мог похвастаться своим балетным театром с сотнями балерин. Граф Скавронский, родственник Екатерины I, женившийся на одной из потёмкинских племянниц, был настолько одержим музыкой, что велел своим крепостным разговаривать исключительно нараспев [19]. Однако всё это – исключительные случаи: 82 % дворян были бедны, как церковные мыши, и каждый из них владел менее чем сотней душ. Потёмкины занимали срединное положение – такие, как они, с имуществом от ста до пятисот душ, составляли 15 % от общего числа дворянства [20].

Чижовские крепостные были полностью подчинены полковнику Потёмкину. Французские писатели того времени называли их esclaves, рабами. В их положении было много общего с положением чернокожих рабов Нового Света, за исключением того, что они были одного цвета кожи со своими хозяевами. Ирония крепостничества заключалась в том, что хотя крестьяне находились в самом низу социальной пирамиды и ими распоряжались как имуществом, в то же время власть государства и дворян опиралась именно на крестьянство. Из них формировались пехотные войска, когда государство объявляло объязательный рекрутский набор в армию. Помещики выбирали нескольких несчастных и отправляли их на пожизненную службу. Кроме того, крепостные платили подати, за счёт которых императоры финансировали свои армии, и именно владение крестьянами составляло основу дворянского достатка. Император и дворянин соперничали в стремлении подчинить крестьян своей власти и извлечь из этого максимум выгоды.

Как правило, крепостных передавали по наследству, но императорская особа могла пожаловать их фавориту в знак благодарности, или же можно было их купить по объявлению в газете, как мы сегодня покупаем бывшие в употреблении автомобили. Например, в 1760 году князь Михаил Щербатов, который в дальнейшем станет ярым критиком нравов Потёмкина, продал другому дворянину трёх крепостных девушек за три

рубля. Однако зачастую господа гордились своей патерналистской заботой о своих слугах. Само то обстоятельство, что личность их принадлежит хозяевам, гарантирует им господскую милость [21]. В имении графа Кирилла Разумовского было более 300 слуг, и все они были крепостными (кроме повара-француза и учителя, не то француза, не то немца, нанятого для занятий с его сыном). В их числе – церемониймейстер, дворецкий, два карлика, четыре парикмахера, два официанта и так далее. «Дядя, – говорила ему племянница, – кажется, у тебя слишком много слуг, без которых ты мог бы обойтись». – «Так и есть, – отвечал Разумовский, – но они не смогут обойтись без меня» [22].

Иногда крепостные любили своих помещиков. Как-то раз обер-камергер граф Шувалов был вынужден продать имение в трехстах верстах от Петербурга, и однажды утром его разбудил гвалт во дворе его столичного дома. Там собралась толпа его крепостных, пришедших в город из села. Они заявили, что им было покойно под его началом и они не хотят лишиться такого хорошего барина, поэтому каждый из них сделал посильный взнос и они принесли ему собранную сумму, которой хватило, чтобы выкупить имение обратно. Граф принял их с отеческими объятиями [23]. В записках приезжего англичанина читаем, что, встречая помещика, крепостные кланялись в пол. Французский дипломат отмечает: когда в отдалённые губернии приезжала императрица, крестьяне выражали своё почтение, становясь на колени [24]. Крепостные были для своего помещика рабочей силой и банковским счетом, иногда – гаремом. Хозяин нёс за них полную ответственность и при этом всегда жил в страхе, что однажды они восстанут и убьют его в собственной усадьбе. Крестьянские бунты не были редкостью.

Многие помещики вполне гуманно относились к своим крепостным, но мало кто из них осознавал, что рабство не является естественным состоянием крестьян. Если крепостной бежал, хозяин мог силой возвратить его. Поимка крепостных была жестоким, но хорошо оплачиваемым занятием. Даже наиболее здравомыслящие помещики регулярно наказывали своих крестьян, в том числе с помощью кнута, но, разумеется, не имели права их казнить. В 1758 году князь Щербатов в инструкции своим приказчикам писал: «Наказание должно крестьянем, дворовым и всем протчим чинить при рассуждении вины батогами… Однако должно осторожно поступать, дабы смертного убийства не учинить или бы не изувечить. И для того толстой палкой по голове, по рукам и по ногам не бить. А когда случится такое наказание, что должно палкой наказывать, то, велев его наклоня, бить по спине, а лучше сечь батогами по спине и ниже,

ибо наказание чувствительнее будет, а крестьянин не изувечится».

Государственная система давала широкий простор для злоупотреблений. В своих мемуарах Екатерина вспоминала, что в большинстве московских поместий имелись «железные ошейники, цепи и разные другие инструменты для пытки при малейшей провинности». В покоях одной старой дворянки, к примеру, имелась тёмная клетка, где она держала крепостную девку, умевшую ухаживать за её волосами. Причина этого проста: старая карга стремилась скрыть от окружающих, что вынуждена носить парики [25].

Абсолютная власть помещика над крепостными иногда проявлялась в пытках в духе Синей Бороды, причём самые страшные бесчинства совершила женщина (хотя, возможно, только из-за пола потерпевшие и смогли на неё пожаловаться). Разумеется, власти довольно долгое время закрывали глаза на её злодеяния. Происходило всё это не в какой-то удалённой губернии, а в Москве. Двадцатипятилетняя Дарья Николаевна Салтыкова, прозванная «людоедкой», получала садистское удовольствие, истязая своих крепостных: она избивала поленом и скалкой сотни крестьян, а 138 девушек убила, предположительно нанеся увечья их гениталиям. Когда в начале правления Екатерины её наконец арестовали, императрица, заинтересованная в поддержке дворянства, была вынуждена с осторожностью избрать наказание для «людоедки». Её нельзя было казнить, поскольку в 1754 году императрица Елизавета отменила смертную казнь (за исключением случаев государственной измены), поэтому Салтыкову приковали к столбу на московском эшафоте, где она должна была стоять на протяжении часа, а на шее её висел лист с надписью «Мучительница и душегубица». Весь город глазел на неё: в то время серийные убийцы встречались редко. Затем «людоедка» была осуждена на пожизненное заключение в монастырской подземной темнице. Но её жестокость была исключением, а не правилом [26].

Такой была жизнь русского села, и таким был мир Гриши Потёмкина. Привычки, сложившиеся в чижовском детстве, навсегда остались с ним. Мы с лёгкостью можем представить, как он бежит вместе с крестьянскими детьми по лугам, где ещё не убрано сено, или жуёт репу и редиску, которыми он любил лакомиться и впоследствии в покоях императрицы. Неудивительно, что в Санкт-Петербурге, в утончённом вольтерьянском кругу придворных говорили, что он – подлинное дитя земли русской.

В 1746 году в возрасте семидесяти четырёх лет умер его отец, и идиллическая жизнь закончилась. Шестилетний Гриша Потёмкин унаследовал имение и крепостных, но это было жалкое наследство. Повторно овдовев в сорок два года, его мать с шестью детьми на руках не могла сводить концы с концами в Чижове. Беззаботная экстравагантность взрослой жизни Григория удивительна для человека, на долю которого выпали денежные затруднения, но ведь ему не пришлось испытать по-настоящему мучительной нужды. Позднее он пожаловал родительское поместье своей сестре Елене и её мужу Василию Энгельгардту. Они построили особняк на месте деревянной усадьбы и воздвигли роскошную церковь на крестьянской стороне села в честь Светлейшего князя – самого знаменитого члена семейства [27].

Дарья Потёмкина была амбициозна. Григорий не мог рассчитывать на удачную карьеру, затерявшись в захолустной деревушке, как иголка в огромном стоге сена России. У Дарьи не было связей в новой столице государства, Санкт-Петербурге, однако в старой столице ещё оставались знакомые, и вскоре семья двинулась в Москву[10].

Первым московским впечатлением Гриши Потёмкина, наверное, стали городские башни. Москва, расположенная в самом центре Российской империи, была полной противоположностью Санкт-Петербурга, новой столицы Петра Великого. Если Северная Венеция служила окном в Европу, то Москва – была подземным ходом в глубину древних ксенофобских русских традиций. Её угрюмая и напыщенная монументальность беспокоила недалёких европейцев: «Особенно броское и уродливое впечатление в Москве производят её шпили: квадратные нашлёпки из разноцветных кирпичей и золочёные верхушки придают городу весьма готический вид», писала гостья из Англии. В самом деле, хотя город строился вокруг неприступной средневековой кремлёвской крепости и ярких луковичных куполов храма Василия Блаженного, его изогнутые, узкие и тёмные улицы и дворы были такими же мрачными, как и предрассудки староверов. Европейцы считали, что Москва совсем не похожа на западный город. «Не могу сказать, что Москва похожа на что-либо, кроме деревни или нескольких деревень, соединённых вместе». Другой путешественник, глядя на дворянские особняки и крытые соломой дома бедняков, подумал, что городские здания выглядят, как будто их всех свезли сюда на колесах [28].

Крёстный отец Потёмкина (и, возможно, его биологический отец) Кисловский, президент Камер-коллегии в отставке, московский представитель Министерства по делам

Императорского двора (согласно заведённому Петром I порядку, министерства назывались коллегиями), взял семью Потёмкиных под свою защиту и поселил свою любовницу или всего лишь протеже Дарью в небольшом доме на Никитской улице. Гриша Потёмкин вместе с сыном Кисловского Сергеем поступил в гимназию Московского университета.

На сообразительность Потёмкина сразу обратили внимание: у него были замечательные способности к языкам, и он вскоре преуспел в греческом, латыни, русском, немецком и французском языках, также бегло говорил по-польски, а согласно более поздним свидетельствам, он мог понимать итальянскую и английскую речь. Его первым увлечением было православие: ещё будучи ребёнком, он часто обсуждал литургические вопросы с настоятелем греческого монастыря Дорофеем. Священник в храме Святого Николая поддерживал его интерес к церковным таинствам. Благодаря своей выдающейся памяти, о которой будет сказано ниже, Григорий смог выучить наизусть длинные тексты греческой литургии. Судя по его памяти и багажу знаний в зрелости, обучение, должно быть, казалось ему слишком простым, а необходимость сосредотачиваться – слишком утомительной: он быстро начинал скучать. Григорий никого не боялся: он уже приобрёл известность своими эпиграммами и способностью передразнивать учителей. Каким-то образом ему удалось подружиться с высокопоставленным священником Амвросием Зертис-Каменским, ставшим позднее архиепископом Московским [29].

Некоторое время мальчик помогал в алтаре, но при этом он либо погружался в дебри византийской теологии, либо с нетерпением ждал любой возможности совершить какую-нибудь дерзкую шалость. Когда Гриша предстал перед крёстным в облачении грузинского монаха, Кисловский сказал: «Доживу до стыда, что не умел воспитать тебя как дворянина». Потёмкин хорошо понимал, что он не был похож на других: ему было суждено стать великим. Он высказывал разнообразные предположения о тех высотах, которых ему предстояло достичь: «буду министром или архиереем»; «начну военной службой, а не так, то стану командовать попами». Он обещал матери, что, разбогатев и обретя известность, сломает ветхий дом, где она жила, и выстроит церковь[11]. Счастливые воспоминания об этом времени Григорий сохранил на всю жизнь [30].

В 1750 году в возрасте одиннадцати лет он едет в Смоленск, вероятно, в сопровождении крёстного, чтобы записаться на военную службу. Впервые мальчик надел униформу и ощутил вес

сабли в руке, почувствовал, как скрипят ботинки и как рубаха тесно облегает тело – все эти приманки для гордости, предоставляемые военной службой, остались в радостных воспоминаниях всех дворянских детей-солдат. Сыновья дворян заступали на службу в безрассудно раннем возрасте, порой в пять лет, и числились в солдатах заочно – таким образом можно было обойти петровский закон об обязательной пожизненной службе. Когда они в 16–19 лет становились настоящими солдатами, формально за их плечами уже было не менее десяти лет службы и офицерское звание. Родители записывали детей в самые лучшие – гвардейские – полки, подобно тому, как каждый английский аристократ должен был «записаться в Итон».

В Смоленске Гриша засвидетельствовал в герольдии заслуги на службе и благородное происхождение своей семьи, упомянув мнимого римского родоначальника и свою родственную связь со вспыльчивым послом царя Алексея. В документах местного отделения по какой-то причине указано, что ему было семь лет, но это можно считать бюрократической ошибкой, поскольку детей обычно записывали в одиннадцатилетнем возрасте. Пять лет спустя, в феврале 1755 года, он вернулся туда для повторной проверки и был зачислен в Конногвардейский полк, один из пяти самых престижных в России[31]. Затем юноша вернулся к обучению.

Он также записался в Московский университет, где числился среди первых учеников по греческому языку и священной истории [32]. Некоторые университетские друзья останутся с ним на всю жизнь. Студенты носили униформу – зелёные кафтаны с красными обшлагами. Университет был основан совсем недавно. Современник Потёмкина Денис Фонвизин в «Чистосердечном признании в делах моих и помышлениях» вспоминал, как они с братом оказались одними из первых студентов. Как и Потёмкин, они родились в семье бедных дворян, которые не могли себе позволить нанять детям частных учителей. Новый университет пребывал в хаосе: «Учились мы весьма беспорядочно… причиною тому… нерадение и пьянство учителей» [33]. Фонвизин писал, что иностранные языки если и преподавались, то совершенно отвратительно. Документы Потёмкина погибли в пожаре 1812 года, но нам известно, что он несомненно многому выучился, возможно, благодаря своим друзьям-священникам.

Распущенность педагогического состава, впрочем, для Потёмкина не имела значения, поскольку он обожал читать (хотя позднее злые языки говорили, что он не прочёл ни одной книги). Навещая деревенских родственников, он всё время проводил в библиотеке и даже засыпал под бильярдным столом в обнимку с

книгой [34]. Однажды Потёмкин попросил одного из своих друзей Ермила Кострова одолжить ему десять книг. Когда Потёмкин вернул их, Костров не поверил, что их можно было так быстро прочесть. Потёмкин ответил, что прочитал все от корки до корки: «Если не веришь мне, проверь!» – так он смог убедить Кострова. Когда другой студент по фамилии Афонин дал Потёмкину свежее издание «Естественной истории» Бюффона, тот через день вернул книгу и поразил Афонина доскональным знанием всех её подробностей [35].

Вскоре на Потёмкина обратил внимание ещё один влиятельный покровитель. В 1757 году он получил университетскую золотую медаль благодаря своим выдающимся познаниям в греческом языке и богословии, чем произвёл впечатление на одного из чиновников императорского двора в Санкт-Петербурге. Иван Иванович Шувалов, образованный и интеллигентный основатель и куратор Московского университета, был молод и благодушен; со своим круглым лицом он был похож на нежного эльфа. Он был любовником и одним из ближайших советников императрицы Елизаветы, которая была старше его на восемнадцать лет, но при этом вел себя необычайно скромно. В июне того года Шувалов приказал университету выбрать двенадцать лучших студентов и отправить их в Санкт-Петербург. Потёмкина и ещё одиннадцать человек спешно снарядили в столицу, где сам Шувалов встретил их, проводил в Зимний дворец и представил императрице Всероссийской. Это был первый визит Потёмкина в Петербург.

По сравнению с Санкт-Петербургом даже Москва казалась захолустьем. В 1703 году на землях, формально еще принадлежавших шведам, на заболоченных берегах и островах в устье реки Невы, Пётр Великий основал свой «парадиз». Когда он наконец нанёс поражение Карлу XVII в Полтавской битве, то прежде всего почувствовал радость за Санкт-Петербург, отныне находившийся в безопасности. В 1712 году город стал официальной столицей. Тысячи крепостных погибли, забивая сваи и выкачивая воду на этой огромной строительной площадке, поскольку царь спешил как можно скорее воплотить свой проект в жизнь. Теперь это был красивый город с населением в 100 000 человек, и его набережные украшали величественные дворцы: на северной стороне стояли Петропавловская крепость и дворец из красного кирпича, принадлежавший раньше фавориту Петра князю Меншикову. Почти напротив располагались Зимний дворец, Адмиралтейство и несколько дворянских особняков. Поразительно широкие петербургские проспекты были как будто построены для гигантов, но их немецкая прямота, так не похожая

на петляющие московские переулки, оставалась чуждой русскому духу. Грандиозные здания были построены только наполовину – как и многое другое в Российском государстве.

Английская путешественница писала: «Этот город, с необычайно широкими и длинными улицами, являет очень живописный вид. Не только городу, но и образу жизни здесь присущ особый размах. Аристократы как будто состязаются друг с другом в дорогостоящих причудах». Повсюду иностранцев окружали контрасты: «Дома обставлены самой роскошной мебелью из всех стран, но в гостиную с инкрустированным полом вы поднимаетесь по грязной и вонючей лестнице» [36]. По словам французского дипломата, даже дворцы и балы не могли замаскировать подлинную сущность империи: «С одной стороны – модные наряды, богатые одежды, роскошные пиры, великолепные торжества, зрелища, подобные тем, которые увеселяют избранное общество Парижа и Лондона; с другой – купцы в азиатской одежде, извозчики, слуги и мужики в овчинных тулупах, с длинными бородами, с меховыми шапками и рукавицами и иногда с топорами, заткнутыми за ременными поясами» [37].

Строительство нового Зимнего дворца императрицы ещё не завершилось, но, тем не менее, здание уже было великолепным: золоченые, богато украшенные и освещенные канделябрами залы, наполненные толпой придворных, перемежались сырыми комнатами, заваленными инструментами и открытыми всем стихиям и сквознякам. Шувалов провел двенадцать студентов-счастливчиков в приёмные покои, где Елизавета встречала иностранных послов. Там Потёмкин с товарищами был представлен императрице.

Елизавете, мужеподобной тучной блондинкае с голубыми глазами, было в то время почти пятьдесят; шёл семнадцатый год её правления. «Увидев ее в первый раз, невозможно было не поразиться ее красоте, – вспоминала Екатерина II. – Она была крупная женщина, несмотря на свою полноту нисколько не утратившая изящества фигуры» [38]. Елизавета, подобно своей тёзке, занимавшей английский престол в XVI веке, была воспитана в тени величественной фигуры своего властного отца и провела юность, словно в тревожном чистилище. Благодаря этому обострилось присущее ей политическое чутьё – однако на этом сходство императрицы с Глорианой заканчивается. Елизавета была не только импульсивной, щедрой и легкомысленной, но и хитроумной, мстительной и безжалостной – истинной дочерью Петра Великого. Жизнь елизаветинского двора определялась тщеславием императрицы и её феноменальной любовью к роскоши, тщательно срежиссированным празднествам и богатым

нарядам. Она никогда не надевала дважды одну и то же одежду и два раза в день меняла платье – и придворные дамы следовали её примеру.

Когда Елизавета умерла, её наследница обнаружила в Летнем дворце гардероб, где хранились 15 000 платьев. В то время при дворе французские пьесы всё ещё казались чужеземной диковинкой – обычными развлечениями были императорские травести-балы, где всем гостям нужно было предстать в наряде противоположного пола, что давало почву для разнообразных шалостей среди мужчин «в огромных юбках на китовых усах» и женщин, особенно зрелых, которые выглядели как «жалкие мальчики». У этой затеи были особые причины: «…из всех них мужской костюм шел только к одной императрице. При своем высоком росте и некоторой дюжести она была чудно хороша в мужском наряде. Ни у одного мужчины я никогда в жизни не видела такой прекрасной ноги…» [39]

Даже эти замысловатые забавы елизаветинского двора были пронизаны борьбой за политическое влияние и страхом перед капризами императрицы: когда Елизавета не смогла вычесать пудру из своей причёски и оказалась вынуждена сбрить волосы, она приказала придворным дамам побриться вместе с ней. «Дамы с плачем повиновались». Когда чужая красота внушала ей зависть, она брала ножницы – у одной из соперниц она срезала ленты, у другой – кудри. Она издавала указы, гласившие, что ни одной женщине не позволялось соперничать с ней в изяществе причёски. Утратив красоту, она металась между истовой религиозностью и безудержным применением косметики [40]. Политика – рискованная игра, даже для модных аристократок. В первые годы правления Елизавета приказала отрезать язык молодой придворной даме, графине Наталье Лопухиной, всего лишь за туманный намёк на некий заговор – и в то же время императрица была мягкосердечной женщиной, отменившей смертную казнь.

Ей удавалось совмещать набожность с безрассудной распущенностью. В бессчётных любовных похождениях Елизавета, в отличие от Екатерины, не была стеснена условностями, вступая в связи даже с французскими докторами, казаками-хористами и гвардейцами, которые в глазах русских являлись живыми воплощениями мужественности. Её большой любовью был молодой украинец, наполовину казак, прозванный «ночным императором». Алексея Разума, который вскоре сменил фамилию на более внушительную («Разумовский»), императрица впервые заметила поющим в хоре. Елизавета пожаловала ему, а также его младшему брату, пастуху-подростку Кириллу, богатства и

графский титул (одно из новых немецких званий, учреждённых Петром). В 1749 году Елизавета выбрала нового любовника, двадцатидвухлетнего Ивана Шувалова, и, стало быть, новому семейству была дарована возможность превратиться в усыпанных бриллиантами богачей.

В то время, когда Потёмкин прибыл в Петербург, среди богачей было много отпрысков новоиспечённого дворянства, умножившегося стараниями Петра и Елизаветы, и трудно было придумать лучшую рекламу для жизни при дворе. Внуки «денщиков, певчих и дьячков», как выразился Пушкин, возносились до статуса аристократов и приобретали богатство сообразно заслугам или просто по прихоти монарха [41]. Эти новички занимали самые высокие посты при дворе и в армии наряду с представителями старого нетитулованного дворянства и выходцами из княжеских родов, которые сами были потомками правящих династий: к примеру, князья Голицыны вели свой род от великого князя Литовского Гедимина, а князья Долгоруковы – от Рюрика.

Так состоялось знакомство Потёмкина с миром императриц и фаворитов, над которым он в конечном итоге получит полную власть. В 1721 году отец Елизаветы Пётр I, завоевав выход в Балтийское море, в честь этого события объявил себя императором – в дополнение к традиционному царскому титулу, который в свою очередь был производным от римского Цезаря. Но вместе с тем благодаря Петру страна на целое столетие погрузилась в состояние политической нестабильности – тому виной был его указ о том, что российские правители могут самостоятельно назначать своего наследника, не спрашивая ни у кого совета. Этот указ называли «апофеозом самовластья». Новый закон о престолонаследии в России введет только Павел I. Поскольку в 1718 году Пётр пытками довёл своего сына и наследника, цесаревича Алексея, до смерти, а его остальные сыновья умерли, в 1725 году престол унаследовала его вдова Екатерина I, дама низкого происхождения, зато сумевшая заручиться поддержкой гвардейских полков и тесного круга приспешников. Екатерина была первой в ряду правительниц-женщин и детей, восходивших на престол вследствие прискорбного недостатка во взрослых наследниках-мужчинах.

В эпоху дворцовых переворотов императоры получали власть в результате комбинации факторов – интересов придворных клик, а также состоятельных дворян и гвардейцев, которые были расквартированы в Санкт-Петербурге. Когда в 1727 году Екатерина скончалась, внук Петра, сын убитого Алексея, правил под именем Петра II всего лишь два с половиной года. После его

смерти[12] императорский двор предложил занять трон племяннице Петра Анне Курляндской, которая правила до 1740 года при содействии своего немецкого фаворита, всеми ненавидимого Эрнста Бирона. Затем на престол вступил младнец Иван VI, а его мать Анна Леопольдовна, герцогиня Брауншвейгская, была объявлена правительницей. Русские не питали расположения к малолетним императорам, равно как и к государыням женского пола или немецкого происхождения; в совокупности это оказалось невыносимым.

Двадцать пятого ноября 1741 года, после нескольких дворцовых переворотов, произошедших за время правления Ивана VI, великая княгиня Елизавета в возрасте тридцати одного года встала во главе Российской империи при поддержке всего лишь трехсот восьми гвардейцев и заточила младенца-императора в Шлиссельбургскую крепость. Сочетание дворцовых интриг и гвардейских переворотов определило российскую политику на целое столетие. Иностранцев это удивляло – особенно в век Просвещения, тяготевший к подробнейшему исследованию политики и закона. Учёные мужи могли только предположить, что российский трон не был ни выборным, ни наследуемым – он был занимаемым. Перефразируя мадам де Сталь, можно сказать, что воля императора в самом деле была конституцией России. Личность государя была правительством, а правительство, как писал маркиз де Кюстин, было «абсолютной монархией, ограниченной убийством» [42].

Эпоха женщин-властительниц породила особый, русский вариант придворного фаворитизма. Покровитель Потёмкина Шувалов был последним фаворитом императрицы. Фаворитом считался доверенный союзник или любовник, зачастую скромного происхождения, которому монарх оказывал предпочтение из личных симпатий, а не благодаря его знатности. Не все фавориты стремились к власти – некоторые довольствовались богатством и почётным местом при дворе. Но в России императрицы нуждались в них, поскольку только мужчина мог командовать армией. Фавориты [43], управлявшие страной от имени своих любовниц, были идеальными кандидатами в министры[13].

Когда Шувалов, которому было всего лишь тридцать два года, представил уже обрюзгшей и хворой императрице восемнадцатилетнего Гришу Потёмкина, он особо подчеркнул его познания в греческом языке и богословии. В качестве награды императрица приказала повысить Потёмкина до звания унтер-офицера гвардии, хотя к тому моменту он не служил ещё ни дня. Вероятно, она одарила юношу сувениром – стеклянным кубком с гравировкой в виде её силуэта[14].

Мир императорского двора, должно быть, вскружил Потёмкину голову: вернувшись в Москву, он забросил свои занятия. Возможно, склонность преподавателей к пьянству и лености передалась и студентам. В 1760 году знаток иностранных языков Потёмкин, добившийся золотой медали и представленный императрице, был отчислен за «леность и нехождение в классы». Спустя годы он, уже получив княжеский титул, посетил Московский университет и встретился с профессором Барсовым, который его отчислил. Князь спросил Барсова, помнит ли тот их предыдущую встречу. «Ваша Светлость тогда того заслуживали», – ответил Барсов. Князь остался доволен ответом, обнял пожилого профессора и стал ему покровительствовать [44].

Отчисление оказалось для Потёмкина почти что катастрофой. Его крёстный и мать считали, что ничем не примечательные юноши вроде Гриши не могут позволить себе быть настолько ленивыми. К счастью, он уже числился в гвардии, но у него не было денег даже на поездку в Петербург – это означало, что семья либо не одобрила затею с поездкой, либо сняла его с довольствия. Они с матерью всё больше отдалялись друг от друга и в последующие годы почти не виделись. Позднее императрица Екатерина II сделала её придворной дамой, и Дарья гордилась своим сыном, хотя при этом открыто осуждала его личную жизнь. Значит, Григорий не просто уезжал из дома – он отправлялся в свободное плавание. Он занял у Амвросия Зертис-Каменского, тогда епископа Можайского, довольно значительную сумму в пятьсот рублей. Потёмкин часто повторял, что собирался вернуть эти деньги с процентами, но епископ был жестоко убит ещё до того, как Григорий пришёл к власти. Долг так и не был возвращён.

Жизнь молодого гвардейца протекала в атмосфере праздности и роскоши и обходилась чрезвычайно дорого, но более надёжного способа достичь величия не было. Момент оказался подходящим: Россия ввязалась в Семилетнюю войну против Пруссии, в то время как в Петербурге умирала императрица Елизавета. Гвардейцы уже вовсю плели интриги.

Прибыв в Санкт-Петербург, Потёмкин явился в главную квартиру своего гвардейского полка, которая представляла собой небольшую деревню: на берегу Невы рядом со Смольным монастырём прямоугольником расположились казармы, избы и конюшни. У полка были своя собственная церковь, а также больница, баня и тюрьма. За казармами раскинулся луг для выпаса коней и проведения парадов. Старейшие гвардейские полки, такие как Преображенский и Семёновский, изначально были основаны Петром I в качестве потешных, но затем они стали

его верными соратниками в жёсткой конфронтации со стрельцами. Благодаря наследникам Петра число полков увеличивалось. В 1730 году императрица Анна основала Конногвардейский полк, в котором служил Потёмкин [45].

Гвардейские офицеры были неспособны устоять перед «обольщениями столичной жизни» [46]. Эти юные повесы то пировали, то вели партизанскую войну с Благородным Кадетским корпусом, занимавшим Меншиковский дворец [47]. Поле их сражений, порой смертельных, простиралось от бальных залов до подворотен. Столько молодых судеб было разрушено из-за долгов, столько сбережений уходило на бесконечные походы к проституткам Мещанской слободы и игру в вист и фараон, что склонные к воздержанности родители старались определить сыновей в обычный полк – именно так, к примеру, рассуждал отец в «Капитанской дочке», восклицая: «Петруша в Петербург не поедет. Чему научится он, служа в Петербурге? мотать да повесничать? Нет, пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон» [48].

О Потёмкине вскоре узнали даже самые отчаянные и бесшабашные гвардейцы. В свои двадцать два года он обладал высоким ростом – под два метра, – был широкоплеч и чрезвычайно привлекателен для женщин. Он «мог похвастаться самой роскошной шевелюрой во всей России». Товарищи, на которых произвели впечатление его внешность и таланты, прозвали его Алкивиадом, что в ту неоклассическую эпоху было высочайшим комплиментом[15]. Образованные люди того времени изучали Плутарха и Фукидида, поэтому им был хорошо известен образ афинского гражданина: начитанного, интеллигентного, эмоционального, непостоянного, распущенного и экстравагантного. Плутарх восторженно писал о «сиянии физической красоты» Алкивиада [49]. Потёмкин сразу привлёк всеобщее внимание своим остроумием: у него был удивительный мимический талант, который обеспечил ему успех, далеко превосходивший карьеру комедианта [50]. Благодаря способностям к пародированию Потёмкин заслужил восхищение Орловых, самых сумасбродных и купавшихся в роскоши гвардейцев, и они посвятили его в интриги императорской семьи.

Гвардия охраняла императорские дворцы, и именно это придавало ей политический вес [51]. Находясь в столице и в непосредственной близости ко двору, «офицеры имели множество возможностей, чтобы о них узнали», заметил прусский дипломат [52]. «Допущенные к играм, балам, вечерам и театральным представлениям, внутрь святилища двора», они могли распоряжаться городом по своему разумению [53]. Благодаря

службе во дворце они заводили близкие и даже фривольные знакомства с богачами и придворными, что давало им ощущение личной вовлечённости в соперничество внутри императорской семьи.

Пока императрица Елизавета несколько месяцев находилась между жизнью и смертью, несколько групп гвардейцев устроили заговор, собираясь изменить порядок престолонаследования: вместо ненавистного великого князя Петра планировалось возвести на трон его жену, великую княгиню Екатерину, которая пользовалась широкой поддержкой. Стоя в карауле в императорских дворцах, Потёмкин мог наблюдать за романтической фигурой великой княгини, которая вскоре придёт к власти под именем Екатерины II. Она никогда не была красавицей, однако обладала качествами более замечательными, чем преходящий блеск: необъяснимой магией императорского достоинства в сочетании с сексуальной привлекательностью, естественной весёлостью и всепобеждающим обаянием, к которому никто не оставался равнодушным. Лучше всех о тогдашнем облике Екатерины несколькими годами ранее писал ее любовник поляк Станислав Понятовский:

«Она ‹…› достигла расцвета, какой только возможен для женщины, от природы наделенной красотой. У нее были черные волосы, ослепительной белизны и свежести цвет лица, выразительные глаза навыкате, длинные черные ресницы, заостренный носик, губы, словно зовущие к поцелую, прелестной формы руки, гибкий и стройный стан; легкая и при этом исполненная благородства походка, приятный тембр голоса, а смех – такой же веселый, как ее нрав».

Потёмкин ещё не был с ней знаком, но почти одновременно с его прибытием в Петербург Екатерина начала искать союзников среди гвардейцев, которые пылко восхищались ею и ненавидели её супруга, наследника престола. И вот, провинциальный юноша из Чижова счёл разумным присоединиться к заговору, который вознесёт её на трон – и как окажется в дальнейшем, – соединит их друг с другом. Однажды Екатерина подслушала, как один генерал почтительно высказался о ней: «Вот женщина, из-за которой порядочный человек мог бы вынести без сожаления несколько ударов кнута»; вскоре молодой Потёмкин с этим согласится [54].

2. Гвардеец и великая княгиня: переворот Екатерины

Один Бог знает, откуда моя жена берет свои беременности.
(Великий князь Петр Федорович о своей жене)

Екатерина II. Записки

Будущая императрица Екатерина II, известная под именем Великой, была вовсе не русской, но жила при дворе Елизаветы с четырнадцати лет и прилагала все усилия к тому, чтобы вести себя, по ее собственным словам, «так, чтобы русские меня любили». Лишь немногие тогда понимали, что тридцатидвухлетняя великая княгиня была талантливым политиком, проницательным государственным деятелем и великой актрисой, жаждавшей управлять Российской империей, и обладавшей всеми необходимыми для этого качествами.

Будущая императрица родилась 21 апреля (2 мая) 1729 года в Штеттине в семье князей Ангальт-Цербстских. Девочку назвали София. Ее незавидная судьба дочери небольшого княжеского дома изменилась в январе 1744 года, когда императрица Елизавета начала прочесывать всю Священную Римскую империю – брачное агентство королей, – чтобы найти невесту для только что назначенного наследника, Карла Петера Ульриха, герцога Голштинского, – ее племянника и к тому же внука Петра I. В России его только что провозгласили великим князем Петром Федоровичем, и чтобы сохранить династию, ему был нужен наследник. По ряду причин – политических, династических и личных – императрица остановила свой выбор на Софии, которая была крещена в православную веру под именем Екатерины Алексеевны и вышла замуж за Петра 21 августа 1745 года. На церемонии она была в скромном платье и с ненапудренными волосами. Присутствовавшие на свадьбе отмечали, что Екатерина прекрасно говорила по-русски и хорошо владела собой.

Екатерина быстро поняла, что Петр не подходит ни на роль ее мужа, ни на роль российского царя. Она много раз отмечала, что он был «очень ребячлив», что ему недоставало «суждения о многих вещах» и что он «не очень ценит народ, над которым ему суждено было царствовать». Брак не стал ни счастливым, ни романтическим. Напротив, только благодаря своему сильному характеру Екатерина смогла выжить в столь сложных

обстоятельствах.

Петр боялся российского двора и, судя по всему, понимал, что он не в своей стихии. Несмотря на то, что он был внуком Петра Великого, правящим герцогом Голштинским и некоторое время даже наследником не только России, но и Швеции, Петр родился под несчастливой звездой. В детстве отец отдал его на воспитание педантичному и жестокому гофмаршалу Голштинского двора, который морил ребенка голодом, бил его и заставлял часами стоять на горохе. Подростком Петр обожал парады, был полностью захвачен сначала игрой в солдатики, а затем и настоящей армейской муштрой. Недополучивший внимания и испорченный низкопоклонством Петр превратился в запутавшееся и жалкое существо, не выносившее Россию. Отдалившись от русского двора, он отчаянно цеплялся за свою веру во все немецкое и особенно прусское. Он презирал русскую религию, предпочитая лютеранство; свысока смотрел на русскую армию и боготворил Фридриха Великого [1]. Екатерина не могла не заметить, что Петру недоставало здравого смысла и деликатности, но она «выказывала ‹…› безграничную покорность императрице, отменное уважение великому князю и изыскивала со всем старанием средства приобрести расположение общества». Постепенно последняя задача стала важнее первой.

Вскоре после приезда Екатерины и без того непривлекательные черты Петра были обезображены оспой. Теперь Екатерина находила его «отвратительным», но поведение наследника престола было еще хуже его [2]. В первую брачную ночь невеста пережила унижение: муж не пришел к ней в спальню [3]. Во время сезонных перемещений двора из Летнего дворца в Зимний, из Петергофа на берегу Финского залива в Царское Село, на юг, в Москву, или на запад, в Лифляндию, великая княгиня утешалась чтением французских просветителей (с этого времени книги стали ее постоянными спутниками) и верховой ездой. Она изобрела седло особой конструкции, которое позволяло ей сидеть на лошади боком, когда за ней наблюдала императрица, и по-мужски, когда она оставалась одна. Несмотря на то, что современной нам психологии еще не существовало, читая ее мемуары, хорошо понимаешь, что в эпоху *sensibilite* сексуальный подтекст этого буйного развлечения был так же очевиден, как и сейчас [4].

Чувственная и игривая Екатерина (чьи чувства, возможно, еще не пробудились до конца), оказалась запертой в стерильном, сексуально не реализованном браке с отталкивающим и ребячливым мужем, в то время как ее окружали хитроумные придворные, среди которых были самые красивые и утонченные

мужчины России. Некоторые из них тут же влюбились в нее, в том числе Кирилл Разумовский, брат фаворита императрицы, и Захар Чернышев, будущий министр. Екатерина постоянно находилась под прицелом чужих взглядов. Положение становилось затруднительным: она должна была хранить верность мужу и в то же время зачать ребенка. При такой жизни Екатерина быстро пристрастилась к карточным играм, особенно к «фараону» – как и многие другие несчастные женщины из высшего общества в то время.

К началу 1750-х годов брак превратился из неловкого в несчастный. Екатерина имела все основания, чтобы разрушить репутацию Петра, но она проявляла по отношению к мужу сочувствие и доброту, пока его поведение не поставило под угрозу само ее существование. Как бы то ни было, она не преувеличивала его отсталость и грубость: к тому моменту их брак так и не стал реальностью. Возможно, у Петра был тот же физический недостаток, что и у Людовика XVI. Очевидно, что он был недоразвит, самодоволен и невежественен [5]. Такой брак охладил бы чувства любой женщины. Екатерина была вынуждена проводить ночи в одиночестве, пока ее тщедушный муж играл в кукол и в солдатиков или терзал поблизости от нее скрипку. Он держал в ее комнате собак и часами заставлял ее стоять с мушкетом в карауле [6].

Ее кокетство не заходило слишком далеко, пока не появился Сергей Салтыков, двадцатишестилетний отпрыск старого московского рода. Екатерина называет его «прекрасным, как рассвет», но если читать между строк, можно понять, что это был обычный дамский угодник. Екатерина влюбилась. Вероятно, он был ее первым любовником. Удивительно, но этого потребовала высочайшая воля: императрица Елизавета Петровна желала иметь наследника, и неважно, кто будет его отцом [7].

После первого выкидыша Екатерина снова забеременела. Ребенок, наследник престола Павел Петрович, родился 20 сентября 1754 года. Императрица тут же забрала его от матери. Екатерина осталась «одна на родильной постели» в слезах, «всеми покинута», и еще много часов пролежала на мокрых и грязных простынях: «даже не посылали осведомиться обо мне», – писала она [8]. Она успокаивала себя чтением «О духе законов» Монтескье и «Анналов» Тацита. Салтыкова отослали от двора.

Кто был отцом будущего императора Павла Первого, от которого пошла вся остальная династия Романовых вплоть до Николая Второго? Был это Салтыков или Петр? Заявления Екатерины о том, что их брак не был консумирован, могут быть лживыми: она имела все основания унижать мужа, а позднее даже

предполагала лишить Павла права наследовать престол. Павел вырос некрасивым и курносым, в то время как Салтыков, которого называли «le beau Serge», «прекрасный Сергей», славился своей красотой. Впрочем, Екатерина лукаво отмечала, что брат Салтыкова был нехорош собой. Вероятность того, что настоящим отцом был Салтыков, велика.

Можно пожалеть Петра, который совершенно не разбирался в ядовитых тонкостях дворцовых интриг, но любить этого тщеславного злобного пьяницу было невозможно. Однажды Екатерина нашла в покоях Петра огромную повешенную крысу. Когда она спросила, в чем дело, он ответил, что грызун был уличен в военном преступлении и заслуживал строжайшего наказания по законам военного времени. Его «преступление» заключалось в том, что он забрался в картонную крепость Петра и съел двух сделанных из крахмала двух часовых. В другой раз великий князь устроил в присутствии Екатерины истерику и сказал ей, что всегда знал, что Россия погубит его [9].

В своих «Записках» Екатерина пишет, что она, невинная молодая мать, начала задумываться о будущем, только когда откровенная глупость мужа начала угрожать ей и Павлу. Она утверждает, что ее восхождение на трон было почти что предопределено свыше. Это было вовсе не так – Екатерина в течение всех 1750-х годов планировала захватить власть с помощью с различных заговорщиков, от канцлера императрицы до английского посланника. Когда здоровье Елизаветы стало ухудшаться, а Петр запил, Европа вплотную приблизилась к Семилетней войне, а струны российской внутренней и внешней политики натянулись, Екатерина бросила все свои силы на то, чтобы выжить – и подняться на самый верх.

Теперь, когда она подарила стране наследника, ее домашняя жизнь стала свободнее. Она начала наслаждаться своим положением красивой женщины при дворе, где все было пропитано любовными интригами. Вот что она сама об этом пишет:

«Я только что сказала о том, что я нравилась, следовательно, половина пути к искушению была уже налицо, и в подобном случае от сущности человеческой природы зависит, чтобы не было недостатка и в другой, ибо искушать и быть искушаемым очень близко одно к другому, и, несмотря на самые лучшие правила морали, запечатленные в голове, когда в них вмешивается чувствительность, как только она проявится, оказываешься уже бесконечно дальше, чем думаешь…» [10]

В 1755 году на балу, во дворце великого князя, находившемся неподалеку от Петергофа, в Ораниенбауме, Екатерина встретила

двадцатитрехлетнего поляка Станислава Понятовского – секретаря нового английского посланника [11]. Понятовский был представителем могущественной пророссийской польской партии, сформировавшейся вокруг его дядьев, братьев Чарторыйских, и их родственников, известных также как «фамилия». Но помимо этого он был воплощением идеала культурного светского молодого человека эпохи Просвещения с налетом романтического меланхолического идеализма. Они с Екатериной влюбились друг в друга [12]. Это был первый роман, в котором Екатерина почувствовала себя любимой.

Столкновения между британцами и французами в верховьях реки Огайо повлекли за собой события, приведшие к Семилетней войне, география которой простиралась от Рейна до Ганга и от Монреаля до Берлина. Россия вмешалась в войну, потому что Елизавета ненавидела новых властителей Пруссии и Фридриха Великого, чьи шутки о ее необузданной чувственности выводили ее из себя. В этом грандиозном дипломатическом танце остальные действующие лица внезапно поменяли своих союзников, что привело к концу «старой системы» и получило название «дипломатической революции». Когда в августе 1756 года музыка перестала играть, Россия в союзе с Австрией и Францией вступила в войну с Пруссией, получавшей финансирование от Англии (при этом Россия не вступала в войну с Англией). В 1757 году российская армия вошла в Восточную Пруссию. Война отравила политические устремления двора и разрушила любовную связь Екатерины и Понятовского, который, конечно, принадлежал к английскому лагерю и в итоге вынужден был уехать. Екатерина была беременна от Понятовского, их дочь – Анна Петровна – родилась в декабре 1757 года. Как и Павла до этого, Елизавета отняла дочь у матери и воспитывала ее сама [13].

Екатерина приближалась к самом опасному кризису в своей жизни великой княгини. После победы над Пруссией 19/30 августа 1757 года в битве при Гросс-Ягерсдорфе фельдмаршал Апраксин, с которым Екатерина дружила, узнал, что Елизавета заболела. Он позволил прусской армии отступить и отвел свои армии, вероятно, сочтя, что императрица скоро умрет и Петр III заключит мир со своим кумиром Фридрихом Великим. Императрица не умерла и, как и большинство тиранов, оказалась весьма чувствительна к своей смертности. Во время войны она воспринимала подобные мысли как мятежные. Проанглийская партия была уничтожена, а Екатерина оказалась под серьезным подозрением, особенно когда испуганный муж не стал ее поддерживать. Великая княгиня осталась в одиночестве, и ей

грозила настоящая опасность. Она сожгла все свои бумаги, выждала момент, а затем разыграла свою партию с потрясающим хладнокровием и мастерством [14].

Екатерина спровоцировала открытый конфликт: она рассказывает в своих «Записках», как 13 апреля 1758 года, воспользовавшись хорошим отношением Елизаветы к себе и ее растущей неприязнью к собственному племяннику, потребовала, чтобы ее отправили домой к матери. Императрица решила допросить Екатерину самостоятельно. Как в византийской драме, Екатерина защищала себя в суде перед императрицей, в то время как Петр бормотал обвинения. Она воспользовалась своим очарованием, разыграла неподдельное возмущение и, как всегда, обезоружила императрицу словами о своей любви и благодарности. Отпуская ее, Елизавета шепнула: «Мне надо будет многое вам еще сказать…» [15]. Екатерина поняла, что победила, и с радостью услышала от прислуги, что Елизавета с отвращением назвала своего племянника «чудовищем» [16]. Когда конфликт улегся, Екатерина и Петр продолжили довольно мирное сосуществование. Петр взял в любовницы известную своей непримечательной внешностью Елизавету Воронцову, племянницу канцлера, поэтому ему не претила связь Екатерины с Понятовским, который ненадолго вернулся в Россию. Однако позже Станиславу, несмотря на свою любовь к Екатерине, пришлось уехать, и она снова осталась в одиночестве.

Через два года Екатерина заметила Григория Орлова, поручика Измайловского полка, который, отличившись в битве с пруссаками при Цорндорфе и получив в ней три шрама, вернулся в Петербург, сопровождая прусского аристократа-военнопленного, графа Шверина. Петр, восхищавшийся всем прусским, с восторгом подружился со Швериным. Вероятно, так Екатерина и познакомилась с Орловым, хотя легенда гласит, что она впервые увидела его из своего окна стоявшим на часах.

Григорий Григорьевич Орлов был красив, высок и одарен, как писал английский дипломат, «самой счастливой наружностью и умением держать себя» [17]. Орлов был из семьи гигантов[16] – все пятеро братьев были одинаково гаргантюанских размеров [18]. Говорили, что у него было ангельское лицо, но к тому же он был веселым шумным солдатом, из тех, кого все любят: «он был прост и прямолинеен, без притворства, учтив, популярен, добродушен и честен. Он никогда никому не делал зла» [19] – и обладал огромной силой [20]. Когда пятнадцать лет спустя Орлов посетил Лондон, Гораций Уолпол так описал его обаяние: «Орлов Великий, или, точнее, Большой, здесь ‹…› Он танцует, как гигант, и ухаживает, как исполин».[17] [21]

Орлов был сыном провинциального губернатора и не принадлежал к высшей знати. Он вел свой род от стрельца, которого Петр Великий приказал обезглавить. Когда пришла его пора умирать, дед Орлова взошел на эшафот и пнул лежавшую на его пути голову предыдущего казненного. Петр так был восхищен его самообладанием, что помиловал смертника. Орлов не был умен – «очень красив, – писал о нем французский посланник Бретейль своему министру Шуазелю в Париж, – но ‹…› очень глуп». Вернувшись в Россию в 1759 году, Орлов получил должность адъютанта графа Петра Шувалова – генерала-фельдмаршала, главы русского правительства и двоюродного брата патрона Московского университета. Вскоре Орлов соблазнил любовницу Шувалова, княгиню Елену Куракину. К счастью для Орлова, Шувалов умер, не успев ему отомстить.

В начале 1761 года Екатерина и Орлов встретились и полюбили друг друга. Понятовский был утонченным и искренним, а Григорий Орлов – воплощением силы и мощи, обладал медвежьим добродушием и, что намного важнее, представлял политическую силу, которая скоро должна была понадобиться. Уже в 1749 году Екатерина могла предложить своему мужу поддержку преданных ей гвардейцев. Теперь же за ней стояли братья Орловы и их соратники. Самым могущественным и беспощадным из них был Алексей, брат Григория. Несмотря на шрам на лице, он очень походил на Григория, но отличался «грубой силой и бессердечностью», что сделало Орловых невероятно полезными в 1761 году [22].

Орлов и его друзья-гвардейцы обсуждали множество смелых, но вероятно довольно расплывчатых планов по возведению Екатерины на престол к концу 1761 года. Как именно развивались события, до конца непонятно, но примерно тогда же молодой Потёмкин впервые познакомился с Орловыми. Один источник утверждает, что Григория Орлова привлекла репутация Потёмкина как очень умного человека, но у них были и другие общие интересы – оба были известны как успешные ловеласы и азартные игроки. Они не были друзьями, но вращались в одних и тех же кругах [23].

Екатерине были нужны такие соратники. В последние месяцы жизни Елизаветы она не питала иллюзий относительно великого князя Петра, который открыто говорил о том, чтобы развестись с Екатериной, жениться на своей любовнице Воронцовой и порвать с союзниками ради спасения своего кумира Фридриха Прусского. Петр представлял опасность для Екатерины, ее сына, страны и самого себя. Она ясно видела, что ей приходится выбирать: «во-первых, делить участь Его Императорского Высочества, как она

может сложиться; во-вторых, подвергаться ежечасно тому, что ему угодно будет затеять за или против меня; в-третьих, избрать путь, независимый от всяких событий. Но, говоря яснее, дело шло о том, чтобы погибнуть с ним или через него или же спасать себя, детей и, может быть, государство от той гибели, опасность которой заставляли предвидеть все нравственные и физические качества этого государя».

Как раз в это время Елизавета начала угасать, и Екатерине нужно было быть готовой к тому, что спасти себя «от гибели» и, возможно, возглавить переворот, – великая княгиня поняла, что беременна от Григория Орлова. Она тщательно скрывала свое положение, но на время вышла из политической гонки.

В четыре часа дня 25 декабря 1761 года пятидесятилетняя императрица Елизавета ощутила такую слабость, что не могла даже харкать кровью. Она просто лежала, корчась, на своей постели в недостроенном барочном Зимнем дворце в Санкт-Петербурге, дыхание ее стало медленным и хриплым, конечности отекли и распухли. Вокруг нее столпились придворные, полные надежд и страхов и не знавшие, что им принесет смерть императрицы. Смерть правителя в то время носила еще более публичный характер, чем рождение наследника: это было официальное событие со своим этикетом, потому что передача престола наследнику была передачей священной власти. Запах пота, рвоты, фекалий и мочи наверняка перебивал сладкий аромат свечей, духов дам и перегара мужчин. Духовник Елизаветы молился, но она уже не могла повторять за ним [24].

Трон переходил к тщедушному, рябому, тридцатичетырехлетнему великому князю Петру, совершенно ничего не знавшему о русской культуре и народе, и вряд ли хоть кто-то этому радовался. Придворные втайне уже опасались Петра и возлагали надежды на Екатерину. Многие вельможи знали, что наследник явно не подходил для своей новой роли. Им было необходимо все правильно рассчитать, чтобы обезопасить свою карьеру и семьи, но ключом к выживанию оказывались молчание, терпение и бдительность.

Гвардейцы стояли в карауле у дворца на пронизывающем холоде, напряженно наблюдая за тем, как проходила смена власти, и гордясь собственной ролью в возведении на трон и низвержении монархов. Немедленных действий хотели в основном те горячие головы, которые собрались вокруг Орловых, включая Потёмкина. Однако об отношениях Екатерины с Орловым и особенно о тщательно скрываемой беременности великой княгини (а она была на шестом месяце) знали только самые приближенные. Даже частным лицам было сложно

сохранять в тайне свою беременность, не говоря уж о княжнах из царского рода. Екатерина умудрилась скрывать ее даже у смертного одра умиравшей императрицы, где было множество людей.

Два бывших фаворита Елизаветы, добродушный и атлетично сложенный казак Алексей Разумовский – певчий церковного хора, ставший графом, – и красивый круглолицый Иван Шувалов, университетский патрон Потёмкина, всего тридцати четырех лет от роду, смотрели на умирвшую с любовью и тоской. Князь Никита Трубецкой – похожий на быка генерал-прокурор Сената – представлял древнейшую российскую аристократию. Наследника, великого князя Петра, видно не было. Он пил со своими немецкими приятелями, совершенно не считаясь с правилами приличия и такта, чем вызывал всеобщую ненависть. Но его жена Екатерина, которая императрицу одновременно и любила, и ненавидела, оставалась рядом с умиравшей и, обливаясь слезами, не спала в течение двух ночей.

Екатерина была настоящим олицетворением заботы и внимания к умиравшей тетке-императрице. Кто из восхищавшихся ее искренними слезами, мог догадаться, что всего несколько лет назад она ехидно цитировала слова Понятовского о Елизавете: «Ох уж эта колода! Она истощает наше терпение! Скорей бы она умерла!» Шуваловы, принимавшие активное участие в дворцовых интригах, уже предлагали Екатерине изменить порядок престолонаследия в ее пользу и в пользу ее сына-младенца, великого князя Павла, но тщетно. Все интриганы потерпели крах и отошли в сторону. Выжила только Екатерина, и она все больше приближалась к трону [25].

Императрица затихла, стало понятно, что она умирает. Вызвали великого князя. Он тут же явился. Как только больная отошла, придворные склонили колени перед Петром Третьим. Он быстро вышел и направился прямиком в Совет, чтобы принять бразды правления. По словам Екатерины он приказал ей оставаться подле усопшей до его дальнейших указаний [26]. Фрейлины Елизаветы уже сгрудились вокруг тела, чтобы прибрать его, вытереть пот с шеи и лба, нарумянить щеки покойной и в последний раз закрыть ее ярко-голубые глаза.

Все рыдали: несмотря на сластолюбие и жестокость Елизаветы, ее любили. Она многое сделала, чтобы вернуть России статус великой европейской державы, в котором страну оставил ее отец. Разумовский поспешил в свои покои, чтобы оплакать потерю. Ивана Шувалова одолели «ипохондрические мысли», и он чувствовал себя беспомощно. Отважный генерал-прокурор открыл двери в приемную и объявил, не сдерживая слез, катящихся по

его старому лицу: «Ее Императорское Величество уснула с миром, Храни Господь нашего Всемилостевейшего правителя, императора Петра Третьего». Имя нового правителя вызвало ропот, но пока что «весь двор наполнился плачем и стенанием» [27]. «Несмотря на обычное торжество праздника, Петербург встретил это событие печально; на каждом лице отразилось чувство уныния. ‹…› вид солдат был угрюмый и несамодовольный; по рядам пробегал глухой, сдавленный ропот» [28].

В семь часов вечера сенаторы, генералы и придворные присягнули на верность Петру III и пропели «Тебе Бога хвалим». Пока митрополит Новгородский торжественно обращался к новому императору с наставлением, Петр III, который обезумел от счастья и не скрывал этого, вел себя возмутительно и «валял дурака» [29]. Позже 150 первых дворян империи приветствовали новую эпоху, собравшись на ужин в галерее, всего в трех комнатах от спальни покойной императрицы.

Екатерина сыграла свою роль женщины, проникнутой sensibilité и хладнокровного политика. Она оплакивала императрицу и провела у ее тела три последующих дня. Можно предполагать, что к тому времени в перегретой комнате уже стояло зловоние [30].

На войне русские войска только что заняли прусскую крепость Кольберг и оккупировали Восточную Пруссию, а другие части армии продвигались в глубь Силезии вместе с союзными австрийцами. Падение Фридриха Великого было неизбежно. Дорога на Берлин оказалась свободной. Только чудо могло спасти монарха, и этим чудом стала смерть Елизаветы. Петр приказал немедленно остановить наступление и начал мирные переговоры с королем Пруссии, который не мог поверить своему счастью. Фридрих был готов отдать России Восточную Пруссию, но даже этого не потребовалось.[18] Вместо этого Петр готовился начать собственную войну против Дании, чтобы отобрать у нее Шлезвиг и вернуть его Голштинии.

На похоронах Елизаветы 25 января 1762 года пребывавший в прекрасном настроении император Петр III придумал игру, чтобы день проходил не так скучно: он шел позади катафалка, давал ему отъехать на десять метров, а затем бегом догонял, таща за собой пожилых придворных, которые несли его траурный шлейф. «Слух о недостойном поведении императора распространился мгновенно».

Разумеется, критики обратили взоры к его жене. В момент смерти Елизаветы Екатерина получила сообщение от гвардейца, князя Кирилла Дашкова: «Повели, мы тебя взведем на престол». Дашков был одним из членов кружка гвардейцев, в который в том

числе входили и герои Семилетней войны, включая братьев Орловых. Но беременная Екатерина не была готова. Во все-таки произошедшем екатерининском перевороте удивительно не то, что он оказался успешным – любой заговор зависит от воли случая, – но то, что он мог свершиться и за полгода до этого. Екатерине удалось предотвратить его стремительное развитие до тех пор, пока она не оправилась от родов.

Сам император, не подозревая об этом, предрешил как время, так и энергичность переворота. За свое недолгое правление Петр умудрился восстановить против себя почти всех значимых представителей российской политической сцены. Впрочем, его решения не были варварскими, хотя часто оказывались неблагоразумными. 21 февраля 1762 года он упразднил страшную Тайную канцелярию, хотя часть ее выжила и стала называться Тайной экспедицией при Сенате. Тремя днями раньше император провозгласил манифест о вольности дворянства, освобождавший дворян от введенной Петром Великим обязательной военной службы.

Эти меры должны были завоевать Петру популярность, но другие его действия выглядели так, будто специально были направлены против важнейших интересов России. Особенно это сказалось на армии: за годы Семилетней войны она победила Фридриха Великого, захватила Берлин и привела огромную и могущественную военную машину Пруссии на край гибели. А теперь Петр III не только заключил мир с Пруссией, но и договорился прислать на помощь Фридриху войска, которые до этого помогали австрийцам. Ситуация усугубилась тем, что 24 мая Петр от имени Голштинии объявил ультиматум Дании, что должно было привести к войне, совершенно не связанной с интересами России. Он решил лично командовать войсками.

Петр издевательски называл гвардейцев «янычарами» – турецкими пехотинцами, которые сажали на трон и свергали османских султанов. Он решил распустить часть гвардейских полков [31]. Это усилило оппозиционные настроения среди гвардейцев. Вахмистр гвардии Потёмкин, уже немного знакомый с Орловыми, захотел участвовать в заговоре. Вот как это произошло. Один из «орловцев», капитан Преображенского полка, пригласил университетского друга Потёмкина, Дмитрия Бабарыкина, «вступить в кружок». Бабарыкин отказался – ему не нравилась их «дикая жизнь» и связь Григория Орлова с Екатериной. Но он поделился своим отвращением с университетским товарищем. Потёмкин «тут же» потребовал, чтобы Бабарыкин представил его капитану Преображенского полка. Он незамедлительно присоединился к заговорщикам [32].

Первое же известное историкам действие Потёмкина как политика показывает его проницательным, бесстрашным, целеустремленным и способным действовать, исходя из своей интуиции. Для молодого провинциала быть в такое время гвардейцем оказалось чрезвычайной удачей.

Тем временем Петр назначал своих голштинских родственников на высочайшие должности в стране. Дядя Петра (и Екатерины) Георг Людвиг Гольштейн-Готторпский стал членом Совета, полковником лейб-гвардии Конного полка и фельдмаршалом. Когда-то, еще до отъезда молодой Екатерины в Россию, Георг Людвиг ухаживал за ней. По случайному совпадению, когда 21 марта принц прибыл из Голштинии, его адъютантом назначили вахмистра Потёмкина [33]. Потёмкин не стеснялся продвигать сам себя по службе: теперь он получил возможность снабжать заговорщиков информацией. Принц Георг Людвиг заметил, что Потёмкин был великолепным наездником, и назначил его сержантом гвардии. Другой голштинский принц стал генералом-губернатором Санкт-Петербурга и командующим всеми российскими войсками в Балтийском регионе.

Согласие на секуляризацию большой части земель Православной церкви дала еще императрица Елизавета, но соответствующий указ в начале своего правления, 21 марта, подписал уже Петр [34]. Его дурачество и проявление явного неуважения на похоронах Елизаветы показывали не только недостаток воспитания, но и презрение к православию. Эти действия возмущали армию, беспокоили гвардейцев, оскорбляли верующих и сводили на нет победы в Семилетней войне.

Недовольство в Петербурге было настолько сильным, что Фридрих Великий, которому безрассудство Петра было больше всего на руку, боялся, что императора свергнут, если тот оставит Россию и отправится командовать датским походом [35]. Злить армию и раздражать Церковь было безрассудно, но выводить из себя гвардейцев – откровенно глупо, а делать все вместе – просто самоубийственно. Однако переворот, не произошедший из-за беременности Екатерины в момент смерти Елизаветы, не мог совершиться без руководителя. Петр знал, что на трон есть три потенциальных претендента. Царь, вероятно, собирался убрать одного за другим своих конкурентов, но оказался как всегда слишком неуклюжим и медлительным.

Десятого апреля 1762 года Екатерина родила Григорию Орлову сына, которого назвали Алексеем Григорьевичем Бобринским. Он стал третьим ребенком Екатерины. Даже спустя четыре месяца после воцарения Петра лишь небольшой кружок гвардейцев знал о связи Екатерины и Орлова – не подозревала об

этом даже ее подруга, княгиня Екатерина Дашкова, сыгравшая большую роль в заговоре и бывшая женой одного из поддерживавших Екатерину гвардейцев. Петр вел себя так, будто он ни о чем не подозревал. Это помогает понять, почему заговор не был раскрыт. Петра никто не информировал. Он не был в состоянии использовать те секретные силы, которые так нужны диктаторам [36].

Екатерина оправилась после родов в начале мая, но все еще колебалась. Не перестававший пить император все чаще говорил, что он с ней разведется и женится на своей любовнице Елизавете Воронцовой. Это заставило Екатерину решиться. В своем письме Понятовскому от 2 августа 1762 года она признается, что переворот зрел уже полгода. Теперь он стал реальностью [37].

«Законным» наследником Петра была не жена, а сын, великий князь Павел, которому недавно исполнилось шесть лет: многие присоединились к заговору в надежде, что именно он станет императором, а мать – регентом. Ходили слухи, что император хотел заставить Салтыкова признаться, что он – настоящий отец Павла, и тогда Петр смог бы развестись с Екатериной и основать новую династию с Воронцовой.

Все забыли, что в России был другой император: Иван VI, заживо погребенный в недрах Шлиссельбургской крепости к востоку от Петербурга на берегу Ладожского озера. Елизавета свергла Ивана в 1741 году еще ребенком, но теперь ему было около двадцати. Петр проведал забытого царя в его сыром подземелье и обнаружил, что тот не в своем уме – хотя его ответы звучали вполне разумно. «Кто ты?» – спросил император Петр. «Я император», – ответил Иван. Когда Петр спросил, почему его собеседник так в этом уверен, тот ответил, что ему об этом сообщили Дева Мария и ангелы. Петр пожаловал ему халат. Иван надел его с удовольствием и забегал по подземелью «как дикарь, которого одели в первый раз». Разумеется, Петр был очень рад, что хотя бы один потенциальный соперник никогда не сможет оказаться на троне [38].

Петр сам стал причиной того, что небольшие группки заговорщиков-гвардейцев превратились в смертельную для него коалицию. Двадцать первого мая он заявил, что покинет Петербур и во главе армии отправится в Данию. Пока войска готовились к выступлению на Запад, император покинул столицу и отправился в свой любимый летний дворец в Ораниенбауме возле Петергофа, собираясь оттуда начать войну. Многие солдаты не желали участвовать в этой непопулярной кампании.

За несколько недель до этого Петр сам поспособствовал своему свержению. В конце апреля император устроил банкет,

отмечая мир с Пруссией. Как обычно, он был пьян. Он предложил тост за императорскую семью, имея в виду себя и своих голштинских дядьев. Екатерина не встала. Петр заметил это и закричал на нее, спрашивая, почему она не встала и не выпила. Когда та ответила, что тоже является членом императорской семьи, император закричал: «Дура!» Придворные и дипломаты застыли в молчании. Екатерина покраснела и расплакалась, но быстро взяла себя в руки.

Говорят, что тем вечером Петр приказал своему адъютанту арестовать Екатерину и отправить ее в монастырь – в лучшем случае. Адъютант поспешил к принцу Георгу Людвигу Голштинскому, который понял безрассудство подобного шага. Дядя Петра, чьим слугой был Потёмкин, убедил его отменить этот приказ.

Под угрозой оказалась не только политическая карьера Екатерины, но и сама ее жизнь и жизнь ее детей. Ей пришлось защищаться. Следующие три недели Орловы и их подчиненные, включая Потёмкина, лихорадочно готовили гвардейцев к бунту [39].

План заключался в том, чтобы арестовать Петра на пути из Ораниенбаума за глупую идею войны против Дании и заключить его в неприступной Шлиссельбургской крепости вместе с сумасшедшим царем Иваном VI. Согласно рассказу Екатерины, к бунту были готовы тридцать или сорок офицеров и около 10 000 солдат [40]. Трое главных заговорщиков объединили свои усилия, но до последних дней почти ничего не знали об участии друг друга в заговоре. Вся связь шла через Екатерину. Смешно, но каждый из троих думал, что именно он и только он возвел Екатерину на трон.

Орлов и его гвардейцы, включая Потёмкина, были главными организаторами и силой бунта. В каждом полку имелись преданные офицеры. Потёмкин должен был подготовить конногвардейцев [41]. Однако оставшиеся две группы также были важны не только для успеха заговорщиков, но и для того, чтобы Екатерина смогла удержать власть.

Екатерина Дашкова, урожденная Воронцова, была уверена в том, что именно она обеспечила возможность переворота. Эта невысокая, стройная и бойкая девятнадцатилетняя женщина, жена гвардейца – сторонника Екатерины, считала себя Макиавелли в юбке. Она была необходима для связей с высшей аристократией: императрица Елизавета и великий князь Петр были ее крестными. Дашкова плоть от плоти крошечного мирка придворных, где все приходились друг другу родственниками,

была не только племянницей как канцлера Петра III – Михаила Воронцова, так и воспитателя великого князя Павла, Никиты Панина, который впоследствии был руководителем внешней политики Екатерины, но еще и родной сестрой «некрасивой и глупой» любовницы императора [42]. Дашковой была отвратительна связь ее сестры и императора. Это яркий пример того, что семейные связи не всегда определяют политическую принадлежность: Воронцовы были у власти, но Воронцова участвовала в заговоре, призванном их свергнуть. «Политика с самых ранних лет особенно интересовала меня», – пишет она в своих хвастливых и недостоверных записках, которые вместе с мемуарами Екатерины представляют собой наилучшее свидетельство эпохи [43].

Третьим заговорщиком был Никита Иванович Панин, дядя Дашковой: как обер-гофмейстер и воспитатель великого князя Павла он контролировал одну из ключевых фигур в этой партии. Поддержка Панина была Екатерине необходима. Раз Петр III раздумывал, не признать ли ему Павла незаконным сыном, это угрожало Панину – он мог потерять высокое место обер-гофмейстера. Сорокадвухлетний Панин – ленивый, толстый, но обладавший очень острым умом, – не походил на энергичного политика: он был настолько полным и гладким, что напоминал евнуха. Княгиня Дашкова описывала его «высокую бледно-болезненную фигуру, искавшую во всем удобства, жившую постоянно при дворе, чрезвычайно щепетильную в своей одежде, носившую роскошный парик с тремя распудренными и позади смотавшимися узлами, короче – образцовую фигуру, напоминавшую старого куртизана времен Людовика XIV» [44]. Тем не менее Панин не верил в ничем не ограниченную тиранию царей и особенно порицал крайнюю распущенность, невоздержанность и пьянство Петра [45].Как и многие образованные аристократы, Панин надеялся заменить правление Петра аристократической олигархией. Он протестовал против фаворитизма, но его собственная семья возвысилась по императорской прихоти[19]. В 1750-х императрица Елизавета интересовалась Никитой Паниным, и у них, вероятно, была недолгая любовная связь, которая закончилась, когда тогдашний фаворит императрицы, Иван Шувалов, отправил Панина в дипломатическую миссию в Швецию. В 1760 году Панин вернулся, оказался не причастен к интригам елизаветинских политиков и стал приемлем для всех партий [46]. И Екатерина, и Панин хотели свергнуть Петра, но проблема была в том, что при этом у них были различные цели: Екатерина собиралась править сама, а Панин, Дашкова и остальные считали, что императором

должен стать великий князь Павел [47]. «Молодой заговорщице, – писала Дашкова, – было очень нелегко завоевать содействие такого осторожного политика, как Monsieur Panin», однако взаимопонимание между ними в конце концов было достигнуто.

Двенадцатого июня Петр уехал в Ораниенбаум. Екатерина ждала всего в восьми верстах оттуда – в Петергофе, на летней вилле Монплезир.

Двадцать седьмого июня случилось непредвиденное: был уволен и арестован капитан Пассек, один из гвардейцев-заговорщиков. Стало понятно, что долго скрывать заговор от Петра не получится. Несмотря на то, что дворян пытали редко, все опасались именно этого. Пассек наверняка бы проговорился.

Орловы, Дашкова и Панин в панике собрались вместе в первый (и последний) раз, а Потёмкин и другие заговорщики ждали их указаний. Дашкова пишет, что обычно суровые Орловы были в смятении, «желая успокоить тревогу этих двух молодых людей, я подтвердила свою личную готовность встретить опасность и просила их еще раз уверить солдат, прямо от меня, в том, что императрица совершенно благополучна, живет на свободе в Петергофе и что они должны быть спокойны и покорны приказаниям других, иначе дело будет проиграно». Ошибка могла стоить этим людям жизни, и бравада самоуверенной молодой княгини вряд ли их успокоила [48].

В свою очередь на юную княгиню вряд ли могли произвести впечатление грубоватые Орловы, которые на ее вкус были слишком простыми и невежественными. Она приказала Алексею Орлову, главному организатору переворота, известному как «Меченый» – Le Balafre, немедленно скакать в Монплезир. Однако Григорий Орлов не мог решить, надо ли ехать за императрицей тем же вечером или следует подождать следующего дня. Дашкова уверяла, что решила за него: «Я остолбенела. Это так взбесило меня, что я не могла сдержать своего гнева (причем выразилась довольно энергично) против самовольного замедления исполнения моих приказаний, данных Алексею Орлову. «Вы упустили самое драгоценное время, – сказала я. – Вы боялись потревожить государыню и решили, вместо того чтобы своевременно явиться с нею в Петербург, обречь ее на жизнь в темнице или одну с нами участь на эшафоте. Скажите же своему брату, чтобы он немедленно скакал в Петергоф и привез ее в город как можно скорей» [49].

Любовник Екатерины наконец согласился. Заговорщики в Петербурге получили приказ поднять восстание среди гвардейцев. Посреди ночи Алексей Орлов в экипаже отправился за Екатериной в Монплезир, взяв с собой нескольких гвардейцев,

некоторые ехали на запятках, а другие следовали за ними в отдельном экипаже. Среди них был и вахмистр Потёмкин.

В шесть утра они прибыли в Монплезир. Пока Потёмкин ждал у экипажа с форейторами, готовый отправиться в обратный путь, Алексей Орлов поспешил в специальную пристройку к павильону, ворвался в комнату Екатерины и разбудил любовницу своего брата.

«Пора вам вставать; все готово для того, чтобы вас провозгласить, – сообщил Алексей Орлов. – Пассек арестован». Екатерине этого было достаточно. Она быстро оделась в черное. Переворот должен был свершиться сегодня – или никогда. Если бы он провалился, они все оказались бы на эшафоте [50].

Алексей Орлов помог Екатерине подняться в экипаж, укрыл ее своим плащом и приказал форейторам скакать восемнадцать километров обратно в Петербург на полной скорости. Потёмкин и еще один офицер, Василий Бибиков, вскочили на запятки, чтобы охранять драгоценный груз. Многие спорят о том, что Потёмкин делал в эти часы, но приводимый ниже рассказ, публикуемый впервые, записал англичанин Реджинальд Поль Кери, который позже хорошо знал Потёмкина и, вероятно, слышал его из первых уст [51].

Екатерина все еще была в кружевном ночном чепце. Они встретили мчавшийся из столицы экипаж. По случайному совпадению в нем оказался ее французский парикмахер Мишель, который вскочил в экипаж императрицы и причесал ее на пути к революции, хотя по прибытии прическа и была ненапудренной. Возле столицы они встретили карету Григория Орлова. Екатерина, Алексей и парикмахер поменялись с ним экипажами. Возможно, Потёмкин был с ними. Кареты направились прямо к казармам Измайловского полка, где их встретили «двенадцать человек и барабанщик». Империю можно захватить и с таким числом сподвижников. «Двое солдат, – вспоминала Екатерина, – бросились целовать мне руки, ноги, подол платья, называли меня спасительницей. Двое ‹…› привели священника с распятием и начали приносить присягу». Их полковник (и бывший воздыхатель Екатерины) граф Кирилл Разумовский, гетман Украины, поцеловал ей руку и преклонил колено.

Екатерина еще раз поднялась в экипаж в сопровождении священника и солдат и отправилась в казармы Семеновского полка. «Они встретили нас криками «“Виват”!». Объезд казарм превратился в триумфальное шествие. Но не все офицеры поддерживали восстание: брат Дашковой и племянник канцлера Петра Третьего, Семен Романович Воронцов, оказал сопротивление и был арестован. Когда Екатерина была между

Аничковым дворцом и Казанским собором, вахмистр Потёмкин появился во главе своих конногвардейцев. Мужчины приветствовали императрицу с нескрываемым энтузиазмом. Возможно, она уже знала Потёмкина как одного из организаторов заговора, потому что позже хвалила лейтенанта Хитрово и «унтер-офицера 17-ти <лет> по имени Потёмкин» за их «сметливость, мужество и расторопность» в тот день – хотя ее поддержали и другие офицеры Конногвардейского полка. На самом деле Потёмкину было двадцать три [52].

Императорский кортеж в сопровождении тысяч гвардейцев отправился в Зимний дворец, где Сенат и Синод собрались, чтобы вручить Екатерине уже отпечатанный манифест и присягнуть ей на верность. Панин прибыл во дворец вместе со своим воспитанником, великим князем Павлом, все еще одетым в ночную рубашку и колпак. Новости быстро распространялись, и на улице начала собираться толпа. Екатерина показалась в окне, толпа приветствовала ее. Двери дворца были открыты, в коридорах толпились солдаты, священники, послы и простые горожане, пришедшие принести присягу новой государыне – или просто поглазеть на то, как совершается революция.

Вскоре после Панина и великого князя прибыла Дашкова: «Я приказала подать себе парадное платье и поспешно отправилась в Летний дворец». Появление разодетой в пух и прах молоденькой графини произвело еще больший фурор: сначала Дашкова не могла войти, а потом, когда ее узнали, толпа была такой плотной, что она не могла пробиться к цели. Наконец солдаты передали худенькую девушку поверх голов, из рук в руки, как куклу. Это могло вскружить голову кому угодно и, разумеется, вскружило Дашковой: «Я была поднята на руки и отовсюду слышала приветствия как общий друг и осыпана тысячами благословений. Наконец я очутилась в передней со вскруженной головой, с изорванными кружевами, измятым платьем, совершенно растрепанная, вследствие своего триумфального прихода, и поторопилась представиться государыне» [53].

Императрица и княгиня обнялись, но Петербург был уже в руках восставших, преимущество оставалось на стороне Петра: его армия, отправившаяся на войну с Данией и дошедшая до Ливонии, вполне могла разгромить гвардейцев. Под его контролем все еще находилась крепость Кронштадт, защищавшая подход к Санкт-Петербургу с моря. Екатерина по совету Панина, Орловых и других старших офицеров, в частности, графа Кирилла Разумовского, отправила адмирала Талызина с приказом склонить Кронштадт на их сторону.

Теперь нужно было взять в плен самого императора.

Императрица приказала гвардейцам идти на Петергоф. Возможно вспомнив о том, как шла императрице Елизавете мужская одежда, Екатерина потребовала для себя гвардейскую форму. Солдаты с удовольствием избавились от ненавистной прусской формы, которую их заставлял носить Петр, и снова надели старые мундиры. Если ее люди снимали старые одежды, то же собиралась сделать и Екатерина. «Желая переодеться в гвардейский мундир, она взяла его у капитана Талызина, – вспоминала Дашкова, – а я, следуя ее примеру, достала себе у лейтенанта Пушкина – двух молодых офицеров нашего роста. Эти мундиры, между прочим, были древним национальным одеянием Преображенского полка со времени Петра Великого» [54].

Пока Екатерина принимала своих сподвижников в Зимнем дворце, Петр, как и собирался, прибыл в Петергоф, чтобы отпраздновать с ней День святых Петра и Павла. Он обнаружил, что в Монплезире никого не было. На постели Екатерины лежало ее праздничное платье, и это было недобрым знаком – ведь она и впрямь поменяла свои одежды. Увидев это, Петр III упал духом: он рыдал, пил и находился в крайнем смятении.

Единственным из придворных Петра, кто не потерял голову, был восьмидесятилетний фельдмаршал граф Бурхардт фон Миних, недавно возвращенный из ссылки участник переворота 1740–1741 годов. Миних предложил незамедлительно осуществить марш-бросок на Петербург – но перед ним был не Петр Великий. Император послал в Петербург эмиссаров, чтобы вступить в переговоры либо арестовать Екатерину, но все они перешли на ее сторону: канцлер Михаил Воронцов, стоявший на подножке кареты мятежной Елизаветы двадцать лет назад, вызвался отправиться в город, но как только прибыл, преклонил колено. Обескураженный Петр со своим редеющим двором вернулся на восемь верст назад в Ораниенбаум. Наконец седой Миних уговорил императора попытаться захватить Кронштадт, чтобы контролировать столицу. Вперед послали эмиссаров. Когда около десяти часов вечера шхуна Петра прибыла в Ораниенбаум, Петр был пьян, и взойти на борт галеры ему помогали любовница, Елизавета Воронцова, и старый фельдмаршал. Через три часа они подошли к Кронштадту.

Миних крикнул, что прибыл император, но в ответ услышал, что императора больше нет. Солдаты Кронштадта признавали только Екатерину II. Было слишком поздно: адмирал Талызин прибыл как раз вовремя. Петр утратил контроль над собой и разворачивающимися событиями. Он упал в обморок. По дороге в Ораниенбаум сломленный нетрезвый император, который всегда предвидел такую судьбу, хотел уже только одного – отречься и

уехать в Голштинию. Он решился на переговоры.

В Петербурге Екатерина выстраивала гвардейцев около Зимнего дворца. В эти радостные и незабываемые минуты Потёмкин уже думал, как ему повстречаться со своей новой императрицей [55].

3. Первая встреча: дерзкий поклонник императрицы

Приезжает конная гвардия; она была в бешеном восторге… так что я никогда не видела ничего подобного, плакала, кричала об освобождении Отечества.

Екатерина Великая Станиславу Понятовскому, 2 августа 1762 г.

Из всех европейских монархов, я думаю, российская императрица богаче всех бриллиантами. Она питает к ним особую страсть; возможно, эта страсть – её единственная слабость…

Сэр Джордж Макартни о Екатерине Великой

Вечером 28 июня 1762 года в дверях Зимнего дворца появилась только что провозглашённая императрица Екатерина Вторая, одетая в зелёную униформу капитана Преображенского гвардейского полка, с обнажённой саблей в руках и в компании своих приближённых. В голубоватом свете петербургских белых ночей она спустилась по лестнице на многолюдную площадь и, подойдя к своему породистому жеребцу по кличке Бриллиант, вскочила в седло с изяществом опытной наездницы – годы упорных тренировок не прошли даром.

Двенадцать тысяч гвардейцев, поддержавших эту революцию, столпились вокруг неё на площади, готовые отправиться «маршем на Петергоф» и свергнуть Петра III. Должно быть все они любовались этой тридцатитрёхлетней женщиной в самом расцвете сил с длинными каштановыми волосами, ярко-голубыми глазами и чёрными ресницами, которая так уверенно выглядела в гвардейской форме в этот поворотный момент своей жизни. Среди гвардейцев был и Потёмкин, верхом на лошади и в конногвардейском мундире; он жаждал любой возможности проявить себя.

Верные гвардейской выучке солдаты торжественно застыли в

боевой готовности, но на площади было шумно. Происходившее напоминало скорее суматоху и хаос военного городка, а не безупречную строгость парада. Ночь полнилась звуками: лошади ржали и цокали копытами, лязгали шпоры и сабли, знамёна трепетали на ветру, а тысячи людей что-то бормотали, покашливали и перешёптывались. Несколько гвардейских отрядов стояли здесь ещё с прошлой ночи и находились в приподнятом настроении, некоторые выпивали, разграбив кабаки по соседству. На улицах валялись сброшенные мундиры прусского образца, словно дело было утром после маскарада. Но всё это не имело значения, поскольку каждый солдат знал, что он меняет ход истории: они во все глаза смотрели на молодую женщину, которую возводили на престол, и их, несомненно, охватывало воодушевление.

Екатерина взяла поводья Бриллианта, ей подали саблю, но вдруг оказалось, что для неё нет портупеи. Должно быть, императрица в нерешительности оглядывалась вокруг и её смятение заметил зоркий гвардеец – тот самый, который впредь будет интуитивно понимать её лучше, чем кто бы то ни было. Он мгновенно пересёк площадь, снял портупею со своей шпаги и с поклоном подал её императрице. Она поблагодарила его, наверняка обратив внимание на его почти богатырский рост, великолепную голову с копной каштановых волос и чуть вытянутое, чувственное лицо с ямочкой на подбородке – тот облик, за который он был прозван Алкивиадом. Григорий не мог и мечтать о лучшей возможности привлечь внимание императрицы – это был смелый жест в исключительных обстоятельствах, а Потёмкину всегда удавалось поймать удачный момент.

Вслед за Екатериной вскочила в седло княгиня Дашкова, столь же эффектная в гвардейском мундире. В этой «женской революции» определённо было что-то от маскарада. Теперь пришло время выступать, чтобы атаковать противника на рассвете: Пётр III формально оставался императором – он по-прежнему был на свободе и находился в Ораниенбауме; чтобы добраться туда, нужно было маршировать всю ночь. Но Алкивиад всё ещё стоял подле императрицы.

Екатерина взяла из его рук портупею, приладила саблю и пустила Бриллианта вперёд. Потёмкин пришпорил коня, чтобы вернуться назад к своим товарищам, но лошади конной гвардии были выучены идти строем, и конь Потёмкина упрямо отказывался поворачивать назад. Этот короткий эпизод, в котором решалась судьба империи, длился всего несколько минут – пока Потёмкин пытался обуздать строптивый нрав своей

лошади и был вынужден заговорить с новой императрицей. Она улыбнулась, «потом заговорила с ним, и он ей понравился своею наружностью, осанкою, ловкостью, ответами». Позднее сам Потёмкин, уже ставший соправителем Екатерины, говорил своему другу, что «упрямство непослушной лошади повело его на путь почестей, богатства и могущества» [1].

Все очевидцы подтверждают, что это была первая встреча Потёмкина и Екатерины, но расходятся в показаниях: отдал он ей портупею или султан (вертикально укреплённый плюмаж на шляпе) [2]? Однако для суеверного Потёмкина был важен не сам предмет, а упрямство коня, который не желал покидать императрицу, как будто почувствовал, что их судьбы соединятся. «Счастливая случайность», говаривал Потёмкин [3]. Впрочем, далеко не случайность заставила его пуститься галопом через всю площадь, чтобы предложить Екатерине портупею. Зная его хитрость, склонность к актёрству и мастерство наездника, мы можем предположить, что он задержался перед возвращением в строй вовсе не из-за лошади. Так или иначе, через несколько минут конь послушался хозяина и поскакал на своё место. Мужчины длинной колонной выстроились вокруг двух всадниц и отправились в путь, чеканя шаг. Ночь была светла, играл военный оркестр, солдаты пели строевые песни, присвистывая и скандируя: «Да здравствует наша матушка Екатерина!»

В третьем часу ночи колонна остановилась отдохнуть в трактире «Красный кабачок». Екатерина улеглась на узкий соломенный матрас бок о бок с Дашковой, но не могла уснуть. Орловы вместе с головным отрядом уехали вперёд, а основные силы двинулись за ними через два часа. Их встретил вице-канцлер князь А.М. Голицын с новым предложением от Петра, однако Екатерина не собиралась рассматривать никаких вариантов, кроме безоговорочного отречения от власти. Вице-канцлер принёс ей присягу.

Вскоре донеслись вести о том, что Алексей Орлов без боя занял две летние резиденции – Ораниенбаум и Петергоф. В десять часов утра Екатерина, уже как правящая императрица, прибыла в Петергоф, откуда она бежала в ночном чепце всего 24 часа назад. Её любовник Григорий Орлов в сопровождении Потёмкина уехал в соседний Ораниенбаум, где заставил Петра подписать документ о безоговорочном отречении [4]. Получив подпись, он доставил акт Екатерине, а Потёмкин остался в Ораниенбауме сторожить бывшего императора [5]. Фридрих Великий, ради которого, надо сказать, Пётр III пожертвовал интересами собственного государства, с отвращением заметил, что император «позволил свергнуть себя с престола, как ребенок,

которого отсылают в постель» [6].

Бывшего правителя препроводили в карету вместе с любовницей и двумя приближёнными, а вокруг кареты выставили охрану. В числе охранников был и Потёмкин. Толпившиеся рядом солдаты насмехались над Петром и кричали: «Да здравствует императрица Екатерина II!» [7]. По прибытии в Петергоф Пётр отдал свою шпагу, ленту Андреевского ордена и мундир Преображенского гвардейского полка. Его отвели в хорошо известную ему залу – именно там он встречался с Паниным. Бывший царь пал на колени и умолял не разлучать его с любовницей. Получив отказ, измученный Пётр в слезах спросил, позволят ли ему взять с собой скрипку, арапа Нарцисса и любимого мопса. «Считаю величайшим несчастием моей жизни, что был обязан видеть Петра в это время», – вспоминал Панин [8].

Прежде чем навсегда отправить Петра в Шлиссельбург, его усадили в закрытую карету, на подножках которой стояли солдаты во главе с Алексеем Орловым, и отвезли в его имение в Ропше в девятнадцати милях от Петергофа. Потёмкин не упомянут в числе охранников, но несколько дней спустя он был там, а значит, скорее всего присутствовал при отъезде Петра. Екатерина позволила супругу взять с собой скрипку, арапа и собачку [9]. Больше она никогда его не увидит.

Через несколько дней княгиня Дашкова зашла в комнаты к Екатерине и «изумилась, заметив Григория Орлова, растянувшегося во весь рост на диване» за чтением государственных актов. «Что такое с вами?» – спросила я его с улыбкой. «Да вот императрица приказала распечатать это», – отвечал он». Установилась новая власть [10].

Тридцатого июня Екатерина II прибыла в ликующую столицу. Выиграв сражение, она должна была расплатиться за свою победу. Она собственноручно включила Потёмкина в число бенефициаров – несомненно, случай с портупеей ей запомнился. Переворот обошёлся императрице в сумму, превышавшую миллион рублей, при том, что общегодовой бюджет страны составлял всего шестнадцать миллионов. Её союзники получили достойное вознаграждение за свою деятельную поддержку: солдатам петербургского гарнизона выплатили жалованье за полгода – в общей сложности 225 890 рублей. Григорию Орлову Екатерина посулила 50 000 рублей, Панин и Разумовский получили по 5000 рублей. Девятого августа Григорий и Алексей Орловы, Екатерина Дашкова и семнадцать основных заговорщиков получили либо 800 душ, либо 24 000 рублей каждый.

Григорий Потёмкин был в числе одиннадцати нижестоящих участников заговора, каждому из которых императрица пожаловала 600 душ или 18 000 рублей [11]. Его имя упомянуто и в других документах, написанных рукой Екатерины. Один из них – доклад гвардейского командования, где было сказано, что Потёмкина следует повысить до корнета; напротив его имени Екатерина написала «быть подпоручиком» [12] и пообещала ему ещё 10 000 рублей. Так Потёмкина произвели в подпоручики.

По решению императрицы канцлер Воронцов сохранил свой пост, а Никита Панин стал её главным министром. Панин и его приближённые ратовали за то, чтобы Екатерина правила в статусе регентши до совершеннолетия Павла – при деятельном участии аристократии, – но гвардия во главе с Орловыми поддерживали право Екатерины на абсолютную власть, поскольку только так они могли получить доступ в правительственные круги [13]. Орловы кроме того вынашивали далеко идущие планы – они хотели женить Григория Орлова на императрице. Осуществлению этой идеи мешало серьёзное, хотя и преодолимое препятствие: Екатерина уже была замужем.

Пётр III, Нарцисс и мопс коротали дни в Ропше под надзором Алексея Орлова и трехсот его солдат, среди которых был и Потёмкин. Орлов держал Екатерину в курсе происходившего, отправляя ей сердечные, но весьма мрачные письма. В этих письмах он называл Потёмкина по имени, что свидетельствует об их мимолётном знакомстве с Екатериной. Петра Орлов именовал не иначе как «урод», и в этих зловещих шутках ощущается затягивающаяся петля, как будто он добивался одобрения императрицы прежде, чем совершить задуманное [14].

Для Екатерины не стало неожиданностью, что пятого июля Петра убили. Подробности этого происшествия туманны. Нам известно лишь, что Алексей Орлов и его приспешники выполнили свой план и бывший император был задушен [15].

Его смерть оказалась всем на руку: лишённые власти правители всегда были обузой для своих наследников в стране, где всегда было множество самозванцев. Император вполне мог восстать из мёртвых. Само существование Петра III давало повод усомниться в правах Екатерины на престол, и, разумеется, он представлял собой помеху для плана Орловых. Следовательно, убийство было логичным решением. Был ли Потёмкин соучастником? Показательно, что впоследствии его обвиняли во всех мыслимых и немыслимых грехах, но убийство Петра никогда не упоминалось – значит, по всей видимости, он не был в нём замешан, хотя и присутствовал в это время в Ропше.

Екатерина разрыдалась, оплакивая, впрочем, не Петра, а свою репутацию: «Моя слава погибла!.. Никогда потомство не простит мне этого невольного преступления!» Дашкова была поражена, но тоже беспокоилась в большей степени о себе, отвечая императрице: «Смерть слишком скоропостижна для вашей и моей славы» [16]. Екатерина извлекла выгоду из этого поступка, и за него никто не был наказан, напротив, на протяжении трёх десятков лет Алексей Орлов будет играть выдающуюся роль в государственных делах. Однако в Европе императрица приобрела дурную славу прелюбодейки и убийцы.

Двое суток тело Петра торжественно возлежало в гробу в Александро-Невской лавре; на нём была синяя голштинская униформа без орденов, платок прикрывал следы на шее, а низко надвинутая шляпа заслоняла почерневшее от удушения лицо [17].

Взяв себя в руки, Екатерина выпустила заявление, которое стало объектом насмешек: в нём сообщалось, что Пётр умер от «геморроидальных колик» [18]. В Европе этот абсурдный диагноз впоследствии превратился в эвфемизм для обозначения политического убийства. Когда Екатерина как-то раз пригласила к себе философа Д'Аламбера, он в шутку говорил Вольтеру, что не осмелился принять приглашение, потому что в России его предрасположенность к геморрою определённо была опасна [19].

Традиционно коронация русских царей происходила в Москве, в древней православной столице. Пётр III, презиравший эту чуждую ему страну, вообще не позаботился о коронации. Екатерина не собиралась повторять его ошибок. Напротив, узурпировав трон, она должна была неукоснительно и любой ценой соблюдать ритуалы, обеспечивавшие легитимацию власти. Екатерина повелела организовать в кратчайшие сроки пышную, традиционную церемонию коронации.

Четвертого августа, в тот день, когда Потёмкина по личному приказу императрицы произвели в подпоручики, он вместе с тремя эскадронами конногвардейцев отбыл в Москву, чтобы участвовать в коронации. Его семья тепло встретила блудного сына, который уезжал бездельником, а вернулся охранником императрицы. Двадцать седьмого августа восьмилетний великий князь Павел – единственное законное основание нового режима – уехал из столицы в сопровождении своего наставника Панина и вереницы из 27 карет и 257 лошадей; следом отправился и Григорий Орлов. Императрица выехала пять дней спустя со свитой из двадцати трех придворных, шестидесяти трех карет и 395 лошадей. В пятницу тринадцатого сентября Екатерина с царевичем прибыли в Москву, город куполов и башен, средоточие

русской древности. Государыня терпеть не могла Москву, где её недолюбливали и где она как-то раз серьёзно заболела. Её предчувствия оправдались: маленький Павел слёг с лихорадкой и проболел всю церемонию.

В воскресенье 22 сентября в Успенском соборе, в самом сердце Кремля, пятьдесят пять иерархов Православной церкви, став полукругом, короновали Екатерину «всепресветлейшей, державнейшей, великой государыней императрицей Екатериной Второй, самодержицей Всероссийской». Подобно своей предшественнице Елизавете, она сама возложила корону себе на голову, чтобы подчеркнуть, что не нуждается во внешних гарантах своей легитимности, затем взяла в правую руку скипетр, а в левую – державу, и все собравшиеся преклонили колени. Запел хор. Пушки дали залп. Архиепископ Новгородский совершил помазание на царство и причастил её.

Екатерина вернулась во дворец в золотой карете, охраняемая спешившимися конногвардейцами, в числе которых был Потёмкин, и окружившей её толпе бросали золотые монеты. При виде кареты народ падал на колени. Позднее, когда настало время для коронационных наград, очертания нового правящего режима приобрели ясность: Григорий Орлов был назначен генерал-адъютантом, и всем пятерым братьям Орловым, как и Никите Панину, был пожалован графский титул. Подпоручик Потёмкин, несший службу во дворце, вновь фигурирует в списках: он получил набор столового серебра и ещё четыреста душ в Подмосковье. Тридцатого ноября он становится камер-юнкерем, или комнатным дворянином, с разрешением оставаться в гвардии [20] – в то время как остальные новоиспечённые камер-юнкеры прекращали военную службу и становились придворными [21].

Впереди была утомительная неделя церемоний, балов и приёмов, но состояние великого князя Павла ухудшилось, и если бы он умер, правление Екатерины оказалось бы под угрозой. Поскольку ее претензии на власть во многом основывались на необходимости защитить Павла от Петра III, его смерть частично лишила бы Екатерину права на престол. Всем было очевидно, что права Павла были куда более весомыми. Один император уже пострадал от смертельно опасного геморроя, и гибель его сына вновь обагрила бы священной императорской кровью руки цареубийцы Екатерины. Кризис болезни пришёлся на первые две недели октября, которые царевич провёл в горячечном бреду, но потом он пошёл на поправку. Всё это усугубляло и без того напряжённую обстановку. Екатерине удалось сохранить за собой власть до коронации, однако вокруг нее плелись заговоры и контрзаговоры. Они зарождались в стенах казарм, где гвардейцы,

возведя на трон одну правительницу, рассуждали, не лучше ли поменять её на кого-то другого, и при дворе, где Орловы мечтали женить Григория на императрице, а Панин и сочувствовавшие ему аристократы стремились ограничить императорскую власть и управлять государством от имени Павла.

И так прошло чуть больше года с тех пор, как Потёмкин уехал из Москвы и поступил в гвардию, и за это время он прошёл путь от отчисленного студента до камер-юнкера, удвоил число своих крепостных и получил повышение на два чина. Теперь, вернувшись в Петербург, Орловы рассказали императрице о самом забавном солдате во всей гвардии – подпоручике Потёмкине, который был выдающимся комиком. Екатерина помнила их встречу в ночь переворота и пожелала взглянуть на его мастерство подражателя своими глазами. Тогда Орловы призвали Потёмкина дать представление для императрицы. Вероятно, он решил, что это его звёздный час. «Баловень Фортуны», как он сам себя называл, был склонен то впадать в отчаяние, то ликовать и обладал непоколебимой верой в своё великое предназначение: он был убеждён, что сможет достичь всего, чего захочет, даже недоступного обычному человеку. И вот настал подходящий момент.

Григорий Орлов посоветовал ему изобразить одного из известных аристократов: Потёмкин умел блестяще копировать необычный голос и манеры этого мужчины. Вскоре после коронации гвардеец был впервые официально представлен императрице, и она попросила его дать обещанное представление. Потёмкин же ответил, что вовсе не умеет никому подражать, и публика вздрогнула от неожиданности: его голос зазвучал совершенно иначе. Кто-то из присутствовавших резко выпрямился на своём стуле, кто-то вперил взгляд в пол. Имитация была безупречной, и все сразу узнали этот голос благодаря лёгкому немецкому акценту и точно пойманной интонации – Потёмкин копировал саму императрицу. Старики-придворные вероятно решили, что карьера этого юноши закончилась, не успев начаться; Орловы невозмутимо наблюдали за реакцией Екатерины на такую дерзость. Все взоры были устремлены на красивое, мужественное и умное лицо и высокий лоб государыни. Она раскатисто засмеялась, и тут же все остальные захохотали и признали, что имитация удалась превосходно. И на этот раз игра стоила свеч.

Именно тогда императрица впервые рассмотрела подпоручика и камер-юнкера Потёмкина и оценила его прекрасный облик «подлинного Алкивиада». Окинув его внимательным женским взглядом, она отметила красоту его

струящихся каштановых волос, «лучшей шевелюры в России». Екатерина пожаловалась Григорию Орлову, что волосы Потёмкина лучше, чем её собственные: «Я никогда не прощу вам, что вы представили мне этого мужчину, – пошутила она. – Это было ваше желание, но вам придётся о нём пожалеть». Так и произошло. Эту историю сохранили для нас люди, в то время близко знавшие Потёмкина, – его двоюродный брат и один из гвардейцев-сослуживцев. Даже если их воспоминания слегка приукрашены, рассказ тем не менее звучит правдоподобно [22].

Прошло одиннадцать с половиной лет после дворцового переворота, прежде чем начался их роман, и всё это время императрица наблюдала за Потёмкиным и имела на его счёт некие планы. В 1762 году невозможно было с уверенностью предсказать, что он сможет возвыситься почти до вершины власти, но чем больше она его узнавала, тем большее впечатление на нее производила его бесконечная оригинальность. Они постепенно приближались друг к другу, словно их жизненные траектории были почти параллельными линиями, которые медленно, но неизбежно сходились в одну точку. В 23 года Потёмкин щеголял перед Екатериной своей сообразительностью и мастерством лицедея, но скоро она поняла, что его достоинства не ограничиваются прекрасной шевелюрой: он был знатоком греческого языка, разбирался в богословии и особенностях культур коренных народов России. Однако все эти годы о нём почти ничего не слышно, и дошедшие до нас сведения относятся скорее к области легенд. Мы хорошо представляем себе повседневную жизнь императрицы и двора, но о Потёмкине знаем лишь случайные эпизоды – когда он стремится выделиться в толпе придворных и впечатлить Екатерину своим остроумием, а затем вновь скрывается из виду. Он прикладывал все усилия, чтобы эти мимолётные встречи запомнились государыне.

Подпоручик Потёмкин был влюблён в императрицу, и ему было решительно безразлично, знают ли об этом окружающие. Он не боялся ни Орловых, ни других служителей монаршего двора, атмосфера в котором напоминала медвежью яму. Теперь он стал частью этого придворного мира, и ставки Потёмкина были максимально высоки. С позиций сегодняшнего дня кажется, что правление Екатерины II было долгим, стабильным и успешным – однако это стало очевидным лишь в ретроспективе, а в те времена иностранные послы в Санкт-Петербурге полагали, что царствование узурпировавшей власть женщины-цареубийцы продлится недолго и закончится бесславно. Потёмкину, который к тому времени провёл в столице чуть больше года, предстояло

многое узнать об императрице и её придворных.

«Положение моё таково, что мне приходится соблюдать большую осторожность, – пишет Екатерина 30 июня своему бывшему любовнику Понятовскому, который грозился приехать с визитом, – последний гвардейский солдат, глядя на меня, говорит себе: вот дело рук моих». Понятовский всё ещё любил Екатерину (он навсегда сохранит это чувство) и теперь хотел вернуть расположение той великой княгини, которую был вынужден покинуть. Ответы Екатерины на его письма позволяют составить ясное представление как об атмосфере, царившей в Петербурге, так и о раздражении, которое вызывала у неё наивная страстность Понятовского: «Раз нужно говорить вполне откровенно и раз вы решили не понимать того, что я повторяю вам уже шесть месяцев, это то, что если вы явитесь сюда, вы рискуете, что убьют обоих нас» [23].

Создавая великолепный императорский двор, который, казалось, был ей так необходим, Екатерина в то же время вела закулисную войну с интриганами, стремясь установить политическое равновесие. Едва она взошла на трон, как на неё посыпались разоблачения всевозможных заговоров, в том числе среди гвардейцев, которые только что привели её к власти. Екатерина унаследовала от Петра III секретную полицию – тайную экспедицию при Сенате, подчинявшуюся генерал-прокурору. На протяжении всей екатерининской эпохи её будет возглавлять устрашающий человек по имени Степан Шешковский, прозванный «кнутобоем». Императрица стремилась как можно реже прибегать к пыткам, особенно если подозреваемый уже признал вину, однако мы не знаем в точности, удалось ли ей в этом преуспеть: вполне вероятно, что по мере удаления от Петербурга ограничения ослабевали. Чаще практиковали порку и побои, чем настоящие пытки. Тайная экспедиция была крайне малочисленна – всего лишь около 40 служащих, что несравнимо с легионами советских сотрудников НКВД или КГБ, – но тем не менее они легко получали доступ к чужой частной жизни: за придворными и иностранцами вели слежку их собственные слуги и охрана, а любой чиновник имел возможность донести на несогласных [24]. Иногда Екатерина приказывала установить слежку за своими политическими противниками, и её двери в любой момент были открыты для Шешковского. В XVIII веке ещё не существовало такого понятия, как полицейское государство, однако сотрудники тайной экспедиции, какими бы благородными ни были её мотивы, всегда были готовы наблюдать, арестовывать и допрашивать, и в первые годы екатерининского правления они не сидели без дела.

Два претендента имели больше прав на престол, чем Екатерина: шлиссельбургский безумец Иван VI и её собственный сын Павел. Первых заговорщиков, действовавших в интересах Ивана, разоблачили в октябре 1762 года во время её коронации: это были Гуриев и Хрущёв, два гвардейца Измайловского полка. С позволения Екатерины их пытали и били палками, но на деле их «заговор» был всего лишь пьяным хвастовством.

Екатерина никогда не теряла присутствия духа: ей удавалось сдерживать враждующие партии придворных и в то же время укреплять своё положение и беззастенчиво подкупать гвардейцев щедрыми подарками. У каждой партии были свои опасные намерения. Екатерина сразу же показала, что она будет собственным канцлером, подобно своему предшественнику Петру I и прославленному современнику Фридриху Великому. Она управляла Россией с помощью талантливых помощников, которые превратились в настоящее правительство. Через два года она обратит внимание на 34-летнего князя Александра Алексеевича Вяземского, румяного человека с рыбьими глазами, трудолюбивого, но не любимого подчинёнными. Он будет управлять внутренними делами Российской империи почти тридцать лет, занимая должность генерал-прокурора Сената и выполняя функции, которые сегодня ложатся на министров финансов, юстиции и внутренних дел.

Никита Панин стал главным министром Екатерины. Этот дипломат, убеждённый в том, что аристократия должна сдерживать прихоти абсолютного монарха, предложил Екатерине проект Императорского совета. По его замыслу, состав Совета утверждался императрицей, однако она не имела права его распустить. Проект Панина представлял собой угрозу как для Екатерины, так и для «выскочек» – гвардейцев, которые возвели её на трон [25]. Поскольку многие считали Павла законными императором, то его наставник Панин естественно ратовал за передачу престола юноше по достижению им совершеннолетия. Он открыто презирал «капризных фаворитов» [26], поэтому пятеро братьев Орловых были его врагами. В течение следующих двенадцати лет обе партии, сражаясь друг с другом, пытались использовать растущую дружбу Потёмкина и императрицы в своих интересах.

Екатерина сумела отвлечь Панина от его затей, поручив ему руководство российской внешней политикой и назначив старшим членом Иностранной коллегии. Однако она не забывала, что в 1762 году Панин желал видеть законным императором Павла, а не её, и полагала, что из соображений безопасности этого змея-интригана лучше приблизить. Они были полезны друг другу:

Екатерина считала Панина «самым искусным, самым смышлёным и самым ревностным человеком при дворе», хотя и недолюбливала его [27].

Мы упомянули лишь две главные партии, но на самом деле двор новой императрицы был настоящим лабиринтом партий и семейств. Захар Чернышев, в 1750-е годы ухаживавший за Екатериной, стал главой Военной коллегии, а его брату Ивану был поручен российский флот; изначально Чернышевы сохраняли нейтралитет в конфликте между Паниным и Орловыми, но часто случалось так, что члены большой семьи примыкали к разным придворным партиям, как мы видели на примере княгини Дашковой и Воронцовых [28]. Дашкова определённо переоценила свои возможности, претендуя на такое влияние, которого у неё на самом деле не было [29]: над этой заговорщицей, которая хвасталась, что возвела императрицу на престол, насмехалась вся страна [30]. Вслед за елизаветинскими приближёнными канцлером Воронцовым и Иваном Шуваловым Дашкова была вынуждена отправиться «путешествовать за границу», по сути – в щадящую ссылку на европейские курорты.

Екатерининский двор представлял собой калейдоскоп постоянно сменявших друг друга и соревновавшихся партий, то есть групп лиц, связанных между собой узами дружбы или родства, а также алчностью, любовью или схожими убеждениями, пускай и весьма туманными. Они ориентировались на один из двух полюсов: придворный служитель мог быть сторонником союза с Пруссией или с Австрией и поддерживать либо императрицу, либо наследника. Все руководствовались элементарной корыстью: «Враг моего врага – мой друг».

Первый внешнеполитический успех нового режима не заставил себя долго ждать – польская корона увенчала голову недавнего любовника Екатерины. Вскоре после переворота, второго августа 1762 года, Екатерина пишет Станиславу Понятовскому: «Высылаю Вам срочно графа Кайзерлинга в качестве посла в Польше, чтобы он, в случае смерти Августа III, сделал Вас королем польским».

Этот эпизод часто считали императорским капризом, способом отблагодарить Понятовского за былые любовные утехи. Однако со Светлейшей Речью Посполитой Польской дела обстояли не так-то просто. Польша была во всех отношениях уникальной европейской страной, приводившей всех в бешенство своей противоречивостью и абсурдностью: это были по сути дела два государства, Королевство Польское и Великое княжество Литовское. У них был общий парламент – сейм – и два отдельных

правительства; их короли избирались и не обладали почти никакой реальной властью: назначая сановников, они не могли отправлять их в отставку; власть же шляхты, польского дворянства, была почти неограниченной. В избрании сейма участвовала вся шляхта, составлявшая почти 10 % всего населения государства, что делало Польшу более демократической страной, чем Англия. Одного голоса против – т. н. liberum veto – было достаточно, чтобы аннулировать решение сейма, и потому наибеднейший дворянин мог стать могущественней короля. Из этой ситуации был единственный выход: шляхта имела право сформировать Конфедерацию, временный альтернативный сейм, который существовал лишь до тех пор, пока он не выполнил свою цель, а затем распускался. На деле же Польшей управляли богачи-царьки, владевшие землями размером с небольшие государства и собственными армиями. Поляки невероятно гордились своей странной конституцией, из-за которой в этой огромной стране царил постыдный хаос, и считали, что это не хаос, а драгоценная свобода от излишних ограничений.

Выборы польских королей были излюбленным видом дипломатического спорта в восемнадцатом столетии. На этом дипломатическом турнире соперничали Россия, Пруссия, Австрия и Франция. Традиционно Версаль пользовался поддержкой трёх союзников на Востоке: Османской империи, Швеции и Польши. Но с 1716 года, когда Пётр I поддержал нежизнеспособную польскую конституцию, Россия пыталась держать Польшу в подчинении, сохраняя её абсурдное государственное устройство, возводя на варшавский трон слабых королей, укрепляя власть знати и держа свою армию наготове у самой границы. Единственной задачей Екатерины, таким образом, было сохранение петровского протектората над Польшей.

Понятовский идеально подходил для этих целей: Екатерина могла контролировать Польшу с помощью его «фамилии» – пророссийски настроенных дядьёв Чарторыйских, оснащённых русскими ружьями и английским капиталом. Сам же Понятовский возмечтал стать королём и жениться на Екатерине, тем самым, как пишет его биограф, выполнив два главных желания в своей жизни [31]. «Если я когда-то и желал трона, – признавался он ей, – то лишь потому, что видел на нём вас». Услышав, что это невозможно, он принялся умолять: «Не делайте меня королём, но разрешите быть с вами» [32]. Этот галантный, хотя и жалобный идеализм мало способствовал его будущим отношениям с образцовой блюстительницей государственных интересов. Поскольку традиционные участники этого «делания королей»

были утомлены Семилетней войной, Екатерина и Панин преуспели в своём замысле. Фридрих Великий принял сторону Екатерины, поскольку Пруссия, опустошённая Семилетней войной, была в такой изоляции, что заключенный 31 марта (11 апреля) 1764 года союз с Россией стал её последней надеждой. Двадцать шестого августа (6 сентября) окружённый русскими солдатами сейм избрал Понятовского королём Польши, и тот принял имя Станислава Августа.

Союз с Пруссией и протекторат над Польшей должны были стать основой так называемого «Северного аккорда» – разработанного Паниным плана, который должен был объединить силы северных держав, в том числе Дании, Швеции и, возможно, Англии, и служить противовесом для «католического блока» – французских и испанских Бурбонов и австрийских Габсбургов [33].

Теперь, когда Понятовский стал королём, выйдет ли Екатерина замуж за Григория Орлова? Истории были известны подобные прецеденты. Ходили слухи, что императрица Елизавета сочеталась браком с Алексеем Разумовским, простым казачьим сыном и певчим в придворном хоре, который теперь жил в Москве, отойдя от дел.

Однажды старик-придворный заглянул в палаты Алексея Разумовского в стиле елизаветинского барокко и застал его за чтением Библии. Посетителем был канцлер Михаил Воронцов, и этот визит был его последним поручением на государственной службе перед отправкой в «заграничное путешествие». Он пришёл к Разумовскому с указом о признании за ним титула Императорского Высочества, таким образом вежливо спрашивая, был ли он законным супругом императрицы. Екатерина и Орлов хотели узнать, есть ли у него венчальные бумаги. Разумовский, должно быть, усмехнулся в ответ. Он закрыл Библию, достал ларец из чёрного дерева, украшенный серебром и перламутром, вынул из него старый свиток, запечатанный императорским орлом…

Екатерина должна была действовать осторожно. Она полностью отдавала себе отчёт в том, какие опасности влечёт за собой чрезмерное приближение Орловых к власти. Выйдя замуж за Орлова, она поставит под угрозу не только права великого князя Павла на престол, но и его жизнь, а также вызовет негодование дворянства и армии. Но она любила Григория, родила от него сына[20] и была обязана братьям Орловым своим императорским титулом. В этот суровый век публичная и интимная жизнь монарха были нераздельны. Всю свою жизнь

Екатерина мечтала о семейном счастье: её родители ушли из жизни, тётушка держала её в страхе и отняла у неё ребёнка; права её собственного сына на престол напрямую угрожали её правлению, а возможно, и жизни, а дочь Анна, отцом которой был Понятовский, умерла во младенчестве. Императорский статус отнюдь не мешал ей мечтать о мещанском семейном уюте с Григорием Орловым, которого она считала своим спутником жизни. Поэтому она пустила дело на самотёк и, вероятно, позволила Орловым отправить гонца к Разумовскому, чтобы узнать, имел ли место подобный прецедент.

Однако братья действовали не слишком тонко. На одной из дружеских гулянок Григорий с бандитским куражом похвалился, что мог бы свергнуть Екатерину через месяц, если бы того захотел. Кирилл Разумовский, добродушный брат Алексея, хлёстко ответил ему: «Может быть, мой друг, но зато и недели не прошло бы, как мы бы тебя вздернули» [34]. Все от души рассмеялись, но шутка была жутковатой. Когда Екатерина как-то раз намекнула на возможность брака с Орловым, Панин якобы ответил: «Императрица может поступать, как ей угодно, но госпожа Орлова никогда не будет императрицей Российской» [35].

Нерешительность Екатерины становилась опасной. В мае 1763 года, когда Екатерина совершала паломническую поездку из Москвы в Ростов-на-Дону, её настигло шокирующее известие, положившее конец прожектам Орлова. Был арестован камер-юнкер Фёдор Хитрово, который вместе с Потёмкиным поднял конногвардейцев на защиту Екатерины. На допросе он сознался, что планировал убить Орловых, чтобы не дать свершиться этому браку, и хотел выдать императрицу замуж за брата Ивана VI. Речь шла уже не о пьяной болтовне рядового офицера, а о заговоре приближённых Екатерины. Было ли это затеей Панина или даже самой Екатерины, неизвестно, но так или иначе, орловские амбиции были решительно отвергнуты.

Вернёмся к вопросу, заданному Алексею Разумовскому: в ответ он достал из драгоценного ларца свиток, и, когда канцлер Воронцов протянул к нему руку, бросил его в камин. «Передайте государыне, – сказал он, – что я всегда был только покорным рабом ее величества императрицы Елизаветы» [36]. Разумеется, это легенда, однако в некоторых исторических текстах высказывается мнение, что таким жестом Разумовский не позволил Екатерине выйти замуж за Орлова. Нужно сказать, что императрица привечала обоих Разумовских, людей обаятельных и сердечных, и на протяжении двадцати лет дружила с ними. Вероятно, никаких венчальных бумаг не существовало, а

сожжение свитка скорее похоже на шутливую причуду казака. Но если вопрос в самом деле был задан, Алексей Разумовский, должно быть, дал тот ответ, который хотела услышать Екатерина, чтобы избежать брака с Орловым. Раз она была вынуждена задать этот вопрос, то ответ был уже излишним [37].

Празднуя успех в польских делах, Екатерина столкнулась с новой трудностью, на этот раз связанной с «известным узником № 1» – заточённым в крепости императором. Двадцатого июня 1764 года императрица выехала из Москвы, чтобы обозреть свои балтийские владения. Пятого июля офицер Василий Мирович, измученный своими мечтаниями юноша, лелеявший надежду вернуть благосостояние своей семьи, решил освободить Ивана VI из застенков Шлиссельбурга и сделать его императором. Бедный Мирович не знал, что Екатерина подтвердила приказ Петра III, по которому при первой попытке освободить узника № 1 арестанта следовало немедленно убить. Полк Мировича был расквартирован в Шлиссельбурге, и молодой офицер наводил справки о том, кто же тот секретный безымянный узник, которого так тщательно скрывали в недрах крепости.

Вскоре он лишился своего самого надёжного товарища среди заговорщиков – тот нечаянно утонул. Четвертого июля Мирович составил манифест, провозглашавший восшествие на престол императора Ивана VI. Ему удалось привлечь нескольких союзников – во многом благодаря атмосфере общей обеспокоенности после убийства Петра III и присущему русским благоговейному трепету перед царями. В два часа ночи заговорщики прорвались через ворота в крепость, обезоружили коменданта и направились к камере Ивана. Началась перестрелка между нападавшими и охраной, но внезапно выстрелы смолкли. Когда Мирович ворвался в камеру, он увидел тело бывшего императора, истекавшего кровью от множественных ножевых ранений. Он сразу же все понял, поцеловал покойника и сдался.

Екатерина сначала решила продолжать поездку, но спустя сутки вернулась, опасаясь, что заговор мог быть более масштабным. На допросе Мирович признался, что действовал в одиночку. В сентябре состоялся суд, и он был осуждён на смертную казнь. Его шестерым союзникам присудили от десяти до двенадцати прогонов сквозь строй из 1000 человек. Это наказание практически означало смертный приговор, но если бы осуждённые выжили, их бы отправили в ссылку. Пятнадцатого сентября 1764 года Мирович был обезглавлен.

Убийство двух императоров повергло Европу в шок. Философы, которые к этому времени уже давно вели дружескую переписку с императрицей и воспринимали её как равную

собеседницу, были вынуждены напрячь все силы, чтобы договориться со своей совестью: «Я согласен с вами, что наша философия не хотела бы похвастаться множеством таких учеников. Но что делать? Друзей надо любить такими, какие они есть, со всеми их недостатками», – писал Д'Аламбер Вольтеру. «Это дела семейные, – отвечал фернейский мудрец, – и меня они не касаются» [38].

Екатерина, как это было ей свойственно, не сидела сложа руки. Она знала, что недостаточно быть просто правительницей. Её двор был зеркалом, в котором весь мир мог ясно видеть её успехи, а ей самой предстояло стать его главным украшением. «Я никогда не встречал особы, чья внешность, манеры и поведение в такой же мере соответствовали бы тому, что я ожидал увидеть, – говорил посол Англии сэр Джордж Макартни. – Несмотря на возраст – 37 лет – ее все еще можно назвать красивой. Те, кто знал ее молодой, утверждают, что она никогда не была так хороша, как теперь, и я охотно в это верю» [39]. В 1780 году принц де Линь вспоминал Екатерину в те годы: «Видно, что она была прежде скорее красивой, нежели хорошенькой: величавость ее лба смягчается приятным взглядом и улыбкой» [40]. Вот как о ней отзывался проницательный шотландский профессор Уильям Ричардсон, автор «Анекдотов о Российской империи»: «Российская императрица выше среднего роста, изящна и хорошо сложена, хотя не выставляет это напоказ; у неё приятный цвет лица, который она подчёркивает румянами, как все женщины в этой стране. У нее красивый рот и хорошие зубы; голубые глаза и проницательный взгляд. В целом назвать ее внешность мужественной было бы оскорбительно, но сказать, что она исключительно женственна, было бы несправедливо». Знаменитый любовник Джакомо Казанова, встречавший Екатерину и немало осведомлённый в женской красоте, считал её весьма обаятельной: «Государыня, роста невысокого, но прекрасно сложенная, с царственной осанкой, обладала искусством пробуждать любовь всех, кто искал знакомства с нею. Красавицей она не была, но умела понравиться обходительностью, лаской и умом, избегая казаться высокомерной» [41].

В беседе она «не щеголяла остроумием» [42], однако на собеседников производили впечатление её быстрый ум и эрудиция. Макартни считал беседы с ней «блестящими, может быть, несколько чрезмерно, ибо ей нравилось блистать в разговоре». Казанова обратил внимание на то, что она любила непринуждённо продемонстрировать свой интеллект: встретив её на прогулке, он завёл беседу о греческом календаре; она отвечала

скупо, но когда позднее они вновь встретились, проявила полную осведомлённость о предмете: «Я почувствовал, что она наверняка постаралась исследовать сей предмет, дабы блеснуть передо мной» [43].

Ей была также свойственна тактичность: когда Екатерина обсуждала проект реформ с новгородскими представителями, губернатор объяснил ей, что «эти господа не богаты». Екатерина парировала: «Прошу прощения, господин губернатор. Они богаты своим усердием». Этот очаровательный ответ заставил новгородцев прослезиться и порадовал их больше, чем деньги [44].

Занимаясь государственными делами, она надевала чинное длинное платье в русском стиле и с длинным рукавом, но на отдыхе или публичном мероприятии «её наряд всегда был богатым, но не безвкусным ‹…› Ей чрезвычайно шёл полковой мундир, и она обожала появляться в нём» [45]. Входя в помещение, она всегда совершала «три поклона на русский манер» – направо, налево и прямо [46]. Екатерина понимала, что внешние атрибуты значат очень многое, и поэтому на публике неукоснительно соблюдала православные обычаи, хотя Казанова отмечал, что во время церковной службы её мысли обычно были заняты чем-то другим.

Эта женщина приложила поистине все возможные усилия, чтобы стать великой императрицей, и, как настоящая немка, не любила тратить время попусту. «Тратьте как можно меньше времени, – говорила она. – Время не мне принадлежит, но империи» [47]. Одним из её талантов была способность замечать одарённых мужчин и максимально использовать все их возможности: «Екатерина имела редкую способность выбирать людей, и история оправдала почти все ея выборы» [48], – писал граф Александр Рибопьер, знакомый с ней самой и её ближайшим окружением. Избрав союзников, она так умело руководила ими и «так осторожно внушала намеченному исполнителю свою мысль, что он принимал ее за свою собственную и тем с большим рвением исполнял ее» [49]. Екатерина старалась ничем не унижать своих подчинённых: «Мой принцип – хвалить во всеуслышание, а ругать тихо» [50]. Многие её высказывания столь просты и афористичны, что их можно смело поместить в какое-нибудь из сегодняшних руководств по менеджменту.

Абсолютная власть монарха в империи предполагает слепое подчинение подданных, однако Екатерина, в отличие от Петра III и своего наследника Павла I, знала, что на практике дела часто обстоят иначе. «Это не так легко, как ты думаешь [добиться исполнения своей воли], – говорила она своему секретарю

Попову. – Во-первых, повеления мои, конечно, не исполнялись бы с точностию, если бы не были удобны к исполнению… Я разбираю обстоятельства, советуюсь… И когда уж наперёд я уверена о общем одобрении, тогда выпускаю я моё повеление и имею удовольствие то, что ты называешь слепым повиновением. И вот основание власти неограниченной» [51].

Она была вежливой и щедрой к придворным, доброй и внимательной к подданным, однако её жажда власти порой принимала зловещие формы: императрица находила удовольствие в тайных рычагах власти, изучала полицейские отчёты и, как любой диктатор, наводила ужас на своих жертв, давая им понять, что за ними наблюдают. Многие годы спустя молодой француз-наёмник граф де Дама наблюдал из окна своей комнаты за войсками, отправлявшимися сражаться со шведами, и бормотал себе под нос: «Если бы шведский король увидел это войско, я думаю, он заключил бы мир». Двумя днями позже, когда Роже де Дама явился на поклон к императрице, она «нагнулась и сказала мне на ухо: «Итак, вы думаете, что если бы шведский король осмотрел мою гвардию, он заключил бы мир?» И она засмеялась» [52].

Её обаяние, однако, пленяло не всех: мы видим справедливое зерно в колкостях самодовольного придворного князя Щербатова, который писал, что императрица «одарена довольной красотой, умна, обходительна», «слаболюбива, трудолюбива по славолюбию… исполнена пышности… самолюбива до бесконечности». Он заявлял: «Дружба чистая никогда не вселялась в сердце её и она готова лучшего своего друга и слугу предать… за правило себе имеет ласкать безмерно и уважать человека, пока в нем нужда состоит, а потом, по пословице своей, выжатой лимон кидать» [53]. Это не вполне заслуженные упрёки, но безусловно, власть для Екатерины всегда была основным приоритетом. Потёмкин стал единственным исключением, лишь подтверждавшим правило.

Потёмкин, став камер-юнкером, болшую часть времени проводил на службе в императорских дворцах, в частности, стоя рядом с креслом императрицы во время обедов и прислуживая ей самой и ее гостями. Это означает, что он часто видел Екатерину на публике и знал, что собой представляет её повседневная жизнь. Она заинтересовалась им, а он, в свою очередь, увлёкся ею не на шутку – как не пристало увлекаться такому молодому придворному.

Часть вторая. Ближе

1762–1774

4. Циклоп

Природа создала его русским мужиком, таковым он и останется до смерти.

Дюран де Дистрофф

Когда императрица и подпоручик конной гвардии встречались в одном из сотен коридоров Зимнего дворца, Потёмкин падал на колени, брал её руки в свои и клялся в страстной любви. В самом факте их встреч не было ничего необычного, поскольку Потёмкин был камер-юнкером её величества. Любой придворный мог случайно столкнуться с монархом во дворце – они видели императрицу каждый день. Впрочем, даже обычные люди могли зайти во дворец, если были подобающе одеты и не носили ливреи. Однако целовать руки, стоя на коленях, и признаваться в любви было со стороны Потёмкина безрассудно и легкомысленно. От неловкости ситуацию спасало лишь жизнерадостное обаяние Потёмкина и кокетливая уступчивость Екатерины.

Можно предположить, что при дворе служили и другие молодые офицеры, полагавшие, что влюблены в императрицу, а другие притворялись влюблёнными из карьерных соображений. В разные годы к Екатерине питали чувства многие мужчины, в том числе Захар Чернышев и Кирилл Разумовский, и получали вежливые отказы. Но Потёмкин не желал мириться ни с условностями, принятыми при дворе, ни с господством Орловых. Он зашёл дальше, чем кто-либо ещё. Большинство придворных опасались братьев Орловых, убивших императора. Потёмкин же бравировал своим бесстрашием. Ещё задолго до прихода к власти он смотрел с пренебрежением на придворную иерархию. Он поддразнивал главу тайной полиции. Известно, что аристократы относились к Шешковскому с осторожностью, а Потёмкин насмехался над ним, спрашивая: «Что, Степан Иванович, каково кнутобойничаешь?» [1]

Впрочем, без поощрения императрицы он не мог так вести себя перед Орловыми. Если бы ей захотелось, она легко могла остановить его, но не сделала этого – что было несправедливо с её стороны, поскольку в 1763–1764 годах у Потёмкина не было ни единого шанса стать её любовником. Она была обязана Орловым своим титулом, а Потёмкин всё ещё был слишком молод, поэтому Екатерина не могла воспринимать его всерьёз. Она была

влюблена в Орлова, и, как она впоследствии признается Потёмкину, для неё много значили привычка и верность. Щеголеватого, хотя и не блиставшего талантами Орлова она считала своим спутником жизни, и таковым он «бы век остался, естьли б сам не скучал» [2]. Тем не менее она, должно быть, заметила, что участие Потёмкина было ей приятно. А камер-юнкер, в свою очередь, тоже обратил на это внимание и стремился как можно чаще попадаться ей на глаза.

Каждый день Екатерина вставала в 7 часов утра, а если просыпалась раньше, то сама затапливала камин, чтобы не будить слуг. До одиннадцати часов она работала – одна или совместно с министрами и секретарями, иногда давала аудиенции в девять часов. Шутя и упрекая себя в «графомании», она очень часто писала от руки множеству адресатов, от французов Вольтера и Дидро до немцев И.Г. Циммермана, мадам Бьельке и позднее барона Гримма. Письма Екатерины искренни, энергичны и полны характерного для нее тепла и слегка тяжеловесного юмора [3]. Это была эра эпистолярного искусства: мужчины и женщины со всего света считали предметом гордости стиль и содержание своих писем. Письма оказавшихся в интересных ситуациях значительных людей (таких как принц де Линь, Екатерина или Вольтер), тиражировались и зачитывались вслух в салонах Европы, являясь чем-то средним между репортажами уважаемого журналиста и рекламной паузой [4]. Екатерина любила не только письма – ей нравилось писать от руки указы и распоряжения. В середине 1760-х годов она уже готовила проект Наказа Комиссии для составления нового Уложения законов, которую она созовет лишь в 1767 году. Ещё с юности она взяла в привычку переписывать длинные отрывки из прочитанных книг, в том числе Ч. Беккариа, Ш. де Монтескьё и других; это своё обыкновение она называла «легисломанией».

В 11 утра императрица одевалась и допускала в свои покои ближний круг придворных, например Орловых. Затем они могли выйти на прогулку – летом она любила бродить в Летнем саду, где к ней мог обратиться любой прохожий. Когда Панин организовал её встречу с Казановой [5], она прибыла на место в компании одного лишь Григория Орлова и двух придворных дам. В час дня Екатерина садилась обедать. В половину третьего она возвращалась в покои, где была занята чтением до восемнадцати часов, а затем наступал «час любовника», когда она принимала у себя Орлова.

Если вечером что-то происходило при дворе, императрица наряжалась и выходила в свет. Парадный мужской костюм

представлял собой длинный камзол на французский манер, а дамы носили платья с длинными рукавами, коротким шлейфом и корсетом на китовом усе. И мужчины, и женщины старались перещеголять друг друга своими драгоценностями, украшая бриллиантами всё, что только возможно, – пуговицы, пряжки, ножны и эполеты, иные даже унизывали тремя рядами каменьев поля своих шляп. Вероятно, отчасти это объяснялось русскими представлениями о достатке и роскоши, а отчасти требованием как можно ярче продемонстрировать легитимность императорского двора. Орденские ленты украшали костюмы обоих полов: сама императрица представала перед публикой с красной с серебряной каймой, покрытой бриллиантами лентой Андреевского ордена, с лентой Св. Георгия на плече, орденами Св. Александра Невского, Св. Екатерины и Св. Владимира, а также двумя звёздами (Андреевской и Георгиевской) на левой груди [6]. Екатерина, воспитанная при елизаветинском дворе, унаследовала склонность к пышным нарядам. Она наслаждалась великолепием своего одеяния, с умом использовала его политический потенциал, и ее никак нельзя было назвать экономной, но при этом её гардероб был далек от елизаветинского расточительства, а с годами она становилась все умереннее. Екатерина понимала, что изобилие блеска компрометирует ту власть, которую оно призвано было подчеркнуть.

Охрану дворцов осуществляла гвардия, а у покоев государыни в карауле стояли солдаты элитного подразделения, основанного Екатериной в 1764 году, – шестьдесят дворян-кавалергардов в синих мундирах с красными обшлагами и серебряным шитьём. Вся амуниция от патронташа до карабина была серебряной, даже отделка сапог. В качестве головного убора на них были серебряные каски с высокими плюмажами. Российский орёл был вышит на спинах мундиров и выгравирован на серебряных медальонах с цепочками, украшавших грудь, колени и рукава [7].

В воскресенье по вечерам обычно происходили куртаги, по понедельникам играли французские комедии, по четвергам – французские трагедии и балеты, а в пятницу или субботу во дворце часто устраивали маскарад. На эти многолюдные и почти публичные мероприятия приглашали около пяти тысяч гостей. Екатерина и её придворные демонстрировали иностранным послам и друг другу всё своё великолепие. Кто расскажет нам о таком вечере лучше Казановы? «Длился он [бал-маскарад] шестьдесят часов. ‹…› Вижу всюду веселие, непринужденность, роскошь, обилие свечей… Я слышу, как рядом маска говорит соседу: гляди, гляди, государыня… ты сейчас увидишь Григория

Григорьевича Орлова: ему велено следовать за нею поодаль». Гости делали вид, что не узнают её, а Орлова «все признавали по высокому росту и голове, опущенной долу». Казанова, охотник выпить и закусить за чужой счёт в разных уголках мира, наелся вдоволь, полюбовался, как танцуют кадриль на французский манер, а затем – как это часто с ним бывало – встретил бывшую любовницу, ныне сопровождавшую польского посла, и вновь увлёкся её прелестями. К этому моменту он уже давно потерял императрицу из виду [8].

Екатерине нравилось наряжаться и надевать маски. Однажды она притворилась офицером, надев розовое домино и полковой мундир, и впоследствии записала несколько своих фривольных бесед с гостями бала, которые, очевидно, не узнали её. Одна княжна приняла её за красивого мужчину и охотно танцевала и кокетничала с ней, а Екатерина прошептала: «Как я счастлив!» – и склонилась, чтобы поцеловать барышне руку; та вспыхнула. «Пожалуй, скажи, кто ты таков?» – спросила она. «Я ваш», – отвечала Екатерина, однако свою личность не раскрыла [9].

Обычно Екатерина скромно ужинала и почти всегда удалялась к себе в 10.30 в сопровождении Григория Орлова. Она предпочитала засыпать не позднее 11 часов [10]. Её чёткий распорядок дня определял публичную жизнь двора, но Потёмкин благодаря своей сообразительности смог проникнуть в частный мир императрицы и её приближённых. Так он оказался под неусыпным наблюдением вспыльчивых Орловых, но при этом получил шанс рассказать императрице о своей страсти. Позднее Потёмкин дорого заплатит за свою беспечность.

Ранними вечерами Екатерина собирала ближний круг придворных – около восемнадцати человек – в своих покоях, а позднее в пристройке к Зимнему дворцу, которую она называла Малым Эрмитажем. Завсегдатаями этих встреч были графиня Брюс, красавица, пользовавшаяся безграничным доверием Екатерины в самых интимных вопросах, обер-шталмейстер Лев Нарышкин, которого она называла «врожденным арлекином» [11] – типичный пример русского дворянина, богача и ветреника, затем, конечно, Орловы; среди прочих все чаще приглашали и Потёмкина.

Русский двор был значительно менее чопорным и официозным, чем во многих других странах Западной Европы, включая двор Георга III. Когда Екатерина принимала министров, не входивших в ее ближний круг, они сидели и работали бок о бок – в отличие от британских премьер-министров, которые должны были стоять в присутствии Георга III и лишь крайне редко в качестве милости получали разрешение присесть. В

екатерининском Малом Эрмитаже обстановка была более непринуждённой. До 10 вечера Екатерина играла в карты, чаще всего в вист или фараон. Гвардейцы Орлов и Потёмкин чувствовали себя здесь как рыба в воде, поскольку вся их юность прошла за карточными столами с зелёным сукном. Она также принимали участие в загадках, играх на бумаге, шарадах и даже пении.

Григорий Орлов был хозяином салона: в Зимнем дворце его покои располагались этажом выше комнат Екатерины, поэтому он мог спускаться к ней по зелёной лестнице без доклада. Екатерина сдержанно относилась к пикантным шуткам своих приближенных, но она не стеснялась в проявлениях своих чувств к Орлову. Годы спустя английский путешественник напишет, что «в своих ласках они не смущались его присутствия» [12]. Орлов обожал музыку, и его весёлый нрав задавал тон этих вечеров, в то время как сама императрица, казалась, была всего лишь одной из приглашённых. К примеру, одна из записей камер-фурьерского журнала за 1768 год гласила: «По окончании стола Е. В. изволила возвратиться во внутренние свои апартаменты, а господа кавалеры в картинной комнате, между употреблением виноградных разных вин, пели сами песни; потом придворные певчие и лакеи, а в других комнатах, по приказанию… графа Г.Г. Орлова, пели увеселительные песни… от состоящего караула в селе Царском гвардии рейтары и солдаты» [13].

Орловым удалось воплотить в жизнь свои чаяния, но лишь до определённой степени. Вопрос о женитьбе больше не стоял, однако Орлов был постоянным спутником Екатерины, что само по себе делало его чрезвычайно влиятельным человеком. Но правительством вне всякого сомнения руководила сама императрица. Орловым не удалось стать полноценной политической силой: их ум, физическая сила и обаяние – вместо того чтобы сосредоточиться в одной личности – были поровну распределены между пятью братьями. Алексей Орлов, Le Balafre, обладал беспощадностью, Фёдор – образованностью и политической смекалкой; Григорий же, которому эти качества были необходимы, мог похвастаться лишь красотой, добрым нравом и простым здравым смыслом. Дипломаты писали, что Орлов, «взросший в трактирах и в неблагопристойных домах ‹…› вел [до 1762 года] развратную молодого человека жизнь», хотя и обладал «сердцем и душой доброй. Но все его хорошие качества были затмены его любострастием; он ‹…› учинил из двора государева дом распутства; не было почти ни одной фрейлины у двора, которая не подвергнута бы была его исканиям» [14], заявлял князь Щербатов, по-видимому, считавший себя голосом

совести русского дворянства [15]. Британский посол сэр Роберт Ганнинг писал, что «фаворит – человек распутный» и якшается с сомнительными личностями. В 1760-е годы Екатерина либо не обращала внимания на его измены, как мудрая жена, либо не знала о них. И хотя Орлов не был таким простаком, каким он предстаёт в рассказах зарубежных дипломатов, но его нельзя было назвать ни интеллектуалом, ни политиком. Он переписывался с Вольтером и Руссо, но, вероятно, лишь потому, что так было принято среди образованных и влиятельных особ того времени, к тому же ему хотелось сделать приятное Екатерине.

Императрица не переоценивала способности Орлова, поэтому он занимал только две важные должности: сразу после переворота он стал главой Канцелярии Опекунства иностранных поселенцев, задачей которой было привлечение колонистов в причерноморские области и районы, граничащие с Северным Кавказом. На этом посту он проявил себя весьма деятельно и тем самым подготовил почву для последующих свершений Потёмкина. В 1765 году Екатерина назначила его генерал-фельдцейхмейстером по Артиллерийскому корпусу, однако стоит заметить, что прежде она сочла нужным посоветоваться об этом с Паниным, и тот рекомендовал ей ограничить полномочия этой должности. Орлов не счёл нужным вникать в подробности артиллерийского дела и «казалось, знал о нем меньше, чем любой школяр», как выразился французский дипломат Дюран, встречавшийся с ним на военных учениях. Позднее он проявил подлинный героизм в борьбе с московской эпидемией чумы [16].

Орлов с важным видом повсюду ходил за Екатериной, однако не утруждал себя властными распоряжениями и так никогда и не получил той политической независимости, которую в дальнейшем Екатерина предоставит Потёмкину. Несмотря на физическую близость к императрице, Орлов не имел доступа к фактическому управлению страной.

Итак, Потёмкин стремился произвести на Екатерину впечатление своей дерзостью и умом, и ее пренебрежение этикетом было ему на руку. Однажды он нахально заглянул в салон, где Григорий Орлов с императрицей играли в карты, склонился над столом и принялся изучать карты Орлова. Тот шёпотом велел ему удалиться, но вмешалась Екатерина: «Пусть. Он нам не мешает» [17].

Возможно, в какой-то момент Орловы в самом деле решили избавиться от Потёмкина, и в эти «опасные времена» спасением для него оказалось вмешательство Никиты Панина [18]. В конце

1762 года Потёмкин в первый и последний раз отправился с поручением за границу: ему нужно было приехать в Стокгольм и уведомить Ивана Остермана, русского посла в Швеции, о смене правящего режима [19]. Обычно именно в Швецию – подальше от императорского двора – отсылали чересчур пылких влюблённых (как произошло с самим Паниным и первым любовником Екатерины Сергеем Салтыковым). Обрывочные сведения о самом начале потёмкинской карьеры говорят нам, что он не сделал никаких выводов из этого «предупредительного выстрела» и неутомимо продолжал скоморошничать на виду у Орловых – пока его наконец не проучили.

После возвращения Потёмкина Екатерина по-прежнему проявляла живой интерес к своему незаурядному молодому другу. Потёмкин, которого она позже назовёт своим учеником, вовсю пользовался ее великодушием. Однажды, исполняя свои придворные обязанности, он сидел напротив императрицы за столом, и она задала ему вопрос по-французски. Он ответил на русском языке. Когда другой придворный отчитал его за такую невоспитанность, Потёмкин воскликнул: «А я, напротив того, думаю, что подданный должен ответствовать своему государю на том языке, на котором может вернее мысли свои объяснить; русский же язык учу я с лишком двадцать два года» [20]. Таков типичный пример его игривой дерзости, который помимо всего прочего красноречиво свидетельствует о галломании екатерининских придворных. Есть легенда, что Екатерина велела ему выучить французский язык и даже подыскала для него учителя – французского монаха-расстригу, дворянина из Виварэ, который во время Семилетней войны служил в индийском Пондичерри под началом маркиза Дюплекса. Этот жалкий шарлатан по имени Вомаль де Фаж вовсе не был дворянином, а сопровождавшая его «супруга», по всей видимости, была куртизанкой, благодаря чему эти уроки французского определённо оказались занимательными. Впоследствии Потёмкин будет всегда симпатизировать хитроумным аферистам, подобным де Фажу, а французский станет его вторым языком [21].

У Екатерины были особые планы насчёт правительственной карьеры своего молодого протеже. Она знала о его интересе к религии и потому назначила его помощником обер-прокурора Святейшего синода – высшего органа управления Русской православной церковью, созданного Петром I. Обер-прокурор Синода занимался административными вопросами и выступал судьёй в религиозных тяжбах, иначе говоря, его обязанности соответствовали должности генерал-прокурора в гражданских делах. Императрица проявила особую заботу о Потёмкине и

самолично утвердила круг его обязанностей. Четвертого сентября 1763 года она пишет ему первое письмо, озаглавленное «Инструкции нашему камер-юнкеру Григорию Потёмкину»; письмо выдержано в покровительственном тоне, к которому императрица была склонна в общении с мужчинами младше себя, и гласит: «Из указа, данного об вас Святейшему синоду, хотя вам уже известно, с каким намерением определены вы в сие место, однакож, для точнейшего вам в поступках ваших наставления, особенно предписываем мы вам нижеследующее: для лучшего понятия дел, по сему месту производящихся… не бесполезно вам поставлять себе за должность, для лучшего приобучения вашего, приезжать в Синод и без собрания в такие часы, в какие вам рассудится… Заблаговременно справясь, какие дела на утро готовятся к докладу, прочитывайте оные с вниманием и делайте для себя ясные примечания, дабы при слушании могли бы вы или рассуждения судейские точнее понимать или, ежели что пропускается при докладах и рассуждениях, с благопристойностию припамятовать». Шестой пункт инструкции гласил, что в случае болезни генерал-прокурора «долг вы имеете нам докладывать по всяким делам и наши по всяким делам и наши по оным повеления в Синоде записывать. Словом, всему тому, что содействием вашим к облегчению порядочнаго дел течения, а притом и к лучшему оных познанию вашему служить может, должны вы со всяким радением приобучаться, ожидая нашей за то апробации и милости» [22]. Первый эпизод службы Потёмкина в Синоде был краткосрочным, возможно, из-за конфликта с Орловыми, но благодаря указу Синода за номером 146 нам известно, что он посещал Синод ежедневно на протяжении всего сентября [23]. Так началось его восхождение.

Впрочем, признаваясь в любви императрице и делая политическую карьеру, Потёмкин не ограничивал себя в увлечениях. Алкивиад обзавёлся репутацией удачливого любовника. Ему не было резона хранить верность Екатерине, поскольку Орлов пока не уступал своих позиций. Рослый, но не слишком привлекательный племянник Потёмкина Александр Самойлов записал, что его дядюшка «отличал в своем сердце ‹…› некоторую знатного происхождения молодую, прекрасную и всеми добродетельми украшенную девицу», которая также была «сама к нему неравнодушною». Увы, далее он пишет: «имени ее я не назову» [24]. Некоторые историки полагают, что речь идёт о конфидантке Екатерины графине Брюс – о ней шла дурная слава éprouveuse [25], будто бы «испытывавшей» кандидатов в любовники императрицы. Графиня Брюс и вправду самоотверженно шла на всё, чтобы способствовать роману

Екатерины и Потёмкина: в суетности придворных интриг самые крепкие политические союзы основывались именно на дружбе, окрашенной любовной привязанностью. И конечно же, графине всегда было непросто устоять перед чарами молодых красавцев. Однако в то время ей, как и Екатерине, было уже 35 лет, и Самойлов едва ли мог назвать её «девицей», так что личность вышеупомянутой особы пока остаётся тайной [26].

Как бы то ни было, Екатерина относилась со снисхождением к мелодраматическим выходкам Потёмкина, изображавшего из себя подлинного cavalier servente. Был ли он в самом деле влюблён в императрицу? Не станем домысливать его мотивы: в вопросах любви невозможно отделить человека от его положения. Он был амбициозен и предан Екатерине – как государыне и как женщине. А затем внезапно исчез.

Известна история о том, что когда-то в 1763 году Григорий и Алексей Орловы пригласили Потёмкина сыграть в бильярд. Когда он приехал, Орловы набросились на него и жестоко избили, серьёзно повредив левый глаз. В рану попала инфекция, и деревенский знахарь Ерофеич перевязал её, но от такого лечения стало только хуже – развился сепсис, и Потёмкин потерял глаз [27].

Драка с Орловыми, как и признания Екатерине, – неотъемлемая часть потёмкинской мифологии. По другим сведениям, он повредил глаз, играя в теннис, и мазь, выданная знахарем, лишила его зрения. Однако трудно представить себе Потёмкина на теннисном корте. Многие верили в историю с дракой, поскольку Потёмкин очевидно переступил все благоразумные пределы в своих ухаживаниях за императрицей, но всё же это кажется маловероятным, ведь Григорий Орлов всегда вёл себя достойно по отношению к молодому сопернику.

Так или иначе, это была его первая неудача. Два года назад Потёмкин приехал из Москвы бедным и никому не известным молодым человеком, а теперь он пользовался расположением самой императрицы всея Руси и считался её протеже. Но он слишком рано взлетел ввысь. Потеря зрения стала для него трагедией, но по иронии судьбы удаление от двора пошло ему на пользу. С тех пор Потёмкин ещё не раз будет временно покидать императрицу, чтобы заставить её думать о себе.

Потёмкин перестал появляться при дворе, никого не принимал, изучал богословие, отрастил бороду и подумывал постричься в монахи. Его всегда привлекали мистицизм и религиозные размышления. Будучи преданным сыном Православной церкви, он неоднократно удалялся в монастырь

для молитвы. Хотя в его выходках всегда была немалая доля актёрства, тем не менее современники, обычно не упускавшие повода его в чём-нибудь упрекнуть, не сомневались, что жизнь священнослужителя по-настоящему привлекала Потёмкина. Точно так же не подлежали сомнению его аскетизм и истинно русское презрение к мирской славе, особенно к своей собственной [28]. Однако кризис 1763 года был более серьёзным. Особое обаяние Потёмкина во многом было связано с его безумным непостоянством и резкими перепадами настроения – симптомами маниакального склада личности, который может многое объяснить в его странном поведении. Он погрузился в глубокую депрессию, его уверенность в себе разбилась вдребезги. О силе этого срыва позволяют судить свидетельства некоторых лиц: есть версия, что он мог удалить глаз по собственному желанию, чтобы избавиться от возникшего в результате этого происшествия дефекта [29]. В его исчезновении была и толика уязвлённого самолюбия: пострадавший глаз был наполовину прикрыт, но не утрачен[21]. Он стыдился этого и, вероятно, полагал, что отныне будет внушать императрице только отвращение. Сверхчувствительность Потёмкина была одним из его самых подкупающих качеств. Уже став знаменитым государственным мужем, он почти всегда отказывался позировать для портретов, считая себя изуродованным. Ему удалось убедить себя в том, что его карьера закончилась. Разумеется, противники не скрывали своего удовольствия, и Орловы, насмехаясь над его видом, придумали Потёмкину новое прозвище – в честь одноглазых гигантов гомеровской «Одиссеи»: «Алкивиад» превратился в «Циклопа».

Потёмкин отсутствовал восемнадцать месяцев. Иногда императрица спрашивала о нём Орловых. Говорят, она даже стала реже собирать свой дружеский кружок, поскольку скучала без его пантомим. Через своих приятельниц, чьи имена нам не известны, она посылала ему записки. Позднее она расскажет Потёмкину, что графиня Брюс неизменно уверяла её в том, что любовь Потёмкина не угасла [30]. И наконец, если верить Самойлову, императрица передала через доверенное лицо записку следующего содержания: «Весьма жаль, что человек столь редких достоинств пропадает для света, для отечества и для тех, которые умеют его ценить и искренне к нему расположены» [31]. Несомненно, эти слова должны были вернуть Потёмкину надежду. Проезжая мимо его пристанища, Екатерина велела Григорию Орлову призвать Потёмкина ко двору. Благородный и чистосердечный Орлов при Екатерине всегда отзывался о сопернике с уважением, к тому же он, вероятно, считал, что

утративший красоту и уверенность в себе Потёмкин уже не представлял никакой опасности [32].

Страдание способно укрепить дух, воспитать терпение и мудрость. Можно предположить, что вернувшийся к придворной службе одноглазый Потёмкин был уже не тем новичком-Алкивиадом, который эту службу покинул. Прошло восемнадцать месяцев после печального происшествия, а Потёмкин всё ещё носил на голове пиратского вида повязку: здесь проявилось противоречивое сочетание скромности и артистизма, которое было так ему свойственно. Екатерина приняла его радушно, и он вернулся на свою прежнюю должность в Синоде. Но когда в честь третьей годовщины переворота императрица дарила своим самым верным соратникам серебряные сервизы, то Потёмкин оказался одним из последних в списке из 33 человек – значительно ниже таких важных фигур, как Кирилл Разумовский, Панин и Орлов. Последний неизменно был всюду рядом с императрицей, однако Екатерина не забыла своего безрассудного поклонника [33].

В результате Орловым пришлось измыслить новый, более эффективный способ устранить соперника. Существует легенда, будто бы Григорий Орлов нашёл подходящую партию для смоленского гвардейца – дочь Кирилла Разумовского Елизавету, и Екатерина не возражала [34]. Свидетельств о его ухаживаниях не сохранилось, но нам известно, что впоследствии Потёмкин покровительствовал девушке и всегда находил общий язык с её отцом, который в свою очередь «по-отечески привечал его».

Действительно, доброта к молодому Потёмкину была вполне характерна для этого лишённого снобизма и одного из самых симпатичных придворных Екатерины – выходца из казацкой семьи пастухов. Говорили, что в шестнадцать лет Разумовский ещё был крестьянином, а в 22 года – фельдмаршалом, и это почти соответствует истине[22]. Если его сыновья, выросшие в дворянской среде и гордившиеся этим, стыдились его простонародных казацких корней, то сам граф порой кричал своему лакею: «Ступай, принеси мне свитку, в которой я приехал в Петербург: хочу вспомнить хорошее время, когда я пас волов да покрикивал: цоп! цоп!» [35]. Разумовский вёл роскошную жизнь, и считается, что именно он познакомил русскую знать с шампанским. Потёмкину несомненно нравились искромётные истории этого жизнерадостного рассказчика (как и его игристое вино), и он увлёкся казачеством – возможно, и вправду увлечение всей его жизни началось с бокала шампанского во дворце у бывшего гетмана? Настоящей причиной того, что никакой свадьбы не состоялось, была непроходившая любовь Потёмкина к Екатерине и надежда на некое связанное с ней великолепное

будущее [36]. Екатерина порой «обращает свои взоры на других, – писал британский посол граф Бэкингемшир, – особенно на одного галантного и способного человека, вполне достойного ее благорасположения; он имеет хороших советников и, возможно, некоторый шанс на успех» [37]. Слово «способный» явно намекает на Потёмкина, а под «хорошими советниками» определённо имеется в виду графиня Брюс.

В 1767 году Потёмкин заступил на новую должность, которая красноречиво свидетельствует, что Екатерина специально ставила перед ним задачи, соответствовавшие его интересам. После короткой службы в Синоде он был назначен на пост армейского казначея и стал ответственным за изготовление военных мундиров. В то время Екатерина приступала к одному из самых важных для неё политических проектов – Уложенной комиссии. Потёмкина, который гордился своими знаниями о культурах Востока, она включила в число трёх опекунов по делам иноверцев [38] – наряду с генерал-прокурором Сената князем Вяземским и Олсуфьевым, одним из секретарей императрицы. Екатерина постепенно знакомила Потёмкина с ключевыми политическими фигурами в государстве. Её решения никогда не были случайны.

Уложенная комиссия – выборный орган, состоявший из пятисот человек, удивительно широко по тем временам представлявших разные слои населения – дворян, горожан, государственных крестьян и коренные малые народы. В тот год все они съехались в Москву с указаниями от своих выборщиков, и среди были сорок четыре представителя различных этнических групп – татар, башкир, якутов, калмыков. Поскольку Вяземский и Олсуфьев были заняты более существенными делами, иметь дело с делегатами пришлось Потёмкину.

Заранее, до отъезда императрицы, в сопровождении двух эскадронов конногвардейцев он уехал в Москву, чтобы проследить за прибытием делегатов. Екатерина приехала в город в феврале и оттуда отправилась в круиз по Волге с заездом в Казань и Симбирск. Вместе с ней ехала свита из более 1500 придворных, в том числе двое братьев Орловых и двое Чернышёвых, а также иностранные послы – поскольку целью всего путешествия было показать, что Екатерина в курсе дел всей своей империи. Затем она вернулась в Москву, чтобы открыть заседания комиссии.

Вероятно, Екатерина рассматривала возможность отмены или реформы крепостного права, следуя принципам идеологии Просвещения, но она совершенно не хотела менять государственный строй России. Крепостничество было одним из основных связующих звеньев между императором и дворянством,

и пытаться разрушить эту связь было рискованно. Более пятисот статей написанного ею «Наказа» Уложенной комиссии представляли собой конспект идей Монтескьё, Беккариа и французской «Энциклопедии». Цель комиссии состояла в том, чтобы кодифицировать уже существовавшие законы – но даже это было опасным посягательством на её собственную абсолютную власть. Екатерина отнюдь не собиралась совершать революцию и была убежденной сторонницей русского самодержавия. Да и многие философы-просветители, сражаясь с предрассудками, при этом не поддерживали демократию, а лишь утверждали ценности разума, закона и порядка, установленного свыше. Намерения Екатерины были искренними, но в них все таки было нечно показное – желание продемонстрировать уверенность императрицы в себе и стабильность Российской империи. Однако в результате эта рекламная кампания ни к чему не привела.

В десять утра в воскресенье, 30 июля 1767 года, в экипаже, запряжённом восемью лошадьми и в сопровождении шестнадцати карет с придворными, Екатерина выехала из Головинского дворца в Кремль. С ней отправились Григорий Орлов и отряд конногвардейцев, а с ними, вероятно, и Потёмкин. Следом ехал великий князь Павел. Екатерина остановилась у Успенского собора, чтобы получить благословение. Сопровождавшие её генерал-прокурор Вяземский и делегаты всех национальностей следовали за ней, выстроившись по двое, словно пассажиры Ноева ковчега. Делегаты-иноверцы ожидали у врат собора. Затем процессия в том же порядке прошествовала к Большому Кремлёвскому дворцу, где, стоя возле трона в императорской мантии и короне, их встречала государыня вместе с князем Павлом, придворными и епископами. По правую руку от неё были выставлены копии её «Наказа». На следующее утро в Грановитой палате «Наказ» был зачитан вслух, и Комиссия открылась церемонией, составленной по образцу британского парламента, чья работа начиналась с тронной речи [39].

Потёмкин присутствовал на нескольких заседаниях Комиссии вместе с императрицей. Он наверняка читал «Наказ»: в его обширной библиотеке были все труды, к которым обращалась Екатерина («О духе законов» Монтескьё, все 35 томов «Энциклопедии» Дидро на французском и фолианты Вольтера). Однако в работе Комиссии он участия не принимал [40]. Комиссия не слишком преуспела в систематизации законов, но зато взяла на себя функцию совещательного органа. В ходе её деятельности удалось собрать ценную информацию для будущих законодательных инициатив Екатерины. Именно члены Комиссии

предложили эпитет «Екатерина Великая», который императрица отвергла. Эта поездка напомнила ей, что она терпеть не может Москву, поэтому Екатерина вернулась в Петербург, где снова созвала Комиссию уже в феврале 1768 года, и вскоре начавшаяся война с Турцией позволила ей завершить все утомительные дискуссии [41].

Двадцать второго сентября 1768 года камер-юнкер Потёмкин получил повышение – ему был вручён ключ камергера [42], управляющего двором. Он также всё ещё числился на воинской службе, хотя это было не принято, и получил чин капитана конной гвардии. Два месяца спустя по особому указанию Екатерины он покинул армию и полностью посвятил себя придворной службе. Но на этот раз Потёмкин совершенно не хотел находиться при дворе, и когда 25 сентября 1768 года Османская империя объявила войну России, он понял: вот его шанс.

5. Герой войны

Между сподвижников моих в течение минувшей с турками войны генерал граф Потёмкин был один из тех воинских предводителей, которые чрез храбрость и искуство, чрез рвение к службе Вашего императорского величества и победоносными своими делами вознесли славу и пользу оружия российского; но ему принадлежит и то еще преимущество, что важность им сохраненного поста, где взаимное оружие проходило, против коего упор сил неприятельских всегда обращен был, и самые меры наступательные, коими он граф Потёмкин действовал против врагов, производили часто удобность и случай другим начальникам с своими частями совершать над ними победы.

Фельдмаршал, граф Пётр Румянцев-Задунайский об участии генерала Потёмкина в первой Турецкой войне

«Всемилостивейшая государыня! Безпримерные Вашего величества попечения о пользе общей учинили Отечество наше для нас любезным, – писал Потёмкин императрице 24 мая 1769 года. Это письмо – первое из сохранившейся переписки Потёмкина и Екатерины, и его рыцарский тон позволил автору как можно более откровенно выразить свои чувства к императрице. – Долг подданической обязанности требовал от каждого соответствования намерениям Вашим. И с сей стороны должность моя исполнена точно так, как Вашему Величеству угодно. Я Высочайшие Вашего Величества к Отечеству милости видел с признанием, вникал в премудрые Ваши узаконения и старался быть добрым гражданином. Но Высочайшая милость, которою я особенно взыскан, наполняет меня отменным к персоне Вашего Величества усердием. Я обязан служить Государыне и

моей благодетельнице. И так благодарность моя тогда только изъявится в своей силе, когда мне для славы Вашего Величества удастся кровь пролить. Сей случай представился в настоящей войне, и я не остался в праздности. Теперь позвольте, Всемилостивейшая Государыня, прибегнуть к стопам Вашего Величества и просить Высочайшего повеления быть в действительной должности при корпусе Князя Прозоровского, в каком звании Вашему Величеству угодно будет, не включая меня навсегда в военный список, но только пока война продлится. Я, Всемилостивейшая Государыня, старался быть к чему ни есть годным в службе Вашей; склонность моя особливо к коннице, которой и подробности, я смело утвердить могу, что знаю. В протчем, что касается до военного искусства, больше всего затвердил сие правило: что ревностная служба к своему Государю и пренебрежение жизни бывают лутчими способами к получению успехов… Вы изволите увидеть, что усердие мое к службе Вашей наградит недостатки моих способностей и Вы не будете иметь раскаяния в выборе Вашем.

Всемилостивейшая Государыня, Вашего Императорского Величества всеподданнейший раб Григорий Потёмкин» [1].

Война для Потёмкина оказалась удачной возможностью спастись от раздражающей придворной рутины и отличиться – и в то же время дать Екатерине понять, как она в нём нуждается. Разлука с Екатериной парадоксальным образом сблизила их.

Первая Русско-турецкая война началась с того, что русские казаки, преследуя мятежные войска Барской Конфедерации – поляков, выступавших против короля Станислава Августа и русского влияния в Польше, – перешли польскую границу и очутились в маленьком татарском городе Балту, который формально являлся турецкой территорией. Там казаки перебили всех евреев и татар. Высокую Порту – османское правительство, и без того озабоченное усилением влияния русских в Польше, – поддержала Франция, и союзники предъявили России ультиматум с требованием вывести все свои войска из Речи Посполитой. Русского посла Алексея Обрескова турки арестовали и заточили в Семибашенном замке, где ранее хранились сокровища Сулеймана Великолепного, а теперь находилась тюрьма для особо значимых преступников, своего рода турецкая Бастилия. Именно так турки обычно и объявляли войну.

В качестве ответных мер Екатерина учредила Государственный совет, состоявший из её главных советников – от Панина, Григория Орлова и Кирилла Разумовского до кузенов Голицыных и братьев Чернышевых. Совет должен был руководить военными действиями и разрабатывать стратегию. Она также

удовлетворила просьбу Потёмкина. «Нашего камергера Григория Потёмкина извольте определить в армии», – поручила она президенту Военной коллегии Захару Чернышеву [2]. Потёмкин немедленно отправился в бой. Получив чин генерал-майора от кавалерии, который соответствовал его придворной должности камергера, Потёмкин уже через несколько дней вошёл с докладом к генерал-майору князю Александру Прозоровскому в маленьком польском городке Бар.

Русская армия численностью восемьдесят тысяч человек получила приказ овладеть Днестром – этот стратегически важный водный путь протянулся от Чёрного моря до южной Польши. Выход к Чёрному морю (и контроль над ним) был важнейшей задачей Российской империи. Завоевав Днестр, русские войска рассчитывали получить и выход к морю. Армия была разделена на две части: Потёмкин служил в Первой армии под командованием генерала князя Александра Голицына, которая направлялась к крепости Хотин. Вторая армия под командованием генерала Петра Александровича Румянцева получила указание защищать южные границы. Если первая кампания пройдёт успешно, они смогут отвоевать причерноморское побережье от Прута до Дуная. А если им удастся перейти Дунай и попасть в турецкую Болгарию, то откроется путь в столицу Высокой Порты – Константинополь.

Императрица была совершенно уверена в успехе. «Войска мои… идут воевать против турков с такою же охотою, как на свадебный пир», – хвасталась она Вольтеру [3]. Но война никогда не бывает похожа на свадьбу, особенно для русских солдат-крестьян. Сам Потёмкин до тех пор был знаком с военной жизнью лишь по чванливым россказням петербургских гвардейцев, но теперь он прибыл в настоящий – суровый и суматошный – мир русской армии.

Жизнь русского новобранца была такой короткой, что порой обрывалась прежде, чем он добирался до своего лагеря. Когда солдаты покидали свой дом и отправлялись на пожизненную службу, семьи горестно прощались с ними, как с покойниками, пели рекрутские песни и плакали. Затем рекруты строились в колонны и маршировали на фронт, иногда закованными в цепи. Они были вынуждены переносить жестокие мучения и страдать от разлуки со своей родной деревней и родными. Современный историк справедливо сравнил их положение с трансатлантическими путешествиями негритянских рабов. Многие рекруты умирали в пути, когда им приходилось преодолевать тысячи вёрст, или приходили на место службы в таком изнурённом состоянии, что вскоре погибали: граф

Ланжерон, уроженец Франции, служивший в русских войсках в конце XVIII века, писал, что половина его рекрутов умирала. Ланжерон в красках описывал строжайшую дисциплину и мучительные побои, не позволявшие крепостным солдатам восстать против своих хозяев-офицеров; впрочем, вероятно, жестокость русской армии едва ли отличалась от положения в прусской армии или на британском флоте. Как и чернокожие рабы, русские солдаты находили утешение в своей красочной, религиозной и душевной народной культуре. Их жалованье составляло всего 7 рублей 50 копеек в год (для сравнения: жалованье премьер-майора – уже 300 рублей), в то время как Потёмкин, далеко не богатый человек, за одно только участие в перевороте получил 18 000 рублей. Потому члены солдатской коммуны – артели – делили друг с другом всё, ведь артель была для них одновременно родной деревней, церковью, семьей, кружком друзей, кухней и банком [4]. В их репертуаре было множество песен, которые они могли петь пять или шесть часов подряд беспрерывно [5] (позднее солдаты сочинят не одну песню о Потёмкине).

Несмотря на всё это, русский солдат считался «лучшим солдатом в мире, – писал Ланжерон. – Он соединяет в себе все качества солдата и героя. Он умерен, как испанец, вынослив, как богемец, исполнен национальной гордости, как англичанин, и подвержен вдохновению, как француз, валлонец или венгр» [6]. На Фридриха Великого во время Семилетней войны произвели впечатление и поразили русская отвага и выносливость, он называл русских «les oursomanes» [7] за их поистине медвежью маниакальную свирепость. Потёмкин служил в кавалерии, которая была известна своей кровожадной жестокостью и смелостью, особенно если она выходила в бой вместе с нерегулярной лёгкой конницей – казачьими войсками.

Русской армии не было равных в Европе, потому что до американской и Французской революций войска муштровали и отправляли в сражения именем королей, а не за идеи или национальные интересы. Большинство армий были многонациональными и состояли из наёмников, принудительно записанных в нее рекрутов и разного сброда; все они служили флагу, а не стране. Но в русской армии служили русские же крестьяне, которые попали под массовые призывы и были выбраны из более чем семи миллионов душ. Казалось, что в этом причина их почти безрассудной храбрости [8].

Офицерский состав формировался либо из русских землевладельцев – дебоширов и страстных любителей азартных игр, – либо из немецких (или позднее французских) солдат

удачи, – все они славились своей жестокостью. Один из ярких примеров – генерал Михаил Каменский, который кусал своих солдат. Но они были поразительно отважны [9], а их «пушечное мясо» – подчинённые им крестьяне – безжалостны, послушны, выносливы, патриотичны, самостоятельны и способны стойко переносить самые ужасные муки. Всё это превращало русскую армию в потрясающую боевую машину. Среди русских ходила поговорка: «Турки падают, словно кегли, а наши солдаты стоят твёрдо, даже лишившись головы» [10].

Многие современники полагали, что в XVIII веке война стала менее кровавой. Разумеется, европейские династии Габсбургов и Бурбонов по крайней мере пытались создать видимость того, что они воюют в соответствии с аристократическим этикетом. Но русские воспринимали войну с Турцией совершенно иначе. В течение нескольких столетий православной Руси угрожали сначала мусульмане-татары, а затем турки, и русский крестьянин считал эту войну крестовым походом. Они сражались, как в Средние века – во имя разрушения, и им был отдан приказ не щадить врагов.

Едва Потёмкин прибыл в Бар, как «странная война», до поры до времени позволявшая обеим неподготовленным сторонам собираться с силами, внезапно окончилась. Шестнадцатого июня 1769 года двенадцать тысяч татарских всадников под командованием крымского хана, союзника султана, вторглись на территорию Украины, пересекли Днестр и напали на лагерь Потёмкина. Даже тогдашним солдатам татары, вооружённые арканами, луками и стрелами, казались выходцами из прошлого века, но это были единственные боеспособные турецкие войска. Татарский хан Кырым Гирей, прямой потомок Чингисхана, командовал кавалерией без страха и пощады. Его сопровождал барон де Тотт, французский офицер, откомандированный в Стамбул для укрепления турецких военных сил. Сохранились его записки об этой – последней в своём роде – средневековой военной операции. Со времён Чингисхана прошло пять столетий, но крымские татары, потомки монгольской орды, всё ещё были лучшими европейскими всадниками. Они мчались из Крыма через Украину к русским войскам, всё ещё находившимся в южной Польше, и, должно быть, их внешний вид и производимый ими шум нагоняли не меньше страху, чем во времена их монгольских предков. Однако как и у всякой нерегулярной конницы, у них были стратегические недостатки: нарушение дисциплины и чрезмерная склонность к грабежам. Этот набег позволил туркам выиграть время, чтобы собрать свою армию, общая численность которой составляла 600 000 человек.

В ходе своего первого сражения Потёмкин принял бой и отразил атаку этих диких татарских и турецких всадников. Тем самым он хорошо зарекомендовал себя, и имя «камергера Потёмкина» значилось в списке особо отличившихся. Так началось его восхождение к успеху. Девятнадцатого июня он вновь сражался в битве при Каменце-Подольском и затем участвовал в боевых действиях, помогая генералу Голицыну при взятии Каменца [11]. Девятнадцатого июля в Санкт-Петербурге Екатерина отпраздновала эти маленькие победы воскресным молебном, но нерешительный Голицын медлил под Хотином. В августе разгневанная императрица в нетерпении вызвала его к себе. Есть основания полагать, что Потёмкин через посредство Орловых также участвовал в интригах, направленных на устранение Голицына [12]. Но несмотря на свою комичную медлительность, Голицын оказался человеком удачливым. Его противником был великий визирь Мехмед Эмин, который предпочитал не рубить головы, а читать исламскую поэзию. Поэтому Екатерина оказалась в неловком положении – к тому времени, когда ее приказ был доставлен в армию, Голицын уже взял себя в руки и пересёк Днестр.

Теперь генерал-майор Потёмкин и его кавалерия почти ежедневно принимали участие в боях: 30 июня он вновь отличился в сражении и отразил турецкие атаки второго и шестого июля. Когда Голицын наконец пересёк Днестр, Потёмкин участвовал во взятии Хотина. Четырнадцатого августа он героически сражался во главе кавалерии, а затем двадцать девятого августа содействовал победе над Молдаванчи-пашой. «Непосредственно рекомендую В. В. мужество и искусство, – писал князь Голицын, – которое оказал в сем деле генерал-майор Потёмкин; ибо кавалерия наша до сего времени еще не действовала с такою стройностью и мужеством, как в сей раз, под командою вышеозначенного генерал-майора» [13]. Так Потёмкин приобретал славу героя войны.

В российской столице Екатерина наверняка высоко оценила такую похвалу, а в Высокой Порте – напротив: султан Мустафа III отозвал из армии великого визиря, ведь по османским обычаям коль скоро Эмин-паша потерял рассудок на поле битвы, то не сносить ему головы, вернувшись домой. Однако эти победы случились слишком поздно, чтобы помочь делу Голицына; в утешение ему был пожалован фельдмаршальский жезл. Генерал Пётр Иванович Панин, брат министра, принял командование Бендеровской армией, а главой Первой армии в сентябре стал Пётр Румянцев. С этого начался расцвет карьеры одного из величайших генералов в русской истории, который сперва был

покровителем Потёмкина, а затем стал его соперником.

В обращении с подчинёнными новый командующий был совершенно не похож на 29-летнего генерал-майора, однако Потёмкин безмерно его уважал. Румянцеву было сорок три года, и этот высокий, стройный, педантичный военный обладал острым, язвительным умом и высокими связями: он был братом графини Брюс. Подобно своему кумиру Фридриху Великому, он «не любит и не уважает никого в мире», но несмотря на это, Румянцев, «без всякаго сомнения, самый блестящий из всех русских генералов; это человек, одаренный большими достоинствами» [14]. Вновь напоминая этим Фридриха, он был сторонником строгой дисциплины и великолепным собеседником. Ланжерон с воодушевлением писал: «Мне случалось проводить с ним одним целые дни, и я ни разу не испытал ни одной минуты утомления или скуки» [15]. Он нажил большое состояние и жил «в древней феодальной роскоши», неизменно придерживаясь самых утончённых аристократических манер. Это не так уж удивительно, если принять во внимание, что он был живым реликтом петровских времён: его считали внебрачным сыном Петра Великого[23].

Генерал поднаторел в военном искусстве, участвуя в Семилетней войне с Пруссией, где умудрился поразить своим мастерством даже Фридриха. Екатерина уважала его способности, но никогда не доверяла ему и поэтому предложила ему пост главы Малороссийской коллегии – достойную должность, но удалённую от двора. Румянцев не испытывал симпатии к Екатерине, зато ему нравились русские военные мундиры прусского образца, парики и прусская военная муштра, и он усердно трудился над тем, чтобы усовершенствовать прусскую тактику, перенятую во время Семилетней войны. Немцев он определённо предпочитал русским [16].

Румянцев был отцом для своих солдат, но генералом для своих сыновей. Когда, один из отпрысков, окончив учёбу, нанёс ему визит, тот спросил: «Кто вы?» «Я – ваш сын», – ответил юноша. «Превосходно. Ты возмужал», – бросил генерал. Сын спросил, может ли он остаться в лагере и устроиться на службу. «Разумеется, – сказал отец. – Наверняка тебе знаком какой-нибудь офицер или кто-то иной, кто сможет помочь в этом деле» [17].

Потёмкин, камергер при дворе, генерал на фронте, всегда стремился угнаться сразу за двумя зайцами – войти в доверие к командующему и попытаться снискать славу на поле боя. Он писал Румянцеву: «Как усердие и преданность к моей Государыне, так и тот предмет, чтоб удостоиться одобрения столь высокопочитаемого мною командира, суть основанием моей

службы» [18]. Румянцев отдавал должное его познаниям, однако наверняка имел представление и о его знакомстве с императрицей. Прошения Потёмкина были удовлетворены. Тем временем шёл второй год войны, и Екатерина была разочарована медлительностью русских войск. В XVIII веке война имела сезонный характер: когда наступала русская зима, армии, словно ежи, впадали в спячку. Сражение с основными силами Османской империи и осаду Бендер пришлось отложить до весны.

Как только представилась возможность, Румянцев разделил свою армию на несколько маневренных корпусов и пошёл вниз по течению Днестра. Даже в январские морозы Потёмкин, которого Румянцев отправил служить в корпус генерала Штофельна, участвовал в вооружённых столкновениях и отбивал атаки Абдул-паши. Четвертого февраля Потёмкин немало поспособствовал захвату Журжи, совершив несколько кавалерийских набегов, разбив двенадцатитысячное войско, захватив две пушки и несколько знамён. Было всё ещё чрезвычайно холодно, но он «не щадил себя» [19]. В конце месяца доклад Румянцева был зачитан императрице в Совете, в нем сообщалось о «ревностных подвигах генерал-майора Потёмкина», который «сам просился у меня, чтоб я его отправил в корпус генерал-поручика фон Штофельна, где самым делом и при первых случаях отличил уже себя в храбрости и искусстве» [20]. Командующий полагал, что Потёмкина следует представить к награде, и таким образом тот получил свой первый орден – Святой Анны.

Пока русские солдаты шли на юг вслед за турецкой армией, Потёмкин, согласно следующему докладу Румянцева, «при движении армии по левому берегу реки Прута со вверенным ему деташементом, охраняя правую той реки сторону, как покушения против себя неприятельские отражал, так и содействовал армии в поверхностях над ним». Семнадцатого июня основные русские силы перешли Прут и атаковали 22 000 турок и 50 000 татар, обосновавшихся на другом берегу. В это самое время генерал-майор Потёмкин с резервным корпусом пересек реку тремя милями ниже по течению и напал на турок с тыла. Лагерь был разрушен, турки бежали [21].

Всего лишь три дня спустя Румянцев вплотную подошёл к восьмидесятитысячной турецкой армии, удобно расположившейся у слияния рек Ларги и Прута и ожидавшей прибытия великого визиря с основной армией [22].

Седьмого июля 1770 года Румянцев и Потёмкин, выстроив русские войска в каре, пошли на штурм турецкого лагеря, с волнением ожидая ответного выпада турок. Потёмкин впервые

увидел османскую армию – это огромное, поражающее воображение, шумное нагромождение шёлковых шатров, ветхих телег, зелёных знамён, развевавшихся бунчуков (турецких символов власти). Османская империя только в следующем столетии станет необъятно расплывшейся и нерешительной, а в то время она ещё была способна собирать существенные военные силы из резервов своих удалённых пашалыков – с месопотамских равнин и холмов Анатолии, из портов варварских земель и балканских регионов; когда султан поднимал знамя Пророка, в армию отовсюду тянулись новобранцы.

Принц де Линь писал, что турки, «которым отказывают в искусстве военном… несмотря на то, ведут войну по некоторой методе». Метода заключалась в том, чтобы кое-как выстроить многочисленные армии в форме пирамиды и обрушить их на русских солдат – конница и пехота с гиканьем волнообразно сменяли друг друга. Янычары некогда были самой страшной пехотой в Европе, однако со временем они опустились и стали походить на богатых и заносчивых императорских гвардейцев Римской империи – они куда больше заботились о своих торговых местах и дворцовых интригах, чем о сражениях. И всё же турки гордились своей верностью исламу и своим мастерством и с достоинством носили красно-золотые шапки, белые туники, широкие шаровары, жёлтые ботинки, изогнутые сабли, копья и пистолеты.

Цвет османской кавалерии составляли татары и сипахи – турецкие феодалы, которые умели стрелять из пистолета, вскакивая на лошадь или спешиваясь. Они носили доспехи, богато украшенные драгоценностями, или яркие жилеты с шароварами, таким образом часто оставляя руки незащищёнными. Их вооружение составляли изогнутые сабли с гравировкой, кинжалы, копья и пистолеты с инкрустацией. Дисциплина не была их сильной стороной: они шли в бой, только когда были готовы, и часто бунтовали. Для янычар было обычным делом украсть лошадь и ускакать с поля боя, напасть на своего начальника или продать армейское продовольствие на сторону. Основную часть османской армии составляли нерегулярные войска, которых рекрутировала анатолийская знать и которым не платили жалованье – предполагалось, что они сами прокормят себя мародёрством. Несмотря на усердие французских советников, в том числе барона де Тотта, османская артиллерия во многом уступала русской, а их мушкеты давно устарели, и хотя их стрелковое искусство было на высоте, частота стрельбы оставалась низкой.

Турецкие воинские порядки, уже давным-давно отжившие

своё, отнимали очень много сил. Когда всё было готово к наступлению, разношёрстная толпа из сотен тысяч солдат, прибегнув к помощи опиума [23], воспламенялась жаром священного гнева. «Пятисоттысячное войско, – позднее рассказывал Потёмкин графу де Сегюру, – стремится как река». Он уверял, что пирамидальный строй их войск формируется по мере убывания храбрости воинов: «В вершине ‹…› становятся отважнейшие из них, упитанные опиумом; прочие ряды, до самого последнего, замещены менее храбрыми и, наконец, трусами». Как вспоминал де Линь, атаку сопровождали «громкие вопли, множество диких голосов, ревущих: *алла, алла, алла*!» Чтобы не сдавать позиций под таким натиском, от пехоты требовалась железная дисциплина. Любой попавший в плен русский лишался головы под крик «не бойся!», и отрубленную голову поднимали на пику. Их религиозное воодушевление «возрастало пропорционально опасности».

Русские нашли способ справиться со стремительностью турецкой атаки: они выстраивались в каре, которое могло устоять против натиска грозно ревущих воинов. Турецкое войско – «самый опасный враг и в то же время достойный наибольшего презрения», писал позднее де Линь: опасный, если позволить ему пойти в атаку, и жалкий, если опередить его. Сипахи или татары, «роем» окружавшие российские каре, скакали, гарцевали, похваляясь своим искусством верховой езды и выделывая трюки, и тем самым доводили себя до изнеможения. И тогда румянцевские каре шли в наступление – эта лёгкая и метко стреляющая пехота, вымуштрованная с поистине прусской дотошностью, двигалась под прикрытием казаков и гусаров, и полки связывались между собой с помощью егерей. Потерпев неудачу, турки либо бежали врассыпную, словно кролики, либо бросались в смертельный бой. Обычно всё заканчивалось «страшной резнёй», рассказывал Потёмкин. «Турки обладают врожденным воинским инстинктом, который делает их превосходными солдатами; однако они способны только на первое движение и не в состоянии продумать следующий шаг (…) Смешавшись, они начинают вести себя как сумасшедшие или как малые дети» [24].

Так и случилось, когда войска Румянцева с помощью артиллерии и стоического терпения отбили атаки турок и взяли штурмом турецкий лагерь в битве при Ларге; 72 000 турок и татар оставили свои оборонительные сооружения и бежали. Потёмкин, прикомандированный к корпусу князя Николая Репнина, во главе авангардного отряда атаковал лагерь

крымского хана и, согласно Румянцеву, «предводя особливой каре, был из первых в атаке укрепленного там ретраншамента и овладении оным». Потёмкин был вновь представлен к награде, на этот раз ему вручили орден Святого Георгия третьей степени, и он отправил императрице благодарственное письмо [25].

Вскоре новый великий визирь вместе с основной турецкой армией перешёл в наступление, чтобы помешать встрече двух русских армий под предводительством Румянцева и Панина. Он пересёк Дунай и пошёл вверх по течению Прута, рассчитывая соединиться с войсками, отступившими в битве при Ларге. Двадцать первого июля 1770 года чуть южнее Ларги Румянцев повел двадцать пять тысяч своих солдат против ста пятидесяти турецких воинов великого визиря, разбивших лагерь за тройным укреплением у озера Кагул. Несмотря на численное неравенство, Румянцев принял решение атаковать. Усвоив уроки сражения при Ларге и приобретя определённую уверенность, он сформировал перед главными турецкими позициями пять каре. Потёмкин со своей конницей стоял на защите военных обозов «от многочисленных татарских орд и препятствовал нападениям с тыла». Отдавая Потёмкину приказ, Румянцев якобы произнёс: «Григорий Александрович, доставьте нам пропитание наше на конце вашей шпаги» [26].

Турки не извлекли никаких уроков из сражения при Ларге и были чрезвычайно удивлены этой атаке. Они яростно сражались весь день, но после отчаянной кровопролитной борьбы были вынуждены бежать, оставив на поле сто тридцать восемь орудий, две тысячи пленных и двадцать тысяч убитых. Румянцев блестяще воспользовался этой победой, направив армию дальше по течению Дуная: двадцать шестого июля Потёмкин помог Репнину взять крепость Измаил, а десятого августа – Киликию. Шестнадцатого сентября генерал Панин взял штурмом Бендеры, а Румянцев завершил свою кампанию десятого ноября [27], завоевав Браилов. Эти замечательные новости обрадовали императрицу.

Екатерина повелела отправить российский Балтийский флот, любимое детище Петра I, через Северное море, Ла-Манш и Гибралтар в восточную часть Средиземного моря, чтобы ударить по туркам с тыла. Адмирал граф Алексей Орлов никогда не был в море, и действительное командование легло на плечи двух офицеров-шотландцев – Джона Эльфинстона и Сэмюэля Грейга. Невзирая на отважные попытки Петра I приучить русских крестьян к морской качке, в матросы годились только ливонцы и эстонцы. Во флоте служили лишь несколько русских офицеров, и все они имели плачевный вид. Когда Эльфинстон пожаловался на

них Екатерине, та ответила: «Незнание русских происходит от их молодости, а незнание турок – от их старческой немощи» [28]. Англия оказала России помощь в этой военной операции: в то время Лондон еще не считал турок своими естественными союзниками, а «русского медведя» – естественным врагом. «Восточный вопрос» пока не поднимался – напротив, Франция враждовала с Англией, а Турция заключила с Францией союз. Когда русский флот, чьи корабли то и дело давали течь, достиг английских берегов, 800 матросов оказались больны. Измученные морской болезнью крестьяне, вероятно, представляли собой жалкое и нелепое зрелище для жителей Халла и Портсмута, где корабли остановились, чтобы пополнить запасы воды и оружия и восстановить силы.

Собрав все корабли в тосканском Ливорно, орловский флот наконец достиг османских вод. Замысел спровоцировать восстание среди хитрых греков и черногорцев не удался, и Орлов предпринял нерешительную попытку атаковать турецкий флот около острова Хиос. Турки отступили в безопасную для них Чесменскую бухту, где Сэмюэль Грейг устроил спящим османским матросам зажигательную колыбельную. В ночь с 25 на 26 июня русские брандеры подошли к берегу. Из-за этой «искусной засады» Чесменская бухта стала походить на преисподнюю: гавань, «загромождённая кораблями, порохом и артиллерией, вскоре превратилась в вулкан, который поглотил весь военно-морской флот турок» [29], писал барон де Тотт, наблюдавший за происходившим со стороны турок. Одиннадцать тысяч османских воинов погибли. Алексей Орлов с гордостью доложил Екатерине, что воды Чесменской бухты обагрились кровью, и императрица-победительница написала об этом чудовищном и совершенно не соответствовавшем духу Просвещения событии взволнованному Вольтеру [30]. Это был самый ужасный день для турецкой армии со времён битвы при Лепанто.

Новость о победе в Чесменском сражении достигла Санкт-Петербурга вскоре после известий об успехе при Кагуле, и русская столица была вне себя от радости. Всюду слышны были благодарственные молебны, и каждому матросу была выдана медаль с надписью «Я был там». В знак благодарности за Кагульскую победу Екатерина вручила Румянцеву жезл фельдмаршала и воздвигла обелиск в Царскосельском парке, а Алексей Орлов получил титул графа Чесменского. Это была самая впечатляющая череда военных триумфов России со времён Полтавской битвы. Слава Екатерины гремела повсюду, особенно в Европе: даже Вольтер, расхворавшийся у себя в Ферне, вскочил от радости и готов был запеть при мысли о гибели стольких

неверных [31].

В этот год, богатый победами русской армии, Потёмкин тоже снискал себе славу и решил, что пора извлечь выгоду из успехов. Когда в ноябре 1770 года военные операции были приостановлены, он попросил Румянцева отпустить его в Петербург. Уж не понадеялся ли он, что Екатерина примет его с распростёртыми объятиями? Позднее недоброжелатели Потёмкина заявляли, что Румянцев был рад от него избавиться. Но на самом деле командующий высоко ценил ум и воинские добродетели Потёмкина и дал добро на поездку, наказав ему защищать свои интересы и интересы армии. Его письма своему протеже были проникнуты отеческим духом, а письма Потёмкина к нему – сыновним.

Потёмкин вернулся в Санкт-Петербург с репутацией героя войны и блестящей рекомендацией Румянцева: «…он во всех местах, где мы ведем войну, с примечаниями обращался и в состоянии подать объяснения относительно до нашего положения и обстоятельств сего края, преклонили меня при настоящем конце кампании отпустить его в С.-Петербург во удовольство его просьбы, чтобы пасть к освящённым стопам Вашего Императорского Величества» [32].

Императрица, ликуя после Кагульской и Чесменской побед, приняла его тепло: из придворного журнала мы узнаём, что за время недолгого пребывания Потёмкина в столице его одиннадцать раз приглашали на императорские обеды [33]. Есть легенда, что также имела место частная аудиенция, во время которой Потёмкин был не в силах сдержать страстного порыва и бросился на колени. Они условились вести переписку, вероятно, через екатерининского библиотекаря Петрова и доверенного камергера Ивана Перфильевича Елагина – ценных союзников в ближнем окружении императрицы. Нам почти ничего не известно о том, что именно произошло за закрытыми дверями, но похоже, что обоих охватило в предчувствие чего-то неясного, что позже станет весьма серьёзным[24]. Возможно, в отношениях Екатерины и Орлова в тот момент уже возникла трещина, но влияние братьев Орловых при дворе усилилось благодаря графу Алексею Орлову-Чесменскому. Ещё не пришёл срок Потёмкину заменить Григория Орлова, но тем не менее его поездка прошла не зря [34].

Григорий Орлов не мог не заметить, как радушно был принят Потёмкин, и сделал всё, чтобы тот вернулся на фронт. Потёмкин уехал в конце февраля с письмом от Орлова к Румянцеву: фаворит давал Потёмкину достойную рекомендацию и поручал командующему быть его «учителем и наставником». Это был

вежливый способ указать младшему сопернику на его место, но в то же время такое письмо означает, что петербургская поездка прибавила Потёмкину веса при дворе. Он был особо отмечен [35].

Не прошло и нескольких недель, как на фронте вновь начались столкновения. Однако в отличие от прошлого года 1771 обернулся разочарованием, и военные действия на землях Молдавии и Валахии (нынешней Румынии), где и служил Потёмкин, не принесли побед. Когда турки благоразумно решили больше не сталкиваться с Румянцевым на поле боя, фельдмаршал предпринял серию набегов на турецкие позиции в низовьях Дуная, пробиваясь в Валахию. Потёмкин показал себя достойно: он получил задание удержать Крайовскую область и «не только что при многих случаях неприятеля ‹…› отразил, но нанося ему вящший удар, был первый, который в верхней части Дуная высадил войска на сопротивный берег онаго». Пятого мая он провёл небольшую операцию: на другом берегу Дуная атаковал городок Цимбры, разорил его, сжёг запасы провизии и захватил вражеские корабли, уведя их на русский берег реки. Семнадцатого мая Потёмкин разбил четырёхтысячное турецкое войско и погнал противника по реке Ольте – по словам Румянцева, это была великолепная и славная победа, которой русская армия обязана лишь потёмкинскому мастерству и отваге. Двадцать седьмого мая турки напали на его отряд, но Потёмкин отразил атаку и обратил их в бегство. Он вновь соединился с войсками Репнина, и десятого июня они совместными усилиями вынудили отступить большой турецкий корпус во главе с сераскиром (звание, в османской армии эквивалентное фельдмаршалу) и захватить Бухарест [36].

Вскоре после этого успеха Потёмкина подкосила серьёзная лихорадка, в летние месяцы широко распространенная в этих дунайских землях. Болезнь была такой тяжёлой, что «выздоровлению своему [он был] обязан своему крепкому сложению», так как «не соглашался принимать помощи от врачей», писал Самойлов. Вместо этого слёгший в постель генерал препоручил себя заботам двух запорожских казаков и велел им обрызгивать себя прохладной водой. Потёмкина всегда чрезвычайно занимали малые народности Российской империи – отсюда и должность при Уложенной комиссии, – однако этот эпизод даёт нам первый намёк на его особые отношения с казачеством. Он изучал казацкую культуру, восхищался их свободолюбием и умением радоваться жизни, а те называли его «Грицько Нечёса» или «серый парик» (из-за завитого парика, который он иногда носил) и предложили стать почётным членом казачьего войска. Несколько месяцев спустя, 15 апреля 1772 года,

Потёмкин написал кошевому письмо с просьбой принять его в их ряды, а когда в мае того же года просьба была исполнена и его внесли в списки Запорожской Сечи, он вновь написал кошевому с искренней благодарностью [37]. Потёмкин выздоровел, а русская армия вскоре пересекла Дунай и двинулась к важнейшей для турок крепости Силистрии, контролировавшей устье Дуная. Именно здесь Потёмкин вызвал неугасимый гнев графа Семёна Романовича Воронцова, молодого наследника знатного рода, благоденствовавшего во времена Петра III. Семён Романович, сын провинциального губернатора и известного взяточника, прозванного «большим карманом», и племянник канцлера Петра III, родился в 1744 году и получил хорошее образование. Его как сторонника Петра арестовали во время екатерининского переворота, но позднее он прославился, став первым офицером, который ворвался в турецкие окопы при Кагуле. Как и все Воронцовы, этот англофил с пресным лицом пользовался определённым уважением за свои заслуги, однако и Екатерина, и Потёмкин справедливо считали его политически ненадёжным, и большая часть его деятельной жизни прошла в почётном изгнании – в Лондоне на посольской должности. Теперь, у Силистрии, он оказался в унизительном положении: его гренадёрский полк атаковали двенадцать тысяч турецких конников, и он был вынужден принять помощь от Потёмкина, который весьма неохотно оказал её.

Шесть дней спустя настала очередь Потёмкина просить Воронцова о помощи: «мы не только прикрыли его, но и загнали турок обратно в город» с помощью трёх артиллерийских батарей, и враг понёс большие потери. Воронцов пишет эти слова в 1796 году, полагая, что обе битвы свидетельствуют о его мастерстве и о некомпетентности Потёмкина. И того и другого невероятно раздражала необходимость принять помощь от соперника, и злоба была совершенно взаимной [38].

Силистрия не сдалась, армия вернулась за Дунай, и на этом неспешная кампания Румянцева завершилась. Зато на долю Второй армии под командованием князя Василия Долгорукого в июне выпало больше событий: вторжение во владения крымского хана увенчались успехом, поскольку войска ханства были заняты сражениями с Румянцевым на Дунае.

Екатерина начала понимать, что воинская слава достаётся не так быстро и легко, как она надеялась. Бездонное чрево армии требовало всё больше и больше рекрутов. Год был неурожайным. Солдатам не платили жалованье. В армии свирепствовала лихорадка, а на османских землях начались вспышки бубонной чумы. Русские опасались, что она может перекинуться на южные

армии. Пришло время обсудить условия перемирия с турками, прежде чем они забудут о Чесме и Кагуле. Но вдруг в сентябре 1771 года из Москвы прибыли ужасные новости.

На старую столицу с пугающей силой обрушилась чума. В течение августа болезнь уносила по 400–500 человек в день. В короткий срок город охватили беспорядки. Знать бежала из Москвы, власти паниковали, губернатор покинул свой пост, и город превратился в сюрреалистический склеп, заполненный гниющими трупами, зловонными кострами с тлеющей плотью и слухами о чудесах, исцелениях и заговорах. По улицам полузаброшенной Москвы бродили толпы крестьян и городских работников, охваченных отчаянием и всё сильнее уповавших на чудодейственную икону [39].

Епископ Амвросий, последний из представителей власти, кто принимал хоть какие-то меры, приказал спрятать икону, чтобы уменьшить риск распространения инфекции среди людей, сгрудившихся вокруг реликвии в надежде пробудить её чудесные силы. Толпа взбунтовалась и растерзала епископа на части. Этот был тот самый Амвросий, который одолжил Потёмкину денег на поездку в Санкт-Петербург. И пока Россия изнемогала под гнётом огромных военных расходов, толпа взяла город в свои руки. Возникла нешуточная вероятность того, что чума послужит спусковым курком для дальнейших бед – крестьянских волнений в деревнях.

Число умерших от болезни всё возрастало. Григорий Орлов, не зная, в чём проявить себя в отсутствие поручений от Екатерины, решил отправиться в Москву и разобраться в происходящем. Двадцать первого сентября 1771 года он уехал. К моменту его прибытия в Москве ежемесячно погибали более двадцати одной тысячи горожан. Приехав, Орлов употребил в дело весь свой здравый смысл, компетентность, энергичность и человеколюбие. Он работал без устали. Его величественная фигура и лик с чертами херувима сами по себе служили для москвичей утешением. Он велел сжечь три тысячи старых домов, где могла гнездиться болезнь, ещё в шести тысячах домов провёл дезинфекцию, учредил несколько приютов, вновь открыл запертые на карантин городские бани и потратил более 95 000 рублей на пропитание и одежду неимущим. Благодаря его геркулесовскому подвигу порядок в этих авгиевых конюшнях был восстановлен. Когда 22 ноября он уехал, смертность уже уменьшалась – возможно, благодаря наступающим холодам, но так или иначе, государство вернуло себе контроль над Москвой. Четвертого декабря Орлов прибыл в Петербург и был всеми

встречен с восторгом. Екатерина велела воздвигнуть в его честь арку в Царскосельском парке, где уже стояло множество памятников, отмечавших успехи императрицы. Она даже изготовила для него памятную медаль. Казалось, судьба Орловых, которых Вольтер называл героическим родом, в полной безопасности [40].

Когда на следующий год начались переговоры с турками, Екатерина поручила Григорию Орлову чрезвычайно ответственную задачу – обсуждение условий перемирия. Императрица проводила его, подарив богато украшенный бриллиантами и вышивкой мундир. Его вид вновь воодушевил Екатерину, и она с восторгом писала мадам Бьельке: «Граф Орлов… самый красивый человек своего времени» [41].

Приехал ли Потёмкин в Петербург после отъезда Орлова, чтобы помочь Екатерине справиться с очередными невзгодами? Нам в точности не известны его действия в течение этих месяцев, но во время перемирия с турками он определённо ещё раз посетил Санкт-Петербург.

Отъезд Орлова на юг спровоцировал новый заговор против императрицы, что тоже сыграло на руку Потёмкину. В бунте приняли участие от тридцати до ста сержантов Преображенского гвардейского полка. Они были убеждены, что Орлов отправился на фронт, чтобы «убедить армию присягнуть ему» и сделаться «князем Молдавии и императором». Их замысел воплотил в себе самые страшные кошмары Екатерины: они хотели свергнуть её и сделать императором Павла. Этот план был сорван, однако по мере взросления Павла Екатерина по понятным причинам беспокоилась всё сильнее [42]. В июле шведский дипломат Риббинг писал к своему двору, что Екатерина удалилась в поместье в Финляндии, чтобы обдумать, какие же меры стоит предпринять, ее сопровождали Кирилл Разумовский, Иван Чернышев, Лев Нарышкин… и Потёмкин [43]. Первые три фамилии не вызывают никаких вопросов: все эти господа пользовались доверием Екатерины уже почти двадцать лет. Однако присутствие Потёмкина, которому тогда был всего 31 год, выглядит неожиданным. Это первое упоминание его в качестве близкого советника императрицы. Даже если швед ошибался, тем не менее эти слова свидетельствуют о том, что Потёмкин в самом деле приезжал в Петербург, и их отношения с Екатериной были уже куда ближе, чем кто-либо предполагал.

Есть и другие намёки на то, что он стал личным советником, если не любовником, императрицы гораздо раньше, чем обычно считалось. Вызывая его к себе в конце 1773 года, она уже

говорила Потёмкину, что он близок её сердцу [44]. В феврале 1774 года она выражала сожаление из-за того, что их роман не начался «полтора года назад» [45] – иными словами, в 1772 году. Именно тогда в ней проснулись чувства к Потёмкину.

Если верить Самойлову [46], то два месяца спустя Потёмкин присутствовал на переговорах с турками, начатых Григорием Орловым в Фокшанах, в далёкой Молдавии. Уже тогда он удивил всех своим поведением, которое позже будет всем известно… Пока Орлов вёл многочасовую беседу, Потёмкин якобы отдыхал на диване в домашнем халате, погружённый в думы. Это весьма на него похоже. Представляется вполне логичным, что он вместе со своими войсками, как и остальная армия, находился в этих землях. Без сомнения, там присутствовал и Румянцев, а Потёмкин, возможно, был одним из его сопровождающих, но на то, чтобы бездельничать во время международных мирных переговоров, возглавляемых подозрительным Орловым, ему было необходимо позволение Екатерины. Могла ли Екатерина отправить его наблюдать за Орловым? И зачем же иначе Орлов терпеливо сносил его присутствие?

Однако по-настоящему важный вопрос заключается в другом: как на этих переговорах очутился сам Орлов? У него не было ни дипломатического опыта, ни соответствующего этому поручению темперамента. По всей видимости, у Екатерины были личные причины отослать его из Петербурга, но неужели она стала бы рисковать судьбой переговоров лишь для того, чтобы удалить его из столицы? Нужно признать, что на переговорах Орлова сопровождал опытный человек – русский посол в Высокой Порте Обресков, недавно освобождённый из Семибашенного замка. И тем не менее Орлов не имел способностей к хитроумной политической игре, которая соответствовала турецким представлениям о хороших манерах.

Вдобавок ко всему они повздорили с Румянцевым: Орлов хотел вновь развязать войну, а Румянцев был против – поскольку знал, что рекрутов и денег в армии не хватает, зато предостаточно болезней. Педантичный ум фельдмаршала и его ледяная резкость, вероятно, выводили из себя беспечного великана, не отличавшегося глубокомыслием. Наконец в ходе спора он потерял терпение и, к удивлению турецких представителей, пригрозил вздёрнуть Румянцева собственными руками. Без сомнения, турки, считавшие себя образцом цивилизованности и утончённости, качали головами, наблюдая славянские варварские манеры. Однако вопросы, судьба которых зависела от исхода переговориов, были чрезвычайно трудными и с каждым днём становились всё сложней. Екатерина требовала,

чтобы османы признали независимость Крыма от турецкой власти. Крым выделялся на береговой линии материка, подобно бриллианту в пупке восточной танцовщицы, и позволял контролировать всё Чёрное море. Турки считали море своим и называли его «чистой и непорочной девой» – озером султана. Принять предложение Екатерины для Турции означало утратить непосредственный доступ ко всему северному побережью Чёрного моря, кроме крепостей, и позволить России ещё на один шаг приблизиться к несбывшейся мечте Петра Великого – контролю над черноморской торговлей.

Тем временем российские военные успехи начали беспокоить Пруссию и Австрию: жадный и жестокосердный король Фридрих Великий позавидовал тому, что его русские союзники того и гляди захватят слишком много османских территорий. Австрия, враждебно настроенная как к Пруссии, так и к России, втайне обсуждала с Турцией условия оборонительного союза. Пруссия рассчитывала на благодарность России за то, что была ей верной союзницей, Австрия – на награду за свое вероломство в отношениях с Турцией. Как бы они ни утверждали обратное, и Россия, и Пруссия с надеждой поглядывали в сторону беспомощной и погрязшей в хаосе Польши. Австрийская императрица Мария Терезия противилась грабежу, однако, как выразился Фридрих Великий, «она плакала, но взяла». Приятная глазу, но ослабленная и сама себя разрушающая Польша напоминала незапертый сейф, из которого эти царственные бандиты могли выкрасть всё, что им вздумается, чтобы оплатить свои расточительные войны, утолить алчность и умерить зависть друг к другу. Австрия, Пруссия и Россия приступили к переговорам о первом разделе Польши, тем самым прибавив весу притязаниям Екатерины на Турцию.

Когда раздел Польши был уже почти утверждён, в дело вмешалась Швеция – традиционный союзник Турции. Долгие годы Россия тратила миллионы рублей на взятки с тем, чтобы эта страна оставалась ограниченной монархией, разделённой противостоянием сторонников России и Франции. Но в августе 1772 года новый молодой король Швеции Густав III совершил дворцовый переворот и восстановил абсолютную монархию. Он также убедил турок в необходимости дать отпор врагам. Тем временем на переговорах в Фокшанах Орлова начала утомлять турецкая неуступчивость в ответ на его требование признать независимость Крыма. Были ли тому виной сложность дипломатии, тонкости турецкого этикета или присутствие Потёмкина, зевавшего на диване в своём халате, но так или иначе Орлов предъявил туркам ультиматум и тем самым сорвал

переговоры. Турки удалились.

У Орлова были и другие заботы: императорский двор находился в кризисе. Двадцать третьего августа он внезапно, не дожидаясь дальнейших указаний, покинул переговоры и, гоня лошадей во весь опор, отправился в Петербург. Если в это время Потёмкин и вправду лежал на диване, то скоропалительный отъезд Орлова должен был прибавить ему задумчивости.

У санкт-петербургских ворот Григория Орлова остановили по срочному указу императрицы. По причине карантина ему было велено отправиться в Гатчину – находившееся неподалеку его имение.

Несколькими днями раньше, тридцатого августа, двадцатишестилетний красавец, конногвардейский корнет Александр Васильчиков был назначен генерал-адъютантом её величества и занял покои в Зимнем дворце. Придворным было известно, что связь Екатерины и Васильчикова длится уже месяц. Их познакомил Никита Панин, и с тех пор Екатерина пристально наблюдала за молодым человеком. Когда он сопровождал её карету в Царском Селе, императрица подарила ему золотую табакерку с надписью «за содержание караулов», что было весьма необычно для его положения. Первого августа он был назначен камер-юнкером [47].

Узнав, что Орлов возвращается из Фокшан, Екатерина взволновалась и рассердилась, поскольку его бегство с уже почти провалившихся переговоров приковало к её частной жизни внимание всех европейских правительств. Иностранные послы и впрямь растерялись, так как полагали, что Орлов был спутником Екатерины на всю жизнь. Они уже привыкли балансировать между Паниными и Орловыми, которые теперь заключили союз с братьями Чернышевыми. Никто не понимал, какие политические последствия повлечёт за собой появление Васильчикова, однако было очевидно, что Орловы лишаются своего положения, а Панины, напротив, возвышаются.

Отношения Орлова и Екатерины испортились уже два года назад, и мы не вполне знаем, почему. Ей было сорок лет, ему – тридцать восемь, возможно, обоим хотелось найти более молодых партнёров. Он никогда в полной мере не разделял её интеллектуальных интересов. Она могла доверять ему в вопросах политики, они вместе прошли через многое, и у них был общий сын. Но в интеллектуальном отношении Орлов был всё-таки человеком ограниченным; Дидро, который позднее познакомился с ним в Париже, сравнил его с котлом, «который вечно кипит, но ничего не варит». Возможно, по сравнению с Потёмкиным

простоватая солидность Орлова потеряла для императрицы свою привлекательность. Однако остаётся загадкой, почему она не призвала Потёмкина занять его место. Может быть, после долгих лет, когда она считала себя обязанной Орлову и его семье, она не нашла в себе готовности выдержать властный и эксцентричный характер Потёмкина. Позднее она будет сожалеть о том, что сразу же не послала за ним.

Как Екатерина потом напишет Потёмкину, в тот же день, когда Орлов уехал на юг, некто рассказал ей о подлинных масштабах его супружеской неверности. Екатерина призналась, что Орлов «бы век остался, есть ли б сам не скучал». Эти слова обычно принимают за чистую монету, но за все эти годы Екатерина не могла не догадаться о его грешках. Его неразборчивость и сексуальные аппетиты были отлично известны иностранным послам. «Он любит так же, как ест, – заявлял Дюран, – и ему все равно, что калмычка или финка, что первая придворная красавица. Настоящий бурлак». Так или иначе, императрица решила, что «уже доверки иметь» к нему не может [48].

Екатерина откупилась от Орлова с щедростью, которая и в дальнейшем будет сопутствовать ей в любовной жизни: он получил ежегодную пенсию в 150 000 рублей, 100 000 рублей на обустройство своего дома и строящийся Мраморный дворец в стиле неоклассицизма, а также 10 000 крепостных и иные богатства и привилегии, в том числе два серебряных сервиза – для повседневного использования и для особых случаев [49]. В 1763 году император Франц I, супруг Марии Терезии, пожаловал ему титул князя Священной Римской империи. В России княжеским титулом могли обладать только наследники древних царствующих домов[25]. Если в XVIII веке государи желали сделать кого-то князем, они обращались к императору Священной Римской империи, который был наделён этой властью. И теперь Екатерина позволила своему бывшему любовнику сохранить этот титул.

В мае 1773 года князь Орлов вернулся ко двору и занял свои прежние должности, хотя Васильчиков оставался императорским фаворитом – а покинутый Потёмкин в нетерпении ожидал решения своей судьбы [50].

Вернувшись в армию, Потёмкин, должно быть, испытывал разочарование. Единственным утешением было то, что 21 апреля 1773 года Екатерина повысила его до звания генерал-поручика. В правящих кругах ему завидовали. «Повышение Потёмкина для меня – пилюля, которую не в силах проглотить, – писал брату

Семён Воронцов [51]. – Когда он был подпоручиком гвардии, я уже был полковником, и он отслужил куда меньше меня» [52]. Воронцов решил подать в отставку, как только война подойдёт к концу. Эта провальная, изматывающая кампания порождала недовольство даже среди ветеранов румянцевских побед. Была предпринята ещё одна попытка мирных переговоров, на этот раз в Бухаресте. Но момент был упущен.

И вот утомлённая армия Румянцева, сократившаяся до 35 000 солдат, вновь перешла Дунай и нанесла удар по непокорной крепости Силистрии. Фельдмаршал Румянцев рапортовал, что Потёмкин в суровые зимние холода положил начало боевым действиям, подойдя к Дунаю и несколько раз отправив свои войска в атаку на другой берег реки. «Когда армия приближилась к переправе чрез реку Дунай и когда на Гуробальских высотах сопротивного берега в немалом количестве людей и артиллерии стоявший неприятельский корпус приуготовлен был воспящать наш переход… граф Потёмкин… первый от левого берега учинил движение чрез реку на судах и высадил войска на неприятеля». Новоиспечённый генерал-поручик захватил османский лагерь седьмого июня. К этому времени Потёмкин уже был на особом счету: генерал князь Юрий Долгоруков, еще один представитель этого обширного клана, заявлял, что у «робкого» Потёмкина «никогда ни в чём порядку не было» и он пользовался уважением Румянцева лишь благодаря своим «связям у Двора». Однако воспоминания Долгорукова известны своей недостоверностью. Требовательный Румянцев, как и его офицеры, восхищался Потёмкиным и благоволил ему, высоко оценивая его роль в ходе кампании [53].

Мощный гарнизон Силистрии совершил жестокий набег на войско Потёмкина. Согласно Румянцеву, двенадцатого июня неподалёку от Силистрии он отразил ещё одну атаку, сокрушив вражескую артиллерию. Армия Румянцева вновь подошла к хорошо знакомым стенам Силистрии. Восемнадцатого июня генерал-поручик Потёмкин, командуя авангардным войском, преодолел все невероятные трудности и опасности и изгнал врага из городских укреплений. Седьмого июля он разбил турецкую кавалерию численностью семь тысяч человек. В объятиях Васильчикова и, вероятно, даже благодаря его приятному, но скучному обществу Екатерина не забыла о Потёмкине: сочиняя в июне письмо Вольтеру о военных событиях на Дунае, она впервые упоминает имя Потёмкина. Она скучала по нему [54].

Лето обернулось осенью, и Потёмкин был занят надзором за постройкой артиллерийских батарей на острове напротив Силистрии. Погода ухудшалась, и по всему было видно, что турки

не собирались уступать крепость. «На острову ‹…› где отягощала и суровость непогоды и вопреки ‹…› вылазок от неприятеля, производил он [Потёмкин] в действие нужное тогда предприятие на город чрез непрестанную канонаду и нанося туркам превеликий вред и страх» [55]. Русские наконец проникли за городские стены, и турки сражались за каждую улицу и каждый дом. Румянцев отступил. Наступили морозы. Потёмкинские батареи вновь принялись бомбардировать крепость.

В этот напряжённый и неудобный момент в румянцевский лагерь прибыл придворный с письмом императрицы для Потёмкина. Оно датировано четвертым декабря и говорит само за себя: «Господин генерал-поручик и кавалер. Вы, я чаю, столь упражнены глазеньем на Силистрию, что Вам некогда письма читать. Я хотя и по сю пору не знаю, преуспела ли Ваша бомбардирада, но, тем не менее, я уверена, что все то, чего Вы сами пред приемлете, ничему иному приписать не должно, как горячему Вашему усердию ко мне персонально и вообще к любезному Отечеству, которого службу Вы любите. Но как с моей стороны я весьма желаю ревностных, храбрых, умных и искусных людей сохранить, то Вас прошу попусту не даваться в опасности. Вы, читав сие письмо, может статься, сделаете вопрос, к чему оно писано? На сие Вам имею ответствовать: к тому, чтоб Вы имели подтверждение моего образа мысли об Вас, ибо я всегда к Вам весьма доброжелательна. *Екатерина*» [56].

Потёмкину, окружённому опасностями, в грязи, холоде и опасной неустроенности мрачного лагеря у Силистрии это письмо, должно быть, показалось весточкой с горы Олимп, и таковым оно и было. Оно не слишком похоже на наспех сочинённую, полную страсти любовную записку. Напротив, это продуманный, аккуратный и тщательно составленный текст, который говорит о многом – и ни о чём. Письмо не приглашает Потёмкина в столицу, но очевидно, что это призыв, а возможно, и флирт. Можно полагать, что Потёмкину был к тому времени известен «образ мыслей» Екатерины о нём: она уже была влюблена в человека, который обожал её больше десяти лет. По всей видимости, они уже состояли в переписке, раз Екатерина подразумевает, что Потёмкин не удостаивает все её письма ответом. Его беспечное игнорирование писем императрицы добавляло ему привлекательности в глазах Екатерины, особенно учитывая окружавшую её атмосферу льстивого благоговения. Взволнованный Потёмкин трактовал письмо как долгожданное приглашение приехать в Петербург.

Нужно добавить, что страх Екатерины за жизнь Потёмкина не был беспочвенным. Румянцеву нужно было увести свою армию от

беспорядочных столкновений у Силистрии и благополучно переправить ее через Дунай. Потёмкину выпала честь выполнить самую опасную часть операции: Румянцев вспоминал, что Потёмкин со своими солдатами переправился лишь после того, как основная часть армии пересекла реку, поскольку ему нужно было обеспечивать прикрытие на вражеском берегу [57]. И всё же было бы преуменьшением сказать, что Потёмкин торопился обратно в столицу.

Недоброжелатели Потёмкина, такие как Семён Воронцов или Юрий Долгоруков, записывали свои воспоминания в основном уже после его смерти, когда стало модным его осуждать; они заявляли, что он был некомпетентным трусом [58]. Однако как мы видели, фельдмаршалы Голицын и Румянцев высоко ценили успехи Потёмкина ещё до того, как он пришёл к власти, а другие офицеры упоминали в письмах друзьям о его отваге. Рапорт Румянцева аттестует Потёмкина как одного из тех военных командиров, что своей храбростью и мастерством упрочили славу российского оружия. Где правда?

Лестный рапорт Румянцева был написан для Екатерины в 1775 году, уже после возвышения Потёмкина, поэтому не исключено, что фельдмаршал преувеличил его заслуги – однако ложь Румянцеву была не свойственна. Поэтому можно заключить, что Потёмкин героически проявил себя в Турецкой войне и достойно завоевал славу.

Как только армия отправилась на зимние квартиры, он умчался в Санкт-Петербург. Его нетерпение не осталось незамеченным, вызвало подозрения и обсуждалось среди придворных интриганов, которые задавали друг другу один и тот же вопрос: «Отчего такая спешка?» [59]

6. На верху щастия

Твои прекрасные глаза меня пленили, и я трепещу от желания сказать о своей любви.

Г.А. Потёмкин Екатерине II, февраль-март 1774 г.

Эта хорошая голова забавна, как дьявол.

Екатерина II о Г.А. Потёмкине

Все так изменилось с тех пор, как приехал Григорий Александрович!

Е.М. Румянцева П.А. Румянцеву, 20 марта 1774 г.

В январе 1774 года исполненный надежд генерал-поручик Григорий Потёмкин приехал в Санкт-Петербург. Он прибыл ко двору, где царила неразбериха, и по всей видимости ожидал, что будет приглашён к ложу императрицы и государственным делам. Если так, то его ждало разочарование.

Генерал поселился во флигеле дома своего зятя Николая Самойлова [1] и отправился на поклон к императрице. Рассказала ли она ему о всех тех бедах и интригах, которые окружили её? Просила ли она его выказать терпение? Потёмкин был так возбуждён завышенными ожиданиями, что терпение далось ему нелегко. С самого детства он был убеждён, что ему суждено властвовать, и он любил Екатерину с тех пор, как стал гвардейцем. Он был сама страсть и влечение, но ему пришлось научиться ждать. Он часто появлялся при дворе и развлекал Екатерину. Придворные знали, что дела Потёмкина идут в гору. Однажды он поднимался в покои Зимнего дворца и встретил на ступенях князя Орлова. «Что нового при дворе?» – спросил Потёмкин. «Ничего, – ответил князь Орлов, – только то, что вы подымаетесь вверх, а я иду вниз». Но ничего и в самом деле не происходило – по крайней мере, на публике. Дни сменялись неделями. Для потёмкинской натуры ожидание было невыносимым. Екатерина оказалась в непростой и щепетильной ситуации – как в интимном, так и в политическом смысле, –

поэтому она действовала медленно и осторожно. Васильчиков оставался её официальным любовником, проживая в собственных дворцовых покоях и предположительно деля с ней постель. Однако в качестве партнёра он разочаровал Екатерину: она находила его невыносимо скучным. Скука породила несчастье, а потом и презрение. «Всякое [его] приласканье во мне слезы возбуждало», – позднее напишет она Потёмкину [2]. Потёмкин терял терпение: она отправляла ему обнадёживающие письма, она призывала его к себе – он приехал при первой возможности, ведь он преданно ждал этого момента двенадцать лет. Она знала, как он умён и талантлив, почему же не позволить ему оказать ей помощь? Она признала, что её чувства к нему – те же, что и его чувства к ней. Почему она не отвергнет Васильчикова?

Но перемены всё не наступали. Он прямо спросил Екатерину, что означал её призыв. Она ответила нечто вроде: «Calme-toi. Я обдумаю ваши слова, подождите моего решения» [3]. Возможно, ей хотелось, чтобы он сперва постиг все политические хитросплетения её ситуации, а может быть, она дразнила его, надеясь, что их отношения выйдут на новый этап, когда настанет подходящий момент. Никто не был так убеждён в необходимости тщательной подготовки, как Екатерина. Скорее всего, она просто хотела, чтобы он сделал решающий шаг, поскольку нуждалась в его бесстрашной уверенности не меньше, чем в его остром уме и любви. Потёмкин вскоре понял, зачем понадобился Екатерине именно сейчас – многое он понимал и раньше, но после беседы с императрицей и своими друзьями, должно быть, осознал, что она оказалась в самом глубоком кризисе за всю историю своего правления – кризисе политическом, военном и любовном. Всё началось за несколько месяцев до этого, на земле яицких казаков.

В тысячах вёрст на юго-восток от Москвы, в совершенно другом мире, не похожем на Санкт-Петербург, находился Яицкий городок, столица яицкого казачества. Там семнадцатого сентября 1773 года перед возбуждённой толпой казаков, калмыков и татар предстал харизматичный донской казак и объявил, что он – император Пётр III, который остался в живых и теперь поведёт народ на борьбу с преступной Екатериной. Он называл её «немкой», «дочерью злого дьявола». Самопровозглашённым «императором» был Емельян Пугачёв, темноволосый, смуглый, поджарый солдат-дезертир с чёрной козьей бородкой. Он был совершенно не похож на Петра III, но это не имело значения, поскольку в этой далёкой местности никто не знал, как выглядел настоящий император. Пугачёв родился приблизительно в 1740 году (и был почти ровесником Потёмкина), сражался в Семилетней войне и участвовал в осаде Бендер. Он открыто

выражал недовольство правительством, был арестован, но сумел сбежать.

Он раздавал обещания направо и налево и слыл «сладкоязычным, милостивым и мягкосердечным русским царём». Он показывал народу «царские отметины» на теле, чтобы убедить простых озлобленных людей в том, что обладает стигматами, которые, как они верили, отличают подлинного помазанника Божия. Он обещал им «земли, воды, леса, дома, травы, хлеба, реки, рыб…» и всё, что только смог придумать.

Многие не устояли против этого поразительно щедрого политического заявления, особенно среди яицких казаков. Казачество представляло собой воинские общины, состоявшие из вольного люда, бездомных странников, беглых преступников и крестьян, еретиков, дезертиров, разбойников, в которых смешалась татарская и славянская кровь. Они бежали на приграничные территории и собирались в вооружённые конные банды, пробавлявшиеся грабежами и кражами и разводившие лошадей. Каждое казачье войско – Донское, Яицкое, Запорожское, их польские и сибирские собратья – создало свою собственную культуру, но все они так или иначе управлялись посредством простейшей прямой демократии, свойственной обществам фронтира, а в военное время избирали кошевого, или атамана.

На протяжении нескольких веков казаки сохраняли нейтралитет, заключая союзы с Польшей, Литвой или Швецией против московских властей или с Россией против крымского хана или османского султана. В XVIII веке они также грабили русских, как и турки, однако Россия нуждалась в них для охраны границ и пополнения рядов лёгкой кавалерии. Как бы то ни было, напряжённые отношения Русского государства и казачества со временем усугублялись. Казаков тревожили их собственные трудности: они опасались, что им придётся стать частью регулярной русской армии с её суровой муштрой и сбрить бороды. Яицкие казаки более других были озабочены недавними нововведениями, касавшимися рыбной ловли. Год назад они взбунтовались, и восстание было жестоко подавлено. В довершение всего Русско-турецкая война шла уже пятый год, и военные расходы (людские и денежные) в основном ложились на плечи крестьянского населения. Этим людям очень хотелось поверить в своего отощавшего «Петра III».

Пугачёв сумел поджечь эту пороховую бочку. На Руси всё ещё сохраняла свою силу традиция самозванства. В Смутное время в XVII веке Лжедмитрий I даже взошёл на московский престол. В огромной необразованной стране цари считались всемогущими и

всеблагими, и простой народ верил, что государь – это ставленник Божий; одним из ярких персонажей русского фольклора[26] был образ милосердного, христоподобного царя, что бродит меж людьми и вдруг является, чтобы их спасти. Это было не так уж удивительно: в Англии тоже были свои самозванцы, например, Перкин Уорбек, в 1490 году выдававший себя за Ричарда, герцога Йоркского, одного из «принцев в Тауэре».

Самозванство было привлекательно для определённого типа людей – скитальцев, дезертиров, староверов, живших на приграничных землях, иными словами, изгоев, которые объявляли себя недавно погибшими или свергнутыми монархами. Такой монарх в действительности должен был править достаточно короткий срок, чтобы сохранить иллюзию того, что если бы не происки дворянства и чужеземцев, он мог бы спасти простой народ. Поэтому Пётр III был идеально подходящим кандидатом. К концу правления Екатерины насчитывалось уже двадцать четыре псевдо-Петра, но ни один из них не приблизился к успеху Пугачёва.

Впрочем, среди них был ещё один успешный самозванец: Лже-Пётр, царь Черногории. В 1769 году, в самом начале войны, когда русский флот подошел к Балканам в надежде поднять здешнее православное население против турок, Екатерина велела Алексею Орлову отправить посланника в далекую балканскую страну Черногорию, которой правил бывший целитель, вероятно, итальянского происхождения, по имени Стефан Малый. Стефан сумел объединить воинственные племена, выдавая себя за Петра III. Русский посол князь Юрий Долгоруков (тот самый, что впоследствии станет критиковать потёмкинские подвиги) с удивлением обнаружил, что этот черногорский Пётр III, кудрявый тридцатилетний человек с тонким голосом, в белой шёлковой тунике и красной шапке, правил страной с 1766 года. Долгоруков разоблачил шарлатана, но, будучи не в состоянии сам управлять Черногорией, вернул ему трон, в придачу удостоив его мундиром русского офицера. Стефан Малый правил Черногорией ещё пять лет, пока его не убили, и оказался одним из лучших государей, правивших в этой стране [4].

На следующий день после того, как Пугачёв объявил себя императором, к нему примкнули уже триста сторонников, завлечённых его коварным оппортунизмом, и отправились штурмовать российские крепости. Его армия росла. Так называемые крепости на самом деле были обычными деревнями, окружёнными деревянным частоколом; помимо ненадёжных казаков и роптавших крестьян там находился лишь маленький гарнизон сонных солдат. Их было не так уж трудно захватить.

Понадобилось всего несколько недель, чтобы пламя восстания почти в буквальном смысле охватило юго-восточную границу России [5].

Пятого октября «Пётр III» со своей трёхтысячной армией и двадцатью пушками прибыл под стены Оренбурга, столицы края. Там, где они прошли, в павших крепостях и сожжённых поместьях лежали трупы дворян и офицеров, зачастую обезглавленных и с отрубленными руками и ногами. Женщин насиловали и забивали до смерти, мужчин часто вешали вниз головой. С одного грузного офицера бунтовщики живьём содрали кожу и вынули из него сало, чтобы мазать свои раны. Его жену изрубили на куски, а дочь забрал себе в наложницы «анператор» (потом её убили казаки, завидовавшие её особому положению).

Шестого ноября «анператор Пётр Федорович» учредил Военную коллегию в своём штабе в Берде под Оренбургом. Вскоре он уже носил шитый золотом кафтан и меховую шапку, его грудь была усыпана медалями, а его приспешники звались «граф Панин» и «граф Воронцов». В его штате были секретари, писавшие за него указы на русском, немецком, французском, арабском и турецком языках, судьи, поддерживавшие порядок в рядах его сторонников, командиры войск и дезертиры, умевшие стрелять из пушек. Его конная армия наверняка представляла собой поразительное, экзотическое и варварское зрелище: основную ее часть составляли крестьяне, казаки и тюркские всадники, вооружённые пиками, косами, луками и стрелами.

Когда в середине октября новости об этих событиях дошли до Санкт-Петербурга и до «дочери дьявола», Екатерина сочла их незначительным казацким восстанием и отправила для его подавления генерала Василия Кара с войском. В начале ноября Кар был разгромлен буйным полчищем повстанцев, которых оказалось уже 25 000 человек, и с позором бежал в Москву.

Эти первые успехи обеспечили Пугачёву репутацию, в которой он так нуждался. Когда он со своими головорезами входил в город, его принимали делегации священников с иконами в руках, народ звонил в колокола и молился о здравии «Петра III и великого князя Павла» (но, разумеется, не Екатерины).

В «Капитанской дочке», которую А.С. Пушкин писал, опираясь на исторические источники и беседы с очевидцами, читаем: «Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красный казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. ‹…› Казацкие старшины окружали его. ‹…› На площади ставили наскоро виселицу» [6]. Порой разбойники

одновременно вешали до шестидесяти дворян. Есть сведения о том, что за каждого мёртвого дворянина полагалось вознаграждение в сто рублей, а за десять сожжённых домов – титул генерала.

«Император» обедал в особняке местного губернатора, часто в компании его охваченной ужасом жены и дочерей, в то время как сам губернатор висел на уличном столбе. Женщин казаки либо вешали, либо отдавали своему предводителю для утех. И хотя Пугачёва чествовали как государя, его обеды скорее напоминали казачьи пирушки. Пополнив ряды войск, захватив несколько пушек и местную казну, он отправлялся дальше, чтобы услышать новые колокольные звоны и молитвы [7]. К началу декабря Пугачёв осаждал Самару, Оренбург и Уфу. Его армия составляла почти тридцать тысяч человек, и к нему присоединялись недовольные со всего юга империи – казаки, татары, башкиры, киргизы и калмыки.

Пугачёв уже начал совершать ошибки: например, женитьба на любимой наложнице была не слишком уместна для императора, который, будь он и вправду жив, уже находился в законном браке с петербургской «дочерью дьявола». Так или иначе с наступлением декабря стало очевидно, что он представляет собой реальную угрозу для Российской империи.

Екатерина не случайно выбрала момент для письма Потёмкину. Она написала ему сразу же после того, как получила известия о том, что Пугачёв наголову разбил Кара. Это был уже не просто небольшой переполох – всё Поволжье восставало под предводительством человека, который оказался решительным и компетентным вождём. За пять дней до того, как Екатерина написала первое слово в письме Потёмкину, она повелела подавить мятеж генералу Александру Бибикову, подававшему надежды приятелю Панина и Потёмкина. Из политических соображений она нуждалась в ком-то, кто сохранял нейтралитет среди противостоявших друг другу придворных партий, служил лишь ей и мог бы стать её советником в военных вопросах. А в глубине души она тосковала по другу, в которого теперь была влюблена. Все эти долгие годы их странных взаимоотношений они были готовы сблизиться, но всё же оставались далеки друг от друга – как будто всё вело их именно к этому моменту.

Когда Потёмкин наконец приехал, у императрицы появились новые тревоги помимо Пугачёвского бунта. В опасной близости от неё подрастал ещё один претендент на престол – её сын. Двадцатого сентября 1772 года великому князю и царевичу Павлу, представлявшему собой угрозу её престолу и жизни,

исполнилось восемнадцать, и теперь она уже не могла не признать его совершеннолетие, а, следовательно, и право жениться, обзавестись собственным двором и принимать деятельное участие в политике. Первое было возможно, хотя и малоприятно, второе – допустимо, хотя и крайне неудобно, а третье – решительно невозможно. Екатерина опасалась, что, позволив Павлу в той или иной степени быть соправителем, она сделает первый шаг к потере власти. Пока она размышляла, как поступить, новый заговор вновь показал, что Павел являлся её ахиллесовой пятой.

Трудности Екатерины начались год назад, когда она отвергла князя Орлова и сменила его на Васильчикова, от которого не было ни пользы в государственных делах, ни утешения сердцу. За падением Орлова закономерно последовало усиление позиций Никиты Панина, который как воспитатель Павла несомненно стремился укрепить свою власть. Но равновесие восстановилось в мае 1773 года, с прибытием князя Орлова из «заграничных путешествий» в приподнятом настроении. В июне он вновь присоединился к Совету. Должно быть, ему удалось объединить усилия всей своей семьи, и в эти дни присутствие пятерых братьев Орловых внушало трепет всему Петербургу.

Совершеннолетие Павла вынуждало Екатерину к каким-то действиям, и она начала поиски будущей великой княгини, как когда-то Елизавета разыскивала её саму. В обоих случаях императрицы сделали схожий выбор, сочтя наилучшей кандидатурой немецкую принцессу, не связанную непосредственно ни с Австрией, ни с Пруссией. В июне Павел заинтересовался принцессой Вильгельминой, второй дочерью ландграфа Гессен-Дармштадтского, который обеспечил себе состояние, отдавая подданных в наёмники. Пятнадцатого августа Вильгельмина приняла православие, и в то же время Павел получил не лишённое привлекательности предложение от Каспара фон Сальдерна, уроженца Гольштейнского герцогства и дипломата на российской службе. Тот убедил Павла в том, что тот имеет право властвовать вместе с матерью, подобно австрийским монархам Марии Терезии и Иосифу. Узнав об этом, Панин попытался замять дело, но Екатерина раскрыла заговор и так разгневалась на Сальдерна, что велела «привезти к себе злодея, связанного по рукам и ногам» [8]. Он никогда больше не вернулся в Россию [9].

Война, напряжённые отношения с сыном, угроза государственной измены и усиление крестьянских волнений отнимали у Екатерины много сил, но 28 сентября 1773 года в

Петербург прибыла литературная знаменитость и ненадолго отвлекла её от забот. Императрица восхищалась «Энциклопедией», но трудно представить себе менее подходящий момент для приезда Дени Дидро. Энциклопедист, питавший свойственные французским философам нелепые иллюзии, прибыл для того, чтобы обсудить с Екатериной немедленное реформирование всего устройства её империи. Он прожил пять месяцев в особняке в ста метрах от Зимнего дворца (сейчас на этом доме неподалёку от Исаакиевского собора висит памятная табличка), и беседы с ним стали для неё отдушиной во время монотонной жизни с Васильчиковым.

Впрочем, Дидро вскоре начал её раздражать, хотя по сравнению с провальной поездкой Вольтера к Фридриху Великому его путешествие кажется вполне успешным. Екатерина капризно жаловалась, что у неё разболелись колени от того, что философ с чувством ударял по ним кулаком, когда воодушевлённо разъяснял ей, как надлежит управлять Россией [10]. Зато он познакомил её со своим компаньоном Фридрихом Мельхиором Гриммом, с которым она вела задушевную переписку всю оставшуюся жизнь.

Единственным несомненным достижением Дидро было то, что Екатерина убедилась (если ранее её в этом не убедил Пугачёв): абстрактные программы реформ не годятся для России. «Вы имеете дело с бумагой, которая все терпит, – сказала она ему, – тогда как мне, бедной императрице, приходится иметь дело с кожей человеческой, очень раздражительной и щекотливой» [11]. Екатерина, говорил Дидро, соединяла в себе «прелести Клеопатры с душой Цезаря» [12].

Двадцать девятого сентября Павел, чьё положение пошатнулось после инцидента с Сальдерном, женился на великой княгине Наталье (в прошлом Вильгельмине). За свадьбой последовали десятидневные празднования. Граф Панин оставался министром иностранных дел, но был вынужден отказаться от своей позиции воспитателя и лишиться своих покоев во дворце. Он однако утешился получением высочайшего чина Табели о рангах, пенсии в размере 30 000 рублей и 9 000 душ. Чтобы успокоить Орловых, Екатерина пожаловала их союзнику Захару Чернышеву звание фельдмаршала и президента Военной коллегии. Но история с Сальдерном не прошла для них даром. Екатерина перестала доверять Панину, но была вынуждена иметь дело с его «Северным аккордом». Она утратила уважение к Орлову, но его семья была одним из столпов её режима. Она простила его за безрассудство в Фокшанах, но не приняла его обратно в своё сердце. Своего сына Павла Екатерина считала

недалёким, озлобленным и чуждым ей по духу; она не смогла бы доверить ему правительственную должность, однако он оставался наследником. Ей прискучил Васильчиков, хотя она сделала его официальным фаворитом. Находясь в эпицентре борьбы Паниных и Орловых, Екатерина чувствовала себя невероятно одинокой [13].

Эта рискованная ситуация наносила очевидный ущерб репутации Екатерины в Европе. Фридрих Великий, гениальный мизантроп, чей аскетичный двор состоял только из мужчин, был особенно раздражён: Орлов исполнял все возможные обязанности, «кроме постельной», негодовал он. Фридрих также подозревал, что нестабильность при дворе повредит Панину и планировавшемуся им союзу с Пруссией. «Никуда не годится, когда кол и дыра решают судьбы Европы» [14], заявлял прусский король. Но в конце января приехал Потёмкин, который не собирался решать ничьих судеб. Он не мог больше ждать и решил добиться руки Екатерины.

Потёмкин объявил, что отныне слава земная его не интересует и он уйдет в монахи. Он покинул дом Самойлова, уехал в Александро-Невскую лавру, основанную Петром Великим на окраине тогдашнего Петербурга, и стал жить там послушником: отращивал бороду, постился, читал, молился и демонстративно пел псалмы. Потёмкин, с его маниакальной натурой, изнурённый напряжённым ожиданием на пороге успеха, был чрезвычайно близок к нервному срыву, но держал себя в руках, находя спасение в православном мистицизме.

Впрочем, следует помнить о том, что он был прирождённым политиком с соответствующими актёрскими талантами. Его мелодраматический побег привлёк дополнительное внимание Екатерины; его поступок был своего рода забастовкой – он лишил её своей поддержки как советника, чтобы императрица перестала принимать её как должное. Существовало предположение, что они с Екатериной вместе устроили этот побег, чтобы оправдать и ускорить последующее возвышение Потёмкина. Вскоре мы увидим, что эта пара действительно была способна на заранее спланированные выходки, но в данном случае, похоже, поведение Потёмкина в равной степени объясняется набожностью, депрессией и актёрством [15].

В промежутках между постами в его келью, напоминавшую главный штаб политической кампании, постоянно заходили посетители. В ворота лавры то и дело стремительно въезжали кареты; в барочном антураже монастыря подобно персонажам оперы мелькали слуги, придворные и шелестящие платьями статс-дамы, в особенности графиня Брюс; они передавали записки

и шепотом сообщали послания [16]. Как и в любой опере, всё начиналось с арии. Потёмкин дал понять Екатерине, что сочинил о ней песню. В ней нашла отражение вся его страсть – и в придачу к ней сентиментальность, отличительная черта любовных песен во все времена. Однако она даёт нам неплохое представление о его тогдашнем положении: «Как скоро я тебя увидел, я мыслю только о тебе одной ‹…› Боже! какая мука любить ту, которой я не смею об этом сказать, ту, которая никогда не может быть моей! Жестокое небо! Зачем ты создало её столь прекрасной? зачем ты создало её столь великой? Зачем желаешь ты, чтобы её, одну её я мог любить?» [17]. Потёмкин убедил графиню Брюс передать императрице, что его несчастливая и безумная страсть довела его до отчаяния, и в этой печальной ситуации он счёл благоразумным удалиться от причины своих терзаний, поскольку один вид её ужесточает его страдания, и без того невыносимые [18]. Из-за любви к ней он возненавидел весь мир, и её самолюбию это льстило [19]. Екатерина передала устный ответ, который звучал примерно так: «Я не могу понять, чем вызвала такое отчаяние, ведь я никогда не отвергала его. Напротив, я полагала, что оказанный ему приветливый приём свидетельствует о том, что его преданные чувства мне не неприятны» [20]. Но этого было недостаточно. Посты, псалмы, шуршание платьев сводниц и обмен весточками продолжались. Должно быть, праведные монахи с осуждением смотрели на эту мирскую суету.

Наконец Екатерина приняла решение и отправила графиню Брюс – по иронии судьбы она была сестрой Румянцева – привезти Потёмкина обратно во дворец. Графиня прибыла в лавру в своём лучшем наряде и в дворцовой карете. Её провели к Потёмкину; обросший бородой и облачённый в монашескую рясу, он стоял на коленях в пустой келье перед иконой святой Екатерины. На случай, если у графини возникнут сомнения в его искренности, он еще долго молился и пел псалмы и лишь после этого соизволил выслушать сообщение. Затем он поспешно побрился, умылся и надел мундир, чтобы вновь предстать при дворе.

Что чувствовала Екатерина, когда разворачивались эти драматические события? Через несколько недель, когда они уже стали наконец любовниками, она призналась Потёмкину в нежном и трогательном письме, что полюбила его еще тогда, когда он вернулся из армии: «Потом приехал некто богатырь. Сей богатырь по заслугам своим и по всегдашней ласке прелестен был так, что, услыша о его приезде, уже говорить стали, что ему тут поселиться, а того не знали, что мы письмецом сюда призвали неприметно его, однако же с таким внутренним намерением, чтоб не вовсе слепо по приезде его поступать, но разбирать, есть ли в

нем склонность, о которой мне Брюсша сказывала, что давно многие подозревали, то есть та, которую я желаю чтоб он имел» [21].

Императрица была за городом, в Царском Селе. Потёмкин отправился туда, скорее всего, в сопровождении графини Брюс. Камер-фурьерский журнал сообщает, что Потёмкин был представлен императрице вечером четвертого февраля. Его отвели прямо в ее личные покои, где они оставались наедине около часа. Второй раз запись о нем появляется девятого февраля, когда он посетил официальный ужин в Екатерининском дворце. Официально они ужинали четыре раза за февраль, но можно догадаться, что вместе они проводили намного больше времени: сохранилось несколько записок от Екатерины к Потёмкину без даты, которые мы можем отнести к этому времени [22]. Первая начинается словами «Mon ami», что говорит о растущей между ними теплоте, но предупреждает его о том, чтобы он не столкнулся нечаянно с шокированным великим князем, который уже ненавидел князя Орлова за то, что тот был любовником его матери [23]. Во второй записке, отправленной через несколько дней, Потёмкин получил повышение до «Mon cher ami». Екатерина уже использует прозвища, которые они придумали для придворных: один из Голицыных назван «Monsieur le Gros» (Толстяк), но, что важнее, Потёмкина императрица называет «l'esprit» – то есть «ум» [24].

Они становились все ближе и ближе. Четырнадцатого февраля двор вернулся в Зимний дворец. Пятнадцатого был дан очередной ужин, на котором среди остальных двадцати гостей присутствовали Васильчиков и Потёмкин. Можно лишь представить, как горевал несчастный Васильчиков, наблюдая, восхождение Потёмкина на пьедестал.

Вероятно, любовная связь между Потёмкиным и императрицей началась примерно в это время. Из тысяч записок дата проставлена лишь на нескольких, но есть одна, которую мы можем приблизительно датировать пятнадцатым февраля. В ней Екатерина отменяет встречу со своим «l'esprit» в бане, в основном потому, что «все мои женщины сейчас там и вероятно уйдут не ранее чем через час» [25]. Простые мужчины и женщины мылись в банях XVIII века вместе, к вящему возмущению иностранцев, но, конечно, Екатерина так не поступала. Это первое упоминание о встрече Екатерины и Потёмкина в бане, но позже она станет их любимым местом для встреч. Если они собирались встретиться в бане пятнадцатого февраля, значит, они уже были любовниками.

Восемнадцатого февраля императрица посетила представление русской комедии в придворном театре, а затем,

вероятно, встретилась в своих покоях с Потёмкиным. Они разговаривали друг с другом и занимались любовью до часа ночи, что было крайне поздно для дисциплинированной немецкой принцессы. В записке можно проследить не только усиление их взаимных чувств, но и смирение императрицы перед любовником, она нежно пишет: «Я встревожена мыслью, что злоупотребила Вашим терпением и причинила Вам неудобство долговременностью визита. Мои часы остановились, а время пролетело так быстро, что в час ночи еще казалось, что нет и полуночи…» [26]

«Я и сегодня еще смеюсь твоим речам, – пишет она в один из первых дней романа. – Какие счастливые часы я с тобою провожу! ‹…› А скуки на уме нет, и всегда расстаюсь чрез силы и нехотя. Голубчик мой дорогой, я вас чрезвычайно люблю, и хорош, и умен, и весел, и забавен; и до всего света нужды нету, когда с тобою сижу. Я отроду так счастлива не была, как с тобою…» [27]. Впервые мы слышим веселый смех, эхом разносящийся в ночи из бани Зимнего дворца. Оба они были эпикурейцами, чувственными людьми. «Мне кажется, будто я у тебя сегодни под гневом. Буде нету и ошибаюсь, tant mieux. И в доказательство сбеги ко мне. Я тебя жду в спальне…» [28]

Васильчиков еще не покинул дворец, по крайней мере официально. Екатерина и Потёмкин прозвали его «soupe a'la glace» – «Ледяным супом» [29]. Теперь императрица говорила Потёмкину, что хотела бы, чтобы их отношения начались на полтора года раньше, и они не теряли бы время, и не были бы несчастливы [30]. Но присутствие Васильчикова расстраивало Потёмкина, который всегда отличался истеричной ревнивостью. Видимо, он все же резко высказался на эту тему, потому что в письме, написанном через несколько дней, Екатерина вынуждена упрашивать его вернуться: «Принуждать к ласке никого неможно… Ты знаешь мой нрав и сердце, ты ведаешь хорошие и дурные свойства… тебе самому предоставляю избрать приличное тому поведение. Напрасно мучися, напрасно терзаеся ‹…› без ни крайности здоровье свое надоедаешь напрасно» [31].

Васильчиков был почти забыт, но, вероятно, эти дни были для него мучительны. Екатерина поступала безжалостно по отношению к тем, кого не уважала, и было понятно, что она стыдилась его посредственности. Васильчиков понял, что с Потёмкиным тягаться не может: «Положение совсем иное, чем мое. Я был содержанкой. ‹…› Мне не позволяли ни с кем видаться и держали взаперти. Когда я о чем-нибудь ходатайствовал, мне не отвечали. Когда я просил чего-нибудь для себя – то же самое. Мне хотелось анненскую ленту и когда я сказал об этом, нашел

назавтра у себя в кармане 30 тысяч. А Потёмкин, тот достигает всего, чего хочет. Он диктует свою волю, он властитель» [32].

«Властитель» настоял на том, чтобы несчастный котелок «Ледяного супа» исчез из меню. Васильчиков выехал из своих покоев в Зимнем дворце. Они стали залом заседания Совета, потому что Потёмкин отказался жить в чужих апартаментах. Для него обустроили новые комнаты. Пока же Потёмкин переехал от Самойлова к обер-гофмейстеру Елагину, которому доверял [33].

К концу февраля отношения перестали быть просто романтическим ухаживанием или сексуальной страстью – Екатерина и Потёмкин начали жить как супружеская пара. Двадцать седьмого февраля Потёмкин был уже настолько уверен в себе, что написал императрице письмо с требованием назначить себя генерал-адъютантом. В этой должности состояло всего несколько человек, в основном придворных. Но в случае Потёмкина смысл этого назначения был бы предельно ясен. В письме он в свойственной ему манере пошутил, что «сие не будет никому в обиду». Наверное, они посмеялись над этим – его назначение обидело бы всех, от Орловых до Паниных, от Марии Терезии и Фридриха Великого до Георга Третьего и Людовика Шестнадцатого. Оно не только изменило бы всю политическую ситуацию в стране, но в конечном счете и отношения России со своими союзниками. Но это неважно, потому что, как он трогательно добавил, выражая свои настоящие чувства, «а я приму за верх моего щастия» [34]. Письмо передали через Стрекалова, как простое прошение. Но ответ он получил намного быстрее, чем обычно.

«Господин Генерал-Порутчик! – отвечала она на следующий день, используя официальный язык. – Я прозьбу Вашу нашла… умеренну в рассуждении заслуг Ваших, мне и Отечеству учиненных». Обратиться с официальным прошением было очень в духе Потёмкина. «Он был единственным из ее фаворитов, кто сам осмелился сделаться ее любовником», – пишет Шарль Массон, в будущем математик при швейцарском дворе и автор скандальных, но совершенно недостоверных мемуаров. Екатерина высоко оценила смелость Потёмкина в своем ответе: «…я приказала заготовить указ о пожаловании Вас Генерал-Адъютантом. Признаюсь, что и сие мне весьма приятно, что доверенность Ваша ко мне такова, что Вы прозьбу Вашу адресовали прямо письмом ко мне, а не искали побочными дорогами» [35]. Именно в этот момент Потёмкин выходит из тени истории и становится одним из самых известных и спорных государственных деятелей своей эпохи.

«Здесь открывается совершенно новое зрелище, – докладывал

четвертого марта английский посланник сэр Роберт Ганнинг в Лондон графу Саффолку, министру по делам Северной Европы, увидев при дворе нового генерал-адъютанта, – по мнению моему, заслуживающее более внимания, чем все события, происходившие здесь с самого начала этого царствования». В то время все писали друг другу письма, и теперь все писали о Потёмкине. Дипломаты сгорали от любопытства, потому что, как сразу заметил Ганнинг, Потёмкин был умнее и Орлова, и Васильчикова. Интересно, что всего через несколько дней после того, как Потёмкин был представлен как официальный фаворит, даже иностранцы, не знавшие российскую придворную жизнь досконально, информировали своих королей, что на горизонте появился некто Потёмкин, любовник императрицы, который помогает ей править. «Господин Васильчиков, чье понимание было слишком ограниченно, чтобы допустить, что он имеет какое-либо влияние на дела или пользуется доверием своей возлюбленной, – объяснял Ганнинг, – заменен человеком, несомненно обладающим тем и другим, в высочайшей степени» [36]. Прусский посол граф фон Сольмс пишет Фридриху: «По-видимому Потёмкин ‹…› сделается самым влиятельным лицом в России. Молодость, ум и положительность доставят ему такое значение, каким не пользовался даже Орлов. Григорий Григорьевич будет скоро забыт, и вся фамилия Орловых ниспадет в общий уровень» [37]. Главный союзник России испытывал еще большее отвращение, чем два года назад, когда при дворе появился Васильчиков. Хорошо проинформированный Сольмсом Фридрих Великий пишет своему брату принцу Генриху, высмеивая имя нового фаворита: «генерал Патукин или Тапукин». Однако при этом он признавал, что его приход к власти «может обернуться весьма неблагоприятно для наших дел». Фридрих не изменял себе: «Баба останется бабой, и при женском правлении вагина всегда будет иметь больше влияния, чем твердая политика, направляемая здравым рассудком» [37].

Русские придворные осторожно наблюдали за Потёмкиным, фиксируя каждый шаг нового фаворита, включая его украшения и обстановку в его покоях. Каждая деталь что-то значила, и о каждой они хотели быть осведомлены. Сольмс уже узнал, что появление Потёмкина не встревожило Паниных [39]. «Мне представляется, что сей новый актер станет роль свою играть с великой живостью и со многими переменами, если только утвердится» [40], – писал генерал Петр Панин князю Александру Куракину 7 марта. Очевидно, Панины считали, что смогут использовать Потёмкина для уничтожения влияния Орловых [41]. «Новый генерал-адъютант дежурит постоянно вместо всех

других, – писала графиня Сиверс своему мужу, одному из главных чиновников Екатерины. – Говорят, он очень скромен и приятен» [42]. Потёмкин уже приобрел такое влияние, какого никогда не было у Васильчикова. «Если тебе что-нибудь нужно, мой дорогой, – писала графиня Румянцева своему супругу, фельдмаршалу, в армию, – попроси Григория Александровича» [43].

Екатерина делилась со своим другом, бароном Гриммом радостью от того, что избавилась от Васильчикова и обрела Потёмкина: «Я отдалилась от некоего превосходного, но весьма скучного человека, которого немедленно и сама точно не знаю как заменил величайший, забавнейший и приятнейший чудак, какого только можно встретить в нынешнем железном веке» [44].

Часть третья. Вместе

1774–1776

7. Любовь

Двери будут открыты… Что до меня, то я иду спать. (…) Милушенька, как велишь: мне ли быть к тебе или ко мне пожалуешь?

Екатерина II – Г.А. Потёмкину

Потёмкин был чудовищно богат
Поместьями, деньгами и чинами
В те дни, когда убийство и разврат
Мужчин дородных делало богами.
Он был высок, имел надменный взгляд
И щедро был украшен орденами
(В глазах царицы за один уж рост
Он мог занять весьма высокий пост!).

Дж. Байрон. «Дон Жуан», VII:37

В любовной истории Екатерины и Потёмкина все было исключительным. Оба они – выдающиеся личности, оказавшиеся в исключительных обстоятельствах. Однако вспыхнувшему между ними роману были свойственны черты, общие для всех романтических историй вплоть до сегодняшнего дня. Их любовь была такой бурной и изнуряющей, что за кипением страстей мы с легкостью забываем: ведь они не только любили друг друга, но в то же время управляли огромной империей, которая сражалась с внешним врагом и была охвачена гражданской войной. Она – императрица, он – подданный, оба – с одинаково «безграничными амбициями». Двор был ареной постоянного соперничества, где ничто не могло укрыться от чужих глаз, и каждый взгляд имел

политические последствия. Часто они забывались, дав волю чувствам, но в их истории ни любовь, ни настроение не принадлежали лишь частной жизни – ведь Екатерина всегда оставалась в первую очередь государыней, а Потёмкин с самого первого дня был не просто фаворитом, но подлинным политиком.

По меркам той эпохи любовники были уже не юными людьми – Потёмкину исполнилось тридцать четыре, Екатерина была на десять лет его старше. Но благодаря их несовершенствам эта любовная история трогает нас еще сильнее. К февралю 1774 года Потёмкин уже давно утратил свою красоту Алкивиада. Его причудливый и эффектный облик в равной степени завораживал, устрашал и привлекал современников. Несмотря на огромный рост, его фигура сохраняла грациозность; длинную непослушную шевелюру глубокого каштанового оттенка он иногда прятал под седые парики. Большая голова имела почти грушевидную форму. Голубиная мягкость его профиля, возможно, была причиной того, что Екатерина в письмах часто называла его «голубчиком». Бледное, вытянутое, узкое лицо выражало чувствительность, необычную для такого огромного человека – лицо не генерала, но поэта. Рот был одной из наиболее обаятельных его черт: полные алые губы, крепкие белые зубы (редкое достоинство по тем временам), ямочка на подбородке. Правый глаз был зелено-голубым, левый – незрячим и полуприкрытым, из-за чего порой глаза казались раскосыми. Эта особенность придавала ему странный вид, хотя шведский дипломат Йон Якоб Дженнингс, познакомившийся с ним позднее, писал, что «дефект глаза» был куда менее заметен, чем можно было ожидать. Потёмкин всегда был крайне чувствителен к своему изъяну, что делало его несколько ранимым, зато придавало пиратский шарм его облику. Благодаря этому «дефекту» его диковинная фигура обретала сходство с мифическим существом – Панин прозвал его «Le Borgne» – «слепец», а остальные вслед за Орловыми называли его Циклопом [1].

Дипломатический корпус был не на шутку заинтригован: «Он громадного роста, непропорционального сложения, и в наружности его нет ничего привлекательного», – писал Ганнинг, но:

«[Потёмкин], кажется, знаток человеческой природы и обладает большей проницательностью, чем вообще выпадает на долю его соотечественников при такой же, как у них, ловкости для ведения интриг и гибкости, необходимой в его положении; и хотя распущенность его нравов известна, тем не менее он единственное лицо, имеющее сношения с духовенством. С этими качествами, и принимая в соображение известное нерадение к

делам тех лиц, с которыми ему придется встречаться, он естественно может льстить себя надеждой подняться до той высоты, к какой стремится его безграничное честолюбие» [2].

Граф Сольмс сообщал, что «Потёмкин высок ростом, хорошо сложен, но имеет неприятную наружность, так как сильно косит», но три дня спустя он добавляет, что «при его молодости и уме генералу Потёмкину будет легко занять в сердце императрицы место Орлова» [3].

Потёмкин мог вести себя то как версальский придворный, то как один из его приятелей-казаков. Поэтому Екатерине нравилось придумывать ему всевозможные прозвища, нарекая то казаком, то татарином, то каким-нибудь из диких животных. Современники, и в особенности императрица, полагали, что весь потёмкинский облик, с его истинно русской статью и странным смешением красоты и безобразия, был живым воплощением первобытной энергии и почти животной сексуальности, выдающейся оригинальности, быстрого ума и поразительной тонкости чувств. Его можно было или любить, или ненавидеть. Как однажды спросила одна из дочерей Кирилла Разумовского: «Как можно ухаживать за этим гадким слепым и для чего это?» [4].

Екатерина же находилась в самом своем расцвете. Сексуально привлекательная и исполненная величия женщина считалась настоящей красавицей благодаря высоким густым бровям и ярким голубым глазам, полным живости, самоуверенности и высокомерия. У нее были черные ресницы, изящно очерченный рот, нос с небольшой горбинкой, белоснежная сияющая кожа, а из-за царственной осанки она казалось выше, чем была на самом деле. Начинающуюся полноту императрица скрывала, неизменно надевая «широкие платья с пышными рукавами, напоминавшие старинный русский наряд» [5]. Все отмечали ее «достоинство, смягченное грацией» [6], благодаря чему Екатерина была «по-прежнему красивой, необыкновенно умной и проницательной, но романтичной в своих сердечных предпочтениях» [7].

Екатерина и Потёмкин вдруг стали совершенно неразлучными. Когда они расставались, всего лишь расходясь каждый в свои покои, то принимались самозабвенно писать друг другу письма. К счастью для нас, они оба прекрасно умели выражать свои чувства, и слова очень много для них значили. Порой они успевали обменяться несколькими записками в день, и эта переписка скорее напоминала телефонные звонки или даже электронные письма. Обычно записки отправлялись без подписи, поскольку одновременно содержали и тайные любовные признания, и обсуждения дел государственной важности. Почерк

Потёмкина, удивительно мелкий и небрежный для такого великана, со временем становился все хуже, пока к концу жизни не потерял всякую удобочитаемость на каком-либо языке. Письма написаны на русском и французском, которые порой сменяют друг друга совершенно хаотично; сердечные дела они чаще обсуждали по-французски, государственные – по-русски. Сохранилось огромное множество этих записок, свидетельствующих о политическом союзе и о любви длиною в жизнь. Некоторые из них – вполне в духе времени, а иные читаются так свежо, как будто принадлежат перу наших современников. Какие-то могли быть написаны лишь императрицей и государственным служащим, а другие говорят на языке любви, что так хорошо знаком всем чинам и эпохам. До нас дошли целые беседы: «Поезжай, голубчик, и будь весел», – пишет Екатерина Потёмкину; он уезжает, а вернувшись, присылает записку: «Матя, мы вернулись, теперь хотим ужинать». На это Екатерина отвечает: «Боже мой, кто бы мог подумать, что вы вернетесь?» [8]

Императрица называла своего возлюбленного «душенька», «сударка», «милушенька» и «bijou» («сокровище»). Позднее она будет часто обращаться к нему «батюшка», «батинька» или «папа» и придумывать бесконечные уменьшительные от имени Григорий: Гриша, Гришенька, Гришенок и даже Гришифишенька. В разгар их любви эти прозвища стали еще более красочными: «мой золотой фазан», «индейский петух», «голубчик мой дорогой», «tonton» (юла), «душа моя милая», «попугайчик», «волк», «птица» и множество других, отражавших характерное для него соединение силы и чувствительности. Если он заигрывался, она иронично ставила его на место обращениями «милостивый государь», «господин подполковник» или «ваше превосходительство». Когда Екатерина жаловала ему новый титул, ей нравилось обращаться к нему соответственно.

Потёмкин почти всегда называет Екатерину «матушка» или «государыня» (или соединяет два эти обращения). Иными словами, он осознанно решил обращаться к ней так, как велит старорусский обычай, а не называть ее Катенькой в отличие от других фаворитов. Тому причиной не недостаток близости, а глубокое уважение, которое Потёмкин питал к своей императрице. К примеру, как-то раз придворный принес ему записки от Екатерины, и Потёмкин заставил его преклонить колени и в этом положении ожидать, пока тот напишет ответ. Екатерину позабавила романтичность жеста: «Напиши, пожалуй, твой церемониймейстер, каким порядком к тебе привел сегодня моего посла и стоял ли по своему обыкновению на коленях?»

Потёмкин постоянно беспокоился, что письма могут выкрасть. Несколько его ранних любовных посланий осторожная императрица сожгла сразу после прочтения. От того периода уцелели главным образом ее письма и несколько его записок, которые она отправляла обратно со своими пометками. Более поздних писем Потёмкина сохранилось больше, поскольку в них шла речь также и о государственных делах. Страстный влюбленный хранил перевязанную тесемкой потрепанную стопку писем императрицы во внутреннем кармане, поближе к сердцу, чтобы перечитывать их вновь и вновь. «Гришенька, здравствуй, – начинает Екатерина одно из мартовских писем 1774 года, – Я здорова и спала хорошо… Боюсь я – потеряешь ты письмы мои: у тебя их украдут из кармана… Подумают, что ассигнации, и положат в карман» [9]. Но к счастью для нас, они были при нем на смертном одре семнадцать лет спустя. Всем важнейшим придворным любовники дали прозвища, которые порой трудно расшифровать, а также придумали секретный язык, вероятно, для того, чтобы Потёмкин смог высказать, как желает заняться с ней любовью.

«Батинька, голубчик милой, каков ты опочивал, сударка любезный?» – так обычно приветствует его в письмах императрица. «Скажи мне, сударушка, каков ты и в милости ли я?» [10]. Иногда записки совсем коротки: «Добрый вечер, сердце мое. Я иду спать» [11].

Когда девятого апреля двор вернулся в Санкт-Петербург из Царского Села, Потёмкин выехал из дома Елагина, где жил с тех пор, как начался их роман с Екатериной, и поселился в своих новых, только что отделанных покоях Зимнего дворца: «говорят, что они великолепны», – писала на следующий день графиня Сиверс. Потёмкина теперь постоянно встречали в городе: «Я часто вижу Потёмкина, мчащегося по улице шестернею». Роскошная карета, дорогие лошади и скорая езда стали его визитной карточкой. Потёмкин обычно сопровождал императрицу на публичных мероприятиях. Когда 28 апреля Екатерина выехала в театр, «Потёмкин был в ложе», заметила Сиверс. Царственные особы, а порой и вся остальная публика весь спектакль часто проводили за разговорами (Вольтера чрезвычайно раздражала эта королевская привычка Людовика XV). Так и в этом случае с Потёмкиным «беседовали (т. е. императрица беседовала) много во все время представления; он пользуется большим доверием» [12].

Новые комнаты Потёмкина в Зимнем дворце находились прямо под покоями Екатерины. И его, и ее окна выходили не на Неву, а на Дворцовую площадь и во внутренний двор. Когда

Потёмкин хотел посетить императрицу – а посещал он весьма часто, без доклада и когда ему было угодно, – то поднимался (в отличие от Орлова, который спускался) по винтовой лестнице, неизменно устеленной зелеными коврами. Зеленый был самым подходящим цветом для троп любви – вспомним зеленую лестницу, которая вела от покоев Людовика XV в будуар маркизы де Помпадур.

У Потёмкина были свои комнаты во всех императорских дворцах, включая городской Летний дворец и Петергоф, но чаще всего любовники проводили дни в Большом Екатерининском дворце в Царском Селе, где их покои разделял такой холодный коридор, что в письмах они часто просили друг друга быть осторожнее, идя по этой промозглой тундре. Екатерина пишет: «Сожалею, душа беспримерная, что недомогаешь. Вперед по лестнице босиком не бегай, а естьли захочешь от насморка скорее отделаться, понюхай табак крошичко» [13]. Они редко проводили ночи вместе (как позднее будет заведено с другими фаворитами), поскольку Потёмкин любил играть в карты, вести беседы заполночь и спать до полудня, а императрица просыпалась рано. Ее натуре был близок распорядок дня образцовой немецкой классной дамы, наделенной, однако, глубокой чувственностью, он же вел жизнь необузданного уроженца приграничных земель.

Потёмкин часто врывался без доклада на камерные вечера Екатерины, растрепанный, в турецком халате или в иной домашней одежде на голое тело, так что все общество могло лицезреть его поросшую волосами грудь и ноги. Он ходил босиком в любую погоду. В холодные месяцы он набрасывал на плечи шубу, из-за чего становился похож на великана, который никак не мог решить, дикарь он или модник. В добавок ко всему на голову он повязывал розовый платок. Этот восточный шик был не по вкусу придворным-вольтерьянцам, и они прозвали его мифологическим «богатырем». С самого начала их романа с императрицей Потёмкин понимал, что находится на особом положении: когда Екатерина его призывала, он мог себе позволить не явиться. Приходя в покои императрицы когда вздумается, он не утруждал себя докладом и не ждал приглашения, забредал в ее комнаты, словно медведь-шатун, и порой искрометно шутил, развлекая всех собравшихся, а порой молчал, не уделяя внимания даже самой Екатерине.

Его вкусы были «поистине варварскими и московитскими»: ему нравилась «простая пища его народа, особенно пирожки и прочая выпечка, и сырые овощи», которые он всегда держал рядом с кроватью [14]. Часто, поднимаясь к императрице, он

жевал яблоко, репу, редис или чеснок и вел себя в Зимнем дворце совершенно так же, как в детские годы, резвясь в компании чижовских крепостных. Вкусовые предпочтения князя были естественны, непринужденны, по-русски безыскусны и имели такое же политическое значение, как красные норфолкские яблоки, любовь к которым подчеркивала истинно английскую натуру Роберта Уолпола.

Не слишком приличное поведение Потёмкина шокировало чиновников-франкофилов и чопорных иностранных послов, но когда он видел в том необходимость, то появлялся в официальном наряде или военной форме и был сама любезность, безукоризненный пример элегантного придворного. В нем непрестанно шла борьба противоположностей. Будучи задумчив и угрюм – что случалось весьма часто, – он обкусывал ногти до крови; всю жизнь он ужасно страдал от заусенцев, так что два правителя Российской империи, забыв о законах и войнах, будут писать друг другу, чтобы обсудить бедственное состояние его пальцев. За это Екатерина называла его «первый ногтегрыз в Российской империи». «У циклопа есть небольшой грешок, – пишет Александр Рибопьер, – он исступленно грызет ногти, яростно, до крови» [15]. Порой это были не ногти, а любая другая вещь, попавшаяся под руку. В Малом Эрмитаже Екатерина вывесила список правил поведения, призванных создать непринужденную обстановку, и правило под третьим номером добавила специально для своего Потёмкина: «Быть веселым, однако ж ничего не портить, не ломать и ничего не грызть» [16].

Влияние Потёмкина распространилось и на покои императрицы: в салоне он велел поставить турецкий диван, чтобы нежиться на нем в своем шлафроке. Екатерина с некоторой гордостью писала Гримму: «За моей спиной мистер Том [ее английская борзая] громко храпит на турецком диване, который поставил здесь генерал Потёмкин» [17]. Следы его пребывания валялись тут и там в ее опрятных комнатах, и императрицу веселила эта ничем не стесненная, почти богемная беззаботность: «Долго ли это будет, что пожитки свои у меня оставляешь. Покорно прошу, по-турецкому обыкновению платки не кидать. А за посещение словесно так, как письменно, спасибо до земли тебе скажу и очень тебя люблю» [18].

Невозможно свести дружбу и тем более любовь лишь к сумме слагаемых, но если все же попытаться, то мы увидим, что их отношения совмещали в себе смех, секс, власть и взаимное восхищение интеллектом возлюбленного, и порядок этих элементов все время менялся. Потёмкин всегда умел развеселить

ее – так же, как двенадцать лет назад, когда Орлов впервые познакомил их с императрицей. Девятнадцатого июня она писала Гримму «об оригиналах, которые смешат меня, и особливо о генерале Потёмкине, который более в моде, чем другие, и который смешит меня так, что я держусь за бока» [19]. В их письмах звучит раскатистый смех Екатерины, не уступая по силе их властолюбию и взаимному влечению: «Миленький, какой ты вздор говорил вчерась. Я и сегодня еще смеюсь твоим речам. Какие счастливые часы я с тобою провожу» [20].

В частых шутливых играх Потёмкин соревновался с Мистером Томом в умении навести больший беспорядок в императорских покоях. В письмах Гримму Екатерина то и дело рассказывает о потёмкинских выходках: например, как-то раз он набросил себе на плечи коврик Мистера Тома, приобретя совершенно неподобающий вид: «Я шью новую подстилку для Тома […] генерал Потёмкин уверяет, что прежнюю украл он» [21]. Позднее Потёмкин принесет в комнаты весьма невоспитанную обезьяну.

С Потёмкиным она никогда не скучала, а без него принималась тосковать: у него было живое воображение и многогранная, глубоко своеобразная натура. Если она долго не виделась с ним, то ворчала: «Куда как скучаю без Вас». Как это часто происходит с влюбленными, смех и секс оказывались у них неразрывно связаны друг с другом. Письма Екатерины светятся от счастья – они написаны рукой желанной и обласканной женщины. Страстный секс был основой их романа. Она чрезвычайно гордилась его сексуальной привлекательностью и донжуанским списком покоренных сердец: «Не удивляюсь, что весь город безсчетное число женщин на твой щет ставил, – пишет она. – Мне кажется, во всем ты не рядовой, но весьма отличаешься от прочих» [22].

«Миленький, и впрямь, я чаю, ты вздумал, что я тебе сегодня писать не буду. Изволил ошибиться. Я проснулась в пять часов, теперь седьмой – быть писать к нему. ‹…› От мизинца моего до пяты и от сих до последнего волоску главы моей зделано от меня генеральное запрещение сегодня показать Вам малейшую ласку. А любовь заперта в сердце за десятью замками. Ужасно, как ей тесно. С великой нуждою умещается, того и смотри, что где ни на есть – выскочит. Ну, сам рассуди, ты человек разумный, можно ли в столько строк более безумства заключить. Река слов вздорных из главы моей изтекохся. Каково-то тебе мило с таковою разстройкою ума обходиться, не ведаю. О, Monsieur Potemkine, quel fichu miracle Vous aves opere de deranger ainsi une tete, qui ci-devant dans le monde passoit pour etre une des meilleures de

l'Europe?[27]

Право пора и великая пора за ум приняться. Стыдно, дурно, грех, Ек[атерине] Вт[орой] давать властвовать над собою безумной страсти. ‹…› И сие будет не из последних доказательств великой твоей надо мною власти. Пора перестать, а то намараю целую метафизику сентиментальную, которая тебя наконец насмешит, а иного добра не выдет. Ну, бредня моя, поезжай к тем местам, к тем щастливым брегам, где живет мой герой. ‹…› Прощай, Гяур, москов, казак» [23].

Это письмо написано в марте 1774 года; таковы были чувства Екатерины, проснувшейся рано утром после свидания с Потёмкиным, который в этот час еще спал в своих покоях. Данные ему игривые прозвища – «казак», «гяур» (турецкое словечко, обозначавшее иноверцев), «лев в тростнике», «тигр», «индейский петух», «волк», – вероятно, отсылают к его сексуальности. Поразительно, что она даже называла его «Пугачевым», имея в виду, должно быть, его по-казацки дикий, энергичный и неукротимый нрав.

В эти месяцы у них не было друг от друга секретов. Встречаясь друг с другом, они то беззаботно смеялись, то занимались любовью, то решали вопросы государственной важности, и все это доставляло им удовольствие. Секс без труда сочетался с политическими делами. «Я тебя люблю чрезвычайно, и когда ты ко мне приласкаешься, моя ласка всегда твоей поспешно ответствует, – начинает Екатерина апрельское письмо. – Но Павла [П.С. Потёмкин, его троюродный брат, которого откомандировали для подавления Пугачевского бунта] послать надобно – не забудь; а как приедет, то две вещи нужны…» [24] – и далее она продолжает рассуждать о необходимых мерах против пугачевского восстания.

Екатерина очень привязалась к нему: однажды ночью, когда он не пришел к ней, она «встала, оделась и пошла в вивлиофику к дверям, чтоб Вас дождаться, где в сквозном ветре простояла два часа; и не прежде как уже до одиннадцатого часа в исходе я пошла с печали лечь в постель, где по милости Вашей пятую ночь проводила без сна» [25]. Представив себе императрицу, простоявшую два часа у порога комнаты Потёмкина в ночной рубашке и чепце, мы понимаем, насколько сильна была ее страсть. Неудивительно, что о невероятных сексуальных достоинствах Потёмкина ходили слухи, и это могло бы объяснить распространенный миф о том, что Екатерина сделала слепок его выдающегося члена, чтобы находить в нем утешение во время его все удлинявшихся отъездов на юг [26]. Хотя, разумеется, этот

анекдот не более исторически достоверен, чем другие грязные сплетни, которые рассказывали о ней недоброжелатели, но так или иначе, легенды о потёмкинском «великолепном орудии» надолго стали частью гомосексуальной мифологии Санкт-Петербурга[28].

Если Потёмкин был занят, она не нарушала его покой, хотя статус императрицы мог ей это позволить. Однажды она не смогла сдержать порыв и зашла повидаться в его комнаты. Осторожно спустившись, Екатерина подошла к дверям, но, увидав «спину секретаря или унтер-офицера, убежала со всех ног. Все же люблю вас от всей души» [27]. Это говорит нам о том, как осмотрительно нужно было себя вести императрице в собственном дворце, чтобы не выдать своих чувств перед чиновниками и служащими. Екатерина часто сокрушалась, что любовь к Потёмкину заставляет ее терять рассудок – верную последовательницу Вольтера и Дидро это повергало в смятение. Просвещенная правительница в Век Разума с удовольствием позволяла себе сочинять милые глупости, как влюбленная школьница: «Чтоб мне смысла иметь, когда ты со мною, надобно, чтоб я глаза закрыла, а то заподлинно сказать могу того, чему век смеялась: «что взор мой тобою пленен». Может быть, здесь она намекает на песню, которую он сочинил ей? «Глупые мои глаза уставятся на тебя смотреть: разсужденье ни в копейку в ум не лезет, а одурею Бог весть как». Он ей снился: «Со мною зделалась великая диковинка: «Я стала сомнамбулой». Она пишет о том, как встретила «прекрасного человека», а потом проснулась: «теперь я везде ищу того красавца, да его нету ‹…› Куда как он мил! Милее целого света. ‹…› Миленький, как ты его встретишь, поклонись ему от меня и поцалуй его» [28].

На первом этаже Зимнего дворца, под часовней Екатерины, находилась ее баня, которая, по всей видимости, и была местом большинства их свиданий[29].

«Голубчик, буде мясо кушать изволишь, то знай, что теперь все готово в бане. А к себе кушанье оттудова отнюдь не таскай, а то весь свет сведает, что в бане кушанье готовят» [29]. После повышения по гвардейской службе в марте 1774 года Потёмкин получил от Екатерины следующее письмо: «Здравствуй, Господин подполковник. Каково Вам после мыльни? А мы здоровы и веселы, отчасти по милости Вашей. По отшествии Вашем знаете ли Вы, о чем слово было? Лехко Вам можно догадаться: Вы и мысли иногда отгад[ыв]аете. Об Вас, милуша. Расценили Вас, а цены не поставили: ее нет. Прощай, возись с полком, возись с офицерами сегодня целый день, а я знаю, что буду делать: я буду думать, думать об чем? Для вирши скажешь: об нем. Правду

сказать, все Гришенька на уме» [30].

Как-то раз Потёмкин вернулся во дворец из отъезда. «Матушка моя родная и безценная. Я приехал, но так назябся, что зубы не согрею, – пишет он императрице. – Прежде всего желаю ведать о твоем здоровье. Благодарствую, кормилица, за три платья. Цалую Ваши ножки». Мы живо представляем себе, как придворные дамы или другие посланцы бегают туда-сюда по длинным дворцовым коридорам и доставляют ответ Екатерины: «Радуюсь, батя, что ты приехал. Я здорова. А чтоб тебе согреваться, изволь итти в баню, она топлена» [31]. Позднее слуга сообщил ей, что Потёмкин закончил свои банные процедуры, и она отправила со слугой записку: «Красавец мой миленький, на которого ни единый король непохож. Я весьма к тебе милостива и ласкова, и ты протекции от меня имеешь и иметь будешь во веки. ‹…› Как я чаю, ты пуще хорош и чист после бани» [32].

Любовники часто говорят о своем здоровье, и Потёмкин и Екатерина на протяжении всей жизни тоже делились друг с другом подобными заботами. «Adieu, monsieur, – пишет она как-то утром, проснувшись. – Напиши, пожалуй, каков ты сегодни: изволил ли опочивать, хорошо или нет, и лихорадка продолжается и сильна ли?.. Куда как бы нам с тобою было весело вместе сидеть и разговаривать» [33]. Когда жар прошел, она пригласила его к себе: «увидишь новое учреждение, – обещает она. – Во-первых, прийму тебя в будуаре, посажу тебя возле стола, и тут Вам будет теплее и не простудитесь, ибо тут из подпола не несет. И станем читать книгу, и отпущу тебя в пол одиннадцатого» [34].

Когда ему стало лучше, настал ее черед захворать: «Я спала хорошо, но очень не могу, грудь болит и голова, и, право, не знаю, выйду ли сегодни или нет. А есть ли выйду, то это будет для того, что я тебя более люблю, нежели ты меня любишь, чего я доказать могу, как два и два – четыре. Выйду, чтоб тебя видеть. Не всякий вить над собою столько власти имеет, как Вы. Да и не всякий так умен, так хорош, так приятен» [35].

Потёмкин был известен своей ипохондрией. Однако эти недомогания не уменьшали его нервное напряжение, так что иногда Екатерине приходилось брать на себя роль строгой немецкой матроны, чтобы успокоить его: «Пора быть порядочен. Я не горжусь, я не гневаюсь. Будь спокоен и дай мне покой. Я скажу тебе чистосердечно, что жалею, что не можешь. А баловать тебя вынужденными словами не буду» [36]. Но когда он в самом деле серьезно заболевал, ее тон переменялся: «Душа моя милая, безценная и безпримерная, я не нахожу слов тебе изъяснить, сколько тебя люблю. А что у тебя понос, о том не жалей.

Вычистится желудок…» [37]. В том веке о бедах с желудком писали совершенно запросто.

Когда сама Екатерина слегла с кишечным расстройством, ее, как и любую женщину, беспокоило, как бы любовник не застал ее в неподобающем виде. «Есть ли, батинька, необходимая тебе нужда меня видеть, то пришли сказать. У меня понос пресильный с шестого часа». К тому же ей не хотелось идти к нему по промозглому коридору Царского Села: «Боюсь проходом чрез студеную галерею в такой сырой погоде умножит резь, а что ты болен, о том сердечно жалею. Tranquillises-Vous, mon Ami. C'est le meilleur conseil que je puis Vous donner[30]» [38].

Екатерина была счастлива, что ей удалось найти себе достойную пару: «Какие счас[т]ливые часы я с тобою провожу. Часа с четыре вместе проводим, а скуки на уме нет, и всегда расстаюсь чрез силы и нехотя. Голубчик мой дорогой, я Вас чрезвычайно люблю, и хорош, и умен, и весел, и забавен; и до всего света нужды нету, когда с тобою сижу. Я отроду так счастлива не была, как с тобою. Хочется часто скрыть от тебя внутреннее чувство, но сердце мое обыкновенно пробалт[ыв]ает страсть» [39]. Но даже в самые первые, идиллические недели их романа Потёмкина уже раздирали противоречивые чувства: он по-детски нуждался во внимании и любви и в то же время безрассудно желал свободы и независимости.

С первой трудностью Екатерина справлялась и баловала его своим вниманием днем и ночью, а он с упоением этим пользовался, поскольку не меньше ее был жаден до любви. Императрица всея Руси была способна к бесконечному смирению перед своим подданным: «Миленький голубчик и безценный дружочек. Я должна к тебе писать, чтоб слово сдержать. Знай же, что я тебя люблю и тем никого не дивлю. ‹…› et pour Vous l'on feroit l'impossible et pour cela aussi je serai ou Votre tres humble servante, ou Votre tres humble serviteur, ou bien aussi tous les deux a la fois {и для вас сделали бы невозможное, и для того я буду также или вашей покорнейшей служанкой, или вашим покорнейшим слугою, или также обоими сразу (*фр.*)}» [40]. Потёмкин непрестанно требовал все больше и больше внимания. Он хотел быть уверенным, что все ее мысли – только о нем, если же видел обратное – мрачнел.

«Позволь доложить, – утешала она «друга милого и любезного» после очередной его обиды, – что я весьма помню о тебе. А сей час, окончив тричасовое слушанье дел, хотела послать спросить. И понеже не более десяти часов, то пред тем опасалась, что разбудят тебя. И так не за что гневаться, но в свете есть люди, кои любят находить другим людям вины тогда, когда надлежало

им сказать спасибо за нежную атенцию всякого рода. Сударка, я тебя люблю, как душу» [41]. Если же она по-настоящему сердилась, то не скрывала этого: «Вы и вам дурак, ей Богу ничего не прикажу, ибо я холодность таковую не заслуживаю, а приписую ее моей злодейке проклятой хандре» [42]. Она была снисходительна к его капризам, находя подобную страстность лестной, и старалась понять его терзания: «Вздор, душенька, несешь. Я тебя люблю и буду любить вечно противу воли твоей», или еще нежнее: «Батинька, мой милой друг. Прийди ко мне, чтоб я могла успокоить тебя безконечной лаской моей» [43]. Часто ей приходилось брать на себя роль утешительницы, чтобы любовью смягчить душу этого рассерженного и мятущегося человека.

Настроение Потёмкина менялось так стремительно, что любовники порой шутили об этом. «Что-то написано было на сем листе? – пишет она, притворяясь, будто не прочла одно из его гневных посланий. – Уж верно брань, ибо превосходительство Ваше передо мною вчерась в том состояло, что Вы были надуты посереди сердца, а я с сокрушенным сердцем была ласкова и искала с фонарем любви Вашей утомленную ласку, но до самого вечера оная обретать не была в силе. ‹…› Брань родилась третьего дни оттого, что я чистосердечно искала дружески ‹…› изъясниться с Вами о таких мыслях, кои ‹…› были в собственную Вашу пользу. Вчерась же вечеру я поступала с лукавством нарошно. Признаюсь, нарошно не посылала к Вам до девяти часов, чтоб видеть, приидешь ли ко мне, а как увидела, что не идешь, то послала наведаться о твоем здоровье. Ты пришел и пришел раздут. Я притворялась, будто не вижу ‹…› погоди маленько, дай перекипеть оскорбленному сердцу. Ласка сама придет везде тут, где ты сам ласке место дашь» [44]. Возможно, после этого Потёмкин отправил ей вместо письма чистый лист бумаги. Чувства императрицы были задеты, но в то же время это ее позабавило, и она наградила его целым списком нежных имен: «Ныне вить не апрель первое число, что прислать бумагу и в ней написать ничего. Знатно сие есть следствие Вашего сновидения, чтоб лишней ласкою не избаловать. Но… иногда и я не догадываюсь, что безмолствие значит. Но, как бы то ни было, как я ласкова, то от Вас зависит платить нас неравной монетою. Гяур, Москов, казак яицкий, Пугачев, индейский петух, павлин, кот заморский, фазан золотой, тигр, лев в тростнике» [45].

Навязчивая потребность Екатерины в эмоциональной поддержке («жестокая нежность») скрывалась за ее сдержанным немецким темпераментом, рядом с которым стало бы трудно дышать любому мужчине, не говоря уж о донельзя беспокойном Потёмкине. Он получал все, что хотел, и, избалованный любимой

женщиной, быстро поднялся до высот власти; нервозность, поэтическая театральность и славянское упрямство мешали ему расслабиться и позволить себе просто быть счастливым: «спокойствие есть для тебя чрезвычайное и несносное положение». Ему нужен был простор, чтобы дышать. Его беспокойность привлекала ее, но в то же время и обижала: «Я пришла тебя будить, а… в комнате тебя нету. И так вижу, что только для того сон на себя всклепал, чтоб бежать от меня. В городе, по крайней мере, бывало сидишь у меня… а здесь лишь набегом. Гаур, казак москов. Побываешь и всячески спешишь бежать. ‹…› Сему смеяться станешь, но, право, мне не смешно видеть, что скучаешь быть со мною…» [46]. Но Потёмкин не менее искусно манипулировал людьми, чем сама Екатерина. Когда гордыня или беспокойство заставляли его избегать общества императрицы, он делал все для того, чтобы она это заметила. «Я никогда не решусь придти, если вы не предупредите меня» [47], – как-то раз пишет она в сердцах. Живой ум Потёмкина легко пресыщался, хотя общество Екатерины всегда было ему приятно. У них было слишком много общего.

Несмотря на осведомленность в философии Просвещения, Потёмкин обладал подлинно русским характером, и потому ему было трудно относиться к женщине как к равной себе, особенно если она была наделена такой властью и такой сексуальной независимостью. Он потворствовал своему эгоизму, но это объясняется его непростым положением: он испытывал огромное давление и в политическом, и в личном отношении. Оттого он и заставлял Екатерину страдать, неистово ревнуя ее к другим мужчинам – что было глупостью, поскольку она была бесконечно ему предана. Роль официального любовника нелегко давалась этому властному человеку.

Сначала он ревновал ее к Васильчикову. Тогда Екатерина, желая доставить ему удовольствие, поручила ему переговоры об условиях отставки «Ледяного супа» – иными словами, размер выплат прежнему фавориту: «…умнее меня отдаю на размышление сию статью и ‹…› прошу умеренно поступать». Это письмо позволяет нам оценить ее удивительную щедрость. «Деревень… более двух не дам, – пишет она Потёмкину. – Деньги я в четыре приема давала, а сколько всего, не помню, а думаю – около шестидесять». Вместе с приютившим его ранее Елагиным Потёмкин договорился с Васильчиковым о весьма выгодной для последнего сделке, хотя по сравнению с тем, что получали потом его преемники, это богатство кажется ничтожным. К тому времени Васильчиков уже уехал из дворца и жил у своего брата; теперь он получил особняк с полной отделкой, 50 000 рублей на

обустройство дома, ежегодную пенсию в 5 000 рублей, деревни, столовые приборы, отрезы льна и серебряный сервиз на двадцать персон, несомненно включавший в себя миски для холодного супа. Васильчиков, как несчастная «содержанка», был вынужден «низко кланяться» и благодарить Потёмкина – и благодарность эта имела основания [48]. Вот первый пример того, что Потёмкину была чужда мстительность как в интимных, так и в политических делах. Так или иначе, он продолжал терзаться неизбежной унизительностью своего положения: Екатерина могла в любой момент избавиться от него, как избавилась от «ледяного супа».

«Нет, Гришенька, – пишет она Потёмкину после ссоры. – Статься не может, чтоб я переменилась к тебе. Отдавай сам себе справедливость: после тебя можно ли кого любить. Я думаю, что тебе подобного нету и на всех плевать. Напрасно ветреная баба меня по себе судит. Как бы то ни было, но сердце мое постоянно. И еще более тебе скажу: я перемену всякую не люблю». Екатерину задевало, когда ее считали распутницей: «Когда вы лучше узнаете меня, вы будете уважать меня, ибо, клянусь вам, что я достойна уважения. Я чрезвычайно правдива, люблю правду, ненавижу перемены, я ужасно страдала в течение двух лет, обожгла себе пальцы, я к этому больше не вернусь. Сейчас мне вполне хорошо: мое сердце, мой ум и мое тщеславие одинаково довольны вами. Чего мне желать лучшего? Я вполне довольна. Если же вы будете продолжать тревожиться сплетнями кумушек, то знаете, что я сделаю? Я запрусь в своей комнате и не буду видеть никого, кроме вас. Если нужно, я смогу принять чрезвычайные меры и люблю вас больше самой себя» [49].

Однако даже ее ангельское терпение имело свои пределы: «Буде Ваша глупая хандра прошла, то прошу меня уведомить, ибо мне она кажется весьма продолжительна, как я ни малейшую причину, ни повода Вам не подала к такому великому и продолжительному Вашему гневу. И того для мне время кажется длинно, а, по нещастию, вижу, что мне одной так и кажется, а вы лихой татарин» [50].

Переменчивый характер Потёмкина обострял их чувства, но эти перепады настроения были чрезвычайно утомительными. Его вызывающее поведение странным образом не помешало ему сохранить любовь и уважение Екатерины, хотя его выходки были откровенной манипуляцией. Екатерина восхищалась его страстностью, а ревность ей льстила, однако почувствовав себя свободно, он заходил слишком далеко. Потёмкин даже грозился убить всех иных претендентов на ее сердце. «Фуй, миленький, как тебе не стыдно. – отчитывала она его. – Какая тебе нужда сказать,

что жив не останется тот, кто место твое займет. Похоже ли на дело, чтоб ты страхом захотел приневолить сердце ‹…› Признаться надобно, что и в самом твоем опасеньи есть нежность. Но опасаться тебе причины никакой нету. Равного тебе нету. Я с дураком [Васильчиковым] пальцы обожгла. И к тому я жестоко опасалась, чтоб привычка к нему не зделала мне из двух одно: или навек безщастна, или же не укротила мой век… Теперь читай в душе и в сердце моем. Я всячески тебе чистосердечно их открываю, и естьли ты сие не чувствуешь и не видишь, то недостоен будешь той великой страсти, которую произвел во мне…» [51]

Потёмкину нужно было знать обо всем. Он предъявлял Екатерине претензии в том, что до него у нее было пятнадцать любовников. Нечасто обвинение в распутстве столь откровенно высказывалось в лицо императрице. Но Екатерина постаралась успокоить его ревнивое сердце, написав письмо с заголовком «Чистосердечная исповедь». Это удивительный документ, не свойственный ни одной эпохе. Подлинно женский, исповедальный тон письма кажется вполне современным для XXI века, по-житейски практичная этика явно принадлежит XVIII веку, а влюбленность и откровенность – вневременные ощущения. Готовность императрицы отчитаться о своей сексуальной жизни поистине уникальна. Она пишет Потёмкину о четырех любовниках, предшествовавших ему: это Салтыков, Понятовский, Орлов и Васильчиков. Об отношениях с Салтыковым и Васильчиковым она сожалеет. Потёмкин же в этом рассказе предстает героем-великаном, «богатырем»: «Ну, Госп[один] Богатырь, после сей исповеди могу ли я надеяться получить отпущение грехов своих. Изволишь видеть, что не пятнадцать, но третья доля из сих: первого по неволе [Салтыкова] да четвертого из дешперации [Васильчикова] я думала на счет легкомыслия поставить никак не можно; о трех прочих, естьли точно разберешь, Бог видит, что не от распутства, к которому никакой склонности не имею, и естьли б я в участь получила смолоду мужа, которого бы любить могла, я бы вечно к нему не переменилась». Затем Екатерина излагает свои представления о том, какова ее натура: «Беда та, что сердце мое не хочет быть ни на час охотно без любви». Это не нимфомания, которую ей приписывали школяры, а трезвое признание своих эмоциональных потребностей. В XVIII веке эту особенность характера назвали бы sensibilité (чувствительность); XIX век увидел бы здесь поэтичное проявление романтической любви; сегодня мы понимаем, что это всего лишь одна из частей сложной и страстной натуры.

Их любовь друг к другу была безгранична, но буйный нрав и жажда власти Потёмкина становились причиной постоянных ссор. Тем не менее Екатерина оканчивает свою исповедь таким предложением: «…есть ли хочешь на век меня к себе привязать, то покажи мне столько же дружбы, как и любви, а наипаче люби и говори правду» [52].

8. Власть

Она от него без ума. Они должны очень любить друг друга, так как вполне схожи между собой…

Иван Елагин – Дюрану де Дистроффу

«Эти два великих характера казались созданными друг для друга, – замечал Массон. – Сначала он обожал свою государыню как любовницу, а потом нежно любил как свою славу» [1]. Сходство их амбиций и талантов было и основой их любви, и ее недостатком. Великая история любви императрицы ознаменовала собой новую политическую эпоху, так как все сразу поняли, что Потёмкин, в отличие от Васильчикова или даже Григория Орлова, способен воспользоваться своей властью и не замедлит это сделать. Однако в начале 1774 года им нужно было быть весьма осторожными, ведь Россия оказалась в самом сложном положении за все время царствования Екатерины: Пугачев все еще продолжал наступление к северу от Каспия, к югу от Урала, к востоку от Москвы, а обеспокоенные дворяне хотели, чтобы его остановили как можно скорее. Турки все еще не хотели идти на переговоры, а армия Румянцева устала и страдала от лихорадки. Ошибка в борьбе с Пугачевым, поражение на войне против турок, действия, которые могли бы спровоцировать Орловых, неуважение к гвардии, снисходительное отношение к великому князю – все это в буквальном смысле могло стоить любовникам головы.

Чтобы влюбленные не питали иллюзий, Алексей Орлов-Чесменский решил дать им понять, что он внимательно следит за освещенным окном императорской купальни. Братья Орловы, которые после 1772 года успели получить огромный вес, могли стать первыми жертвами возвышения Потёмкина.

«Ал[ексей] Гр[игорьевич] у меня спрашивал сегодня, смеючись, сие:

– Да или нет?

На что я ответствовала:

– Об чем?

На что он сказал:

– По материи любви.

Мой ответ был:

– Я солгать не умею.

Он паки вопрошал:

– Да или нет?

Я сказала:

– Да.

Чего выслушав, расхохотался и молвил:

– А видитеся в мыленке?

Я спросила: «Почему он сие думает?»

Потому, дескать, что дни с четыре в окошке огонь виден был попозже обыкновенного. Потом прибавил: «Видно было и вчерась, что условленность отнюдь не казать в людях согласия меж вами, и сие весьма хорошо» [2].

Екатерина рассказала об этом своему возлюбленному, и, наверное, они посмеялись над этим, как два непослушных ребенка, которым нравится шокировать взрослых. Но в шутках Алексея Орлова всегда было что-то угрожающее.

Помимо занятий любовью и смеха в бане Потёмкин сразу предложил свою помощь Екатерине в вопросах Русско-турецкой войны и Пугачевского восстания. Оба политика часто обсуждали, как разыграть свою партию. «Прощай, брат, – говорит она ему, – веди себя при людях умненько, и так, чтоб прямо никто сказать не мог, чего у нас на уме, чего нету» [3]. Тем не менее с Потёмкиным она чувствовала себя в безопасности, ведь он давал ей понять, что возможно все, что все ее честолюбивые мечты достижимы и что любые сиюминутные проблемы можно решить.

Из-за Потёмкина на Екатерину оказывали давление. В начале марта неизвестные, но могущественные придворные, включая кого-то, кого называли Аптекарь (вероятно, это был Панин или Орлов), посоветовали Екатерине избавиться от Потёмкина: «Был у меня тот, которого Аптекарем назвал ‹…› Хотел мне доказать неистовство моих с тобою поступков и, наконец, тем окончил, что станет тебя для славы моей уговаривать тебя ехать в армию, в чем я с ним согласилась. Они все всячески снаружи станут говорить мне нравоучения ‹…› Я же ни в чем не призналась, но и не отговорилась, так чтоб [не] могли пенять, что я солгала». Однако письма демонстрируют, что Потёмкин и Екатерина были единодушны в политических вопросах: «Одним словом, многое множество имею тебе сказать, а наипаче похожего на то, что говорила между двенадцатого и второго часа вчера, но не знаю, во вчерашнем ли ты расположении и соответствуют ли часто твои слова так мало делу, как в сии последние сутки. Ибо все ты твердил, что прийдешь, а не пришел. ‹…› Всякий час об тебе думаю. Ахти, какое долгое письмо намарала. Виновата, позабыла, что ты их не любишь. Впредь не стану» [4].

Екатерина старалась предотвратить конфликт с Орловыми: «…одного прошу не делать: не вредить и не стараться вредить

Кн[язю] Ор[лову] в моих мыслях, ибо я сие почту за неблагодарность с твоей стороны. Нет человека, которого он более мне хвалил и, по видимому мне, более любил и в прежнее время и ныне до самого приезда твоего, как тебя. А естьли он свои пороки имеет, то ни тебе, ни мне непригоже их расценить и разславить. Он тебя любит, а мне оне друзья, и я с ними не расстанусь» [5].

Теперь Потёмкин требовал для себя места в правительстве. Самыми важными тогда были военное и внешнеполитическое ведомства. Поскольку Потёмкин вернулся с Дуная героем войны, он, разумеется, выбрал военное. Уже пятого марта 1774 года, через неделю после назначения генерал-адъютантом, Екатерина направила Захару Чернышеву, президенту Военной коллегии и союзнику Орловых, приказы через Потёмкина [6]. Пугачевское восстание, как и все остальные события, способствовало возвышению Потёмкина: любому государству нужны козлы отпущения на случай народных бедствий. Захар Чернышев, не получивший никакого признания за румянцевские победы, теперь должен был нести ответственность за бесчинства Пугачева и был вовсе этому не рад: «Граф Чернышев очень встревожен и все твердит, что подаст в отставку» [7]. Через десять дней после того, как Потёмкин доставил сообщения Екатерины Чернышеву, она повысила его до подполковника Преображенского гвардейского полка, в котором сама числилась полковником. Прежде этот пост занимал Алексей Орлов, так что это назначение было знаком высочайшей милости – а также началом падения Орловых. Кроме того, Потёмкин стал командовать шестьюдесятью великолепно снаряженными кавалергардами, патрулировавшими дворец в серебряных шлемах и нагрудниках и гусарскими или казачьими отрядами, сопровождавшими карету императрицы.

Потёмкин понимал, что воевать со всеми партиями при дворе было бы чистым безумием, поэтому он стал «учтив предо всеми», как писала графиня Румянцева [8], и особенно – с Никитой Паниным [9]. Самоуверенный и ленивый Панин выглядел «более довольным», чем до появления Потёмкина. Но граф Сольмс был не склонен недооценивать его: «Боюсь только, что Потёмкин, имеющий вообще репутацию лукавого и злого человека, может «воспользоваться добротой Панина» [10].

Через Панина фаворит надеялся нейтрализовать другой опасный элемент при дворе Екатерины – наследника престола великого князя Павла, похожего на мопса педантичного пруссофила, который уже давно хотел приобрести политическую роль, достойную своего положения. Павел ненавидел графа Орлова, но нового фаворита он возненавидел еще больше, потому

что чувствовал, что Потёмкин способен навсегда отстранить его от двора. Их пути вскоре пересеклись. Павел, приверженец армейской дисциплины по прусскому образцу, натолкнулся на фаворита во время визита к матери и возмутился видом Потёмкина. «Батенька, – пишет Екатерина любовнику, – В[еликий] К[нязь] ко мне ходит по вторникам и по пятницам от 9 до 11 часов. Изволь сие держать в памяти вашей. Критики не было и, кажется, быть не может, ибо их Граф Тигорд – Ан[дрей] Раз[умовский] (друг великого князя Павла. – *Прим. авт.*) к ним ходят в таковом же наряде, и я его заставала не луче прибранным». К счастью, великий князь не застал Потёмкина в одном из его незапахнутых медвежьих халатов и с розовым платком на голове – такое одеяние встревожило бы кого угодно.

Панин попытался склонить раздраженного цесаревича на сторону «умного» Потёмкина [12]. Таким образом Потёмкин использовал Панина, который считал, что использует Потёмкина. Графиня Румянцева сообщала мужу, что приход Потёмкина изменил всю придворную политику, – и была права [13].

Потёмкин сосредоточил свое внимание на Пугачевском восстании. Двадцать второго марта, вскоре после того, как Екатерина и Потёмкин стали любовниками и политическими партнерами, генерал Александр Бибиков, перенесший свой штаб в Казань, смог победить девятитысячную армию Пугачева, сняв осаду с Оренбурга, Уфы и Яицкого городка и заставив самозванца покинуть его «столицу» Берду неподалеку от Оренбурга. Фаворит предложил назначить своего троюродного брата, Павла Сергеевича Потёмкина (сына человека, который пытался убедить отца Потёмкина, что ребенок был не его), главой Тайной комиссии в Казани, целью которой было выявить причины восстания (подозревали турок и французов) и наказать преступников. Потёмкин и Екатерина приказали Захару Чернышеву [14] призвать Павла Потёмкина с турецкого фронта. Павел Сергеевич был настоящим представителем восемнадцатого века: бравый солдат, изысканный придворный, поэт и знаток многих языков, первый переводчик Руссо на русский. Когда он оказался в Петербурге, Екатерина немедленно приказала ему отправиться к Бибикову в Казань [15]. Теперь, когда Бибиков был близок к тому, чтобы добить фальшивого Петра Третьего, а Павел Потёмкин ехал разбираться с последствиями, любовники переключились на турецкую войну.

«Что значит, матушка, артикулы, которые подчеркнуты линейками?» – нацарапал Потёмкин на проекте мирного соглашения Екатерины. Ниже – объяснение Екатерины: «Значит, что прибавлены и на них надстоять не будут, буде спор бы об них

был» [16]. С момента призвания в советники императрицы он начал совместно с ней работать над распоряжениями, которые следовало отдать фельдмаршалу Румянцеву. Сначала придворные считали, что Потёмкин пытался уничтожить прежнего начальника. Легенда утверждает, что всю свою жизнь Потёмкин невероятно завидовал тем немногим, кто был так же талантлив, как он сам. Но это было не так. «Говорили, что он не хорош с Румянцевым, – сообщал Сольмс Фридриху, – но теперь я узнал, что, напротив того, он дружен с ним и защищает его от тех упреков, которые ему делают здесь». Жена фельдмаршала также с удивлением отмечает: «Григорий Александрович столько много тебе служит, во всяком случае и, пожалуй, поблагодари его. Вчерась он мне говорил, чтобы ты к нему обо всем писал прямо» [17].

Чтобы усадить турок за стол переговоров, был нужен сильный стимул, но истощенная армия Румянцева нуждалась в подкреплениях для запланированной фельдмаршалом атаки на Дунае, а также полномочий, чтобы заключить мир прямо на месте. В конце марта Потёмкин уговорил Екатерину «дать полную мочь П.А. Румянцеву, и тем, – по ее собственному выражению, – кончилась война» [18]. Это значило, что обычная османская выжидательная тактика не сработала, так как Румянцев получил право заключить мир прямо на месте, в границах, определенных Екатериной и Потёмкиным, но без необходимости обращаться в Петербург. Десятого апреля фельдмаршал получил новые условия мира, исправленные Потёмкиным. К этому времени туркам расхотелось вести переговоры. Принятие решений в Османской империи, и без того медленное даже в лучшие времена, существенно затруднилось после смерти султана Мустафы III и восхождения на престол его осторожного брата Абдула-Гамида. Турок подстрекали к продолжению войны французы, а, возможно, и двуличные пруссаки: Фридрих, получив свою долю при разделе Польши, все еще завидовал российским приобретениям на юге. Более того, туркам на руку играло и Пугачевское восстание. Поэтому мир без войны больше был не возможен. Фельдмаршал Румянцев в очередной раз готовился перейти Дунай.

Первые шаги Потёмкина к власти заключались в том, что он стал членом Государственного совета – консультативного военного кабинета, созданного Екатериной в 1768 году. Его подъем всегда описывали как быстрый и безболезненный. Но, вопреки историческим клише, любовь императрицы вовсе не гарантировала ему реальной власти. Потёмкин считал, что он готов к работе в Совете. Мало кто был с ним согласен. Более того, все остальные члены Совета имели чин первого или второго

класса по Табели о рангах, а Потёмкин – только третий. «Я не член Совета», – говорил он французскому дипломату Дюрану. «Почему же вы не сделаетесь им?» – «Этого не желают, но я заставлю» [19]. Откровенность Потёмкина часто удивляла многих дипломатов. Для иностранных послов это был первый знак того, что Потёмкин после всего трех месяцев в постели Екатерины хотел реальной власти и собирался ее получить.

Летом, пока двор был в Царском Селе, Екатерина все еще отказывалась назначить его членом Совета. В ответ Потёмкин продемонстрировал свое плохое настроение. «В воскресенье, когда я сидел за столом рядом с ним и с императрицей, – записал Дюран, – я увидел, что он не только не разговаривает с ней, но даже не отвечает на ее вопросы. Она была вне себя, и все мы в большом смущении. Молчание нарушил шталмейстер [Лев Нарышкин], но и тому не удалось оживить беседу. Встав из-за стола, императрица удалилась и потом вернулась с заплаканным лицом» [20]. Добился ли Потёмкин своего? «Миленький, – пишет императрица пятого мая, – как ты мне анамесь говорил, чтоб я тебя с чем-нибудь послала в Совет сегодня, то я заготовила записку, которую надлежит вручить Кн[язю] Вяземскому. И так, естьли итти захочешь, то будь готов в двенадцать часов или около того. А записку и с докладом Казанской Комиссии при сем прилагаю» [21]. Эта записка, в которой Потёмкина просят принять участие в обсуждении Тайной комиссии, созданной для расследования и наказания участников Пугачевского восстания, звучит обыденно, но на самом деле Екатерина приглашала Потёмкина присоединиться к Совету. Потёмкин демонстративно доставил записку генерал-прокурору Вяземскому и сел во главе стола: покидать его он не собирался. «Ни в одной другой стране, – сообщал Ганнинг в Лондон на следующий день, – фавориты не возвышаются так быстро. К величайшему удивлению членов Совета, генерал Потёмкин занял место среди них» [22].

К этому времени Тайная комиссия в Казани раскрыла «заговор» с целью убийства Екатерины в ее летней резиденции, Царском Селе: при допросе сообщник Пугачева признался, что убийцы уже в пути. Потёмкин отправил Вяземского узнать подробности дела, на что Екатерина смело ответила: «Я думаю, что гора родит мышь» [23]. Потёмкин переживал, но оказалось, что история, вероятно, была выдумана при допросе – еще одна причина, по которой Екатерина была против российской привычки бить подозреваемых кнутом. Сама она находилась слишком далеко, чтобы запретить Комиссии пытать бунтовщиков, хотя и пыталась убедить Бибикова делать это как можно реже [24].

Тридцатого мая Потёмкин был повышен до генерал-аншефа и вице-президента Военной коллегии. Легко забыть, что пока шла сложная битва фракций при дворе императрицы, Потёмкин и Екатерина продолжали наслаждаться первыми прекрасными месяцами своей любви. Возможно, в тот же день, когда было объявлено о повышении, императрица отправила Потёмкину записку, написанную в ребячливом и любвеобильном тоне: «Генерал, любите ли Вы меня? Я очень любить Генерала» [25]. Ганнинг пишет, что военный министр Чернышев был уязвлен настолько, что не захотел оставаться дальше на своей должности [26]. Он ушел со своего поста и стал губернатором белорусских провинций, полученных по время первого раздела Польши. Так закончился фракционный кризис, начавшийся за два года до падения князя Орлова.

Почести, новые задачи, новые крепостные, новые поместья и богатства текли к Потёмкину рекой. Тридцать первого марта он был назначен генералом-губернатором Новороссии, обширной южной провинции, граничившей с Крымским ханством и Османской империей, а двадцать первого июня сделался главнокомандующим иррегулярных войск, в частности, своих обожаемых казаков. Сложно представить, насколько богатым сделался Потёмкин.

У него было намного больше денег, чем у родителей в его детстве, проведенном в Чижове, и даже больше, чем у дяди в Москве. В то время пехотинец из крестьян получал около семи рублей в год, офицер – около трехсот. Потёмкин регулярно получал на свои именины, по праздникам и за помощь с каким-либо проектом в подарок по сто тысяч рублей. Он получал по триста рублей в месяц на карманные расходы. Во всех дворцах он жил бесплатно, и за то, что его обслуживали люди императрицы, он тоже не платил. Говорят, что первого числа каждого месяца на своем туалетном столике он находил по 12 000 рублей, но, скорее всего, как свидетельствовал Васильчиков, Екатерина просто давала ему огромные суммы денег тогда, когда ей хотелось. Потёмкин тратил деньги так же легко, как получал их. С одной стороны, его это смущало, с другой – он постоянно требовал больше. Но при этом ни его доход, ни его экстравагантность пока не достигли предела. Дело еще до этого не дошло. Очень скоро, впрочем, окажется, что он не знает предела ни в чем [27].

Екатерина позаботилась, чтобы Потёмкин получил столько российских наград, сколько было возможно – повышая таким образом его статус до собственного. Монархи любили получать иностранные медали для своих фаворитов. Иностранные государи не стремились раздавать награды кому попало – особенно

любовникам цареубийц, захвативших трон. Но несмотря на это, если весомых причин для отказа не было, они все же уступали. Переписка между монархами и российскими послами относительно вручения орденов – увлекательнейшее чтение, содержащее невероятно вежливые, практически зашифрованные эвфемизмы, бывшие языком придворной дипломатии. «Миленький, здравствуй… – приветствовала Екатерина Потёмкина. – Что встала, то послала к Вице-канцлеру по ленты, написав, что они для Ген[ерал]-Пор[учика] Пот[емкина], после обедни и надену на него. Знаешь ли его? Он красавец, да сколь хорош, столь умен. И сколь хорош и умен, столь же меня любит и мною любим совершенно наравне» [28]. В этот день он получил русский орден Св. Александра Невского и польский орден Белого орла, присланный королем Станиславом Августом. Эти ордена были престижными, хотя аристократы и рассматривали их как должное: одна из трогательных черт Потёмкина – его детское увлечение медалями. Очень скоро в его коллекцию попали петровский орден Андрея Первозванного, Фридрих II прислал ему прусского Белого орла; Дания – Белого слона; Швеция – Св. Серафима. Но Людовик XVI и Мария Терезия отказали в орденах Св. Духа и Золотого руна, сказав, что они предназначены только для католиков. Георг III был шокирован, когда русский посол в Лондоне передал ему просьбу об ордене Подвязки для Потёмкина [29].

«Она, кажется, хочет доверить ему бразды правления», – сообщал Ганнинг в Лондон. Произошло невероятное: Потёмкин стал начальником графа Орлова. Этого иностранные послы так оставить не могли. Они привыкли к Орловым и не верили, что те не смогут вернуться к власти в любую минуту. Орловым в это тоже не верилось.

Граф Орлов ворвался к Екатерине второго июня. Это был тревожный звонок даже для императрицы. «Говорят, – пишет хорошо осведомленный Ганнинг, – что результатом ‹…› было больше, чем объяснение, и что горячий спор имел место по этому случаю между князем и Императрицей». Князь Орлов всегда отличался хорошим характером, но был опасно вспыльчив. Когда он давал волю своему темпераменту, это было очень страшно. Екатерина назвала его дураком и была огорчена его словами. Но и с ним она могла справиться: он согласился снова поехать за границу. Ее это уже не волновало. У нее был Потёмкин: «Прощайте, друг мой. Завтра пришлите сказать мне, как вы себя чувствуете. Я очень скучаю без вас» [30].

Девятого июня Румянцев переправился с двумя корпусами через Дунай, решительно напал на турок и разгромил их

основные силы у Козлуджи. Османский великий визирь оказался отрезан от дунайских фортов. Русская кавалерия стала двигаться на юг, мимо Шумлы, в сегодняшнюю Болгарию.

Екатерина и Потёмкин огорчились, узнав, что от лихорадки внезапно скончался победитель Пугачева, Бибиков, но казалось, что восстание уже позади, поэтому они назначили его преемником весьма посредственного кандидата – князя Федора Щербатова. Но внезапно в начале июля Екатерине сообщили, что Пугачев, несмотря на поражение, снова собрал армию. Она отстранила Щербатова и назначила другого генерала – князя Петра Голицына: «При сем, голубчик, посылаю и письмо, мною заготовленное к Щербатову. Изволь поправить, а там велю прочесть в Совете подписанное, – оптимистично пишет императрица Потёмкину. – Это будет не в глаз, но в самую бровь» [32].

Двадцатого июня турки запросили мира: обычно это означало подписание мирного договора, проведение конгресса и многомесячных переговоров, из-за которых не вышло подписать предыдущее мирное соглашение. Именно в этот момент совет Потёмкина «дать полную мочь» Румянцеву принес свои плоды – фельдмаршал разбил лагерь в болгарской деревне Кючук-Кайнарджи и сообщил туркам, что либо они подпишут мирный договор, либо он снова начнет военные действия. Османы начали переговоры, новостей о мирном договоре ждали со дня на день, Екатерина воспрянула духом. Все шло хорошо.

Возобновление Пугачевского бунта в середине июля стало неожиданны ударом для Екатерины. Одиннадцатого июля Пугачев объявился в древнем и стратегически важном городе Казани с армией в 25 000 человек. Пугачев, которого считали побежденным, оказался вовсе не побежден, хотя его и преследовал человек, сыгравший важнейшую роль в подавлении бунта, неутомимый и мудрый подполковник Иван Михельсон. Казань находилась всего в 93 милях от Нижнего Новгорода, а тот – всего в сотне миль от самой Москвы. Старый татарский город, завоеванный Иваном Грозным в 1552 году, насчитывал 11 000 жителей и в основном был построен из дерева. Генерал Павел Потёмкин, только что назначенный управлять Тайной комиссией в Казани и Оренбурге, прибыл в Казань девятого июля, за два дня до Пугачева. Старый губернатор был болен. Павел Потёмкин принял командование, но у него было лишь 650 пехотинцев и 200 ненадежных чувашских всадников, поэтому он заперся в крепости. Двенадцатого июля Пугачев взял Казань штурмом, мятежники буйствовали в городе с шести утра до полуночи. Любой, кто носил «немецкое платье» или был безбород, был

обречен, а женщин в «немецких платьях» доставляли в лагерь к самозванцу. Город сгорел дотла, Пугачев ушел, так и не взяв крепость, где сидел Павел Потёмкин, на помощь которому спешил Михельсон.

Поволжье было охвачено крестьянским бунтом. Дела оборачивались даже хуже, чем раньше: бунт начался всего лишь как казацкое восстание, теперь же он превратился в яростную классовую войну, подобную Жакерии, охватившей в 1358 году север Франции. Во время Жакерии крестьяне убивали землевладельцев. Режим мог столкнуться с тем, что миллионы крепостных начали бы убивать своих хозяев. Это угрожало не только Екатерине, но и всей империи. Фабричные рабочие, крестьяне и 5 000 башкирских конников встали под знамя самозванца. Целые деревни начали примыкать к восстанию. По стране бродили банды беглых крепостных. Бунтующие казаки скакали от деревни к деревне, поднимая крестьян на бунт[31]. Двадцать первого июля новость о падении Казани дошла до Екатерины в Петербурге. Власти центральных регионов начали паниковать. Пойдет ли Пугачев на Москву? [33]

На следующий день императрица провела экстренное собрание Совета в Петергофе. Она объявила, что поедет прямо в Москву, чтобы спасти империю. Совет встретил это сообщение молчанием. Никто не отважился возразить. Члены Совета были взволнованы и не знали, что делать. Ошеломлена была и сама Екатерина – сдача Казани заставила ее почувствовать себя уязвимой. Она не скрывала своих чувств, что было на нее непохоже. Некоторые из ее приближенных, особенно граф Орлов и братья Чернышевы, были крайне недовольны возвышением Потёмкина и возвращением Панина.

Совет поразило желание Екатерины ехать в Москву. Молчание его членов в полной мере отражало глубину их «бессловесной подавленности». Екатерина обратилась к своему старшему министру, Никите Панину, и спросила, что он думает о ее идее. «Мой ответ был, – писал он своему брату генералу Петру Панину, – что не только не хорошо, но и бедственно в рассуждении целостности всей Империи», потому что показало бы страх властей перед мятежниками. Екатерина с жаром начала отстаивать преимущества своего путешествия в Москву. Потёмкин поддерживал ее. Возможно, идея поехать в Москву принадлежала именно ему, потому что, будучи самым русским из всех этих вельмож, в опасный для отечества момент он инстинктивно представлял Москву древней православной столицей. В то же время он мог соглашаться с императрицей просто потому, что он слишком недолго находился при дворе, чтобы рисковать и

противоречить Екатерине.

Реакция большинства членов Совета была почти комичной: граф Орлов отказался высказывать свое мнение, как ребенок, притворившись, что ему нехорошо, и сказав, что он плохо спал и никаких идей у него нет. Кирилл Разумовский и фельдмаршал Александр Голицын, пара «дураков», не могли найти и двух слов. Захар Чернышев «трепетал между фаворитами» – Орловым и Потёмкиным – и «полслова два раза вымолвил». Было решено, что на Волге нет никого, кто обладал бы каким бы то ни было военным весом, чтобы противостоять Пугачеву: требовалась «знаменитая особа». Но кто? Орлов отправился спать, а расстроенный Совет не пришел ни к какому решению, кроме как ждать новостей о турецком мирном договоре [34].

Идея пришла в голову Никите Панину. После ужина он отвел Потёмкина в сторону и предложил, чтобы «знаменитой особой», которая спасла бы Россию, стал не кто иной, как его брат, генерал Петр Иванович Панин. Это имело под собой основания: тот был прославленным военным генералом, обладавшим необходимым аристократическим происхождением, способным смягчить страхи помещиков. Он уже находился в Москве. Но существовала одна проблема. Он был грубым и надменным снобом и брюзгой, для которого, кажется, и изобрели слово «солдафон». Даже для российского солдата восемнадцатого века многие из его суждений были абсурдными: он педантично относился к привилегиям дворянства и мелочам военного этикета и твердо верил, что царем может быть только мужчина. Этот строгий поборник дисциплины и самоуверенный тиран мог появиться в приемной своего штаба в серой атласной ночной рубахе и высоком французском колпаке с розовыми завязками [35]. Екатерина не выносила его, не доверяла ему и даже установила за ним тайный надзор.

Поэтому Никита Панин не осмелился говорить о своем брате перед всем Советом и осторожно обратился к Потёмкину, который отправился прямиком к императрице. Вероятно она вспылила от одного упоминания его имени. Но, видимо, Потёмкину удалось убедить ее, что в ситуации, когда колеблется даже ее ближайшее окружение, выбора у них нет. Она согласилась. Когда Никита Панин обратился к ней позднее, императрица скрыла свои настоящие чувства и, использовав свой актерский талант, любезно подтвердила, что хочет, чтобы Петр Панин взял на себя высшее командование волжскими губерниями и «спас Москву и внутренние части империи». Никита Панин тут же написал брату [36].

Панины установили почти что государственный переворот,

заставив Екатерину смириться с унижением от того, что ненавидимый ей Петр Панин спасал Европу. В каком-то смысле теперь они представляли для нее чуть ли не меньшую опасность, чем сам Пугачев. Любовникам пришлось проглотить эту горькую пилюлю, и теперь ее надо было чем-то запить. Самый темный час всегда перед рассветом – Панины потребовали огромной власти, практически равной императорской, генерал хотел управлять всеми городами, судами и Тайными комиссиями в четырех огромных губерниях, охваченных Пугачевским бунтом, всеми военными силами (за исключением Первой армии Румянцева, Второй армии, оккупировавшей Крым, а также отдельных частей, стоявших в Польше), кроме того, он хотел получить право выносить смертные приговоры. «Увидишь, голубчик, – писала Екатерина Потёмкину, – из приложенных при сем штук, что Господин Граф Панин из братца своего изволит делать властителя с беспредельной властию в лучшей части Империи». Она же не намерена, «побоясь Пугачева, выше всех смертных в Империи хвалить и возвышать ‹…› пред всем светом первого враля и [ей] персонального оскорбителя». Потёмкин взял переговоры с Паниными и управление подавлением восстания на себя [37].

Екатерина и Потёмкин не знали, что до того, как Казань пала, Румянцев подписал крайне выгодное перемирие с турками – Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Вечером 23 июля два курьера, один из которых был родным сыном Румянцева, прискакали с новостью в Петергоф. Настроение Екатерины тут же сменилось с отчаяния на бурную радость. «Я сей день почитаю из щастливейших в жизни моей», – сообщила она московскому главнокомандующему [38]. Договор давал России выход к Черному морю, к ней переходили Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн, а также узкая полоска побережья между реками Днепр и Буг. Российские торговые суда могли ходить проливами в Средиземное море. Можно было строить Черноморский флот. Крымское ханство получало независимость от османского султана. Этот успех открыл дорогу дальнейшим достижениям Потёмкина. Екатерина приказала устроить пышное торжество. Через три дня двор переехал в Ораниенбаум, чтобы отпраздновать победу.

Это позволило Потёмкину укрепить свою позицию при переговорах с Паниным, который с нетерпением ждал в Москве подтверждения диктаторских полномочий. Дожившие до нашего времени черновики, описывающие эти полномочия, показывают, что и Екатерина, и Потёмкин были одинаково рады возможности приструнить генерала. Они явно не спешили – теперь Никита

Панин понимал, что мог и заиграться: «Я с первого дня приметить мог, что… употребление тебя к настоящему твоему делу… сочтено внутренно крайним и чувствительным себе уничижением». Панины Потёмкина не жаловали: «он ничего не внемлет или внимать не хочет, а все решит дерзостию своего ума» [39].

Когда Потёмкин писал Панину несколько дней спустя по приказу Екатерины, он не преминул добавить со всей «дерзостью», что это назначение состоялось только благодаря его усилиям перед императрицей: «Я совершенно уверен, что Ваше Превосходительство рассмотрит мои действия как знак расположения к себе» [40]. Генерал Панин получил приказ второго августа – он назначался командующим войсками, уже сражавшимися против Пугачева, и получал власть над Казанью, Оренбургом и Нижним Новгородом. В Казани у Потёмкина все еще находился кузен Павел Сергеевич, который мог противодействовать всесилию Панина и поделить с ним власть. Задачей Панина было разгромить силы Пугачева; Павел Потёмкин должен был арестовать, допросить и наказать самозванца. Не все члены Совета понимали, что Петр Панин не может стать «диктатором»: когда Вяземский предложил поместить Тайную комиссию Павла Потёмкина под управление Панина, он получил от императрицы лаконичное послание: «Нет, для того, что оная подо мною» [41].

Последние новости с Волги еще сильнее ослабили положение Паниных. Оказалось, что после сдачи Казани Михельсон Пугачеуже несколько раз разбил Пугачева, так что новость о разгроме, сообщенная Совету в Петербурге, к тому времени уже устарела. Пугачев вовсе не двигался на Москву, он отступал на юг. Политический кризис для Екатерины миновал. Двадцать седьмого июля в Ораниенбауме началось совместное с представителями дипломатического корпуса празднование победы над турками. Однако императрица с тревогой следила за беспокойной обстановкой на Волге.

Всегда было сложно сказать, бежит Пугачев или наступает. Даже его бегство напоминало наступление. За ним устремлялись бедные крестьяне, ему сдавались города, горели поместья, летели головы, звенели колокола. В Нижнем Поволжье города продолжали переходить на его сторону. Кульминации ситуация достигла шестого августа, когда был сдан Саратов, где священники присягнули на верность не только Пугачеву, но и его жене, что еще больше подчеркивало его самозванство. Были повешены двадцать четыре помещика и двадцать один чиновник. Но Пугачев делал то, что делает любой загнанный в угол

преступник: бежал домой, на Дон.

Однако и победители не ладили друг с другом: Петр Панин и Павел Потёмкин были одинаково высокомерны и агрессивны и мешали друг другу где только могли, используя свои связи в Петербурге. Именно поэтому Потёмкин и разделил между ними обязанности.

Пугачев добрался до Дона, а затем до Царицына[32] и на собственном опыте убедился, что самозванцев не жалуют даже на родине. Когда он вел переговоры с донскими казаками, те поняли, что «Петр Третий» – это человек, которого они помнят как Емельяна Пугачева. Они отказались идти за ним. С Пугачевым оставалось десять тысяч повстанцев. Он бежал вниз по реке и был арестован собственными людьми. «Вы хотите изменить своему государю?» – воскликнул он, но тщетно. «Анператор» уже утратил свою власть. Его передали российским силам в Яицком городке, именно там, где восстание началось год назад. На Нижней Волге было слишком много сильных и амбициозных военных – Павел Потёмкин, Панин, Михельсон, Александр Суворов, – и между ними разгорелась склока за право считаться поимщиком «злодея», хотя на самом деле этого не сделал никто из них. Суворов доставил Пугачева Петру Панину, который запретил Павлу Потёмкину допрашивать его [42]. Как маленькие дети, рассказывающие небылицы учителю, они с августа по декабрь писали донесения в Петербург. Часто их противоречившие друг другу письма приходили в один день [43]. Теперь, когда кризис миновал и власти любовников ничего не угрожало, Екатерина и Потёмкин отчасти возмущались, а отчасти развлекались этими препирательствами. «Голубчик, – писала императрица в сентябре, – Павел прав: Суворов тут (в поимке Пугачева. – *Прим. авт.*) участия более не имел, как Томас (собачка императрицы. – *Прим. авт.)*, – а приехал по окончании драк и по поимке злодея». Потёмкин выражал общее мнение в письме к Петру Панину: «Мы все исполнены радостью, что наконец покончено с бунтовщиком» [44].

Петр Панин держал добычу в зубах, даже убил нескольких свидетелей. Когда добрался до самозванца, который когда-то служил под его командованием при Бендерах, он ударил его по лицу и заставил преклонить колено. Он повторял это для каждого, кому было интересно, за исключением Павла Потёмкина, который и должен был допрашивать преступника [45]. Екатерина и Потёмкин почти разрубили этот Гордиев узел, распустив Комиссию в Казани, чтобы создать Особую комиссию при Тайном департаменте Сената в Москве для суда над Пугачевым. В комиссию назначили Павла Потёмкина [46] – но не

Панина. Разумеется, Потёмкин защищал интересы своего кузена, а также свои собственные, потому что Екатерина писала ему: «Я надеюсь, что все распри и неудовольствия Павла кончатся, как получит мое приказание ехать к Москве… – И посреди разговора о политике добавляла: – А я, миленький, очень тебя люблю и желаю, чтоб пилюли очистили все недуги. Только прошу при них быть воздержан: кушать бульон и пить чай без молока» [47].

Петр Панин, согласно одному современному историку, «теперь украшал деревенскую Россию лесом виселиц» [48]. В циркуляре, который Екатерина не одобрила, Петр Панин предлагал объявить, что убийцы представителей властей и их сообщники будут преданы смерти через отрубание рук, ног и головы, а их тела положены на площадях. Деревням, где были совершены убийства, предписывалось выдать виновных, из которых каждого третьего ждала виселица; при отказе выдавать виновных каждого сотого мужика следовало вешать за ребра, а прочих пороть.

Панин хвастался Екатерине, что он «приемлет с радостью пролитие проклятой крови государственных злодеев на себя и на чад [своих]» [49]. Он уточнял, что повешение за ребра проводилось при помощи специальной давно забытой виселицы – глаголи, выполненной в форме буквы «Г» с длинной перекладиной, которой осужденные подвешивались на металлических крюках [50]. Екатерина была против такого ужасного способа казни, считая, что в Европе этого не оценят, но Панин уверял, что подобные меры нужны для устрашения. Виселицы с разлагающимися телами казненных повстанцев ставили на плоты и пускали вниз по Волге. На самом деле казнено было не так много преступников, как можно было бы ожидать, хотя наверняка приговоры неоднократно оказывались чересчур суровыми. Официально были казнено всего 324 человека, в том числе отступники из числа духовенства и помещиков, что, учитывая размах восстания, можно сравнить с масштабом репрессий после битвы при Куллодене в 1745 году [51].

Яицкое казачье войско, где началось восстание, было распущено и переименовано. Предваряя советскую традицию называть места в честь правящей верхушки, Екатерина приказала переименовать станицу Зимовейскую [52] на берегу Дона, откуда Пугачев был родом, и дать ей название Потёмкинская, покрыв, по словам Пушкина «мрачные воспоминания о мятежнике славой имени нового, уже любезного ей и Отечеству» [53].

«Нечестивца» доставили в Москву в начале ноября в специально сконструированной железной клетке, как дикого

зверя. Разъяренные москвичи лелеяли надежду на особо кровавую казнь. Это беспокоило Екатерину, которая знала, что Пугачевский бунт уже успел нанести чувствительный удар по ее репутации просвещенного монарха.

Екатерина и Потёмкин тайно согласились сократить жестокость наказания – что достойно восхищения в то время, когда в Англии и Франции казни преступников оставались невероятно жестокими. Генерал-прокурор Вяземский был послан в Москву, а вместе с ним и секретарь Сената Шешковский, умелый палач, который, как сообщил Екатерине Павел Потёмкин, «имеет особый дар допрашивать простолюдинов». Тем не менее Пугачева не пытали [54].

Екатерина наблюдала за судом так пристально, как только могла. Она отправила Потёмкину свой «Манифест» о Пугачеве, чтобы тот прочитал его, если ему позволяет здоровье. Ипохондрик не ответил, поэтому императрица, которая явно нуждалась в его одобрении, отправила новую записку: «Изволь читать и сказать нам о сем, буде добро и буде недобро». Вечером того же дня или, возможно, на следующий день, она выказывает свое нетерпение: «Превозходительный Господин, понеже двенадцатый час, но не имам в возвращении окончания Манифеста, следственно, не успеют его переписывать, ни прочесть в Совете […] буде начертания наши угодны, просим о возвращении. Буде неугодны – о поправлении». Вероятно, Потёмкин и правда был болен или занят подготовкой торжеств в Москве. «Душа милая, ты всякий день открываешь новые затеи» [55].

Суд начался 30 декабря в Большом Кремлевском дворце. Второго января 1775 года Пугачева приговорили к четвертованию и обезглавливанию. В России в приговор не входило потрошение заживо, это было прерогативой англичан. Однако четвертование предполагало, что все четыре конечности человека отрубались, пока он был жив. Москвичи с воодушевлением ожидали ужасного действа. Екатерине же это не нравилось. Она писала Вяземскому, что не желает быть жестокой. Двадцать первого декабря императрица сообщала Гримму, что «через несколько дней фарс маркиза Пугачева завершится. Когда вы получите это письмо, можете быть уверены, что более никогда не услышите об этом господине» [56].

Декорация для последней сцены «фарса маркиза Пугачева» была приготовлена на Болотной площади подле Кремля. Десятого января 1775 года там собралась огромная толпа, желавшая увидеть казнь «чудовища». Пугачева, «одетого во все черное», привезли «на повозке наподобие золотарской», в которой он был

привязан к столбу. С ним ехали два священника, сзади стоял палач. На плахе сверкали два топора. На спокойном лице Пугачева «не было видно и тени страха». «Чудовищный» Пугачев поднялся на эшафот, разделся и лег, вытянув руки и ноги и ожидая палача.

Произошло «нечто странное и неожидаемое». Палач взмахнул топором и в нарушение приговора отсек Пугачеву голову без четвертования. Возмущены были не только судьи, но и толпа. Кто-то, вероятно, один из судей, выносивших приговор, начал угрожать палачу. Другой «чиновник вдруг на палача с сердцем закричал: “Ах сукин сын! что ты это сделал! – и потом: – Ну, скорее – руки и ноги!”» Свидетели говорили, что «за такую ошибку» палачу самому «вырвут язык». Палач не обращал ни на кого внимания и приступил к четвертованию трупа, а затем отрезал языки и вырвал ноздри остальным преступникам, избежавшим смертной казни. Части тела Пугачева выставили на шесте в середине эшафота. Голову надели на железную пику и выставили на всеобщее обозрение [57]. Пугачевщина закончилась.

В последние дни кризиса Екатерина писала Потёмкину: «Душатка, cher Epoux, изволь приласкаться. Твоя ласка мне и мила и приятна […] Безценный муж…»

9. Венчание: госпожа Потёмкина

Красавец мой миленький, на которого ни единый король непохож.

Екатерина II – Г.А. Потёмкину

Екатерина и Потёмкин договорились о тайной встрече, которая, должно быть, наполняла их сердца торжеством и беспокойным ожиданием. Чктвертого июня 1774 года императрица находилась в Царском Селе, пытаясь восстановить силы после гневной беседы с князем Орловым. Потёмкин был в это время в городе и получил от нее следующее загадочное письмо: «Батинька, я завтра буду и те привезу, о коих пишете. Да Фельдм[аршала] Голицына шлюбки велите готовить противу Сиверса пристани, буде ближе ко дворцу пристать нельзя» [1]. Александр Голицын, первый военный командир Потёмкина, был генерал-губернатором столицы и на этом основании имел собственную лодку, а граф Яков Сиверс владел пристанью на Фонтанке, рядом с Летним дворцом.

Пятого июня Екатерина вернулась в Петербург, как и обещала Потёмкину. На следующий день, в пятницу, она пригласила узкий круг приближенных отобедать в маленьком саду Летнего дворца – вероятно, чтобы попрощаться с отъезжавшим за рубеж князем Орловым. В воскресенье восьмого июня Екатерина и Потёмкин присутствовали на обеде в честь Измайловского гвардейского полка: тосты сопровождались пушечными залпами, кушанья подавались в парижской серебряной посуде, а слух услаждали итальянские певцы. После этого Екатерина прогулялась по набережной Фонтанки до особняка графа Сиверса [2].

В полночь императрица отчалила на лодке от Летнего дворца и отправилась на загадочную прогулку по Фонтанке. Она часто посещала своих придворных, чьи особняки стояли вдоль Невы или на петербургских островах. Но это был иной случай. Прогулка была чрезвычайно поздней для женщины, которая в 11 часов вечера уже предпочитала лежать в постели. Он выехала тайно, вероятно, скрыв лицо под капюшоном [3]. Считается, что с ней не было никого, кроме верной прислужницы Марьи Саввишны Перекусихиной. Генерал-аншеф Потёмкин, сопровождавший ее на протяжении всего дня, отсутствовал – он скрылся с людских глаз на закате и сел в поджидавшую его лодку, которая унесла его по туманной реке.

Шлюпка Екатерины проплыла по Фонтанке мимо садов Летнего дворца, вышла в Неву и направилась к невзрачной Выборгской стороне. Затем она причалила к одной из скромных пристаней на Малой Невке. Императрица забралась в неприметную карету с зашторенными окнами. Как только императрица и Марья Саввишна оказались внутри, форейторы хлестнули лошадей, и карета помчалась к церкви Святого Сампсония Странноприимца. Кругом не было ни души. Дамы вышли из кареты и вошли в церковь. Этот деревянный храм был построен Петром Великим в честь победы в Полтавской битве и выдержан в непривычном для Петербурга украинском стиле (в 1781 году на его месте построили каменную церковь). Он особенно выделялся своей высокой колокольней, покрашенной в сиреневый, белый и зеленый [4].

Внутри церкви уже зажгли свечи, и Екатерина увидела Потёмкина. «Первый ногтегрыз в Российской империи» наверняка успел искусать пальцы до крови. Уехав с торжественного обеда в честь Измайловского гвардейского полка, они оба были «в полном обмундировании». Потёмкин – в униформе генерал-аншефа: зеленый мундир с красным воротником и золотой тесьмой, красные брюки, высокие сапоги, меч и шляпа с золотыми полями и белыми перьями. Что касается Екатерины, то из камер-фурьерского журнала мы узнаем, что в этот день она была облачена в «удлиненный полковой гвардейский мундир», «украшенный золотой тесьмой таким образом, чтобы женщине было удобно ездить верхом» [5]. Теперь Екатерина могла снять плащ с капюшоном и отдать прислужнице, зная, как эффектно она выглядит в своем мундире. Возможно, этот наряд напомнил им обоим тот день, когда они впервые увидели друг друга.

Кроме них в церкви были еще трое: священник, оставшийся безымянным, и двое свидетелей. Свидетелем Екатерины выступал Евграф Александрович Чертков, со стороны Потёмкина присутствовал его племянник Александр Николаевич Самойлов, который зачитывал строки из Нового Завета. Когда Самойлов дошел до слов «Жена да убоится мужа своего», он запнулся и взглянул на императрицу. Могла ли государыня убояться своего супруга? Екатерина кивнула, и он продолжил чтение [6]. Затем священник начал церемонию венчания. Самойлов и Чертков держали венцы над головами жениха и невесты. Когда долгая церемония подошла к концу, присутствующим вручили по экземпляру брачных документов, и все поклялись сохранить произошедшее в секрете. Потёмкин стал тайным супругом Екатерины II.

Такова легенда о тайном венчании Екатерины и Потёмкина.

Весомых доказательств их женитьбы не сохранилось, но вероятнее всего они все же были обвенчаны. Так или иначе, тайные браки царственных особ всегда были предметом обсуждения и мифотворчества. В России много судачили о возможной свадьбе императрицы Елизаветы и Алексея Разумовского, а в Англии через несколько лет после описываемых событий принц Уэльский, будущий король Георг IV, тайно женился на мисс Фицгерберт, однако до сих пор доподлинно не известно, был ли брак законным.

Существует много разных версий произошедшего: то ли они обвенчались в Москве в следующем году, то ли в Петербурге в 1784 или в 1791 [7]. Легенда о московской свадьбе повествует, что церемония прошла в храме Большого Вознесения у Никитских ворот, красивой желтой церкви с огромным куполом, недалеко от дома, где жила мать Потёмкина. Позднее церковь была облагорожена на деньги Потёмкина [8] в память о его матери и сегодня более известна как место венчания А.С. Пушкина и Натальи Гончаровой 18 февраля 1831 года (это одно из многих обстоятельств, связывавших поэта с Потёмкиным)[33].

Тайное бракосочетание вполне могло произойти в любой из других дней во время их романа, и свидетельства о нем могли быть скрыты среди отчетов о повседневных делах. Однако вышеуказанные дата и место наиболее вероятны. В письме Екатерина явно намкает на некое секретное мероприятие и упоминает пристань Сиверса. Камер-фурьерский журнал от восьмого июня сообщает, что она прибыла на эту пристань и затем отчалила от нее, и в вечернем расписании императрицы вполне находится время для загадочной прогулки на лодке. Все устные легенды, рассказанные свидетелями церемонии и их потомками и записанные профессором П.И. Бартеневым в XIX веке, упоминают церковь Святого Сампсония, середину или конец 1774 года и одни и те же имена четырех очевидцев. Но где же брачные записи? Бумаги Потёмкина, вероятно, унаследовала его любимая племянница Александра Браницкая. Она поведала секрет своему зятю Михаилу Воронцову и завещала документ дочери, княгине Елизавете. Граф Орлов-Давыдов припоминал, что как-то раз посетил графа А.Н. Самойлова, а тот показал ему пряжку с драгоценным камнем и сказал, что получил этот подарок от императрицы на память о ее венчании с его почившим дядюшкой. Экземпляр брачных бумаг, принадлежавший Самойлову, был похоронен вместе с ним, если верить свидетельству его внука графа А.А. Бобринского. След экземпляра Черткова безвозвратно утерян.

Пропажа документов и строгая секретность не обязательно

должны вызывать у нас сомнение, поскольку никто не решился бы упоминать об этом браке во время сурового и воинственного правления следующих императоров (Павла, Александра I или Николая I), а также и после них. «Викторианских» Романовых смущали любовные похождения Екатерины, поскольку, порождая вопросы об отцовстве Павла, они могли поставить под сомнение легитимность их власти. В 1870-е годы профессор Бартенев был вынужден просить императорского дозволения, чтобы заняться исследованиями, и не мог опубликовать результаты своей работы до 1906 года: лишь в промежутке между двумя революциями 1905 и 1917 года, когда монархия была на последнем издыхании, Николай II позволил выпустить эту книгу [9].

Самое убедительное доказательство венчания мы видим в самом характере их союза: как Екатерина обращается к нему в письмах, как он ведет себя, как описывают их отношения приближенные. Она порой подписывается «женой», а его называет «дорогим супругом» по меньшей мере в двадцати двух письмах, а в сотнях других писем – «владыкой» или «государем» [10]. «Умру, буде в чем переменишь поступок; милой друг, нежный муж» [11] – вот одно из первых упоминаний этого обращения в их любовной переписке. «Батинька, Ch[er] Ep[oux][34]. ‹…› Я послала Кельхен грудь твою лечить и люблю тебя очень, мой бесценный друг», – пишет она [12]. Екатерина называет племянника Потёмкина «*наш* племянник» [13] [курсив авт.]. В отличие от простых смертных монархи имеют очень четкое представление о том, кто является членом их семьи, а кто нет. До самой своей смерти Екатерина относилась к родственникам Потёмкина как к своим собственным, тем самым даже породив слухи о том, что его племянница Браницкая была ее дочерью [14]. Наиболее откровенное ее письмо ориентировочно датируется началом 1776 года:

«Владыко и *Cher Epoux* {дорогой супруг (*фр.*)}! ‹…› Для чего более дать волю воображению живому, нежели доказательствам, глаголющим в пользу *твоей жены? Два года назад была ли она к тебе привязана Святейшими узами?* ‹…› Верь моим словам, люблю тебя и *привязана к тебе всеми узами. Теперь сам личи: два года назад были ли мои слова и действия в твоей пользы сильнее, нежели теперь?*» [15] [Курсив авт.]

Как они оба и надеялись, супружество их сблизило. Вероятно, оно успокоило влюбленного Потёмкина, который страдал от ревности и шаткости своего положения и желал большей независимости в своих действиях. Он был не только распутным, но и набожным, и его религиозные доводы, возможно, смогли убедить Екатерину. На ее взгляд брак мог показаться слишком

скоропалительным шагом, ведь их роман длился всего несколько месяцев, но, как говорится, если встречаешь свою вторую половину, все доводы рассудка излишни. К тому же Екатерина была знакома с Потёмкиным уже двенадцать лет и хорошо его знала. Они были не только страстными любовниками, но и, по словам самой Екатерины, родственными душами. Наконец ей удалось отыскать достойного партнера, не уступавшего ей интеллектом, с которым можно было разделить и тяготы правления, и семейный уют.

Независимо от того, были они обвенчаны или нет, Екатерина в любом случае всю жизнь относилась к Потёмкину как к законному супругу. Что бы он ни совершил, она не лишала его власти; с ним обращались как с членом императорской семьи, и он имел неограниченный доступ к государственной казне и свободу принимать собственные решения. Ему была свойственна непоколебимая уверенность, даже безрассудство, и он вел себя как царственная особа.

Иностранные послы начали что-то подозревать: один дипломат узнал от лица, «внушающего доверие», что у потёмкинских «племянниц имелось свидетельство» [16], но в те времена почтение перед монаршими особами было столь велико, что послы опасались употреблять слово «брак» в письмах и передавали слухи лишь устно, вернувшись к своему королю. Так, в декабре 1788 года французский посланник граф де Сегюр писал в Версаль, что Потёмкин «часто злоупотребляет… священными и ненарушимыми правами», основание которых – «великая тайна, *известная только четырем человекам* в России: случай открыл ее мне, и если мне удастся вполне увериться, я оповещу короля при первой возможности» [17] [курсив авт.]. Его Христианнейшее Величество Людовик XVI уже был в курсе: в октябре он пишет письмо своему министру иностранных дел графу де Верженну, где называет Екатерину «Madame Potemkin», хотя, возможно, это была всего лишь шутка [18].

Вскоре известие дошло и до императора Священной Римской империи Йозефа II. Прогуливаясь в венском парке Аугартен, он поделился с британским посланником лордом Китом своим мнением о союзе Екатерины и Потёмкина: «по тысяче причин и разного рода обстоятельств *ей было бы очень непросто избавиться от него, даже если бы она этого желала*. Нужно побывать в России, чтобы понять всю сложность положения императрицы» [19] [курсив авт.]. Вероятно, те же обстоятельства имел в виду британский посол в Петербурге Чарльз Уитворт, когда в 1791 году писал в отчете, что Потёмкин не может быть отправлен в отставку и ни перед кем не отчитывается [20].

Иногда Потёмкин сам намекал на то, что является почти императором. Во время второй Русско-турецкой войны принц де Линь предложил Потёмкину свою кандидатуру на трон князя Молдавии и Валахии. «Если б я захотел, я мог бы сделаться королем польским. Я отказался от герцогства Курляндского; *я выше всего этого!*» [21] [курсив авт.]. Кто же мог быть выше, чем король, кроме мужа императрицы Российской?

Настало время супругам вернуться к государственным делам. После венчания они, как обычно, увлеченно делились друг с другом подозрениями: не заметил ли кто их безумной влюбленности? Она гадала, что же думал о них «наш племянник» (вероятно, Самойлов). «Я, чаю, сумасшествие наше ему весьма странно показалось» [22].

Однажды некто догадался об их секрете. «Что делать, миленький, не мы одне, с кем сие делается, – рассуждала она. – Петр Великой в подобныя случай посылывал на рынки, где обыкновенно то говаривали, чего он в тайне держал. Иногда по сопоставлению догадываются…» [23].

Шестнадцатого января 1775 года, получив сообщение о казни Пугачева, императрица в сопровождении Потёмкина выехала из Царского Села в Москву, где они должны были принять участие в торжествах в честь победы над Турцией. Екатерина планировала посетить Москву с тех самых пор, как был подписан мирный договор, но из-за «маркиза де Пугачева» поездку приходилось откладывать. Согласно свидетельству Ганнинга, Потёмкин уговаривал ее навестить древнюю столицу, чтобы отпраздновать выход к Черному морю и продемонстрировать, что власть восстановила свой авторитет после Пугачевского бунта.

Двадцать пятого января Екатерина и великий князь Павел торжественно въехали в город. Чтобы она не забывала, что находится в самом сердце старой Руси, москвичи встречали Павла с теплом, а в отношении Екатерины «во все время церемонии со стороны народа почти не было возгласов или вообще какого бы то ни было выражения хотя бы малейшего удовольствия» [24]. Но благодаря восстанию Пугачева императрица поняла, что центральная часть страны тоже нуждается в ее внимании, и провела в Москве почти весь следующий год. Она остановилась во дворце Головина и в Коломенском дворце, где Потёмкину тоже были выделены комнаты, отделанные по вкусу самой Екатерины, однако обстановка, как и сам город, все равно казалась ей неудобной и неприветливой.

Императрицам не полагается медовый месяц, однако они с Потёмкиным определенно мечтали о том, чтобы провести какое-то время наедине. В июне она приобрела усадьбу Черная Грязь, принадлежавшую князю Кантемиру, и решила выстроить там новый дворец, назвав его Царицыно. Сторонники версии о том, что они с Потёмкиным были обвенчаны – в Москве ли, в Петербурге ли, – полагают, что именно в Царицыне прошел их медовый месяц. Им хотелось уюта, поэтому они, словно скромная купеческая чета, месяцами жили в небольшой усадьбе, где было всего шесть комнат [25].

Даже во время медового месяца они все время были увлечены размышлениями и планами – благодаря переписке мы знаем, как усердно они вместе занимались государственными делами. Екатерина не всегда соглашалась с мнением своего ученика, а он, в свою очередь, иногда спорил с ней. «Буде найдешь, что все мои пропозиции бешены, то не прогневайся… луче не придумала», – писала она, обсуждая с ним ситуацию с российскими соляными промыслами и соглашаясь на его предложение отправить Павла и Михаила Потёмкиных разобраться в происходящем. Потёмкин никогда не умел обращаться с финансами – как своими, так и казенными. Он был предпринимателем, а не управленцем. Когда он предложил взять на себя дела соляного производства, она решила его «сим не отягощать, ибо от сего более будет ненависти и труда и хлопот, нежели истинного добра». Это задело Потёмкина. Она утешила его, но осталась непреклонна: «Я дурачить вас не намерена, да и я дурою охотно слыться не хочу ‹…› Вы сами знаете, что Вы вздор написали. Прошу, написав указ порядочно, прислать к моему подписанию и притом перестать меня бранить и ругать тогда, когда я сие никак не заслуживаю». Если он ленился, например, в исправлении текста общего прощения по пугачевскому делу, она укоряла его: «От понедельника до пятницы, кажется, прочеть можно было» [26].

Екатерина отреагировала на Пугачевщину административными действиями: она реформировала местное управление и привлекла дворян, горожан и государственных крестьян к участию в работе судебной системы и здравоохранения. Она хвасталась Гримму, что страдает от новой болезни – легисломании [27]. Потёмкин вычитывал проекты ее тогдашних указов и продолжит это делать в будущем, когда Екатерина будет работать над «Уставом благочиния» и «Жалованной грамотой дворянству и городам»: «Просим и молим при каждой статье поставить крестик таковой +, и сие значить будет апробацию Вашу. Выключение же статьи просим означивать тако –. Переменение же статьи просим прописать точно».

Внесенные им изменения произвели на нее впечатление: «вижу везде пылающее усердие и обширный твой смысл» [28].

Теперь пара учинила новую выходку: международное разбойничье похищение. В феврале 1775 года императрица повелела Алексею Орлову-Чесменскому соблазнить одну барышню из итальянского города Ливорно, где Меченый командовал русским флотом, и привезти ее обратно в Россию.

Это была стройная и темноволосая двадцатилетняя девушка с итальянским профилем, белоснежной кожей и серыми глазами. Она пела, рисовала и играла на арфе. Ей удавалось казаться невинной, будто девственница-весталка, хотя она меняла любовников, как куртизанка. Она скрывалась под разными именами, но по-настоящему важным было одно: она представлялась княжной Елизаветой, дочерью императрицы Елизаветы и Алексея Разумовского. Это была классическая авантюристка восемнадцатого века. Каждая эпоха представляет собой арену борьбы противоположностей, и золотой век аристократии был в то же время расцветом самозванства: он превозносил богатые родословные и пестовал притворство. Путешествовать стало удобнее, но транспорт был все еще весьма медленным, и Европу наводнили и взбаламутили молодые мужчины и девушки неясного происхождения, которые извлекали выгоду из дальности расстояний и провозглашали себя аристократами и царственными особами. Как мы уже видели, в российской истории было предостаточно лжецарей, и дама, с которой предстояло встретиться Орлову-Чесменскому, была одной из самых романтичных самозванок.

Впервые о ней узнали под именем «Али Эмете» – она назвалась дочерью персидского сатрапа. То появляясь, то исчезая в разных городах от Персии до Германии, она доставала из-за пазухи самые разнообразные титулы и имена: княжна Владимирская, фройляйн Франк, девица Шелль, графиня Сильвиска, в Венеции – госпожа де Тремуйль, в Пизе – графиня Пиннеберг. Затем она стала принцессой Азовской – намекая на Петра I, ведь именно он завоевал, а потом потерял Азовский порт. Подобно успешным торгашам, способным убедить любого, она обладала недюжинной харизмой, а ее душевная тонкость помогала ей соответствовать всем представлениям о том, какой должна быть загадочная княжна. В своих странствиях она знакомилась с доверчивыми немолодыми аристократами, очаровывала их и взамен получала защиту и средства к существованию.

Когда Русско-турецкая война подошла к своему завершению,

она отправилась в страну маскарадов – Италию, землю Калиостро и Казановы, где авантюристов было не меньше, чем кардиналов. Никто не знал, кем она была на самом деле, но вскоре каждый итальянский дипломат займется выяснением ее родословной: может быть, она – дочь владельца кофейни в Чехии, или хозяина гостиницы в Польше, или пекаря из Нюрнберга?..

Ею увлекся принц Кароль Радзивилл, антироссийски настроенный участник польской Конфедерации. Она обзавелась свитой польских шляхтичей в национальных костюмах и превратилась в политическое орудие против России. Однако она допустила оплошность, обратившись к британскому послу в Неаполе. Сэр Уильям Гамильтон, эстет, чья жена Эмма в будущем станет любовницей Нельсона, с большим подозрением относился к изящным авантюристкам и, выдав ей паспорт, сообщил об этом Орлову-Чесменскому, который в свою очередь тут же проинформировал императрицу [29].

Когда Екатерина писала ему ответ, в ней проснулась та сторона личности, которая обычно оставалась скрытой от публики – это была безжалостная правительница, захватившая власть в свои руки. После Пугачевского восстания она не желала церемониться с самозванцами, пускай даже они были молодыми девушками: резкий, почти кровожадный тон письма дает представление о той Екатерине, какой ее, вероятно, знали лишь Орловы за закрытыми дверьми. Если власти Рагузы, куда приехала эта мошенница, не выдадут ее, «можно будет сделать и бомбардираду», – писала она Орлову-Чесменскому. Но удобнее было бы изловить ее, «делая как можно меньше шума» [30].

Меченый придумал хитрый план – воспользоваться в своих интересах иллюзиями самозванки о собственной знатности и ее романтическими мечтами. У него было двое советников, чье коварство составляло достойную конкуренцию его жестокости. Испанец Хосе де Рибас, живший в Неаполе, поступил там на службу в русский флот. Этот талантливейший обманщик, который затем станет успешным российским генералом и одним из ближайших приятелей Потёмкина, работал в компании ловкого адъютанта по имена Иван Христинек. Последний смог снискать расположение «княжны», присоединился к ее свите и уговорил ее встретиться с Орловым-Чесменским в Пизе.

Меченый принялся ухаживать за ней: писал любовные письма, катал в своей карете и водил в театры. Русским подданным не позволялось сидеть в ее присутствии, как будто бы она в самом деле была членом императорской семьи. Орлов-Чесменский привлек ее тем, что притворился разгневанным на Потёмкина за то, что тот занял место его брата, князя Орлова, и

предложил с помощью своего флота возвести ее на престол и вернуть его семье былую власть и место рядом с императрицей. Этот обман, возможно, был для него весьма приятным занятием: судя по всему, она в самом деле стала его любовницей, и их связь длилась восемь дней. Возможно девушка поверила в его влюбленность и думала, что успешно обведет его вокруг пальца. В циничных государственных интригах Меченому не было равных. Он сделал ей предложение руки и сердца, и рыбка попалась на крючок.

Орлов пригласил ее осмотреть его ливорнский флот. Она согласилась. Эскадрой командовал шотландец Сэмюэль Грейг, вице-адмирал и человек прямолинейный, уже знакомый нам по Чесменскому сражению. Грейг согласился приветствовать «княжну» со свитой из двух польских дворян, двух лакеев и четырех слуг-итальянцев на борту своего судна с царскими почестями. Там ожидали священник и экипаж в парадной форме. Был дан императорский залп из пушек, матросы приветствовали ее криками «Да здравствует императрица!», а священник благословил «княжну Елизавету» и Орлова-Чесменского. Говорили, что она плакала от счастья – ведь сбылись все ее заветные мечты.

Когда же «княжна» огляделась, то увидела, что граф пропал из виду. Его наемники схватили «злодейку», как называл ее Орлов в письме Екатерине, и заточили в трюме. Пока корабль плыл в Петербург, Потёмкин состоял с Орловым-Чесменским в переписке – несколько писем дошло до нас, и можно быть уверенными, что они обсуждали этот вопрос. Кроме того Екатерина показывала Потёмкину письма от Меченого: «Милюша, голубчик, – пишет она ему вскоре после похищения, – пришли ко мне письмо… Гр[афа] Ал[ексея] Гр[игорьевича] Орлова». В апреле пара обсуждала сумму вознаграждения Христинеку за его важную, хотя и неблаговидную роль в поимке авантюристки. Многие считали, что поведение Грейга в этом сомнительном предприятии в чужой стране недостойно британского офицера. Однако у нас нет никаких свидетельств того, что адмирал, который собирался продолжить карьеру на российской службе, испытывал угрызения совести, способствуя похищению девушки, к тому же, когда он прибыл в Москву, Екатерина вынесла ему личную благодарность за содействие.

Двенадцатого мая «княжну» привезли в Петербург и под покровом темноты немедленно доставили в Петропавловскую крепость, хотя существует легенда, что некоторое время ее держали взаперти в одной из загородных резиденций Потёмкина. Губернатор Петербурга фельдмаршал Голицын допросил ее,

чтобы узнать, есть ли у нее соратники и верит ли она сама в собственные выдумки. Похоже, что она в самом деле в них верила – как и многие другие мошенники, способные убедить людей в своих россказнях. Голицын в отчете императрице сообщал, что история ее жизни полна невероятных событий и скорее напоминает детские сказки. Екатерина и Потёмкин наверняка с интересом следили за ходом допроса. Случалось, что и более безумные истории, рожденные бурным воображением русских крестьян, поднимали на бой целые армии. Когда же «княжна» написала Екатерине с просьбой об аудиенции и подписалась «Елизавета», императрица пришла в ярость: «Передайте пленнице, что она может облегчить свою участь одной лишь безусловной откровенностью и также совершенным отказом от разыгрываемой ею доселе безумной комедии» [31].

В Москве Екатерина и Потёмкин праздновали победу, а «княжна Елизавета», уже заболевшая туберкулезом, была заперта в сырой камере, где могла и дальше строить свои воздушные замки. В письме Екатерине она жалобно просила смягчить условия содержания. Но на самом деле ее уже фактически не существовало, и никто не прислушивался к ее просьбам. Когда-то Екатерина закрыла глаза на убийство Петра и велела тюремщикам Ивана расправиться с ним, если того потребуют обстоятельства, а теперь все отвернулись от чахоточной девушки. Тем летом в Санкт-Петербурге случилось два наводнения, в июне и июле, и еще одно, самое крупное – в 1777 году, что породило легенды о том, как дрожащая красавица утонула в своей подземной камере, которую постепенно заполнила вода. Этот сюжет изображен на леденящей душу картине Константина Флавицкого. Существует также версия о том, что «княжна» погибла в родах, произведя на свет ребенка Орлова-Чесменского, и тот впоследствии мучился чувством вины – что, однако, совершенно на него не похоже.

Она вошла в историю под одним из вымышленных титулов, которым сама никогда не пользовалась: княжна Тараканова. Это имя связано с тем, что она представлялась дочерью Алексея Разумовского, чьи племянники носили фамилию Дарагановы. Но возможно, здесь скрыт намек на то, что свои последние дни она коротала в обществе одних лишь тюремных насекомых [32]. Четвертого декабря 1775 года, в дни, когда императрица собиралась выехать обратно в столицу, княжна Тараканова умерла от туберкулеза. Ей было двадцать три. Ее поспешно и тайно похоронили, и таким образом очередная помеха была устранена [33].

Когда 6 июля 1775 года великий князь Павел со своим

двором вернулся из загородного Коломенского дворца, угрюмая Москва расцвела от восторга: солдаты, князья, послы, священники и простой люд были готовы веселиться десять дней кряду. Эти празднества стали первым политическим спектаклем, организованным Потёмкиным. Согласно замыслу, они должны были прославлять новую Россию, торжествующую после шести лет войны, эпидемии и бунта. Массовые мероприятия восемнадцатого века редко обходились без триумфальных арок и фейерверков. Возводимые по римскому образцу арки иногда строили из камня, но чаще это были полотняные конструкции на каркасе из дерева или папье-маше. Екатерина и Потёмкин засыпали друг друга записками, обсуждая каждую деталь. «Получили ли вы список лиц, кои заняты устройством фейерверка по случаю мира?» – спрашивала она [34].

Масштаб и сложность приготовлений заставляли всех нервничать. Когда Семен Воронцов прибыл в город со своими войсками, то «показал Потёмкину, в каком состоянии находится мой полк, и он дал слово, что не заставит делать публичный смотр ранее, чем через три месяца… Но десять дней спустя он нарушил свое слово и послал сказать мне, что императрица с придворными прибудет на смотр войск… Я рассудил, что он хотел моего публичного унижения». На следующий день у них состоялся гневный спор [35].

Восьмого июля герой войны фельдмаршал Румянцев подошел к Москве. Потёмкин отправил ему теплое и почтительное письмо, приглашая «батюшку» Румянцева встретиться с ним в Чертанове, «где уже готова маркиза [триумфальной арки]», и подписался: «Ваш покорный и преданный слуга Г. Потёмкин». Затем он выехал за фельдмаршалом и доставил его в покои императрицы.

Десятого июля императорская процессия прошествовала от Пречистенских ворот к Кремлю. Потёмкин устроил великолепное представление, которое должно было убедить иностранных гостей в могуществе торжествующей императрицы. «Все улицы в Кремле установлены были войсками… По всему пространству от Красного, главного крыльца до дверей Успенского собора сделан был помост, огражденный парапетом и устланный сукном красным, а все стены соборов и других зданий окружены были, наподобие амфитеатра, подмостками одни других возвышеннейшими ‹…› Но ничто не могло сравниться с тем прекрасным зрелищем, которое представилось нам при схождении императрицы с Красного крыльца вниз в полном ее императорском одеянии и во всем блеске и сиянии ее славы». Под звон колоколов, от которого содрогнулась земля, императрица в небольшой короне и пурпурной мантии с мехом горностая

прошла в Успенский собор; слева от нее шествовал Румянцев, справа – Потёмкин. Пурпурный балдахин над ее головой несли двенадцать генералов, а шлейф – кавалергарды в красно-золотых мундирах и сияющих серебряных шлемах со страусиными перьями. Весь императорский двор в парадных одеяниях следовал за ней. У врат Успенского собора ее приветствовали архиереи, началась торжественная служба, был отслужен благодарственный молебен. «На все оное не могли мы довольно насмотреться», – вспоминал один из очевидцев [36].

После службы императрица в сопровождении четырех фельдмаршалов провела церемонию вручения наград в Грановитой палате. Румянцеву был дарован титул «Задунайский»; эту фамилию придумал Потёмкин, и ранее Екатерина уточняла у него: «Мой друг, верно ли надо дать фельдмаршалу титул Задунайский?» [37]. Это еще одно свидетельство поддержки, которую Потёмкин оказывал Румянцеву, отнюдь не пытаясь ему навредить. Задунайский также получил 5000 душ, 100 000 рублей, серебряный сервиз и головной убор с драгоценными камнями стоимостью 30 000 рублей. Князь Василий Долгоруков за взятие Крыма в 1771 году получил титул «Крымский». Но самые весомые награды были вручены Потёмкину: свидетельство, подтверждавшее его первый титул – графа Российской империи и церемониальная шпага. Императрица особо отметила его политические заслуги, отдельно упомянув вклад в заключение мира с Турцией. Она писала о Потёмкине Гримму: «Ах, какой у него светлый ум! Этот мирный договор – его заслуга более, нежели чья-то еще» [38]. После очередной ссоры она обещает Потёмкину: «Портрет я тебе дам в мирное торжество. ‹…› Adieu, mon bijou, mon coeur, м[уж] дорогой» [39]. И он в самом деле получил украшенную бриллиантами миниатюру с изображением императрицы, которую можно было носить на груди. До него лишь князю Орлову был вручен столь ценный подарок, и отныне на всех портретах граф Потёмкин предстает с этим медальоном, впоследствии он будет носить его до конца жизни – по крайней мере, в тех случаях, когда он удосуживался прилично одеться.

Торжества длились две недели: Потёмкин организовал развеселую, идиллического вида ярмарку на Ходынском поле, воздвигнув там два павильона, представлявших «Черное море со всеми нашими завоеваниями». В них он обустроил императорский тематический парк – к нему вели две дороги, символизировавшие Дон и Днепр; учредил театры и столовые, названные в честь черноморских портов, построил турецкие минареты, готические арки и античные колонны. Екатерина горячо поддержала деятельность Потёмкина в качестве

импресарио, ведь это был его первый шанс продемонстрировать свое безудержное воображение в политическом шоу-бизнесе. Длинными процессиями карет правили кучера «в костюмах турок, албанцев, сербов, черкесов, гусаров и негритянских слуг в красных тюрбанах». Взрывались фейерверки с вензелем Екатерины, и порядка 60 000 человек пили вино из фонтанов и угощались мясом жареных быков [40].

Двенадцатого июля празднества пришлось отложить из-за болезни Екатерины. Существует легенда, что подлинной причиной была не болезнь, а рождение ребенка от Потёмкина. Ранее ей мастерски удавалось скрывать нежелательные беременности с помощью складок одежды, скроенной для удобства ее полной фигуры. В Европе, разумеется, ходили слухи о том, что она в положении. «Госпоже Потёмкиной добрых сорок пять лет: самое время рожать детей», – иронизировал когда-то Людовик XVI в письме к Верженну [41]. Говорят, что этим новорожденным младенцем была Елизавета Григорьевна Темкина, которую воспитали в доме Самойлова, так что она осталась членом этой семьи. Незаконнорожденные дети на Руси обычно получали фамилию отца за вычетом первого слога; так, Иван Бецкой был незаконнорожденным отпрыском князя Ивана Трубецкого, а Ронцов – сыном Романа Воронцова.

Однако эта легенда мало походит на правду. Семья для Потёмкина всегда значила очень много, и он шумно опекал всех своих родственников, однако нет никаких свидетельств того, что он уделял какое-либо внимание Темкиной. Екатерина тоже должна была бы о ней заботиться. Нужно также сказать, что старинный род Темкиных действительно существовал и не имел никакого отношения к Потёмкиным. Более того, в те времена иметь внебрачную дочь или воспитанницу не считалось постыдным. Бобринского, сына Екатерины и Орлова, не скрывали от публики, а Бецкому удалось сделать достойную карьеру. Если же Темкина была дочерью Потёмкина от женщины низкого происхождения, тогда тем более не стоило ее прятать. Девица Темкина остается для нас загадкой, необязательно связанной с союзом Потёмкина и Екатерины [42]. Тем временем императрица неделю пребывала в своих московских покоях, а затем выздоровела, и торжества продолжились.

В Москве к графу Потёмкину обратился с необычной просьбой британский подданный. В 1775 году британские колонии в Америке восстали против лондонской власти. Это на целых восемь лет отвлекло внимание Запада от российских дел, и Потёмкин намеревался сполна использовать этот удачный шанс. Франция и ее союзники– испанские Бурбоны сразу ухватились за

возможность отвоевать земли, захваченные британцами в Семилетней войне 12 лет назад. Лондон отверг предложение Панина о союзе России и Англии, поскольку не собирался брать на себя обязательства по поддержке России в борьбе с Османской империей. Но теперь Георг III и его государственный секретарь Северного департамента граф Саффолк внезапно оказались лицом к лицу с американской революцией. Британия обладала лучшим флотом в мире, но ее армия была ничтожно мала, и ей обычно приходилось обращаться за помощью наемников. В этот раз Англия решила приобрести русских солдат.

Первого сентября 1775 года граф Саффолк жаловался на «усиливающееся безумие несчастных и заблуждающихся подданных его величества по ту сторону Атлантического океана», намекая на то, что помощь России требуется безотлагательно. Англия нуждалась в «20 000 пехоты, приученной к дисциплине, вполне вооруженной… и готовой, как только весной откроется плавание по Балтийскому морю, к отплытию». Панин проигнорировал эту просьбу, и тогда Ганнинг обратился к Потёмкину, который, напротив, заинтересовался. В конце концов Екатерина все же отказала англичанам, написав Георгу III вежливое письмо и пожелав удачи [43].

Несколько недель спустя несчастному Ганнингу пришлось сообщить на родину о том, что у него не осталось надежды на благополучный исход дела и, возможно, его величеству следует двинуть полки из Ганновера [44]. Наконец отчаявшиеся британцы наняли солдат в Гессене, известном своими наемниками. Американцы были объединены общей идеей и, несмотря на свою непродуманную тактику, победили сурово вымуштрованных и деморализованных британцев, но кто знает, возможно, с ними смогли бы справиться выносливые, жестокие и сплоченные русские солдаты и казаки? Эта соблазнительная возможность еще долго тревожила британские умы – вплоть до эпохи холодной войны и даже позднее.

Отношения Екатерины и Потёмкина поглощали их обоих целиком, и возникла опасность выгорания. «Есть ли б друг друга меньше любили, умнее бы были, веселее», – пишет Екатерина [45]. Накал страстей первых восемнадцати месяцев не мог сохраняться вечно, но сыграли свою роль и все сложности, связанные с его положением официального фаворита. Отношения учительницы и ученика, которые доставляли такое удовольствие Екатерине, стали утомительны, а то и невыносимы для властного, уверенного в себе и одаренного Потёмкина. Даже венчание не могло повлиять на обычаи придворной политики и на тот факт,

что его судьба полностью зависела от одного кивка императрицы. Его неистовая натура привлекала Екатерину, но эта же натура порождала в нем желание сбежать. Отдалялся ли Потёмкин от нее или ему просто не хватало воздуха?

Она отчаянно пыталась сохранить их счастье. «И ведомо пора жить душа в душу. Не мучь меня несносным обхождением», – пишет она. Когда он рассердился из-за своего подневольного положения, она пообещала ему: «Вы и вам дурак, ей Богу ничего не прикажу, ибо я холодность таковую не заслуживаю, а приписую ее моей злодейке проклятой хандре ‹…› я божилась, что окроме одной ласки я ласкою платить не буду. Я хочу ласки, да и ласки нежной, самой лучей. А холодность глупая с глупой хандрой вместе не произведут, кроме гнева и досады. Дорого тебе стоило знатно молвить или душенька или голубушка. Неужто сердце твое молчит? Мое сердце, право, не молчит» [46]. Екатерину до глубины души задела его резкость, которая со временем становилась все грубее: неужели супруг ее разлюбил?

Она делала все, что могла, чтобы ублажить его: Ганнинг писал, что осенью 1775 года, перед отъездом из Москвы, «было позабыто о том, что в следующую среду имянины графа Потёмкина, вспомнив о чем, ее величество отложила на некоторое время предполагаемую свою поездку, с тем чтобы в этот день граф мог принимать поздравления дворянства и всех сословий». Императрица, добавлял Ганнинг, подарила Потёмкину 100 000 рублей и назначила рекомендованного им греческого архиепископа для потёмкинских южных губерний. Такова была требовательность Потёмкина: для него было обычным делом поменять распорядок дел императрицы, получить воистину княжеский дар и при этом не забыть извлечь из этого политическую выгоду [47].

Порой Екатерина жаловалась, что он унижает ее на глазах придворных: «Милостивый государь мой Григорий Александрович. Я желаю Вашему Превосходительству всякого благополучия, а в карты сего вечера необходимы Вы должны проигрываться, ибо Вы меня внизу вовсе позабыли и оставили одну, как будто бы я городовой межевой столб». Но Потёмкин знал, как ее утешить: он ответил одной строчкой причудливых значков, которыми они, вероятно, пользовались для эротической переписки, и добавил: «то есть ответ…» [48]. Что же значил этот ответ? Как Екатерина могла удержать своего супруга и сделать его счастливым?

Пара изобрела собственный способ говорить о чувствах: в этом эпистолярном дуэте его партия была загадочной и страстной, ее – понимающей и примирительной:

Потёмкин	**Екатерина**
Моя душа безценная,	*Знаю.*
Ты знаешь, что я весь твой,	*Знаю, ведаю.*
и у меня только ты одна.	*Правда.*
Я по смерть тебе верен,	*Без сомненья.*
и интересы твои мне нужны.	*Верю.*
Как по сей причине,	
так и по своему желанию,	
мне всего приятнее	
твоя служба и употребление	
заранее моих способностей.	*Давно доказано.*
Зделав что ни есть для меня,	*С радостию, чего?*
право не раскаешься,	*Душой рада, да тупа.*
а увидишь пользу	*Яснее скажи.* [49]

Потёмкин все более отдалялся от нее. Говорили, что он мог сказаться больным, лишь бы избежать ее общества. В его душе нарастало беспокойство, а в Екатерине – усталость от его бесконечной вспыльчивости. Неистовый гнев и сверкающий взгляд поначалу могут казаться привлекательными, но после многих месяцев супружества начинают докучать, как всякая несдержанность. Поведение Потёмкина было невыносимым, но отчасти в том была вина Екатерины. Ей следовало раньше осознать, с каким напряжением связано политическое и социальное положение Потёмкина; это напряжение не будут выдерживать и следующие ее любовники. Екатерина обладала той же эмоциональной жаждой, что и он: словно два горнила, они нуждались в бесконечной подпитке топливом – славой, роскошью, властью и в то же время любовью, поддержкой и вниманием. Из-за этих гигантских аппетитов их отношения были столь же плодотворны, сколь и болезненны. Потёмкин стремился властвовать и созидать, но роль любовника Екатерины требовала от него полной занятости. Никто из них не был в силах дать другому то, в чем тот нуждался. Они были слишком похожими, чтобы оставаться вместе.

В мае 1775 года, прежде чем начались мирные торжества, Екатерина должна была выполнить свой долг перед Православной церковью и совершить паломничество в мрачную Троице-Сергиеву лавру. Эта вынужденная поездка возвращала ее в темное

Средневековье московского княжества, когда женщины жили взаперти в тереме, а не восседали на троне. Паломничество усугубило присущую Потёмкину религиозную тоску, его истинно славянское отвращение к мирской славе и, вероятно, недовольство своей ролью. Поддавшись своим монашеским склонностям и не обращая внимания на Екатерину, он временно покинул двор и молился в уединенной келье [50].

Скорость, с которой его капризы сменяли друг друга, наверняка утомляла их обоих. Возможно, она имела в виду именно это, когда говорила, что они слишком любили друг друга, чтобы быть счастливыми: их отношения были такими пламенными, что не могли пойти им на пользу. Они оставались любовниками и продолжали работать вместе в течение 1775 года, но напряжение все нарастало. Екатерина отдавала себе отчет в происходящем. Потёмкин был для нее достойным партнером – это редкая удача, – но как же найти для него подходящую роль? И как найти способ остаться вместе и в то же время удовлетворить их требовательные натуры? Борясь за свои отношения, они в то же время присматривались к окружающим.

Накануне мирных торжеств граф Потёмкин получил от своего зятя Василия Энгельгардта печальное известие о кончине его сестры Елены (Марфы). У супругов было шесть дочерей (старшая уже вышла замуж) и сын, который служил в армии. Старшей из пяти незамужних дочек был двадцать один год, младшей – восемь. «А только приношу мою чувствительную благодарность за милость вашу к оставшим, сущим без призрения, сиротам, которым прошу быть милостивым и заступить Марфы Александровны место… – писал Энгельгардт Потёмкину пятого июля. – По приказанию вашему я их к матушке пришлю». Не существовало никаких препятствий, которые помешали бы отцу воспитывать дочек у себя дома в Смоленске, но Энгельгардт, человек здравомыслящий, понимал, что придворная жизнь принесет девушкам больше выгоды. Потёмкин вызвал их в Москву.

Императрица, будучи примерной женой, решила познакомиться с семьей Потёмкина. Когда ей представили живущую в Москве свекровь Дарью Потёмкину[35], Екатерина была воплощением заботливости и внимательности: «Я приметила, что Матушка Ваша очень нарядна сегодня, а часов нету. Отдайте ей от меня сии» [51]. Екатерина тепло приняла племянниц и сказала Потёмкину: «Матушке твоей во утешение объяви фрейл[ин]ами, сколько хочешь из своих племянниц» [52]. Десятого июля, в разгар празднований, старшая из сестер Александра Энгельгардт была назначена фрейлиной, затем

последовало назначение второй сестры, блистательной Варвары [53]. Как только они прибыли из Смоленска, все вокруг заговорили об их необыкновенной красоте.

В это время Екатерина была занята законотворчеством. Ей помогали два молодых секретаря из числа подчиненных Румянцева-Задунайского: Петр Завадовский и Александр Безбородко. Второй превосходил первого интеллектом, но был поразительно уродлив и неловок. Зато Завадовский имел приятную наружность и мог похвастаться организованностью и хорошим образованием. Плотно сжатые губы и мрачный взгляд свидетельствовали о флегматичной и ханжеской натуре – она была совершенно противоположна потёмкинской и могла служить противовесом его буйному нраву. Екатерина, Потёмкин и Завадовский образовали странный союз, когда часами работали над черновиками указов и вместе коротали время в утомительной дороге в Санкт-Петербург после долгожданного отъезда из угрюмой Москвы.

Нас представляется следующая сцена в покоях Екатерины: Потёмкин, растянувшись на диване в широком домашнем халате, с платком на голове и всклокоченными волосами, без парика, жует редис и передразнивает придворных, фонтанирует идеями, шутками и капризами. В это время застывший за столом Завадовский в парике и мундире пишет, постоянно поглядывая на императрицу с преданностью лабрадора…

10. Разбитое сердце и примирение

Душа, я все сделаю для тебя, хотя б малехонько ты б меня воодушевил ласковым и спокойным поведением… Сударка, муж безценный.

Екатерина II – графу Потёмкину

В таких делах все женщины так близки,
Что государыням равны модистки.

Дж. Байрон. «Дон Жуан». IX: 77

«Мой муж сказал мне только что: “Куды мне итти, куды мне деваться?”» – пишет Екатерина графу Потёмкину в начале 1776 года. – Мой дорогой и горячо любимый супруг, придите ко мне: вы будете встречены с распростертыми объятиями» [1]. Второго января 1776 года Екатерина назначает Петра Завадовского генерал-адъютантом. Это озадачило придворных.

Дипломаты сразу поняли, что в личной жизни императрицы происходят изменения, и предположили, что карьера Потёмкина окончена: «Императрица начинает совсем иначе относиться к вольностям, которые позволяет себе ее любимец ‹…› Уже поговаривают исподтишка, что некоторое лицо, определенное ко двору г. Румянцевым, по-видимому, скоро приобретет полное ее доверие» [2]. Ходили слухи, что на посту главы Военной коллегии Потёмкина сменит то ли Алексей Орлов-Чесменский, то ли племянник Панина князь Репнин. Но английский дипломат Ричард Окс заметил, что амбиции Потёмкина только увеличиваются, а не уменьшаются, и «он в последнее время, по-видимому, больше прежняго интересуется иностранными делами» [3]. Пока англосаксы пытались разобраться в происходившем, язвительный французский посол шевалье Мари Даниель Бурре де Корберон, который оставил замечательные записки о своей жизни при дворе, полагал, что Завадовский не представляет серьезной угрозы для Потёмкина. «Лицом он лучше Потёмкина, но о фаворе его говорить пока рано», – замечает он и далее пишет в

саркастичном тоне, который обычно избирают дипломаты, когда речь заходит об интимной жизни императрицы: «Его таланты подверглись испытанию в Москве. Но Потёмкин, похоже, пользуется прежним влиянием ‹…› так что Завадовский взят, возможно, лишь для развлечения» [4].

С января по март 1776 года императрица избегала публичных мероприятий, стараясь наладить отношения с графом Потёмкиным. Князь Орлов вернулся из своих странствий, тем самым запутав ситуацию еще больше: отныне при дворе находились трое не то бывших, не то действующих фаворитов. Григорий Орлов, несмотря на всю свою энергичность, был все же уже не тем, кем раньше: он страдал от лишнего веса и приступов паралича, был влюблен в свою кузину Екатерину Зиновьеву, пятнадцатилетнюю фрейлину императрицы, – некоторые утверждали, что он ее изнасиловал. О жестоком придворном соперничестве можно судить по слухам о том, что Потёмкин отравил Орлова, хотя ему были совершенно не свойственны подобные поступки. Параличи Орлова по описанию напоминают позднюю стадию сифилиса – следствие его безрассудства.

Екатерина появлялась лишь на камерных обедах. Там также часто присутствовал Петр Завадовский, а Потёмкин приходил реже, чем раньше, но все же достаточно часто, чтобы вызывать раздражение Завадовского. Тот, должно быть, чувствовал себя лишним в обществе двух самых ярких собеседников своего времени. Потёмкин оставался любовником Екатерины, а преданный Завадовский все сильнее влюблялся в нее. Мы не знаем, отвернулась ли она от Потёмкина и вступила ли в связь Завадовским, и если да, то когда это произошло; вероятно, поворотный момент случился зимой. Все же, вероятно, она продолжала заниматься любовью с человеком, которого называла своим мужем. Может быть, Екатерина стремилась вызвать ревность и поощряла обоих? Несомненно. По ее собственным словам, она не могла прожить и дня без того, чтобы быть любимой, поэтому ее влечение к секретарю вполне объяснимо – ведь Потёмкин подчеркнуто ее игнорировал.

В эти шесть месяцев их отношения, пожалуй, наиболее захватывающи: они все еще любят друг друга, как муж и жена, но постепенно отдаляются, при этом стремясь найти способ остаться вместе навсегда. Граф Потёмкин порой плакал в объятиях своей императрицы.

«Хто велит плакать? – ласково спрашивает она своего «владыку и дорогого супруга» в том письме, где напоминает о «святейших узах» их брака. – Переменяла ли я глас, можешь ли быть нелюбим? Верь моим словам, люблю тебя» [5].

На глазах Потёмкина Екатерина и Завадовский все больше сближались, но он сохранял терпение. Его характер был все таким же тяжелым, но Потёмкин не пытался убить Завадовского – хотя впоследствии будет угрожать расправой одному из его преемников. Переписка повествует нам о кризисе в его отношениях с Екатериной и о некоторой его ревности к Завадовскому, но Потёмкин был настолько уверен в себе, что не воспринимал другого мужчину как соперника. Скорее всего, он одобрял этот новый союз, но лишь до определенной степени. Теперь оставалось договориться о границах дозволенного.

«Жизнь Ваша мне драгоценна и для того отдалить Вас не желаю» [6], – пишет ему императрица. Их споры решались в письмах-диалогах: второе из сохранившихся таких писем, кажется, представляет собой финал ссоры – спокойное примирение после неистовой бури, причиной которой стала болезненная неопределенность. Это письмо более откровенное, чем первое: Потёмкин нежен и заботлив, что неожиданно для такого человека, как он, а императрица с любовью и терпением отвечает своему невыносимому чудаку:

Потёмкин	**Екатерина**
Позволь, голубушка, сказать последнее,	*Дозволяю.*
чем, я думаю, наш процесс и кончится.	*Чем скорее, тем луче.*
Не дивись, что я безпокоюсь в деле	
любви нашей.	*Будь спокоен.*
Сверх безсчетных благодеяний	
твоих ко мне,	*Рука руку моет.*
поместила ты меня у себя на сердце.	*Твердо и крепко.*
Я хочу быть тут один	
преимущественно всем прежним	*Есть и будешь.*
для того, что тебя никто так не любил;	*Вижу и верю.*
а как я дело твоих рук, то и желаю,	
чтоб мой покой был устроен тобою,	*Душою рада.*
чтоб ты веселилась, делая мне добро;	*Первое удовольствие.*
чтоб ты придумывала все	
к моему утешению	*Само собою придет.*
и в том бы находила себе отдохновение	
по трудах важных, коими ты занимаешься	
по своему высокому званию.	
Аминь.	*Дай успокоиться*

мыслям, дабы чувства действовать свободно могли; оне нежны, сами сыщут дорогу лучую. Конец ссоры. Аминь. [7]

Но он не всегда бывал так обходителен. Когда Потёмкин чувствовал себя уязвимым, он мог обрушиться на Екатерину со всей своей жестокостью: «Бог да простит Вам ‹…› пустое отчаяние и бешенство не токмо, но и несправедливости, мне оказанные, – отвечает она. – Я верю, что ты меня любишь, хотя и весьма часто и в разговорах твоих и следа нет любви». Оба они глубоко страдают. «Я не зла и на тебя не сердита, – пишет она ему после очередной ссоры. – Обхождения твои со мною в твоей воле». Но она понимает, что это постоянное напряжение не может длиться вечно: «Я желаю тебя видеть спокойным и сама быть в равном положении» [8].

Придворные искали признаки того, что Потёмкин впал в немилость, а Завадовский занял его место, а в это время супруги обсуждали, что же им предпринять. Потёмкин желал остаться у власти и сохранить за собой дворцовые покои. Когда он впадал в уныние, Екатерина говорила ему те же слова, что и другие любовники говорят своим спутникам: «Нетрудно решиться: останься со мною», – а затем напоминала о всех выгодах их

любовно-политического союза: «Политичные же твои предложения все весьма разумные» [9]. Но наконец и она потеряла всякое терпение.

«Иногда, слушая вас, можно сказать, что я чудовище, имеющее все недостатки и в особенности же – глупость. ‹…› Все же этот ум, как бы зол и ужасен он ни был, не знает других способов любить, как делая счастливыми тех, кого он любит. И по этой причине для него невозможно быть, хоть на минуту, в ссоре с теми, кого он любит, не приходя в отчаяние. ‹…› Мой ум, наоборот, постоянно занят выискиванием в тех, кого он любит, добродетелей и заслуг. Я люблю видеть в вас все чудесное».

Так Екатерина пишет о своей печали из-за того, что Потёмкин охладел к ней, и заключает: «Мы ссоримся о власти, а не о любви» [10]. Эти слова обычно принимают за чистую монету, но, возможно, перед нами лишь попытка представить их отношения в лучшем свете. Их любовь была такой же беспокойной, как и политическое сотрудничество. Если предметом ссор была власть, то они бы продолжались и после того, как любовь прошла, а Потёмкин сохранил свое влияние. Может быть, справедливее было бы сказать, что причиной их разногласий стало завершение первого и самого насыщенного периода их отношений, основанного на сексуальном влечении, а также растущие независимость Потёмкина и его жажда свободы. Екатерине, вероятно, было непросто признаться себе в том, что она больше не привлекала его, однако власть всегда останется предметом их споров.

Потёмкин ни в чем не находил утешения и постоянно сердился. «Друг мой, вы сердиты, – пишет она ему. – Вы дуетесь на меня, вы говорите, что огорчены, но чем? ‹…› Какого удовлетворения можете вы еще желать? Даже церковь считает себя удовлетворенной, коль скоро еретик сожжен. ‹…› Но если вы будете продолжать дуться на меня, то на все это время убьете мою веселость. Мир, друг мой, я протягиваю вам руку. Желаете ли вы принять ее?» [11].

Вернувшись из Москвы в Петербург, Екатерина пишет князю Дмитрию Голицыну, российскому послу в Вене, о своем желании, чтобы «Его Величество [император Священной Римской империи Иосиф II] удостоил Генерала Графа Григория Потёмкина, много мне и государству служащего, дать Римской Империи княжеское достоинство, за что весьма обязанной себя почту». Шестнадцатого (27) февраля Иосиф II скрепя сердце согласился – несмотря на протест своей чопорной матери, императрицы-королевы Марии Терезии. «Забавно, – усмехался де Корберон, – что набожная императрица-королева награждает любовников далеко не

религиозной российской государыни».

«Князь Григорий Александрович! – приветствует Екатерина своего Потёмкина. – Всемилостивейше дозволяем Мы Вам принять от Римского Цесаря присланный к Вам диплом на Княжеское достоинство Римской Империи» [12]. В России было много князей, но теперь Потёмкин имел наивысший статус светлейшего князя. Дипломаты заключили, что это был прощальный подарок Потёмкину, поскольку Орлов получил свой княжеский титул лишь по расставании с Екатериной. Императрица также пожаловала Потёмкину «16 000 крестьян, которые приносят в год по 5 рублей с человека», а затем он стал кавалером датского ордена Белого слона. Что это – отставка или поощрение? «Я обедал у князя Потёмкина, – пишет де Корберон 24 марта. – Говорят, что он утрачивает свое влияние, а Завадовский в фаворе, и у Орловых достаточно власти, чтобы укрепить его положение»[13].

Светлейший князь желал быть не только князем, но и монархом: он боялся, что после смерти Екатерины останется на милость озлобленного Павла, от которого «ему нечего ждать, кроме Сибири» [14]. Удачным решением было бы стать независимым правителем где-нибудь вне российских границ. Императрица Анна сделала своего фаворита Эрнста Бирона главой прибалтийского герцогства Курляндского, зависимого от России, но формально подчиненного Речи Посполитой. Действующим герцогом в те годы был сын Бирона Петр. Потёмкин решил, что хочет заполучить Курляндию себе.

Второго мая Екатерина написала своему послу в Польше Отто Магнусу Штакельбергу: «Желая отблагодарить князя Потёмкина за заслуги, оказанные им государству, и намереваясь предоставить ему герцогство Курляндское, нахожу необходимым предписать для вашего образа действий следующие пункты», – и далее подробно описала, как послу надлежит поступить. Фридрих Великий приказал своему послу в Петербурге предложить свою помощь Потёмкину в достижении этой цели и лично написал ему 18/29 мая из Потсдама. Однако Екатерина не стала прикладывать особых усилий, ведь Потёмкин пока не доказал свою способность быть достойным правителем, и ей следовало быть осмотрительнее как по отношению к Курляндии, так и по отношению к России. Стремление занять какой-нибудь зарубежный престол стало лейтмотивом потёмкинской карьеры. Но Екатерина всегда старалась обращать его внимание на российские дела, в которых ей была необходима его помощь [15].

В начале апреля 1776 года в Петербург прибыл прусский принц Генрих, чтобы упрочить союз своего брата Фридриха с

Россией. Русско-прусские отношения стали портиться, когда Фридрих помешал российским завоеваниям в ходе Русско-турецкой войны. Младший брат Фридриха был скрытым гомосексуалом, энергичным генералом и хитроумным дипломатом; в 1772 году он способствовал разделу Польши. Он казался карикатурой на Фридриха, будучи младше его на 14 лет и неистово ему завидуя – такова была судьба младших братьев в эпоху королей. Генрих одним из первых стал уделять внимание Потёмкину, а тот вызвался организовать российское путешествие принца, что было знаком его растущего интереса к иностранным делам. «Я буду счастлив, – писал принц Генрих Потёмкину. – Если смогу засвидетельствовать Вам свое почтение и дружбу во время поездки в Петербург». Сразу по прибытии девятого апреля он подтвердил свои слова, подарив Потёмкину прусский орден Черного орла, пополнивший его возраставшую коллекцию. Это дало основания Фридриху II и Потёмкину обменяться любезностями в письмах. Без сомнения, принц Генрих одобрил курляндскую затею [16].

Пока иностранцы думали, что Потёмкин теряет влияние, в отношениях непоследовательных супругов, напротив, настала оттепель. В кратчайшей и в то же время восхитительной любовной записке Екатерина пишет: «Батинька Князь! До рождения моего Творец назначил тебя мне быть другом, ибо сотворил тебя быть ко мне расположенным таковым. За дар твой благодарствую, равномерно же за ласку…» [17]. Кажется, будто они втайне воссоединились, но на самом деле болезненные ссоры между ними продолжались. Все вокруг ожидали ухода Потёмкина и восхождения Завадовского. Ни Екатерина, ни Потёмкин были больше не в силах жить в этом мучительном чистилище. А на следующее утро после приезда принца Генриха случилась трагедия.

Десятого апреля 1776 года, в четыре часа утра начались роды у жены Павла, великой княгини Натальи Алексеевны. Императрица набросила передник и поспешила в покои Натальи, где оставалась вместе с Павлом до восьми утра [18].

Это произошло в самое неподходящее время, поскольку Екатерине необходимо было уделять внимание принцу Генриху. Вечером того же дня императрица и Генрих присутствовали на концерте скрипача Лолия «в апартаментах его сиятельства князя Григория Александровича Потёмкина», – сообщает камер-фурьерский журнал. По предложению Екатерины принц Генрих и Потёмкин обсуждали договоренности о союзе – по приказу Фридриха Генрих изо всех сил старался расположить к себе фаворита [19]. Ночью, казалось, великая княгиня наконец

произведет на свет наследника империи.

Ранее Наталья Алексеевна уже успела разочаровать Екатерину. Павел, по-видимому, любил ее, но она была склонна к интригам и даже не озаботилась тем, чтобы выучить русский язык. Екатерина и Потёмкин подозревали, что у нее роман с Андреем Разумовским, ближайшим другом Павла, красавцем и дамским угодником. Тем не менее одиннадцатого апреля Екатерина вновь надела передник, вернулась к своим обязанностям у постели роженицы и провела там шесть часов, а затем отправилась обедать в свои покои с двумя князьями, Потёмкиным и Орловым. Весь следующий день она провела с великой княгиней.

Иностранные дипломаты были раздосадованы тем, что из-за «разрешения от бремени» «падение Потёмкина», как выразился де Корберон, откладывалось. Великая княгиня рыдала от боли. Императрица была обеспокоена. «В покои Ее Величества были поданы кушанья, но она не желала есть, – гласит камер-фурьерский журнал. – Князь Потёмкин отобедал». Если он был голоден, ничто не могло отвлечь его от еды.

Доктора сделали все, что было в их силах, если принять во внимание, что врачебное дело в то время больше напоминало труд мясника, разве что совершаемый с благими намерениями. В середине XVIII века уже были в ходу акушерские щипцы[36]. Кесарево сечение несло в себе очень много опасностей, но все же успешно практиковалось со времен Цезаря: мать почти всегда погибала от инфекции, шока и потери крови, но ребенка удавалось спасти. Но в этот раз доктора не предприняли ничего, и момент был упущен. Ребенок погиб в утробе, и у матери развилась инфекция. «Дело наше весьма плохо идет, – писала Екатерина своему статс-секретарю С.М. Козмину, вероятно, на следующий день, в письме, помеченном пятью часами утра, когда она уже размышляла, как ей теперь обращаться с Павлом. – Какою дорогой пошел дитя, чаю, и мать пойдет. Сие до времяни у себя держи…» Она повелела коменданту Царского Села приготовить покои для Павла. «Кой час решится, то сына туда увезу» [20]. Началась гангрена. Запах был невыносимым.

Князь Потёмкин играл в карты, ожидая, когда наступит неизбежный плачевный исход. «Я уверен, – пишет де Корберон, – что Потёмкин проиграл в вист 3000 рублей, пока весь мир плакал от горя». Это не вполне справедливо. У императрицы и ее супруга было немало дел. Екатерина составила список из шести кандидаток на роль жены Павла и отправила его Потёмкину. Принцесса София Доротея Вюртембергская, которую она всегда хотела себе в невестки, шла первой в списке [21].

Пятнадцатого апреля в 17 часов великая княгиня скончалась. Обезумевший от горя Павел с яростью обрушился на докторов и обвинил их в обмане: она должна была выжить, он хочет остаться с ней и не позволит ее похоронить, кричал он, не желая смириться с реальностью смерти. Врачи сделали ему кровопускание. Двадцать минут спустя Екатерина увезла своего измученного сына в Царское Село. Потёмкин последовал за ними вместе со своей давней подругой графиней Брюс. «Sic transit gloria mundi», – кратко пишет Екатерина Гримму об этом несчастье. Она недолюбливала Наталью, и теперь дипломаты считали ее виноватой в том, что княгиня не смогла родить: как же императрица могла позволить своей невестке погибнуть? Вскрытие показало, что из-за физиологического дефекта Наталья не была способна родить ребенка, и тогдашняя медицина никак не смогла бы ее спасти. Но, по словам де Корберона, никто не поверил в официальную версию[37], ведь дело происходило в России, где императоры умирали «от геморроя».

«В течение последних двух дней Великий Князь невыразимо разстроен, – писал Окс. – Принц Генрих прусский почти не отходил от него». Генрих, Екатерина и Потёмкин объединили свои усилия, чтобы убедить Павла как можно скорее жениться на принцессе Вюртембергской. «Выбор принцессы, вероятно, произойдет в непродолжительном времени», – сообщает Окс несколько дней спустя. Несмотря на траур, Екатерина, Потёмкин и принц Генрих отдавали себе отчет в суровой реальности: империи нужен наследник, поэтому Павлу срочно необходима супруга.

Разумеется, Павел не желал повторно жениться. От этих сомнений его избавила Екатерина, столь чуткая к своим приобретенным родственникам и столь бессердечная к родным: она показала ему письма Натальи к Андрею Разумовскому, найденные среди ее вещей. Екатерина и Потёмкин решили отправить Павла в Берлин, чтобы он мог составить мнение о своей невесте. Братья Гогенцоллерны были в восторге от перспективы получить влияние на российского наследника: принцесса София была их племянницей. Павел согласился поехать – вероятно, из-за того, что унаследовал от отца симпатию к Фридриху Великому и ко всему прусскому. Придворные вернулись к своему излюбленному занятию – гадать, когда же случится падение Потёмкина [22].

Гроб с телом великой княгини Натальи стоял в Александро-Невской лавре. Она была облачена в белый атлас. Тело мертворожденного ребенка, как выяснилось при вскрытии,

совершенно здорового, лежало в открытом гробике у ног Натальи [23]. Светлейший князь оставался в Царском Селе вместе с Екатериной, Генрихом и Павлом; последний скорбел не только по своей жене, но и по разбитой иллюзии их счастливого брака. Де Корберон не мог уразуметь, почему и Завадовский, и Потёмкин остаются подле Екатерины: «…правление второго из них уже подходит к концу, – предсказывал он, – ведь его должность министра военных дел уже отдана графу Алексею Орлову», но его беспокоило, почему же Потёмкин сохраняет хорошую мину при такой плохой игре [24]. И де Корберон, и британские дипломаты заметили, что принц Генрих встал на сторону Потёмкина в его конфликте с Орловыми и много сделал для того, чтобы «отложить отставку князя Потёмкина, которого привязал к себе лентой [Черного орла]».

Похороны Натальи состоялись 26 апреля в Александро-Невской лавре. Екатерину сопровождали Потёмкин, Завадовский и князь Орлов, но убитый горем Павел был не в силах присутствовать. Дипломаты не отрывали глаз от ведущих политических игроков, надеясь уловить едва заметный намек, как позднее советологи будут подробно анализировать этикет и иерархию на похоронах генсеков. И те и другие часто ошибались. Де Корберон, к примеру, заметил признак того, что дела Потёмкина плохи: Иван Чернышев, президент Морской коллегии, отдал «три глубоких поклона» князю Орлову и всего лишь «один краткий поклон Потёмкину, который беспрестанно ему кланялся».

Светлейший умел ловко и уверенно обвести всех вокруг пальца. Четырнадцатого июня, когда принц Генрих и великий князь Павел отправились в Берлин на смотрины, он все еще был у власти. Поездка оказалась успешной, и Павел вернулся домой вместе с Софией Вюртембергской, которая вскоре приняла в крещении имя Марии Федоровны, стала его женой и впоследствии произвела на свет двух российских императоров.[38]

Тем временем князь Орлов и его брат, почуяв кровь, принялись донимать Потёмкина намеками о его неминуемом падении. Но Потёмкин не сердился. Он знал, что если их с Екатериной план сработает, то эти шутки не будут иметь никакого значения [25]. Кирилл Разумовский писал главе канцелярии Потёмкина: «Здесь слух пронесся из Москвы, что ваш шеф зачал будто бы с грусти спивать. Я сему не верю и крепко спорю, ибо я лучшую крепость духа ему приписываю, нежели сию» [26]. Де Корберон сообщает, что Потёмкин погряз «в разврате». В самом деле, оказываясь в трудной ситуации, Потёмкин без стыда окунался в наслаждения – распутство было

его способом спустить пар [27]. Екатерина и Потёмкин обсуждали совместное будущее, обмениваясь то оскорблениями, то нежностями. Пессимисты оказались правы в том, что именно в эти дни было заложено основание будущей потёмкинской карьеры.

«Катарина ‹…› и теперь всей душою и сердцем к тебе привязана», – пишет она ему. Несколько дней спустя она укоряет: «Вы на меня ворчали вчера целый день без всякой причины». Екатерина стремилась вызвать Потёмкина на честный разговор о его чувствах к ней: «Кто из нас воистину прямо, чистосердечно и вечно к кому привязан, кто снисходителен, кто обиды, притеснения и неуважение позабыть умеет?» Потёмкин то радовался, то на следующий день взрывался от ревности, чувствительности или простой жесткости. Его ревность, как и все прочие его свойства, была преходящей, но не только он испытывал это чувство. Екатерина, должно быть, спросила его о наличии соперницы, и Потёмкин поднял скандал. «Я не ожидала и теперь не знаю, в чем мое любопытство тебе оскорбительно», – пишет она [28].

Екатерина требовала, чтобы он достойно вел себя на людях: «От уважения, кое ты дашь или не дашь сему делу, зависит рассуждение и глупой публики». Часто можно встретить мнение, что Потёмкин нарочно изображал из себя ревнивца, чтобы добиться своего и в то же время позволить Екатерине сохранить свою женскую гордость. Внезапно он потребовал избавиться от Завадовского. «Просишь ты отдаления Завадовского, – пишет она. – Слава моя страждет всячески от исполнения сей прозьбы… Не требуй несправедливостей, закрой уши от наушников, дай уважение моим словам. Покой наш возстановится» [29]. Кажется, они были близки к взаимопониманию, но приняли решение расстаться, понимая, что пора положить конец страданиям. С 21 мая по 3 июня Потёмкин не появлялся при дворе.

Согласно свидетельству Окса, двадцатого мая Завадовский был объявлен официальным фаворитом и получил в дар 3000 душ. В годовщину восшествия государыни на престол Екатерина повысила его до звания генерал-майора, подарила 20 000 рублей и еще 1000 душ. Но теперь Потёмкин не возражал. Буря утихла, и он позволил ей спокойно налаживать отношения с Завадовским, потому что супруги наконец обо всем договорились, уняв взаимные тревоги и претензии. «Вот, матушка, следствие Вашего приятного обхождения со мною на прошедших днях, – благодарит он ее. – Я вижу наклонность Вашу быть со мною хорошо…»

Однако мирно настроенный Потёмкин все же не мог оставить императрицу без присмотра и третьего июня явился в Царское

Село: «Я приехал сюда, чтоб видеть Вас для того, что без Вас мне скушно и несносно. Я видел, что приезд мой Вас смутил… Всемилостивейшая Государыня, я для Вас хотя в огонь… Но ежели, наконец, мне определено быть от Вас изгнану, то лутче пусть это будет не на большой публике. Не замешкаю я удалиться, хотя мне сие и наравне с жизнью». Внизу этой страстной записки рукой Екатерины написан ответ: «Друг мой, ваше воображение вас обманывает. Я Вам рада и Вами не embarrasupована {не стеснена}. Но мне была посторонняя досада, которую Вам скажу при случае» [30].

Светлейший снова стал появляться при дворе. С того дня, как он вернулся, из камер-фурьерского журнала исчезли упоминания об официальном фаворите – несчастном влюбленном Завадовском. Быть может, он оробел перед неутомимым великаном? Дипломаты не заметили его отсутствия: по их мнению, отставка Потёмкина была лишь делом времени. Казалось, их ожидания оправдались, когда Екатерина пожаловала князю собственный дворец в Петербурге: огромный Аничков дом, который раньше принадлежал фавориту Елизаветы Алексею Разумовскому, а теперь находился в запустении. Он и по сей день стоит на берегу Невы, рядом с Аничковым мостом. Можно было предположить, что Потёмкин вскоре освободит свои покои в императорском дворце и отправится в «путешествие» на европейские курорты.

В условиях абсолютной монархии непосредственная близость к трону была синонимом власти. Потёмкин когда-то обмолвился, что если лишится своих комнат во дворце, то потеряет все. Екатерина постоянно успокаивала своего чувствительного друга: «Батинька, видит Бог, я не намерена тебя выживать изо дворца. Пожалуй, живи в нем и будь спокоен» [31]. Позднее он оставил покои фаворита, но никогда не съезжал окончательно из Зимнего дворца и будуар Екатерины всегда был для него открыт.

Они выбрали для Потёмкина новое жилище, которое соответствовало сложившейся ситуации. Всю свою дальнейшую жизнь он будет фактически проживать в Шепелевском дворце, отдельно стоящем небольшом здании бывшей конюшни на Миллионной улице. Оно было связано с Зимним дворцом посредством галереи над арочным проемом. Императрица и князь могли попасть в покои друг друга через крытый проход за дворцовой часовней, никого не встретив и, в случае Потёмкина, не одеваясь.

Итак, все отлично устроилось. Двадцать третьего июня Потёмкин уехал в Новгород с ревизией. Британский дипломат писал, что из его покоев в Зимнем дворце выносят какую-то

мебель. Должно быть, он впал в немилость и удалился в монастырь. Но более проницательные придворные, в частности, графиня Румянцева, отметили, что Потёмкин путешествовал за казенный счет. Всюду его встречали триумфальными арками, как полагалось приветствовать члена императорской семьи, и делалось это, конечно же, по приказу государыни [32]. Дипломаты не подозревали, что перед отъездом Екатерина преподнесла ему подарки, просила не уезжать, не попрощавшись, и затем отправила ему несколько сердечных писем. «Князь Григорий Александрович, купленный Нами Аничковский у Графа Разумовского дом Всемилостивейше жалуем Вам в вечное и потомственное владение», – пишет она и присовокупляет к тому 100 000 рублей на отделку дома. Невозможно подсчитать, насколько обогатился Потёмкин за два года их романа: Екатерина очень часто жаловала ему подарки или наличные деньги, о которых не сохранилось записей, и платила его долги. Теперь он обитал в невероятном мире монаршей роскоши и богатств, достойных Креза: Потёмкин неоднократно получал от Екатерины в дар 100 000 рублей, в то время как годовое жалованье полковника составляло тысячу рублей. По приблизительным подсчетам светлейшему князю было пожаловано 37 000 душ, обширные поместья в окрестностях Петербурга и Москвы, а также в Белоруссии (в Кричеве, к примеру, насчитывалось не менее 14 000 душ), драгоценности, серебряные сервизы и порядка 9 миллионов рублей. И всего этого ему казалось мало [33].

Спустя несколько недель Потёмкин вернулся. Екатерина приветствовала его ласковым письмом. Он занял свои прежние дворцовые покои, тем самым поставив в тупик своих недоброжелателей: светлейший «приехал сюда в субботу вечером и появился на следующий день при дворе. Возвращение его в комнаты, прежде им занимаемыя во дворце, заставляет многих опасаться, что, быть может, он снова приобретет утраченную им милость» [34]. Они бы удивились еще сильнее, если бы узнали, что вскоре он будет редактировать письма Екатерины в Берлин, к цесаревичу Павлу.

Не приходится сомневаться в том, что супруги разыгрывали заранее подготовленный сценарий, как это сегодня делают знаменитости, с удовольствием мороча голову журналистам. В начале этого года они боялись потерять свою любовь и дружбу в неистовой череде сцен ревности и раскаяния, но теперь им удалось найти новые основания для своего своеобразного брака. Каждый из них мог устроить свое счастье, в то же время сохранив интимные, политические и деловые отношения с супругом. Достичь этих договоренностей было непросто. Сердцу нельзя

отдать приказ, как солдатскому войску, и дела любовные не уладишь мирными переговорами, особенно когда это касается такой эмоциональной пары. Этого можно добиться только с помощью доверия, времени, природы, ума и усердных попыток. Потёмкин прошел трудный путь от властного любовника до «министра-фаворита», соправителя своей императрицы [35]. Им удалось обвести всех вокруг пальца.

В тот день, когда светлейший князь вернулся ко двору, супруги знали, что все будут высматривать малейшие знаки, свидетельствующие о его отставке или возвращении. Поэтому Потёмкин вошел в покои Екатерины, «сохраняя абсолютное спокойствие», и обнаружил императрицу за игрой в вист. Он сел напротив нее. Она сдала ему карты, как в старые добрые времена, и сказала, что ему всегда везет [36].

Часть четвертая. Страсть и партнерство

1776–1777

11. Ее фавориты

Екатерина, следует сказать,
Хоть нравом и была непостоянна,
Любовников умела поднимать
Почти до императорского сана.

Екатерина всем понять дала,
Что в центре августейшего вниманья
Стал лейтенант прекрасный. Без числа
Он принимал придворных излиянья,
Потом его с собою увела
Протасова, носившая названье
Секретной испытательнице –
признаюсь,
Перевести при музе не решусь.

Дж. Байрон. «Дон Жуан». 1X:70, 84

Роман князя Потёмкина и Екатерины II, казалось, пришел к своему завершению, но на самом деле он никогда не заканчивался. Вместо этого он превратился в супружеский союз, в котором каждый мог влюбляться и заниматься сексом с другими, но отношения с супругом оставались самой важной частью его жизни. Это необычное соглашение породило самые скабрезные легенды о нимфомании Екатерины и сводничестве Потёмкина, якобы поставлявшего ей любовников. Возможно, эпоха романтизма и бесконечные женитьбы и разводы сегодняшнего дня мешают нам оценить всю трогательность их союза.

Завадовский был первым фаворитом, который делил ложе с Екатериной, пока ее мысли были заняты Потёмкиным – тот

продолжал быть ее супругом, другом и министром. За 67 лет своей жизни Екатерина имела около двенадцати любовников, а вовсе не бесчисленные армии, которые ей приписывает молва. И даже это число обманчиво, поскольку, по ее собственным словам, как только она находила достойного партнера, делавшего ее счастливой, то тут же уверяла себя, что эти отношения продлятся всю жизнь. Она крайне редко инициировала разрыв: с Салтыковым и Понятовским ее разлучили, Орлов ей изменял, и даже Потёмкин каким-то образом умудрился отдалиться от нее по собственной воле. Тем не менее после Потёмкина она заводила романы с мужчинами младше себя, что, безусловно, выглядело странно, но таково было ее положение.

Реальность весьма отличалась от легенд. Императрица сделала пост фаворита официальной должностью, и Потёмкин содействовал ей. Историки редко обращали внимание на треугольник, куда входили Екатерина, Потёмкин и ее молодой любовник, хотя эта форма отношений стала основой ее семьи.

Роман Екатерины с Завадовским стал первой попыткой императорского ménage à trois. Присутствие Потёмкина осложняло жизнь фаворитов и делало их положение более унизительным, поскольку они не могли препятствовать его близости с императрицей. Их отношения со светлейшим князем оказывались не менее важными, чем любовь к императрице. Даже если не принимать во внимание Потёмкина, роль фаворита была непростой, и вскоре Завадовский впал в уныние.

Письма Екатерины к Завадовскому дают нам представление об удушающей атмосфере, в которой приходилось жить любовнику императрицы. Завадовский смог выдержать на этом посту всего восемнадцать месяцев, хотя его чувства к Екатерине были искренними – и взаимными, как свидетельствуют ее письма к нему. Но между ними не было паритета. Будучи ровесником Потёмкина, он тем не менее смотрел на нее с благоговением, и она относилась к нему снисходительно – к примеру, так благодарила за «ласковое письмецо», будто бы то, что он знает алфавит, было большим достижением. Если Потёмкин нуждался в свободном времени и личном пространстве, то Завадовский, наоборот, стремился проводить с ней каждую минуту, словно верная собачонка, так что ей приходилось втолковывать ему, что «время не мне принадлежит, но Империи». Все же они работали вместе: он целыми днями трудился в ее канцелярии, а затем, после трех партий в вист, одновременно с Екатериной отправлялся в покои в 10 часов вечера. Поддерживать такой распорядок – утомительная и трудная работа.

Новый фаворит был, вероятно, менее опытен в постели, чем князь, и это могло стать причиной его безоглядной влюбленности. «Ты самый Везувий», – писала она. Возможно, по неопытности он не всегда владел собой, о чем она и упоминает: «…когда менее ожидаешь, тогда эрупция (от *фр.* eruption – извержение вулкана) окажется; но нет, ничего, ласками их погашу. Петруша милый!» Их переписка с Завадовским менее формальна, чем с Потёмкиным. Первый называет ее Катюшей или Катей, в то время как князь всегда обращался к ней «матушка» или «государыня». Письма императрицы к Завадовскому более откровенны: «Петрушинка, радуюсь, что моими подушечками тебя излечила, а буде ласка моя способствует твоему здоровью, так не будешь болен никогда». «Подушечки» могли быть эвфемизмом женской груди, но надо сказать, что императрица в самом деле увлекалась вышивкой подушек, наполненных травами; вот один из комичных примеров того, как осторожен должен быть биограф в интерпретации эротических намеков в личной переписке [1].

Безумно влюбленный Завадовский часто хворал, и причиной тому чаще всего были нервы. Он оказался совершенно не приспособлен к атмосфере интриг и ненависти. В своих письмах Екатерина постоянно заверяла его в своей любви, но он никак не мог укрепиться в роли фаворита: его частная жизнь была «под микроскопом» [2]. Она не понимала, что ему приходится преодолевать, а он, в отличие от Потёмкина, не обладал достаточной силой духа, чтобы добиваться своего от окружающих. В придачу к этому ему приходилось терпеть вездесущего князя. Это был союз трех сторон, и когда Потёмкин нуждался во внимании, он, по-видимому, его получал. Когда в их отношениях случался кризис, именно Потёмкин помогал им его разрешить: «…нужно нам обоим восстановления душевного покоя, – писала Екатерина, – я наравне с тобою три месяца стражду, пучусь и ожидаю облехчение от рассудка, но не нашед предаю время. Князю Гр[игорию] Ал[ександровичу] говорить буду». Разговор с Потёмкиным о чувствах Завадовского едва ли утешил последнего. Позднее Завадовский скажет, что назойливое присутствие Потёмкина его вовсе не смущало, но все свидетельствует о том, что он был испуган, расстроен и старался не показываться Потёмкину на глаза. «Я не понимаю, почему на меня не можешь воззреть без слез», – пишет Екатерина Завадовскому. Когда Потёмкин получил княжеский титул, она предложила, а точнее, повелела Завадовскому: «Буде ты пошел новую светлость поздравствовать, светлость приимет ласково. Буде запресся, не я, никто не привыкнет тебя видить» [3].

Много лет спустя рассказывали, что Потёмкин как-то раз

вспылил, велел императрице избавиться от Завадовского, ворвался в их покои, набросился на них и даже швырнул в Екатерину подсвечник [4]. Это описание вполне соответствует потёмкинским капризам, но непонятно, что могло его спровоцировать. Потёмкин мог решить, что Завадовский ему надоел; также вероятно, что ему не нравилась дружба Завадовского с недоброжелателями Потёмкина, в частности, с Семеном Воронцовым. Завадовский в самом деле имел ограниченный ум и некоторую склонность к подлости, что было совершенно несвойственно Потёмкину и, может быть, раздражало и саму Екатерину.

От дипломатов не укрылось бедственное положение Завадовского. Даже летом 1776 года, когда он был только что представлен публике, де Корберон уже интересовался «именем нового фаворита… потому что ходят слухи, что Завадовского скоро отстранят». Наблюдения дипломатов за личной жизнью Екатерины совмещали в себе элементы политической аналитики и сплетен в духе «желтой прессы»; для этого нужно было умение распознавать блеф и двойной обман. Как писал французский посланник, «чем очевиднее повышение, тем больше слухов об отставке».

Через год Екатерина тоже заметила его уныние, и это ее расстроило. В мае 1777 года она пишет Завадовскому: «Мне князь Ор[лов] сказал, что желаешь ехать, и на сие я соглашаюсь. ‹…› После обеда… я могу с тобою увидиться». Между ними состоялся тяжелый разговор, о котором Екатерина, разумеется, подробно рассказала Потёмкину: «Я посылала к нему и спросила, имеет ли он, что со мною говорить?» Она предложила ему выбрать посредника, который должен был совмещать функции литературного агента и юриста по бракоразводным делам и помочь сторонам договориться об условиях отставки. «На что он мне сказал, что… выбрал Гр[афа] Ки[рилла] Гр[игорьевича] Ра[зумовского]. Сие говорил сквозь слез ‹…› Прощай, миленький, забавься книгами», – добавляет она, по-видимому, отправляя подарок. Когда Разумовский уладил дела с уходом Завадовского, Екатерина пожаловала бывшему фавориту «три или четыре тысячи душ… к тому пятьдесят тысяч рублей и впредь тридцать тысяч пенсиона, да серебряный сервиз на шестнадцать персон…»

Екатерина очень переживала из-за расставания. «Я в страдании сердечном и душевном», – жалуется она Потёмкину [5]. Она всегда была щедра к своим любовникам, но, как мы увидим в дальнейшем, Завадовскому было даровано не в пример меньше, чем остальным фаворитам, исключая Васильчикова. Есть доля правды в высказывании швейцарского учителя Шарля

Массона: «Екатерина была терпелива в любви, но безжалостна в политике» [6].

Завадовский был безутешен. Екатерина со строгостью нянюшки велела ему найти успокоение в переводах Тацита – весьма характерный для эпохи неоклассицизма способ утешения. Затем она ожидаемым образом ободрила несчастного, сообщив, что «Дабы кн. Гр[игорий] Ал[ександрович] был с тобою по прежнему, о сем приложить старание не трудно… приближаться умы обо мне одинаково понятия и тем самым ближе друг к другу находящиеся, нежели сами не понимают». Без сомнения, необходимость угождать Потёмкину лишь усугубила душевные раны Завадовского. Его сердце было разбито: «Среди надежды, среди полных чувств страсти, мой счастливый жребий преломился, как ветер, как сон, коих нельзя остановить: исчезла ко мне любовь». Восьмого июня Завадовский в унынии уезжает на Украину. Князь Потёмкин, по словам британского посла сэра Джеймса Харриса, «теперь снова на вершине могущества» [7]. Разумеется, Екатерина, которая не желала «быть ни на час охотно без любви» [8], уже нашла нового избранника.

Двадцать седьмого мая 1777 года, в субботу, императрица прибыла в Озерки, одно из владений Потёмкина под Петербургом. Ее встретили пушечными залпами и торжественным обедом. Потёмкин всегда был склонен к пышным увеселениям. Он также пригласил тридцать пять гостей – придворную элиту, своих племянниц Александру и Екатерину Энгельгардт, кузенов Павла и Михаила Потёмкиных, и, наконец, гусара Семена Гавриловича Зорича, смуглого, кудрявого и мускулистого серба, которому недавно исполнился тридцать один год. Он впервые присутствовал на официальном приеме, однако Екатерина, по-видимому, уже была с ним знакома. Этого смельчака и красавца придворные дамы уже успели прозвать «Адонисом», а все остальные считали «настоящим дикарем». Он уже заслужил себе воинскую славу, и Потёмкин помнил его с Русско-турецкой войны. Зорич побывал в турецком плену; османы, не остыв от пыла битвы, часто отрубали пленным головы, но представителям благородных сословий сохраняли жизнь, чтобы потребовать за них выкуп. Поэтому Зорич гордо объявил себя графом – и уцелел.

Вернувшись, этот амбициозный пройдоха написал Потёмкину, и тот взял его к себе адъютантом. Помощники Потёмкина, разумеется, были представлены ко двору, и императрица обратила на Зорича внимание. Через несколько дней он стал официальным фаворитом, и его жизнь радикально изменилась. Он был первым из череды екатерининских фаворитов-«mignons», для которых этот пост был служебной

обязанностью. Восторгаясь внешностью Зорича и называя его «Сима» и «Сенюша», Екатерина все же скучала по своему Потёмкину. «Отдайте Сенюше приложенное письмецо. Куда как скучаю без Вас», – пишет она супругу [9]. Ранее сдержанность Завадовского служила Екатерине лекарством от буйств Потёмкина, а теперь пылкий серб стал ее отдушиной после унылого предшественника. Когда Завадовский узнал о появлении Зорича, он примчался обратно в Петербург и остановился у своих друзей Воронцовых.

Завадовский страдал, как «уязвленный олень», и придворные обращались с ним соответственно. Ему было велено держать себя в руках. Императрица уважала его чувства, но приказала вести себя сдержанно, дабы «утишить беспокойство» [10]. Чье беспокойство? Возможно, ее собственное. Но наверняка она также имела в виду мнительность «негтегрыза» Потёмкина. Так или иначе, Завадовский понял, что поскольку ему явно не удастся вернуть былое расположение императрицы, при дворе на него никто не станет обращать особенного внимания. Он вернулся к своей работе. Завадовский вызывает у нас определенное сочувствие благодаря своей прилежной государственной службе и романтическим страданиям, но нужно сказать, что последующие двадцать лет он бесконечно досаждал своим друзьям жалобами на всемогущество Потёмкина и его капризы. Он оставался предан Екатерине и десять лет жил холостяком. Благодаря щедрости императрицы он построил дворец в Екатеринодаре, с 250 комнатами, мраморной и малахитовой отделкой, а также обширной библиотекой и в самом центре поместил статую Екатерины в натуральную величину [11]. Однако его случай не вполне типичен для фаворита, поскольку, не получив от Екатерины никакой действительной политической власти, он тем не менее сделал выдающуюся карьеру и при екатерининском правлении, и после него[39].

Екатерина влюбилась в Зорича; Потёмкин был доволен своим бывшим адъютантом и пожаловал ему бриллиантовое перо на шляпу и роскошную трость [12]. Екатерина, которой приходилось прилагать массу усилий, чтобы заставить своих фаворитов уважать Потёмкина, писала: «Князюшка, перо мною получено и отдано Симе, и Сима разщеголял, по милости Вашей». Помня недавний визит тщеславного Густава III, она со смехом сравнила своего щеголя со «шведским королем» [13]. Зорич, который всегда был не прочь покрасоваться в богатом наряде, скорее напоминал напыщенного бойцового петуха, к тому же вскоре дала о себе знать его дикарская натура. Кроме того, он страдал болезнью века – страстью к азартным играм. Как только минула

первая увлеченность его наружностью и силой, Екатерина поняла, что он будет для нее обузой. И дело было не столько в игре – императрица и сама играла каждый день, а Потёмкин – ночи напролет, – сколько в том, что он был неспособен понять свое место в отношениях со светлейшим князем [14].

Несколько месяцев спустя всем стало очевидно, что фаворит вскоре утратит свой пост, и дипломаты вновь принялись предсказывать, кто же займет его место. «Если Зоричу откажут от должности, на смену может прийти персидский кандидат», – пишет сэр Джеймс Харрис уже второго февраля 1778 года. Но Зорич пока оставался на плаву, при этом сообщая во всеуслышание, что в случае отставки «призовет своего преемника к ответу», иными словами, вызовет на дуэль. Этот мускулистый фанфарон, вероятно, вызывал презрение екатерининских придворных. Он ошибался, если полагал, что подобные выходки отсрочат его падение – напротив, они-то как раз и сделали отставку неизбежной. «Бог свидетель, я отрублю уши тому, кто займет мое место!» – грозился он. Вскоре Харрис решил, что догадался, кто будет следующим фаворитом. Как и все дипломаты, сэр Джеймс полагал, что, «вероятно, нового любимца будет подыскивать Потёмкин, и я на днях услышал… что он уже остановил свой выбор на некоем Архарове, московском обер-полицмейстере средних лет и приятной наружности; он – скорее Геркулес, нежели Аполлон» [15].

Прошло три месяца, двор уехал на лето в Царское Село, и Зорич все еще был фаворитом. Когда императрица посетила театр, писал Харрис, светлейший князь представил ей «высокого гусарского офицера, одного из своих адъютантов. Она отнеслась к нему весьма благосклонно». Как только Екатерина ушла, Зорич «с яростью набросился на Потёмкина, осыпая его оскорблениями, и вызвал на дуэль». Потёмкин ответил на эту наглость презрительным отказом. Зорич устремился в императорские покои, где похвалился своим поступком. «Когда Потёмкин пришел следом, его приняли холодно, а Зорич был в фаворе».

Тогда Потёмкин покинул Царское Село и вернулся в город. Однако, как часто случалось с Екатериной и Потёмкиным, все было не так, как казалось. Дикарь получил приказ мчаться в Петербург вслед за князем и унизительно просить его принять приглашение на примирительный ужин. Светлейший вернулся, ужин состоялся, и «они опять выглядели друзьями». Зорич совершил роковую ошибку, восстав против Потёмкина, хотя этот поступок сам по себе едва ли мог стать решающим моментом, ведь так или иначе все фавориты вступали с Потёмкиным в конфликт. Но сэр Джеймс был прозорлив в отношении

Потёмкина: этот «коварный человек» «в итоге извлечет из резкости Зорича свою выгоду» [16].

В самом деле, спустя всего шесть дней Харрис пишет об отставке Зорича, «о которой ему мягко сказала сама императрица». Зорич разразился бурей упреков, вероятно, в адрес Потёмкина. Екатерина пожаловала ему чрезвычайно богатое имение Шклов с 7 000 душ и «огромную сумму наличными». Последняя запись о нем в камер-фурьерском журнале датируется 13 мая 1778 года [17]. На следующий день Екатерина встретилась с Потёмкиным на обеде в Кекерекексиненском дворце по пути из Царского Села в город: «Дитятя уехал, и это все, – писала она Потёмкину после обсуждения его военных планов. – О прочем переговорим вместе». Вероятно, она имела в виду свой новый объект увлечения.

В Кекерекексиненский дворец князь Потёмкин приехал в компании майора Ивана Николаевича Римского-Корсакова. Как и следовало ожидать, к моменту расставания с Зоричем Екатерина уже страстно увлеклась другим мужчиной. Восьмого мая Римский-Корсаков стал адъютантом Потёмкина, а Зорич в это время все бушевал и сыпал угрозами [18]. Екатерина вовсе не была бессердечной охотницей до наслаждений; каждый разрыв всегда становился для нее если не катастрофой, то по меньше мере тяжелым эмоциональным испытанием. Пока Зорич оставался в Петербурге, Екатерина, по словам Харриса, размышляла, не стоит ли вернуть «простодушного и смирного» Завадовского. Потёмкин, «который изобретательнее всех умел извлечь выгоду из любой ситуации, решил вмешаться в эти здравые рассуждения» и «в решающий момент» представил императрице Корсакова.

Пару дней спустя Екатерина вместе со своим двором и родственниками Потёмкина, в числе которых были и две его племянницы, уехала погостить в одно из имений князя, «чтобы забыть о своих печалях… в обществе нового любимца». Это имение под названием Осиновая Роща находилось в приграничных финских землях. Екатерина в письме Гримму описала прекрасный вид из окна на озера и леса и досадовала, что всю ее свиту пришлось разместить в десяти комнатах, – читатель этого письма ни за что бы не догадался, что новая любовь Екатерины уже столкнулась с препятствием. За внимание красавца-адъютанта пришлось сражаться двум великолепным и чувственным, хотя и немолодым женщинам [19].

В Осиновой Роще тогда гостили двадцать человек, включая старую подругу Потёмкина графиню Брюс, которая, по слухам, «испытывала» кандидатов в императорские фавориты. Вероятно,

именно она была той дамой, которая увлеклась Корсаковым. Екатерина заметила это и засомневалась в своей затее. «Боюсь пальцы обжечь и для того луче не ввести во искушение», – писала она Потёмкину в загадочном письме, в котором она как будто просит его удержать какую-то персону на расстоянии: «… опасаюсь, что вчерашний день расславил мнимую атракцию, которая, однако, надеюсь лишь односторонняя и которая Вашим разумным руководством вовсе прекратиться лехко может». Она, без сомнения, хотела заполучить «дитятю» себе, но: «И так, хотя не хотим и не хотя хотим. Черт возьми, сказано ясно как день». Даже по этим запутанным фразам можно рассудить, что она влюбилась в Корсакова и хотела устранить соперницу.

«Разумное руководство» Потёмкина помогло решить проблему. Графиня Брюс – если, конечно, это была в самом деле она, – пошла на попятную, и Екатерина обзавелась новым любимцем [20]. Каникулы в Осенней Роще подошли к концу. Через два дня, первого июня, Корсаков был официально назначен флигель-адъютантом императрицы. Напомним, что это была эпоха неоклассицизма, и двадцатичетырехлетний Римский-Корсаков с первого взгляда пленил Екатерину своей греческой «античной красотой»; она прозвала его «Пирром, царем Эпирским». В письмах Гримму она рассказывала, что его красота «приводила в отчаяние живописцев и скульпторов» [21]. По-видимому, Екатерине нравилось разнообразие типажей: в отличие от мускулистого мачо Зорича Корсаков был изящной и творческой натурой, и портретистам удалось передать идеальные классические черты его лица. Он любил петь и обладал соловьиным голосом, как говорила Екатерина князю Орлову. Она наняла ему учителя пения и осыпала подарками на общую сумму в полмиллиона рублей, а также пожаловала 4000 душ. Корсаков был заносчив, тщеславен и не блистал интеллектом, Харрис называл его «добродушным, но глупым» [22].

Екатерина вновь обрела счастье в обществе нового фаворита: «Прощайте, мое сокровище. Благодаря тебе и царю Эпирскому я весела, как зяблик, и хочу, чтобы и ты был также весел и здоров» [23]. Устроив любовное счастье императрицы, светлейший князь, занятый военным руководством и делами южных губерний, поднялся до таких высот, что вернувшийся в Петербург Завадовский увидел нового любимчика, уютно разместившегося в его прежних покоях, и был поражен: «князь Г[ригорий] П[отемкин] не имеет против себя балансу, – досадовал он в письме Румянцеву-Задунайскому. – Во все века редко Бог производил человека столь универсального, каковым есть Князь П[отёмкин]: везде он и все он» [24].

Сохранились страстные письма Екатерины «Эпирскому царю»: «Нетерпеливость велика видеть лучшее для меня Божеское сотворение. По нем грущу более сутки, уже навстречу выезжала». Харрис высказывается сдержанно: «Корсаков пользуется благосклонностью и лаской, которые всегда сопутствуют новизне». Корсаков определенно пользовался своим положением, возможно, даже слишком: Потёмкин предложил ему должность камер-юнкера, но тот захотел сразу стать камергером. Когда фаворит добился своей цели, Екатерина, чтобы не обидеть князя, назначила камергером и Павла Потёмкина. Вскоре Корсаков стал генерал-майором; король Польши прислал ему орден Золотого орла, и тот носил его, не снимая. Письма императрицы к Корсакову полны горячего чувства и трогательной благодарности: «…что же любишь, за то спасибо» [25].

Кое-что в их романе уже тогда не предвещало ничего хорошего, но Екатерина не могла или не хотела замечать эти тревожные знаки. Судя по переписке, Корсаков постоянно отсутствовал, и она никогда не знала, где он проводил время. Письма Екатерины много говорят нам о том, как невыносимо она нуждалась в нем и как он избегал ее общества: «Ни единая минута из мысли не выходишь. Когда-то вас увидим». Вскоре ее волнения приобрели почти болезненную форму: «Буде скоро не возвратишься, сбегу отселе и понесусь искать по всему городу». Этот эмоциональный голод лишал ее воли и делал чрезвычайно уязвимой – даже у такого непоколебимого политика, как Екатерина, была ахиллесова пята [26].

Прошло немного времени, и императрица, попавшаяся на крючок молодого ветреника, вновь впала в уныние. В начале августа 1778 года, через несколько месяцев после возвышения Корсакова, Харрис пишет в Лондон о том, что новый фаворит уже впал в немилость, а Потёмкин, Григорий Орлов и Никита Панин вступили в схватку, стремясь заменить его своим человеком. Через две недели Харрис даже смог разузнать, что «секрет партии графа Панина носит фамилию Страхов… и впервые был замечен на балу в Петергофе 28 июня». Если отношениям дадут ход, писал Харрис государственному секретарю Северного департамента графу Саффолку, «эра Потёмкина завершится». К концу года английский дипломат пришел к выводу, что Корсаков в безопасности, но «безусловно покорен воле князя Потёмкина и графини Брюс».

Имя графини Брюс было зловещим знаком. К концу января число кандидатов в любимцы умножилось: кроме Страхова, чьи «друзья были полны надежд», упоминался Левашов, майор Семеновского гвардейского полка. Он мог бы стать фаворитом,

если бы «молодой человек по имени Свиховский, которому покровительствовала госпожа Брюс… не попытался зарезаться от горя. Рана оказалась не смертельной». Любой пронесшийся шепот превращался в очередной слух о любовных связях Екатерины, даже не имея под собой особенного основания. И если эти дипломатические сплетни на самом деле не имели отношения к тому, что происходило в императорской спальне, тем не менее они свидетельствовали о напряженной политической борьбе среди придворных. Так или иначе, Харрис был информирован лучше остальных благодаря своей дружбе с Потёмкиным. К тому моменту даже он, недавно прибывший дипломат, знал, что в графине Брюс вновь проснулась ее «безумная страсть к Корсакову».

Во всем Петербурге ни от кого, кроме самой императрицы, не скрылось, что графиня Брюс отступилась от Корсакова лишь на короткое время. Дворцовые покои «Брюсши» и комнаты фаворита находились неподалеку от императорской спальни, и их отношения развивались прямо под носом Екатерины. Неудивительно, что императрица все время не могла найти своего любимца. Графиня Брюс была ровесницей Екатерины и имела репутацию благоразумной и опытной придворной дамы, но, похоже, красота «Эпирского царя» вскружила ей голову [27]. В то время светлейший князь и графиня были в ссоре, вероятно, из-за Корсакова. Потёмкин наверняка знал об этом романе с самого начала и стремился остановить Брюс. Скорее всего еще в сентябре он осторожно намекал на происходящее императрице, из-за чего они повздорили. Дипломаты объяснили эту ссору вспышкой ревности к панинскому протеже Страхову [28].

Светлейший князь не хотел ни ранить императрицу, ни утратить ее доверие из-за своего вмешательства и постарался решить проблему иначе. Когда Екатерина бродила по дворцу в поисках неуловимого Корсакова, некий друг Потёмкина направил ее в определенную комнату. Вероятно, этим другом была любимая племянница Потёмкина, фрейлина Александра Энгельгардт. Харрис мог слышать эту историю из уст самой Александры, поскольку она тайно получала деньги от англичан [29]. Екатерина застала графиню Брюс и Корсакова если не на месте преступления, то, по меньшей мере, в компрометирующих обстоятельствах. Так закончился недолгий фавор «глупого» Корсакова.

Императрица была задета и рассержена, но мстительность никогда не была ей свойственна. Десятого октября 1779 года она пишет Корсакову сердечное письмо: «Прозьбу мою, дабы вы

успокоили дух ваш и ободрили мысли, вам повторяю. На сей прошедшей неделе вы имели опыты, что пекусь о вашем благосостоянии, чем и доказано, что вы не оставлены». Получив щедрые подарки, Корсаков, однако, не покинул Петербург и самым недостойным образом хвастался в гостиных подробностями своей сексуальной жизни с императрицей. Весть об этом дошла до ушей заботливого Потёмкина, который слишком любил Екатерину, чтобы не обратить на это внимания. Когда она задумалась над тем, стоит ли ей наградить следующего фаворита, светлейший князь предложил впредь более скромно одарять Корсакова и его преемников. Тем самым он вновь задел гордость Екатерины. Щедрость помогала ей скрыть свои глубокие душевные раны и сгладить разницу между собственной зрелостью и молодостью фаворитов. По свидетельству Корберона, Потёмкин и Екатерина бурно спорили, но затем помирились.

Корсаков, однако, не унимался. Он имел наглость изменить не только императрице, но и графине Брюс, закрутив роман с главной придворной красавицей графиней Екатериной Строгановой, которая ради него оставила мужа и ребёнка. Это было чересчур даже для Екатерины. Неблагодарного экс-фаворита отослали в Москву, тем самым подведя черту под этой историей: графиня Брюс, тоже впавшая в немилость, последовала в Москву за «Эпирским царем». Но он уже потерял к ней интерес, и ей пришлось вернуться к своему мужу, графу Якову Брюсу [30]. Придворные вновь с энтузиазмом занялись игрой в любовную «угадайку», которая не уступала по популярности висту и фараону.

Обжегшись, Екатерина решила провести целых шесть месяцев без новых увлечений. В эти грустные времена, замечает Харрис, Потёмкин приобрел еще большее могущество: может быть, он вновь стал вхож в спальню Екатерины, желая утешить подругу?

Вполне вероятно, что в дальнейшем они то и дело возвращались к своим прежним утехам – на это намекают ее письма Потёмкину, где она шутит о «химических снадобьях Калиостро». Знаменитый мошенник граф Калиостро стал известен на всю Европу в 1777 году, затем снискал славу в столице Курляндии Митаве и отправился в Петербург – как раз в то время, о котором мы ведем наш рассказ.[40] Екатерина с восторгом пишет о снадобье Калиостро, «столь нежном и приятном и удобном, что оно благоухает и придает гибкость и уму, и чувствам. Но баста, баста, милый друг (*ит.*), не следует слишком надоедать вам…» [31]. Перед нами то ли шутливое описание некоего загадочного бальзама, купленного у этого

колдуна и торговца зельями, то ли намек на какие-то эротические достижения Потёмкина. Нетрудно догадаться, какой ответ ближе к истине, поскольку Екатерина не проявляла большого интереса к калиостровской алхимии, масонству и обещаниям вечной жизни, зато была далеко не равнодушна к ласкам Потёмкина.

Тем временем придворные изо всех сил старались отыскать для императрицы нового фаворита. Среди кандидатов были некто Станев, о котором история не сохранила никаких сведений, и внебрачный сын Романа Воронцова Иван Ронцов (через год он объявится в Лондоне и станет зачинщиком народных волнений во время мятежа лорда Гордона). Наконец весной 1780 года Екатерина остановила свой выбор на исключительно достойном молодом человеке – Александре Дмитриевиче Ланском.

Императрице шел пятьдесят второй год, а ее избраннику только исполнилось двадцать; по словам заезжего англичанина, он был «очень красивым юношей», наиболее вежливым и добросердечным и наименее амбициозным из всех ее фаворитов. «Ланской, конечно, не хорошего был характера», заявлял стремительно сделавший карьеру Безбородко, секретарь Екатерины, но в сравнении со своими преемниками он – «сущий ангел». Безбородко был в курсе всего происходившего в ближнем кругу Екатерины и наверняка знал, о чем говорил. Ланской оказался замешан по меньшей мере в одной интриге против светлейшего князя, но тем не менее его искреннее желание присоединиться к союзу Екатерины и Потёмкина отличает его от остальных фаворитов [32].

Гвардеец Ланской в течение нескольких месяцев служил адъютантом Потёмкина, и, вероятно, благодаря этому его заметила Екатерина. Поначалу, если верить свидетельству Харриса, который в то время ежедневно виделся с Потёмкиным, светлейший князь не рассматривал его кандидатуру. Он с неохотой согласился с этим выбором лишь благодаря щедрости императрицы, которая подарила ему ко дню рождения поместья и деньги: по словам Харриса, сумма составляла 900 000 рублей – достаточно, чтобы удовлетворить его алчность. Даже если у Потёмкина на примете был другой кандидат, князь всегда обладал чрезвычайной гибкостью в будуарных вопросах и в итоге поддержал Ланского.

Вскоре молодой человек получил должность генерал-лейтенанта и стал для Екатерины идеальным учеником и спутником. Ему недоставало образования, но зато он с увлечением учился новому. Ему нравились живопись и архитектура. В отличие от остальных он старался избегать

политики – хотя, разумеется, это было невозможно, – и постарался сохранить дружеские отношения с Потёмкиным, что тоже оказалось неисполнимым [33]. Несмотря на свое пристрастие к роскоши и на жадное семейство, Ланской представляется нам достойнейшим из фаворитов, поскольку он обожал Екатерину, а та отвечала ему взаимностью. Следующие четыре года Екатерина провела в спокойных отношениях с уравновешенным и добросердечным Ланским.

В мае 1781 года их безоблачное счастье ненадолго было нарушено. До Харриса дошли слухи, что императрица закрутила роман с новым фаворитом Мордвиновым, но благодаря Потёмкину Екатерине и Ланскому удалось преодолеть этот непростой период в своих отношениях. Если Екатерина флиртовала с кем-то, Ланской «не ревновал, не скандалил и не дерзил, но печалился о том, что впал в немилость… самым трогательным образом», так что любовь Екатерины к нему вновь оживала, и она и не помышляла с ним расстаться [34]. Императрица надеялась, что их счастье продлится до конца ее жизни.

Фаворитизм Екатерины был чрезвычайно выгоден Потёмкину. Когда ее отношения с любимцем были ровными и спокойными, он получал возможность вершить дела, которые обеспечили ему место в истории. Во время счастливого романа Екатерины с Ланским Потёмкин развернул бурную политическую деятельность – он изменил направление российской внешней политики, аннексировал Крым, основал несколько городов, освоил пустынные земли, создал Черноморский флот и реформировал армию. Но все-таки к концу жизни Екатерины ее сексуальные похождения обросли легендами и стали предметом шуток.

Некоторые соотечественники осуждали аморальное поведение Екатерины и Потёмкина, и, как правило, критиками оказывались представители политической оппозиции: в их числе были Семен Воронцов и окружение великого князя Павла – люди, отстраненные от власти. Мнение богобоязненного консервативного аристократа мы можем увидеть в сочинении князя Михаила Щербатова «О повреждении нравов в России». Книга была опубликована через много лет после смерти государыни, и в этом тексте князь откровенно обвиняет императрицу и Потёмкина во всеобщем падении нравов XVIII века. Он считал, что фаворитизм оказывал пагубное влияние на всю придворную обстановку: «К коликому разврату нравов женских и всей стыдливости – пример ея множества имения

любовников, един другому часто наследующих, а равно почетных и корыстями снабженных, обнародывая через сие причину их щастия, подал другим женщинам». Из-за коварного манипулятора Потёмкина расцвели буйным цветом «властолюбие, пышность, подобострастие ко всем своим хотениям, обжорливость и следственно роскошь в столе, лесть, сребролюбие, захватчивость и, можно сказать, все другие знаемые в свете пороки» [35].

Подобная выспренная чушь все чаще раздавалась в последние годы правления императрицы: интимная жизнь Екатерины неизбежно упоминалась в любом рассуждении иностранцев о России. После смерти Потёмкина оксфордский преподаватель и большой любитель сплетен Джон Паркинсон посетил Россию, собрал все мало-мальски пикантные слухи и соотнес их с романами Екатерины, не обойдя вниманием даже остроту о петербургских каналах: «В одной компании шел спор о том, постройка какого из каналов обошлась дороже всего. Один из присутствовавших заметил, что здесь не может быть никаких сомнений: безусловно, самый дорогостоящий канал – Екатерининский». О предмете высказывался и благопристойный джентльмен сэр Джордж Макартни, бывший посол. Этот политический деятель был отозван на родину из-за того, что прижил ребенка с фрейлиной императрицы, а в дальнейшем прославился своей первопроходческой миссионерской деятельностью в Китае, однако он не погнушался заявить, что любовь Екатерины к русским мужчинам объясняется тем, что «русские кормилицы якобы постоянно оттягивают половой орган мальчикам, пока те еще малы, благодаря чему в зрелости сие орудие становилось длиннее» [36]. Дипломаты шутили насчет «функций» и «обязанностей» фаворитов и отпускали остроты, которых постыдилась бы современная желтая пресса, но как правило, их сведения были далеки от реальности, а историки повторяли за ними выдумки, иллюстрирующие мужские фантазии о сексуальной ненасытности наделенных властью женщин. Это одна из тех страниц истории, которые неизменно истолковывают превратно.

Природа фаворитизма была обусловлена особой ситуацией Екатерины и ее необычными отношениями с Потёмкиным. Не вызывает сомнений, что каждый из тех, кто становился любимцем Екатерины, на самом деле вступал в союз троих, а не двоих. Фаворитизм был необходим, поскольку императрица жила в мире, где господствовали мужчины. Повторный публичный брак был для нее невозможен, к тому же она считала Потёмкина своим супругом, если не законным, то духовным. Они были настолько равны в силе своих личностей, способностей и чувств и настолько

схожи, что оказались не созданы для совместной семейной жизни, а Екатерина постоянно нуждалась в тепле и любви. Ей хотелось создать крепкую семью, она обладала сильным материнским инстинктом и даром наставлять и воспитывать. Ее эмоциональный голод был не слабее, чем ее знаменитые сексуальные аппетиты. Екатерина была из числа тех, кому обязательно нужен партнер, и чаще всего она расставалась с очередным фаворитом лишь после того, как находила следующего. Как правило, такое поведение объясняется скорее уязвимостью, чем распутным характером, но, возможно, одно не исключает другого. Есть также еще одна причина, по которой старевшая Екатерина искала молодых любовников, пусть даже с риском для своей репутации и достоинства. Она сама упомянула об этом, описывая соблазны елизаветинского двора. Среди придворных всегда много красивых мужчин, а она – их государыня. Екатерина вела себя так, потому что могла себе это позволить – словно ребенок у прилавка со сладостями. Да и кто бы на ее месте поступил иначе?

Положение фаворита императрицы превратилось в необычную официальную должность. «Любить государыню всея Руси – это придворная обязанность», – писал принц де Линь, главный соблазнитель эпохи Просвещения, который питал самые сердечные чувства к Потёмкину и Екатерине [37]. Вместо того чтобы поощрять распущенность среди придворных, Екатерина открыто объявляла о своем избраннике. Она надеялась, что фаворитизм исцелит ее двор от яда безнравственности. В каком-то смысле это была попытка подчинить свою интимную жизнь принципам философии Просвещения, ведь разум и ясность несомненно способны уберечь от любых предрассудков, в том числе облеченных в форму сплетен и двусмысленностей.

Несмотря на всю строгость в соблюдении приличий, для той эпохи была характерна сексуальная открытость. Даже императрица-королева Мария Терезия, образцовая католичка и моралистка, при дворе которой царила удушающе высокая нравственность, однажды дала Марии Антуанетте до странности откровенный гинекологический совет, касавшийся ее брака с Людовиком XVI. Екатерина же на публике придерживалась весьма строгих нравов. Она отчитывала графа де Сегюра, когда тот отпускал неуместные шутки, хотя и сама любила сострить. Однажды, осмотривая гончарную мастерскую, императрица так смело сострила, что Корберон, делая записи в своем дневнике, решил зашифровать ее слова: видимо, Екатерина с усмешкой заметила, что одна из посудин по форме напоминает вагину. Позднее секретарь императрицы писал, что однажды ее очень

рассмешили древние мифы, в которых женщины объясняли свою беременность божественным посещением. Пара скабрезных шуток за всю жизнь, проведенную на публике, – это не так уж много; хотя трудно представить, чтобы хоть одну подобную остроту произнесла Мария Терезия.

Вдали от людских глаз Екатерина была сдержанной, но совершенно земной женщиной. Письма Потёмкину и Завадовскому пронизаны животной чувственностью: вспомним, как она пишет, что ее тело взяло власть над разумом, и ей приходится каждому волоску делать «генеральное запрещение» показать «малейшую ласку». Она определенно любила секс, но, насколько нам известно, секс для нее всегда был неотделим от влюбленности. Не сохранилось никаких свидетельств того, что она вступала в интимную связь с мужчиной, не рассчитывая при этом на длительные отношения с ним. Дипломаты на все лады склоняли имена ее любовников и говорили, что те исполняют определенные «обязанности», – с тех пор такое восприятие фаворитизма стали разделять все вокруг.

Конечно, пока шли поиски подходящего партнера, «промежуточные» отношения и связи на одну ночь, скорее всего, все же имели место, но чрезвычайно редко, поскольку все это было не так-то просто устроить. К примеру, было почти невозможно впустить и выпустить любовника (даже будь он гвардейцем) из Зимнего дворца, не встретив по пути других гвардейцев, фрейлин, лакеев и придворных. Скажем, когда Екатерина в 1774 году отправилась на свидание с Потёмкиным, тогда уже официальным фаворитом, то не могла зайти в его покои, пока там находились адъютанты, которые были бы поражены, увидев императрицу, и ей пришлось тайком вернуться в свои апартаменты. Позднее один из фаворитов однажды провел ночь в ее будуаре и, выйдя наутро из дверей, встретил секретаря Екатерины – а тот сделал пометку об этой встрече в своем дневнике.

Всю свою жизнь императрица провела под пристальным взором публики; по сравнению с этим общественным вниманием даже сегодняшний век папарацци кажется более скромным. В Зимнем дворце каждое ее движение подмечалось и комментировалось. Вероятно, если бы в ее покои и правда наведывались целые гвардейские полки, это бы не осталось незамеченным. Только сам Потёмкин мог в любой момент попасть в апартаменты императрицы, поскольку его комнаты были соединены с комнатами Екатерины крытым коридором, к тому же весь двор признавал его особое положение [38].

Теперь поговорим о том, как фавориты оказывались в императорской спальне и какой становилась их жизнь после назначения. Роман Екатерины получал официальный статус при дворе в тот самый день, когда в камер-фурьерском журнале записывали, что некий молодой человек (как правило, гвардеец, выходец из провинциальных дворян и, следовательно, не ставленник какого-либо магната) был назначен генерал-адъютантом императрицы. Как мы могли видеть, некоторые из них уже состояли в помощниках у Потёмкина, благодаря чему получали возможность видеться с Екатериной [39]. Поэтому взволнованные слова дипломатов о том, что Потёмкин представлял Екатерине очередного офицера, могли относиться к совершенно рядовой встрече – но возможно было и обратное[41]. Однако можно предположить, что императрица сама предпочитала выбирать фаворитов из потёмкинской свиты, ведь они казались отмеченными неуловимым сходством с князем и знали принятый порядок.

Прежде чем получить место генерал-адъютанта, молодой человек должен был пройти несколько шагов. По легенде, Потёмкин попросту выбирал юношу из списка кандидатов. Если тот нравился Екатерине, то отправлялся на проверку к ее «е ´prouveuse» – придворной даме – «испытательнице», роль которой сперва исполняла графиня Брюс, а затем Анна Протасова. Автор сомнительных мемуаров Сен-Жан, одно время служивший в потёмкинской канцелярии, заявлял, что светлейший князь стал кем-то вроде врача-сексолога: предполагаемый фаворит находился при нем шесть недель, на протяжении которых тот «обучал его всему, что надлежит знать» любовнику императрицы [40]. Затем молодого человека осматривал дружелюбный шотландец доктор Роджерсон, и наконец фаворит отправлялся в комнаты Екатерины для самого главного испытания. Однако почти все вышеизложенное – ложь, особенно в той части, которая касается функции Потёмкина.

Как же на самом деле происходил выбор фаворита? Благодаря случаю, вкусу и хитроумию. Все охотно верили в сводничество Потёмкина: «теперь он играет ту же роль, что и мадам де Помпадур под конец своего сожительства с Людовиком XV», – писал Корберон. В действительности дела обстояли сложнее, поскольку речь шла о любви, выборе и чувствах чрезвычайно проницательной и полной чувства собственного достоинства женщины. Ни Потёмкин, ни кто-либо иной не могли просто «поставлять» ей мужчин. И тот, и другая были слишком горды, чтобы забавляться сводничеством. Потёмкин не «поставлял» ей Завадовского – тот уже работал в правительстве

Екатерины. На правах мужа и друга он, безусловно, дал свое одобрение этому роману, но сперва все же попытался избавиться от унылого секретаря. Говорили, что Зорич был «назначен» Потёмкиным. Так ли это было, мы можем узнать из переписки Екатерины со светлейшим князем, которая имела место в день торжественного обеда в Озерках, незадолго до того, как Зорич стал официальным фаворитом.

В своем письме Потёмкин «всеподданнейше» просил императрицу назначить Зорича его флигель-адъютантом, «пожаловав ему такую степень, какую Ваше Императорское Величество за благо признать изволите». Таким образом он проверял, по нраву ли Зорич Екатерине. Ее короткая резолюция гласила: «Определить с чином подполковника» [41]. Потёмкин желал Екатерине счастья и в то же время хотел сохранить свою власть. Возможно, подобный косвенный способ влияния (а вовсе не то, что бесстыдно вменяли ему дипломаты) позволял Потёмкину бережно прощупать почву, чтобы узнать, желает ли императрица оставить того или иного юношу при дворе или нет, не ущемляя при этом ее достоинства. Остановив свой выбор на новом фаворите, она часто обращалась к Потёмкину за «разумным руководством» [42]. Таким образом эти двое, изощренные политики и тонко чувствующие личности, нашли возможность обсуждать деликатные вопросы.

Екатерина принимала решения самостоятельно: когда она обратила внимание на Ланского, тот был одним из потёмкинских флигель-адъютантов, но светлейший князь склонялся к другому кандидату; затем они все же пришли к общему решению. Партии Паниных и Орловых постоянно состязались между собой в праве представить Екатерине потенциальных фаворитов – считалось, что любимцы приобретают огромное влияние, но на самом деле, вероятно, все было не так. Румянцев и Панин надеялись получить выгоду от возвышения Потёмкина, но он разочаровал их обоих.

Отправлялись ли фавориты на испытание? Тому не сохранилось никаких подтверждений, зато нам известно о ревнивости Екатерины и об ее собственническом отношении к фаворитам. Легенды об «испытательнице» основаны на интимной связи графини Брюс с Потёмкиным, возможно, имевшей место много лет назад, а также на том, что именно ей было поручено привезти его из Александро-Невской лавры к императрице; вспомним также ее роман с Корсаковым, начавшийся уже после того, как тот стал официальным фаворитом. Но может быть, хвастун Корсаков, впав в немилость, выдумал всю эту историю, чтобы оправдать свое поведение? Что же до медицинских проверок, мы не располагаем никакими доказательствами, однако

прежде чем допускать беззаботного гвардейца в спальню императрицы, разумно было бы отправить его на врачебный осмотр, чтоб проверить, не болен ли он сифилисом.

После этих формальностей счастливчик получал возможность обедать с императрицей, посещать все мероприятия, которые она удостаивала своим присутствием, а вечером отправляться в Малый Эрмитаж, чтобы сыграть в карты в узком кругу приближенных императрицы. За карточным столом собирались Потёмкин, обер-шталмейстер Лев Нарышкин, кто-то из братьев Орловых, если в тот момент Екатерина была к ним благосклонна, потёмкинские племянники и племянницы и какой-нибудь чудаковатый иностранец. Екатерина любила играть в вист или фараон, в буриме и шарады. Все взоры были направлены на нее и на нового любимца – хотя Потёмкин, вероятно, к тому моменту был уже в курсе дел. В 11 вечера Екатерина вставала и в сопровождении фаворита удалялась в свои покои. Таков был распорядок их петербургской жизни, который оставался почти неизменным постоянно – за исключением крупных праздников. Екатерина всегда была признательна Потёмкину за его советы, доброту и понимание в столь деликатных вопросах. Она писала ему после знакомства с Корсаковым: «Это ангел, большое, большое, большое спасибо» [43].

Официальная должность фаворита давала молодому человеку большие преимущества, однако в то же время приносила ничуть не меньшие неудобства. Среди преимуществ – землевладения, крепостные, драгоценности и наличные рубли, словом, все, чтобы основать новый аристократический род. Неудобств было два – Екатерина и Потёмкин.

Самое главное, что получал фаворит (и что служило основным доказательством его положения), – это наиценнейший объект недвижимости во всей России. Как и всегда в имущественных делах, все решало расположение: апартаменты в том же крыле дворца, где почивала императрица, имели такое же колоссальное значение, как апартаменты в Версале. Новый фаворит въезжал в богато украшенные покои, устланные зелеными коврами, соединенные с комнатами Екатерины тем самым знаменитым коридором. По слухам, в апартаментах его ждал приветственный подарок – некоторая сумма денег, то ли 100 000 рублей, то ли по 10 000 рублей еженедельно. Свидетельств об этих подарках не сохранилось, хотя из причитаний «содержанки» – Васильчикова нам известно, что Екатерина регулярно делала ему щедрые денежные подарки на именины, оплачивала богатые наряды и месячное содержание.

Легенда гласит, что в благодарность за свой новый пост фавориты возвращали Потёмкину в качестве откупа 100 000 рублей – словно бы они брали в аренду *его* покои. Но даже такой ненадежный источник, как Сен-Жан, не поверил этой истории – а это говорит о многом, поскольку обычно он безоговорочно верил любой чепухе [44]. Поскольку фаворит предполагал вскоре обзавестись несметными богатствами, вполне возможно, что он считал нужным отблагодарить человека, которому был обязан своим высоким положением, как принято благодарить своего патрона. Однако даже если такой обычай и вправду существовал, то маловероятно, чтобы неимущий провинциал имел лишние 100 000 рублей, чтобы заплатить Потёмкину. Есть лишь два подтверждения подобного откупа: один из поздних фаворитов подарил Потёмкину чайник, а другой отблагодарил его золотыми часами. Обычно же Потёмкин не получал ничего.

Фаворит и все его семейство становились богачами. «Поверь мне, мой друг, – писал Корберон, – здесь это ремесло на хорошем счету!» [45] Иностранцев поражало, как дорого обходились казне фавориты, особенно когда дело доходило до их отставки. «Не меньше миллиона рублей в год, не считая колоссальных средств на содержание, которое получали князья Орлов и Потёмкин», – писал Харрис. По его подсчетам, с 1762 по 1783 год Орловы получили семнадцать миллионов рублей [46]. Этим числам сложно найти надежное подтверждение, но Екатерина в самом деле была чрезмерно щедра, даже когда молодой человек дурно с ней обходился, – возможно, причиной тому было чувство вины или по меньшей мере понимание сложности положения фаворита. Она, вероятно, надеялась, что за показным великодушием удастся скрыть душевную боль. Невзирая на все это, в амбициозных кандидатах на должность любимца не было недостатка. Адъютант Потёмкина (и кузен его племянниц) Лев Энгельгардт заметил, что в тот период, когда Екатерина подыскивала себе нового любовника, «в придворной церкви у обедни сколько молодых людей вытягивались, кто сколько-нибудь собою был недурен, помышляя сделать так легко свою фортуну» [47].

Вся эта система договоренностей может показаться холодной и циничной, но на самом деле отношения Екатерины и фаворита были полны понимания, любви и тепла. Екатерина, искренне очарованная каждым из них, окружала любимца нежной и неусыпной заботой, часами беседовала с ним и читала. В начале каждого романа расцветали пышным цветом ее материнская любовь, немецкая сентиментальность и восторг перед мужской красотой. Она пела дифирамбы своему новому фавориту перед

каждым, кто был готов слушать – а императрицу слушать были вынуждены все. Несмотря на то, что большинству фаворитов недоставало ума и воспитанности, чтобы управлять страной, она всей душой любила каждого из них и надеялась провести с ним остаток своих дней. Когда роману приходил конец, Екатерина впадала в отчаяние и тоску и порой неделями не бралась даже за самые пустяковые государственные дела.

Жизнь подле императрицы со временем становилась невыносимой скучной – бесконечные обеды, партии в вист и обязанность проводить ночи с женщиной, которая в 1780-е годы разменяла шестой десяток и при всем своем обаянии и величии стремительно набирала вес и мучилась несварением желудка. Первые восторги от роскоши и близости к верховной власти вскоре улетучивались, и молодой человек двадцати с небольшим лет сталкивался с немалыми трудностями. Страсть Екатерины, по-видимому, действовала удушающе. Если у фаворита наблюдались хоть малейшие способности и сила духа, ему должно было быть чрезвычайно сложно день за днем тенью следовать за стареющей императрицей, которая обращалась с ним то как с примерным учеником, то как с содержанкой. Один из фаворитов назвал это унылой «тюрьмою». Придворные были настроены злобно. Любимцам казалось, что они живут «как между волками в лесу». Однако этот лес также населяли самые богатые, модные и знатные девушки, в то время как фаворитам приходилось ночевать в спальне грузной пожилой дамы. Оттого соблазну неверности было почти невозможно противостоять [48].

Ситуацию усугубляло неизменное присутствие Потёмкина в жизни Екатерины. Фаворитам, вероятно, было непросто смириться с тем, что им приходилось ублажать требовательную немолодую женщину, а все главные преимущества ее любви доставались не им, а Потёмкину, которого они должны были обожать с той же силой, что и она сама. Вслед за Васильчиковым почти все молодые люди отдавали себе отчет в том, что пока их баловали и содержали, Потёмкин оставался «господином» и супругом Екатерины. Императрица называла его «батя» и «милостивый Государь». В правительстве Российской империи не было места для второго Потёмкина.

Даже если фаворит искренне любил императрицу, как Завадовский или Ланской, это не гарантировало ему защиты от вмешательств Потёмкина, чьи комнаты были соединены коридором с покоями Екатерины. Он оставался единственным человеком во всей стране, которому позволялось являться к государыне без доклада. Во второй половине 1770-х годов Потёмкин часто бывал в отъезде, что, вероятно, было большим

облегчением, но вернувшись обратно в Петербург или Царское Село, он то и дело как вихрь врывался в комнаты императрицы – взлохмаченный, в подбитым мехом домашнем халате, розовой шали и красном платке. Тут уж весь день фаворита шел насмарку, поскольку никто не мог сравниться с Потёмкиным в остроумии и харизме. Неудивительно, что Завадовский убегал в слезах [49]. Екатерина следила за тем, чтобы фавориты угождали Потёмкину, тем самым признавая унизительный для них факт: именно он был настоящим главой семейства. Все любимцы направляли Потёмкину льстивые письма, а Екатерина, сочиняя ему письмо, в конце часто добавляла, что фаворит свидетельствует свое почтение, или прилагала маленькую записку от любимца.

Вполне вероятно, императрица стремилась к тому, чтобы фавориты воспринимали их с Потёмкиным как своих родителей. Собственного сына Екатерины Павла забрали у нее в младенчестве, с тех пор их отношения так и остались прохладными, Бобринского у нее не было возможности воспитывать, поэтому кажется естественным, что она окружала своих фаворитов, по возрасту годившихся ей в сыновья, материнским теплом. «Я делаю и государству немалую пользу, воспитывая молодых людей», – заявляла она, словно собираясь учредить пансион для будущих чиновников [50].

Если Екатерина исполняла роль матери, то, следовательно, ее супруг Потёмкин был отцом, главой этой необычной «семьи». Государыня часто использует слово «дитя», когда пишет о своих любимцах, а сами фавориты по ее указанию уважительно обращаются к Потёмкину «дядюшка» или «батюшка». Когда Потёмкин серьезно заболел в поездке по южным землям, Ланской был вынужден отправить ему следующее письмо: «Батюшка Князь Григорий Александрович! Вы не можете представить, сколь чувствительно огорчен я болезнию вашей. Несравненная наша Государыня Мать тронута весьма сею ведомостию и неутешно плачет. Я решился послать зятя моего узнать о здоровье вашем. Молю Бога, чтоб сохранил вас от всех болезней». Иногда он обращался к Потёмкину почти с теми же словами, что и Екатерина: «Любезный дядюшка, не можете представить, как мне без вас скушна, приезжайте, батюшка, наискарее». Может быть, Ланскому были не по душе подобные письма, но благодаря своей страстной натуре он искренне привязался к своему временному семейству. Как мы увидим в следующей главе, для поддержания этой причудливой семейной гармонии в круг близких были включены и другие родственники – племянницы Потёмкина.

Обходительность фаворитов не была напрасной. Светлейший князь тоже относился к любимцам Екатерины как к своим детям.

Когда гордый Зорич впал в немилость, Потёмкин проявил благосклонность и написал письмо королю Станиславу Августу с просьбой оказать бывшему фавориту достойный прием. Князь сообщил королю, что из-за некоего прискорбного происшествия – о котором мы уже говорили выше – Зорич временно лишен тех преимуществ, которые ранее получил благодаря своим воинским заслугам и безукоризненному поведению. Король Польши действительно оказал Зоричу поддержку во время его путешествий. «Рад услужить вам», – ответил он Потёмкину. А из благодарственных писем Ланского явствует, что Потёмкин отправлял ему дружеские записки и апельсины, а также способствовал продвижению по службе его родственников [51].

Фавориты были необходимы Потёмкину по простой причине: пока они были вынуждены сидеть подле Екатерины на торжественных обедах и проводить с ней ночи, Потёмкину доставалась вся власть. Придворным и дипломатам потребовалось несколько лет, чтобы осознать, что теоретически фавориты могли быть влиятельными, но лишь в том случае, если бы они смогли каким-то образом потеснить Потёмкина. Фрейлины, лекари и секретари императрицы тоже имели большое влияние в обществе, но у фаворитов было серьезное преимущество: она их любила. Однако пока Потёмкин был жив, этим постоянно сменявшим друг друга «офицерикам» не доставалось никакой реальной власти, даже невзирая на преклонный возраст императрицы. Как сказал граф фон дер Герц Фридриху II, «их специально выбирали из числа тех, у кого нет ни способностей, ни умения добиться… непосредственного влияния» [52].

Чтобы приобрести могущество, нужна определенная репутация в обществе, которая обеспечивала бы подчинение окружающих. Но по причине публичности самой системы фаворитизма репутация любимчиков оставляла желать лучшего. «Всегда одинаковым образом действий, каким она отмечала нового фаворита, она точно определяла ту степень доверия, на которую она его ставила, и границу, которую она назначала, – писал граф Роже де Дама, который близко знал Екатерину и Потёмкина. – Они увлекали ее за собой в решениях данного дня, но никогда не руководили ею в делах важных» [53]. Только Потёмкину и, в меньшей степени, Орлову удалось поднять свой престиж за счет того, что они были любовниками императрицы. Обычно появление нового фаворита было «событием незначительным для всех, кроме заинтересованных сторон, – объяснял Харрис своему государственному секретарю виконту Уэймуту. – Эти молодые люди… – креатуры Потёмкина, и их

смена лишь укрепляет его власть и влияние» [54]. Таким образом, если им удавалось выжить, они становились его сторонниками, а если нет, то перемены были ему только на руку. Так обстояли дела в теории, но на практике порой случались осечки.

Считается, что Потёмкин был способен устранить любого фаворита, когда ему заблагорассудится. Если Екатерина была довольна жизнью, Потёмкин мог свободно управлять своей частью империи. Рано или поздно наступал момент, когда он решал, что пора избавиться от очередного фаворита. Но на деле Екатерина только однажды удалила от себя фаворита по требованию Потёмкина – обычно она была влюблена и не обращала внимания на его ворчание. Светлейший князь не страдал от излишнего упрямства или мстительности и поэтому мирно сосуществовал с любимцем до той поры, пока не наступал очередной кризис. Ему было известно, что недалекие фавориты считали себя в силах свергнуть его власть. И часто это заканчивалось их отставкой.

Как правило, фавориты сами приближали развязку, утомляя императрицу – изменяя ей, как Корсаков, впадая в уныние, как Завадовский и сам Потёмкин, или ввязываясь в неуклюжие интриги против Потёмкина, как Зорич. Когда Потёмкин требовал их устранения, что случалось нередко, она, вероятно, просила его не совать нос в чужие дела, жаловала ему очередное поместье или восторгалась новыми строительными планами в его городах. Порой она негодовала, что он скрывал от нее измены фаворитов, но скорее всего, Потёмкин знал, что в тот момент Екатерина была безумно влюблена, поэтому не имело смысла открывать ей правду.

Светлейший князь любил похваляться тем, что Екатерина всегда нуждалась в нем в трудную минуту, будь то из-за политических проблем или любовных печалей. Когда в будуаре приключался кризис, его поддержка оказывалась особенно незаменимой; в мае 1781 года, во время неурядиц, связанных с Ланским, Харрис писал в Лондон: «В эти решающие моменты влияние моего друга безгранично, и на любую, даже самую безумную просьбу он получает согласие» [55]. Но дело было не только в этом.

В трудные периоды, например, во время унизительной истории с Корсаковым, Потёмкин вновь становился ее супругом и любовником. «Когда иные способы добиться своей цели не помогали, он на несколько дней вновь брал на себя функции фаворита» [56], – сообщал своему императору Иосифу II австрийский посланник граф Людвиг фон Кобенцль, один из немногих иностранцев, действительно близко знавших

Потёмкина и Екатерину. Переписка князя и императрицы свидетельствует о том, что их отношения оставались столь близкими, что оба они, не раздумывая, были готовы в любой момент провести вместе ночь. Потому некоторые мемуаристы называли его «favori-en-chef», а остальных фаворитов – «sous-favoris». Неудивительно, что «sous-favoris» были неспособны смириться с положением Потёмкина и пытались плести против него интриги.

Система фаворитизма помогла Потёмкину и Екатерине разрешить трудности в своих отношениях и была призвана сберечь их дружбу, провести черту между политикой и любовью и сохранить политическое влияние Потёмкина. Эта система была эффективней, чем большинство супружеских союзов, но и у нее были свои изъяны. Ведь даже два этих искусных манипулятора не могли полностью держать фаворитизм под контролем – было трудно управлять столь сложным сочетанием любви, секса, жадности и амбиций.

Таким был их способ излечиться от ревности. Когда в 1780 году Екатерина наконец обрела свое счастье с Ланским, ее совершенно не беспокоили скандальные потёмкинские выходки. «Власть Потёмкина усилилась, – писал Харрис Уэймуту, – и ничто не способно поколебать ее, если только не подтвердятся слухи…» Что же это были за слухи? Похоже, Потёмкин собирался «жениться на своей любимой племяннице» [57].

12. Его племянницы

Потёмкин был в то время знаменит.
Геракла он имел телосложенье…

Дж. Байрон. «Дон Жуан». VII: 36

В 1775 году ко двору прибыли сестры Энгельгардт – пять провинциальных девушек, оставшихся без матери, малообразованных, но замечательных своей красотой. Усилиями дядюшки они почти мгновенно преобразились в утонченных барышень, и с ними стали обходиться как с членами императорской семьи – почти как с великими княгинями [1]. Когда роман императрицы и Потёмкина завершился, князь сразу сблизился со своей племянницей Варварой Энгельгардт, совсем еще юной красавицей. При дворе поползли слухи о том, что Потёмкин пал настолько низко, что соблазнил всех пятерых девушек.

Поскольку теперь он вновь приобрел определенную свободу, Потёмкин тут же погрузился в омут тайных страстей и открытых любовных связей с авантюристками и аристократками – эти отношения были настолько запутанны, что сбивали с толку и его современников, и нынешних историков. «Подобно Екатерине, он был Эпикурейцом», – писал граф Александр Рибопьер, сын одного из потёмкинских адъютантов, женившийся на его внучатой племяннице. «Чувственныя удовольствия занимали важное место в его жизни; он страстно любил женщин и страстям своим не знал преграды» [2]. Теперь он мог вернуться к своему любимому образу жизни. Потёмкин поздно просыпался и навещал Екатерину, проходя по крытому коридору; он то исступленно работал, то лихорадочно предавался наслаждениям, то разгребал кипы государственных бумаг и приводил в порядок свои стратегические замыслы, то увлекался любовными романами, теологическими дебатами и ночными пирушками, засиживаясь до рассвета за зеленым карточным столом.

Но ничто так не поражало современников, как слухи о его пятерых племянницах. Ни один из дипломатов не умолчал об этом в письмах своим заинтригованным монархам, смакуя подробности с плохо скрываемым удовольствием. Корберон

докладывал в Версаль, где только что на престол взошел чопорный Людовик XVI: «Вы можете составить представление о нравственности русских, взглянув на то, как Потёмкин покровительствует своим племянницам». Чтобы подчеркнуть всю чудовищность этих аморальных деяний, он добавляет, словно кривясь от отвращения: «Одной из них всего двенадцать лет, и ее с неизбежностью ждет та же судьба». Семену Воронцову тоже претила эта ситуация: «Мы видели, как князь Потёмкин устроил себе гарем из собственных родственниц прямо в императорском дворце, где у него были апартаменты». Какое «неслыханное бесстыдство»! Скандальная история о племянницах была принята за чистую монету, но действительно ли Потёмкин соблазнил всех пятерых, даже самую юную? [3]

«Почти что великие княгини» стали подлинным украшением екатерининского двора и самыми богатыми наследницами во всей империи; от них произошли многие дворянские династии России. Ни одна из них, однако, не забывала своего происхождения и своего дядюшки: своей славой они были обязаны полуцарственному статусу и высокому положению светлейшего князя.

При дворе блистали только пять сестер Энгельгардт, поскольку старшая, Анна, покинула отчий дом еще до возвышения Потёмкина, выйдя замуж за Михаила Жукова. Впрочем, князь заботился также и о ее семье и поспособствовал тому, чтобы ее муж стал губернатором Астрахани. Следующей по старшинству была великолепная Александра Васильевна – в 1776 году ей было 22 года, она стала любимой племянницей Потёмкина и, если не считать императрицы, ближайшей его подругой. Она прибыла в столицу уже взрослой женщиной, поэтому ей было труднее освоиться с придворными порядками. Александра была заносчива под стать самому Потёмкину, и обладая «умом и характером», она «облеклась в какую-то величественность и ею прикрывала недостатки своего воспитания» [4]. Ее отличала деловая и политическая хватка и способность к искренней дружбе. С портретов на нас смотрит стройная девушка с темными, убранными назад волосами, выступающими скулами, умными голубыми глазами, широким чувственным ртом, маленьким носом и алебастровой кожей. Природа наградила ее грациозным телом и изяществом; она пользовалась всеобщим уважением как член императорской семьи и конфидантка влиятельнейшего государственного мужа.

Третья сестра, двадцатилетняя Варвара, обладала несравненным обаянием, которое не раз ее выручало. Все

восхищались ее сияющими светлыми волосами, а Державин называл ее «златовласой Пленирой». Даже в зрелом возрасте она обладала стройной фигурой, о чем нам известно из мемуаров Филиппа Вигеля: «черты ее были бесподобные, и в сорок лет она сохраняла свежесть двадцатилетней девы». В отличие от своей сестры Александры Варвара была чужда политике и отличалась восторженностью, кокетством, своенравием, взрывным темпераментом и бесконечной требовательностью. При жизни Потёмкина никто не решался осуждать ее за дурной характер и манеры; однажды она оттаскала за волосы подругу, а в другой раз велела высечь одного из управляющих своего поместья. Нетерпимая к напыщенности и продажности, она была очень добра к слугам – но не всегда к крепостным [5]. Пройдут годы, и потребуется применить силу, чтобы подавить крестьянское восстание в ее землях.

Надежда, девушка пятнадцати лет, рыжая и смуглая, наверняка находилась в жалком положении гадкого утенка в лебедином семействе, но Потёмкин произвел ее в фрейлины вместе с остальными. Ее упрямство порой раздражало окружающих: Потёмкин, любитель придумывать всем прозвища, жестоко прозвал ее «безнадежной». Пятая сестра – благодушная и апатичная Екатерина, уже в юные годы стала самым ярким бриллиантом среди потёмкинских племянниц. В 1790 году художница Элизабет Виже-Лебрен изобразила ее любующейся в зеркало на свое ангельское личико, обрамленное прекрасными русыми кудрями. Французский посланник Сегюр писал, что Екатерина могла служить моделью для изображения головы Венеры. И, наконец, самую младшую сестру звали Татьяна – в 1776 году ей было семь лет, и она росла такой же красивой и разумной, как Александра. После того, как Потёмкин покинул спальню императрицы, он влюбился в Варвару [6].

«Матушка, Варинька, душа моя, жизнь моя, – писал Варваре Потёмкин. – Ты заспалась, дурочка, и ничего не помнишь. Я, идучи от тебя, тебя укладывал и разцеловал, и одел шлафраком и одеялом, и перекрестил». Можно предположить, что это письмо писал заботливый дядюшка, который просто пожелал доброй ночи своей племяннице и подоткнул одеяло, но текст письма прямо говорит о том, что он уходил из ее спальни утром, проведя с ней ночь. «Ангел мой, твоя ласка столько же мне приятна, как любезна. Друг безценный, сочти мою любовь к себе и увидишь, что ты моя жизнь и утеха, мой ангел; я тебя целую без счета, а думаю еще больше». Хотя эти строки были написаны в век чувствительности и принадлежат перу эмоционального и непринужденного князя, благопристойному дядюшке совершенно

не подобает выражать подобные чувства. Он часто называл ее «сокровищем», «милым божеством», «сладкими губками», «любовницей нежной» и в конце письма прибавлял: «целую всю тебя». Эти записки откровенны и чувственны до бесстыдства, но в то же время демонстрируют и родственные чувства – в одном из них, к примеру, Потёмкин приглашает Варвару на обед и поясняет, что пригласил и сестёр. В другом письме он сообщает: «Завтра пойду в баню!» Памятуя о его встречах с императрицей в бане Зимнего дворца, можно заключить, что он приглашал племянницу на свидание.

В то время Потёмкину исполнилось тридцать семь лет – на семнадцать больше, чем Варваре, и такая разница в возрасте между любовниками была делом вполне обыденным. Сестры Энгельгардт и их нескладный братец Василий отныне ежедневно появлялись при дворе, а по вечерам бывали в особняках Потёмкина – в Шепелевском доме и в Аничковом дворце. Они посещали дядюшкины обеды и наблюдали, как он играет в карты с императрицей в Малом Эрмитаже. Племянницы стали не только его драгоценным украшением, но и друзьями, семейным кругом и свитой. Насколько нам известно, у него не было детей, поэтому сестры оказались к тому же его наследницами. Неудивительно, что Потёмкин, герой в глазах своих родных, выбрал себе в любовницы первую кокетку в семье – Варвару.

Их переписка чрезвычайно характерна для романа зрелого мужчины и молоденькой девушки. Например, сообщая Варваре, что императрица пригласила их на обед, Потёмкин напутствует: «Сударка, оденься хорошенько и будь хороша и мила» и велит следить за своими манерами. Из загородной поездки – вероятно, из Царского Села, – он пишет: «Я завтра буду в городе. ‹…› Отпиши, голубушка, где ты завтра будешь у меня – в Аничковом или во дворце». Варенька часто видела императрицу и Потёмкина вместе. «Государыня сегодня изволила кровь пустить, и потому не кстати ее беспокоить, – сообщает он. – Поеду к Государыне и после к вам зайду».

Варвара тоже была влюблена в него – она часто называет его «жизнь моя» и, подобно всем его любовницам, беспокоится о его здоровье, одновременно купаясь в его роскоши: «Папа, жизнь моя, очень благодарю за подарок и письмо, которое всегда буду беречь. Ах, мой друг папа, как я этому письму рада! Жизнь моя, приеду ручки твои целовать… В мыслях тебя целую миллионы раз». Однако вскоре ее обуревают мрачные мысли, и они начинают ссориться: «Напрасно вы меня так ласкаете, – пишет она. – Я уже не есть так, которая была. ‹…› Послушайте, я теперь вам серьёзно говорю, если вы помните Бога, если вы когда-нибудь

меня любили, то, прошу вас, забудьте меня на веки, а я уж решилась, чтобы оставить вас. Желаю, чтобы вы были любимы тою, которую иметь будете; но верно знаю, что никто вас столь же любить не может, сколько я». Кто знает, ревновала ли в самом деле эта кокетка (а у Потёмкина, безусловно, в то время были и другие женщины) или лишь притворялась?

«Варенька, ты дурочка и каналья неблагодарная, – отвечает ей Потёмкин, вероятно, в пылу той ссоры. – Можно ли тебе сказать: Варенька неможет, а Гришенька ничего не чувствует. Я за это, пришедши, тебе уши выдеру». Может быть, он действительно приехал к ней разгневанный, потому что затем она пишет: «Хорошо, батюшка, положим, что я вам досадила, да ведь вы знаете, когда я разосплюсь, то сама себя не помню…» Итак, Варенька сердилась и рисовалась, а Потёмкин испытывал на себе все тяготы положения немолодого мужчины, увлекшегося избалованной девчонкой. Императрица, которая приглашала Варвару на все торжества и была в курсе их отношений с дядюшкой, не возражала против этой связи, раз она приносила Потёмкину счастье. Екатерина делала все возможное, чтобы приблизить Варвару к себе и к Потёмкину. Когда одна из придворных дам выехала из дворца, Потёмкин попросил императрицу «приказать мадам Мальтиц [гофмейстерине при фрейлинах Екатерины], чтоб комнаты К[нягини] Катерины Николавны отдать моей Варваре Васильевне». Императрица отвечала: «прикажу» [7].

Известия о шокирующем романе дошли до Москвы, и о них узнала Дарья Потёмкина. Потрясенная мать Потёмкина постаралась положить этому конец, но князь в гневе швырнул ее письма в камин, не читая. Дарья напустилась и на Варвару: «прежде я получила письмо от бабушки, которое меня взбесило», – рассказывает Варенька Потёмкину, а затем вновь пускает в ход все свое очарование и ласку: «Душка злая моя, ангел мой, не взыщи, сокровище мое бесценное».

Когда Потёмкин стал проводить больше времени в подчиненных ему южных губерниях, Варвара будто бы сникла. Екатерина решила вмешаться. Харрис навел справки: «Ее Величество имела беседу с князем XXX о его распущенности и о позоре, который он навлек на себя и племянницу…» Но британское самодовольство помешало Харрису постичь суть отношений императрицы и Потёмкина. Снисходительные насмешки Екатерины над его страстью к племяннице живо демонстрируют нам открытость их супружеского союза: «Слушай, голубчик, Варенька очень неможет. Si c’est Votre depart qui en est cause, Vous aves tort[42]. Уморишь ее, а она очень мне мила

становится. Ей хотят кровь пустить» [8].

Вправду ли Варенька чахла от любви к дядюшке или у дурного настроения была иная причина? Коварная девушка, должно быть, вела двойную игру. Поначалу ее письма дышат любовью, но позднее их тон меняется. Потёмкин все еще любил ее, хотя и понимал, что вскоре ей нужно будет выйти замуж: «Победа твоя надо мною и сильна, и вечна. Если ты меня любишь – я счастлив, а ежели ты знаешь, сколько я тебя люблю, то не остается тебе желать чего-либо больше». Став взрослой женщиной, она в самом деле возжелала большего. Варвара уже познакомилась с князем Сергеем Федоровичем Голицыным, представителем большой и влиятельной семьи, и увлеклась им.

Нам неизвестно, долго ли страдало разбитое сердце Потёмкина, но он позаботился о том, чтобы племянницы нашли себе наилучших женихов, для чего определил им огромное приданое. Родственный долг вынудил его положить конец этому роману. «Ну, теперь все кончилось; ожидала я этого всякую минуту с месяц назад, как я примечала, что вы совсем не таковы против меня, как были прежде. Что же делать, когда я так несчастлива? ‹…› Посылаю к вам все ваши письма, а вас прошу, если помните Бога, то пришлите мои…» Стало быть, это было обоюдное решение. Она писала: «Я очень чувствую, что делала дурно, только вспомните, кто этому причиною?»

Потёмкин повел себя благородно. В сентябре 1778 года он убедил князя Голицына жениться на Варваре, и тот согласился. В январе 1779 года Харрис сообщает: «Позавчера во дворце состоялось их весьма пышное венчание». Екатерина присутствовала на свадьбе Варвары, как впоследствии посетит и венчания остальных сестер Энгельгардт. Варвара и Потёмкин оставались близки друг другу до конца его жизни, и она продолжала писать ему чувственные и игривые письма: «Целую ручки твои; прошу тебя, папа, чтоб ты меня помнил; я не знаю, отчего мне кажется, что ты меня забудешь – жизнь моя, папа, сокровище мое, целую ножки твои». Как и все, кто близко знал Потёмкина, она писала ему с просьбой приехать поскорее и спасти ее от скуки. Подписывалась она по-старому: «Дочка твоя – кошечка Гришинькина» [9].

Брак Варвары и Сергея Голицыных был счастливым; супруги воспитали десятерых детей. Императрица и светлейший князь стали крестными родителями старшего сына по имени Григорий, который родился в том же году: по мнению современников, его настоящим отцом был Потёмкин. Это вполне вероятно – и ребенком, и взрослым Григорий Голицын внешне поразительно напоминал своего дядю; удивительная загадка генетики.

После замужества Варвары, заметил Харрис, «Александра Энгельгардт приобретает власть над Потёмкиным еще большую, чем сестра». Похоже, что Потёмкин обратил свой взор на ту племянницу, с которой имел больше всего общего. Их любовные письма не дошли до наших дней, но сплетники уверяли, что они были любовниками (хотя, конечно, это совсем не достоверно). Александра, или «Сашенька», была «очень милой и складной девушкой, наделенной замечательным даром плести интриги при дворе», сообщал Харрис со смесью восхищения и зависти, поскольку сам с увлечением, хотя и без особого успеха, занимался интригами. Он был уверен, что именно Александра направила Екатерину в ту злополучную комнату, где та застала графиню Брюс наедине с Корсаковым.

Сашенька всюду сопровождала императрицу и светлейшего князя. «Если дядюшка не изменит своих чувств к ней, – писал Харрис, – то она наверняка станет новой конфиданткой [Екатерины]». Их отношения стали столь близкими, что несколько польских семейств даже распустили нелепый слух, что Александра якобы была дочерью Екатерины. И Александра, и великий князь Павел родились в 1754 году, и легенда гласит, что когда Екатерина произвела на свет дочь, а не мальчика-наследника, то спрятала девочку и подменила ее сыном крестьянки-калмычки, который и стал императором Павлом Первым [10]. Более простое объяснение их близости с императрицей состоит в том, что Александра была племянницей Потёмкина и выдающейся женщиной, многого добившейся собственными силами. Ее роль неофициального члена императорской семьи внушала уважение к ней и 40 лет спустя.

Теперь она стала хозяйкой в доме Потёмкина. Приглашение на ужин от нее означало благоволение Потёмкина. Харрис деликатно сообщал в письмах на родину, что Александра «умеет ценить подарки». Она принимала дары и деньги от британского посла, и он порекомендовал ее своему преемнику Алану Фицгерберту в качестве надежного источника. Она была деловой женщиной, выручавшей миллионы на продаже зерна и леса и в то же время славилась добротой к крепостным [11]. В конце 1779 года страсть Потёмкина к Александре остыла, но они остались ближайшими друзьями.

Теперь князь завел долгие отношения с пятой сестрой, Екатериной, хотя мы вновь не располагаем их любовной перепиской, чтобы убедиться в этом. «Поговаривают даже о готовящейся свадьбе Потёмкина и маленькой племянницы, в которую он влюблен пуще прежнего» [12]. Катенька, Катишь, или «котенок», как ее прозвали Потёмкин и императрица, была

Венерой среди своих сестер. «Благодаря восхитительному лицу в сочетании с ангельской кротостью ее очарование было неотразимым», – писала Виже-Лебрен. Потёмкин называл ее ангелом во плоти – «и никогда это имя не было более справедливым», – как говорил позднее своей жене принц Нассау-Зиген [13].

Ей не хватало образования и любознательности, зато она была необыкновенно соблазнительна. Она совмещала в себе темпераменты блондинки и мулатки – неизменно томный и беззаботно сексуальный. Виже-Лебрен вспоминала, что для Катеньки наивысшим удовольствием было растянуться на диване без корсета, завернувшись в большую черную шубу. Когда гости спрашивали, отчего она никогда не носит роскошнейшие драгоценности, которыми ее наверняка осыпает Потёмкин, она лениво отвечала: «Зачем же? Для кого?» Самая добросердечная из троих племянниц-любовниц, она «верила в искренность чувств Потёмкина, чтобы его не обидеть». Князь обычно влюблялся лишь в страстных и хитроумных женщин, и Катенька была для него слишком мечтательной и пассивной. Он любил ее меньше других сестер, но их роман тем не менее был самым долгим. Князь заявлял, что быть ее любовником – значит вкусить лучших плотских наслаждений; не слишком галантный комплимент, зато полученный от бесспорного знатока [14].

В конце 1780 года дипломаты сообщили, что «семейный гарем» Потёмкина стал причиной «дьявольской ссоры» при дворе. Своенравная Варвара Голицына, ныне представительная замужняя женщина, дерзко высказала свою точку зрения на личную жизнь императрицы. Эта грубая бестактность возмутила Екатерину. Варвара заявила во всеуслышание, что негоже наказывать человека, если он говорит чистую правду, – чем только усугубила свою глупую выходку. Потёмкин тоже пришел в ярость и выслал ее в одно из голицынских имений. В этот неподходящий момент Катенька, «ангел во плоти», якобы забеременела от своего дяди. Доктор Роджерсон порекомендовал поездку на воды. Потёмкин убедил Варвару поехать с сестрой. Корберон восхищенно писал, что с помощью этого типичного для Потёмкина маневра ему удалось избежать катастрофы и представить ситуацию так, будто Варвара не уезжает в ссылку, а просто сопровождает сестру в оздоровительной поездке, а Катенька вместо того, чтобы скрывать свой живот, отправляется в путешествие с Голицыными. На момент отъезда Катенька, вероятно, была уже на шестом месяце беременности.

Екатерине пришла в голову идея, которая расстроила Потёмкина и вызвала очередной скандал. Получив должность

фрейлины летом 1777 года, Катенька сразу привлекла внимание Бобринского, сына Екатерины и князя Орлова, о чем императрица со смехом упомянула в письме Потёмкину [15]. Бобринский влюбился в девушку, а Екатерина, если верить Корберону, даже пообещала, что отдаст Катеньку ему в жены. Алексей Бобринский, легкомысленный ловелас, был жертвой своего происхождения – оно делало его всем и в то же время никем. В тот век многие внебрачные дети царских особ умудрялись построить прекрасные карьеры – среди них особенно выделялся маршал Людовика XV Мориц Саксонский, сын короля Польши и Саксонии Августа II Сильного. Но Бобринскому это не удалось – он был неисправимый мот. Должно быть, он отказался жениться на девушке, беременной от собственного дяди? Или же Потёмкин возражал против этого брака, поскольку считал Бобринского дураком – и что того хуже – вторым Орловым? Эта этическая, сексуальная и семейная загадка демонстрирует нам всю сложность придворных нравов [16].

Удалившийся в Москву Алексей Орлов-Чесменский ненавидел Потёмкина – он почуял кровь и в сентябре 1778 примчался в столицу в надежде свергнуть светлейшего князя. Два великана-соперника, Циклоп и Меченый, одновременно прислуживали за императорским столом, при этом Потёмкин беззаботно шутил и держался с олимпийским спокойствием. «Мое перо не в силах описать… эту сцену, где в игру вступали все страсти, каким только подвластен человек, и эти страсти были замаскированы с помощью самого искусного лицемерия», – рассказывал Харрис. Орлов-Чесменский намеревался в последний раз попытаться свергнуть власть светлейшего князя и заявил Екатерине, что Потёмкин «разрушил вашу армию»: «его единственный выдающийся талант – это коварство», а единственная цель – «обрести монаршую власть». Екатерину расстроила эта речь, однако она решила помирить противников. «Будьте другом Потёмкину, – просила она Орлова-Чесменского, – убедите этого выдающегося человека, что ему надлежит быть осмотрительнее… и не забывать о тех обязанностях, которые сопутствуют его высоким должностям…»

«Вы знаете о моей преданности вам, государыня, – сказал Меченый. – Я раб ваш… и если Потёмкин тревожит ваш покой, велите мне разобраться. Он исчезнет немедля…» Предложение убить Потёмкина, возможно, лишь дипломатический слух, но всем было известно, что Орлов-Чесменский выполнил бы такой приказ не задумываясь. Екатерине эта идея не понравилась, и после этих слов власти Орловых пришел конец [17].

Несмотря на ссоры, Потёмкин и Екатерина настолько

погрузились в реформирование внешней политики, что его политическое положение было абсолютно устойчивым. Когда разгорался скандал, Потёмкин поступал просто: он угрюмо удалялся от дел и выжидал, пока императрица успокоится. Что же касается Катеньки, насколько нам известно, она вернулась из своей поездки без младенца.

В 1781 году Татьяна, самая юная из племянниц, тоже получила фрейлинский шифр; ей было всего двенадцать лет, но «силы духа уже не занимать». Когда ее дядя подолгу отсутствовал в южных губерниях, она писала ему письма крупным детским почерком. Эти тексты отчасти проливают свет на внутреннюю жизнь «семейства» Потёмкина и Екатерины. Почти все они заканчивались одинаково – так же, как это письмо от третьего июня 1785 года: «Я жду вашего возвращения с живейшим нетерпением». Как и остальные сестры, Татьяна скучала без светлейшего князя: «Не знаю, дорогой дядюшка, когда буду иметь счастье увидеть вас – кого спрашиваю, отвечают, что им это неведомо, и говорят, что вас не будет всю зиму. Ах! Если они сказали правду, то как же это долго! Но я не верю этим шутам». Он осыпал ее подарками: «Мой дорогой дядюшка, тысяча, тысяча и миллион благодарностей за ваш щедрый дар, я никогда не забуду вашу доброту и молю вас сохранить ее навсегда. Я сделаю все возможное, чтобы заслужить вашу щедрость». Она никогда не была его любовницей [18].

Все потёмкинские родственники считались членами расширенной семьи Екатерины, которая также включала в себя ее любовника Ланского. Екатерина заботилась не только о сестрах Энгельгардт, но и о другой родне – его кузен Павел Потёмкин, который помог справиться с пугачевским бунтом, получил должность наместника Кавказа, а брат Павла Михаил стал главным инспектором Военной коллегии и одним из членов ближайшего круга друзей Екатерины. Племянник князя, сын его сестры Марии, здоровяк Александр Самойлов, был секретарем Государственного совета и генералом – «храбрым, хотя и бестолковым». Другие племянники – Василий Энгельгардт и Николай Высоцкий, сын его сестры Пелагеи, – служили адъютантами императрицы и тоже считались почти что членами семьи.

Фаворит Екатерины Саша Ланской был очень добр к потёмкинским племянницам, как мы знаем из неопубликованных ранее писем Татьяны. «Monsieur Ланской оказывает всевозможные знаки внимания», – невинно сообщает она. В одном из писем Татьяна рассказывает дяде, как великий князь и княгиня «встретились мне в саду – они нашли, что я очень выросла, и

говорили со мной очень тепло» [19]. Когда пару лет спустя Катенька выйдет замуж и забеременеет, именно Ланской сообщит Потёмкину, как прошли роды. «Батюшка, государыня велела кланяться вам и приказала окрестить ребенка… Присылаю вам письмо от Екатерины Васильевны». Чуть позже он напишет Потёмкину, что у императрицы лихорадка, но зато племянница поправляется с каждым днем.

По всей вероятности, в стороне от жестоких политических интриг императрице в какой-то степени удалось создать свою собственную семью – мозаику, собранную из потёмкинской («нашей», по ее выражению) родни и ее дорогого Ланского. Она выбирала родственников, как другие выбирают друзей. Положение потёмкинских племянниц было зеркальным отражением должности императорского фаворита. В дни передышек от политических тревог Екатерина обходилась с племянницами как с дочерьми, а с фаворитами – как с сыновьями. Все они играли роль детей в этом необычном бездетном браке [20].

Своеобразные отношения Потёмкина с племянницами были обычным делом для своего времени и вряд ли шокировали Екатерину. В своих воспоминаниях она писала, что в юности, еще до отъезда в Россию, флиртовала со своим дядюшкой, принцем Георг-Людвигом Шлезвиг-Голштинским (а может быть, позволяла себе и большее), и он даже намеревался на ней жениться[43]. В королевских семействах подобное (и даже более раскрепощенное) поведение не было исключением. Габсбурги часто женились на своих племянницах. В начале века шли разговоры о том, что Филипп, регент Франции и герцог Орлеанский, вступил в связь с собственной дочерью, герцогиней Беррийской[44].

Август Сильный, король Польши, курфюрст Саксонии и двуличный союзник Петра Первого, поставил рекорд инцестуального разврата, до которого было далеко даже Потёмкину. По легенде Август, этот любитель искусств, транжира, бонвиван и изворотливый политик, которого Карлейль назвал «веселым грешником, радостным сыном Велиаровым», не только породил наследника и еще 354 бастарда от своих бесчисленных любовниц, но также якобы совратил свою дочь графиню Ожельскую. Ситуация была особенно скандальной, так как графиня в свою очередь влюбилась в графа Рудорфского, своего сводного брата, который тоже приходился сыном Августу. За пределами императорских семей подобные отношения не были так распространены, хотя известно, что в XVII веке французский кардинал Мазарини сделал своих племянниц – мазаринеток – богатейшими наследницами Франции, и ходили слухи, что

кардинала связывали с ними интимные отношения. Тем временем Вольтер завел последний в своей долгой жизни роман – со своей жадной и ветреной племянницей мадам Дени, но держал его в тайне, и правда раскрылась, только когда была опубликована их переписка. В следующем поколении лорд Байрон ничуть не стеснялся своей любовной связи со сводной сестрой, а князь Талейран сожительствовал с женой своего племянника герцогиней де Дино.

В России романы между дядей и племянницей случались гораздо чаще. Православная церковь закрывала на это глаза. Ходили слухи, что у Никиты Панина был роман с княжной Дашковой, супругой своего племянника, хотя она сама отрицала это. Графиня С. Апраксина, дочь его сестры Анны, жила с Кириллом Разумовским в его доме в Батурине. Однако кровосмесительная связь этого виднейшего и весьма уважаемого деятеля редко обсуждалась, поскольку была скрыта от людских глаз в сельской местности и не вызывала общественного негодования. Грех Потёмкина – в откровенности, с которой он проявлял свою любовь. Это шокировало современников, так же как и открытость Екатерины в проявлении своих чувств к фаворитам, принесшая ей дурную славу: они вели себя одинаково. Светлейший князь считал себя особой почти царской крови, поэтому полагал, что вправе вести себя как ему вздумается, и было заметно, что он наслаждается этой вседозволенностью [21].

Потёмкина в пух и прах разнесли историки за его порочность, однако сами племянницы, вероятно, охотно давали свое согласие на эти отношения (Варвара определенно была в него влюблена) и любили его на протяжении всей жизни. Александра и Варвара, судя по всему, не пережили никакого насилия и в дальнейшем были на удивление счастливы в браке, при этом сохраняя теплые отношения с дядюшкой. Говорили, что Екатерина, время от времени снова становившаяся его любовницей, лишь «терпела» его ласки, но она была апатичной девушкой, которая с таким же равнодушием «терпела» своего мужа, драгоценности и роскошь – таков был ее характер. Сестры, должно быть, безмерно почитали своего покровителя. В письмах они часто пишут, что хотят поскорее его увидеть. Как и императрице, им казалось, что жизнь без него становится скучной. Эта история необязательно объясняется насилием: в то время и в том месте подобное положение дел казалось вполне естественным.

После того как Потёмкин перестал ночевать в будуаре Екатерины, у него были и другие любовницы, кроме племянниц: в его архиве хранятся сотни анонимных любовных писем от

женщин, которые, несомненно, были безумно влюблены в одноглазого великана. Существует два типа донжуанов: бездушные развратники, которые презирают своих жертв, и искренние обожатели женщин; для вторых соблазнение – это основа любви и дружбы. Потёмкин принадлежал ко второй категории – он по-настоящему любил находиться в женском обществе. Позднее при его дворе находилось столько иностранцев, что имена его возлюбленных сразу же предавались гласности. Но от 1770-х годов нам остались лишь страстные письма, написанные округлым женским почерком: «Как вы провели ночь, мой милый, желаю, чтобы для вас она была покойнее, нежели для меня: я не могла глаз сомкнуть». Женщинам всегда казалось, что он проводит с ними слишком мало времени: «Сказать ли? – написано в том же самом письме. – Я вами недовольна. Вы казались таким рассеянным; что-то такое есть, что вас занимает». Его любовницам приходилось томиться в ожидании во дворцах, принадлежавших их мужьям, и узнавать от друзей и слуг, чем в это время занят Потёмкин: «Знаю, что вечером вы не были у императрицы; что вы захворали. Скажите мне, я беспокоюсь и не знаю, когда получу вести о вас. Прощайте, мой ангел, я не успеваю сказать вам больше, множество обстоятельств тому мешают…» Письмо внезапно обрывается – вероятно, вернулся супруг корреспондентки и она отправила письмо со своей верной служанкой.

Женщин волновало его здоровье, многочисленные разъезды, то, что он ест, и его страсть к азартным играм. Вероятно, способность вызывать к себе такую заботу связана с тем, что он воспитывался в окружении любящих сестер: «Если б, милый князь, вы могли принести мне эту жертву: не так предаваться игре. Это только подрывает ваше здоровье». Влюбленные дамы мечтали о новой встрече: «Завтра бал у великого князя; надеюсь иметь удовольствие увидаться с вами там». Примерно в то же время Потёмкину пишет другая:

«Матинька, как досадно, я тебя так издали только видела, а так хотелось тебя поцеловать, ты мой милый дружочек ‹…› Боже мой, как мне досадно, мочи нет! Скажите мне по крайней мере, любите ли вы меня, мой миленькой. Только это одно может примирить меня саму с собой ‹…› мне бы хотелось всякую минуту быть с тобой; все бы тебя целовала, да тебе бы надоела. Пишу вам перед зеркалом, и мне кажется, что я с тобою болтаю и говорю вам все, что на ум взбредет».

Живой образ Потёмкина отразился в любовных записочках этих безымянных женщин, которые двести лет назад сидели перед зеркалом в окружении баночек румян и пудры, в шелках и с

пером в руке: «Целую вас миллион раз, прежде чем позволить вам уйти ‹…› Вы слишком много работаете ‹…› Целую вас 30 миллионов раз, и нежность моя только растет ‹…› Поцелуйте меня мысленно. Прощайте, жизнь моя» [22].

Эти письма показывают уникальную двойственность положения Потёмкина – никто не мог обладать им полностью. Его романы с племянницами понятны, ведь он никогда не смог бы жениться и обзавестись семьей; еще одной причиной вполне могло быть его бесплодие. Он любил многих, но женат был на императрице и Российской империи.

13. Герцогини, дипломаты и шарлатаны

Или великолепным цугом
В карете английской, златой,
С собакой, шутом или другом,
Или с красавицей какой…

Г.Р. Державин. «Фелица»

Ваша светлость не может и представить себе, каких высот в этой стране достигла коррупция.

Сэр Джеймс Харрис – виконту Стормошу, 13 декабря 1780 г.

Летом 1777 года в Санкт-Петербург прибыла роскошная яхта Элизабет, герцогини Кингстон, графини Бристольской. В Лондоне ее знали как бесстыжую изменницу, соблазнительницу и двоемужницу. Однако Лондон находится далеко от Петербурга, а русские зачастую не замечали шарлатанов даже среди своих соотечественников. В те времена, когда мода на все английское захватила Европу, британские герцогини редко посещали Россию. Зато купцы с туманного Альбиона так активно развернули торговлю, что заселили целую петербургскую улицу – «Английский ряд». При дворе Екатерины главным англофилом был Потёмкин.

Всего единожды выехав за пределы России, Потёмкин тем не менее считал себя космополитом и, готовясь к внешнеполитическим свершениям, исправно изучал европейские языки, обычаи и политику. Среди его свиты – «basse-cour», или «заднего двора», как их называла Екатерина [1], – были всевозможные, даже весьма сомнительные иностранцы, которых так привлекала Россия. В конце 1770-х вошло в моду обыкновение включать российскую столицу в маршрут Гранд-тура – путешествия, в которое отправлялись все молодые британские джентльмены, и Потёмкин стал одной из петербургских достопримечательностей. В этом качестве его открыла именно герцогиня.

По приезде ее приветствовал президент Морской коллегии Иван Чернышев (Кингстон очаровала его брата Захара Чернышева, когда тот был послом в Лондоне). Он представил герцогиню Екатерине, великому князю и, разумеется, Потёмкину. Даже Екатерина и Потёмкин поразились фантастическому богатству этой знаменитой аристократки – ее яхта оказалась настоящим храмом наслаждений, набитым отборным английским антиквариатом, хитроумными механизмами и бесценными драгоценностями.

Герцогиня Кингстон принадлежала к тем женщинам XVIII века, которые умудрялись извлекать выгоду в патриархальном аристократическом обществе, прибегая к самым разнообразным средствам – соблазнению, браку, обману, саморекламе и воровству. Леди Элизабет Чадли родилась в 1720 году; когда ей исполнилось двадцать четыре, она тайно вышла замуж за Огастеса Херви, который вместо бриллиантового колечка надел ей на палец кольцо от полога над кроватью. Этот наследник графа Бристольского принадлежал к семейству ушлому и ненасытному как в накоплении богатств, так и в плотских удовольствиях. Сама же Чадли считалась одной из самых желанных и распутных женщин своего времени и уже успела приобрести дешевую славу в бульварных газетенках: она искала внимания прессы, и они освещали все ее выходки, упиваясь подробностями. Поначалу она действовала в рамках закона, и апогеем этого периода ее жизни стал следующий эпизод: в 1749 году она появилась на балу венецианского посла в наряде Ифигении перед жертвенником – с всклокоченными волосами и в прозрачном газовом платье – по выражению Мэри Уортли Монтегю, дочери первого герцога Кингстона, оно было таким прозрачным, что жрец мог легко увидеть внутренности своей жертвы. Это вызывающе чувственное зрелище на многих произвело впечатление, и открытки с ее улыбающимся изображением еще долго были в ходу. По слухам, ее порочная экстравагантность покорила даже немолодого Георга Второго.

Проведя несколько лет в статусе любовницы герцога Кингстона, стареющего богача-вига, она вышла за него замуж, при этом оставаясь женой Херви. Когда герцог умер, начались безобразные споры из-за его наследства. Пьерпонты, родственники герцога, прознали о первом браке Элизабет и отдали ее под суд; на глазах у пяти тысяч зрителей палата лордов признала ее виновной. Ее должны были заклеймить, но Херви как раз только что унаследовал графский титул, тем самым обеспечив своей жене неприкосновенность. Она утратила герцогский титул, зато сорвала куш – и несмотря ни на что продолжала называть

себя герцогиней. Преследуемая разозленными Пьерпонтами, «герцоговитая графиня», как называл ее Хорас Уолпол, сбежала в Кале и снарядила яхту с роскошной столовой, гостиной, кухней, картинной галереей и органом, украв все необходимое из Торесби Холла, особняка Кингстонов. Ее матросы ввязывались во всевозможные неприятности, в том числе участвовали в двух мятежах, так что английских моряков пришлось заменить. Наконец яхта отчалила, увозя на своем борту французский экипаж, английского капеллана (который, вероятно, неофициально служил газетным корреспондентом) и несколько вульгарных проходимцев.

Приплыв в Россию, этот бродячий цирк вызвал войну священников – явление, куда более знакомое в графствах вокруг Лондона, чем в петербургских дворцах. На яхте Кингстон состоялось «великолепное представление», о котором ее услужливый капеллан любезно поведал изданию «Джентльмен Мэгезин»: «Когда ужин был подан, оркестр из флейт, барабанов, кларнетов и валторн заиграл английские марши… После обеда прозвучало несколько концертов на органе, располагавшемся в вестибюле». Британское общество в Петербурге было шокировано дерзостью этой выскочки-двоемужницы, которая, по свидетельству их капеллана Уильяма Тука, вызвала «всеобщее презрение». Тем не менее ее «тщеславные выходки» имели успех в русской столице.

Императрица предоставила герцогине и ее свите особняк на Неве, и Кингстон стала проводить много времени с Потёмкиным – она прекрасно вписалась в его разгульный образ жизни. Потёмкин был галантен с глуховатой, нарумяненной герцогиней, которая отчаянно молодилась, но его больше интересовал ее антиквариат, а ухаживания он препоручил одному из своих офицеров, полковнику Михаилу Гарновскому. Тот исполнял обязанности солдата-коммивояжера: он был потёмкинским шпионом, советником и торговым агентом, а теперь стал еще и жиголо. Приобретя нового любовника, герцогиня проводила «пять или шесть часов за туалетом» и представляла собой зрелище, которое можно было сравнить с «бараниной, поданной под видом ягненка». Она щедро одаривала Потёмкина и подарила Ивану Чернышеву картину Рафаэля. Ей даже вздумалось взять с собой на родину потёмкинскую племянницу Татьяну, которой тогда было 8 лет, и дать ей достойное кингстонское образование, но светлейший князь решительно отверг эту безумную идею.

Кингстон была на девять лет старше Екатерины. Она надеялась очаровать весь Петербург и триумфально отплыть под звуки фанфар. Но ее замысел провалился, когда из-за

сентябрьского наводнения 1777 года яхта села на мель – к тайному злорадству людей вроде Корберона. Ее французские матросы подняли бунт и разбежались, и императрице пришлось распорядиться о поисках нового экипажа и починке яхты. В итоге герцогиня отправилась дальше сухопутным маршрутом, успев к этому времени записать Екатерину в свои «наилучшие друзья» и увлечься Потёмкиным, которого она называла «великим министром, обладателем живого ума… словом, во всех отношениях честным и галантным мужчиной». Князь и императрица вежливо пригласили ее приехать снова, хотя очень устали от ее общества. Гарновский проводил ее до границы.

Два года спустя она действительно вернулась – как любая авантюристка, они принимала любое приглашение, даже высказанное без серьезных намерений. Она заказала для Потёмкина книгу в роскошном переплете, украшенном золотыми и серебряными инициалами князя, но, разумеется, подарок так и не дошел до адресата. В Петербурге она расположилась в великолепнейшем особняке; ее бывший садовник, которые раньше работал в Торесби, а теперь служил у императрицы, рассказывал, что в особняке были «алые камчатые портьеры» и «пять музыкальных люстр! Прекрасный орган, сервизы, живопись!». По свидетельству молодого англичанина Сэмюэля Бентама, она приобрела имения в Ливонии, в том числе купила земли у Потёмкина более чем за 100 000 фунтов стерлингов, и назвала одно из поместий «Чадли».

К 1780 году «Кингстонша» чрезвычайно утомила Потёмкина и Екатерину. Сэмюэль Бентам встретил эту пожилую распутную неряху у Разумовского – там она уснула во время концерта: «посмешище для всех собравшихся». Она, однако, все еще добивалась больших успехов в том, что мы сегодня называем пиаром, и сообщала в лондонские газеты лживые слухи о частной жизни императрицы. Бентам замечает, что «на публике Екатерина держится с ней вежливо, но вопреки тому, что Кингстон рассказывает прессе, они с императрицей не ведут приватных бесед». Ее дом был всегда открыт для гостей, но «у нее никто не бывал, кроме русских офицеров, которые хотели вкусно отужинать». Она предприняла тщетную попытку выйти замуж за одного из Радзивиллов, навестила свое «Чадли», а затем уехала в Кале. В 1784 году она вернулась, а в 1785-м наконец-то уехала насовсем – время было к ней безжалостно. Герцогиня умерла в Париже в 1788 году, и Гарновский не только получил по завещанию 50 000 рублей, но и умудрился присвоить большую часть «Чадли» и три других имения, что стало основой его будущего состояния [2].

Герцогиня оказала большое влияние на художественный вкус Потёмкина – ведь он унаследовал ее самые ценные сокровища[45]. Ее часы «Павлин» работы Джеймса Кокса прибыли в Петербург в 1788 году. Они до сих пор остаются одной из самых необычайных диковинок: это золотой павлин в натуральную величину, с сияющим хвостом, который сидит на ветвистом золотом дереве, и сова в золотой клетке высотой 12 футов, украшенной колокольчиками. Циферблат находится на шляпке гриба, а секунды вместо стрелки отсчитывает стрекоза. Когда бьют куранты, все это хитроумное устройство приходит в движение: сова кивает, павлин подает голос, царственно поднимает голову и распускает роскошный хвост[46]. Герцогиня также привезла часы-орган, еще один предмет поразительной красоты; вероятно, именно на нем исполнялись концерты на ее яхте. Снаружи они были похожи на обычные часы с большим циферблатом, но внутри располагался настоящий орган, который звучал в точности как церковный[47]. Когда герцогиня скончалась, светлейший князь купил эти objets и приказал своим механикам установить их в его дворце [3].

Герцогиня оставила после себя еще одно, куда более вульгарное напоминание, связанное с Потёмкиным. Вернувшись в 1779 году и пока еще сохраняя расположение Потёмкина и императрицы, она привезла с собой приятного молодого англичанина, который представился офицером, экспертом в военном деле и коммерции. «Майор» Джеймс Джордж Семпл действительно сражался в британской армии против американцев и в самом деле был специалистом в торговле – но торговле несколько особого рода. (В Британском музее висит его портрет, с которого на нас надменно глядит щеголь в высокой шляпе, белой блузе с оборками и военной форме – словом, при всех атрибутах настоящего шарлатана.) К тому времени, как Семпл прибыл в Россию, он уже был известен как «самозванец с севера и король жуликов». Несколько лет спустя о нем будет написана книга «Северный герой – удивительные приключения, любовные интриги, хитроумные планы, непревзойденное лицемерие, невероятные избавления, ужасные обманы, тайные замыслы и зверские деяния». Семпл был женат на кузине герцогини, и как раз в то время, когда Кингстон планировала свою вторую поездку в Россию, он угодил в тюрьму в Кале за долги. Она внесла за него залог и пригласила отправиться с нею в Петербург. Похоже, что преступник соблазнил «герцоговитую графиню» [4].

Потёмкин был очарован. Он всегда восхищался подлинным безрассудством, а Семпл, как любой мошенник, наживался на своих лживых рассказах. Когда Потёмкин только делал первые

шаги на государственной службе и впервые имел дело с европейцами, он был не слишком избирателен в своих иностранных знакомствах, но всегда предпочитал обаятельных торгашей скучным аристократам. Самозванец с севера и король жуликов присоединился к разномастному англо-французскому сборищу при потёмкинском дворе. Среди этой компании был ирландский солдат удачи по имени Ньютон, который впоследствии угодит под нож гильотины во время революции; был там и шевалье Вомаль де Фаж, французский священник-расстрига, в сопровождении своей любовницы [5], а также загадочный француз-авантюрист, которого звали шевалье де ля Тессоньер – он помогал Корберону отстаивать интересы Франции [6]. Очень жаль, что величайший искатель приключений той эпохи, образованный и остроумный Казанова приезжал в Россию слишком рано, чтобы застать Потёмкина: наверняка они пришлись бы друг другу по душе.

Иностранная свита Потёмкина представляла собой гротескную миниатюрную копию дипломатического мира. Светлейший князь уделял много времени военным вопросам и делам южных губерний, но при этом начал интересоваться сферой, за которую отвечал Никита Панин, – внешней политикой. В письме мужу, написанном вскоре после того, как закончился роман Потёмкина и Екатерины, графиня Румянцева проницательно заметила: «…горячность уже прошла, та, которая была, и он совсем другую жизнь ведет; вечера у себя в карты не играет, а всегда там прослуживает… Вы бы его не узнали…» [7]

Князь был новичком в дипломатии, но по тем временам его познаний и навыков вполне хватало для того, чтобы заниматься международными делами. Дипломатический мир XVIII века часто описывают как элегантное балетное представление, где каждый танцор знает свою роль в мельчайших подробностях. Но это иллюзия: если танцевальные па были известны заранее, то к концу века музыка стала совершенно непредсказуемой. «Старый порядок» сменился при «Дипломатической революции» 1756 года. Руководящим принципом дипломатии стала бесчеловечная «государственная необходимость». Все зависело от мощи государства, определяемой количеством населения, размером территорий и армии. Баланс сил поддерживался непреходящей военной угрозой и на деле представлял собой спор за право на экспансию сильных государств в ущерб интересам слабых; зачастую это означало, что за успехи одной страны должны были заплатить другие страны, в чем смогли убедиться поляки в 1772 году.

Послами обычно становились образованные аристократы, которые действовали в интересах своей короны и в зависимости от удаленности их родной державы обладали той или иной степенью независимости. Их инициативы иногда не имели ничего общего с государственным курсом: мирные договоры порой подписывали дипломаты, не признаваемые собственным правительством. Из этого следовало, что политические дела развивались медленно и трудоемко, пока гонцы несли вести туда и обратно по слякоти разбитых дорог, стараясь не столкнуться с разбойниками и ночуя на постоялых дворах, полных тараканов и крыс. Дипломатам нравилось, чтобы их считали аристократами-любителями искусства: например, для британских и французских послов в Париже и Лондоне было обычным делом меняться слугами и особняками. В XVIII веке министерства иностранных дел были совсем невелики: в 1780-е годы в британском штате, к примеру, состояло всего двадцать человек.

Дипломатия считалась прерогативой монархов. Иногда они следовали своим тайным замыслам, которые противоречили позиции их правительства: так, из-за неудачной антироссийской политики Людовика XV в делах Польши, получившей название «le Secret», Франция утратила последние крупицы своего влияния в Варшаве. Послы и солдаты служили не государству, а королю. Как видно на примере потёмкинской свиты, это был век космополитизма – иностранцы могли претендовать на должность при любом дворе, особенно в дипломатической и военной сферах. Наше убеждение, что человек может служить лишь своей родине, тогдашнему обществу показалось бы недалеким и ограниченным.

«Мне нравится всюду быть иностранцем, – пишет вельможа-космополит принц де Линь своей французской любовнице. – Пока у меня есть вы и где-нибудь имеются небольшие владения». Де Линь объяснял, что «подолгу оставаясь в какой-то стране, можно потерять к себе уважение» [8]. В посольствах и армиях были представители множества национальностей, и им удавалось добиться больших успехов: ливонские бароны, итальянские маркизы, немецкие графы и, наконец, самые вездесущие – шотландские и ирландские якобиты. Итальянцы были мастерами дипломатии, а шотландцы и ирландцы – непревзойденными военными.

После якобитских восстаний 1715 и 1745 годов многие кельтские семейства, прозванные «перелетными гусями», разъехались по разным странам, в том числе прибыли и в Россию[48]. Три кельтских рода – Лэйси, Брауны и Кейты[49] – заняли ведущие военные посты в европейских державах. Джордж Кейт, изгнанный лорд-маршал Шотландии, и его брат Джеймс

стали близкими друзьями Фридриха Великого после того, как отслужили в русских войсках, сражаясь против турок. Когда во время войны генерал Джеймс Кейт повстречал османского посла, он с удивлением услышал родной акцент из уст этого шотландца-перебежчика в турецком тюрбане, уроженца Киркалди [9]. Еще один типичный пример из истории Семилетней войны: в Цорндорфском сражении командиров русских, прусских и шведских войск звали Фермор, Кейт и Гамильтон.

Беспринципные послы скрывали свое соперничество за напыщенным этикетом, на самом деле стремясь повлиять на политический курс и собрать информацию. Для этого правительства оплачивали услуги псевдоаристократов, искателей приключений, актрис-мошенниц, дешифровщиков, стремительных гонцов, почтальонов, вскрывавших письма, горничных, соблазнительниц и дворянок. Очень часто донесения перехватывал «Черный кабинет» – «Cabinet Noir», секретное правительственное бюро, которое открывало, копировало и вновь запечатывало письма и разгадывало шифры. Русский «черный кабинет» был особенно эффективен[50]. Монархи и дипломаты извлекали выгоду из этой системы: если они хотели неофициально сообщить иностранному правительству какую-то информацию, то не пользовались шифром – это называлось письмом «en clair» <открытым текстом> [10].

Соперничавшие посольства нанимали за немалые деньги целую шпионскую сеть, в основном состоявшую из домашних слуг, и тратили огромные суммы на «пенсионы» министрам и придворным. Финансы секретных служб уходили либо на получение информации (вспомним английские подарки для Александры Энгельгардт), либо на изменение политики (сама Екатерина в 1750-е годы получала ссуды от англичан). Зачастую этот второй вид трат на деле не оказывал никакого влияния на политику, и масштабы взяток очень сильно преувеличивались [11]. Россию считали особенно коррумпированной страной, но, по всей вероятности, во Франции или Англии дела обстояли точно так же. За возможность влияния на российскую политику сражались Англия, Франция, Пруссия и Австрия. Теперь эти державы были готовы на все, чтобы угодить Потёмкину.

В 1778 году в Европе произошли три международных конфликта. Франция, желая взять реванш за Семилетнюю войну, обещала поддержку американским повстанцам и готовилась к войне с Англией. (Эта война началась в июне 1778 года, и на следующий год к ней присоединилась Испания, выступив на стороне французов.) Однако Россию больше тревожили две

другие проблемы. Султана Османской империи не устраивали условия Кючук-Кайнарджийского мирного договора 1774 года, особенно независимость Крыма и доступ русских торговых судов к Черному и Средиземному морям. В ноябре 1776 года Константинополь спровоцировал волнения в Крыму, и Екатерине с Потёмкиным пришлось отправить туда войска, чтобы возвести на престол своего хана – Шахина Гирея. Теперь же каганат взбунтовался против русского протеже, и две империи, Османская и Российская, вновь оказались на грани войны.

Третьим очагом конфликта было соперничество Пруссии и Австрии за власть над Германией. Россия неоднократно была вынуждена выбирать между Австрией и Пруссией – оба союза имели свои преимущества. С 1726 года Россия сотрудничала с Австрией и только в 1762 году благодаря Петру III перешла на сторону Пруссии. Австрия не простила России предательства, поэтому Екатерина и Фридрих были вынуждены держаться друг друга. Министр иностранных дел Никита Панин сделал этот союз краеугольным камнем своей карьеры, но его «Северной системе» – альянсу северных стран, включавшему в себя и Британию, – так и не суждено было воплотиться в жизнь. Зато Фридрих получил такое влияние на российскую политику в отношении Польши и Османской империи, что обладал почти что правом вето.

Так или иначе, Потёмкин всегда придерживался мнения, что интересы России – а также его собственные – лежат на юге, а не на севере. Австро-прусские и англо-французские конфликты беспокоили его лишь в той мере, в какой они сказывались на отношениях России с турками и ставили под угрозу выход к Черному морю. Победы в Русско-турецкой войне наглядно продемонстрировали, что Фридрих двуличен, а союз с Пруссией не несет русским никакой пользы.

Светлейший князь принялся изучать искусство дипломатии. «…Он нонеча учтив предо всеми. Веселым всегда и говорливым делается. Видно, что сие притворное только. Со всем тем, чего бы он ни хотел и ни просил, то, конечно, не откажут». В 1773–1774 годах Потёмкин с особенным усердием стремился угодить Никите Панину [12]. Панин был одним из самых унылых воплощений неторопливой и упрямой русской бюрократии: этот ушлый человек с поросячьими глазками и довольной улыбкой подмял под себя все международные дела, словно надутая сонная жаба. Дипломаты считали его «большим обжорой, большим игроком и большим любителем поспать», однажды он забыл официальное письмо в кармане халата, где оно и пролежало невскрытым четыре месяца. Он «проводил время с женщинами и куртизанками средней руки», демонстрируя «склонности и

причуды изнеженного юноши». В ответ на отважную попытку шведского посла обсудить за обедом государственные дела он небрежно отпустил остроту: «Видно, барон, что вы не привыкли к большим делам, если отправка какой-нибудь депеши мешает вам пообедать». Едва ли Харрис одобрял его поведение, когда сообщал своему двору: «В это трудно поверить, но из 24 часов граф Панин тратит на исполнение своих обязанностей не более получаса» [13].

Поначалу Потёмкин «лишь планировал упрочить свой фавор и не слишком увлекаться иностранными делами, в которых Панин выказывал предпочтение королю Пруссии», – писал польский король Станислав-Август. Но теперь он начал серьезную игру. В самом начале своей дружбы с Екатериной Потёмкин, вероятно, убедил ее, что в интересах России сохранить все балтийские приобретения Петра Великого и контроль над Польшей, а затем воспользоваться союзом с Австрией, чтобы превратить Черное море в русское озеро. Екатерина никогда не симпатизировала Фридриху и не доверяла Панину, но надо признать, что эти соображения Потёмкина означали коренной поворот политического курса России в сторону Австрии. Такой поворот пришлось осуществлять постепенно, и тем не менее отношения с Паниным стали напряженными. На одном из заседаний Совета Потёмкин сообщил, что в Персии начались волнения, и высказал предположение, что Россия может извлечь из них свою выгоду. Панин, которого занимал лишь северный вопрос, ответил весьма резко, и рассерженный Потёмкин прекратил заседание [14]. Противостояние между двумя государственными деятелями и их политическими курсами становилось все более явным.

Панин не собирался сдаваться без боя, и Екатерина должна была действовать осмотрительно, поскольку Потёмкин еще не успел доказать свою компетентность в международных делах. Понимая, что избавиться от Потёмкина едва ли удастся, Панин забеспокоился. По свидетельству Корберона, в июне 1777 года он сказал одному из своих приближенных: «Подождем. Так не может продолжаться вечно». Но конфликт оставался открытым, а Потёмкин тем временем обретал все большую власть. Екатерина намеренно подталкивала Потёмкина к международной политике: она попросила его обсудить насущные вопросы с прусским принцем Генрихом. Когда король Швеции Густав III, который только что совершил дворцовый переворот и получил абсолютную власть, инкогнито прибыл в Россию и назвался графом Готланда, Потёмкин встретил его и сопровождал на протяжении всей поездки. План Потёмкина состоял в том, чтобы

свергнуть Панина, отказаться от «северной системы» и создать новый альянс, который поможет ему реализовать все свои замыслы в южных землях.

В начале 1778 года на востоке Европы резко обострились два конфликта, в результате чего союз с Пруссией окончательно утратил смысл, и Потёмкин получил возможность развить бурную деятельность на юге. В обоих случаях Екатерина и Потёмкин согласовывали между собой и военные, и дипломатические меры.

Первая проблема получила название «картофельной войны». В декабре 1777 года скончался курфюрст Баварии. Этим моментом решил воспользоваться император Иосиф II, который приобретал все большее влияние по мере того, как старела его мать Мария Терезия. Он давно планировал обменять австрийские Нидерланды на Баварию – это усилило бы его власть в немецких землях и возместило потерю отошедшей к Пруссии Силезии. В январе 1778 года Австрия заняла почти всю территорию Баварии, тем самым поставив под угрозу статус Пруссии как великой державы в составе Священной Римской империи. Поэтому Фридрих, которому уже исполнилось шестьдесят пять лет, мобилизовал немецких принцев, напуганных усилением Австрии, и в июле пересек границу габсбургской Богемии. Союзница Австрии Франция была занята войной с британцами и не могла оказать Иосифу содействие. Екатерина тоже не горела желанием помочь своему союзнику. Иосиф двинул войска навстречу Фридриху. Центральная Европа вновь оказалась перед лицом войны, однако обе стороны медлили, не решаясь дать генеральное сражение. Время от времени вступая в перестрелки, солдаты провели зиму, питаясь одной лишь мелкой богемской картошкой – отсюда и название этого конфликта.

В это время в Крыму, который после Кючук-Кайнарджи обрел независимость от Стамбула, ставленника России хана Шахина Гирея свергли с престола собственные подданные. Потёмкин отправил в Крым войска, чтобы вернуть власть хану. Турки нуждались в союзнике, чтобы противостоять русским (предпринятая ими в августе 1777 года экспедиция для свержения Шахина Гирея окончилась неудачей), но Австрия и Пруссия были заняты сбором картофеля в Богемии, а Франция собиралась присоединиться к американцам в их Войне за независимость.

Потёмкин и Панин, по сути оказавшиеся лидерами проавстрийской и пропрусской партий, были согласны с Екатериной в том, что Россия, обязанная по условиям мирного договора помогать своим прусским союзникам, все-таки совершенно не заинтересована в войне в немецких землях, которая неминуемо ослабит российские позиции в Крыму.

Франция тоже предпочла бы, чтобы столкновения не превратились в полноценную войну. Ее единственной целью было помешать Британии найти себе союзников на континенте, поэтому Франция не разжигала ни одну из войн, а напротив, пыталась примирить соперников. Россия поддержала ее и предложила содействие в переговорах между Пруссией и Австрией. В знак благодарности за то, что Екатерина отказала в поддержке Пруссии, Франция согласилась стать посредником в русско-турецком конфликте.

Посредники призвали Австрию сложить оружие. Екатерина и Потёмкин трудились сообща и при этом препирались из-за своих отношений, ее фаворитов и его племянниц. «Батя, – писала она князю, – план операции из рук Ваших с охотою прийму ‹…› Пеняю, сударь, на тебя, для чего в притчах со мною говорить изволишь» [15]. Потёмкин отправил войско под предводительством князя Репнина на запад, на помощь пруссакам. По всей вероятности, обе стороны конфликта пытались подкупить светлейшего огромными взятками. Австрийский канцлер Кауниц предложил ему «весомую сумму», а Фридрих – герцогство Курляндское. «Если бы я согласился стать герцогом Курляндии, мне бы не составило труда получить польскую корону – императрица убедила бы короля отречься в мою пользу», – якобы заявлял позднее Потёмкин [16]. На самом деле не сохранилось никаких доказательств того, что кто-то предлагал или принимал деньги, к тому же надо учесть, что подлость Фридриха не знала границ[51].

Второго (13) мая 1779 года был подписан Тешенский мирный договор, согласно которому Россия становилась гарантом статуса кво в Священной Римской империи. Россия и Турция достигли соглашения в марте того же года, заключив Айналы-Кавакскую конвенцию, по которой они признали независимость Крыма и утвердили на престоле хана Шахин Гирея. Эти мирные договоры придали Екатерине уверенности и повысили ее престиж в Европе.

В 1778 году светлейший князь вновь встретился с принцем Генрихом в Петербурге, чтобы укрепить разваливавшийся на глазах русско-прусский союз. Гогенцоллерн изо всех сил старался добиться расположения Потёмкина, льстиво уверяя, что он более выдающийся человек, чем два европейских императора. Генрих остался доволен «знаками внимания императрицы, дружеским отношением великого князя и вашим вниманием, мой дорогой князь» [17]. К тому времени Генрих в совершенстве изучил характер Потёмкина, но наверняка даже он был удивлен, когда тот во время беседы с императрицей спустил с поводка свою ручную обезьянку и Екатерина принялась играть с ней.

Императрице его удивление доставляло удовольствие. Мы не знаем, отдавал ли Генрих себе в этом отчет, но обезьяньи выходки определенно были знаком того, что Потёмкин больше не был заинтересован в союзе с Пруссией. Светлейший князь использовал любую возможность, чтобы уязвить Панина и воплотить в жизнь свою новую стратегию.

Пятнадцатого декабря 1777 года Потёмкин обзавелся неожиданным сторонником. В качестве полномочного министра и чрезвычайного посланника Сент-Джеймсского двора в Петербург прибыл сэр Джеймс Харрис. Он представлял собой совсем другой тип англичанина, нежели приятели Потёмкина Семпл и Кингстон, и являлся образцовым британским джентльменом, учтивым и прекрасно образованным. К тридцати двум годам он обладал репутацией, которую приобрел на своем первом посту в Мадриде самым типичным для XVIII века способом. В тот момент, когда Испания и Британия чуть не ввязались в войну, не поделив богом забытые Фолклендские острова, он уже должен был уехать на родину, но задержался в двадцати милях от Мадрида из-за любовной интрижки. Таким образом Харрис оказался в чрезвычайно выгодном положении и смог быстро принять разумные меры, когда угроза войны отступила. С этого момента его карьера пошла в гору [18].

Британцы сражались в войне за независимость с американцами, которых поддерживали французы, поэтому граф Саффолк, государственный секретарь Северного департамента, поручил ему заключить наступательный и оборонительный союз с Россией, что обеспечило бы усиление английского флота. Сперва Харрис обратился с этим предложением к Панину, но тот не поддержал идею. Тогда, уже зная о «злостной ненависти Потёмкина к Панину», он решил попытать счастья со светлейшим князем [19].

Двадцать восьмого июня 1779 года сэр Джеймс собрал всю свою смелость и подошел к Потёмкину в передней апартаментов императрицы в надежде, что дерзость и лесть помогут ему привлечь внимание князя. «Я сказал ему, что пришла пора России стать главным игроком на европейской арене, и только он один был способен взять на себя руководство». Харрис заметил растущий интерес Потёмкина к международным отношениям и восхищался его «чрезвычайной проницательностью и безграничными амбициями». Этот разговор стал началом близкой дружбы, впрочем, свидетельствовавшей скорее о потёмкинской англомании, а не о его искренней преданности идее союза с Британией [20].

Во время своего пребывания в России сэр Джеймс Харрис, как и его французские оппоненты, предполагал, что Потёмкина и Екатерину больше занимал англо-французский, нежели русско-турецкий конфликт. Потёмкин извлек выгоду из устаревшего англоцентризма вига, представлявшего распадавшуюся первую Британскую империю. Поэтому соперничество западных дипломатов и тайные замыслы Потёмкина и Екатерины развивались. То немногое, что по-настоящему объединяло Потёмкина и Харриса, – это любовь к Англии и враждебность по отношению к Панину.

Светлейший князь пришел в восторг от смелого жеста Харриса и, проникшись к нему симпатией, пригласил на семейный ужин в загородный дом своего племянника. Поначалу англичанин осуждал безнравственность Екатерины и «распущенность» Потёмкина, но теперь почти влюбился в бившую через край энергию человека, которого отныне стал называть «своим другом» [21]. Харрис умолял Потёмкина снарядить военно-морскую экспедицию для помощи Англии и сулил за это некие смутные выгоды. Эта экспедиция должна была бы восстановить равновесие сил и усилить международное влияние России. Потёмкин, по-видимому, был удивлен и сказал: «Кому же мы можем поручить составить этот приказ и подготовить войска? У графа Панина на то нет ни желания, ни способностей… он пруссак, и не более; граф Чернышев [военный министр] – негодяй и не выполнит ни одного данного ему приказа» [22].

Корберон и новый прусский посол по имени Герц также добивались расположения Потёмкина; оба они характеризовали его как экстравагантного, веселого и капризного человека. Особенно сильное впечатление князь произвел на Герца, писавшего, что его «выдающиеся таланты… заставляют всех преклоняться перед ним». Харрис победил в этом состязании: Потёмкин согласился устроить личную ему аудиенцию с императрицей, чтобы посол смог подробно изложить свои соображения [23].

Двадцать второго июля 1779 года тогдашний фаворит Корсаков подошел к Харрису после того, как императрица закончила карточную партию на маскараде, и провел его в гардеробную Екатерины. Харрис рассказал ей о своем проекте союза, и она отреагировала доброжелательно, но сдержанно. Екатерина понимала, что из-за «экспедиции» Харриса Россия окажется втянутой в войну Англии и Франции. Харрис спросил, следует ли, по мнению императрицы, дать Америке независимость. «Я скорее лишусь своей головы», – с негодованием ответила она. На следующий день Харрис передал Потёмкину

меморандум с изложением дела [24].

Соперничество Потёмкина и Панина, очевидно, было на руку Харрису, однако ему приходилось действовать осмотрительно. Когда Совет собрался для обсуждения британского предложения, Екатерина через Потёмкина попросила Харриса составить еще один меморандум. Харрис писал, что в ходе разговора о стратегиях Панина Потёмкин ошарашил его, заявив, что «мало осведомлен о международных делах и большая часть того, что я ему сообщил, была для него неведома». Но на свете не было более способного ученика, чем Потёмкин.

Светлейший князь и сэр Джеймс дни и ночи напролет беседовали, выпивали, разрабатывали план действий и играли в карты. Может быть, Потёмкин водил Харриса за нос, словно в партии в покер, но он и в самом деле симпатизировал англичанину. Создается впечатление, что, пока Харрис толковал о делах, Потёмкин приобщался к английской культуре. Между ними то и дело сновали гонцы с письмами. Опубликованная переписка Харриса свидетельствует об их дружбе, а его неопубликованные письма Потёмкину из русских архивов демонстрируют высокую степень их откровенности: в одном из них говорится о гардеробе, который один из должников Харриса отдал ему вместо 1500 гиней. «Бесспорным доказательством нашей дружбы, – пишет чрезвычайный посол, – была бы ваша попытка уговорить императрицу выкупить эти платья… Простите мою прямолинейность…» Совершила ли Екатерина эту покупку, история умалчивает, но мы знаем, что Потёмкин был щедр со своими друзьями. В мае 1780 года Харрис отправил своему отцу, уважаемому филологу-классику, «посылку с греческими изделиями, которые мне передал для вас князь Потёмкин». Когда отец Харриса скончался, Потёмкин проявил деятельнейшее сочувствие. В недатированной записке посол благодарит его: «Мой князь, я все еще не в силах навестить вас, но ваша доброта и участие бесконечно смягчили мою печаль… Я дорожу вами, ценю вас и уважаю более, чем кто-либо иной» [25].

Один раз они встретились в Зимнем дворце, и Потёмкин увлек Харриса в апартаменты Екатерины, как будто они были его собственными, и они проговорили там весь вечер [26]. Друзья наверняка кутили вместе. «Я устроил прием с танцами для князя Потёмкина и его приближенных», – писал Харрис своей сестре Гертруде в 1780 году; на этом ужине они выпили «три бутылки токайского вина, присланного королем Польши, и дюжину бутылок красного вина и шампанского». Харрис сообщал, что сам пил лишь воду.

Эта русско-английская дружба стала причиной новых интриг

в Петербурге: другие дипломаты усердно наблюдали, подслушивали и раздавали взятки, пытаясь узнать, что же обсуждали Потёмкин с Харрисом. Шпионаж и слежка были до смешного очевидны – мы почти слышим шуршание занавесок и замечаем чей-то взгляд в замочной скважине. Французы беспокоились сильнее остальных. Корберон только и делал, что шпионил за Потёмкиным во всех его особняках: он записал, что в саду Харриса стоял шатер «на десять человек», который ему якобы подарил Потёмкин. Корберон считал личного врача Екатерины Роджерсона «шпионом Харриса» и однажды даже заявился к Потёмкину, чтобы обвинить его в ненависти к Франции. Затем он «достал из кармана лист бумаги и зачитал список» неформальных встреч Харриса с Потёмкиным. Светлейший князь оборвал этот ненужный разговор, сославшись на занятость. Вероятно Харрис узнал об этом эпизоде от своей шпионки – Александры, вездесущей племянницы и любовницы Потёмкина. Англичанин так сблизился с ней, что Корберон начал подозревать, что тот за ней ухаживает. Пруссаки тоже пристально наблюдали за происходящим. Двадцать первого сентября 1779 года Герц сообщил Фридриху: «Весь месяц в доме и за столом британского посла присутствовали родственники и протеже фаворита» [27].

Эти изящные махинации приобрели новый размах, когда Харрис передал Потёмкину второй меморандум, и князь рассеянно положил его в карман халата или «под подушку». Каким-то образом документ извлекли и передали Корберону, а тот показал его Панину. Свою роль в этом сыграл шевалье де ла Тессоньер, прибившийся к потёмкинской свите, но украла документ француженка мадемуазель Гибаль, любовница князя и гувернантка его племянниц. Согласно более поздним свидетельствам, Панин добавил в меморандум свои критические замечания и оставил документ на столе Екатерины, чтобы она решила, что эти пометки оставил Потёмкин. Все это было задумано, чтобы у императрицы возникло ощущение, что в доме Потёмкина полный хаос, и поэтому многие историки сочли как сам эпизод, так и рассказ о мадемуазель Гибо всего лишь слухами. Екатерина, разумеется, прекрасно знала почерк Потёмкина и его точку зрения, поэтому история о пометках наверняка является выдумкой. Однако Тессоньер действительно ошивался вокруг потёмкинского двора, а письма Татьяны Энгельгардт к дядюшке свидетельствуют о том, что мадемуазель Гибо действительно существовала. К тому же практически каждый из домашних Потёмкина когда-либо получал взятки, и Гибо едва ли была исключением. После этого инцидента она еще

несколько лет оставалась в доме Потёмкина, так что в этой истории, возможно, есть крупица правды [28].

Светлейший князь проводил время не только с Харрисом. В тот момент, когда разворачивалась русско-английская интрига, в Петербург прибыла европейская знаменитость – так называемый граф Алессандро ди Калиостро в обществе своей хорошенькой жены. Он представился испанским полковником и открыл магазин целебных снадобий, где стал проводить египетские масонские обряды, заниматься алхимией, магией и колдовством. Знаменитого шарлатана на самом деле, по-видимому, звали Джузеппе Бальзамо; этот приземистый, смуглый и лысоватый сицилиец с черными глазами и пульсирующей жилкой на лбу несомненно обладал огромной харизмой и самоуверенностью.

В век Разума власть религии ослабела, и вполне объяснимо, что человеческая душа стремилась чем-то заполнить образовавшуюся пустоту. Это была одна из причин возраставшей популярности масонства, развивавшегося как по рационалистическому, так и по оккультному направлениям. Во втором из них расцвели всевозможные эзотерические практики – гипноз, колдовство, алхимия, каббалистика, которыми занялись мартинисты, иллюминаты, розенкрейцеры и последователи Сведенборга. Эти идеи распространялись через масонские ложи и через целую цепочку целителей и шарлатанов. Некоторые, как Сведенборг, Месмер и Лафатер, считали себя магами; может быть, они и не обладали целительными силами, но их знание тонкостей человеческой природы могло помочь людям в ту эпоху, когда достижения науки и медицины были еще слишком незначительны [29]. Многие из этих деятелей были чистой воды мошенниками – как Казанова или небезызвестный Джордж Салманазар. Они странствовали по Европе и обманывали наивных богачей сказками о философском камне и источнике вечной молодости. Они представлялись обладателями невероятных титулов, богатства, хорошего вкуса и уникальных секретов. У каждого из них были свои способы завлечь в сети невинную жертву – их речи представляли собой причудливую смесь из здравого смысла, медицинских рекомендаций, обещаний вечной молодости, руководств по загробной жизни и бахвальства, что они якобы способны обратить в золото не только другие металлы, но даже мочу.

Их старейшина, так называемый граф де Сен-Жермен, заявлял, что прожил почти две тысячи лет и в юности был свидетелем распятия Христа (его слуга тоже припоминал это событие). Граф смог произвести впечатление на Людовика XV тем, что создал из эфира бриллиант ценностью 10 000 ливров. В

те времена в масонских культах так или иначе участвовала немалая часть европейской аристократии.

Калиостро покорил Митаву, столицу Курляндии, но затем ему пришлось спешно уехать. Теперь он надеялся повторить свой успех в Петербурге. Как писала Екатерина Гримму, этот истолкователь таинств «прибыл как раз вовремя – несколько масонских лож хотели вызвать духов…». «Мастер колдовства» должным образом обеспечил столько духов, сколько требовала публика, а также устроил и другие представления – не обошлось без чудесного исчезновения монет, продажи волшебных микстур и «химических снадобий, которые оказались бесполезны». Особенно насмешило императрицу его заявление о том, что он может сотворить золото из мочи и знает секрет вечной жизни.

Тем не менее Калиостро провел несколько обрядов исцеления, а его ритуалы египетского масонства обеспечили ему последователей среди аристократов. Корберон и некоторые придворные (в их числе – Иван Елагин и граф Александр Строганов) страстно желали обрести колдовскую силу. Многие русские вступили в масонские ложи, позднее некоторые из них превратились в оппозиционные кружки, настроенные против Екатерины – что вполне объясняет ее подозрительное отношение к масонству.

Потёмкин посетил несколько сеансов Калиостро, но никогда не верил ему и в отличие от многих других придворных не стал масоном. Они с Екатериной вовсю насмехались над трюками Калиостро. На самом деле Потёмкина куда больше интересовала его супруга [30]. Говорят, что у светлейшего князя был роман с графиней Калиостро. Родители нарекли ее Лоренцей, но потом она сменила имя на Серафину, а порой называла себя принцессой ди Санта Кроче. Вероятно, Калиостро не представлял, какой удар ему нанесен. Екатерина поддразнивала Потёмкина, намекая, что он проводит в доме Калиостро слишком много времени: похоже, ему стоит сказать графу, чтобы тот держал своих духов в узде… Может быть, она имела в виду псевдопринцессу-графиню? [31]

Потёмкин так часто посещал роскошное жилище погрязшего в долгах Калиостро, что, согласно легенде, одна из русских любовниц светлейшего решила подкупить графиню-авантюристку, чтобы та рассталась с ним и уехала. Во время одной из душераздирающих, но всегда остававшихся в рамках приличий встреч эта знатная дама заплатила куртизанке 30 000 рублей – существенную по тем временам сумму. Потёмкин был польщен. Он сказал графине, что она может не уезжать и оставить себе деньги, а сам выплатил всю сумму обиженной даме. Кто-то даже пустил глупый слух, что «знатной дамой» была сама

императрица [32].

В конце концов авантюристы почувствовали, что и в России, несмотря на всю здешнюю распущенность, им не избавиться от долгов и от угрозы разоблачения. Вскоре посол Испании сообщил, что Калиостро на самом деле не является ни испанским грандом, ни полковником. Екатерина радостно написала Гримму, что колдун и его «графиня» изгнаны из России.[52]

В начале февраля 1780 года Панин вызвал к себе Харриса, чтобы зачитать ему постановление об отказе от союза с Британией, и сэр Джеймс тут же поспешил к Потёмкину, чтобы узнать о причине отказа. На этот раз Потёмкин откровенно заявил, что страх Екатерины «вступить в новую войну был сильнее, чем жажда славы». Харрис, по всей вероятности, не понял его. Потёмкин разъяснил, что новый фаворит, Ланской, серьезно заболел, что очень расстроило императрицу. Сэр Джеймс поверил ему, когда князь сказал: «Мое влияние пока ограничено». Харриса привели в негодование эти «постыдные объяснения», в ответ Потёмкин вспылил и принялся хвалиться, что не успеет сегодня спуститься ночь, как он «докажет, есть ли у кого-либо во всей империи больше могущества, чем у него». Харрис поначалу воодушевился, но тут Потёмкин, как это было ему свойственно, захворал и не принимал его несколько недель.

Затем светлейший князь поведал доверчивому англичанину, что императрица – излишне предусмотрительная женщина, которая способна на истерические поступки, когда дело касается ее любимцев. Сам же Потёмкин то хвастался своим политическим всемогуществом, то пускался в пустые разглагольствования. Он гневался на Панина, называя его «ленивым и вялым министром», хотя сам нежился в постели до обеда. Харрис был почти околдован дружеским расположением Потёмкина, его напыщенностью и кажущейся честностью [33].

В феврале 1780 года светлейший князь пригласил к себе Харриса, чтобы объявить «со свойственной ему бурной радостью», что Россия отправляет экспедицию из пятнадцати линкоров и пяти фрегатов с целью «поддержать русскую торговлю». Потёмкин не мог не понимать, что это был сокрушительный удар по всей миссии Харриса [34]. Экспедиция стала следствием успешного посредничества Екатерины в войне за баварское наследство. Британия заявила о своем праве задерживать нейтральные суда и конфисковывать их грузы и в самом деле задержала российские корабли, что было большой ошибкой. Подобная бесцеремонность рассердила нейтральные страны, в том числе Россию.

В марте 1780 года Екатерина подписала декларацию о вооруженном нейтралитете, которая уязвляла британскую

самонадеянность, способствовала развитию российской морской торговли и поднимала престиж России. Чтобы привлечь внимание императрицы, Харрису нужно было предложить нечто большее.

Сэр Джеймс беспокоился, не подкупили ли Потёмкина французы или пруссаки. В это же время Франция и Пруссия вдруг заподозрили, что Потёмкина подкупили англичане. Эти параноидальные подозрения породили целый водопад взяток, которые достались жадным государственным служащим Петербурга и, должно быть, казались им манной небесной.

Харрис был уверен, что Корберон, «как истинный француз», подкупил всех «лакеев и слуг в каждом русском доме». Версаль в самом деле был готов на все, чтобы не допустить участия России в войне, – в том числе усыпать весь Петербург деньгами; французы даже похвалялись, что у них достаточно средств, чтобы подкупить Потёмкина [35]. «Я склонен подозревать, что мой друг предан мне уже не так, как раньше», – признался Харрис виконту Стормонту, государственному секретарю Северного департамента. Корберон уже доложил в Версаль, что Харрису был выделен кредит в 36 000 фунтов и он вручил Потёмкину 100 000 рублей. Орлов-Чесменский обвинил князя в получении 150 000 британских гиней. Харрис же полагал, что Франция дала взятку Паниным в размере четырех-пяти тысяч фунтов.

К концу марта 1780 года Харрис больше не мог держать себя в руках. Если французы подкупили «моего друга», то Британия должна «перебить цену». Так начался финансовый бум на петербургском рынке взяток. Напомнив Стормонту, что он имеет дело с «баснословно богатым человеком», Харрис заявил, что необходимо выделить сумму, равную той, которую «де Торси тщетно предлагал герцогу Мальборо» [36]. Даже главный казначей Европы был бы ошеломлен этими цифрами.[53] Пруссия и Австрия тоже старались угодить Потёмкину. Харрис заметил, что прусский посол ежедневно встречается с Потёмкиным, и услышал, что светлейшему князю вновь предлагают Курляндию и «сулят защитить его жизнь, титулы и имущество в случае перехода престола» к наследнику императрицы Павлу. Австрияки в свою очередь тоже якобы предлагали ему какое-то свое княжество [37].

Итак, брал ли Потёмкин взятки? В конце 1779 года упоминались чудовищные цифры в 100 000 рублей или 150 000 гиней, но архивные исследования «фондов секретных служб» показывают, что к ноябрю этого года Харрису было выделено лишь 1450 фунтов, а когда выяснилось, что он истратил 3000 фунтов, то ему сделали выговор. Даже если сложить эти суммы, получившиеся цифры могли бы порадовать Сашеньку

Энгельгардт, но Потёмкину таких денег не хватило бы даже на пропитание. Сомнениям Харриса пришел конец – он понял, что «столь невероятно богатого [Потёмкина] невозможно подкупить». Обеспеченных людей зачастую получается соблазнить, предложив еще чуть больше денег, но Харрис, похоже, был прав, заявив, что к Потёмкину можно найти подход, лишь «по достоинству оценив его юмор и характер». Подтверждением стал следующий случай: Екатерина подарила своему другу 40 000 фунтов стерлингов – по словам Харриса, в благодарность за его помощь в подписании вооруженного нейтралитета. «Этот необычайный человек столь избалован, что он даже не счел эту огромную сумму достойной благодарности». Пруссак Герц тоже считал, что Потёмкин неподкупен: «деньги здесь ничем не помогут – его богатства неизмеримы».

Панин тоже дал свою оценку этим цифрам, когда пренебрежительно спросил: «Неужели вы и впрямь полагаете, что 50 000 фунтов стерлингов хватит, чтобы купить самого князя Потёмкина?» Когда до Потёмкина дошел слух, что Харрис вручил ему два миллиона рублей, он пришел в ужас от одной этой мысли. Харрис таким образом убедился в честности Потёмкина. Светлейший князь был слишком горд и богат, чтобы брать взятки [38].

Потёмкин решил, что лучшей тактикой будут доносы на Панина. Их обоих постоянно обвиняли в продажности. Это привело к острому конфликту в Совете, когда Потёмкин обвинил Панина в том, что тот берет французские деньги, заявив, что «портретами Людовика XVI» можно отлично делать «ставки в висте». Панин гневно отвечал, что если у Потёмкина есть такая нужда, то ему будет легче раздобыть английские гинеи. Видимо, Панин был убежден, что Потёмкин на самом деле получил больше, чем смехотворные 50 000 фунтов. Чтобы восстановить мир между ними, пришлось вызвать императрицу [39].

Харрис решил выяснить, действительно ли светлейший князь поддерживает идею союза с Англией, и поэтому подкупил «любимого секретаря Потёмкина… который также был секретарем императрицы». Вероятно, имеется в виду Александр Безбородко – по мере того, как влияние Панина уменьшалось, он постепенно становился главным поверенным Екатерины в международных делах. Стормонт согласился предложить ему пятьсот фунтов, хотя и добавил, что сумма слишком велика. Когда дошло до дела, Харрис лишился почти трех тысяч фунтов, зато приблизился к разгадке потёмкинской политической стратегии. Безбородко сообщил, что едва ли не все европейские монархи от Фридриха до Иосифа обратились к Потёмкину с

предложениями денег и престолов, но ни одно из них его не прельстило. Он не слишком ратовал за союз с Англией, за исключением тех случаев, когда этого требовало соперничество с Паниным. «Шпион» добавил, что Потёмкин живет «сегодняшним днем» и вполне способен «поддержать политику любой страны», но в данный момент он больше всего симпатизирует Австрии. Наконец Харрису удалось узнать правду [40].

Дипломаты узнали, что Потёмкин строит обширные планы, связанные с южными землями. Даже в разговоре об английском флоте Харрис заметил, что мысли Потёмкина были «постоянно заняты идеей создания империи на Востоке», и именно он «подогревал интерес императрицы к этому проекту» [41]. Екатерина действительно воодушевилась, слушая захватывающие речи Потёмкина. Когда она беседовала с Харрисом, то «долго рассуждала… о древних греках, их энергичности и незаурядном уме… – качествах, которые сохранились и у их потомков» [42]. Корберон, который тоже слышал эти рассуждения, не преувеличивал, когда писал, что «романтические идеи были восприняты с особым рвением» [43]. Но дипломаты недооценивали значимость «романтических идей» Потёмкина – его «Греческого проекта», который так увлек Екатерину. Надежды светлейшего князя не были связаны с Лондоном, Парижем, Берлином или Филадельфией. Его взоры были обращены к Царьграду-Константинополю, городу императоров. Победа над Османской империей стала лейтмотивом всей его жизни и основой его величия.

Часть пятая. Колосс

1777–1783

14. Византий

Меня пригласили на праздник, который князь Потёмкин давал в своей оранжерее…

У ее дверей находилась маленькая часовня, посвященная Дружбе; в ней стоял бюст императрицы… Комната, где ужинала императрица, была обита красивой китайской тканью, напоминавшей богатый шатер… она вмещала пять или шесть человек… В другой небольшой комнате стоял диван для двоих, расшитый и набитый самой императрицей.

Шевалье де Корберон, 20 марта 1779 года

Когда османский султан Мехмед Второй в 1453 году захватил Константинополь, он проехал через весь город прямо к собору Святой Софии, великолепному храму Юстиниана. Перед тем как поклониться этому чуду христианской культуры, он посыпал голову землей, чтобы показать свое смирение перед Господом, и лишь затем вошел в собор. Войдя внутрь, он заметил, что один из солдат собрался украсть кусок мрамора. Султан потребовал объяснений. «Я сделал это во имя истинной веры», – ответил солдат. Тогда Мехмед пронзил его мечом со словами: «Довольствуйся драгоценностями и пленниками, а здания этого города принадлежат мне». Османы завоевывали Византию не для того, чтобы уничтожить достижения Константина.

Теперь Мехмед смог добавить к своим титулам турецкого хана, арабского султана и персидского падишаха, еще и имя «Кайзер-о-рум» – «Римский цезарь». С тех пор для представителей Запада он был не только Великим Турком, но и императором. Османский владыка унаследовал престиж Византии. «Никто не вправе усомниться в том, что вы – император ромеев, – пишет в 1466 году Мехмеду Завоевателю критский историк Георгий Трапезундский. – Тот, кто законно правит в столице империи, является императором, а Константинополь – столица империи ромеев… А кто есть и пребудет императором ромеев, тот – император всего мира» [1]. Это сокровище и стало предметом

чаяний Потёмкина и Екатерины.

Османские земли растянулись от Багдада до Белграда, от Крыма до Каира, и в состав империи входили многие страны Юго-Восточной Европы: Болгария, Румыния, Албания, Греция, Югославия. Османы владели главными исламскими святынями от Дамаска и Иерусалима до Мекки и Медины. На протяжении столетий Черное море было их «чистой и непорочной девой», собственным озером султана, и средиземноморские берега от Кипра до Алжира и Туниса охраняли его порты. Это была поистине интернациональная империя, и ее не следовало называть «турецкой». Как правило, в сложной системе властных иерархий единственным турком был сам султан. Так называемая турецкая империя, будучи многонациональным государством, прекрасно осознавала эту свою особенность: у истоков ее создания стояли беглые православные, выходцы из балканских славян, которые и занимали все высокие посты при дворе, в чиновничьем аппарате и среди янычар – преторианской гвардии Стамбула.

В империи не существовало социальных классов как таковых: пока западные рыцари запутывались в дебрях генеалогий, в Османской империи процветала меритократия, при которой отпрыски албанских крестьян руководили страной от имени султана. Главным принципом являлось рабское подчинение всех граждан, в том числе великих визирей, султану, который *воплощал* в себе само государство. Вплоть до середины XVI века династия султанов представляла собою череду талантливых, беспощадных и деятельных лидеров. Но они пали жертвой собственного «греческого проекта»: всю грязную работу по управлению империей осуществляли их главные министры – великие визири, в то время как султаны оказывались окруженными ореолом святости, который поддерживали удушливо изощренные традиции византийских императоров. В самом деле, французский солдат барон де Тотт, присутствовавший на коронации Мустафы III в 1755 году, вспоминал, что, окруженный римскими плюмажами и даже фасциями, султан казался карликом по сравнению с величием собственного титула. Церемониал, разработанный еще в X веке Константином Порфирородным, стал для византийцев благословением и проклятием – и османских султанов он превратил из энергичных завоевателей, которые верхом на коне вели в бой свои армии, в изнеженных щеголей во главе армии из одалисок и евнухов. Греческие традиции стали причиной и других неприятностей.

Поначалу в империи еще не сложился порядок наследования

власти, из-за чего переход престола зачастую сопровождался кровопролитиями. Новый император избавлялся от своих братьев, задушив их тетивой и не пролив тем самым ни капли царской крови – это считалось уважительным способом убийства. Одному из султанов пришлось таким образом уничтожить одиннадцать братьев. Но наконец здравый смысл подсказал, что жизни членов царского семейства напрасно пропадают впустую. Отныне османские принцы оставались в живых, но влачили существование пленников в роскошной золотой клетке, полупьяные от наслаждений, полуобразованные и полумертвые от страха перед удушающей тетивой. Когда они появлялись на публике, щуря сонные глаза, как перепуганные животные, новых султанов пробирал ужас – впрочем, ужас проходил, когда они вспоминали о поверженных трупах принцев прошлых поколений.

Всё государство было сковано закостенелой иерархической системой; на ее вершине располагался великий визирь, зачастую славянского происхождения, в его подчинении находились 2 000 придворных и 500 охранников-албанцев. Знатность каждого вельможи и каждого паши (дословно это звание переводится как «стопа султана») обозначалась числом конских хвостов – эта система рангов досталась в наследство от кочевого периода османской цивилизации. Великий визирь имел пять хвостов, низшие по званию паши – от одного до трех. Визири носили зеленые туфли и тюрбаны, стража султана – красные, муллы – синие. Головной убор и обувь османа были таким же знаком его ранга, как звездочки на погонах солдата. Чиновники носили зеленое, дворцовые служащие – красное. За каждой национальностью был закреплен свой цвет туфель: греки ходили в черной обуви, армяне – в фиолетовой, евреи – в синей. Что же касается головных уборов, то властная иерархия империи отражалась в роскошном многообразии шапок, украшенных мехами и перьями.

Султан обитал во дворце на мысе Сарайбурну, на византийском Акрополе. Дворец в соответствии с турецкими вкусами представлял собой вереницу все более изысканных внутренних двориков, которые соединялись между собой воротами и вели к жилой части дворца – харему. Те ворота, где обычно вершилось турецкое правосудие, стали символом османской государственности. Отсюда и второе название империи, под которым ее знали на Западе, – «Блистательная Порта».

В империи похоть владыки всегда поощрялась – таким образом у государства не было недостатка в мальчиках-наследниках. Поэтому если самого султана интересовало

качество, то логика гарема требовала количества. Кстати говоря, евнухи, управлявшие придворной жизнью, были способны к сексуальным утехам, но не могли иметь потомства, и потому они также пользовались услугами гарема. В Дворцовой школе, обучавшей будущих пажей руководить делами империи, большинство учеников были албанского и сербского происхождения; гарем, который должен был поставлять наследников для управления империей, был полон светловолосых и голубоглазых славянок, купленных в Крыму. Вплоть до конца XVII века придворным lingua franca был, как ни странно, сербско-хорватский язык.

Османский султанат задыхался – но не от тетивы, а от устаревших традиций. Во времена Потёмкина султаны были связаны по рукам и ногам не только византийскими правилами, но и религиозным фундаментализмом мусульманских судей – улемов, а также политическим консерватизмом, который поддерживался благодаря схожим интересам двора и армии.

Империей правили страх и насилие. Султан все еще сохранял за собой власть казнить и миловать и пользовался ею без стеснения. Неожиданная смерть была частью сложного придворного этикета. Многие великие визири прославились своей гибелью, а не государственными достижениями. Им отрубали головы так часто, что, несмотря на все богатства, которые сулил этот пост, удивительно, если находились охотники занимать его. Султан Селим за время своего правления убил семерых визирей, так что фраза «Стать тебе визирем Селима» стала в просторечии пожеланием скорой смерти. Визири всегда имели при себе завещание на случай, если их вызовет к себе султан. Во время потёмкинской войны против турок были казнены 60 % визирей.

Смертные приговоры султана, которые он выносил одним незаметным знаком – легко топнув ногой в тронном зале или открыв определенное решетчатое окно, – обычно исполняли устрашающие немые палачи с помощью топора или тетивы. Частью османского ритуала казни было выставление отрубленных голов на всеобщее обозрение. Головы верховных чиновников помещались на белые мраморные столбы во дворце. Головы наиболее знатных господ набивали ватой, головы стоявших ниже в иерархии – соломой, а остальные клали в специальные ниши. Пейзаж вокруг дворца украшали груды человеческих внутренностей, отрезанных носов и языков. Провинившихся женщин, в том числе неудачливых прелестниц из гарема, зашивали в мешок и сбрасывали в Босфор [2].

Самой непосредственной угрозой для султана были его собственные янычары и простой народ. Жители Константинополя

всегда были сами себе хозяевами, даже во времена Юстиниана. Теперь стамбульский сброд, возглавляемый янычарами или улемами, все чаще диктовал свою политическую волю. В 1780-е годы агент Потёмкина Пизани сообщал, что визири и другие чиновники «подначивают толпу», чтобы «смутить своего владыку» «самыми невероятными выходками» [3].

Руководство страной велось из рук вон плохо, и ситуацию усугубляли распущенность и коррупция. Причина этому – ошибки высших чинов: в 1774 году на смену талантливому султану Мустафе III на престол взошел Абдул-Хамид I, который первые 43 года своей жизни провел в заточении. Этот утонченный и испуганный мужчина был не способен быть успешным военным предводителем или реформатором, хотя и ему удалось не ударить в грязь лицом – он стал отцом двадцати двух детей[54]. Он любил вино и часто говаривал, что если бы был иноверцем, то с радостью принял бы католицизм, потому что в католических странах растут лучшие сорта винограда: разве кто-то слыхал о протестантских винах? Эти неловкие шутки не слишком помогали поддерживать дисциплину в армии.

Когда Тотт создавал артиллерийский корпус, он пытался найти честного человека на должность заведующего финансами. «Честный человек… – отвечал визирь. – Где же нам его найти? Я не знаю ни одного». – Визирь обернулся к своему министру иностранных дел: – А ты? Знаком ли ты хоть с одним честным человеком?» – «Отнюдь нет, – рассмеялся реис-эфенди. – Вокруг меня одни проходимцы» [4]. Интеллектуальная мощь османского правительства тоже оставляла желать лучшего: невежество императорских чиновников стало притчей во языцех. Из присутствовавших на переговорах в Систове турецких представителей отличились сразу несколько: один из них заявил, что Испания находится в Африке; реис-эфенди, министр иностранных дел многонациональной империи, думал, что военные корабли не могут выйти в Балтийское море, и все они считали, что Гибралтар расположен около Англии [5].

Империя больше не могла полагаться на одну лишь военную силу. Османы решили эту проблему, превратившись в такую же европейскую державу, как и другие западные государства. Они перевернули изречение Клаузевица с ног на голову: в то время как для большинства держав война – это политика с привлечением иных средств, то для османов политика была войной с привлечением иных средств. Усиление влияния России заставило Османскую империю сменить свои приоритеты. Потенциальные противники России – Франция, Пруссия, Швеция и Польша – стали четырьмя союзниками Блистательной Порты.

Правила были просты: каждое государство предложило Порте денежную помощь в войне с Россией. Ни одна из европейских держав не могла спокойно смотреть на то, как русские подчиняют себе турок.

По выражению одного из посланников Потёмкина, империя напоминала «стареющую красавицу, которая не может смириться с тем, что ее время прошло». Но она все еще обладала огромными войсками и энергией мусульманского фанатизма. Империя, управлявшаяся тетивой, зелеными туфлями и константинопольской толпой, к 1780 году превратилась в прокаженного великана из Бробдингнега, чье тело все еще поражало воображение, хотя и распадалось на части прямо на глазах [6].

Двадцать седьмого апреля 1779 года великая княгиня Мария Федоровна родила сына, которого Екатерина и Потёмкин назвали Константином, предполагая, что он станет императором Константинополя после падения Порты. Два года назад великая княгиня уже подарила Российской империи наследника – первого внука Екатерины, великого князя Александра. Теперь она произвела на свет наследника греческой империи Византии.

Вооружившись античной историей, православным богословием и собственным романтическим воображением, Потёмкин создал свой «греческий проект», представлявший собой культурную программу, геополитическую систему и пропагандистскую кампанию вместе взятые. Он мечтал завоевать Константинополь и возвести на престол великого князя Константина. Екатерина наняла для маленького князя греческую няню по имени Елена и настояла, чтобы его обучили греческому языку [7]. В 1780-е годы Потёмкин лично участвовал в образовании великого князя. «Я одно только желал бы напомнить, – пишет он императрице по поводу учебных занятий Александра и Константина, – чтоб в учении языков греческий поставлен был главнейшим, ибо он основанием других. ‹…› Где Вы поставили чтение Евангелия, соображая с латынским, язык тут греческий пристойнее, ибо на нем оригинально сие писано». Екатерина оставила внизу свою пометку: «Переправь по сему» [8].

Нам доподлинно не известно, когда пара начала задумываться об античном величии и возрождении Византии, но скорее всего, это произошло в самом начале их отношений, когда Екатерина дразнила его «гяуром» (по-турецки «иноверец»). Должно быть, греческий проект впечатлил Екатерину своим странным сочетанием истории, фантазии и практицизма. Светлейший князь был создан для этого проекта, так же как и проект, в свою очередь, был создан для него. Он хорошо

разбирался в истории и византийской православной теологии. Екатерина и Потёмкин, как все наиболее образованные люди своего времени, были воспитаны на античных текстах, от Тацита до Плутарха, отсюда и потёмкинское прозвище «Алкивиад» – хотя в отличие от него Екатерина не читала по-гречески. Он часто приказывал своим секретарям зачитывать фрагменты античных историков, и в его библиотеках хранились почти все их основные труды. В XVIII веке любители античности не просто читали истории о древних временах – они желали превзойти их. Они возводили здания подобно грекам и римлянам.[55] Теперь Потёмкин решил узнать все возможное об Османской империи.

Эта идея была не нова: московские цари провозглашали Россию «Третьим Римом» с тех самых пор, как пал Константинополь – который русские все еще называли Царьградом, городом царей. В 1472 году великий князь Московский Иван III женился на племяннице последнего византийского императора Зое Палеологине (Софье Палеолог). Подданные называли его «новым царем Констянтином новому граду Констянтину – Москве» и царем (т. е. цезарем) – титулом, который затем принял и Иван Грозный. В начале XVI века монах Филофей записал свое знаменитое изречение: «два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать» [9]. Но неоклассическое великолепие, смелый принцип совместного развития религии, культуры и политики, практическая выгода союза с Австрией и особый план деления территорий – все это было достоянием проекта Потёмкина. Благодаря своим талантам он не только спонтанно выдавал нагора новые идеи, но и обладал необходимым терпением и чутьем, чтобы воплотить их в жизнь: он следовал за византийским миражом с тех пор, как пришел к власти, и ему потребовалось шесть лет, чтобы расстроить пропрусские планы Панина.

Уже в 1775 году в Москве, когда Екатерина и Потёмкин праздновали подписание мирного договора с турками, князь завел дружбу с греческим монахом Евгением Булгарисом, который обеспечил теологическую составляющую греческого проекта. Девятого сентября 1775 года по предложению Потёмкина Екатерина назначила Булгариса первым архиепископом Славянским и Херсонским. Города Славянск и Херсон в то время еще не существовали. Херсон, получивший свое название в честь древнегреческого города Херсонеса, колыбели русского православия, пока был лишь одним из греческих образов в бурном воображении Потёмкина.

Назначение Булгариса архиепископом было призвано восславить греческие истоки русского православия – вероятно,

таков был замысел Потёмкина. Одно из его первых решений на посту фаворита – учреждение греческой гимназии. Теперь он сделал Булгариса ее руководителем. Потёмкин желал, чтобы этот греческий архиепископ стал его «Гесиодом, Страбоном и Хризостомом», написал историю южных земель, открыл тайны, сокрытые в прошлом, и показал прямую связь между древними скифами и греко-славянской культурой. Булгарис никогда не писал исторических текстов, но переводил «Георгики» Вергилия и посвятил этот перевод Потёмкину, высочайшему и виднейшему ценителю эллинской культуры, а также сочинил оду своим новым Афинам на Днепре: она заканчивалась строками «Здесь мы вновь видим прежнюю Грецию; о славный князь, ты – победитель» [10]. Все это было частью проэллинского проекта Потёмкина по созданию греческой цивилизации и новой Византийской империи вокруг Черного моря.

Работа над греческим проектом помогает нам увидеть, как сотрудничали князь и императрица. В 1780 году самый одаренный секретарь Екатерины Александр Безбородко подготовил «Мемориал по делам политическим», где излагал основы греческого проекта, поэтому считается, что весь замысел принадлежал ему. Но такая точка зрения свидетельствует о непонимании отношений, которые связывали троих людей, управлявших русской внешней политикой.

Потёмкин задумал греческий проект перед тем, как Безбородко приехал в Петербург, – об этом свидетельствуют его переписка и личные беседы, его покровительство Булгарису, выбор имени Константину и основание Херсона в 1778 году. «Мемориал» Безбородко был попыткой обосновать идею через описание византийско-османско-русских отношений начиная с середины X века, и этот текст был явно написан по заказу Екатерины и Потёмкина. Если взглянуть на проект австрийского мирного договора 1781 года, составленный Безбородко, станет ясно, как шла их работа. Секретарь писал на правой части листа, затем Потёмкин оставлял свои карандашные заметки, адресованные Екатерине, в левой части. С тех пор установился следующий порядок: Потёмкин порождал идеи, а Безбородко записывал их, поэтому после смерти князя секретарь совершенно справедливо писал, что Потёмкин был «редкий и отличный человек, особливо на выдумки, лишь бы только они не на его исполнения оставлялися» [11].

Безбородко был «неуклюжим, нелепым и неопрятным» молодым украинцем с толстыми губами и глазами навыкате, он, словно слон, бродил по дворцу со спущенными чулками. Однако, как заметил Сегюр, «под внешней неловкостью он скрывал

тончайший ум». Говорили, что он постоянно наслаждался оргиями в петербургских борделях. Действительно, он часто отсутствовал по полтора дня. Итальянская оперная дива привезла двух молоденьких итальянок для его сераля; он платил певице-сопрано по имени Давиа 8 000 рублей в месяц, что не мешало ей изменять ему с первым встречным. «Хотя он одевался богато, однако выглядел так, будто наспех натянул на себя одежду после оргии», как, возможно, и было на самом деле. Однажды он вернулся домой выпивши и узнал, что императрица срочно вызывает его к себе. Когда он прибыл во дворец, Екатерина потребовала документ, который он давно обещал подготовить. Секретарь достал лист бумаги и зачитал тщательно составленный указ. Екатерина поблагодарила его и пожелала забрать документ. Он отдал ей пустой лист бумаги и пал на колени. Безбородко позабыл выполнить поручение, но за такую блестящую импровизацию она его простила. Благодаря своему самостоятельному, невероятно острому и тонкому уму он стал потёмкинским протеже и политическим союзником, даже невзирая на то, что среди его друзей были противники князя, например Воронцовы. Признательность, которую он высказывает в письмах Потёмкину за его покровительство, свидетельствует о том, что князь всегда оставался для него старшим соратником [12]. «Он продолжает быть ко мне хорошо расположенным, – пишет Безбородко другу, – мне кажется, что я и заслуживаю то, будучи часто принужден по его делам употреблять более политических оборотов, нежели по Европейским» [13].

Светлейший князь работал и с другими министрами Екатерины – к примеру, с генеральным прокурором Вяземским и президентом Коммерц-коллегии Александром Воронцовым, братом Семена. Потёмкин, известный своими искусными интригами, пренебрегал устоявшимися правилами придворной политики: он смотрел на министров, особенно на Воронцова, «с величайшим презрением» и как-то раз сказал Харрису, что «даже если б мог от них избавиться, не сумел бы подыскать на их место никого достойнее» [14]. Безбородко, по-видимому, был единственным, кто заслужил его уважение. Потёмкин с гордостью говорил Екатерине, что никогда не пытался создать свою придворную партию в Петербурге. Он считал себя членом императорской семьи, а не наемным служащим-политиканом или простым фаворитом. Единственным членом *его* партии была Екатерина.

Первой ступенью греческого проекта была разрядка напряженности с Австрией. Обе стороны шли к этому уже некоторое время и подавали друг другу определенные

дипломатические знаки. Владыка Священной Римской империи и соправитель Габсбургской монархии Иосиф II никогда не оставлял надежд на Баварский план, который привел к «картофельной войне». Он понимал, что без поддержки Потёмкина и Екатерины ему не получить Баварию, которая помогла бы эффективнее объединить его земли. С этой целью Иосиф стремился отговорить Россию от лелеемого Паниным плана союза с Пруссией. А если заодно ему бы удалось увеличить свои территории за счет османских земель, то это было бы двойной удачей. Таким образом, все дороги вели в Петербург.

Иосиф вместе со своей матерью Марией Терезией долгие годы считали Екатерину цареубийцей и нимфоманкой и называли ее «Оекатериненная принцесса цербстская». Теперь Иосиф счел, что выгода от союза с Россией стоит даже разногласий с матерью. Его мнение подтвердил канцлер, принц Венцель фон Кауниц-Ритберг, который в 1756 году инициировал дипломатическую революцию ради заключения союза с Францией, давней противницей Австрии. Кауниц был тщеславным, хладнокровным и сексуально озабоченным невротиком; он так боялся болезней, что заставлял Марию Терезию держать окна закрытыми. То, как он тщательно чистил зубы после каждого приема пищи, было самым отвратительным зрелищем венской общественной жизни. Кауниц настаивал, чтобы Кобенцль, австрийский посол в Петербурге, поставил «отношения с месье Потёмкиным на дружескую ногу… Доложите, как вы с ним ладите сейчас» [15].

Двадцать второго января 1780 года Иосиф отправил послание Екатерине через ее посла в Вене князя Дмитрия Голицына, сообщив, что желает встречи. Момент был выбран идеально. Четвертого февраля она известила его о своем согласии, предупредив об этом лишь Потёмкина, Безбородко и недовольного Никиту Панина. Встреча в белорусском Могилеве была назначена на 27 мая [16].

Императрица и князь с нетерпением предвкушали эту встречу. С февраля до апреля они обсуждали каждую деталь предстоящего события. Волнение обуяло их обоих. Они успокаивали друг друга с супружеской заботой и затем, словно два заговорщика, погружались в планирование. Однажды в апреле Ланской сказал Екатерине, что чувствительный дух Потёмкина «наполнен безпокойствами». Возможно, его тревожили интриги против его планов относительно южных земель, но она успокаивала его словами о своей дружбе, «которую всегда и непременно найдешь в моей и ко мне привязанной душе того [Ланского], который тебя наравне со мною любит и почитает». Она с нежностью добавляет: «Сожаление же наше единственно об

тебе, что ты находи[шь]ся в безпокойстве». Потёмкин огрызнулся на бедного юного Ланского, и тот поспешил к императрице. Она была обеспокоена, не понимая, чем же фаворит рассердил князя: «Пожалуй, дай мне знать: досадил ли тебе Александр Дмитр[иевич] и серди[шь]ся ли на него и за что имянно?» Письма даже намекают на любовные встречи прежних дней, хотя скорее всего они лишь обсуждали свои политические планы: «Мой дорогой друг, я кончила обедать и дверь с маленькой лестницы открыта. Если вы хотите говорить со мной, вы можете прийти».

В конце апреля светлейший князь выехал в Могилев, чтобы руководить подготовкой к приезду государыни и римского императора. Это была его затея, и императрица поручила ему все приготовления. Как только он уехал, Екатерина принялась скучать по супругу. «Мой добрый друг, пусто без тебя», – пишет она ему. Полные воодушевления письма летали туда и обратно. Девятого мая 1780 года Екатерина покинула Царское Село со своей свитой, куда входили племянницы князя Александра и Екатерина Энгельгардт и Безбородко. Никита Панин остался не у дел. Потёмкин уже приветствовал прибывшего в Могилев императора Иосифа, но Екатерина была еще в пути. Они с супругом продолжали обсуждать мельчайшие детали предстоящей встречи и тосковали друг о друге. «Буде луче найдешь способ, то уведоми меня, – пишет она о своем расписании дел, и затем подписывает: – Прощай, друг мой, мы очень тоскуем без тебя. Я весьма желаю скорее увидеться с тобою» [17].

15. Император Священной Римской империи

Не ты ль, который взвесить смел
Мощь Росса, дух Екатерины,
И опершись на них, хотел
Вознесть твой гром на те стремнины,
На коих древний Рим стоял
И всей вселенной колебал?

Г.Р. Державин. «Водопад»

Двадцать первого марта 1780 года князь Потёмкин встречал императора Иосифа II, прибывшего в Россию инкогнито под именем графа Фалькенштейна. Сложно представить двух более разных и неподходивших друг другу людей. Строгий себялюбивый австрийский солдафон хотел немедленно приступить к обсуждению политических вопросов, но князь настоял на том, чтобы они сначала отправились в православную церковь. «До сих пор мы виделись с Потёмкиным только в публичных местах, и он не проронил о политике ни слова», – жаловался своей вечно недовольной матери Марии Терезии тридцатидевятилетний лысеющий, но довольно красивый для Габсбурга император. Недовольство Иосифа не имело значения, потому что Екатерина опаздывала всего на день. Император продолжал проявлять нетерпение, но Потёмкин хранил загадочное вежливое молчание: это был преднамеренный политический маневр, который должен был вынудить Иосифа открыться. Никто не знал, что задумали Потёмкин и Екатерина, но Фридрих Великий и султан Османской империи наблюдали за встречей с плохими предчувствиями, ведь она непосредственно их касалась.

Князь передал императору письмо от Екатерины, в котором ее надежды были выражены прямо: «Клянусь, что сегодня для меня нет ничего труднее, чем скрыть мою радость. Само имя графа Фалькенштейна внушает полное доверие…» [1]. Потёмкин пересказал Екатерине свои первые впечатления об Иосифе, и они с нетерпением обсудили их значение. Князь передал императрице необычные слова императора о ней. Об их уникальном партнерстве свидетельствует письмо Екатерины, которое она

написала всего за сутки до своего приезда: «О Фальк[енштейне] стараться будем разобрать вместе» [2].

Сказать это было проще, чем сделать: странный характер императора озадачивал не только историков, но и современников. Никто другой так не сочетал в себе несочетаемые черты деспота эпохи Просвещения: Иосиф был гремучей смесью захватника, милитаристски настроенного самодержавного монарха и мыслителя, желавшего освободить свой народ от предрассудков прошлого. Он считал себя военным гением и королем-философом, как и его герой Фридрих Великий (враг, который почти полностью уничтожил наследство Иосифа). Идеи Иосифа были прекрасны, но при этом он ненавидел людей, был бестактным и совершенно не понимал, что политика – это искусство возможного. Его напряженные реформаторские усилия подпитывались невероятным честолюбием и были просто анекдотическими: он всерьез считал, что государство – это он.

Инкогнито Иосифа было символом всей его философии монархии. Он был напыщен и самодоволен и относился к своему имени так же, как к условиям, в которых жил, и как к своим реформам. «Вам известно ‹…› что во всех моих путешествиях я строго соблюдаю и ревностно охраняю права и преимущества, какие дает мне имя графа Фалькенштейна, – инструктировал Иосиф австрийского посланника Кобенцля. – Поэтому я буду в мундире и без орденов ‹…› Позаботьтесь подобрать для меня в Могилеве небольшую и скромную квартиру» [3].

Самопровозглашенный «первый чиновник государства» ходил в простом сером мундире, взял с собой лишь двоих спутников, соглашался есть только простую еду, подававшуюся на постоялых дворах, и предпочитал спать на походной военной кровати в придорожной таверне, а не во дворце. Таким образом он хотел поставить организатора встречи Потёмкина в затруднительное положение, но тот не ударил в грязь лицом. В России было мало захудалых таверн, которые ожидал увидеть император, поэтому Потёмкин оборудовал под них дома помещиков.

Император очень гордился тем, что постоянно, от рассвета до заката, инспектировал все, что только мог. Иосиф не понимал, что бездействию тоже надо научиться – поэтому принц де Линь говорил о нем, что «он слишком много правил и недостаточно царствовал». Де Линь хорошо понимал императора и обожал его: «Как мужчина, он был полон достоинств… Но как властитель он никогда не будет удовлетворен. Его царствование станет царством Приапа». После смерти отца в 1765 году Иосиф получил титул императора Священной Римской империи, или, как говорили немцы, кайзера, но был вынужден делить со своей

матерью, величественной, добросердечной и мудрой Марией-Терезией власть над габсбургской монархией, куда входили Австрия, Венгрия, Галиция, Австрийские Нидерланды, Тоскана и некоторые балканские местности. Несмотря на свое ханжество и глубокую католическую набожность, она заложила основы реформ Иосифа – но он приступил к ним настолько жестко, что сначала они были фарсом, а затем стали катастрофой. Позже он предпринял некоторые шаги для освобождения крепостных и евреев, которым больше не нужно было носить желтую звезду Давида, было позволено свободно поклоняться своего Богу, посещать университеты и торговать. Он презирал собственную знать, а его реформы сыпались на подданных, как палочные удары. Иосиф не понимал их упорной неблагодарности. Когда он запретил гробы, чтобы экономить дерево и время, то оказался озадачен той яростью, с которой было встречено это нововведение, и был вынужден отменить свое решение. «Он даже души хочет облачить в мундиры! – восклицал Мирабо. – Это верх деспотизма».

Его личная жизнь была трагичной: первая жена, Изабелла Пармская, весьма талантливая женщина, предпочла мужу его сестру, но он продолжал любить ее. Она умерла молодой после трех лет замужества, и Иосиф, которому тогда было всего двадцать два, был безутешен. «Я потерял все. Моя обожаемая жена, объект моей нежности, мой единственный друг, скончалась. Я не знаю даже, жив ли я сам». Через семь лет от плеврита умерла и его единственная обожаемая дочь: «Прошу вас только отдать мне ее белое хлопковое платье, украшенное цветами…» Но даже эти печальные выплески эмоций были связаны с его собственными переживаниями, и больше ни с чем. Он женился на наследнице Виттельсбахов, Марии-Йозефе, чтобы получить право на владение Баварией, и обращался с ней крайне бессердечно. «Она невелика ростом, толста и не обладает и толикой шарма, – писал он. – Ее лицо все покрыто пятнами и прыщами. Зубы у нее ужасные».

В сексуальной жизни Иосиф метался между княжнами и проститутками, и если ему казалось, что он влюбляется в женщину, то он шел к проститутке, чтобы истощить себя. Де Линь писал, что император «не имел ни капли чувства юмора и не читал ничего, кроме официальных бумаг». Себя он считал образцом рационального достоинства, а ко всем остальным относился с сарказмом. Как мужчина он был вял и холоден; что же касается правительственной деятельности, Екатерина говорила, что «самым большим врагом этого государя был он сам». Поддержка этого кайзера была нужна Потёмкину, чтобы

осуществить величайшие достижения своей карьеры [4].

Двадцать четвёртого мая 1780 года императрица России в сопровождении эскадрона кирасиров въехала в Могилев через триумфальную арку – это произвело впечатление даже на сардонического кайзера: «Это было великолепно – польская шляхта верхами, гусары, кирасиры, генералы… наконец, она сама в двухместной карете, с фрейлиной девицей Энгельгардт». Императрица в сопровождении Потёмкина и фельдмаршала Румянцева-Задунайского, под канонаду пушек и звон колоколов посетила церковь и отправилась в резиденцию губернатора. Затем было четыре дня театров, песен и, конечно, фейерверков. Чтобы украсить эту тусклую столицу провинции, полученную от Польши только в 1772 году и наполненную поляками и евреями, и сделать из нее город, достойный кесарей, не скупились ни на какие расходы. Итальянский архитектор Бригонци построил театр, где для гостей пела его соотечественница Бонафина.

Иосиф надел мундир, и Потёмкин отвез его ко двору [5]. Светлейший представил двух царственных особ друг другу, и они сразу друг другу понравились – оба, разумеется, мечтали об Айя-Софии. После обеда правители поговорили о политике наедине, если не считать Потёмкина и его племянницу (и любовницу), Александру Энгельгардт. Екатерина отметила потом, что Иосиф «очень умен, любит говорить и говорит хорошо». Екатерина и сама говорила. Формально она не предложила ему участвовать в греческом проекте или проекте разделения Османской империи, но оба знали, почему они здесь. Она намекнула на свои мечты о Византии, и Иосиф писал матери, что «проект учреждения империи на востоке кипит у нее в голове и волнует ее душу». На следующий день во время представления комической оперы они поладили настолько хорошо, что Иосиф согласился на план, который, как Екатерина хвасталась Гримму, она «не осмеливалась разгласить». Они хотели произвести друг друга впечатление. Им нужно было понравиться друг другу. Они приложили к этому все свои усилия [6].

У смены направления внешней политики оставались противники, причем не только Панин и пруссофил великий князь Павел. Румянцев-Задунайский поинтересовался, предвещают ли эти торжества союз с Австрией – раздражительный герой войны считал себя в праве задать подобный вопрос. Императрица ответила, что «союз сей касательно турецкой войны выгоден, и князь Потёмкин то советует». Румянцев едко сказал, что ей следовало бы самой решать такие вопросы. «Один ум хорош, – парировала Екатерина, – а два лучше» [7]. Так они сотрудничали.

Иосиф, который желал контролировать все вокруг,

просыпался рано утром и инспектировал все, что только мог. Как и многие бесталанные солдаты – например, Петр III и великий князь Павел, – он был уверен, что достаточно большое число инспекций и парадов превратят его во Фридриха Великого. Потёмкин вежливо сопровождал его на смотры российских войск, но в итоге счел горделивые прогулки императора слишком утомительными. Когда Иосиф упомянул один из «великолепных полков» Потёмкина, который он еще не видел, светлейший не захотел идти из-за того, что с минуты на минуту ожидалась плохая погода. Екатерине, как сварливой жене, пришлось приказать ему отвезти Иосифа в полк невзирая на погоду.

Для монархов был построен специальный шатер, чтобы они могли наблюдать за проходом кавалерии, в то время как остальные наблюдатели, включая племянника короля Польши принца Станислава Понятовского, который и оставил записи об этом, смотрели выступление, сидя на лошадях. Послышался отделанный гул, и затем князь Потёмкин во главе нескольких тысяч конников проскакал перед зрителями. Князь поднял саблю, чтобы скомандовать «в атаку», но конь внезапно присел под весом Потёмкина и взвился на дыбы, «как кентавр». Потёмкин, однако, удержался в седле и отдал команду. Полк перешел в галоп, находясь на расстоянии примерно четырех километров от зрителей, и остановился в строгом порядке напротив императорского шатра. «Я никогда не видел, чтобы кавалерия делала что-то подобное», – сказал Иосиф. Его комментарии об инциденте с Потёмкиным не сохранились [8].

Тридцатого мая Екатерина и Иосиф в одном экипаже выехали из Могилева в Смоленск, где на время их пути разошлись. Иосиф и пятеро сопровождающих поехали посмотреть Москву. Екатерина же находилась неподалеку от места рождения Потёмкина, Чижова. Существует легенда, согласно которой Потёмкин пригласил Екатерину посетить деревню, где вместе со своим племенником, Василием Энгельгардтом, одним из екатерининских флигель-адъютантов, а теперь и владельцев деревни, приветствовал ее у ворот и показал ей деревянную баню, где он родился. Впоследствии источник назвали в честь Екатерины. Затем они разделились – князь присоединился к Иосифу на пути в Москву, а императрица вернулась в Петербург. «Мой дорогой друг, – писала она Потёмкину, – как пусто без тебя» [9].

Иосиф не понимал Потёмкина. «Князь Потёмкин желает ехать в Москву, чтобы все мне показать, – сообщал он матери. – Доверие к нему неизменно высоко. Ее величество даже раз назвала его за столом своим верным учеником ‹…› Но пока он не

сказал ничего примечательного. Надеюсь, он покажет себя во время поездки». Иосиф снова оказался обескуражен. Император беспрестанно и педантично излагал все свои идеи, но в перерывах между осмотрами Потёмкин постоянно впадал в мечтательное состояние. Князь хотел добиться от Иосифа заключения союза, но он не был льстецом и тот факт, что он путешествовал в компании главы дома Габсбургов не произвел на него такого сильного впечатления, как ожидалось. Иосиф написал из Москвы «своей дорогой матери», что Потёмкин рассказал ему про основные моменты из истории некоторых достопримечательностей, но большинство мест ему приходится посещать самостоятельно. Потёмкин привык спать долго, а император вставал на рассвете, чтобы что-то осмотреть. Ко времени отъезда Иосиф негодовал, что Потёмкин «позволил себе отдыхать. В Москве я виделся с ним всего трижды, и он ни разу не поговорил со мной о делах». Этот человек, заключил он, «слишком ленив и беззаботен, чтобы приводить что-нибудь в движение» [10].

Восемнадцатого июня Иосиф с Потёмкиным прибыли в Петербург и приступили к обсуждению их будущего сотрудничества. В Царском Селе Потёмкин организовал для графа Фалькенштейна приятный сюрприз. Он приказал английскому садовнику Екатерины (который до того жил в Хакни, а родился в Ганновере) с говорящей фамилией Буш создать специальную таверну для императора, обожавшего постоялые дворы. Когда баронесса Димсдейл, английская жена доктора императорской семьи, посетила это место годом позже, садовник с гордостью рассказал ей, как вешал на здание вывеску с надписью «Доспехи графа Фалькенштейна». Сам он ходил с табличкой «Хозяин таверны». Иосиф обедал в «Доспехах Фалькенштейна» вареной говядиной, супом, ветчиной и «вкусными, но простыми русскими блюдами». Остается только гадать, уловил ли неспособный к юмору педант смысл шутки [11].

Веселье продолжалось, а российские министры и дипломаты были вне себя от беспокойства, потому что чувствовали приближение огромных, но пока еще невидимых перемен. Когда все вернулись в Петербург, Иосиф встретился с Никитой Паниным. «Этот человек, – отметил кайзер, – может вселять такой же страх, как и его антагонист князь Потёмкин». К началу июля князь начал обсуждать с императором, императрицей и австрийским послом Кобенцлем заключение формального договора, чтобы «восстановить былую уверенность и близость между двумя дворами». Екатерина видела, что император подобен двуликому Янусу, но в своих наполовину публичных письмах Гримму писала, что он «крепок умом, хорошо сложен и

очень умен». Ко времени отъезда стороны стали ближе, но ни о чем не договорились. Мария Терезия продолжала править Веной [12].

После отъезда Иосифа, прямо во время переговоров о создании союза России с Австрией, Пруссией и Британией, в Москве умерла Дарья, мать Потёмкина, с которой он давно не общался. Когда новости дошли до императрицы, она была на пути в Царское Село, а князь – в расположенной неподалеку летней резиденции Озерки. Екатерина настояла на том, чтобы рассказать ему самой, поэтому изменила маршрут и поехала к нему. Часто больнее потерять родителя, от которого ты далек, чем того, кто тебе близок: Потёмкин рыдал, потому что, по замечанию наблюдавшего сцену Корберона, «сочетал в себе как хорошие, так и дурные стороны sensitivite» [13]. Это было еще мягко сказано.

Успешный визит Иосифа в Москву всех взбудоражил. Прусская партия, то есть Панин и великий князь Павел, была в смятении. Фридрих Великий решил отправить в Петербург прусского принца, чтобы что-то противопоставить успеху Габсбургов. Задолго до встречи в Могилеве его посол Герц обсуждал такой визит с Потёмкиным и Паниным. Вместо принца Генриха, который теперь хорошо знал Потёмкина, Фридрих отправил своего племянника и наследника, Фридриха Вильгельма. Идея была не очень хорошей. Иосиф, несмотря на всю свою педантичность, производил впечатление на тех, с кем общался, а Фридрих Вильгельм, получивший от короля специальные указания льстить Потёмкину, был нескладным и тучным прусским грубияном, не обладавшим никакими выдающимися чертами. Принц Генрих почтительно написал Потёмкину, попросив приветливо отнестись к неуклюжему племяннику – тоном человека, который специально шлет дешевый подарок, но заранее извиняется за его плохое качество[56].

Двадцать шестого августа Потёмкин и Панин вместе встретили принца. Правда, Потёмкин сразу объявил, что Александра Энгельхардт не «даст ему ужина» [14], а Екатерина назвала его «неповоротливым, неразговорчивым и неуклюжим толстяком». Гогенцоллерн скоро надоел всей столице, за исключением великого князя, который был так влюблен во Фридриха Великого и его военную муштру, что его устраивал любой прусский принц. Кроме того, план Фридриха уже был испорчен прибытием секретного оружия Иосифа II – принца де Линя [15].

Корберон и Герц, принимая желаемое за действительное,

убедили друг друга, что из визита Иосифа ничего не выйдет. Корберон, правда, после этого посетил обед, на котором присутствовали супруги Кобенцли и «только что прибывший граф де Линь с сыном». Корберон нашел, что «гранд-сеньор Фландрский» всего лишь «старая развалина» – но это было далеко от истины.

Шарль-Жозеф, принц де Линь, которому на тот момент было пятьдесят, оставался вечно молодым, озорным и непринужденно остроумным аристократом эпохи Просвещения. Он был наследником имперского княжества, полученного его предком в 1602 году, а нянька заставляла его танцевать с нею и спать раздетым возле нее. Он женился на наследнице Лихтенштейна, но в первые же недели после женитьбы назвал свой брак «абсурдным», а после и вовсе потерял к нему интерес. Через три недели он вступил в связь с горничной. Во время Семилетней войны де Линь руководил полком и отличился в битве при Колине. «Я желал бы быть хорошенькой девушкой до тридцати лет, генералом ‹…› до шестидесяти, – говорил он после войны Фридриху Великому, – а потом, до восьмидесяти, кардиналом». Однако его угнетало одно – он желал, чтобы его серьезно воспринимали как генерала, но никто, от Иосифа до Потёмкина, не желал дать ему возможность проявить себя в военном командовании. Это причиняло ему боль [16].

Величайшим талантом де Линя было его умение дружить. Он очаровал всю Европу и воспринимал каждый день как комедию, которая могла превратиться в эпиграмму, каждую женщину – как приключение, которое могло превратиться в поэму, а каждого монарха – как крепость, которая должна была пасть под натиском его острот. Его льстивость могла быть тошнотворной: «Какой бесстыдный лицемер этот де Линь», – писал один из очевидцев. Но это работало. Он был другом как Иосифа II, так и Фридриха Великого, Руссо, Вольтера, Казановы и королевы Марии-Антуанетты, что показывает, как мал мир в его эпоху. Ни в ком лучше не выразился дух распущенного космополитизма конца восемнадцатого века. «Мне нравится всюду быть иностранцем… – говорил он. – Французом в Австрии, австрийцем во Франции, французом и австрийцем в России».

Письма де Линя переписывали, его остроты повторяли во всех гостиных Европы – как и было задумано. Он был прекрасным писателем, и никто не смог превзойти созданные им злые портреты великих мужей того времени, особенно Потёмкина, который его завораживал. Его «Пестрые заметки» вместе с «Историей моей жизни» Казановы – два лучших описания эпохи: де Линь находился на верхней, а Казанова на нижней ступени

одного и того же общества. Раз за разом по всей Европе они встречали одних и тех же шарлатанов, герцогов, проституток и графинь на балах и за карточными столами, в операх и борделях, придорожных трактирах и королевских дворцах.

Де Линь приводил Потёмкина в восторг. Дружба этих двух мастеров слова разгоралась и затухала так, как если бы была любовной связью. Она отражена в многочисленных сохранившихся в архивах Потёмкина неопубликованных письмах де Линя, написанных его маленькой рукой, сочащихся остроумием и умом, а затем становящихся нечитаемыми. «Дипломатического жокея», как он сам себя называл, приглашали на все приватные карточные игры императрицы, на все ее выезды и обеды в Царском Селе. Неповоротливый принц прусский не имел ни малейшего шанса против мужчины, которого Екатерина называла «самым приятным и легким в обхождении человеком», какого она когда-либо встречала, «соединяющим глубокий оригинальный ум с детской проказливостью».

И только великий князь Павел возился с Фридрихом-Вильгельмом, из-за чего тот все больше отдалялся от Екатерины и Потёмкина. Екатерина устроила в Эрмитажном театре спектакль, бал и ужин в честь принца Пруссии, но увидев, что он явился туда вместе с великим князем и его женой, сказала Харрису: «Хочу, чтобы вы защитили меня от этих увальней», после чего исчезла. Дипломаты интересовались, где же императрица. Оказалось, что она играла в бильярд с Потёмкиным и де Линем [17].

Императрица и светлейший князь вздохнули свободно, когда Фридрих-Вильгельм наконец удалился, не получив ничего. Он заметил, что его приняли холодно: став королем, он отомстит. Но де Линя русские отпустили с трудом. «Дипломатический жокей», как истинный джентльмен, остался немного дольше. Наконец в октябре он настоял на том, что ему пора уезжать, и Потёмкин отправился с ним, чтобы показать один из своих полков, и отпустил только с горой подарков: лошадьми, крепостными и инкрустированной бриллиантами шкатулкой. Потёмкин скучал по де Линю и постоянно спрашивал Кобенцля, когда тот вернется.

Именно этого австрийцы и добивались. Они засыпали Потёмкина комплиментами; вот один из примеров дипломатической лести: Кобенцль попросил своего императора по возможности упоминать о достоинствах Потёмкина в депешах, написанных «открытым текстом». Одновременно он польстил и Иосифу, отметив, что русский политик ценит мнение кайзера выше, чем слова королей Пруссии или Швеции. Но прямые комплименты императора необходимо было сохранить для особых случаев. Кроме того, он просил Иосифа также передать

привет племянницам Потёмкина, девицам Энгельгардт [18].

Семнадцатого (28) ноября 1780 года Иосиф освободился от оков благоразумной Марии Терезии. Ее смерть после сорока лет правления дала Иосифу возможность практически разрушить наследие Габсбургов таким образом, какой даже Фридрих Прусский не мог представить. В траурных письмах, которыми обменивались Вена и Петербург, горе с трудом скрывало усмешку. «Император, – писал де Линь в письме к Потёмкину 25 ноября, всего через неделю после смерти императрицы, – исполнен дружеских чувств к вам ‹…› Я имел истинное удовольствие убедиться, что они полностью совпадают с моими ‹…› Давайте мне знать время от времени, что вы меня не забыли» [19]. Так вопрос, конечно, даже не стоял.

Когда тело императрицы-королевы было погребено в Кайзергруфте – императорской усыпальнице в венской капуцинской церкви, – Иосиф понял, что может начать сближение с Россией. Потёмкин заявил Кобенцлю о своей «заинтересованности» и «серьезности намерений». Екатерина позаботилась о том, чтобы обо всех подробностях сообщали ей, а не «старому мошеннику» Панину, как она назвала его в письме к Потёмкину [20]. Екатерина и Иосиф сосредоточились на грядущей борьбе с султаном.

Сэр Джеймс Харрис, который думал, что союз с Австрией поможет его миссии, по-прежнему не мог понять нежелание России вступать в союз с Британией, даже после возвращения Потёмкина из Могилева. Отшучиваясь, Потёмкин обосновывал отказ Екатерины надуманными оправданиями, в том числе ссылаясь на «дурака и врун фаворита» Ланского, женскую слабость, связанную со «страстями» и «ловкой лестью» Иосифа II, который заставил ее думать, что она «величайшая из царствующих особ Европы». Такая резкая критика не только демонстрировала искреннее разочарование Потёмкина в попытках управлять Екатериной, но это была и его хитрой Потёмкуловкой. Это наглядный пример того, как Потёмкин «разыгрывал» бедного Харриса, потому что секретные письма между Потёмкиным и Екатериной доказывают, что они оба основывали всю свою политическую систему на альянсе с Австрией [21]. Харрис наконец-то понял, как ошибся, поддерживая Потёмкина против Панина, потому что Потёмкину теперь было неинтересно поддерживать союз с Англией, хотя он и сохранял дружелюбие, в то время как Панин стал открыто враждебным.

Видя враждебность Панина, Харрис попросил отозвать его домой. Но Лондон продолжал давить, требуя найти способ

заключения союза с Россией. В ночных разговорах с Потёмкиным находчивый Харрис разработал грандиозную схему. Воображение Потёмкина стало источником официальной британской политики. Князь предложил, чтобы Британия пообещала России «нечто заслуживающее внимания» ради присоединения России к английской войне. В шифровке от ноября 1780 года Харрис рассказал своему госсекретарю, виконту Стормонту, что «князь Потёмкин, хотя прямо не говорит этого, ясно дал мне понять: единственное, что может убедить императрицу стать нашей союзницей, – это уступка Минорки». Эта мысль была не такой уж странной, как может показаться: в 1780 году Потёмкин строил свой Черноморский флот и собирался отправлять через проливы торговые корабли в такие средиземноморские порты, как Марсель. Порт Маон на Минорке мог стать хорошей морской базой. Россия в ходе последней войны заняла греческие острова, но к моменту заключения мира не удержала ни одного. Планируя раздел Османской империи, Потёмкин регулярно предлагал Крит Франции и Англии. Однако Потёмкин был осторожен и, как писал Харрис, не излагал свой план напрямую. Это была одна из фантастических игр по построению империи, в которые любил играть светлейший, и которые ему ничего не стоили.

Потёмкина вдохновляла мысль о российской морской базе на Минорке, особенно с учетом того, что Британия оставила бы там огромные запасы стоимостью два миллиона фунтов стерлингов, которые перешли бы во владение России – то есть Потёмкина. Он каждый день встречался с Харрисом, чтобы обсудить это, и 19 декабря 1780 года устроил для посланника разговор с Екатериной наедине. До того, как призвать Харриса, князь сам отправился к Екатерине провел у нее два часа и вышел «с самым удовлетворенным видом». Это был высший момент дружбы Харриса со светлейшим. «Однажды, поздно вечером, когда мы сидели с ним вдвоем, он вдруг принялся описывать, какие преимущества вынесла бы Россия из этого проекта…» Можно представить себе детскую радость, призрачные мечты и лихорадочное возбуждение Потёмкина, лежавшего на диване в своих покоях, окруженного бутылками токайского и шампанского, с картами на игральном столе: «Он уже представлял себе, как русский флот стоит в Минорке, греки заселяют остров и он сам становится столпом славы императрицы посреди моря» [22].

Императрица понимала преимущества базы на Минорке, но сказала Потёмкину: «Невеста слишком хороша, тут не без подвоха». Кажется, она не могла противостоять возбуждению Потёмкина, пока они были вместе, но как только он уходил, то Екатерина начинала лучше оценивать ситуацию. Российский флот

еще не был построен, а без поддержки Британии порт было не удержать. Она отказалась от Минорки. И оказалась права: та была слишком далеко, и Британия сама вскоре потеряла остров.

Потёмкин ворчал, что Екатерина стала «подозрительна, нерешительна и недальновидна», но это снова было отчасти притворством. Харрис по-прежнему надеялся, что князь хочет союза с Англией: «Обедал в среду в Царском Селе с князем Потёмкиным ‹…› Он так рассудительно и благосклонно говорил об интересах двух наших дворов, что я более чем когда-либо сожалел о его частых приступах лени и рассеянности». Он все еще не понимал, что интересы Потёмкина лежали не на западе, а на юге. Тем не менее, пока князь тайно вел переговоры с австрийцами, сэр Джеймс пытался добиться своего.

Иосиф и Екатерина тем временем согласовали условия оборонительного трактата, включавшего секретные пункты о Высокой Порте, но тут великое предприятие Потёмкина натолкнулось на препятствие вполне в духе времени. Это была так называемая «альтернатива», дипломатическая традиция, согласно которой монархи, подписывавшие договор, сначала ставили свою подпись первой на одном экземпляре, а затем второй на другом. Император Священной Римской империи, бывший старшим правителем Европы, всегда подписывался первым на обоих экземплярах. Но Екатерина отказывалась признать, что Россия находится ниже Рима, а Иосиф отказывался уронить свое достоинство как кайзера, подписавшись вторым. Таким образом, при перераспределении восточных земель камнем преткновения оказался вопрос протокола.

Это был один из тех кризисов, когда разногласия между Потёмкиным и Екатериной проявлялись особенно ярко. Императрица упрямилась, князь просил ее быть более гибкой и подписать договор. Перебранка партнеров заметна в их переписке и депешах Кобенцля. Потёмкин бегал от одной стороны к другой. В конце концов Екатерина приказала передать Кобенцлю, «чтобы он отстал от подобной пустоши, которая неминуемо дело остановит». Все действительно приостановилось.

Эти трения не способствовали удовлетворению требований Потёмкина относительно его племянниц Александры и Екатерины, каждая из которых собиралась замуж. Вскоре в конфликт был втянут даже фаворит Екатерины Ланской. Но Екатерина в итоге придумала решение, которое можно было предложить Иосифу: они оба обменяются подписанными письмами, в которых будут описаны их обязательства друг перед другом, а договор подписывать не станут [23].

Глубоко уязвленный князь, столкнувшись с вероятностью

краха главного проекта всей его жизни, слег с «плохим пищеварением». Екатерина отправилась к нему и провела в его покоях весь вечер, «с 8 часов до полуночи». Мир был восстановлен.

Десятого мая 1781 года, когда кризис из-за договора с Австрией достиг своего пика, Потёмкин отправил графа Марка Войновича, моряка из Далмации, устроить небольшое «нашествие» на Персию. Пытаясь устранить препятствия на пути своего греческого проекта, он также проводил тайную персидскую политику.

Эта параллельная политическая линия развивалась весь год, пока шли переговоры с Австрией. Одиннадцатого января 1780 года, за десять дней до того, как Иосиф II предложил встретиться с Екатериной в Могилеве, светлейший князь приказал лучшему из своих генералов Александру Суворову собрать в Астрахани войска для вторжения. Он велел переправить на юг корабли, которые с 1778 года по его приказу строили в Казани на Волге. На заключение союза с Австрией мог понадобиться еще не один год. Тем временем Россия собиралась попытать счастья с Персидской империей вместо Османской.

В те годы Персия занимала обширные земли к югу от Каспия, Баку, Дербент, всю территорию сегодняшнего Азербайджана, большую часть Армении и половину Грузии. Армяне и грузины исповедовали православие. Как и в случае с греками, валахами и молдаванами, Потёмкин мечтал освободить своих единоверцев и присоединить их страны к Российской империи. Он договорился о встрече с представителями Армении в Петербурге, чтобы обсудить освобождение армянских христиан от персидского ига.

Князь был одним из немногих русских государственных деятелей в ту эпоху, которые разбирались в торговле: он знал, что от торгового поста на восточном берегу Каспия до Персидского залива всего тридцать дней пути и всего за пять недель можно добраться до Индии через Кандагар. Иными словами, это был первый и не слишком эффективный ход Потёмкина в «Большой игре». Нам известно, что Потёмкин старался отвлечь внимание своих британских друзей от греческого проекта с помощью «персидского». Французы и британцы с интересом следили за развитием его тайных персидских планов. Шесть лет спустя французский посол все еще будет пытаться раскрыть эти потёмкинские секреты.

В феврале 1780 года Саша Ланской тяжело заболел, Потёмкин решил повременить с наступлением, и Суворов остался дожидаться приказа в унылой провинциальной Астрахани. Как только антиосманский греческий проект и встреча с Иосифом

получили подтверждение, Потёмкин уже не мог себе позволить рассредоточить войска. Планы изменились. В начале 1781 года князь отменил наступление и вместо этого убедил Екатерину отправить небольшую экспедицию под командованием тридцатилетнего Войновича, которого одни считали «опасным пиратом» из Далмации, а другие – «итальянцем, шпионящим в пользу венских министров». Войнович сражался за русских в первой Русско-турецкой войне и временно захватил Бейрут (ныне столица Ливана).

Двадцать девятого июня 1781 года эта маленькая военно-морская экспедиция в составе трех фрегатов и еще нескольких транспортных кораблей отправилась в Каспийское море, чтобы добраться до персидского торгового поста и заложить основы екатерининской империи в Центральной Азии. Персия была в замешательстве, но Ага-Мохаммед-Хан, сатрап ашхабадской провинции по другую сторону Каспия, заигрывал со всеми сторонами конфликта. Этот устрашающий и достойный восхищения правитель, создатель империи, в юные годы кастрированный врагами его отца, надеялся сам занять шахский престол. Он ничего не имел против русского торгового поста на восточном берегу, возможно, планируя с русской помощью раздобыть средства на содержание собственной армии.

Экспедиция Войновича стала результатом причудливого просвещенческого смешения научной жажды знаний, корыстных помыслов и чисто имперского тщеславия. В поездку отправились всего 600 человек, а также пятьдесят пехотинцев и весьма уважаемый Потёмкиным человек – немецкий еврей ботаник Карл-Людвиг Габлиц; возможно, именно он написал безымянный отчет о Персидской экспедиции князя, который сохранился в архиве на набережной Орсе. Войнович, пожалуй, не вполне годился для этой непростой задачи, но и без того экспедиция была слишком маленькой и не имела никакой поддержки. Вероятно, причиной тому стал очередной компромисс между осмотрительностью Екатерины и фантазией Потёмкина. К тому времени, как экспедиция отправилась в путь, императрица и князь полностью погрузились в дела Царьграда и Вены, отвлекшись от Ашхабада и Кандагара.

Войнович получил от князя указания не применять силу, однако, прибыв на место, «поступил противоположным образом». Переплыв море, он встретил Ага-Мохаммеда, стоявшего лагерем со своими войсками, и показал себя «никуда не годным придворным и политиком». Персидский князь был все еще заинтересован в русском торговом посте и даже предложил отправить своего племянника с делегацией в Петербург. Вместо

этого Войнович неблагоразумно решил построить небольшую крепость – как будто его двадцать пушек и 650 человек могли всерьез сражаться с персидской армией. Он устраивал торжества для персов и вызывающе палил из пушек, в результате напрасно перепугав и без того подозрительных местных жителей, до которых ранее дошел слух, что Суворов якобы идет через Дагестан с 60 000 солдат. Этот слух был, вероятно, первым британским выступлением в «Большой игре», и эта интрига им удалась. Ага-Мохаммед решил не иметь дела с недалекими и беспардонными русскими.

Глава местного селения пригласил Войновича и Габлица на обед. Едва они прибыли, дом окружили 600 персидских воинов. Войновичу и Габлицу предложили выбор: лишиться головы или покинуть свои укрепления и немедленно убраться восвояси. Они предпочли второй вариант, и не зря, поскольку Ага-Мохаммед был способен на неистовую жестокость: позднее он ослепит 20 000 человек – все мужское население городка, который попытался сопротивляться ему. Также он умудрился сделать невозможное – стать единственным евнухом в истории, основавшим собственную династию – Каджаров. Династию продолжил племянник Ага-Мохаммеда; его потомки правили Персией вплоть до начала XX века, а затем их сменили Пехлеви. Прошло еще сто лет, прежде чем России удалось завоевать Среднюю Азию [24].

Флотилия с позором отправилась на родину. Потёмкин, должно быть, взял на себя ответственность за эту донкихотскую экспедицию, которая могла бы окончиться катастрофой – и в самом деле, виной тому его византийский стиль правления: он хотел запастись альтернативным вариантом на случай, если в Вене что-то пойдет не так [25].

Однако все прошло успешно. Иосиф согласился подписать секретный договор, обменявшись с Екатериной письмами. На протяжении полугода Европа была убеждена, что переговоры прервались, но 18 мая Екатерина отправила письмо «моему дорогому Брату», и Иосиф послал ей ответ. Она согласилась поддержать Австрию в конфронтации с Пруссией, а Иосиф, к большой радости Потёмкина, обещал России защиту от турок: «Три месяца спустя обязуюсь… объявить войну…» Таким образом Австрия выступила гарантом мирных переговоров России с Турцией [26]. Этот поворот в российской внешней политике был личной победой Потёмкина.

Екатерина и Потёмкин находили удовольствие в том, чтобы водить за нос все международное сообщество. Французские, прусские и британские послы раздавали взятки направо и налево, лишь бы узнать, что же на самом деле происходит. Харрис

настороженно заметил, что «мой друг» был «в приподнятом настроении», но «избегал в разговоре политических тем». Кобенцль, который, разумеется, все знал, тоже был доволен. «Наше предприятие, – говорил он своему императору, – остается секретом для всех, кроме князя Потёмкина и Безбородко» [27]. Вскоре Иосиф понял, что Екатерина обычно добивается всего, чего ни пожелает. Несмотря на приоритетность греческого проекта, она не оставила идею вооруженного нейтралитета и убедила Пруссию и Австрию подписать трактат. «Как говорится, Господь дает женщине все, что она хочет, – философствовал Иосиф, – и всякий человек, попав к ним в руки, всегда заходит дальше, чем хотел бы». Екатерина и Потёмкин торжествовали: императрицу так взволновало одно лестное письмо Иосифа, что она даже зарделась.

Договоренность сохранялась в тайне. Харрис заподозрил, что соглашение достигнуто, лишь месяц спустя, 25 июня, дав взятку в 1600 фунтов секретарю Безбородко, однако от остальных секрет удавалось скрывать почти два года. Его знали лишь Екатерина, Потёмкин и Безбородко; великого князя Павла в известность не поставили. Панин удалился в свои смоленские владения [28]. Партнеры поздравляли друг друга с победой. Екатерина сравнивала себя и Потёмкина с героями античной мифологии, лучшими друзьями Пиладом и Орестом. «Мой старинный друг Пилад – человек умный», – хвалила она его.

Однако теперь перед ними возникла иная трудность: великий князь Павел был весьма скептически настроен по отношению к южной экспансии и австрийскому союзу. Подражая своему отцу, он был «пруссаком». В июле, когда Екатерина пригласила британского доктора барона Димсдейла с супругой, чтобы сделать юным князьям Александру и Константину прививки от оспы, Никита Панин потребовал, чтобы ему позволили вернуться и следить за исполнением процедуры; эту хитрость они придумали вместе с Павлом. Екатерина усмехалась: «Если он надеется снова занять пост первого министра, то жестоко ошибается. При моем дворе он отныне может быть только сиделкой».

Екатерина и Потёмкин размышляли, как защитить свои политические проекты от вмешательства Павла и, если возможно, расположить его к союзу с Австрией. Может быть, отправить их с женой в путешествие в Вену и Париж – в обход Берлина, где сидит старик Фридрих? Если бы Екатерина предложила ему такую идею, нервный Павел счел бы это уловкой Потёмкина, желающего отстранить его от дел. Светлейший князь занимался созданием своего собственного царства, основывал

причерноморские города и организовывал свадьбы племянниц. Нельзя было позволить Павлу нарушить эти планы. И Потёмкин нашел решение [29].

16. Три свадьбы и корона

Или средь рощицы прекрасной
В беседке, где фонтан шумит,
При звоне арфы сладкогласной,
Где ветерок едва дышит,
Где все мне роскошь представляет,
К утехам мысли уловляет,
Томит и оживляет кровь;
На бархатном диване лежа,
Младой девицы чувства нежа,
Вливаю в сердце ей любовь.

Г.Р. Державин. «Фелица»

Вскоре после того, как был подписан договор с Австрией, Екатерина приступила к осуществлению плана своего супруга. Она убедила князя Репнина, племянника Панина, пригласить Павла в поездку по Австрии, представив это как его собственную идею. Павел попался на крючок и попросил императрицу отпустить его. Притворившись недовольной, Екатерина согласилась – однако ее очень беспокоило, как будет держать себя ее ожесточенный и нервный сын. «Смею просить ваше императорское величество о снисхождении ‹…› к неопытной молодости», – писала она Иосифу. Иосиф прислал приглашение, Павел и Мария Федоровна ждали поездки с нетерпением. Они даже смягчились по отношению к Потёмкину, который в свою очередь при всякой возможности расхваливал Павла [1].

Панин прознал об этом замысле. «Старый хитрец» не скрывал своего раздражения. Он поспешил обратно в Петербург и внушил Павлу опасения, что путешествие – на самом деле часть заговора против него. Подобные поездки были небезопасны для российских князей: все хорошо помнили, что сына Петра Первого Алексея привезли на родину из Вены и довели пытками до смерти. Эта опасность – не пустой звук для царевича, отец которого был убит его собственной матерью; он почти никому не мог доверять. Панин предположил, что лучше поехать в Берлин, а

не в Вену, а затем намекнул, что Павла не только лишат права на престол и предположительно убьют, но и отнимут у него детей. Великий князь впал в истерику.

На следующее утро, в воскресенье тринадцатого сентября, великий князь и княгиня, охваченные паникой, отказались уезжать из Царского Села. Они сослались на необходимость присматривать за детьми после прививок. Чтобы их успокоить, Екатерина призвала врачей, Роджерсона и Димсдейла. Переполох при дворе длился три дня, и дипломаты судачили о том, не повредит ли дружеским отношениям с Австрией то, что наследник престола не слушается императрицы и князя. Потёмкин «по своему обыкновению» молча мерил шагами комнату, а затем бросился к императрице. Екатерина не была Петром Великим, но отказ Павла следовать ее воле вызвал бы нешуточный кризис наследования. Партнеры решили принудить Павла уехать. Когда Потёмкин спустя час вернулся к Харрису, вопрос был улажен.

Отъезд стал небольшой трагедией для царской семьи, и это могли видеть все придворные, а также окружение Павла и слуги. Девятнадцатого сентября наследник, уезжавший инкогнито под именем графа Северного и его супруга, поцеловали детей на прощание. Великая княгиня упала в обморок, и ее без сознания отнесли в карету. Великий князь последовал за ней, объятый унизительным ужасом. Императрица и ее «тяжелая артиллерия» в лице Потёмкина, князя Орлова и вероломного графа Панина вышли провожать Павла. Угрюмый Павел, усаживаясь в карету, что-то прошептал Панину; тот не ответил.

Наследник опустил шторы и приказал кучеру немедля трогать. На следующее утро Панин был отправлен обратно в деревню [2].

Светлейший князь, наслаждаясь своей политической победой, занялся приготовлениями к свадьбам своих племянниц-любовниц, Сашеньки и Катеньки. Десятого ноября 1781 года Катенька-«Венера» – Екатерина Энгельгардт, которой в свое время увлекались не только сыновья Екатерины Павел и Бобринский, но и половина придворных, – вышла замуж за болезненного, но богатого графа Павла Мартыновича Скавронского. Свадьба состоялась в дворцовой часовне. Скваронский вел свой род от ливонского брата Екатерины I, супруги Петра I, и был невероятно эксцентричным человеком. Он вырос в Италии, которую считал своим домом, и казался Потёмкину подходящей кандидатурой: этот покладистый клоун был страстным меломаном, сам сочинял музыку и давал концерты, хотя не имел к тому совершенно никаких способностей. Его слугам было запрещено разговаривать

и велено изъясняться только речитативом. Он отдавал распоряжения с помощью музыки, а его гости вели беседу в форме вокальной импровизации. Его торжественные обеды с пением в обществе сонной кокетливой Катеньки наверняка выглядели весьма потешно [3]. Императрица сомневалась, что Скавронский способен сделать женщину счастливой – он «глуповат и неловок», полагала она, добавляя, что вопрос с замужеством Катеньки «живо трогает нас обоих и нам близок», так как она считала племянниц Потёмкина почти что членами своей семьи. Князь не согласился с ней – слабость и богатство Скавронского были ему на руку [4].

Два дня спустя Сашенька обвенчалась с союзником своего дяди, великим гетманом польским Ксаверием Браницким. Сорокадевятилетний добродушный дебошир был полон амбиций и всего добивался самостоятельно. Он сделал карьеру благодаря дружбе с королем Станиславом Августом. Казанова называл его недалеким и безрассудным «польским головорезом» и дрался с ним на дуэли, так как Браницкий оскорбил его любовницу, итальянскую актрису Бинетти. Оба были ранены (причем Браницкий – весьма серьезно), но в итоге стали друзьями [5]. Когда Сегюр проезжал через Варшаву, Браницкий явился к нему в традиционном польском костюме – красных сапогах, коричневой накидке, меховой шапке и при сабле – и сказал: «Вот два достойных спутника для ваших странствий» – и вручил ему два богато украшенных пистолета [6].

Браницкий рассорился с польским королем и, сочтя, что сотрудничество с русскими сулит ему большое будущее, нашел в Потёмкине родную душу. Они познакомились в Петербурге в 1775 году, и с тех пор Браницкий старался угодить Потёмкину, выполняя его поручения в Польше. Двадцать седьмого марта того же года он написал «дорогому генералу», что «Польша предоставила мне честь» сообщить Потёмкину новость о том, что князю пожалован сертификат об индигенате, то есть о польском дворянстве; это был первый шаг на пути к овладению Курляндией или к польской короне – «запасному плацдарму» на случай смерти Екатерины [7]. Брак Браницкого и Сашеньки должен был проложить дорогу в Польшу для семьи Потёмкина [8].

Императрица лично контролировала подготовку к свадьбе Александры и «польского головореза». Утром невесту привели в покои Екатерины, и та «собственноручно надела Александре свои роскошные украшения». В нашем распоряжении имеется описание похожей церемонии венчания одной из наиболее близких императрице фрейлин, дочери Льва Нарышкина: «Эта дама была одета в итальянскую сорочку из серебряной парчи с длинными

рукавами… и огромным кринолином». Невеста обедала с императрицей, а в церкви стояла на коврике из «бирюзового шелка». Согласно обряду жених и невеста несли в руках свечи, а над их головами держали короны. Они обменялись кольцами, и священник взял «шелковый отрез длиной два или три ярда и обвязал их руки». По окончании церемонии состоялся торжественный обед, после которого невеста вернула императрице драгоценности и получила в дар 5 000 рублей [9].

Почти в это же самое время четвертая сестра – «Надежда безнадежная», которая в 1779 году менее удачно вышла замуж за полковника П.А. Измайлова, овдовела и затем стала женой потёмкинского соратника сенатора П.А. Шепелева. Пятая племянница Татьяна в 1785 году вышла замуж за своего дальнего кузена генерала-лейтенанта Михаила Сергеевича Потёмкина, который был на 25 лет ее старше. Светлейший князь прозвал его «святым» за добрый характер, и этот брак был счастливым, однако, увы, Михаил прожил недолго [10].

Если Варвара и Александра рано или поздно прекратили свою связь с Потёмкиным, то графиня Екатерина Скавронская, по-видимому, и далее оставалась его любовницей. «Положение дел все то же, – писал Иосифу II Кобенцль. – Муж весьма ревнив и не одобряет происходящего, но ему недостает смелости положить этой связи конец». Даже пять лет спустя Екатерина была «красивей прежнего и оставалась любимой наложницей своего дядюшки» [11].

В 1784 году Потёмкин назначил Скавронского послом в Неаполе, и эта возможность попасть в страну величайших маэстро привела его в восторг. Но его супругу не очень интересовала итальянская опера, а Потёмкин, у которого, конечно параллельно были другие любовницы, все же дорожил своей безмятежной племянницей и не хотел с ней разлучаться. В итоге ей все же пришлось уехать, но ненадолго. Ее муж отправлял Потёмкину письма, представлявшие собой образец самого унизительного заискивания: «Я не в силах выразить всю свою радость и признательность, с которой я читал ваше милостивое письмо; я счастлив, что вы так добры ко мне и не забываете своего покорного слугу. Я посвятил всю жизнь мою тому, чтобы заслужить ваше расположение, которое, смею предположить, никто не ценит выше меня». Более того, Скавронский в отчаянии умолял Потёмкина помочь ему избежать дипломатических faux pas <ляпов>. Князь, должно быть, усмехался, читая эти слова, хотя ему понравились скульптуры, присланные Скваронским из Италии [12]. Как ни удивительно, в Неаполе в перерывах между оперными ариями граф обзавелся потомством, и его дочь

однажды станет европейской знаменитостью.

Скавронский неизменно сообщал князю, что его супруга с нетерпением ждет возможности воссоединиться с дядюшкой в России, что, возможно, было правдой, поскольку мечтательный «ангел» тосковала по родине. В Неаполе она обзавелась служанкой, которую держала под кроватью и приказывала ей «рассказывать одну и ту же историю каждую ночь», чтобы помочь Екатерине уснуть. Днем она «всегда бездельничала», вела «до крайности пустые разговоры» и вовсю флиртовала [13]. Она стала главной кокеткой Неаполя, и ее высоко оценивали в городе, который скоро окажется под властью чар Эммы, леди Гамильтон. Но когда Потёмкин благодаря своим успехам привлек к себе внимание всей Европы, Катенька устремилась домой, чтобы разделить его триумф.

Графиня Александра Браницкая оставалась конфиданткой Потёмкина и его польским агентом, а также ближайшей подругой Екатерины. Пока ее супруг-транжира усердно проматывал их состояние, она не менее усердно его увеличивала, что приводило к спорам с дядюшкой, но, тем не менее, они всегда мирились [14]. До конца жизни она часто находилась подле Потёмкина и императрицы, хотя в основном жила в своих польских и белорусских имениях. Она писала ему страстные письма своим неразборчивым почерком: «Папа, жизнь моя, мне так грустно быть вдали от тебя… Прошу тебя об одной лишь милости – не забывай меня, люби меня всегда, никто не любит тебя сильнее, чем я. Боже, как я буду счастлива тебя увидеть» [15]. Она пользовалась всеобщим уважением. Современники писали о ее высоких нравственных качествах и считали, что всю свою жизнь она была «образцом верности супругу» [16], что было необычно для той эпохи, а особенно для женщины, которая вышла замуж за пожилого ловеласа. У них была большая семья. Возможно, она и впрямь полюбила Браницкого за его притягательную грубость.

Эти три замужества стали причиной споров между Екатериной и Потёмкиным по поводу орденов и денег, дарованных его семье: 600 000 рублей, орден Святой Екатерины для будущей великой генеральши (Александры) и портрет императрицы для княгини Голицыной (Варвары). Потёмкин полагал, что государство должно обеспечивать его племянниц – разве они не были членами семьи императрицы? После нескольких ссор он все же добился своего благодаря глубокому убеждению, что о близких нужно неустанно заботиться.

Павел покинул Царское Село, затаив глубокую ненависть к светлейшему князю. Но Потёмкин рассуждал как монарх, а не как министр, и пытался сохранить равновесие между придворными

партиями и иностранными державами. В ноябре он обсуждал с Харрисом возможность частично вернуть Панину прежнее влияние, вероятно, чтобы тем самым уравновесить усиливавшегося Безбородко [17]. Отсутствие мстительности было одной из его лучших черт, которую мы так редко встречаем даже у самых демократичных политиков. А может быть, ему просто хотелось положить конец панинским унижениям. Так или иначе, триумф Потёмкина подкосил Панина: в октябре он тяжело заболел.

В начале 1782 года растерянный Кобенцль сообщил Иосифу, что Потёмкин начал симпатизировать Пруссии. И Кобенцль, и Харрис в своих докладах признавались, что не в силах постичь мотивы потёмкинских действий, но князь, склоняясь к Австрии, тем не менее всю жизнь стремился найти срединное положение между двумя немецкими монархиями [18].

Приехав в Вену, Павел привел в ужас своих гостеприимных хозяев, особенно после того, как Иосиф поведал ему тайну о существовании русско-австрийского союза. Габсбург понял, что «слабость и малодушие великого князя вкупе с его лживостью» помешают этому злобному курносому параноику стать успешным правителем. Павел провел в Австрии шесть недель, досаждая Иосифу рассказами о своей ненависти к Потёмкину. Когда он прибыл в габсбургские земли в Италии, то в беседах с Леопольдом, братом Иосифа и великим герцогом Тосканы, возмущенно разглагольствовал о правлении своей матери, ругая греческий проект и австрийский союз. Замысел Екатерины «расширить свои территории за счет турецких земель и возродить константинопольскую империю» был «никуда не годным». Австрия наверняка подкупила этого предателя Потёмкина. Когда Павел взойдет на престол, он арестует его и швырнет в темницу [19]! Братья Габсбурги испытали большое облегчение, когда граф Северный уехал в Париж.

Князь мог укрепить свои позиции в противостоянии с Павлом лишь двумя способами: либо изменить порядок наследования, либо создать для себя «запасной плацдарм» в другой стране. Поэтому он решил дискредитировать Павла раз и навсегда и, возможно, в дальнейшем лишить его права наследования и передать трон его сыну Александру. Когда Потёмкин узнал, что одним из приближенных Павла был Александр Куракин, племянник Панина и такой же пруссофил, то через Кобенцля попросил австрийцев передать ему письма Павла, которые перехватил «Черный кабинет». Австрийская секретная служба сообщила Потёмкину информацию, которую они обнаружили в переписке Павла с Паниным. Князь намеревался доказать, что

Куракин шпионит в пользу пруссаков, и тем самым бросить тень на самого Павла [20].

Никита Панин, хоть и был болен, понимал, что переписка Куракина будет перлюстрирована, и поэтому договорился с Павлом, чтобы тот поддерживал связь со своими сторонниками через третье лицо – Павла Бибикова, флигель-адъютанта императрицы, сына знаменитого генерала. Перлюстрированное в начале 1782 года письмо Бибикова Куракину произвело эффект разорвавшейся бомбы и послужило для Екатерины еще более весомой, чем заговор Салдерна, причиной отстранить Павла от власти до конца ее жизни. Бибиков писал о екатерининской России: «кругом нас совершаются дурные дела ‹…› отечество страдает», а также критиковал «кривого» «Циклопа» Потёмкина за то, что тот развалил российскую армию, и писал, что если князь сломает шею, все наконец вернется на круги своя.

Екатерина была взволнована и рассержена. Бибикова тут же арестовали. Императрица лично составила текст допроса, который вел Шешковский. В свое оправдание Бибиков сообщил, что был расстроен переводом своего полка на юг. Екатерина отправила протокол допроса светлейшему князю и велела передать дело Бибикова в Тайную экспедицию при Сенате. Там на судебном процессе Бибикова признали виновным в государственной измене, в клевете на своего командующего Потёмкина и согласно военным законам приговорили к смертной казни.

Тут Потёмкин проявил свое благородство. Несмотря на то что приближенные Павла обсуждали возможность сломать ему шею, в письме от 15 апреля 1782 года Потёмкин попросил Екатерину проявить милосердие: «Естьли добродетель и производит завистников, то что сие в сравнении тех благ, которыми она услаждает своих исполнителей. ‹…› Вы уже помиловали, верно. Он потщится, исправя развращенные свои склонности, учинить себя достойным Вашего Величества подданным, а я и сию милость причту ко многим на меня излияниям». Признавая, что он трепещет перед возмездием Потёмкина, Бибиков плакал на допросе. Он предложил принести публичные извинения.

«Моего мщения напрасно он страшится, – писал Потёмкин императрице, – ибо между способностьми, которые мне Бог дал, сей склонности меня вовсе лишил. Я и тово торжества не желаю, чтоб он и прощения у меня публично просил. ‹…› Равно не найдет он примера, чтобы в жизнь мою кому мстил» [21]. В этом он не солгал – более того, здесь проявляется тщательно взвешенная скромность политика: он никогда не оказывал больше давления, чем было необходимо, и потом никогда не провоцировал

нежелательной реакции.

Бибиков и Куракин, призванный на родину из Парижа, отправились в ссылку на юг. Когда по окончании путешествия наследник вернулся в Петербург, его влияние ослабело и ряды единомышленников оскудели. Даже мать презрительно называла своего раздражительного, приносившего столько хлопот сына и его супругу «Die schwere Bagage» – «тяжелой ношей» [22]. «Князь Потёмкин теперь счастливее, чем когда-либо», – доложил Кобенцль Иосифу [23].

Секретный австрийский договор вскоре подвергся испытанию – в Крыму, открывавшем путь в Черное море, в последнем бастионе татар и ключевой точке потёмкинской южной экспансии. В мае князь отправился «на короткий срок» в Москву, чтобы осмотреть свои имения. Пока он был в пути, турки снова подвигли крымчан на восстание против ставленника Екатерины Шахина Гирея, который вновь бежал вместе с другими русскими гражданами. Ханство опять охватили беспорядки.

Императрица отправила гонца к князю. «Мой дорогой друг, возвращайтесь как можно скорее», – писала она 3 июня 1782 года, устало добавляя, что им придется выполнить свое обещание и восстановить хана в правах, несмотря на то, что это уже третий подобный инцидент. Она также рассказала Потёмкину новости о том, что 1/12 апреля британский адмирал Родни разбил французский флот адмирала Жозефа де Грасса в битве у островов Всех Святых в Карибском море, тем самым немного улучшив бедственное положение Англии после приобретения Америкой независимости. Екатерина понимала, что поддерживать Шахина Гирея в Крыму уже нецелесообразно, но выбор дальнейших действий зависел от позиции европейских держав – и от Потёмкина. «Все сие мы б с тобою в полчаса положили на меры, – пишет она своему супругу, – а теперь не знаю, где тебя найти. Всячески тебя прошу поспешить своим приездом, ибо ничего так не опасаюсь, как что-нибудь проронить или оплошать». Вот самое ясное подтверждение их партнерства и равноправия [24].

Князь счел эту крымскую суматоху подходящим историческим моментом, поскольку Британия и Франция все еще были заняты войной. Он примчался в Петербург и немедленно отправил сэру Джеймсу Харрису озорное письмо на французском, нацарапанное его неразборчивым почерком: «Vive la Grande Bretagne et Rodney; je viens d'arriver, mon cher Harris; devinez qui vous e´crit and venez me voir tout de suite»[57].

В полночный час Харрис устремился через все Царское Село на встречу с «этим выдающимся человеком, который», как он писал новому министру иностранных дел, своему близкому другу

Чарльзу Джеймсу Фоксу, «ежедневно меня изумляет». Сэр Джеймс обнаружил Потёмкина в лихорадочном волнении. Светлейший князь настоял на том, чтобы беседовать всю ночь, невзирая на то, что он только что преодолел «3000 верст за 16 дней и за это время спал лишь три раза. Он не только посетил несколько имений и каждую церковь, мимо которой проезжал, но и терпеливо снес все проволочки и утомительные формальности, связанные с военными и гражданскими почестями, которыми его осыпали по приказу императрицы… однако он не выказывает ни единого знака усталости… и когда мы расстались, я определенно выглядел более утомленным» [25].

Воссоединившись, князь и императрица решили восстановить Шахина Гирея на крымском троне, но в то же время апеллировать к австрийскому договору на случай, если дело закончится войной с Блистательной Портой. Иосиф с такой готовностью ответил «моей императрице, моему другу, моей союзнице, моей героине» [26], что пока Потёмкин готовился дать вооруженный ответ на крымский кризис, Екатерина воспользовалась возможностью превратить греческий проект из мечты в реальную политическую стратегию. Десятого сентября 1782 года Екатерина рассказала о проекте Иосифу, который счел его решительно неосуществимым, но поразился его размаху. Сперва Екатерина хотела возродить «древнюю греческую монархию из руин… варварского режима, который сейчас находится у власти», для «младшего из моих внуков, великого князя Константина». Затем она намеревалась создать Дакийское царство на месте римской провинции (ныне территория Румынии), «независимое от трех монархий государство… под управлением христианского монарха… и преданного нам человека, на которого оба императорских двора могли бы полагаться». Из писем Кобенцля становится ясно, что Дакия предназначалась для Потёмкина.

Ответ Иосифа был таким же решительным: в общих чертах он одобрил проект. Взамен он пожелал получить Хотинскую крепость, часть Валахии и Белград. Венеция должна была уступить ему Истрию и Далматию и в свою очередь получить Морею, Кипр и Крит. Все это, подытожил он, едва ли возможно осуществить без помощи Франции – вероятно, ей стоит предложить Египет. Подробности выяснятся лишь в ходе войны и переговоров, но в целом он дал свое согласие [27].

Верил ли в самом деле Потёмкин в возможность возродить Византийскую империю под началом Константина, а ему самому стать королем Дакии? Эта идея увлекала его, но он никогда не брался за невозможное. Дакийский замысел был реализован в середине XIX века, когда возникла Румыния, и Потёмкин

определенно планировал осуществить эту часть проекта. Но способности рассуждать здраво он не терял [28].

В течение 1785 года он обсуждал турецкий вопрос с французским посланником Сегюром и заявлил, что мог бы захватить Стамбул, однако признал, что новый Византий пока остается лишь «химерой». Все это «чепуха, – говорил он. – Не стоит внимания». Но затем князь лукаво заметил, что три или четыре державы могли бы выгнать турок в Азию и освободить Египет, Архипелаг, Грецию и всю Европу от османского ига. Много лет спустя Потёмкин спросил своего чтеца, который декламировал Плутарха, сможет ли он посетить Константинополь. Секретарь тактично ответил, что это вполне возможно. «Этого довольно! – воскликнул Потёмкин. – Если бы кто-то сказал, что я не могу там побывать, я бы выстрелил себе в голову» [29]. Потёмкин всегда был гибким человеком, и в сентябре 1788 года именно он предположил, что Константин мог бы стать королем Швеции, которая находится довольно далеко от Царьграда [30]. Он желал извлечь из этой идеи стратегические выгоды и осуществить ее до той степени, до которой возможно.

Екатерина Великая лично дала нам понять, каков вклад Потёмкина в австрийский союз и греческий проект. «Система с Венским двором есть Ваша работа», – писала она ему позднее [31].

Седьмого августа 1782 года императрица и светлейший князь присутствовали на открытии гигантской статуи Петра Первого – «Медного всадника» работы Фальконе, который до сих пор стоит на Сенатской площади в Петербурге. Памятник стал символом их желания превзойти достижения Петра, который столь многого достиг в Балтике, но потерпел неудачу на юге. Князь приказал своему племяннику, генерал-майору Самойлову, начать подготовку к восстановлению порядка в Крыму, но решил и сам отправиться на юг и принять деятельное участие в процессе. Если ранее партнерство Потёмкина и Екатерины ограничивалось внутренними делами империи, то с момента этой поездки начинается эра масштабных свершений. Теперь Екатерина понимала, что они будут проводить в разлуке едва ли не больше времени, чем вместе. Это был его желанный путь к величию, но Екатерина все же с нежностью писала, когда он был в отъезде: «Не люблю, когда ты не у меня возле бока, барин мой дорогой». Первого сентября 1782 года князь покинул Петербург и направился в Крым [32].

17. Крым, потёмкинский рай

То плен от персов похищаю,
То стрелы к туркам обращаю…

Г.Р. Державин. «Фелица»

Потёмкин назвал Крым «бородавкой на носу» Екатерины, но этим землям суждено было стать его собственным русским «раем». Крымский полуостров не только поражал своей пышной красотой, но и был настоящим международным сокровищем – издревле он служил перевалочным пунктом, власть над которым позволяла контролировать все Черное море. Древние греки, готы, гунны, византийцы, хазары, караимы, грузины, армяне, генуэзцы и татары, которые пришли позднее, – все они были здесь лишь гостями, приехавшими покупать и продавать свое добро, а сам полуостров, казалось, не принадлежал никому. Потёмкина, любителя античности, в Крыму привлекали руины Херсонеса и загадочный храм Ифигении, дочери Агамемнона. Но он был также чрезвычайно заинтересован в стратегическом значении Крыма и в истории этого форпоста монголов, три столетия державших Русь под гнетом ига.

Крымское ханство (на Западе их знали как крымских татар) в 1782 году уже казалось архаическим государством – последним оплотом монгольской цивилизации. Крымская династия Гиреев была второй по значению Османской империи, поскольку вела свою родословную от самого Чингисхана и могла похвастаться более знатным происхождением, чем Османский дом. Если Рим и Византия представляли две из трех международных линий наследования императорской власти, то третьей была династия Чингизидов. Ей принадлежали земли в Анатолии, где османы держали в заключении потенциальных претендентов на престол – это была своего рода «золотая клетка» для Гиреев. Если бы вдруг род Османов прекратился, то подразумевалось, что Чингизиды Гиреи станут их наследниками. Они всегда были скорее союзниками, чем подданными.

Ханство было основано в 1441 году, когда Хаджи Гирей смог вывести территории из состава Золотой Орды и объявил себя первым ханом Крыма и черноморских берегов. Его преемник Менгли Гирей признал верховную власть османского султана, и с тех пор эти государства сосуществовали в напряженных, но

уважительных союзнических отношениях. Татары охраняли Черное море, защищали северные турецкие границы и поставляли светловолосых рабов-славян для продажи в константинопольские публичные дома и на галеры. Удалось подсчитать, что с 1601 по 1655 год они захватили больше 150 000 рабов. Их армии в 50 000 – 100 000 конников держали под контролем восточные степи, совершая набеги на Московскую Русь всякий раз, когда на невольничьих рынках нужны были новые рабы. Они были вооружены квадратными луками длиной в шесть футов и стрелами длиной в два фута, мушкетами, пистолетами с лазурными и изумрудными вставками и круглыми богато украшенными щитами. Вплоть до XV века ханы-Чингизиды собирали дань с русских царей и польских королей. Гиреи верили, что их род в своем величии не имеет себе равных. «Его императорское светило воссияло над великолепным горизонтом», – начертал один из ханов в Бахчисарайском дворце, где ханы обитали в своих сералях под охраной 2 100 секбанов (константинопольских янычар) как уменьшенные копии Великого Турка. «Блистательный крымский трон озарил своим ярким сиянием весь мир».

На протяжении трех столетий татарское государство было одним из самых влиятельных в Восточной Европе, а их конница, вероятно, лучшей среди европейских держав. Их земли не ограничивались Крымом: во времена своего расцвета в XVI веке господство татар простиралось от Трансильвании и Польши до Астрахани и Казани, и их границы проходили на полпути от Бахчисарая до Москвы. Даже при Потёмкине ханскую власть признавали на огромной территории – от кубанских степей на востоке до Бессарабии на западе, от самых дальних крымских мысов до Запорожской Сечи, иными словами, «в тех землях, которые отделяют Российскую империю от Черного моря». Татарские ханы нередко объединялись с Литвой против Московской Руси, а в XVI веке даже добрались до московского посада и сожгли его [1]. Но у их государства была своя ахиллесова пята – ханы не наследовали власть, а избирались. Гиреям подчинялись мурзы – татарские семьи, которые тоже вели свой род от монголов; они избирали одного из Гиреев ханом, а другого – его прямым наследником, калгаем (причем он не обязательно должен был приходиться хану сыном). Более того, существенную часть ханских подданных составляли непокорные кочевники – ногайские татары. Поэтому полноценную власть хан получал лишь во время войн [2].

Барон де Тотт, французский советник османов, был отправлен в Крым, где вместе с ханом в сопровождении 6000

всадников наслаждался прогулками верхом и охотой с соколами и гончими. Когда в 1768 году Блистательная Порта объявила России войну, хан Кырым Гирей встал во главе стотысячной армии и вместе с Тоттом поскакал навстречу русским войскам на бессарабско-польской границе, где как раз служил молодой Потёмкин. Когда Кырым Гирей скончался (вероятно, он был отравлен), татары сделали остановку в Бессарабии, чтобы избрать нового хана Девлета Гирея, и барон де Тотт был одним из последних свидетелей архаичного очарования монархии Чингизидов: «В шляпе, украшенной двумя плюмажами, усеянными алмазами, с луком и колчаном через плечо, предшествуемый гвардией и многими лошадьми, которых холки были украшены плюмажами, сопутствуемый знаменем пророка и всем своим двором, хан въехал в город и направился во дворец; там, в зале Дивана, сидя на троне, он принимал знаки покорности от всех вельмож». Этот величественный военный церемониал кочевников сопровождался нелепыми представлениями «множества оркестров, актеров и шутов». Отправляясь на войну, хан, подобно своим монгольским праотцам, восседал в шатре, «изнутри обитом красным сукном» [3].

Первые набеги увенчались успехом, однако впоследствии Русско-турецкая война стала катастрофой для крымских татар. Девлет Гирей в своем красном шатре не избегнул печальной участи, и ему на смену пришел менее влиятельный правитель. Тотта отозвали в Константинополь, но увы, татарская армия осталась на Дунае вместе с основными османскими силами, поэтому в 1771 году, когда Василий Долгорукий занял Крым, они не смогли защитить свои земли. Как мы видели, из-за Пугачевского восстания и дипломатических обстоятельств к 1774 году Россия не смогла сохранить все свои военные приобретения. Но при заключении Кючук-Кайнарджийского мира Екатерина по разумному совету Потёмкина настояла на том, чтобы татары получили независимость от султана, который сохранил лишь номинальную религиозную власть над ними в качестве халифа. Эта «независимость» принесла новые беды.

У трагедии Крыма было лицо и имя. Калгай Шахин Гирей (или, как называла его Екатерина, татарский «дофин») в 1771 году во главе крымской делегации отправился в Петербург. «У него славный характер, – писала Екатерина Вольтеру, – он пишет стихи по-арабски… когда ему будет позволено смотреть на танцующих девушек, он собирается присоединиться к моим вечерним встречам по воскресеньям». Шахин был не только хорош собой, но и получил хорошее образование в Венеции. Россия приняла решение возвести его на ханский престол, когда

крымские татары согласились на свою независимость от Стамбула, подписав Карасубазарский мирный договор в ноябре 1772 года. В этом году Шахин Гирей покинул российскую столицу, получив 20 000 рублей и золотой меч [4]. Однако Османская империя не признала независимость Крыма, несмотря на свое формальное согласие, закрепленное в Кючук-Кайнарджийском договоре и Айналы-Кавакской конвенции. Они передали противникам Кинбурн на Днепре и две свои крепости на Азове, но сохранили крепость Очаков, откуда могли угрожать русским, занявшим земли между Днепром и Бугом.

В апреле 1777 года Шахин Гирей был избран ханом. Русский двор слишком увлек его, а внешний лоск западной образованности не смог скрыть его политическую несостоятельность, невежество в военных вопросах и безудержную жестокость. Словно исламский Иосиф II – за вычетом его филантропии, – Шахин при поддержке армии наемников под предводительством польского дворянина принялся за создание просвещенной деспотии. Тем временем русские поселили 1200 примкнувших к ним в ходе войны греков в городе Еникале на Азовском море – эти «албанцы», как их называли, вскоре вступили в конфликт с татарами. Когда османы направили флот с одним из бывших ханов, чтобы тот занял место Шахина, татары взбунтовались, и Шахину снова пришлось бежать. В феврале 1778 года Потёмкин приказал готовить еще одну военную операцию, а османы в это время сделали нелепое заявление о том, что Шахин – иноверец: ведь он «спит на кровати, сидит на стуле и не возносит надлежащих молитв» [5]. Восстановленный на престоле хан настолько заблуждался относительно своих политических возможностей, что, если верить Потёмкину, считал себя крымским Петром Великим и так жестоко расправлялся с противниками, что шокировал даже русских. Екатерина надеялась, что хан извлечет урок из своих ошибок.

И все же Потёмкин постарался ослабить Крымское ханство. Его экономика зависела от православных народов – греческих, грузинских и армянских садоводов и торговцев. Рассерженные на «албанцев» и подстрекаемые муллами и польскими наемниками Шахина Гирея татары ополчились против христиан. В 1779 году русские под руководством генерала Александра Суворова помогли бежать 31 098 христианам, которые, вероятно, были рады спастись из этого мусульманского хаоса и найти убежище в православной империи. Россия обещала им экономические привилегии, но на деле их исход обернулся настоящим маршем смерти. О жилищах для них никто не позаботился, и многие погибли в пути. Ответственность за эту трагедию лежит на плечах

Потёмкина и Румянцева-Задунайского, осуществлявших политическоее и военное руководство этой операцией. Однако Потёмкин все же смог расселить большинство беженцев в Таганроге и в своем новом городе Мариуполе. Для империи это был успех: оставшись без торговых связей и сельского хозяйства, Шахин оказался перед риском разорения и мог рассчитывать лишь на щедрость русских. Летом 1782 года его братья подняли восстание, и когда он вновь бежал и стал молить Россию о помощи, то ханом избрали одного из братьев, Бахадыра Гирея. Но его правление было недолгим.

Потёмкину, который получил теперь полную власть на юге, потребовалось всего шестнадцать дней, чтобы от Балтики примчаться к Черному морю. Он скакал со скоростью самых быстрых гонцов и с досадой писал Екатерине о «неприятных спутниках, худой погоде, дурных дорог[ах] и нехороших лошадях» [6]. Неприятным спутником был, скорее всего, майор Семпл. Потёмкин расспрашивал его об армиях Западной Европы, и этот жулик позднее заявлял, что давал Потёмкину советы насчет военных реформ, хотя нужно сказать, что потёмкинские идеи родились еще до прибытия Семпла и получили свое воплощение уже после его отъезда. Мошенник вскоре истощил терпение князя. Всю дорогу Потёмкин и Екатерина обменивались сердечными письмами. Ей хотелось узнать, как обстоят дела в Крыму, но вместо этого она писала ему о болезни Катеньки Скавронской. Ланской навестил ее и затем сообщил Екатерине и Потёмкину, что Катеньке становится лучше. Таким было распределение ролей в их необычной семье [7].

Шестнадцатого сентября 1782 года светлейший князь въехал в свой новый город Херсон. Двадцать второго сентября в Петровске (ныне Бердянск) он встретился с Шахином Гиреем, чтобы обсудить условия российской интервенции. Затем он приказал генералу Бальмену ввести войска в Крым. Русские подавили восстание, «без особой на то нужды» убив 400 человек, и захватили Бахчисарай. Шахин Гирей под охраной русских солдат вновь овладел своей столицей. Тридцатого сентября, в день именин Потёмкина, которые раньше он обычно отмечал с Екатериной в своих апартаментах, она, как любящая жена, прислала ему подарки – походный столовый сервиз и несессер: «Заехал ты, мой друг, в глушь для своих имянин» [8].

К середине октября удалось достичь определенной стабильности, и Потёмкин вернулся в Херсон. До конца своих дней он будет проводить много времени на юге. Екатерина очень скучала по нему, но относилась с пониманием: «…хотя не люблю, когда ты не у меня возле бока, барин мой дорогой, но, я должна

признаться, что четырехнедельное пребывание твое в Херсоне, конечно, важную пользу в себе заключает» [9]. Он приложил много усилий к тому, чтобы ускорить застройку города и мобилизовать судостроение, и проверил, как идет строительство крепости Кинбурн напротив османских укреплений Очакова. «Как сему городишке нос подымать противу молодого Херсонского Колосса!» – восклицала Екатерина, ожидая вместе с Потёмкиным, объявит ли Блистательная Порта войну России. К счастью, совместными усилиями Австрия и Россия все же смогли внушить османам трепет [10]. Колосс устремился обратно в Петербург, чтобы убедить Екатерину решиться на аннексию ханства [11].

В конце октября князь вернулся в столицу уже другим человеком. Он обрел свое предназначение, и все обратили внимание на то, «что за эти шесть месяцев характер и поведение князя Потёмкина существенно изменились, – докладывал Харрис лорду Грэнтэму, новому министру иностранных дел. – Он встает рано и много работает и не только открыт ко всем, но и обходителен» [12].

Светлейший князь даже распустил свой двор. Майор Семпл попытался воспользоваться покровительством Потёмкина, чтобы прижать петербургских купцов и вытянуть денег из герцогини Кингстон. Когда он пригрозил герцогине, что пошлет к ней за деньгами русских солдат, Потёмкин разоблачил этого «короля мошенников», и тому пришлось бежать из России, по пути обманывая попавшихся ему под руку торговцев. О его дальнейших приключениях нам мало что известно, но позднее де Линь писал Потёмкину, что повстречался с «одним из англичан Вашего Высочества, майором Семплом, который поведал мне, что сопровождал вас в крымских завоеваниях». В Англии Семпла осудили за мошенничество и в 1795 году отправили в ссылку, откуда он бежал и умер в лондонской тюрьме в 1799 году [13]. Светлейшего князя забавлял этот паноптикум шарлатанов – он кое-чему научился у них, и его изумительная память сохранила эти познания. Они его использовали, но Потёмкин, как и всегда, вышел из этой истории победителем.

Теперь он решил продать все свое богатство – особняки, лошадей, поместья и драгоценности, – обзавелся «внушительной суммой наличных» и объявил, что собирается оставить дела и уехать в Италию. Он сказал Харрису, что утратил влияние, и сообщил Екатерине о своем желании уйти в отставку, но она не отпустила его. Потёмкин постоянно угрожал ей отставкой – Екатерина наверняка уже привыкла к подобным угрозам. Тем не менее никто в точности не знал, что же происходит [14]. Он даже уплатил все свои долги.

Казалось, что Господь Бог тоже вернул свой долг Потёмкину. После смерти своей молодой жены в июне 1781 года князь Орлов потерял рассудок от горя и бродил, причитая, по дворцовым коридорам. Тридцать первого марта 1783 года Никита Панин скончался от апоплексического удара. Когда два эти светила, которые ненавидели друг друга, но нехотя отдавали должное Потёмкину, умерли с разницей в несколько дней, Екатерина подумала, что они будут «удивлены этой встречей в загробном мире» [15].

Князь приводил в порядок свои дела, потому что отправлялся на юг – исполнять главную миссию своей жизни. Когда «сердечный друг» Екатерины вернулся в Петербург, он был в расцвете своих творческих сил и фонтанировал идеями, такими же яркими, как искры из фейерверка «колесо Екатерины». Он немедля принялся убеждать ее разобраться с крымским вопросом раз и навсегда. Была ли Екатерина упрямым и бескомпромиссным стратегом, а Потёмкин – осмотрительным тактиком, какими их обычно изображают поздние историки? В этой ситуации Потёмкин проявил упрямство и настоял на своем, но в других случаях их роли распределялись по-разному, и любые обобщения будут неправильны. Они сталкивались с трудностями и опасностями, спорили, кричали, обижались, мирились и вновь ссорились, пока наконец не выработали совместный политический курс.

В конце ноября князь со всей страстью и ораторским мастерством разъясняет Екатерине, почему Крым, который «положением своим разрывает наши границы», должен быть захвачен – ведь османы, владея им, могут «входить к нам, так сказать, в сердце». На это необходимо решиться сейчас, пока не минул благоприятный момент, когда британцы заняты войной с французами и американцами, Австрия все еще готова поддержать Россию, а Стамбул измучен мятежами и чумой. Посреди империалистической риторики и исторических фактов он восклицает: «Положите ж теперь, что Крым Ваш и что нету уже сей бородавки на носу ‹…› Всемилостивейшая Государыня! ‹…› Вы обязаны возвысить славу России. Посмотрите, кому оспорили, кто что приобрел: Франция взяла Корсику, Цесарцы без войны у турков в Молдавии взяли больше, нежели мы. Нет державы в Европе, чтобы не поделили между собой Азии, Африки, Америки. Приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить Вас не может, а только покой доставит. Удар сильный – да кому? Туркам. Сие Вас еще больше обязывает. Поверьте, что Вы сим приобретением безсмертную славу получите и такую, какой ни один Государь в России еще не имел. Сия слава проложит дорогу еще к другой и

большей славе: с Крымом достанется и господство в Черном море. – И добавляет: – Нужен в России рай» [16].

Екатерина сомневалась, не приведет ли эта операция к войне. Не стоит ли захватить лишь Ахтиарскую гавань, а не все ханство? Потёмкин жаловался Харрису на осторожность Екатерины: «Мы никогда не заглядываем ни в прошлое, ни в будущее и полагаемся лишь на сиюминутные настроения… Если бы я мог быть уверен, что получу одобрение за достойные дела и порицание за недостойные, я бы знал, на что опереться…» Наконец и Харрису нашлось применение: Потёмкин заручился его обещанием, что Британия не станет препятствовать российской экспансии на османских землях [17].

Спустя пару недель после возвращения Потёмкина 14 декабря 1782 года Екатерина направила на его имя «секретнейший» рескрипт с позволением аннексировать Крым – но лишь в том случае, если Шахин Гирей погибнет, будет свергнут или откажется уступить Ахтиарскую гавань, или если османы совершат нападение, или… В списке было столько условий, что они оба понимали: на самом деле он имел карт-бланш на свою затею, если будет уверен в ее успехе. Екатерина объявила Потёмкину свою волю «на присвоение того полуострова и присоединение его к Российской империи с полною нашею доверенностию и с совершенным удостоверением, что вы к исполнению сего не упустите ни времени удобнаго, ни способов, от вас зависящих». Все еще сохранялась вероятность войны с Османской империей или вмешательства Высших сил [18].

Нет ничего удивительного в том, что Потёмкин так много работал. Ему приходилось вести подготовку к войне с Блистательной Портой, которой он в то же время надеялся избежать. Екатерина писала Иосифу о том, как идут дела, рассчитывая, что если император будет полностью информирован, то не станет протестовать. Если им удастся провести эту операцию быстро и бескровно, то Крым окажется в руках русских еще до того, как Европа успеет опомниться. Времени оставалось совсем мало, поскольку Франция и Британия уже обсуждали условия перемирия в американской войне. Они подписали прелиминарии девятого (20) января в Париже. Мирное соглашение пока не было ратифицировано, поэтому Россия могла рассчитывать еще на шесть месяцев. Дипломаты гадали, как далеко способны зайти партнеры. «Масштаб замыслов князя Потёмкина растет с каждым днем и достиг небывалых размеров, – пишет Харрис, – что сравнимо с амбициями самой императрицы» [19]. Со стороны сэра Джеймса было преуменьшением сказать, что, «несмотря на все попытки скрыть свои чувства», светлейший

князь выглядел «очень расстроенным, что наша война подходит к завершению» [20].

Потёмкину недолго оставалось наслаждаться обществом сэра Джеймса Харриса. Англичанин почувствовал, что на своем посту в Петербурге он сделал все, что мог. Когда его друг, пророссийски настроенный политик Чарльз Джеймс Фокс вернулся в министерство в составе коалиции Фокса и Норта, Харрис обратился с просьбой отозвать его на родину, пока отношения с Россией еще не разладились. Последняя встреча сэра Джеймса и князя состоялась весной, когда Потёмкин был чрезвычайно занят своими южными хлопотами. Двадцатого августа 1783 года, уже после отъезда Потёмкина, Харрис получил прощальную аудиенцию императрицы и затем отправился домой.[58]

Харрис напрасно возлагал надежды на человека, который охотно ратовал за союз с Англией, но на самом деле проводил совершенно иную политику на юге. Когда Россия договорилась о союзе с Австрией, стало очевидно, что Потёмкин вводил Харриса в заблуждение.

Сэр Джеймс покинул Петербург, состоя на хорошем счету в Лондоне, потому что его роль потёмкинского друга и наставника в освоении английской культуры позволила ему войти в круг приближенных к властной верхушке, что ранее не удавалось никому из послов. Однако он, вероятно, питал смешанные чувства к Потёмкину, который обвел его вокруг пальца. «Князь Потёмкин больше не принадлежит к числу наших друзей», – с грустью пишет он Чарльзу Джеймсу Фоксу. Судя по архивам Потёмкина, еще много лет они состояли в приятельской переписке. Харрис часто рекомендовал князю британских путешественников – одним из них был мемуарист архидиакон Кокс. «Знаю, что должен извиниться перед Вами, – пишет Харрис, – …но мне хорошо известно, как Вы симпатизируете литераторам…» Екатерина пришла к выводу, что Харрис – «скандалист и интриган». Потёмкин был склонен увлекаться своими друзьями, но затем быстро охладевал к ним. Следующему английскому послу он сообщил, что оказал большую помощь Харрису, который «все испортил», и жаловался Безбородко, что Харрис был человеком «коварным, лживым и весьма непохвальных качеств». В дальнейшем их дружба не выдержала натиска той враждебности, которая усиливалась в Англии по отношению к России – вот еще один пример того, как политика разлучает друзей [21].

Февраль и март 1783 года князь провел за разработкой военных планов по отношению к Швеции и Пруссии, потенциальным османским союзникам в борьбе с Россией. В это

же время Потёмкин выдвинул войска навстречу туркам и отправил Балтийский флот обратно в Средиземное море. Какой бы ни была эта война, сражения будут вестись за османскую крепость Очаков, которая контролирует лиман (устье) Днепра и, таким образом, выход в Черное море. Потёмкин также принялся за реформу мундира и вооружения русских солдат: в одном из своих меморандумов к Екатерине он, апеллируя к здравому смыслу и уснащая речь красочными просторечиями, предложил облегчить долю простого солдата, избавившись от всего щегольского прусского убранства. Он действительно хотел позаботиться об удобстве своих людей – желание, отнюдь не свойственное русским генералам и командующим в XVIII веке.

Русскому пехотинцу полагалось пудрить волосы и заплетать их в косу, а также носить крайне непрактичную одежду – узкие высокие сапоги, чулки, дорогие штаны из оленьей кожи и остроконечную треугольную шляпу, которая несмотря на свою громоздкость никак не защищала голову. «Одежда войск и амуниция таковы, что придумать почти нельзя лучше к угнетению солдата», – писал Потёмкин, предлагая «всякое щегольство… уничтожить». Его нападки на прусскую военную прическу являют нам типичное потёмкинское красноречие: «Завиваться, пудриться, плесть косы, солдатское ли это дело? У них камердинеров нет. На что же пукли? Всяк должен согласиться, что полезнее голову мыть и чесать, нежели отягощать пудрою, салом, мукою, шпильками, косами. Туалет солдатский должен быть таков, что встал, то готов». Спустя всего несколько месяцев после того, как Потёмкин стал фаворитом, он приказал офицерам руководить солдатами без применения бесчеловечного насилия, из-за которого военная служба оказывалась отвратительной и невыносимой. Вместо этого он рекомендовал применять сердечное и терпеливое объяснение. Начиная с 1774 года он занимался совершенствованием русской кавалерии, создал новые драгунские полки и ввел новое, более удобное обмундирование и вооружение для кирасиров.

Потёмкин опережал свое время и к тому же сумел избежать заражения бездумной пруссоманией, которой страдали многие западные и русские генералы. В качестве образца для нового обмундирования он взял не жесткую парадную униформу пруссаков, а легкий казацкий мундир. Это новое облачение будет названо в его честь: теплые удобные шапки, закрывающие уши, короткие стрижки, портянки вместо чулок, свободная обувь и штыки вместо церемониальных шпаг. Потёмкинская униформа стала эталоном «красоты, простоты и удобства одежды, соответствующей климату и духу страны» [22].

Настало время отъезда. Он знал, что если затея с Крымом

удастся, «вскоре меня увидят в новом свете, а если мои действия не получат одобрения, то я удалюсь в деревню и больше никогда не появлюсь при дворе» [23]. Однако князь лукавил: он был убежден, что ему все по плечу. Он покинул Петербург в зените своей славы. Завадовский с горечью писал Румянцеву-Задунайскому, что Потёмкина в столице считали «всевидящим оком». Но Харрис знал, что дело было рискованным: «Князь Потёмкин отправляется командовать армией, каким бы опасным ни был этот шаг для его дальнейшей судьбы» [24].

Наконец князь сделал новую прическу, вероятно, чтобы придать себе более представительный вид государственного деятеля. «Великая Княгиня изволила говорить, как вы остриглись, то ваша фигура переменилась в дезавантаже», – писал Михаил Потёмкин светлейшему князю. Отрадно знать, что за два века до появления телевидения прически тоже имели политическое значение [25]. Итак, сведены все счеты, обрезаны все прежние политические и финансовые связи, а заодно и длинные волосы, и 6 апреля 1783 года Потёмкин уехал на юг покорять свой «рай» в сопровождении приближенных, в числе которых была и самая юная его племянница Татьяна Энгельгардт.

Прежде чем приступить к военным действиям, князь собирался присутствовать на крестинах. Дядюшка и его бойкая маленькая Татьяна приехали в Белую Церковь, имение Сашеньки Браницкой, на крестины ее новорожденного ребенка. Безбородко следил за перемещениями Потёмкина из Петербурга. «Мы имеем известие, что князь Потёмкин 27 апреля выехал из Кричева, – пишет министр Семену Воронцову, – и что второго мая, свершив крестины в Белой Церкви, на другой же день отправится». Нечасто случалось, чтобы европейские правительства уделяли так много внимания чьим-то крестинам.

Князь действовал с не свойственной ему неторопливостью. Каждое следующее письмо императрицы было все более взволнованным. Поначалу партнеры наслаждались своей политической эквилибристикой, словно разбойники, планирующие ограбление. Они подозревали, что император Иосиф завидует российским трофеям, полученным от Турции в 1774 году, и Екатерина сказала Потёмкину, что «твердо решилась ни на кого, кроме себя, не рассчитывать. Когда пирог будет испечен, у каждого появится аппетит». Что же до дружественной туркам Франции, «французский гром, или луче сказать, зарницы» беспокоил императрицу не больше, чем нерешительность Иосифа. «Пожалуй, не оставь меня без уведомления о себе и о делах». Потёмкин всегда осознавал важность союза с Австрией, но не мог удержаться от насмешек над колебаниями Иосифа и его

канцлера: «Кауниц ужом и жабою хочет вывертеть систему политическую новую, – писал он Екатерине 22 апреля, подбадривая ее: – Облекись, матушка, твердостию на все попытки, а паче против внутренних и внешних бурбонцев ‹…› На Императора не надейтесь много, но продолжать дружеское с ним обхождение нужно» [26].

Помощники Потёмкина готовили к предстоящим событиям крымских и кубанских татар, в то время как русские войска готовились к сражению с османами. Бальмену досталось самое несложное задание: 19 апреля в крымском городе Карасубазар он добился от Шахина Гирея отречения от престола в обмен на обещание щедрой финансовой помощи и, возможно, другого трона. «Голубчик мой Князь!» – радостно воскликнула Екатерина, получив это известие [27]. Когда в начале мая князь наконец добрался до Херсона, он обнаружил, что русская бюрократическая машина, как и обычно, не могла сдвинуться с места без его кипучей энергии. «Матушка Государыня, – докладывает он Екатерине в начале мая, – приехав в Херсон, измучился как собака и не могу добиться толку по Адмиралтейству. Все запущено, ничему нет порядочной записки». Он, словно крестьянский мальчишка, считал, что в европейских правительствах заседают одни собаки, волки и жабы.

Теперь князь, охваченный тревогой и жаждой деятельности, бросил все силы на то, чтобы захватить Крым без чьей-либо помощи. Архивные документы позволяют увидеть, как работал этот энергичный и одаренный человек. В рескриптах Потёмкина его генералам (Бальмену в Крыму, Суворову и Павлу Потёмкину на Кубани) учтена каждая мелочь: предписывается бережно относиться к татарам, расквартировать полки, привести в готовность артиллерию на тот случай, если она понадобится при осаде Очакова, а шпиона «арестовать и отправить ко мне». Когда один из полковников проявил чрезмерную почтительность к бывшему хану, Потёмкин саркастически ответил: «Офицер вы или ханский лакей?» Также князь подробнейшим образом описал, как следует проводить процедуру принесения присяги [28].

Тем временем восточнее Крыма и Кубани и южнее Кавказских гор он вел переговоры с двумя грузинскими царями о российском протекторате, а также с персидским сатрапом и армянскими повстанцами об учреждении независимого армянского государства. Вдобавок ко всему в Крыму разразилась эпидемия чумы, занесенной из Константинополя, поэтому пришлось позаботиться о карантинных мерах. «Предписываю, как иметь осторожность, то есть повторяю зады, принуждаю к чистоте, хожу по лазаретам чумным и тем подаю пример часто заглядывать в

них остающимся здесь начальникам, – писал Потёмкин Безбородко. Это была лишь одна из задач, стоявших в то время перед князем. – Богу одному известно, что я из сил выбился». А помимо этого ему приходилось также следить за положением дел в Европе и заботиться о Екатерине [29]. Он журил ее: «Вы мне все милости делали без моей прозьбы. Не откажите теперь той, которая мне всех нужнее, то есть – берегите здоровье».

Теперь в планы Екатерины попытался вмешаться Фридрих Великий, который подговорил французов остановить ее. Потёмкин бросил ему вызов: пусть только этот старый прусский «барышник» попробует «послать сюда войск французских, мы бы их по-русски отделали». Шведский король Густав, который тешил себя надеждами повторить успех своего кумира Александра Великого, настаивал на встрече с Екатериной – он рассчитывал извлечь свою выгоду из русско-турецкого конфликта и возродить утраченную Швецией Балтийскую империю. Но визит короля к императрице пришлось отложить, когда во время военного парада он упал с лошади и сломал руку. «Александр Македонский пред войском от своей оплошности не падал с коня», – иронизировала Екатерина в письме Потёмкину. Когда Густав наконец прибыл, крымский «пирог» уже был испечен и съеден.

Граф де Верженн, французский министр иностранных дел, обратился к австрийскому послу в Париже, чтобы обсудить совместные действия в ответ на русские замыслы. Иосиф II, нехотя согласившись на планы Екатерины и опасаясь упустить возможность заполучить османские земли, внезапно взял себя в руки и сообщил ужаснувшемуся Верженну о русско-австрийском договоре. В отсутствие поддержки своего австрийского союзника измученная Франция не решилась на активные действия. А в Британии, которая наконец выбралась из американской трясины, лорд Грэнтэм сообщил Харрису, что если «Франция не собирается подавать голос в защиту турок… то зачем же нам вмешиваться? Сейчас не время вновь вступать в перебранку».

Союз с Австрией имел решающее значение. «…Твое пророчество, друг мой сердечный и умный, сбылось, – писала Екатерина супругу. – Аппетит к ним пришел во время еды». Казалось, партнерам сопутствует успех [30].

Потёмкин с головой погрузился в свои многочисленные дела, так что даже перестал регулярно писать Екатерине. Она беспокоилась и часто писала ему в мае и июне, сердито замечая: «Пока ты жалуешься, что от меня нет известий, мне казалось, что от тебя давно нету писем…» Эти двое вызывали друг у друга раздражение, как с ними всегда бывало во время политических кризисов. Императрица хотела знать, выехал ли хан из Крыма,

чтобы татары могли принести присягу и она имела возможность опубликовать своей манифест о присоединении Крыма.

Усердно работая в Херсоне, Потёмкин стремился ускорить отъезд Шахина, который все оттягивал этот момент, несмотря на полученные 200 000 рублей пенсии. Татары не собирались сотрудничать, пока хан оставался на полуострове. Хан уже отправил свой багаж в Петровск, но его офицеры убеждали мулл не доверять русским. Наконец пришли известия от Павла Потёмкина и Суворова с далекой Кубани: кочевники-ногайцы готовы присягнуть Екатерине. Необходимо было действовать слаженно. Князь настаивал на том, чтобы аннексия прошла без жертв и выглядела как свободное волеизъявление крымских жителей. Наконец в конце мая Потёмкин написал императрице, что отбывает из Херсона в Крым: «…матушка родная, я совсем наготове ехать в Крым. Жду с часу на час выезда ханского».

Князь приехал в Крым и остановился в Карасубазаре, готовясь принять присягу 28 июня, в годовщину воцарения Екатерины. Но дело затягивалось. Увлеченно работая до изможденения, князь ухитрялся производить впечатление по-восточному расслабленного человека: «видел я его в Крыму лежа на софе, – писал один из его офицеров, – окруженного фруктами и казавшегося ничем не занимавшегося, но посреди толикой беспечности Крым покорил России» [31].

Екатерина то тосковала по Потёмкину, то негодовала: «Ни я, и никто не знает, где ты». В начале июня она скучает по нему: «… Жалею и часто тужу, что ты там, а не здесь, ибо без тебя я как без рук». Месяц спустя она сердится: «Ты можешь себе представить, в каком я должна быть безпокойстве, не имея от тебя ни строки более пяти недель ‹…› Я ждала занятия Крыма, по крайнем сроке, в половине мая, а теперь и половина июля, а я о том не более знаю, как и Папа Римский» [32]. Затем она разволновалась, что он мог погибнуть от чумы. По всей вероятности, Потёмкин решил подождать с письмами, пока не сможет поднести весь Крым и Кубань к ногам Екатерины.

Мурзы и муллы со всего древнего Крымского ханства собрались, чтобы присягнуть на Коране православной императрице, восседавшей на троне в тысяче миль оттуда. Потёмкин сам принимал присягу, сперва у духовенства, затем у всех остальных. Самая впечатляющая церемония прошла на восточной окраине Кубани. В определенный день 6000 татарских шатров, принадлежавших Ногайской Орде, раскинулись по Ейской степи. Тысячи маленьких, но выносливых монгольских коней бегали вокруг лагеря. Русские солдаты пристально наблюдали за происходившим. Ногайцам зачитали текст

отречения Шахина, а затем они в присутствии Суворова принесли присягу императрице. Они вернулись к своим ордам, которые тоже повторили присягу. После этого начался праздник: для торжества зарезали и съели 100 быков и 800 баранов. Ногайцы пили водку, поскольку вино запрещено Кораном. После бессчетных тостов и криков «ура» казаки и ногайцы устроили состязания в верховой езде. Затем ногайцы ушли восвояси, потеряв свою свободу через 600 лет после того, как Чингисхан отправил свои орды на запад [33].

Десятого июля князь наконец нарушил молчание и отправил императрице письмо: «Я чрез три дни поздравлю Вас с Крымом. Все знатные уже присягнули, теперь за ними последуют и все». Двадцатого (31) июля Екатерина получила доклад Потёмкина о том, что крымские татары и две ногайские орды принесли присягу. Это принесло ей огромное облегчение; императрица так измучилась ожиданием, что ответила прохладно, но потом чувства улеглись и, получив объяснения Потёмкина, она по достоинству оценила его достижения: «Вот как много славных дел совершено в короткое время». В письмах он делится с ней множеством идей о городах, портах и кораблях и сыплет античными метафорами, описывая свои новые земли. Его энтузиазм всегда был заразителен. Екатерина наконец искренне развеселилась, когда прочла в его письме, что трусливые слухи о чуме распространялись «теми, у коих сборное место Спа и Париж» [34].

Несколько дней спустя светлейший князь достал из шляпы еще одного зайца: Грузинское царство согласилось на протекторат России. Горный Кавказ, расположенный между Черным и Каспийским морями, представлял собой пеструю мозаику царств и княжеств, подчинявшихся окружавшим их империям – России, Турции и Персии. На северо-западе Потёмкин только что аннексировал Кубань, которой управляли крымские татары. В кавказских предгорьях русские генералы с трудом удерживали непокорных горцев-мусульман Чечни и Дагестана. Южнее персидская и турецкая империи поделили территории между собой. Располагавшиеся там православные грузинские княжества Картли-Кахетия и Имеретия в своей романтической дикости казались мифическими или библейскими царствами – потому неудивительно, что их владыки звались соответственно Геркулес и Соломон.

Геркулес, или Ираклий, талантливый строитель империи, казалось, оставался в век Вольтера последним средневековым рыцарем. Его имя как нельзя более ему подходило. Этот потомок

династии Багратидов, которая правила Грузией вот уже тысячу лет, был царем-полководцем. Он получил свой трон благодаря сражениям в Индии на персидской службе и сумел создать небольшую империю на окраине Персии и Турции. В то время это был уже немолодой человек «среднего роста, с вытянутым лицом, большими глазами и короткой бородкой», как мы можем судить из записок одного путешественника; «свою молодость он провел при дворе Надир Шаха, где приобрел склонность к персидским обычаям…» Ираклий прославился «своей отвагой и военным мастерством. Садясь на лошадь, он всегда имел при себе пару заряженных пистолетов, заткнутых за пояс, а если враг был где-то поблизости, то еще и мушкет…» Не менее замечательна личность другого грузинского царя, Соломона из Имеретии: его неоднократно свергали и затем возвращали ему трон; «шестнадцать лет он прожил в пещерах, как дикарь, и благодаря своей храбрости пресек несколько покушений на его жизнь». Он тоже никогда не расставался с мушкетом [35].

Когда в 1768 году русские вступили в войну, Екатерина оказала поддержку Ираклию и Соломону, но после 1774 года оставила их на растерзание шаху и султану. Потёмкин, ободренный заключением союза с Австрией, решил усилить давление на османов и начать переговоры с Грузией. Он вступил с Ираклием в переписку, спросив, не враждует ли тот с Соломоном – ведь Потёмкин хотел заполучить оба царства.

Тридцать первого декабря 1782 года царь Ираклий сообщил «милостивому князю», что вверяет «себя, свое потомства и свой православный народ» России. Потёмкин велел начать переговоры своему кузену, командующему кавказскими войсками. Двадцать четвертого июля 1783 года Павел Потёмкин от лица светлейшего князя подписал с Ираклием Георгиевский трактат [36].

Потёмкин, который все еще стоял лагерем в крымском Карасубазаре, пришел в восторг. Ему удалось сделать императрице еще один роскошный подарок, и его антично-православное воодушевление было весьма заразительным:

«Матушка Государыня. Вот, моя кормилица, и грузинские дела приведены к концу. Какой Государь составил толь блестящую эпоху, как Вы. Не один тут блеск. Польза еще большая. Земли, на которые Александр и Помпеи, так сказать, лишь поглядели, те Вы привязали к скипетру российскому, а таврический Херсон – источник нашего християнства, а потому и людскости[59], уже в объятиях своей дщери[60]. Тут есть что-то мистическое.

Род татарский – тиран России некогда, а в недавних времянах стократный разоритель, коего силу подсек царь Иван Васильевич.

Вы же истребили корень. Граница теперешняя обещает покой России, зависть Европе и страх Порте Оттоманской. Взойди на трофей, не обагренный кровию, и прикажи историкам заготовить больше чернил и бумаги» [37].

На Екатерину все это произвело впечатление. Поблагодарив Потёмкина за все его заслуги, она подписала договор, в котором были закреплены титулы Ираклия, границы его царства и право на чеканку собственной монеты. В сентябре Павел Потёмкин построил дорогу взамен вьючной тропы и в карете, запряженной восемью лошадьми, поскакал через Кавказ в город Тифлис (ныне Тбилиси). В ноябре два русских батальона вошли в столицу. Князь отправился руководить строительством укреплений на новой российской границе, а тем временем два грузинских царевича, сыновья Ираклия, уехали в Петербург, чтобы присоединиться к космополитичному двору Потёмкина [38].

Но и это было еще не все. Несмотря на то, что две года назад каспийская экспедиция Войновича потерпела неудачу, Потёмкин вознамерился заключить с Персией союз против османов. Безбородко, один из немногих, кто понимал геополитические замыслы Потёмкина, говорил, что планы князя не ограничивались этой восточной версией австрийского союза. Князь убедил Екатерину издать Крымский рескрипт, который предоставлял ему полномочия продвинуться дальше, к Каспию, и создать два новых княжества: армянское (ныне Армения) и еще одно на каспийских берегах (ныне Азербайджан), которыми мог бы управлять Шахин Гирей, бывший крымский хан [39].

В начале 1784 года в Исфахане Потёмкин беседовал с персидским ханом, предлагая ему также заключить союз с империей и создать армянское царство. Потёмкин сообщал императрице, что персидский наместник готов «сделать все, что нам угодно, желая приобресть благоволение Государыни и признание его в шахском достоинстве» [40]. Переговоры с персидскими правителями, ханами Шуши и Гойи, и карабахскими армянами успешно продолжались в течение 1774 года[61]. Потёмкин отправил посланника в Исфахан, но хан скончался, и посол вернулся обратно. В конце концов персидско-армянский проект закончился ничем, но на тот момент этих достижений было достаточно.

Обрадованная Екатерина осыпала его похвалами как императрица, любовница и подруга: «За все приложенные тобою труды и неограниченные попечения по моим делам не могу тебе довольно изъяснить мое признание. Ты сам знаешь, колико я чувствительна к заслугам, а твои – отличные, так как и моя к тебе дружба и любовь. Дай Бог тебе здоровья и продолжение сил

телесных и душевных» [41].

В конце августа 1783 года князь слег с тяжелой лихорадкой. Он был изможден своими масштабными замыслами, постоянными поездками, близостью чумы и грязной водой и лежал при смерти в уютном татарском домишке посреди зеленых пастбищ Карасубазара.

Потёмкин не мог позволить себе отдых, но в середине сентября его здоровье улучшилось. В Европе продолжали негодовать по поводу российских приобретений. Несмотря на то что его жар то утихал, то снова усиливался, он проводил смотр русских войск. По уже сложившейся традиции Екатерина, Безбородко и иностранные послы в Петербурге следили за каждым его стоном. Когда он уехал в региональный центр Кременчуг, подальше от зачумленного Крыма и Херсона, Екатерина, как обеспокоенная супруга, писала: «Ты не умеешь быть болен и ‹…› во время выздоровления никак не бережешься ‹…› зделай милость, вспомни в нынешнем случае, что здоровье твое в себе какую важность заключает: благо Империи и мою славу добрую». Она понимала, что от него зависело расширение и развитие южных земель: «Поберегись, ради самого Бога, не пусти мою прозьбу мимо ушей. Важнейшее предприятие в свете без тебя оборотится ни во что. Не токмо чтоб осудить, я хвалю тебя, что в Кременчуг переехал, но сие не должно было делать в самую опасность болезни. Я ужаснулась, как услышала, что ты в таком состоянии переехал триста верст» [42].

Два российских империалиста наслаждались своим успехом. Потёмкин погрузился в романтические неоклассицистские мечты, а Екатерина с грубоватым, почти сталинским удовлетворением сообщала: «На зависть Европы я весьма спокойно смотрю: пусть балагурят, а мы дело делаем». Она вновь уверила Потёмкина в прочности его положения: «Про меня знай, что я на век к тебе непременна» [43]. В подтверждение этих слов она пожаловала ему 100 000 рублей на постройку нового дома, будущего Таврического дворца [44].

Он без конца работал. Ему было известно, что из-за ногайских орд на Кубани всегда будет неспокойно, поэтому, словно предчувствуя грядущие мрачные страницы российской истории, он замыслил переселить кочевников в степи между Волгой и Уралом. Слухи об этом достигли ногайцев. В это время Шахин Гирей, надоедливый щеголь-чингизид, укрылся в Тамани и установил оттуда сообщение с ордами. Едва завершились щедрые суворовские празднества в степи, ногайцы вырезали своих пророссийски настроенных мурз – возможно, по совету Шахина. Деятельный Суворов немедленно бросился за бунтарями и 1

октября уничтожил их [45].

Русским послом в Порте был Яков Булгаков, университетский друг Потёмкина, который наблюдал за реакцией османов, проводя с ними переговоры о торговом трактате. Он сообщил, что турки «о Крыме спорить не будут, ежели не воспоследует какого нового обстоятельства со стороны Европы». Версальский договор положил конец Войне за независимость США 23 августа (3 сентября), но было уже слишком поздно. Пруссия и Франция попытались найти союзников, чтобы противостоять действиям России, и в конце сентября Екатерина «с час на час» ожидала от османов объявления войны, но Иосиф был твердо настроен против Верженна и Фридриха [46]. Кайзер даже выразил свое одобрение «успеха князя Потёмкина» в письме к императрице: «Я хорошо понимаю, как важно и как непросто найти такого прекрасного и верного *serviteurs* [подданного], как он, и как редко удается людям нашего положения встретить кого-то, кто понимает нас». Двадцать восьмого декабря 1783 года в ходе переговоров с Булгаковым на Айнали-Кавакской конвенции турки признали свершившийся факт потери Крыма [47].

Канцелярию Потёмкина наводнили письма с похвалами. Генерал Игельстром был совершенно прав, когда писал князю, что отныне тот обрел высочайшую власть, какой только государь способен наделить своего подданного [48]. С.Н. Глинка высказался еще более лестно: «чего не успели сделать века от покорения Казани и Астрахани, чего не успел сделать Петр I, то один совершил этот великан своего времени» [49]. Екатерина скучала по нему больше всех, о чем свидетельствует ее простое, но емкое подтверждение прочности их союза в октябрьском письме: «Дай Боже, чтоб ты скорее выздоровел и сюда возвратился. Ей, ей, я без тебя, как без рук весьма часто». Князь отвечал: «Матушка Государыня! Я час от часу благодаря Бога лутче теперь ‹…› совсем оправясь, поеду к моей матушке родной на малое время» [50].

Князь Потёмкин вернулся в Петербург в конце ноября 1783 года и обнаружил, что завистливые придворные теперь были настроены к нему враждебно. Его союзника Безбородко осаждали со всех сторон, Потёмкин попытался защитить его, но и сам оказался в кругу врагов. «Зависть многих против меня явно видна», – писал Безбородко и с благодарностью отмечал потёмкинскую поддержку. Вскоре все происходящее приняло форму заговора с целью очернить князя.

Императрице доложили, что вспышка чумы на юге разразилась по недосмотру Потёмкина. После московского

Чумного бунта 1771 года эта тема была болезненной для Екатерины. Обвинители также сообщали, что итальянские переселенцы, приезжавшие в южные степи, погибли из-за того, что их не обеспечили жильем. Оба обвинения были ложными: Потёмкин работал не покладая рук, чтобы победить чуму, и преуспел в этом. Пожалуй, ему было досадно добиться столь многого в столь дальней поездке, а вернувшись домой, оказаться вынужденным сражаться за свое положение. Если верить Безбородко, идея заговора родилась у Ивана Чернышева, вице-президента Адмиралтейств-коллегии, у которого были все основания завидовать успехам князя, ведь тот строил свой собственный Черноморский флот, не подотчетный Чернышеву. В заговор были так или иначе вовлечены княгиня Дашкова, вернувшаяся из своих путешествий, и даже Ланской. Эти обвинения вызвали ссоры между Екатериной и Потёмкиным, и отношения двух гордых государственных деятелей стали прохладными [51].

Потёмкин перестал заходить к Екатерине. Лев Энгельгардт, еще один смоленский племянник, который недавно присоединился к свите Потёмкина в качестве адъютанта, оставил подробные воспоминания об этом периоде их жизни. Обычно на Миллионной улице перед потёмкинским особняком, примыкавшим к Зимнему дворцу, стояли множество карет и необъятная толпа просителей, перегораживавших проезжую часть. Но теперь, во времена его наивысшего успеха, улица опустела. Его враги ликовали.

Второго февраля 1784 года светлейший князь, как обычно, проснулся поздно. Его камердинер положил на прикроватный столик маленький конверт с императорской печатью. Императрица, вставшая в 7 утра, велела не будить князя. Потёмкин прочел письмо и позвал своего секретаря Василия Степановича Попова. «Читай», – сказал он. Попов выбежал в комнату перед спальней, где стоял на дежурстве адъютант Энгельгардт: «Идите поздравлять князя фельдмаршалом». Тот вошел в спальню и поздравил своего генерала. Князь-фельдмаршал вскочил с постели, надел мундирную шинель, повязал на шею розовый шелковый платок и отправился к императрице. Он стал президентом Военной коллегии. Также по его рекомендации императрица учредила в Крыму Таврическую губернию и присоединила ее к новороссийскому царству Потёмкина. Не прошло и двух часов, как его комнаты были вновь наполнены просителями, а Миллионная улица – каретами: «те самые, которые более ему оказывали холодности, те самые более перед ним пресмыкались» [52]. Десятого февраля по

приглашению Потёмкина Екатерина обедала в доме одной из его племянниц.

Неожиданно князь решил, что желает повидать Константинополь, и спросил Булгакова: «Что, если я из Крыма на судне приеду к вам в гости? Я без шуток хочу знать, можно ли сие сделать?» Это был не просто романтический порыв – хотя, разумеется, он страстно желал увидеть город царей. Теперь он знал, какого будущего хочет для своих южных земель, но для воплощения планов необходим был продолжительный мир с османами. Конечно, ему хотелось самому отправиться в Царьград на переговоры с султаном. Но Булгаков пришел в ужас от этой идеи. Пятнадцатого марта он отвечает князю из Стамбула, что это будет чрезвычайно сложно устроить. Он пояснил, что османы считают Потёмкина русским великим визирем [53]. Потёмкин так никогда и не увидел Константинополя, но его судьба была тесно связана с югом. Отныне он намеревался «первые четыре или пять месяцев года всегда проживать в своих наместничествах» [54]. В середине марта князь снова покинул Петербург, чтобы возводить города, спускать на воду флот и основывать царства.

Часть шестая. Соправитель

1784–1786

18. Император южных земель

Не ты ль, который орды сильны
Соседей хищных истребил,
Пространны области пустынны
Во грады, в нивы обратил,
Покрыл понт Черный кораблями,
Потряс среду земли громами?

Г.Р. Державин. «Водопад»

«Ежечасно я вижу всё новые удивительнейшие проявления азиатской натуры князя Потёмкина», – писал граф де Дама, который в конце 1780-х имел возможность наблюдать за деятельной и творческой работой наместника императрицы в южных землях. «За полчаса он мог переместить губернию, разрушить прекрасный город, чтобы возвести на его месте новый, основать колонию или промышленное поселение и заменить руководство губернии – а после полностью посвятить себя подготовке бала или торжества…» [1]. Таким европейцы видели князя – правителем-самодуром, словно по волшебству воздвигавшим города и одновременно дававшим костюмированные балы для своих любовниц. Иностранцы всегда считали русских «варварами», которые в отличие от немцев и французов не способны вести дела как полагается, следовательно, к действиям Потёмкина тоже относились предвзято. Когда же выяснилось, что в реальности Потёмкин отлично вёл дела и его достижения – это настоящие чудеса и по задумке, и по исполнению, завистливые европейцы, недолюбливавшие русских, принялись распространять лживую историю о его мошенничестве – «потёмкинских деревнях».

На самом деле за отведённые Потемкину пятнадцать лет ему удалось достичь невероятных успехов в управлении южными землями. «Некоторые высмеивали его первые шаги в основании новых городов и колоний, – писал один из первых биографов Потёмкина, – и всё же эти начинания достойны нашего восхищения… Время подтвердило это. Послушайте рассказы путешественников, повидавших Херсон и Одессу…» [2]. Так

называемые «потёмкинские деревни» – ныне города-миллионники.

Российская история знает два периода мощного продвижения на юг: времена Ивана Грозного, аннексировавшего Астраханское и Казанское ханства, и правление Екатерины Великой. По признанию многих, в том числе и А.С. Пушкина, Потёмкин был вдохновителем и двигателем перемен, которые в екатерининские времена по-настоящему преобразили юг. Идея колонизации принадлежала не Потёмкину – как выразился знаменитый историк В. Ключевский, колонизация была «основным фактом нашей истории». Но уникальная заслуга Потёмкина в том, что в его фигуре соединились творческий запал предпринимателя, сила солдата и дальновидность политика. Ему удалось приблизить юг к северу: под руководством Панина Россия стремилась к созданию «Северной системы», а при Потёмкине её внешняя политика повернулась на юг.

Князь стал генерал-губернатором Новороссии, управлявшим Азовом, Саратовом, Астраханью и Кавказом уже вскоре после того, как занял место фаворита, но в конце 1770-х годов и особенно после успешной аннексии Крыма его можно было считать полноправным соправителем Российской империи. Подобно тому, как Диоклетиан счёл Римскую империю слишком огромной и потому нуждавшейся в двух правителях – на Востоке и на Западе, так и Екатерина поручила Потёмкину управлять югом страны, предоставив ему полный контроль над этими землями. К этому времени масштаб личности Потёмкина, как и объёмы его тела, значительно увеличился. Он был создан для открытых южных степей и не мог сидеть взаперти при дворе. В Петербурге им вдвоём стало тесно.

Власть Потёмкина простиралась горизонтально и вертикально: он отвечал за дела армии в Военной коллегии и был главнокомандующим всех иррегулярных войск, в том числе казаков. Созданный им Черноморский флот подчинялся не петербургскому Адмиралтейству, а лично адмиралу Потёмкину. Теперь главным источником его власти была уже не близость к Екатерине, а его собственная личность, слава, которую ему принесли успехи в Крыму, а также его способность генерировать идеи и руководить их реализацией.

Светлейший князь со всей решимостью приступил к управлению своим наместничеством: названия и границы губерний изменились, но всё ещё включали в себя все новоприобретённые земли с 1774 по 1783 год, от реки Буг на западе до Каспия на востоке, от Кавказских гор и Волги почти до Киева – чуть ли не целая империя. Передавать такие полномочия

супругу было необычно для русского царя – отношения Екатерины и Потёмкина были уникальны [3].

На юге князь создал новый двор, который соперничал с северным екатерининским и в то же время дополнял его. Потёмкин, как настоящий царь, заботился о бедняках, презирал богачей, жаловал чины и земли. Он путешествовал с императорским размахом: в городах его приветствовали все дворяне и горожане, его встречали пушечными залпами и балами. Но дело было не только в царственном антураже. Он издавал указы от имени императрицы, но также, подобно царю, упоминал и свои бесчисленные титулы и ордена. Власть князя была абсолютной: его подчинённые, будь то садовник или инженер, обычно имели военный чин и получали по-военному строгие приказы. «Его власть сравнима с могуществом величайших королей, – писал Вигель, – и все повинуются ему столь беспрекословно, как едва ли повиновались даже Наполеону» [4].

Мемуаристы часто описывали, как князь любил демонстрировать свою державную вальяжность, однако в этом была большая доля лукавства. Колоссальный объём работы подорвал его здоровье. Вероятно он, как школьный отличник, старался произвести впечатление бездельника, хотя зубрил всю ночь. В начале 1780-х годов он осуществлял управление с помощью собственной канцелярии, в которой служили не меньше пятидесяти чиновников, в том числе специалисты по французскому и греческому делопроизводству [5]. Он даже обзавёлся собственным первым министром – им стал неутомимый Василий Степанович Попов, которому он, а позднее и императрица безоговорочно доверяли. Как и сам Потёмкин, Попов всю ночь проводил за картами, спал до полудня, никогда не снимал мундира и был готов вскочить посреди ночи по первому зову князя, который кричал, лёжа в постели: «Василий Степанович!» «Только и слышно было “Василия Степановича”, да “Попова”, “Попова”, да “Василия Степановича”» [6]. Если Попов был его канцлером, то столь же неутомимый Михаил Леонтьевич Фалеев, молодой купец, с которым Потёмкин познакомился во время первой Русско-турецкой войны, стал его интендантом, подрядчиком и соратником в титаническом труде. На портретах этот удивительный предприниматель – редко встречавшийся в России человеческий тип – изображён с уставшими проницательными голубыми глазами, узким, строгим, опрятным и красивым лицом, в синем сюртуке с белыми манжетами. Потёмкин произвёл его в дворяне, и тот нажил большое состояние, однако в отличие от других вчерашних торговцев Фалеева почитали и любили в Николаеве – городе, который он

построил вместе с князем. Они с Потемкиным состояли в непрерывной переписке [7].

Если Потемкин не страдал от приступов депрессии и лихорадки, то постоянно находился в движении. Какие бы города он ни основывал, где бы он ни был – один в кибитке, опережая свою канцелярию на сотни вёрст, или во дворце, столицей его южной империи был он сам, фонтанирующий идеями, но измученный.

Карьера Потёмкина началась и завершилась его привязанностью к казакам. Сперва он уничтожил запорожских казаков, а затем вернул их к жизни, возродив казачье войско и сделав его важнейшей составляющей императорской армии. На острове посреди широкой реки Днепр, за ее порогми (отсюда и название «запорожцы») возникла уникальная республика из двадцати тысяч солдат, которые держали под контролем большой треугольник пустой земли к северу от Чёрного моря. Запорожцы не занимались земледелием, поскольку это было делом крепостных, а казаки – люди вольные. Само слово «казак» происходит от древнего турецкого слова «свободный человек». Как и большинство казачьих обществ, Сечь представляла собой жестокую демократию, а в военное время ею руководил избранный гетман, или атаман. У них было собственное законодательство: осуждённого за измену отечеству зашивали в мешок и бросали в реку, убийц заживо хоронили в одной могиле с трупами их жертв, с которыми те отныне оказывались неразлучны.

Запорожцы были необычны во всех отношениях. Они одинаково уверенно чувствовали себя в седле и на вёслах в своих выдолбленных из колоды и обшитых досками лодках-«чайках» длиной 60 футов. Их считают первыми изобретателями субмарины – они использовали песок в качестве балласта и деревянную трубку, через которую можно было дышать. Запорожские казаки не сожительствовали с женщинами: их не допускали в Сечь, чтобы не нарушать военную дисциплину, которой они дорожили превыше всего. «Подобно мальтийским кавалерам, все были холосты», – писал о них Лев Энгельгардт.

Они щеголяли подкрученными вверх усами, брили головы, оставляя лишь одну длинную прядь, носили турецкие панталоны с золотой нитью, шёлковые кушаки, сатиновые кафтаны, высокие меховые шапки и тюрбаны, иногда украшенные страусиными перьями и эмблемами из драгоценных камней. Их ремеслом была война. Когда они не сражались за собственный народ, то нанимались к другим: в середине XVII века польский король нанял запорожцев для битвы с Испанией при Дюнкерке под

командованием принца де Конде, и в том же веке казачий флот из почти сотни «чаек» дважды нападал на Константинополь.

Казаки долгое время существовали в качестве пиратской охраны российских границ, но к 1774 году империя больше не нуждалась в их непокорных и своенравных войсках для защиты от турок, к тому же Сечь преграждала русским путь к татарам. Украинские казаки под руководством Мазепы покинули Петра Великого и присоединились к войску шведского короля Карла XII. Набеги казаков развязали Русско-турецкую войну в 1768 году, и позднее запорожцы несколько раз грабили российские войска по дороге на фронт. Прошло не так уж много времени с тех пор, как яицкие и донские казаки победили Пугачёва. Во время войны Потёмкин вступил с Сечью в особенно дружеские отношения – он стал почётным запорожцем. В мае 1774 года он написал из Царского Села своим товарищам-казакам, сообщая, что его могущество растёт и что он обо всём рассказал государыне. Тем не менее как только Пугачёвское восстание было подавлено, он сменил тон, велел им прекратить грабежи и посоветовал реорганизовать Сечь и казачьи войска. Казаки действительно были досадной помехой для Российского государства и для потёмкинских планов по колонизации и освоению новых территорий.

На рассвете четвертого июня 1775 года русские войска под командованием Потёмкина подошли к Сечи, окружили её и приказали сдаться под угрозой уничтожения. Сечь, жителей которой он называл «глупым сбродом», сдалась без сопротивления. По просьбе Екатерины Потёмкин составил проект манифеста: «…и в нем-то вносить нужно все их буйствы, почему вредное таковое общество уничтожается», – рекомендовала она [8]. Манифест был опубликован 3 августа 1775 года. Запорожцев не уничтожили: лишь троих предводителей, в том числе богатого гетмана Калнышевского, сослали в Соловецкий монастырь на Белом море. Казаков переселили в Астрахань, но многие из них сбежали воевать за турок: в 1780-е годы Потёмкину придётся заманивать их обратно [9]. Подобное произошло и с другими казачьими обществами: яицкое войско переместили и переименовали, донские казаки тоже были реорганизованы и оказались в прямом подчинении у Потёмкина: он назначил нового гетмана и учредил комитет, который должен был заниматься их гражданскими вопросами [10]. Могущественнейший донской гетман Ефремов был арестован, хотя Потёмкин пытался защитить его и всю его семью [11].

Князь предложил сформировать особые полки из преданных России запорожцев. Но после Пугачёвского бунта Екатерина

опасалась казаков, поэтому Потёмкину пришлось избрать выжидательную тактику, зато он смог создать казацкую флотилию на Каспийском и Азовском морях [12]. Он так сердечно относился к казакам, что аристократы ворчали: дескать, князь влюбился в своих запорожцев. Действительно, в его окружении появилось много преданных казаков. Он также проследил за тем, чтобы беглых крепостных, которых среди жителей приграничных земель было немало, не заставляли возвращаться к своим хозяевам. Чувства Потёмкина были взаимны: его с благодарностью называли «защитником казаков» [13].

Разрушение Запорожской Сечи обычно считается одним из главных преступлений Потёмкина – особенно в современной Украине, где Сечь называют началом украинской государственности. Но после истории с Пугачёвым и Сечь, и другие казачьи войска были обречены: на их территории царили беспорядки, земля не обрабатывалась, к тому же они перегораживали русским путь к Чёрному морю. Переселив их, Потёмкин получил возможность аннексировать Крым. Князя обвиняют в том, что он изъял реликвии из запорожских церквей и раздал земли своим приближённым, однако надо отметить, что он не присутствовал там лично и приказал генералу Текели составить опись всего храмового имущества и передать его Церкви [14]. (К тому же большинство драгоценностей в этих храмах было краденым.) После аннексии главной задачей были раздел и обработка земель. Он поселил на этой территории греков, которые служили у Орлова-Чесменского, а затем государственных крестьян из русской глубинки и велел построить крепости, чтобы обеспечить им защиту. Один современный историк заявил, что именно возделывание степных земель обеспечило России ресурсы и пропитание, необходимые для победы над Наполеоном в 1812 году [15].

Тридцать первого мая 1778 года Екатерина одобрила предложенный Потёмкиным план строительства черноморского порта под названием Херсон – звучное название намекало на неоклассицистские и православные мечты о Херсонесе. Возникновение этого города стало возможно благодаря миру с Турцией и ликвидации Запорожья [16]. Началось строительство верфей. Со всей империи свезли лучших плотников. Двадцать пятого июля князь назначил губернатором одного из офицеров Адмиралтейства – Ивана Абрамовича Ганнибала. Вероятно, Потёмкина привлекла необычайная история этого человека и его связь с Петром Первым.

Иван был мулатом, сыном знаменитого арапа Петра

Великого, Абрама Ганнибала, абиссинского принца, которого купили в Стамбуле в подарок царю, а тот усыновил его. По понятным причинам царь назвал его именем противника Сципиона, дал ему образование, способствовал его продвижению по службе и стал крёстным его сына Ивана. Пушкин, написавший неоконченный роман «Арап Петра Великого», был внучатым племянником Ивана Абрамовича. Дед Пушкина Осип Ганнибал дурно исполнял отцовские обязанности, и поэтому мать поэта выросла в доме первого потёмкинского губернатора Херсона. Иван Ганнибал, как и Пушкин, гордился своим происхождением. Когда в 1801 году он скончался, на его надгробии начертали: «Зной Африки родил, хлад кровь его покоил, России он служил, путь к вечности устроил». Его портрет выставлен в Херсонском государственном историческом музее; от отца он унаследовал тёмную кожу и благородные абиссинские черты, а от русской матери – прямые волосы и коренастую фигуру. Екатерина приказала Ганнибалу приняться за неподъёмную задачу.

Первый город Потёмкина замышлялся как основной порт для его нового Черноморского флота, который пока размещался только в небольших российских портах на Азовском море, а также как склад для нужд средиземноморской торговли. Выбрать место для этого порта было непросто: приобретения России в 1774 году обеспечивали империи весьма узкий проход к Чёрному морю – в устье Днепра, одной из великих русских рек, которая впадала в Чёрное море через неширокий и мелкий Лиман. На краю Лимана, на Кинбурнской косе, Потёмкин построил маленькую крепость. Однако на другом берегу стоял город-крепость Очаков, принадлежавший османам и позволявший им контролировать всю дельту реки. Невозможно было найти подходящее место для гавани, защищённое от врага. Морские инженеры предлагали Глубокую пристань, но её не удалось бы укрепить, поэтому Потёмкин выбрал место выше по течению Днепра, где уже стояла крепость Александершанц. Посреди реки был остров, который защищал порт и верфи. Из-за порогов Днепра к крепости не удавалось подойти без судоподъёмных понтонов, а отмели затрудняли путь от города к морю. Хуже того, Херсон располагался среди знойных степей и болот и в тысяче вёрст от пригодных для судостроения лесов, к тому же здесь были большие трудности с пропитанием.

Потёмкин сумел преодолеть все эти серьёзнейшие препятствия и построить свой город. Никто в Петербурге не верил, что это возможно. Неспроста Екатерина писала ему: «Без тебя Херсон не будет построен». Зависть, которая разрушит репутацию Потёмкина, зародилась ещё до того, как был заложен

первый камень. «Заложение Херсона весьма прославляется, – ворчал Завадовский. – Вещь обычная, но автор своё дело любит и возвышает» [17]. Он был прав: Потёмкин фактически воздвиг город силой мысли и безжалостно торопил Ганнибала. К августу губернатор собрал двенадцать бригад и закупил лес в верховьях Днепра, в Белоруссии и Польше; брёвна должны были сплавить в Херсон по реке.

Потёмкин нанял не менее пятисот плотников и тысячи рабочих, основал судостроительные верфи и разработал план города. Кили первых военных судов были сделаны в мае 1779 года, к 1781 году были готовы ещё два киля. Светлейший князь решил приобщить к делу солдат, которые выстроили для себя бараки – сперва из глины и прутьев, затем из дерева. Потом Потёмкин привёз тысячу заключённых и отрядил их работать в каменоломнях [18]. Также князь сделал купцу Фалееву предложение, изменившее всю судьбу торговца: он убедил его провести подрывные работы на днепровских порогах в обмен на обещание грядущих выгод от херсонской торговли. Фалеев, который уже вложил в строительство много средств, взялся и за это масштабное задание. Потёмкин доставил порох. К 1783 году Фалееву удалось освободить для барж путь в Херсон. Князь отблагодарил его, пожаловав чин майора и дворянство [19].

Недоброжелатели Потёмкина заявляли, что строительство шло медленно и не слишком качественно, и история прислушалась к этим голосам. К счастью, знатные иностранцы, посещавшие Петербург во время своего Большого тура, встречались с Потёмкиным, который всегда советовал им посетить Херсон. В числе первых гостей был брат философа-утилитариста Иеремии Бентама, молодой английский инженер Сэмюэль Бентам, который в будущем целых пять лет будет работать на Потёмкина. Посетив Херсон в 1780 году, он увидел, что выстроены уже 180 домов и на воду спущены один снаряжённый 64 пушками линкор и пять фрегатов. Сэмюэль был восхищён: «Когда два года назад он выбирал место для строительства, здесь не было ни единой хижины». Он отметил, что лес отправляли вниз по реке из польского города, который позднее приобретёт печальную известность – Чернобыля [20].

Следующий этап строительства города открылся взору другого отважного англичанина, друга Сэмюэля Бентама Реджинальда Пола Кэрью, выпускника Оксфорда и корнуэльского землевладельца, которому в то время было почти тридцать лет. Это был представитель того типа молодых людей, который впоследствии примет активное участие в Большой игре. Потёмкин опекал Пола Кэрью и показывал ему свои имения и

фабрики под Петербургом, а затем гость отправился на юг. Пока еще не опубликованные записки Пола Кэрью свидетельствуют о том, что он то ли сочинял книгу, то ли занимался любительским шпионажем. Когда он прибыл в Херсон, там уже стояли три сотни домов. За исключением девяти солдатских полков «город в основном населён польскими евреями и греками… Солдаты, моряки, крестьяне – все участвуют в строительстве», однако путешественник заметил, что укрепления возводились в спешке «из страха прогневать высшие власти» [21]. Таковы были его искренние впечатления, но он тактично сообщил Потёмкину, что «то, что я вижу, превосходит самые смелые ожидания» [22].

Потёмкин намеревался бурно развивать торговлю в своём наместничестве. В 1781 году Пол Кэрью вёл переговоры о возможном торговом сотрудничестве с Ганнибалом и с двумя херсонскими магнатами – Фалеевым и французом Антуаном. Фалеев основал «Черноморскую кампанию» для торговли с османами и вскоре спустил на воду свой фрегат «Борисфен». Он также учредил коньячный завод для трёх потёмкинских губерний и поставлял мясо для солдат: Пол Кэрью полагал, что тот выручает никак не меньше пятисот тысяч рублей в год. Кэрью перечислил товары, которые хорошо продаются в Херсоне: воск, камень, пенька, лес [23]; торговые возможности казались ему привлекательными. «Пишет Вам херсонский буржуа», – начинает он одно из писем Потёмкину [24].

Антуан Марсельский, позднее барон де Сен-Жозеф, был корабельным магнатом. Приехав в Петербург, он предложил князю создать в Херсоне свободный торговый порт. Потёмкин пришёл в восторг [25] и обратился к Екатерине с тем, чтобы «уничтожить внутренние таможенные зборы Крымские и учинить разсмотрение о внешних» [26]. Как бы ни был князь увлечён Англией, он понимал, что Франция контролирует Средиземноморье из Марселя, и эта затея повлечёт за собой политические последствия. В 1786 году Антуан сказал Потёмкину, что в прошлом году одиннадцать его французских кораблей прибыли из Марселя [27].

Тем не менее строительство Херсона стало крайне непростой задачей. Когда Потемкину предоставлялась такая возможность, он контролировал каждую мелочь. Третьего августа 1783 года он пишет своему херсонскому инженеру полковнику Гаксу: «Вторично подтверждаю вам усугубить старание ваше к совершенному окончанию начатого в Херсони строение Гошпиталя…» Письмо от 14 октября гласит: «Я удивляюсь, что вместо окончания Гошпиталя, о коем вы меня уверили, выходит, что он и не зачат ‹…› Мне и то странно, что после донесения мне

о строениях оныя иногда отменяются без моего ведения». Иными словами, если при строительстве Херсона имело место мошенничество, то Потёмкин оказался его жертвой – впрочем, ведь он не мог следить за всеми работами одновременно. Спустя неделю он приказал Гаксу построить две бани для борьбы с чумой: «одна могла служить для совершенно здоровых, другая же для слабых ‹…› Строение пивоварен не должно также быть упущено». Но Ганнибал и Гакс попросту не выполняли приказы. Потёмкин был разочарован. В феврале следующего года он уволил Гакса и назначил вместо него полковника Николая Корсакова, талантливого инженера, учившегося в Британии. Потёмкин выделил ему годовой бюджет в объёме 233 740 рублей, велел, чтобы всё было закончено «в краткое время», и высказал пожелания о «прочности и наружном благолепии» зданий [28]. Князь самолично утвердил каждый план и оформление каждого фасада, от школы до особняка архиепископа и его собственной резиденции, и город наконец начал приобретать свои очертания.

Городской пейзаж, выставленный в херсонском музее, демонстрирует центральную площадь такой, какой её задумал Потёмкин – с прекрасным храмом Святой Екатерины. Позднее, в 1790 году, Потёмкин всё ещё занимался её украшением. Когда его любимый архитектор Иван Старов приехал на юг, Потёмкин приказал ему «переделать купол херсонского храма» так, чтобы он в точности повторял купол его петербургского дворца, «и подготовить место для колокольни» [30]. Поручение было выполнено. Купол и колокольня получились именно такими, как указывал князь, и из его дворца открывался прекрасный вид.

Его распоряжения подчинённым совершенно не соответствуют тому образу Потёмкина, который сложился у иностранных наблюдателей [31]. Они написаны рукой человека, отдававшего себе отчёт о трудностях, с которыми сталкивались его работники. Конечно, он был авторитарен и придирался к мелочам, однако с удивительной гибкостью давал второй шанс своим перегруженным работой подчинённым. Потёмкин более всех понимал, что из-за своего расположения Херсон беззащитен перед распространением болезней. Судя по всему, ситуация была ужасной. Пол Кэрью записал, что судостроители, приехавшие из Кронштадта и Петербурга, «перемерли». Когда при захвате Крыма сюда устремились стамбульские корабли и солдаты со всей Европы, угроза эпидемии стала нешуточной. К 1786 году французский купец Антуан похоронил многих работников и даже своих братьев. Херсон напоминал один большой госпиталь: всюду были умирающие и умершие. Князь пытался наладить местное здравоохранение и сдерживать распространение болезней [32].

Он уделял особое внимание нуждам госпиталей и пивоварен (поставлявших питьевую воду), даже рекомендовал жителям города есть больше овощей [33] и лично назначал докторов [34] в госпитали[62].

Всеобщей движущей силой был маниакальный энтузиазм «молодого Херсонского Колосса», как его называла Екатерина [35]. Лишь его заразительный энтузиазм мог потягаться с леностью русской бюрократии: вернувшись из своего нового города, он с восторгом рассказывал Харрису о «климате, почве и местоположении Херсона» [36]. Но в каждой новой поездке князь обнаруживал всё новые и новые огрехи подчинённых. Он стал проводить всё больше времени на юге, и Екатерина признавала, что эти поездки были необходимы, хотя она и скучала по нему [37].

Принято считать, что Потёмкин старался утаить ошибки при строительстве Херсона. Однако это не так. Он признался Екатерине во множестве своих неудач. Он уволил Ганнибала – во всей видимости из-за того, что тот некачественно выстроил укрепления; он никак не мог навести порядок в адмиралтействе; было потрачено слишком много денег, леса не хватало, а имевшаяся древесина оставляла желать лучшего. «Ох, матушка, как адмиралтейство здесь запутано и растащено». Была ужасная жара. Новые здания всё ещё стояли в дикой степи. «Не было ума дерев насажать. Я приказал садить» [38]. Ему требовались квалифицированные работники: «Зделайте милость, прикажите командировать сюда потребное число чинов, о чем прилагаю ведомость. Кузнецов здесь недоставало. Послал по коих в Тулу».

Город продолжал расти. Когда в 1782 году туда приезжал Кирилл Разумовский, на него произвели впечатление каменные здания, крепость, военные суда, «обширное предместье», бараки и греческие торговые корабли: «Всё сие вообразите и тогда вы не удивитесь, когда вам скажу, что я и поныне не могу выдти из недоумения о столь скором возвращении оного на месте, где так внедавне один токмо обретался зимовник» [39]. Франсиско де Миранда, латиноамериканский революционер, который тоже некоторое время находился под опекой Потёмкина, побывал в Херсоне в декабре 1786 года. По его свидетельству в городе в тот момент проживали 40 000 человек – 30 000 военных и 10 000 гражданских. «На сегодняшний день насчитывается свыше 1200 достаточно добротных каменных домов, помимо множества хибар, где ютятся самые бедные, и воинских бараков», – писал он [40]. После смерти Потёмкина путешественница Мария Гатри и поэт А.П. Сумароков с восторгом отзывались о «прекрасном городе» [41] со Свято-Екатерининским собором и четырнадцатью

другими церквами, синагогой, 22 000 православных жителей и 2 500 евреев [42].

Потёмкин умел учиться на своих ошибках. Он похвалялся, что использование солдатской рабочей силы позволило ему сэкономить государственные средства, но тем не менее распоряжался деньгами по-царски. Всю работу нужно было делать быстро, однако если её выполняли плохо, как случилось с крепостью, он настаивал на том, чтобы начать сначала: для полу-императора, который мог считать царскую казну своей собственной, важнее всего был результат, для достижения которого он не жалел денег. Так или иначе, лучшим опровержением слов потёмкинских критиков будет сегодняшнее состояние этого города[63].

Светлейший князь заказал написать для херсонского неоклассического собора две ростовые иконы: святого Георгия с копьём и в римском военном доспехе – нагруднике и красном плаще, – и святой Екатерины в золотом платье и красной мантии с мехом горностая. Взгляд Георгия направлен вверх, Екатерина смотрит прямо на зрителя. И тут нам становится очевидно: святая Екатерина напоминает императрицу, а святой Георгий [43], без сомнения, – Потёмкина[64].

Если падение Запорожской Сечи сделало возможным основание Херсона, то падение Крымского ханства открыло Потёмкину дорогу к освоению южных земель, а Херсон приобрёл большее значение как торговый порт, нежели как военная база, поскольку в Крыму было и без того предостаточно бухт. Херсон стоял в голых степях, а Крым процветал как главная торговая точка Чёрного моря, сад и огород Константинополя.

Потёмкин и его императрица мечтали продолжить дело Петра Первого. Пётр отвоевал у шведов Балтику, построил там российский флот и основал город. Потёмкин же отвоевал у татар и турок Чёрное море, построил Черноморский флот и теперь надеялся воздвигнуть свой собственный Петербург. «Петербург, поставленный у Балтики, – Северная столица России, средняя – Москва, а Херсон Ахтиярский да будет столица полуденная моей государыни», – писал он Екатерине [44]. Херсон! Само это название услаждало их слух.

Сперва он принял живейшее участие в создании порта для своего нового флота. В июне 1783 года светлейший князь писал императрице из Крыма, что «Ахтияр лутчая гавань в свете» [45]. Она должна была стать новой военной базой, и Потёмкин спешил построить здесь крепость и верфи [46] ещё до того, как аннексировал ханство [47]. Разумеется, князь дал бухте греческое имя – Севастополь. Он сразу основал здесь город в «природном

амфитеатре на склоне холма» [48] и приказал инженеру Корсакову построить мощные укрепления; «магазейны же адмиралтейския надлежит разположить удобными к выгрузке так, чтоб туда в них подходить могли», и через полуостров надо проложить дорогу, чтоб не уступала «римским дорогам; я назову её: «Екатерининской путь» [49]. Инженер согласился, что расположение выбрано удачно: «Самое подходящее место – то, что Ваше Высочество определили…» [50]. Всего четыре года спустя, когда Потёмкин привёз в город своего друга Миранду, латиноамериканец насчитал «14 фрегатов, три 66-пушечных судна и одну бомбарду». Миранда сразу оценил по достоинству значимость нового потёмкинского города: гавань могла вместить в себя «эскадру, насчитывающую свыше ста линейных кораблей». В случае повреждений флот можно было починить всего лишь за неделю [51]. Вскоре после смерти Потёмкина Мария Гатри [52], посетив гавань, назвала её «одним из лучших портов на свете». Севастополь и до сих пор остается наилучшей российской и украинской морской базой[65].

Светлейший князь обожал свой Крым: он объездил весь полуостров, обсуждая со своим любимым инженером Николаем Корсаковым, как следует возводить укрепления, и выслушивая доклады о жизни населения и о здешней фауне от научных экспертов, например, ботаника Габлица, которому удалось пережить персидскую экспедицию Потёмкина.

«Не описываю о красоте Крыма, сие бы заняло много время…» – пишет князь императрице в июне 1783 года, после аннексии полуострова, охваченный восторгом перед очарованием Крыма, его стратегическим потенциалом и античной историей [53]. В этом волшебном месте, которое Потёмкин так полюбил, невозможно было не поддаться его лихорадочному и неудержимому энтузиазму созидателя. Даже сегодня это волшебство очевидно: проезжая по Перекопскому перешейку, мимо соляных озёр, обеспечивавших основной доход хана, путешественник думает, что весь полуостров представляет собой скучную засушливую равнину. Но спустя всего час пути на юг пейзаж меняется и взору открывается роскошный райский сад, столь похожий на виноградники Южной Италии или Испании. На холмах, покрытых зеленью и виноградной лозой, возвышаются зубцы средневековых генуэзских крепостей, из которых открывается вид на белые утёсы и лазурные бухты. Потёмкин, который обожал сады, принялся сажать деревья, а в честь рождения детей великого князя приказывал создавать целые лавровые аллеи и оливковые рощи. Он мечтал о том, как императрица приедет с визитом в его «рай». В следующем

столетии Романовы, а в XX веке члены Политбюро избрали Крым в качестве своего летнего элитного курорта, но Потёмкин, надо отдать ему должное, всегда имел более масштабные планы на этот полуостров [54].

Перво-наперво он счёл должным защитить татар-мусульман от жестокости своих собственных солдат; снова и снова он предписывал генералам: «Воля ее императорского величества есть, чтоб все войска, пребывающие в Крымском полуострове, обращались с жителями дружелюбно, не чиня отнюдь обид, чему подавать пример имеют начальники и полковые командиры» [55]. Он отправил специальных наблюдателей в солдатские полки, чтобы следить за их поведением – или, как он выражался, для охраны деревень, – и докладывать ему «о всяком непозволительном поступке». Он также сохранил в Тавриде власть крымских мурз, в том числе перебежчика Якуба-аги, который отныне звался Яков Измайлович Рудзевич [56]. В письмах Екатерине он упоминает, что пожаловал деньги на поддержание мечетей и муфтиев. Путешествуя по Крыму вместе с Мирандой, он неизменно встречался с местными муфтиями и совершал пожертвования в их мечети [57]. Потёмкин жаловал татарским мурзам российские дворянские чины и права землевладения [58]. Он также создал небольшую крымскую татарскую армию [59]. Сотрудничество с мусульманскими иерархами давно стало традицией для русской имперской политики, но бережное отношение к ним Потёмкина было необычным для русского военного любой эпохи.

Татары не занимались сельским хозяйством и не возделывали свои земли. «Сей полуостров еще будет лутче во всем, ежели мы избавимся татар на выход их вон, – советовал он Екатерине. – Ей-Богу, они не стоят земли, а Кубань для них жилище пристойное». Как это свойственно российским императорам, Потёмкин часто намеревался перемещать целые народности, словно шахматные фигурки, однако на деле он обычно не переселял их, а напротив, заботился и прилагал много усилий, чтобы они остались на своих землях. Но тем не менее тысячи татар всё же уехали; крымский муфтий как-то раз высказал Миранде сомнительный комплимент Потёмкину, который многое говорит нам об отношении татар к князю: муфтий сказал, что помнит потёмкинскую аннексию Крыма, «как женщина помнит того, кто лишил ее невинности» [60].

Князь решил, что столица Крыма должна быть возведена на месте татарского города Ак-Мечеть в сухой равнинной местности в центре полуострова, и назвал город Симферополем. Это и ныне столица Крыма [61] – всё тот же плоский, аккуратно

спланированный, скучный город, как и при Потёмкине [62]. Масштабные замыслы Потёмкина распространялись от Херсона до Севастополя, Балаклавы, Феодосии, Керчи, Еникале и вновь возвращались к Херсону. Во всех этих местах он основывал новые города или расширял существующие крепости. Полковнику Корсакову всё это было по плечу. «Корсаков, матушка, такой инженер, что у нас не бывало… – сообщал князь императрице. – Сего человека нужно беречь» [63]. Пять лет спустя Севастополь и его флот были готовы к визиту двух восточных государей.

В 1784 году Потёмкин решил выстроить новые Афины – роскошную столицу для своей южной империи на месте маленькой запорожской деревни под названием Палавица. Он пожелал наречь город Екатеринославом. Его никогда не удовлетворяли полумеры, и это название так полюбилось ему, что он стал использовать его повсюду (и назвал так всё своё наместничество). «Всемилостивейшая государыня, где же инде как в стране, посвященной славе Вашей, быть городу из великолепных зданий? А потому я и предпринял проекты составить, достойные высокому сего града названию». Потёмкин замышлял создать неоклассический мегаполис: судебные палаты «наподобие древних базилик», рынок «полукружием наподобие Пропилеи или преддверия Афинского», дом генерал-губернатора «во вкусе греческих и римских зданий» [64].

Екатерина, чьи представления о классицизме и альтруизме соответствовали взглядам Потёмкина, одобрила его планы [65]. Более года потратил светлейший князь на рассмотрение проектов. Наконец в 1786 году французский архитектор Клод Жируар представил свой проект центральной площади и сети улиц, расположенных под удобным углом к Днепру, а потёмкинский архитектор Старов довёл эти планы до совершенства. В январе 1787 года князь с гордостью показал их Франсиско де Миранде, на которого произвели впечатление их «древнеримская щедрость и архитектурный вкус». Потёмкин хотел нанять 16 000 рабочих на девять-десять лет. Миранда задавался вопросом, удастся ли полностью воплотить эти замыслы в жизнь [66].

Ни одна его затея не вызывала столько насмешек, сколько выпало на долю Екатеринослава. Возведение этого города было необходимо для освоения пустынных запорожских степей, но размах строительства был ужасающим. Нам, однако, любопытна даже клевета на Потёмкина, поскольку она демонстрирует, как далеко способны были зайти его недоброжелатели, чтобы очернить его имя. Большинство историй повествует о том, что

некомпетентный Потёмкин основал Екатеринослав в нездоровом месте и почти сразу был вынужден переместить его. В самом деле, в 1778 году, за шесть лет до начала строительства, он позволил одному из губернаторов основать поселение армян и греков – крымских беженцев – на реке Кильчень и назвать его Екатеринослав. Теперь же князь дал это же название своему «славному городу», но не стал трогать то первое поселение, где уже жили почти три тысячи греков, армян и католиков и имелось уже три церкви [67]. Он просто переименовал его в Новомосковск [68].

Враги Потёмкина заявляли, что князь хотел построить в своей пока ещё пустынной степи храм величественней, чем собор Святого Петра в Риме – подобно тому, как африканский диктатор в нищем государстве пожелал бы возвести самый большой храм в мире посреди джунглей. С тех пор историки, в том числе и единственный современный биограф Потёмкина Георгий Соловейчик, повторяют слова о неуёмных потёмкинских амбициях как признаке его самонадеянности и иллюзорных представлений о собственном величии [69]. Потёмкин упоминал собор Святого Петра, но никогда не предлагал воссоздать его. Он пишет Екатерине: «…представляется тут храм великолепный в подражание *Святаго Павла, что вне Рима*, посвященный Преображению Господню, в знак, что страна сия из степей безштодных преображена попечениями Вашими в обильный вертоград, и обиталище зверей – в благоприятное пристанище людям, из всех стран текущим» [70]. Создать подобие собора Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура, безусловно, было тоже амбициозной затеей, но не настолько абсурдной. Маловероятно, что Екатерина согласилась бы скопировать собор Святого Петра, и она не стала бы выделять два, а потом и три миллиона рублей на развитие юга России, если бы идеи Потёмкина были столь безумными. Но каким-то образом слухи о соборе Святого Петра всё же распространились.

С самого начала в городе появился Екатеринославский университет с собственной *conservatoire* [консерваторией (*фр.*). – *Прим. перев.*] [71]. Потёмкин сразу переместил в свои новые Афины греческую гимназию, основанную в рамках «греческого проекта» в его имении в Озерках, и заявил, что у него достаточно средств, чтобы соорудить нужное здание [72]. *Conservatoire* была близка его лирической натуре. «Впервые вижу, – усмехался в ноябре 1786 года Кобенцль в письме Иосифу, – что *corps de musique* [музыкальное учреждение (*фр.*). – *Прим. перев.*] открывается в городе, который ещё даже не построен» [73]. Главой *conservatoire* Потёмкин назначил Джузеппе Сарти, своего

персонального композитора и дирижёра. Одним Сарти дело не ограничилось: князь в самом деле принялся приглашать музыкантов из Италии ещё до начала строительства города. «Имею честь передать вам, Ваше Высочество, счёт на 2 800 рублей за исполнение вашего поручения, – двадцать первого марта 1787 года пишет князю из Милана некто Кастелли. – Для господина Джузеппе Канта, который заплатил эту сумму четырём профессорам музыки… Они собираются отправиться в Россию двадцать шестого числа сего месяца…» [74]. Судьба этих четырёх миланских профессоров неизвестна.

В 1786 году он приказал местному губернатору Ивану Синельникову нанять для университета двух художников, Неретина и Бухарова, на должности профессоров живописи с жалованьем в сто пятьдесят рублей. Даже в разгар войны в январе 1791 года он велит губернатору Екатеринослава принять француза по имени де Гиенн «историком в Академию» и назначить ему жалованье в пятьсот рублей. Потёмкин заявил Синельникову: необходимо усовершенствовать государственные школы, чтобы обеспечить университет достойными студентами. На одни лишь образовательные нужды ушло в общей сложности 300 000 рублей [75]. Это вызвало очередные насмешки. Однако едва ли стоит придираться к тому, как Потёмкин расставлял приоритеты, если он уделял преподавателям внимания не меньше, чем военным кораблям.

Всё это выглядело весьма экстравагантно, однако Потёмкин потому и был гениален, что умел воплощать идеи в реальность. Многое из того, что после его смерти превратилось в посмешище, при жизни казалось вполне возможным: размах его деятельности – от возведения городов до создания Черноморского флота – неправдоподобно велик, но всё же ему удавалось осуществить задуманное. Поэтому университет и сам Екатеринослав смогли появиться на свет – но только при нем. Его великолепный проект не ограничивался *conservatoire*: он задумал открыть международный богословский лицей, где могли бы обучаться молодые люди из Польши, Греции, Валахии и Молдавии [76]. Разумеется, Потемкин желал отобрать лучших студентов исходя из собственных целей и нужд империи. Он неизменно прилагал усилия к тому, чтобы воспитать достойных моряков для своего флота. В 1787 году, после визита Екатерины, он объединил все морские академии в провинции и в Петербурге и перенёс их в Екатеринослав. Учреждение должно было стать академией «греческого проекта», школой, обучавшей студентов для всех потёмкинских царств [77].

Строительство началось лишь в середине 1787 года, затем приостановилось из-за войны, поэтому успехи были невелики, однако и не так малы, как принято думать. В 1790 году Старов приехал на юг и 15 февраля представил новые планы города, в том числе план собора и княжеского дворца; все они получили одобрение Потёмкина. Были построены дома, где жили профессора, и административные здания университета. К 1792 году в городе насчитывалось уже 546 государственных зданий и всего 2 500 жителей [78]. Губернатор Екатеринослава Василий Каховский после смерти Потёмкина доложил императрице, что город распланирован и строительство продолжается. Но продолжалось ли оно без своего главного руководителя? [79]. В 1815 году проезжий чиновник записал, что город «скорее напоминал голландскую колонию, нежели административный центр губернии» [80]. Однако от «новых Афин» кое-что всё же сохранилось.

Екатеринослав так и не стал южным Петербургом, а его университет – степным Оксфордом. Причиной этой самой крупной неудачи Потёмкина было несоответствие между мечтами и реальностью, и эта неудача бросила тень на многие и многие его достижения. Нужно отметить, что ни один из историков за последние два столетия ни разу не посетил Екатеринослав (ныне Днепропетровск), который в советское время, как и Севастополь, был закрытым городом. Если же внимательно взглянуть на него, то становится очевидно, что месторасположение выбрано чрезвычайно удачно: город стоит на высоком зелёном берегу, на изгибе Днепра, который в этом месте достигает почти мили в ширину. Главная улица, которую Потёмкин назвал Екатерининской, теперь стала проспектом Карла Маркса – местные жители всё ещё называют её «самой длинной, широкой и элегантной улицей во всей России». (Шотландский архитектор Уильям Хейсти расширил существующую сеть улиц на своём новом городском плане 1816 года [81].)

В центре города находится церковь XVIII века, где ныне снова идут службы. Спасо-Преображенский собор – тот самый храм, который Потёмкин задумал возвести в 1784 году. Это внушительное сооружение вполне соответствует масштабу самого города. Сообразно изначальному проекту Старова храм украшен высоким шпилем, античными колоннами и золотыми куполами. Возведение величественного собора посреди города, о котором говорили, что он никогда не будет построен, началось в 1788 году, во время войны, и завершилось лишь через много лет после смерти Потёмкина, в 1837 году [82]. Неподалёку от храма находится чудовищная триумфальная арка, построенная в

советские годы и ведущая в потёмкинский парк, где всё ещё стоит огромный княжеский дворец [83]. Пройдёт ещё восемьдесят лет после смерти Потёмкина, прежде чем в Петербурге и Москве откроются первые музыкальные *conservatoires*. Процветание Екатеринослава началось в советское время, когда он превратился в крупный индустриальный центр – как Потёмкин того и желал[66].

Потёмкин захватывал всё новые и новые земли, и число его городов умножалось. Последние города, которые он спонсировал, обязаны своим появлением победам второй Русско-турецкой войны: это Николаев, основанный после падения крепости Очаков, и Одесса – благодаря дальнейшему продвижению вдоль берегов Чёрного моря.

Двадцать седьмого августа 1789 года князь нацарапал своим неразборчивым почерком приказ основать город Николаев, названный в честь Святого Николая, покровителя мореплавателей. Именно в День св. Николая Мирликийского Потёмкин наконец смог взять штурмом Очаков. Николаев возвели на прохладном и обдуваемом ветрами холме в месте слияния рек Ингул и Буг в двадцати милях от Херсона и в пятидесяти от Чёрного моря. Это был самый успешный и удачно спланированный потёмкинский город, не считая Одессы.

Фалеев построил его согласно чётким указаниям Потёмкина: тот мыслил масштабно, но при этом продумывал каждую деталь. Он составил меморандум из двадцати одного пункта, приказав Фалееву возвести монастырь, перевести штаб флота из Херсона в Николаев, соорудить военную школу на триста учащихся, на прибыль, вырученную от местных пивных, построить церковь, отлить заново повреждённый колокол Межигорского монастыря, добавив в сплав медь, обрабатывать землю «по английской методе, какой обучены в Англии помощники профессора Ливанова», открыть госпитали и дома призрения для инвалидов, облицевать мрамором все фонтаны, построить свободный порт, турецкую баню и адмиралтейство, и наконец, учредить городской совет и полицию.

Как ни удивительно, Фалеев сумел воплотить в жизнь весь этот бурный поток идей. Свою докладную записку Потёмкину Фалеев начинает словами «Вашею Светлостью приказано мне сделать…» и затем сообщает, что почти все поручения выполнены – и даже кое-что сверх того: староверы обеспечены жильём и засеяны огороды. В первую очередь были построены верфи. Город возводили крестьяне, солдаты и турецкие пленники: в 1789 году на стройках работали 2500 человек. По всей видимости, Фалеев не давал им спуску, так что светлейшему

князю пришлось отдельно приказать обеспечить им надлежащие условия труда и ежедневно выдавать горячее вино. В Николаевском музее хранится современная гравюра, изображающая работающих солдат и пленных турок, за которыми надзирают конные русские офицеры. Другая гравюра демонстрирует, как волы везут брёвна на стройку.

К октябрю Фалеев доложил князю, что пристань благополучно построена, а земляные работы военнослужащие и турки завершат в течение месяца. В городе уже стояли девять каменных и пять деревянных бараков. В 1791 году главные верфи перенесли из Херсона в Николаев [84]. Это замечательный пример того, как работал Потёмкин: перед нами не бездельник, не клоун, развлекающий иностранцев, и не напыщенный правитель, который предпочитает не вдаваться в детали. Потёмкин подгонял Фалеева. «Поспешите, – пишет он по поводу одного из необходимых ему военных кораблей. – Используйте все ваши средства». Далее он благодарит Фалеева за присланные арбузы, но добавляет: «Вы не можете представить себе, насколько моя честь и будущее Николаева зависят от этого корабля» [85]. Первый фрегат в новом городе спустили на воду ещё при его жизни, а княжеский дворец был почти достроен.

Четыре года спустя Мария Гатри, посетившая этот город с 10 000 жителей, с одобрением отзывалась о его «удивительно длинных, широких, прямых улицах» и «красивых общественных зданиях». Расположение города даже сегодня оказывается весьма удачным: он замечательно спланирован, однако до наших дней сохранились лишь немногие из потёмкинских строений. Верфи всё ещё в рабочем состоянии и находятся там же, где Потёмкин построил их двести лет назад [86].

В 1789 году князь захватил османский форт Хаджибей, будущую Одессу, и велел выстроить на его месте город и крепость, но за оставшийся ему недолгий срок не успел ни начать строительство, ни дать городу имя. Он сразу понял, что форт расположен в стратегически важном и крайне благоприятном месте, приказал взорвать старый замок и лично указал, где именно следует основать порт и поселение. Работы должны были начаться немедленно.

Всё это было сделано уже после его смерти, но формально город основал три года спустя его протеже Хосе де Рибас, испанский авантюрист из Неаполя, который помог Орлову-Чесменскому похитить княжну Тараканову. Если верить Ланжерону, «генерал (а затем адмирал) де Рибас – человек разумный, изобретательный и талантливый, однако же не святой». С портрета кисти Иоганна Баптиста Лампи Старшего на

нас смотрит по-лисьи хитрый, строгий и проницательный мужчина. В 1776 году он женился на внебрачной дочери Ивана Бецкого, друга Екатерины и президента Императорской академии художеств, у которого, к слову, был роман с матерью императрицы. Де Рибас с женой стали одной из самых политически успешных пар в Петербурге. Впредь куда бы ни отправился светлейший князь, де Рибас всегда был поблизости. Неизменно деятельный и рассудительный во всём, будь то постройка кораблей, руководство флотом Потёмкина или поиск ему любовниц, де Рибас наряду с Поповым и Фалеевым стал ближайшим помощником князя[67].

Екатерина пожелала назвать город в честь греческой колонии Одессос, которая, как считалось, когда-то располагалась неподалёку, но решила дать названию женское окончание. Одесса – несомненно одна из самых ярких жемчужин в потёмкинском наследии [87].

«Доношу, что первый корабль спустится “Слава Екатерины”! – с восторгом писал Потёмкин своей императрице. – Позвольте мне дать сие наименование». Такое название превратилось для Потёмкина в настоящее наваждение – города, корабли и полки были вынуждены сносить бремя величия имени императрицы. Предусмотрительную Екатерину это обеспокоило: «Пожалуй, не давай кораблям очень огромные имяна, для того, чтобы слишком громкое не сделалось тяжким… впрочем, как хочешь с имянами, дай волю поводу, потому что лучше быть, чем казаться и вовсе не быть» [88]. Но Потёмкин не отказался от названия даже во имя славы самой императрицы и вопреки её просьбе. В сентябре он торжественно объявил, что в Херсоне на воду спущен линкор с 66 пушками под названием «Слава Екатерины» [89]. Этот эпизод весьма характерен для отношений императрицы и князя[68].

Светлейший князь имел все основания для восторга, поскольку линкоры были самым ценным оружием XVIII века, подобно сегодняшним истребителям. Эти громадные плавучие крепости оснащались рядами из сорока или пятидесяти пушек, что сопоставимо с артиллерией небольшой армии. (26 июня 1786 года Екатерина выделила Потёмкину 2,4 миллиона рублей на постройку судна.) По подсчётам современного историка, создание флота таких линкоров требовало столько же средств и усилий, сколько сегодня государство тратит на космическую программу. Однако недоброжелатели Потёмкина заявляли, что корабли вышли захудалыми, если вообще были построены. Это вздор. Пол Карью пристально наблюдал за процессом судостроения. Три линкора с 66 пушками были «на завершающей стадии», а работа

над фрегатами с тридцатью и сорока пушками успешно началась. Были заложены ещё четыре киля. Строились не только государственные суда – Фалеев готовился спустить на воду и свои торговые корабли. В Глубокой пристани, в тридцати пяти верстах в сторону моря, уже стояли семь фрегатов с 24–32 пушками на каждом. Когда пять лет спустя туда приехал свободный от европейских предрассудков, зато обладавший немалым военным опытом Миранда, он отметил, что суда изготовлены мастерски и из отличной древесины, и счёл их лучше испанских и французских. По его словам, корабли были достойны высочайшей похвалы, каковой можно наградить современные суда: они сделаны «по английскому образцу» [90].

Эти слова свидетельствуют о том, что Миранда отлично знал свой предмет: немецкие, французские и русские критики потёмкинского флота не ведали, что лес для него доставлялся из тех же мест, что и древесина для английских военных кораблей. Более того, русские корабли строили моряки и инженеры, учившиеся своему мастерству в Англии, – например, потёмкинский адмирал Николай Мордвинов (женившийся на англичанке) и инженер Корсаков. Действительно, в 1786 году атмосфера в Херсоне казалась вполне английской. «Мордвинов и Корсаков больше похожи на англичан, чем кто-либо из знакомых мне иностранцев», – писала неутомимая путешественница леди Элизабет Крейвен [91]. Однако император Иосиф, мало что понимавший в делах флота, заявлял, что корабли были построены «из позеленевшей древесины, изъеденной червём» [92].

К 1787 году князь создал великолепный флот; по свидетельству британского посла, он состоял из двадцати семи военных судов. Если считать линкором судно, имеющее более сорока пушек, то за девять лет Потёмкин выстроил двадцать четыре таких корабля. Сначала работа шла в Херсоне, затем базой Черноморского флота стала замечательная севастопольская бухта, и главная верфь переместилась в Николаев. Благодаря черноморским и тридцати семи балтийским линкорам российский флот мог потягаться с испанским и лишь немного отставал от французского – хотя до самой крупной морской державы, Англии, ему было ещё далеко.

Потёмкин был отцом Черноморского флота, точно так же как Пётр I – отцом Балтийского. Его гордость за своё детище не знала границ. На замечательном портрете кисти Лампи он изображен в белом адмиральском мундире командующего Черноморским и Каспийским флотом, а за его спиной виден Понт Эвксинский – Чёрное море. Екатерина понимала, что флот – это его творение. Один британский посол записал слова, сказанные Потемкиным

под конец жизни: «Это может показаться преувеличением, но он был вправе сказать, что каждое бревно для постройки своего флота пронёс на своих плечах» [93].

Потёмкину нужно было совершить ещё один подвиг Геракла – привлечь новых жителей на обширные пустынные земли. На российских приграничных территориях издавна создавались поселения колонистов и отставных солдат, но потёмкинская агитационная кампания поражала воображение своей изобретательностью, размахом и успешностью. В манифестах Екатерины предлагались всевозможные поощрения для переселенцев: свобода от налогов на десять лет, бесплатный скот и земледельческий инвентарь, разрешение заниматься виноделием и пивоварением. Сотни тысяч людей переехали, обзавелись жильём и получили денежные пособия, плуги и волов. Колонизаторская политика Фридриха Великого при *re'tablissement* [восстановлении (*фр.*). – *Прим. перев.*] своих разрушенных войной территорий считалась образцовой: он объявил свободу вероисповедания для всех сект, поэтому на момент его смерти 20 % жителей Пруссии были иммигрантами. Потёмкин избрал более современный подход к делу, понимая всю важность «связей с общественностью». Он поместил рекламу в зарубежной прессе и учредил целую сеть вербовщиков по всей Европе. «Европейские газеты, – объяснял он Екатерине, – не нахвалятся новыми поселениями в Новороссии и на Азове». Народ узнает о привилегиях, дарованных армянским и греческим поселенцам, и «их оценят по достоинству». Кроме того ему пришла в голову новаторская затея использовать для агитации российские посольства. Потёмкин увлекался идеей колонизации с тех самых пор, как пришёл к власти. Ещё в середине 1770-х он зазывал иммигрантов в свои новые поселения на Моздокской линии на Северном Кавказе [94]. Согласно его замыслу в мирное время переселенцы должны были сеять зерно, ходить за плугом, торговать и заниматься ремеслами, а если придёт война, дружно выходить на бой с турками [95].

Сначала новые потёмкинские земли заселили албанцы, которые в 1769 году служили в средиземноморской эскадре Орлова-Чесменского, и крымские христиане. Первые осели в Еникале, вторые – в собственных городах, например, в Мариуполе. Албанцы были солдатами-земледельцами. Потёмкин устроил для них школы и госпитали. После аннексии Крыма князь сформировал из албанцев полки и разместил их в Балаклаве. Он основал Мариуполь специально для крымских греков и, как и прежде, внимательно следил за его возведением,

не забывая о нём в течение всей жизни. К 1781 году азовский губернатор сообщил, что большая часть города уже построена. Там находились четыре церкви и собственный суд. Мариуполь вскоре превратился в преуспевающий греческий торговый центр. Затем Потёмкин основал для армян города Нахичевань (ниже по течению Дона рядом с Азовом) и Григориополь на Днестре, названный в честь его самого [96].

Светлейший князь ломал голову в поисках деятельных переселенцев из разных регионов империи, стремясь привлечь дворян с крепостными [97], отставных и раненых солдат, староверов-раскольников[69] [98], казаков и, разумеется, женщин. Девушек отсылали на юг – так же, как в XIX веке в Америке присылали невест для переселенцев на Средний Запад [99]. Потёмкин агитировал еще и обедневших деревенских священников [100]. Тем, кто покинул империю, – беглым крепостным [101], раскольникам, казакам, бежавшим в Польшу и Турцию, он обещал прощение. Люди переезжали и возвращались на родину целыми семьями, сёлами и городами и находили приют в его губерниях. По примерным подсчётам к 1782 году ему удалось удвоить население Новороссии и Азова [102].

После захвата Крыма потёмкинская кампания вышла на новый виток – он постоянно расширял сеть вербовщиков и охватил, таким образом, почти всю Европу. Из-за выпавших на долю Крыма неурядиц его население вдвое сократилось, и теперь на полуострове проживали всего пятьдесят тысяч мужчин [103]. Князь был убеждён, что на этих землях могло разместиться вдесятеро больше человек. «Колонии ремесленников выписаны», – пишет он Екатерине. Пользуясь своей невероятной властью, он самостоятельно решал, кого можно освободить от налогов и сколько земельных угодий нужно жаловать переселенцам, будь то дворяне или иностранцы. Иммигранты, как правило, освобождались от налогов на полтора года, затем этот срок был продлён до шести лет [104].

Агент получал по пять рублей за каждого переселенца. «Я нашёл человека, который может доставить в Крым иностранных колонистов, – писал князю один из агентов. – Я пообещал ему тридцать рублей за каждую перевезённую семью». Позднее он сообщил Потёмкину об ещё одном агенте, который поручился доставить двести душ, но впредь «сулит перевезти ещё больше» [105].

Особенно отзывчивыми оказались крестьяне с юга Европы. В 1782 году для расселения в окрестностях Херсона прибыла шестьдесят одна корсиканская семья [106]. В начале 1783 года Потёмкин организовал приезд корсиканцев и евреев, найденных

герцогом де Крильоном. Однако князь решил, что «нет необходимости увеличивать число жителей, за исключением тех, кого уже отправил к нам граф Мочениго» (русский посланник во Флоренции). Если погрузиться в архивы князя, мы увидим, как происходили эти странные сделки с честными крестьянами и предприимчивыми мошенниками. Некоторые сами писали напрямую в потёмкинскую канцелярию. В одном из типичных писем потенциальные греческие переселенцы по имени Панайо и Алексиано просят вывезти их семью «с Архипелага», чтобы они «все вместе смогли основать колонию не меньше, чем та, что заселили корсиканцы» [107]. Некоторые агенты воплощали в себе наихудшие черты рыночных торгашей – скольких невинных людей они одурачили? Есть подозрения, что землевладельцы воспользовались этим предложениями, чтобы избавиться от всевозможных негодяев в своих имениях. Но Потёмкин не придавал этому значения. «Нынешней весною [их доставят] в Херсон, где учинены уже потребные распоряжения к их принятию», – писал он [108].

Князю удалось привлечь самых работящих и воздержанных поселенцев, о каких только мог мечтать правитель любой империи, – меннонитов из Данцига. Они просили дать им разрешение на постройку собственных церквей и свободу от податей на десять лет. Агент Потёмкина Георг фон Трапп согласился на эти условия. Впридачу они также получили деньги на дорожные расходы и готовые жилища. Из письма Потёмкина шотландскому банкиру Ричарду Сутерланду следует, что столь выдающийся государственный деятель Российской империи лично занимался подготовкой к переезду небольших групп меннонитов со всей Европы: «Сударь, поскольку Её Императорское Величество соблаговолили жаловать привилегии меннонитам, кои хотят приехать в Екатеринославскую губернию… будьте добры подготовить необходимые средства в Данциге, Риге и Херсоне для их путешествия и расселения… Поскольку Её Императорское Величество соизволили проявить милосердие к этим добрым земледельцам, я смею верить, что эти денежные средства получить будет нетрудно… дабы не чинились препятствия их переселению в Екатеринослав» [109]. В архивах хранится множество подобных писем. В начале 1790 года 228 семей – около двух тысяч человек – отправились в долгое путешествие, чтобы затем основать восемь колоний [110].

В это же время в Херсоне Потемкин приказал некомпетентному полковнику Гаксу встретить группу шведов и отправить их в шведское поселение, «где и найдут они не только достаточное количество земли к возделыванию, но и довольное

число домов для свободного себе там пребывания ‹…› На продовольствие же их выдать каждому по пять рублей» [111]. Ещё 880 шведов поселили в новом городе Екатеринославе. Из-за рубежа также прибыли тысячи молдаван и валахов (православных румын, находившихся под властью османов), к 1782 году их численность достигла 23 000 человек. Многие поселились в Елисаветграде, где их было больше, чем русских. Вот одно из типичных писем потёмкинского агента: «Болгарский грек сообщил мне, что у границы Молдавии живёт несколько молдаван, которых будет несложно уговорить эмигрировать». Без сомнения, они эмигрировали [112].

В отличие от подавляющего большинства русских солдат и чиновников Потёмкин был более чем терпим к евреям: он изучал их культуру, с удовольствием вёл беседы с раввинами и стал их покровителем. В эпоху Просвещения отношение к евреям уже начало меняться. В 1742 году императрица Елизавета изгнала из империи всех этих «врагов Христа». Мария Терезия так горячо ненавидела евреев, что в 1777 году, когда Потёмкин даровал им привилегии при переселении, она написала: «Мне не известно худшей напасти, чем этот народ». Она не могла даже смотреть на еврея и разговаривала со своим банкиром Диего д'Агиларом через ширму. Впрочем, её сын Иосиф II значительно улучшил их положение [113]. Когда Екатерина только взошла на престол, ей было выгодно казаться образцовой православной верующей, поэтому она не могла покровительствовать евреям. В октябрьском декрете 1762 года она приглашала всех переселенцев, «исключая евреев», но тайно открыла им въезд, приказав графу Брауну, генералу-губернатору Ливонии, *не* спрашивать будущих переселенцев о религиозной принадлежности [114].

Первая крупная волна евреев-переселенцев – около 45 000 человек – оказалась в России после раздела Польши в 1772 году. Потёмкин впервые встретился с ними в своём поместье Кричеве, которое ранее принадлежало к польским территориям. Когда в 1775 году князь приглашал переселенцев на юг, он добавил необычное для того времени уточнение: «даже евреев». Тридцатого сентября 1777 года он провозгласил: евреям позволяется селиться в его землях, в том числе в «опустевших хозяйствах, оставленных запорожскими казаками», при условии, что каждый из них приведёт за собой пятерых переселенцев-поляков и будет иметь достаточно денег, чтобы обжиться. Позднее он сделал им более привлекательное предложение: освободил от налогов на семь лет и даровал разрешение на винную торговлю; им была обещана защита от мародёрствующих

солдат; раввины могли выносить судебные решения по внутренним спорам; было разрешено строительство синагог и устройство кладбищ и позволено привозить с собой жён из польских еврейских общин. От этих иммигрантов имелись большие выгоды: помимо изготовления кирпича, в котором нуждались новые потёмкинские города, евреи были мастерами в торговом деле. Вскоре Херсон и Екатеринослав, плавильные котлы, где бок о бок жили казаки, староверы и греки, стали также и еврейскими городами, по крайней мере частично [115].

Потёмкин особенно сблизился с человеком по имени Иошуа Цейтлин. Этот удивительно одарённый еврей – торговец и знаток древнееврейского языка, путешествовал с князем, управлял его поместьями, строил города, заключал финансовые сделки для военных нужд и даже заправлял восстановленным монетным двором в крымском городе Кафе – в архивных документах его имя упоминается повсюду. Цейтлин «беседовал и гулял с Потёмкиным, как друг или брат» – уникальная ситуация в русской истории, поскольку этот человек с гордостью отказывался перенимать окружавшие его порядки и погружался в талмудические штудии, оставаясь при этом членом ближайшего окружения князя. Потёмкин пожаловал ему чин надворного советника, что означало дарование дворянского звания и возможность владеть крепостными и землёй. Российские евреи называли Цейтлина «ха сар» – «вельможа». Потёмкин ценил Цейтлина не только за деловые навыки, но и за способность толковать Талмуд и часто беседовал с ним. Во время проверок новых дорог и городов Цейтлин «ехал рядом с Потёмкиным на великолепном коне». Пока Потёмкин рассматривал прошения, к благородному раввину-плутократу обращались с «галахическими вопросами… учёные. Он спешивался и, преклонив колени, сообщал свои ответы», а затем вновь садился на коня и отправлялся в путь вслед за князем. Трудно переоценить необычность подобной толерантности не только для России, но и для Европы.

Потёмкин помогал евреям и неоднократно пытался встать на их защиту. В 1787 году, во время крымского путешествия Екатерины, он даже поспособствовал созданию делегации под руководством Цейтлина, которая обратилась к императрице с прошением запретить называть иудеев «жидами». Екатерина приняла их и повелела впредь называть их «евреями». Когда случился конфликт между Цейтлиным и Сутерландом, банкиром князя, Потёмкин даже встал на сторону своих любимых иудеев – против своих любимых британцев [116]. К причудливой свите Потёмкина помимо мулл и священников вскоре присоединились

и иудейские раввины. Именно эта поразительная терпимость стала причиной насмешек антисемитски настроенных хулителей Потёмкина – князь якобы оказывал предпочтение любому иностранцу «с большим носом»; однако Потёмкин никогда не обращал внимания на предрассудки окружающих [117].

Неудивительно, что Потёмкин стал для евреев настоящим героем. Куда бы он ни отправился, особенно в Белоруссии, толпы радостных иудеев встречали его с такой помпой, что порой даже нервировали его. Они предлагали ему «хлеб, соль и лимоны на больших серебряных блюдах». «Несомненно в знак гостеприимства», – как сухо заметил Миранда, который был свидетелем подобных встреч в Херсоне [118].

После смерти Потёмкина Цейтлин удалился в свой пышный дворец в белорусском местечке Устье, где этот удивительный финансист покровительствовал еврейским ученым, дав им возможность заниматься в его библиотеке гебраистической литературы и в синагоге, проводил в своей лаборатории научные эксперименты и выносил судебные решения, словом, проводил дни со всей экстравагантностью и великолепием иудейского Потёмкина. Меж тем положение российских евреев вновь пошатнулось. Впредь у них никогда больше не было такого влиятельного защитника [119].

Следующей затеей Потёмкина стала попытка переселить в Крым британских преступников.

19. Британские негры и чеченские боевики

А я, проспавши до полудня,
Курю табак и кофе пью;
Преображая в праздник будни,
Кружу в химерах мысль мою.

Г.Р. Державин. «Фелица»

Когда светлейший услышал, что Британия из-за войны с Америкой не может ввозить в свои колонии преступников, он решил, что для него это отличная возможность. Вероятно, ему об этом рассказал его друг принц де Линь, потому что Иосиф II сначала хотел разместить британских уголовников в Галиции, а потом передумал. Однажды к Семену Воронцову, который теперь был послом в Лондоне, пришел ирландский путешественник по имени Диллон, заявивший, что де Линь отправил его купить «преступников и арапов» для отправки в Крым. Воронцов, не любивший Потёмкина, «устыдился за свою государыню и отечество», так как вся Европа бы узнала, каких чудовищ была готова принять Россия. Он был уверен, что они заболеют, будут вынуждены содержать себя и вернутся «к грабежам и разбою».[70]

Воронцов был крайне удивлен, когда в октябре 1785 года получил от Безбородко императорский приказ провести переговоры об отправке британских преступников в Ригу, а затем в Крым. Заплатить за их поездку должно было британское правительство. Воронцов увидел возможность подорвать авторитет Потёмкина и поэтому написал императрице письмо, предостерегая, что история дурно скажется на ее репутации в Европе. «Несмотря на необычайное влияние и власть князя Потёмкина», – хвастался Воронцов, императрица согласилась, что это может повлиять на представления о ней в Европе. «Князь Потёмкин никогда не простил мне этого», – повторял он несколько лет спустя [1].

Воронцов постоянно рассказывал об этом – а за ним повторяли и другие, – чтобы показать комичную некомпетентность Потёмкина и его неспособность к критическим суждениям. Но на самом деле идея не была такой уж глупой или никчёмной. Многие из этих «криминальных элементов» не были на самом деле закостеневшими преступниками – в то время люди,

которым не повезло, могли оказаться депортированы из Европы в оковах на ужасных тюремных кораблях за кражу носового платка или ловлю кролика в частных лесах. Австралия – основная колония, ставшая местом ссылки для этих «преступников», – процветала. Императрица, де Линь и Безбородко, которые вовсе не были глупцами, поддержали идею Потёмкина. Кроме того, сама концепция была не нова, так как многие российские преступники таким же образом отсылались в Сибирь «на поселение».

Некоторые из поселенцев, впрочем, были почти что преступниками. В 1784 году из Ливорно отправился целый корабль людей, которых Сэмюэль Бентам назвал «итальянскими оборванцами», это были преимущественно корсиканцы. Во время плавания они взбунтовались, убили капитана, но в итоге их поймали и отправили в Херсон, где заставили трудиться на строительных работах. Последствием этих неприятностей стала весьма характерная история. Среди этих головорезов был один англичанин (в потёмкинских планах всегда был хотя бы один англичанин). Он считался шахтером, поэтому ему приказали искать уголь. Бентам обнаружил его «в лохмотьях, живущего на пять копеек в день», и рассказал о плачевном состоянии своего соотечественника князю, который пообещал тому «хорошую зарплату, а когда я сказал, что он одет в лохмотья, велел выдать ему триста рублей на одежду. Это как нельзя больше доказывает его великодушие и благорасположение к нам, англичанам» [2].

Примечателен также американский постскриптум к истории переселенцев. В 1784 году американцы, верные британской короне и желавшие покинуть Соединенные Штаты, обратились к Потёмкину с просьбой разрешить им поселиться в России. Потёмкин побоялся, что «они могут быть потомками тех, кто выехал из Англии во время революционных войн прошлого века, и придерживаться взглядов, никоим образом не приемлемых» в России [3]. Таким образом, добропорядочным американцам отказали, а вместо них стали искать британских преступников. Потёмкин, который считал Кромвеля, Дантона и Пугачева людьми одного сорта, был верен себе: политические волнения были опаснее обычных преступлений.

Светлейший дал губернаторам конкретные указания, как встречать переселенцев в конце их долгого пути. «Новые подданные ни языка, ни обычаев наших не ведущие, требуют всякой защиты и покровительства», – писал он крымскому губернатору Каховскому. Князь явно решал судьбу переселенцев, подчиняясь одному ему известному порыву: «Переведенных из Украйны ‹…› в наместничество Екатеринославское волохов и

прочих иностранцев предлагал я поселить по левую сторону Днепра ‹…›, но, считая, что легче переместить их в пустых греческих деревнях в самой Тавриде, где, по крайней мере, каково ни есть находится строение, представляю вашему рассмотрению, в полуострове ли или на степи Перекопской их поселить» [4]. Он постоянно думал, как улучшить их жизнь. «Будьте добры раздать волов, коров и лошадей, оставленных ушедшими татарами, новым поселенцам, – писал он Каховскому. – Причем постарайтесь в первую очередь не раздать их поровну, но помочь бедным» [5]. Губернатору Екатеринослава Синельникову он приказал раздать каждой семье скот и по восемь десятин земли на человека. «В низовье Днепра прибывают еще сорок семей, встретьте их лично» [6]. Такое персональное приветствие от занятого губернатора больше похоже на современную сентиментальную социальную работу, а не на организацию военного поселения в российской степи.

Потёмкина часто обвиняют в том, что он оставил этих людей на произвол судьбы. Но князь не мог уследить за всем, а подчиненные часто ему лгали. Именно по этой причине он постоянно ездил по разным уголкам страны – чтобы убедиться, что от него ничего не скрывают. Тем не менее многие из этих людей наверняка пережили немало неприятностей. Потёмкин писал Каховскому, что отъезд некоторых поселенцев из Крыма «доказывает их несчастье». «Войдите в причины онаго и с твердостию исполните долг ваш, достав удовлетворение обиженным» [7]. Его распоряжение «войти в причины» демонстрирует противоречие – князь пытался привить своим подчиненным тонкое восприятие, отдавая военные команды.

Как бы то ни было, многие семьи были рады переселению. Архивы подтверждают, что если Потёмкин замечал какой-либо недочет, то реагировал мгновенно. Красноречива его записка Каховскому, в которой он предлагает пять способов преодолеть «великие лишения» переселенцев, связанные с тем, что правительство не смогло выдать им достаточно скота: «Только три пары волов, один плуг и одна телега на четыре или даже более семей» [8]. Примечательно, что соправитель империи действительно приказывал своим генералам исправлять подобные ошибки и выдать определенное число волов конкретным крестьянским семьям в деревне. И такое происходило постоянно.

Он решил проблемы безопасности, переместив целые нации – некоторые племена ногайцев были переселены на Урал, Таманский полуостров и на север Крыма, а затем в другие места. Проблема с ними была в том, что они были ненадежны и жили слишком близко к бурлящему Кавказу. Такие переселения

определённо были тяжелы для простых людей, и за это Потёмкин несет ответственность, также как современные ему британские министры несли ответственность за работорговлю.

Потёмкин невероятно заботился о переселенцах и сделал все, что мог сделать государственный деятель в восемнадцатом веке. Позже, возможно, при строительстве последнего своего города, Николаева, он оставил Фалееву меланхолическую записку, описывающую положение простых людей: «Скажите мне правду. Я не могу знать наверняка, но вам должно быть стыдно скрывать от меня правду. Я нанял людей на работу, обещал платить им оклад, но дело превратилось в каторжный труд. К несчастию, моё имя напрямую связано с этим, поэтому могут начать думать, что я тиран» [9].

Князь планировал превратить Крым и южные части империи в цветущий сад. «Это чудесное и невероятно плодородное место», – писал он Екатерине. Судя по всему, князь был «зеленым» уже тогда – по крайней мере, он инстинктивно понимал те проблемы, которые сейчас называют экологическими. Посадить дерево для него означало сделать вклад в будущее своей родины, поэтому он часто приказывал «посадить райские деревья» или «каштаны». Пятого августа 1785 года Потёмкин публикует обращение к крымским землевладельцам, в котором, не признавая возражений, требует сажать сады: «Возделывание земли я считаю первым источником богатства». Это был не только надёжный бизнес, потому что армии постоянно нуждались в провизии, но и работа на благо государства. Незасеянная же земля – «позор для хозяина, свидетельство его нерадивости» [10].

Он и сам практиковал то, к чему призывал. Для того чтобы «ускорить заселение Перекопской степи и подать пример», Потёмкин сам взял леса и шесть тысяч десятин земли «для посадок сахарного тростнику» [11]. Он постоянно приказывал профессорам Ливанову и Прокоповичу (которые учились в Англии в числе отправленных туда Потёмкиным студентов) и ботанику Габлицу, ведавшим сельским хозяйством Крыма, путешествовать по полуострову и повышать качество во всех областях, какие придут им на ум. Он не только приказал Корсакову построить соляные мосты, чтобы сделать сбор соли эффективнее, но и отправил инженеров на разведку каменного угля в долину Донца и под Луганск. В Тавриде даже был свой эксперт по горному делу [12].

Князь мечтал использовать свои поместья и те поместья, которые он дарил другим, для торговли между севером и югом. «Барки, привозящие продовольствие и припасы для херсонского флота из [белорусских] имений и факторий князя Потёмкина,

возвращаются груженные солью», – сообщал в Париж французский дипломат. После получения пустынных степей Крымского ханства и Запорожской Сечи Потёмкин собирался жаловать земели и таким образом поощрять торговлю и производство, особенно среди иностранцев – таких как Бентамы. В этой области он также благоволил англосаксам. «Русские мало способны к коммерции, – говорил он британскому посланнику, – и всегда придерживался мнения, что внешнюю торговлю империи должны обеспечивать исключительно» англичане [13].

Потёмкин приказал, чтобы земля не отдавалась без его ведома. Существовало много способов возделывать эти пустынные земли: он отдавал огромные территории богачам и чиновникам (например, своему секретарю и союзнику Безбородко, который был рад получить «почти королевское» поместье), иностранным друзьям (например, принцу де Линю), казакам и перешедшим на его сторону татарам. Себе он взял 73 000 десятин на материке и 13 000 на полуострове [14]. Если землевладельцы справлялись со своими обязанностями, светлейший снижал для них налоговое бремя. В частности, он даровал подобную льготу трем людям, изучившим английское сельское хозяйство, «за большие успехи» [15]. Если подарок не использовали разумно, Потёмкин склонялся к тому, чтобы отобрать его. Многие иностранцы, от генуэзских дворян до английских леди, забрасывали князя планами и просили землю – но получали ее только при наличии хорошего плана развития.

«Я имею, князь, большое желание приобрести здесь имение», – писала ему из Крыма соблазнительная и умевшая добиваться своего графиня Крейвен. Она была дочерью графа Беркли, обладала эффектной внешностью и роскошной кудрявой шевелюрой, постоянно попадала в скандальную светскую хронику Лондона, подобно герцогиням Кингстонской и Девонширской, была талантлива и независима, а кроме того, слыла отважной путешественницей и одной из первых написала очень хорошо продававшиеся путевые заметки. После невероятно короткого брака с пэром, имя которого она без зазрения совести использовала, её поймали *in flagrante* [на месте преступления (*фр.*). – *Прим. перев.*] с французским герцогом, посланником в Лондоне. Она была известна «демократичностью» своих вкусов и, вероятно, имела любовников даже из рабочего класса. Она отправилась в путешествие с молодым любовником, но по дороге писала яркие письма своему воздыхателю, маркграфу Анспаху, зятю Фридриха II. Позже она опубликовала эти письма в сборнике «Путешествие через Крым в Константинополь». Она закончила свое этнографическое, любовное и литературное путешествие в

1791 году, выйдя замуж за маркграфа, с которым Потёмкин также переписывался, и так вступила в ряды королевской семьи [16].

Элизабет Крейвен встретила князя в Петербурге и с его позволения отправилась в Крым. Там она увидела открывшуюся возможность. «Я создам здесь колонию из моих добропорядочных и предприимчивых соотечественников… – предлагала она. – Я была бы счастлива иметь собственный участок процветающей земли: признаюсь, князь, я мечтала бы иметь два поместья в разных местах Тавриды». Он обращалась к пресловутому романтизму Потёмкина, называя эту затею своей «прекрасной мечтой». При этом графиня подозрительно активно просила князя «не сообщать о ее пожелании г-ну Фицгерберту» (преемнику Харриса на посту английского посла в России) и «никому из ее соотечественников», вероятно, не желая увидеть эту новость в лондонских газетах. На случай, если бы Потёмкин оказался не заинтересован в ее предложении, графиня постаралась показать ему, кто она такая, подписав письмо «Элизабет Крейвен, супруга пэра Англии, *née* [урожденная (*фр.*). – *Прим. перев.*] леди Элизабет Беркли». Ответ Потёмкина нам не известен, но семья Крейвен в Крыму так и не оказалась. Возможно, князь, который уже не был новичком и пострадал от чар Джеймса Джорджа Семпла, решил, что «супруга пэра Англии» была слишком скандальной особой [17].

Князь мечтал, что его земли станут цветущими плантациями и на них будут построены промышленные фактории: на этот раз ему были нужны не солдаты, а эксперты в области сельского хозяйства. Екатерина писала своему немецкому другу доктору Циммерману, что Потёмкин говорил: «В Тавриде должно без сомнения… завести хлебопашество и шелковых червей, следовательно, и насадить шелковичных деревьев. Можно бы делать в Тавриде сукно… так же и сыры, коих не делают по всей России. И разведение садов, а особливо ботанических ‹…› Для всего оного люди знающие необходимы» [18].

Когда испанский офицер Антонио д'Эстандас попросил земли, чтобы устроить фарфоровые фактории недалеко от Симферополя, князь тут же приказал губернатору «отвесть ему земли сколько потребно, но с обязательством… что точно и без промедления сии фабрики учреждены будут» [19]. Он настаивал на сельскохозяйственном использовании земель, устройстве садов и овцеводстве, которое должно было прийти на смену крупному скотоводству [20], считая, что Крым идеален для производства шерсти. Он хвастался Екатерине: «Переменив шерсть в лутчую чрез способы верные и простые, превзойдет в количестве сукон все прочие государства. Из всех тех мест, где находятся лутчие

бараны, я выписал самцов, которых и ожидаю на будущее лето» [21].

Князь и сам развивал многие отрасли – особенно виноделие и производство шелка. Он вел себя так, будто одновременно был и самодержцем, и банкиром, и предпринимателем, и клиентом. Решив производить шелк, как он уже успешно делал в Астрахани, Потемкин договорился с итальянским графом Пармой устроить фабрику на обширной территории. Князь предоставил двадцать крестьянских семей из своих российских поместий, обещая еще двадцать через пять лет, и одолжил графу 4000 рублей в качестве первоначальной инвестиции. Чтобы подстегнуть отрасль, он скупил весь шелк, который производился в Крыму, по заниженной цене [22]. Говоря об успехе Потёмкина, Мария Гатри в конце века сообщает, что шелк, производимый «усердным» графом, по-прежнему сохраняет свое высокое качество [23].

Князь хотел, чтобы Екатеринослав стал центром торговли шелком с его крымских плантаций. Была построена фабрика по производству шелковых чулок, стоившая 340 000 рублей, и очень скоро князь отправил императрице пару настолько тонких чулок, что их можно было хранить в скорлупе ореха. «Ты, милосердная мать, посещая страны, мне подчиненные, увидишь шелками устлан путь», – писал он [24].

Что же касается вина, то в четырех частях полуострова князь высадил тридцать тысяч лоз токайского винограда, импортированных из Венгрии с разрешения Иосифа. Он много лет разбивал в Астрахани сады и виноградники и теперь привез в Судак, на цветущее крымское побережье, своего французского виноградаря Жозефа Банка, чтобы устроить под стенами разрушенной Генуэзской крепости центр виноделия. Благодаря кипучей деятельности Потёмкина к сентябрю 1783 года, всего через несколько недель после присоединения Крымского ханства, у него уже был садовник, покупавший земли. Письма Жозефа Банка, хранящиеся в архивах Потёмкина, написаны явно в плохом настроении, неаккуратно и часто покрыты пятнами, как будто он писал их, поливая свои виноградники. Они живописуют сложности, с которыми виноградарь столкнулся, воплощая прожекты князя в реальность. Бедный Банк очень скучал по своей жене: «Без семьи я не могу оставаться в Судаке, даже если Ваша Светлость подарит мне весь мир». Работа была невозможна без двадцати работников – не солдат! Но работники были грубы с Банком, и он был вынужден снова жаловаться князю. Когда с виноградников был собран первый урожай, он с гордостью отправил светлейшему князю 150 бутылок красного судакского вина [25].

Работа Банка состояла в том, чтобы расширить виноградники, посадить фруктовые сады и плантации изюма и в качестве полезного дополнения «устроить производство водки на французский манер». Его зарплата за пять лет составляла 2000 рублей в год (больше, чем у среднего русского офицера), плюс квартира, пара лошадей и сорок бочонков вина [26]. По прибытии француз жаловался, что купленные для него сады «никудышные ‹…› за ними не ходили три года ‹…› и в этом году вина ждать не приходится» [27]. Наконец Потёмкин уволил несчастного, возможно, за воровство, потому что тот молил о прощении и ощущал «ужасное отчаяние». Дальнейшая судьба Банка неизвестна, его место занял другой француз [28]. «Судакские виноградники, – сообщал в Версаль французский посланник граф Сегюр, – очень недурны», – и с ним в конце века соглашалась Мария Гатри [29].

Даже в середине второй Русско-турецкой войны в 1789 году, продвигаясь по Османской территории, князь нашел время сообщить Фалееву: «Удобной земли вспахать прикажите… и заготовить достаточное число для посева будущим летом фасоли. Лучших семян я из Ясс пришлю, так как и чечевицы. Я намерен тут устроить школу хлебопашества…» [30]. Садовник и строитель в Потёмкине никогда не отдыхал и никогда не прекращал радоваться созиданию.

Потёмкинская империя внутри империи не ограничивалась Новороссией: он управлял военным фронтиром на Кавказе и на Кубани, где в течение 1780-х годов практически постоянно шла война, так как чеченцы и другие горцы сопротивлялись продвижению российских войск. Россия построила по всему Кавказу линию фортов – сторожевых застав, где жили выносливые казаки-поселенцы. Как только в 1770-х Потёмкин пришел к власти, он пересмотрел планы защиты Кавказа и решил отодвинуть пограничные заставы со старой Царицынской линии до новой линии Азов – Моздок.

Князь уже мыслил не только категориями оружия и сторожевых башен. Он писал, что линия «подает способ учредить виноградные, шелковые и бумажные заводы, размножить скотоводство; табуны, сады и хлебопашество. Она соединит Азовскую губернию с Астраханскою и во время войны… может удерживать стремлении их на наши земли» [31]. Новую линию начали укреплять летом 1777 года со строительства нескольких фортов в Екатериноградe, Георгиевске и Ставрополе. Кабардинцы, черкесы и ногайцы бунтовали, их бунты подавлялись. В 1780 году Потёмкин переселил первых гражданских жителей – часто это

были государственные крестьяне из внутренних губерний – в города, которым предстояло стать крупными провинциальными центрами[71]. Когда в 1782-м укрепления были почти готовы, императрица постановила, что Потёмкин должен обладать правом единоличного надзора за распределением земель в этих областях [32]. Князь переселил казаков вверх по линии из станиц на Волге. В 1784 году он основал крепость Владикавказ, названную так, чтобы бросить вызов горцам.

Георгиевский мирный договор 1783 года, подписанный с царем Ираклием, способствовал расширению российских границ, которые теперь перешли через Кавказ и добрались до Тифлиса. К этому времени проекты и территории Потёмкина были так обширны, что он рекомендовал императрице создать специальное Кавказское наместничество, в состав которого надлежало включить Кавказскую, Астраханскую и Саратовскую губернии, а руководить ими, разумеется, должен был сам Потёмкин. Наместником был назначен энергичный кузен князя Павел Потёмкин: после создания Военно-Грузинской дороги, шедшей через горы в Тифлис, он привез государственных и монастырских крестьян, чтобы населить новые города. Только в 1786 году из внутренних губерний князю были назначено 30 307 душ, которых надлежало переселить на Кавказ (и в Екатеринослав). Павел Сергеевич оправдал свою фамилию: он сделал Екатериноград столицей своего наместничества и устроил там себе двор в великолепном дворце [33].

Российское продвижение на Кавказе привело к волнениям среди чеченцев, аварцев и других исламских племен: в 1785 году в горах появился загадочный лидер в зеленом плаще, называвший себя Шейх Мансур («победитель») и проповедовавший идеалы суфийского братства Нашбанди. Он объявил *газават* – священную войну против русских. Неизвестно, кем он был на самом деле, – вероятно, чеченским пастухом по имени Ушурма, родившимся около 1748 года. Другие источники называли его сыном итальянского нотариуса из Монтеферрата, чье настоящее имя было Джованно Баттиста Боэтти: он сбежал из дома, чтобы стать доминиканским миссионером, затем перешел в мусульманскую веру, изучал Коран в бухарских медресе и стал воином ислама. Некоторые русские не верили в то, что он вообще существовал, и говорили, что это просто символ в зеленом плаще.[72] Со своими горцами, предшественниками тех мюридов, которые под руководством Шамиля будут сражаться против русских в девятнадцатом веке, он сумел уничтожить колонну российских войск численностью шестьсот человек, но все же терпел поражения чаще, чем побеждал. Тем не менее отвага, с которой

он командовал своими горцами, сделала его легендой.

Войну против Шейха Мансура возглавлял Павел Потёмкин из Екатериноградa, но архивы светлейшего князя подтверждают, что верховное командование военными действиями принадлежало именно ему и именно он держал Кавказский и Кубанский корпуса в постоянном движении. Перед возобновлением русско-турецкой войны в 1787 году побежденный Мансур бежал на османскую территорию, чтобы собрать там войско черкесов. Когда разразилась война, он опять был готов сражаться [34]. России так и не удалось навсегда утихомирить партизан, и так называемые мюридские войны продолжались всё следующее столетие. Не прекратились они и до сих пор.

Светлейший князь строил свои дворцы по всему югу, и дворцы эти были под стать наместнику, если не царю. У него был «большой дом» в Кременчуге, который посещали леди Крейвен и Франсиско де Миранда [35]; огромный дворец в Херсоне[73] с двумя двухэтажными крыльями и центральным четырехэтажным портиком, который стал центром нового города. Известность приобрёл его «афинский» Екатеринославский дворец[74], спроектированный Иваном Старовым; у него были два крыла, расходившиеся на сто двадцать метров от портика с шестью колоннами, к которому вели две каменные лестницы. Садовник Потёмкина Уильям Гульд приехал на юг вслед за Старовым и сотнями его рабочих. Он разбил в Екатеринославе английский сад и поставил две оранжереи вокруг Потёмкинского дворца, которые, как он писал князю, подчеркивали «сочетание изящества и практичности» [36].

Как ни странно, Потёмкин не выстроил для себя в Крыму резиденции такого же масштаба, однако Старов создал для него в Карасубазаре дворец из розового мрамора, ныне исчезнувший [37]. Последний дворец был построен в Николаеве[75]. Его возвели в те годы, когда Потёмкин, превращавшийся в османского султана, заказал местным архитекторам здание в молдавско-турецком стиле – собор с четырьмя башнями-минаретами, как у мечети. Он стоял на живописном утесе над слиянием двух рек, в солнечном, но прохладном месте. Построенное на берегу реки Ингул здание спереди двухэтажное, но сзади у него только один этаж. В последние месяцы жизни Потёмкин приказал Старову добавить баню и фонтан «как в Царском Селе» [38]. Эта работа стала последней, которую Старов выполнил для светлейшего князя[76].

Сам князь верил, что юг – это дело всей его жизни. В свои последние дни в Петербурге в июне 1791 года он произнес перед

молчаливым английским посланником Уильямом Фокенером пламенную речь, показывавшую, что его энтузиазм не угас. Потёмкин продемонстрировал те самые возбуждение, энергию, воображение и напор, которые делали его отличным государственным деятелем. Он должен был вернуться на юг, чтобы продолжить свои великие проекты, успех которых, по его словам, зависел только от него. Там стоял флот, который он построил чуть ли не собственными руками, а население со времени назначения его губернатором «увеличилось с восьмидесяти тысяч до четырехсот тысяч солдат, а в целом составляет почти миллион…» [39].

Когда ложь еще не перевесила правду, французский посланник Сегюр, который отправлял в Версаль отчеты о невероятных достижениях Потёмкина, восклицал: «Когда он взял в свои руки бразды правления этим краем, здесь насчитывалось лишь двести четыре тысячи жителей, а под его управлением население всего за три года достигло восьмисот тысяч! Это греческие колонисты, немцы, поляки, отставные солдаты и матросы».

Потёмкин увеличил мужское население Крыма с 52 000 в 1782 году до 130 000 в 1795 году. В остальной Новороссии за тот же период мужское население выросло с 339 000 до 554 000, что означало, что Потёмкин сумел почти что удвоить население наместничества с 391 000 до 684 000 всего за десять лет. Другой авторитетный историк пишет, что мужское население выросло с 724 678 человек в 1787 году до 819 731 в 1793 году. Какими бы ни были реальные показатели, это в любом случае выдающееся достижение. «До того, как в девятнадцатом веке изобретение парохода и паровоза позволило начать коммерческое освоение… таких отдаленных районов, как центральная часть американского запада, – пишет современный исследователь, – эта российская экспансия была непревзойденной по масштабу и скорости» [40].

Потёмкин основал в буквальном смысле сотни мелких поселений («Один француз, – пишет Сегюр, – каждый год сообщал мне, что обнаруживает новые процветающие деревни там, где прежде была пустыня» [41]) – и несколько крупных. Большинство из них процветают до сих пор: в Херсоне 355 000 жителей, в Николаеве – 1 200 000, в Екатеринославе (ныне Днепропетровск) – 600 000, в Севастополе – 375 000, в Симферополе – 358 000, в Ставрополе – 350 000, во Владикавказе (столица Северной Осетии) – 300 000, в Одессе – 1 100 000. Почти во всех этих городах до сих пор работают судостроительные верфи и военно-морские базы.

Создание менее чем за десять лет Черноморского флота

России и гребной флотилии стало невероятным достижением, последствия которого эхом отзывались не только во время Крымской войны, но и позднее. Создание флота и невероятное сельскохозяйственное развитие степей продолжают оказывать влияние на жизнь этих земель и по сей день. Россия впервые стала великой державой. «Поистине гигантское свершение, – пишет современный историк, – сделало Россию арбитром Восточной Европы и дало ей шанс затмить Австрию и Османскую империю» [42]. Любовь Потёмкина к югу не объясняется только лишь жаждой власти – в его отношении много романтизма. Иногда Потёмкин сочинял стихи. Вот что он написал императрице об основании Екатеринослава:

> Из мертвых зданий разбросанные камни
> Последуя твоему божественному гласу
> В приятный легкий строй
> Составят вновь Афины [43].

20. Англомания: Бентамы в России и император цветущих парков

Моему роману подошёл конец…
Я вынужден покинуть Петербург…
Большая удача, что князь Потёмкин предложил мне хорошее место…

Сэмюэль Бентам – брату, Иеремии Бентаму

Одиннадцатого декабря 1783 года князь Потёмкин вызвал в свои петербургские апартаменты молодого англичанина по имени Сэмюэль Бентам и предложил ему возможность сделать блестящую карьеру. За страстным романом Бентама, который разбил его сердце, следило всё тогдашнее общество, словно за сюжетом мыльной оперы. Потёмкинское предложение обещало не только самую увлекательную жизнь между войной и миром, какая только могла выпасть на долю англичанина в России, но и участие в комическом балагане: ему предстояло присоединиться к разношёрстной компании ремесленников из Уэльса и Ньюкасла, поселившихся в белорусском имении, и вместе с ними работать над созданием потёмкинской промышленной империи. Из рассказов Сэмюэля Бентама, к которому вскоре присоединился и его брат-философ Иеремия, мы узнаём не только о безумном размахе деятельности Потёмкина, но и том, что он использовал собственные поместья в качестве складов и торговых площадок для нужд государства, не проводя границы между собственными средствами и государственной казной.

Сэмюэль Бентам был младшим из семи детей, а Иеремия – старшим, и лишь им двоим удалось выжить. Их отец Иеремия-старший, успешный адвокат, пользовался покровительством графа Шелберна, будущего премьер-министра и вига; граф был человеком весьма оригинальным, но лицемерным, и многочисленные недоброжелатели прозвали его «иезуитом с площади Беркли». Бентамы были между собой в тёплых дружеских отношениях, постоянно переписывались и обсуждали российские приключения Сэмюэля. Братья отличались потрясающим интеллектом и энергичностью, а их

изобретательность не знала границ. Однако их характеры были противоположными: Иеремия, уже почти сорокалетний мужчина, – скромный, погружённый в чтение законник; Сэмюэль – разговорчивый, общительный, несдержанный и влюбчивый. Сэмюэль получил инженерное образование, но эта профессия не оказала на его личность существенного влияния – он был человеком энциклопедических знаний, обладал изобретательным умом и предпринимательской жилкой. В некотором смысле ему тоже был свойственен потёмкинский возбуждённый энтузиазм – он всегда «искал лучшего, не удовлетворяясь хорошим… жизнь прошла мимо, и все затеи остались незавершёнными» [1].

В 1780 году, пока Иеремия разрабатывал проект законодательных реформ в Лондоне, двадцатитрёхлетний Сэмюэль отправился на черноморское побережье, где посетил бурно развивавшийся Херсон, а затем в Санкт-Петербург, где познакомился с Потёмкиным. Он мечтал разбогатеть, а Иеремия надеялся с его помощью предложить свои законотворческие инициативы императрице [2]. Светлейший князь с интересом следил за успехами молодого Бентама. Англичанин понял, что если кто-то и может воплотить его идеи в жизнь, то это именно Потёмкин. Князю же могла пригодиться помощь Бентама с днепровскими порогами и с управлением землями, поэтому вскоре после знакомства он предложил англичанину сотрудничество [3]. Однако Бентаму хотелось попутешествовать, поэтому в 1781 году князь отправил его в поездку по Сибири, поручив осмотреть промышленные предприятия, и выделил ему двоих солдат в качестве охраны. По возвращении князь передал его отчёты о шахтах, фабриках и солеварнях [4] императрице.

Потёмкин нуждался в талантливых инженерах, судостроителях, предпринимателях и англичанах, и Сэмюэль удачно сочетал в себе все необходимые качества. В письме брату из Иркутска Сэмюэль похвалялся своим новоприобретённым знакомым – «могущественным человеком» [5]. Воодушевлённый путешественник был убеждён, что они с этим неназванным властелином созданы друг для друга:

«Масштаб деятельности этого человека превышает всё, о чём мне приходилось слышать в Российской империи. Он к тому же занимает высочайшее место при дворе и сказочно богат, поэтому все губернаторы ходят к нему на поклон. Главный объект его забот – Чёрное море. Там он ведает хозяйственными делами, строит корабли для императрицы, снабжает армию и корону всем необходимым, открывает различные мануфактуры и расчищает пороги на Днепре на свои собственные средства. Он с большим

энтузиазмом откликнулся на предложение помощи в его делах перед моим отъездом из Петербурга» [6].

Впрочем, вернувшись, Бентам обратил своё внимание на нечто более привлекательное.

Объектом его страсти стала графиня Софья Матюшкина, хорошенькая племянница и воспитанница фельдмаршала князя Александра Голицына, губернатора Петербурга, который неудачно командовал войсками в русско-турецкой войне, но за давностью лет память об этих событиях стёрлась и уступила место уважению к старческим сединам. Сэмюэль и Софья были почти ровесниками, они познакомились в салоне фельдмаршала, влюбились друг в друга и стали встречаться дважды в неделю. Их страсть подпитывалась романтической таинственностью, без которой было не обойтись: старик Голицын не одобрял этих отношений, к тому же придворные принялись совать нос не в свои дела. Фельдмаршал был против любых ухаживаний, не говоря уже о свадьбе между своей воспитанницей и этим английским авантюристом. Однако императрица, которая сама отличалась озорством и влюбчивостью, дала понять придворным, что эта история её чрезвычайно занимает.

Неуёмное воображение Сэмюэля вышло из-под контроля. «Если тебе есть что сказать мне за или против матримониальных уз, то сделай это», – писал он Иеремии. Молодой человек полюбил эту девушку – а также, по-видимому, её положение в обществе, поскольку дальше он обезоруживающе сообщает: «Она – наследница двух Богатых Людей». Сэмюэль решил, что раз его роман – новая, но уже хорошо известная в России разновидность *curriculum vitae* [резюме *(лат.)*. – *прим. перев.*], вызвал всеобщий интерес, то он постарается использовать эту известность, чтобы испросить у императрицы какую-нибудь должность: «Я полностью убеждён, что, желая помочь моему союзу, Её Величество настроена ко мне весьма благодушно… она уверена, что именно моя любовь заставила меня предложить ей свои услуги». Он также писал фельдмаршалу Голицыну: «Я люблю вашу племянницу уже более пяти месяцев». Наверняка это ещё больше рассердило фельдмаршала, который запретил влюблённым видеться.

Придворные наслаждались историей этой запретной любви не меньше, чем императрица, – и даже Потёмкин, занятый аннексией Крыма, был в курсе всех новостей. Это было чрезвычайно удачное время для англичанина в Петербурге – Сэмюэль вёл бурную светскую жизнь, купаясь во внимании богачей и графинь. В столице было немало англичан, ему покровительствовали сэр Джеймс Харрис и его преемник на посту

британского посла Аллейн Фицгерберт. Единственным недоброжелателем Бентама стал неизменно находившийся при дворе шотландец – доктор Роджерсон, успешный игрок в карты и врач, чья помощь обыкновенно оканчивалась летальным исходом. Роджерсон, вероятно, понимал истинные мотивы Бентама и сказал Екатерине, что не стоит принимать Сэмюэля, поскольку у него сильный дефект речи [7]. Но это не умерило энтузиазма молодого человека. В числе помощников Потёмкина были двое лучших друзей Сэмюэля: сын княгини Дашковой князь Павел Михайлович Дашков и инженер, полковник Корсаков; оба они получили образование в Англии. Русские брали Бентама с собой в салоны всех богатых аристократов, которые принимали у себя иностранцев. Вот описание типичного дня из бурной социальной жизни Сэмюэля: «Завтракал у Фицгерберта, обедал по приглашению у герцогини Кингстон [и после ещё раз посетил её], затем побывал у князя Дашкова и у Потёмкина, но тот оказался в отъезде, а потом поехал к баронессе Строгановой и оттуда на ужин к Дашковым» [8].

Фаворит Екатерины Ланской – вероятно, по её подсказке, – тоже оказал содействие Сэмюэлю, передав тётушке Софии неодобрение императрицы, которая «полагала, что они напрасно чинят препятствия душевным склонностям молодой графини… Это ещё больше разгневало тётушку». Трудно было найти во всём мире (и даже в Италии) город, более подходивший для всевозможных интриг, чем Петербург. Здесь сами придворные задавали эту моду, и легко было нанять за небольшие деньги толпу смышлёных слуг, которые сновали туда-сюда, передавая записки, подслушивая и высматривая тайные знаки в окнах домов. Сэмюэль и София при поддержке друзей развлекались сценами на балконах в духе Ромео и Джульетты и встречались в сумеречных дворцовых садах. Лакеи и извозчики доставляли секретные письма прямо в наманикюренные руки адресатки. Графиня София бросала Сэму из окон благоухающие духами записки [9]. Сэмюэль, одурманенный знатностью особ, которые проявляли к нему участие, поддался заблуждению, общему для многих влюблённых: он возомнил себя центром мира. Ему казалось, что во всех правительствах Европы министры позабыли о войнах и перемириях и были заняты одним только обсуждением его любовных дел.

По этой причине, когда Потёмкин с триумфом вернулся из покорённых Крыма и Грузии, Сэмюэль был уверен, что первым делом светлейший князь поинтересуется его любовной историей. Но князя больше волновали познания англичанина в судостроении, к тому же придворные уже донесли ему, что роман

Бентама обречён. Императрице, возможно, нравилось дразнить Голицыных, но она никогда бы не встала на сторону англичанина против потомков литовского великого князя Гедимина. Поэтому Ланской вновь вмешался, послужив орудием императорской воли: роман пора прекратить.

Шестого декабря павший духом Сэмюэль приехал к Потёмкину, и тот предложил ему поработать на Корсакова в Херсоне. Сэмюэль поначалу отказался, всё ещё надеясь, что роман с графиней Софьей приведёт к женитьбе. Но всё было кончено. Петербург потерял для него свою привлекательность. Сэмюэль принял решение уехать «из деликатности», чтобы не расстраивать страдавшую графиню, и принял предложенную должность. Потёмкин назначил его подполковником с жалованьем 1200 рублей в год и к тому же выделил «гораздо большую сумму столовых денег». У князя были масштабные планы на молодого Сэмюэля: он собирался переместить свои днепровские судостроительные верфи ниже порогов и хотел, чтобы Бентам «под его руководством» решил эту задачу с помощью своих разнообразных механических изобретений.

Удачливый подполковник был совершенно очарован Потёмкиным, как и многие другие иностранцы до него и после. Любопытно, как Бентам объяснял для себя уникальное положение Потёмкина: «под его непосредственным руководством был юг России, но косвенным образом он руководил всей Европой». Чувствительный герой-любовник несколько месяцев спустя превратился в самодовольного потёмкинского протеже: «Я льщу себе тем, что князь обо мне хорошего мнения и склонен мне доверять, и пока дела обстоят таким приятным образом, моё положение нельзя считать неудачным. Он одобряет любое моё предложение». Когда князь был в ком-либо заинтересован, то относился к нему с бóльшим уважением, чем ко всем генералам европейских держав вместе взятых, и теперь этим человеком был Сэмюэль. «Я могу посетить его в любой момент. Когда я захожу к нему, он всегда здоровается со мной и приглашает сесть, хотя орденоносные господа порой приходят к нему по десять раз, так и не получая дозволения сесть, и он даже не удостаивает их взглядом».

Своеобразный потёмкинский стиль руководства озадачивал подполковника Бентама: «Не ведаю, какую работу мне поручат в Херсоне или где-либо ещё… Светлейший князь также упоминал о “поместье на границе Польши”… То он говорит о создании нового порта и верфи ниже порогов, то предлагает строить ветряные мельницы в Крыму. Пройдёт месяц, и мне, возможно, поручат гусарский полк и отправят воевать против… китайцев, а затем

велят командовать кораблём с сотней пушек». В итоге ему пришлось заниматься почти всем перечисленным. Работая на Потёмкина, он едва ли мог пожаловаться на скуку. А вот о своём ближайшем будущем он не мог сообщить своему брату решительно ничего.

Десятого марта 1784 года князь неожиданно покинул Петербург и уехал на юг, препоручив Бентама полковнику Попову, главе канцелярии [10]. В полночь в среду, тринадцатого марта, Бентам отправился вслед за ним в обозе из семи кибиток. Во время этого путешествия Сэмюэль вёл дневник. В субботу он прибыл в Москву и встретился с Потёмкиным. Когда субботним утром Бентам предстал перед ним в своём неизменном сюртуке, светлейший князь позвал своего незаменимого Попова и велел записать молодого человека в армию – в кавалерию или пехоту, как ему будет угодно (тот выбрал пехоту), – и выдать ему мундир подполковника [11]. С тех пор Бентам всегда был облачён в зелёный мундир с красными лацканами, красный жилет с золотой тесьмой и белые брюки [12].

Сопровождать князя в долгом путешествии по его империи было особой привилегией, которую редко даровали иностранцам – ведь Потёмкин допускал в свой круг лишь тех, с кем ему было приятно проводить время. Полгода Сэмюэль колесил по России и «неизменно в одной карете» с Потёмкиным: «Поскольку я не склонен поддаваться утомлению, весеннее путешествие с князем было для меня во всех отношениях приятным… Давно мне не приходилось так весело проводить время» [13]. Они отправились на юг через Бородино, Вязьму и Смоленск, а также потёмкинские имения в Орше в верховьях Днепра, заметив, что на кожевенной фабрике Потёмкина уже трудятся двое выходцев из Ньюкасла. Затем они поехали в Кременчуг, откуда Потёмкин руководил своими южными владениями. Вероятно, Бентам находился подле князя, когда тот торжественно открывал Екатеринославское наместничество. В начале июня они прибыли в Крым, где, должно быть, вместе посетили новую военно-морскую базу в Севастополе. В дороге подполковник Бентам имел возможность воочию узреть, как Потёмкин управлял своей империей из стремительно несущихся саней, оставляя позади тысячи вёрст пути и ледяные брызги из-под полозьев.

В какой-то момент на заседании этого передвижного правительства в лошадиной упряжке князь решил, что подполковнику Бентаму не следует оставаться в Херсоне. В июле Бентам прибыл на свой новый пост в Кричеве. Просторное имение Потёмкина «на границе Польши» представляло собой совершенно

особый мир [14].

Бентам был назначен единственным управляющим имения, которое оказалось «больше, чем любое английское графство» и многие немецкие княжества: Кричев занимал более ста квадратных миль, а рядом с ним располагалось ещё одно потёмкинское имение, Дубровно, которое было и того больше. В Кричеве находилось пять посёлков и 145 деревень, где жили 14 000 мужчин-крепостных. По словам Сэмюэля, в Кричеве и Дубровне проживало «более 40 000 крепостных мужского пола», следовательно, всё население этих земель было как минимум вдвое больше [15].

Кричев и Дубровно – территории не только огромные, но и стратегически важные. Когда при первом разделе Польши в 1772 году Россия аннексировала эти польские земли, Екатерина получила доступ к верховьям двух рек – крупнейших торговых путей Европы: правому (северному) берегу Двины, которая через Ригу впадала в Балтийское море, и левому (восточному) берегу Днепра, на котором Потёмкин построил многие свои города. Когда в 1776 году Екатерина пожаловала Потёмкину земли, он, вероятно, испросил себе те имения, которые обеспечивали доступ к обеим рекам и могли стать центрами балтийской и черноморской торговли. Они идеально подходили для постройки небольших судов, поскольку тянулись вдоль северного берега Днепра на протяжении пятидесяти миль.

Потёмкин уже обладал целой промышленной империей; самым известным изделием его производства были лучшие во всей России зеркала – это свидетельствует о настоящем буме на зеркала, развернувшемся в то время, что в прямом смысле слова отражает новообретённый человеком XVIII века интерес к самому себе[77]. Что же до Кричева [16], то Бентам обнаружил там коньячный, кожевенный и медеплавильный заводы, текстильную фабрику со станками для изготовления парусины, канатное производство с двадцатью колёсами, снабжавшее херсонские верфи, множество теплиц, гончарные мастерские, собственную верфь и ещё одну фабрику по производству зеркал. Кричев стал продолжением Херсона. «Поместье… с избытком поставляет продукцию во все основные морские склады вниз по реке… по которой суда с лёгкостью добираются до Чёрного моря» [17]. Торговля шла в обоих направлениях: излишки канатов и парусины продавались в Константинополь и в то же время всевозможные товары активно импортировались и экспортировались в Риге. Это был громадный склад для всей империи Потёмкина, его промышленная и торговая штаб-квартира, его судостроительная верфь на суше и основной

источник снабжения для новых городов и Черноморского флота.

Кричев не имел ничего общего ни с петербургскими салонами, ни с конторами в юридическом обществе Lincoln's Inn, и на приезжих англичан, которых пригласил Бентам, поместье наверняка произвело шокирующее впечатление. Бентам поселился в так называемом «доме Потёмкина», который на самом деле оказался «ветхим сараем» [18]. Деятельные и высокомерные англичане очутились на одном из перекрёстков Европы: здесь встречались друг с другом не только речные торговые пути, но и всевозможные культуры. «Пейзаж здесь приятный и живописный, люди… спокойны и терпеливы до крайности… есть и работящие, и ленивые пьяницы». Сорок обнищавших польских дворян работали на государство «почти как рабы». Здесь смешалось множество народностей и языков.

Недавно прибывшим ремесленникам из Ньюкасла, которые никогда раньше не покидали своей родины, всё это, должно быть, казалось весьма странным и подозрительным. «Разнородность здешнего общества изумляет», – признавался ньюкаслский критикан по имени Бити. По соседству жили русские, немцы, донские казаки, польские евреи и англичане. Поначалу Бити «счёл их говоры самыми странными звуками, какие только доносились до моих английских ушей». Евреи, у которых «мы покупали всё необходимое для жизни», говорили на немецком и идише [19]. «В ярмарочный день, когда перед моим взором беспорядочно мельтешили все эти лица и платья, я не раз, остановившись, задумывался, как же меня угораздило среди них очутиться», – рассуждал Бити [20].

Не менее разнообразными были и обязанности Бентама по отношению ко всем этим людям: в первую очередь он был для них «законодателем, судьёй, собранием присяжных и шерифом». Также ему приходилось «приводить в порядок и управлять всеми здешними фабриками князя». Фабрики находились в прискорбном состоянии [21], и Бентам предложил заняться ими. «Всячески поддерживаю, – ответил Потёмкин из Царского Села и добавил: – Покорён вашим деятельным участием и готовностью взять на себя эту ответственность – чем вы меня премного обяжете» [22].

Князь был постоянно озабочен усовершенствованием своих городов и военных кораблей. Его письмо Бентаму опровергает обвинения в том, что он пренебрегал мелочами или не доводил свои проекты до конца; он отдельно пишет о проблемах с канатным производством: «Мне докладывают, что канатная фабрика… едва ли пригодна к работе» [23]. Он просил Бентама навести на фабрике порядок и отправил к нему специалиста из

Кронштадта. Когда друг Сэмюэля Корсаков и мореход Мордвинов, ближайшие помощники Потёмкина, посетили Бентама по пути в Херсон, англичанин доложил князю, что снабдил их всем необходимым для судостроения [24]. Через два года Сэмюэлю удалось так успешно наладить работу на своих производствах, что он предложил князю сделку: он возьмёт себе самые неблагополучные заводы на десятилетний срок, а Потёмкину останутся самые процветающие. На расходы по поддержанию зданий и закупку материалов он запросил 20 000 рублей (около 5000 фунтов стерлингов), которые обязался постепенно выплачивать. Сделка была заключена в январе 1786 года, и по её условиям Потёмкин согласился оставить Бентаму всю прибыль с предприятий за эти десять лет – он лишь надеялся в итоге получить обратно свои фабрики способными приносить доход. Его интересовала не прибыль, а польза для империи [25].

В качестве одной из мер Бентам предложил импортировать картофель и сажать его в Кричеве; Потёмкин согласился. В 1787 году работники засеяли первые двенадцать акров земли, и «весьма довольный» Потёмкин отныне стал выращивать картофель в своих имениях. Согласно некоторым историкам, именно Потёмкин и Бентам завезли этот овощ в Россию, однако это не так: Екатерина начала закупать картофель ещё в 1760-е годы, но князь в самом деле первым начал его культивировать, и возможно, именно благодаря ему блюда из картофеля стали одной из главных составляющих русской кухни [26].

Основной задачей Бентама была постройка разнообразных кораблей для Потёмкина. «Мне позволено самому выбрать, какое судно соорудить… военное, торговое или прогулочное». Для нужд флота князю требовались вооружённые суда, для императрицы – прогулочный фрегат, для днепровской торговли – баржи, а также роскошные корабли для готовившегося путешествия Екатерины по южным землям. Это был невероятно масштабный заказ. Бентам упоминает один замечательный эпизод, демонстрирующий нам характерное потёмкинское раздражение. Как-то раз Сэмюэль попытался добиться от Потёмкина решения по поводу конструкции кораблей: сколько же мачт и пушек желает князь? «Чтобы положить конец этому спору, он сказал, что если мне так угодно, то можно установить хоть двадцать мачт и одну пушку. Я несколько растерялся…» [27]. Любой изобретатель мог только мечтать о таком работодателе – невзыскательном и способном свести этой невзыскательностью с ума.

Вскоре Сэмюэль понял, что без помощи ему не обойтись. Для судов нужны были гребцы, будь то крестьяне или солдаты. Проблема решилась без труда: как по мановению волшебной

палочки князь отправил ему батальон мушкетёров. «Поручаю вам командование», – писал ему Потёмкин в сентябре из Петербурга. Светлейший князь постоянно заботился о своём драгоценном флоте: «Моё намерение, сэр, состоит в том, чтобы эти корабли были способны плавать по морю, потому прошу вас… оснастить их соответственно» [28]. Бентам не имел ни малейшего представления о том, как командовать солдатами, и не говорил по-русски, поэтому, когда на смотре майор спросил, какие будут распоряжения, Сэмюэль ответил: «Как и вчера». – «А как провести манёвр?» – «Как обычно» [29]. Писать и тем более чертить умели лишь два сержанта, а кроме них ещё два кожевнника из Ньюкасла, находившихся в Орше, молодой математик из Страсбурга, датчанин-меднолитейщик и шотландец-часовщик [30]. Сэмюэль атаковал Потёмкина просьбами прислать ему ремесленников: «Найти талантливых людей оказалось делом нелёгким» [31], – жалуется он в одном из писем. Князь ответил, что Сэмюэль может нанять работников на любых условиях, какие сочтёт нужными.

Неуёмная англомания Потёмкина в этот раз породила одну из самых масштабных вербовочных кампаний, целью которой было привлечь британских специалистов в дальние края. В те времена англомания правила Европой [32]. В Париже мужчины щеголяли «виндзорскими воротниками» и прямыми сюртуками, а дамы пили шотландский виски, за чаем делали ставки на скачках и играли в вист[78]. Потёмкин не вдавался в детали, но был уверен, что ему требуются только англичане – для того, чтобы стоять за ткацкими станками в Кричеве, растить сады, варить сыры, возводить ветряные мельницы и верфи по всей его империи. Бентамы поместили объявления в английских газетах. Эти объявления соответствовали причудливым запросам Потёмкина. «Князь желает познакомить народ с пивом» – говорилось в одном из них. Или: «намерен построить прекрасную молочную фабрику» с «наилучшим маслом и сколь возможно большим числом сортов сыра». Вскоре появились обращения ко всем британцам: «Всякий талантливый человек, способный предложить князю меры по улучшению его производств, будет принят со всем радушием» – гласило одно из британских объявлений Бентама. Наконец Потёмкин объявил Сэмюэлю, что желает создать «целую английскую колонию» со своей церковью и льготными условиями [33]. Англомания Потёмкина распространялась, разумеется, и на его подчинённых. Местные землевладельцы хотели, чтобы их крестьяне обучались мастерству на английский манер, поэтому Дашков отправил своих крепостных изучать британское плотницкое дело [34].

После того как будущий потёмкинский адмирал Мордвинов женился на Генриетте Кобли, Николай Корсаков признался Сэмюэлю, что тоже «чрезвычайно хотел бы найти себе супругу-англичанку» [35]. Садовников, моряков и ремесленников с туманного Альбиона русским было недостаточно – им хотелось обзавестись и жёнами.

Бюджет Бентама был безграничен. Когда он попросил светлейшего князя оговорить условия кредита, «то не смог добиться от него иного ответа, кроме: «какие сочтёте нужными». Банкир Потёмкина Сутерланд просто взял кредит в Лондоне [36]. Сэмюэль Бентам сразу понял, какие невероятные возможности открываются перед ним и его братом Иеремией – можно заняться как британско-русской торговлей, так и посредничеством в потёмкинской вербовочной кампании. Спустя несколько недель после публикации первых объявлений Сэмюэль стал отправлять Иеремии списки с дюжиной позиций в каждом: в одном из них, например, значились слесарь, специалист по ветряным мельницам, ткач-суконщик, строители барж или лодок, обувных дел мастера, каменщики, моряки, домашние работницы и «две служанки, одна знающая толк в сыроварении, а вторая в прядении и шитье» [37].

Отец и сын Иеремия-старший и Иеремия-младший с энтузиазмом принялись рыскать по всей Британии. Старик Иеремия превзошёл сам себя: он посетил лорда Хау в Адмиралтействе, а затем пригласил к себе обсудить этот визит заместителя государственного секретаря Фрезера и недавно вернувшихся из России сэра Джеймса Харриса и Реджинальда Пола Кэрью. Он даже привлёк к делу бывшего премьер-министра Шелберна, теперь первого маркиза Лансдауна [38], «с тем чтобы доставить кораблестроителей в помощь моему сыну». Маркиз счёл Потёмкина интересным, но не заслуживающим доверия человеком, и его слова о братьях Бентамах явно имели второе дно. «Ваши сыновья слишком свободомыслящие люди, чтобы поддаться влиянию этих меркантильных идей, а вашему Сэму следует употребить свой ум на разработку новых изобретений, а не на подсчёты процентов, которые, пожалуй, способен выполнить даже самый заурядный русский человек… – писал Лансдаун из города Уэймут двадцать первого августа 1786 года. – Он проводит свои лучшие годы в нестабильном государстве и полагается на непостоянных людей» [39].

Вскоре весь этот безумный проект начал приобретать абсурдность комедии положений XVIII века, в которой группа философов, моряков, жуликов, проституток и простых работяг, не говоривших ни одном языке, кроме родного, была заброшена в

многоязычную белорусскую деревню, принадлежавшую часто отсутствовавшему, но импульсивному Потёмкину. У каждого из этих персонажей в итоге окажутся совершенно иные намерения, отличные от обязанностей, которые назначили ему Бентамы.

Иеремию-младшего обуяла графомания, подобная екатерининской: он беспрестанно, углубляясь в ненужные детали, писал Сэмюэлю о кандидатах на все многочисленные должности от доярки до управляющего ботаническими садами: «При всём моём уважении к ботаникам я полагаю, что найти образованного человека не составит никакого труда», и далее в письме он рассуждает о расходах на «женщину, осведомлённую в молочном хозяйстве». Наконец Иеремия нанял некоего Логана Хендерсона руководить обустройством ботанического сада. Разумеется, такие авантюрные предложения привлекали весьма ненадёжных типов: к примеру, шотландец Хендерсон утверждал, что является специалистом по садоводству, паровым двигателям, выращиванию сахарной свёклы и фосфорным фейерверкам. Он поставил свою подпись и пообещал привезти с собой двух своих племянниц-молочниц по фамилии Кёртленд. На должность химика-исследователя подписался доктор Джон Деброу, бывший аптекарь Эдденбрукского госпиталя в Кембридже и легендарный автор выдающегося труда «Определение пола у пчёл» (только что опубликованного и получившего противоречивые отзывы). Вышеупомянутые граждане, а также садовники, слесари и авантюристы, главным образом уроженцы Ньюкасла и Шотландии, отправились в путь: первая партия экспертов прибыла в Ригу в июне 1785 года.

Иеремия Бентам мечтал приехать к Сэмюэлю в Белоруссию: его привлекали не только меркантильные выгоды, но и спокойные условия для работы над его трактатами, а также возможность убедить Потёмкина применить на практике утилитаристские идеи. (В рамках его теории утилитаризма успех правителя заключался в способности обеспечивать как можно более счастливую жизнь для как можно большего числа людей.) Имение Потёмкина казалось воплощением мечты любого философа. Иеремия решил отправиться в путь вместе с очередной группой англичан. К тому времени, как он покинул родину, Сэмюэлю уже успели до крайности надоесть нелепые письма брата. Их отношения совсем испортились, когда философ принялся писать напрямую самому Потёмкину, предлагать свои донкихотские идеи и рассказывать о садовниках и химиках: в потёмкинских архивах сохранилось множество неопубликованных трудов Иеремии Бентама. Они представляют огромный интерес и для историков, и для желающих от души посмеяться; автор этих

текстов пишет как типичный «безумный профессор».

В одном из писем Иеремия сообщает, что намерен приобрести судно для транспортировки потёмкинских ремесленников и назвать его «Князь Потёмкин». Затем он переходит к делу: «Ваша Светлость, для вас найден ботаник. Найдена и молочница. Графство Чешир славится своим молоком и сырами…» Мадемуазель Кёртленд, не только молочница, но и отличный химик, сподвигла Бентама на следующее высказывание о феминизме: «Образованные женщины, усваивая черты сильного пола, столь часто утрачивают совершенства, присущие слабому полу… Но мадемуазель Кёртланд – исключение». Философ в самом деле хотел продать Потёмкину «огненную машину» или, что ещё лучше, новейший паровой двигатель Ватта и Болтона, объясняя, что эти механизмы «приходят в движение благодаря силе воды, превращённой в пар при кипячении. Из всех механизмов современности… *machine de feu* [огненная машина (*фр.*). – *Прим. перев.*] обладает самым простым устройством». Однако машина Ватта и Болтона была, наоборот, самой сложной и дорогостоящей. «Если князю не угодно приобрести паровой двигатель, то как насчёт того, чтобы привезти в Крым печатный станок с помощью мистера Титлера? Что же будет печатать этот станок? К примеру, «Проект свода правовых норм» авторства И. Бентама». Словно оправдываясь, Иеремия подписался в конце письма: «В четвёртый раз, Ваш Вечный Корреспондент» [40].

Сэмюэля охватила паника. Светлейший князь не терпел длинных писем и хотел результатов. Полковник Бентам опасался, что «Вечный Корреспондент» разрушит его карьеру, и сделал своему неуклюжему брату выговор. Бесконечные подробности, должно быть, «докучали» князю, и он, вероятно, «не желал ничего слышать, пока не привезут переселенцев». Сэмюэль беспокоился, потому что князь не отвечал на эти письма: «Я подозреваю наихудшее… Боюсь, что причина тому в твоём чрезмерном усердии» [41]. Но наконец философ получил учтивый ответ от князя через русское посольство в Лондоне. «Сэр, – писал князь Иеремии, – я весьма признателен вам за все усилия, которые вы приложили к исполнению… моих просьб. Нехватка времени не позволила мне ответить вам раньше… но теперь я прошу вас поручить мистеру Хендерсону сопровождать найденных вами людей…» Князю необходимо было на что-то отвлечься, и длинные, но замечательные письма Иеремии Бентама подошли для этого как нельзя лучше: он сообщил, что получил от них большое удовольствие и поручил перевести их на русский [42].

Особой гордостью Иеремии было то, что ему удалось нанять для кричевского хозяйства мастера садово-паркового искусства по

имени Джон Эйтон, потому что, похвалялся он отцу, «наш садовник – племянник королевского садовника в Кью» [43]. В те времена среди садовников тоже были свои аристократы. Впрочем, лучшим садовником князя оказался не Эйтон. Потёмкинский гений садоводства Уильям Гульд уже приехал в Россию в 1780 году, почти одновременно с Сэмюэлем Бентамом. Он был протеже лучшего мастера английского садово-паркового искусства Ланселота Брауна по прозвищу «умелый Браун». В 1770-е годы Екатерина и Потёмкин стали преданными поклонниками английских парков. Самым ярким проявлением потёмкинской англомании была его склонность разбивать английские парки в любом месте, где бы он ни оказался.

Естественный, живописный и при этом тщательно спланированный хаос английского парка с его ландшафтной архитектурой, озёрами, гротами и руинами постепенно вытеснял аккуратные и строгие французские парки. Парковая мода следовала за политической судьбой государств: на то время, когда в Европе властвовал Людовик XIV, пришёлся и повсеместный расцвет французских парков. Когда же положение Франции ухудшилось, а Британия завоевала её колонии, английские парки обрели огромную популярность. «Я без ума от английских садов, – писала Екатерина Вольтеру, – с их изогнутыми линиями, *pente-douces* [здесь: пологими склонами (*фр.*). – *Прим. перев.*], прудами, напоминающими озёра (архипелагами на суше); и мне претят строгие прямые линии и неотличимые друг от друга *allées* [аллеи (*фр.*). – *Прим. перев.*]… Словом, англомания мне ближе, нежели “плантомания”» [44].

Императрица занялась своим новым хобби со свойственной ей взвешенной практичностью, а Потёмкин окунулся в него со всей своей чрезмерной целеустремлённостью. В 1779 году императрица наняла Джона Буша и его сына Джозефа для создания парка в Царском Селе. Для остальных имений она подыскала других талантливых англичан с «садовыми» фамилиями – Спэрроу («воробей») и Хэкетт («топорик»). Из-за своей любви ко всему английскому Потёмкин определённо относился к садовнику-англичанину так же, как к русскому аристократу: его уважение к этим повелителям цветов было так велико, что он запросто обедал у Бушей с двумя своими племянницами, графом Скавронским, супругом одной из них, и тремя послами. Этот социальный казус стал причиной беспокойства другой гостьи из Англии, баронессы Димсдейл, которая должна была бы придерживаться более демократичных взглядов [45]. Она записала, что Потёмкин пришёл в восторг от «отличного обеда в английских традициях» у Бушей и попробовал

каждое блюдо. (Светлейший князь так любил английские кушанья, что, угостившись ростбифом на обеде у банкира Сутерланда, попросил завернуть с собой остатки.) Вскоре нужда Потёмкина в садовниках настолько усилилась, что он выписал из Англии Эйтона и одолжил у Екатерины Спэрроу [46].

Никто из этих садовников не мог похвастаться такой известностью, как потёмкинский Гульд. Его имя до сих пор помнят в дальних уголках России и Украины: в 1998 году автор этой книги слышал о нём в весьма далёких друг от друга городах – Петербурге и Днепропетровске. Гульду чрезвычайно повезло, что его нанял на работу человек, который в «Энциклопедии садоводства» (1822) назван «одним из самых выдающихся покровителей нашего искусства в нынешние времена». Но и для Потёмкина было большой удачей встретить своё садово-парковое *alter ego* [второе «я» (*лат.*). – *Прим. перев.*] – одарённого и амбициозного создателя обширных английских парков по всей Российской империи, которые потрясали воображение своим размахом.

Гульд нанял себе в помощь «несколько сотен работников», путешествовавших вместе с Потёмкиным [47]. Он спланировал и разбил парки в Астрахани, Екатеринославе, Николаеве и в Крыму, в том числе в имениях, расположенных на плодородных крымских побережьях, – в Артеке, Массандре и рядом с Воронцовским дворцом в Алупке[79]. Местные знатоки до сих пор произносят его имя с почтением, хотя прошло уже два столетия с тех пор, как он в последний раз взял в руки мотыгу [48]. Как-то раз неподалёку от Полтавы Потёмкин обнаружил руины одного из замков Карла XII. Он не только отремонтировал замок, но и велел Гульду окружить его английскими садами.

Гульд обладал уникальной способностью разбить английский парк едва ли не за одну ночь, прямо на месте очередной остановки Потёмкина. «Энциклопедия садоводства», ссылаясь на одного из помощников Гульда по фамилии Колл, сообщает, что где бы Потёмкин ни останавливался, он строил путевой дворец, а Гульд создавал английский парк «с кустарниками и деревьями, разделённый дорожками из гравия и украшенный скамейками и статуями – весь этот декор Гульд перевозил с собой». Многие историки сочли легендами эти рассказы о мгновенно возникавших потёмкинских парках: кажется невозможным, чтобы за Гульдом в самом деле следовал целый караван с дубовыми деревьями, альпийскими горками и кустарниками. Но иногда легенды совпадают с реальностью: в петербургском Государственном архиве, где хранятся бумаги Потёмкина, есть свидетельства о том, что Гульд проезжал вместе с Потёмкиным те

места, где, как нам известно из других источников, парки были действительно разбиты за считаные дни. Потёмкин был чем-то схож с Гарун-ар-Рашидом. Как выразилась Элизабет Виже-Лебрен, он «напоминал волшебника из сказок «Тысяча и одной ночи»[80].

Отныне Гульд колесил по России, работая рука об руку с Потёмкиным. Он стал «русским умелым Брауном», но, предупреждает нас «Энциклопедия садоводства», «получив должность главного императорского садовника, иностранец становится таким же деспотом, как его господин». Похоже, здесь говорит профессиональная зависть садовников к своему коллеге, который смог заполучить престол царя кустарников, Потёмкинских садов и парков [49].

Англомания Потёмкина определяла и его вкус в живописи. Он коллекционировал картины и гравюры, и в его собрании якобы имелись работы Тициана, Ван Дейка, Пуссена, Рафаэля и да Винчи. В качестве дилеров выступали купцы и русские посланники: «Мне пока не удалось найти пейзаж, который вы заказали, мой князь, но я надеюсь вскоре отыскать его» [50], – пишет русский посол в Дрездене, барочной столице Саксонии.

Благодаря своим британским связям Потёмкин познакомился с сэром Джошуа Рейнольдсом. В 1784 году Харрис вернулся в Лондон и передал Джону Джошуа Проби, лорду Кэрисфорту, рекомендательное письмо к Потёмкину: «податель сего письма – благородный дворянин и пэр Ирландии» [51]. Кэрисфорт прибыл в Петербург и сообщил императрице и Потёмкину, что в их собраниях не хватает полотен английских художников – не желают ли они, скажем, приобрести картины его друга Рейнольдса? Те согласились. Художнику было позволено самому выбрать сюжеты; Потёмкин склонялся к исторической тематике, что было как раз по душе художнику. Четыре года спустя, после многочисленных отсрочек, в Россию прибыли одна картина для императрицы и две для Потёмкина. Когда полотна отправились в путь на борту судна под названием «Дружба», Кэрисфорт и Рейнольдс послали князю письмо на французском. Поблагодарив его за оказанное гостеприимство, Кэрисфорт разъяснил Потёмкину, что на картине для императрицы изображён «юный Геракл, удушающий змею», и добавил: «Излишне было бы напоминать Вашему высочеству, столь безупречно сведущему в античной литературе, что сие произведение написано на сюжет оды Пиндара»[81]. Сам Рейнольдс говорил Потёмкину, что напишет для него такую же картину, но затем передумал и выбрал темой «Целомудрие Сципиона». Кэрисфорт также отправил князю полотно Рейнольдса под названием «Нимфа, чей

пояс развязывает Амур». «Знатоки искусства, – писал Кэрисфорт, – увидя эту картину, сочли её великолепной» [52].

Она в самом деле была великолепна. Обе картины пришлись по нраву Потёмкину. «Нимфа» сегодня носит название «Амур, развязывающий пояс Венеры», и изображает жизнерадостного юного Купидона и сияющую Венеру с обнажённой грудью. «Сципион», идеальный античный герой Потёмкина, который разгромил карфагенян так же, как князь победил турок, на картине противостоит соблазнам похоти и алчности – двум искушениям, против которых Потёмкин был бессилен [53]. Ни Екатерина, ни Потёмкин не спешили платить за картины. За «Нимфу» Рейнольдс выставил Кэрисфорту счёт в £105. Екатерина заплатила нужную сумму душеприказчикам художника[82]. Позднее Потёмкин добавил к своей английской коллекции произведения Готфрида Кнеллера и Томаса Джонса.

Светлейший князь также покровительствовал лучшему английскому живописцу в Петербурге – Ричарду Бромптону. Если верить Иеремии Бентаму, этого богемного, безалаберного, но искусного художника Екатерина спасла от долговой тюрьмы. Потёмкин стал почти что агентом Бромптона и даже давал ему советы, за какую цену продавать картины. Он заказал ему написать Браницкую: на великолепном портрете в полный рост, который сегодня находится в Воронцовском дворце в Алупке, прекрасно показаны цветущая красота Сашеньки, её интеллект и высокомерие. Бромптон также создал портрет императрицы, но Потёмкин лично приказал ему переписать её причёску. Потом эту картину приобрёл Иосиф II, но пожалел об этом, заявив, что эта «мазня» была «ужасно написана, и я намерен отослать её обратно» [54]. Бромптон часто писал Потёмкину просительные письма неразборчивым почерком, умоляя о деньгах и государственном покровительстве [55]. Когда он умер, оставив долги на 5000 рублей, Потёмкин пожаловал его вдове тысячу [56].

Увлечённость, с которой Потёмкин и Екатерина вместе собирали свои художественные коллекции, – ещё одна милая черта их отношений. Когда в 1785 году они вдвоём удалились на два часа, дипломаты решили, что началась война, но оказалось, что партнёры безмятежно рассматривали левантийские зарисовки английского путешественника сэра Ричарда Уорсли. Поскольку их вкусы были схожими, неудивительно, что после кончины Потёмкина его коллекция была перенесена в Эрмитаж, где хранилось собрание Екатерины [57].

Тем временем 28 июля 1785 года Иеремия Бентам покинул Брайтон, помня о напутствии Шелберна: «Не принимайте участия в интригах, будь то в пользу Англии или России, даже если это

интрижка с красивой девушкой» [58]. Он встретился с Логаном Хендерсоном и двумя изящными мисс Кёртленд в Париже и отправился дальше через Ниццу и Флоренцию (где в зале Оперного театра видел «несчастного старика» – бывшего «Молодого Претендента» на английский и шотландский престол, Карла Эдуарда Стюарта). Вся эта компания отплыла из Ливорно в Константинополь. Оттуда Хендерсон и две мисс Кёртленд поплыли в Крым, а сам Иеремия поехал сушей. В феврале 1786 года, после многотрудного путешествия в обществе сестры молдавского господаря и двадцати всадников, он прибыл в Кричев [59]. Воссоединение братьев Бентамов стало для них счастливейшим событием: они не виделись пять с половиной лет.

Когда все наконец добрались до места, белорусская деревня стала напоминать Вавилонскую башню, обитатели которой ссорились, выпивали и обменивались жёнами. Как и следовало ожидать, новые переселенцы оказались сборищем оборванцев, и почти все они были обманщиками. Сэмюэль изо всех сил пытался держать под контролем «ньюкаслскую чернь – наёмных рабочих из этого дрянного города» [60].

Иеремия признался Сэмюэлю, что «племянницы» Хендерсона, которые произвели на философа большое впечатление своей женственностью и познаниями, на самом деле были вовсе не молочницами и не родственницами садовника, а, вероятно, его сожительницами. Хендерсон также не оправдал ожиданий. Потёмкин поселил садовника и «племянниц» в татарском доме неподалёку от Карасубазара – сентиментальный князь вспомнил о том, как в августе 1783 года лежал там в лихорадке, и купил здание. Однако вскоре он понял, что Хендерсон – «бесстыжий самозванц», который за всю жизнь «не посадил ни единой травинки, а мамзель (одна из девушек) не сделала ни одной головки сыра» [61].

Ещё один переселенец по фамилии Роубак приехал со своей «*soi-disant* [самопровозглашённой (*фр.*). – *Прим. перев.*] женой», которая оказалась обыкновенной проституткой. Она предлагала «свои услуги каждому ньюкасльцу», надеясь избавиться от мужа-дебошира [62]. Сэмюэль сумел сбыть её князю Дашкову: русские англофилы были признательны даже за любовницу садовника, лишь бы она приехала с родины Шекспира. Сэмюэль заподозрил, что «чрезвычайно склочный» Роубак выкрал в Риге бриллианты, поскольку был «далеко не самым честным человеком». Когда Потёмкин вызвал к себе Сэмюэля, Иеремия остался исполнять его обязанности, что привело к ещё большей распущенности. Доктор Деброу, пчелиный сексолог, тоже приносил сплошные неприятности. Он врывался в кабинет Иеремии и «с видом

человека, только что сбежавшего из сумасшедшего дома», требовал, чтобы его увезли отсюда. Эти воры даже стянули у Сэмюэля деньги, чтобы заплатить свои долги [63]. Старший секретарь Бенсон затеял несколько мятежей против братьев Бентамов и «словно пациент сумасшедшего дома» атаковал Иеремию, который ни разу в жизни прежде с ним не встречался [64]. Но затем «сварливая кухарка-домоправительница», уподобившись «мужчинам-соблазнителям», заманила «старого Бенсона» в свою постель [65]. Слова «сумасшедший дом» встречаются в письмах Бентамов с объяснимой, но зловещей частотой.

Несмотря на эти выходки переселенцев, Бентамы получили большую выгоду от всего предприятия – как финансовую, так и творческую. «В Кричеве, а точнее, в нашем доме в трёх милях от городка, где я теперь живу, каждый день вмещает в себя куда более, чем 24 часа, – пишет Иеремия. – Я встаю перед рассветом, управляюсь с завтраком менее чем за час и не принимаю пищу до восьми часов… вечера». Он работал над своим «Кодексом» гражданского права, франкоязычным сочинением «Теория наказаний и наград» и трактатом «Защита лихвы». Однако он «был вынужден испросить у брата разрешения позаимствовать его идею…». Речь идёт о «Паноптикуме»: в его основе лежит проект, с помощью которого Сэмюэль смог совладать с этой оравой русских, евреев и уроженцев Ньюкасла. Он создал фабрику, сконструированную таким образом, что управляющий мог видеть всех своих работников с центрального наблюдательного пункта. Иеремия, увлечённый законодательными реформами, сразу же заметил, что эта идея нашла бы отличное применение в тюрьмах. Он взялся за «Паноптикум» и работал с рассвета до заката [66].

Братья вынашивали ещё один масштабный замысел, который был по душе Потёмкину: они хотели приобрести земельные участки в Крыму. «Мы станем замечательными земледельцами, – заявлял Иеремия. – Рискну предположить, что он выделит нам по хорошему куску земли, если мы захотим…» [67]. Однако невзирая на потёмкинские жестокие насмешки над Сэмюэлем – «только скажите, какие именно земли вам угодны» [68], – Бентамы так и не стали крымскими магнатами, хотя и получили свою долю в одном из имений Корсакова.

Тем временем Сэмюэль руководил производством, занимался обменом иностранной валюты для Риги и Херсона (он поменял потёмкинские 20 000 рублей на дукаты), торговал английским сукном, строил байдаки (речные лодки-плоскодонки) на Днепре. Несмотря на «безумное» поведение переселенцев, он часто выражал благодарность другим работникам за то, что те помогли

ему добиться таких успехов. За два года он построил два больших судна и восемь байдаков, а в 1786 году спустил на воду целых двадцать байдаков [69]. Всё это было так волнующе и увлекательно, что старый Иеремия Бентам решил тоже приехать. Но двух Бентамов было вполне достаточно.

В 1786 году Потёмкин отдал новые распоряжения. С 1783 года Екатерина и Потёмкин обсуждали, стоит ли императрице отправиться осмотреть свои новые южные владения. Путешествие всё время откладывалось, но теперь, казалось бы, ничто не мешало его осуществлению. Сэмюэль уже стал настоящим профессионалом в постройке барж и байдаков на Днепре. Теперь Потёмкин велел ему изготовить 13 яхт и 12 роскошных баркасов, на которых императрица могла бы отправиться по Днепру в Херсон. Сэмюэль как раз проводил испытания нового изобретения под названием «вермикуляр» – «червеобразное судно», – которое представляло собой «гребной плавучий поезд, то есть вереницу ловко соединённых между собой отсеков» [70]. Он принялся за работу и сумел выполнить огромный потёмкинский заказ, к которому также добавил и императорский вермикуляр – баржу из шести отсеков в 252 фута длиной, которую приводили в движение 120 гребцов.

Иеремия Бентам, который желал познакомиться со знаменитым Потёмкиным, ожидал, что тот приедет в имение во время отъезда Сэмюэля, отправившегося осматривать свои корабли. Что не удивительно: в эти дни, кажется, почти вся Россия в волнении предвкушала приезд «князя князей». Тем временем в этом нелепом британском сборище бунтовщиков, белорусском сумасшедшем доме, дела обстояли ещё хуже, чем раньше, поскольку работниками управлял раздражительный философ-утилитарист, уделяя к тому же этому занятию не слишком много времени.

Потёмкин пока не платил работникам жалованье. Доктор Деброу, садовник Роубак и старший лакей-секретарь Бенсон открыто бунтовали. Многие британцы без стеснения предавались всем удовольствиям жизни за рубежом и безудержно кутили. Вскоре участились случаи гибели работников, что Сэмюэль считал следствием скорее их невоздержанности, чем отвратительного климата. Деброу получил должность военного врача, но почти сразу же после этого скончался – что, возможно, было к лучшему для русских солдат. Те британцы, которые остались в живых, разъехались кто куда [71].

«Уже долгое время мы находимся в ожидании, что князь с часу на час прибудет в своё имение…» – писал Иеремия Бентам, но, как это часто случалось, князь где-то задержался [72].

Несколько дней спустя племянница-любовница Потёмкина графиня Скавронская остановилась в Кричеве проездом из Неаполя в Петербург и сообщила им, что «князь князей отказался от намерения приехать» [73]. Некоторые биографы утверждают, что Потёмкин и Иеремия Бентам вели долгие философские беседы [74], но об их встрече не сохранилось никаких свидетельств. Трудно поверить, что Иеремия не написал бы о таком событии, если бы оно и правда произошло[83].

Наконец, проведя больше года в потёмкинском мире, Иеремия Бентам уехал домой: путь его лежал через Польшу, с остановками в бесчисленных «еврейских трактирах». Грязные постоялые дворы, по которым бродили животные, могли предложить ему лишь одно утешение – прекрасных евреек. Вот его описание типичного трактира: «Хорошенькая еврейка, свиньи в хлеву… по комнатам гуляют куры» [75]. Однажды философ даже высказал комплимент, необычайно лестный из уст англичанина-путешественника в XVIII столетии: он сообщил, что в одном из постоялых дворов еврейки были настолько привлекательны, что «вся эта семья, чей вид приятен глазу, *ничем не уступает английскому семейству*» (курсив Бентама).

Имение процветало: в Кричеве Потёмкин воплотил в жизнь рекомендации своего швейцарского медицинского эксперта доктора Бэра, советовавшего уменьшить смертность с помощью вакцинации. В результате всего за несколько лет мужское крепостное население увеличилось с 14 000 до 21 000 человек [76]. Финансовые и иные документы по управлению имением показывают, что кричевское производство было чрезвычайно важным для развития херсонского флота, а из неопубликованных писем Бентама к Потёмкину следует, что Кричев использовался в качестве склада для нужд черноморских городов. За два года и восемь месяцев, к августу 1785 года, предприятия Бентама снабдили Херсон снастями, парусиной и речными лодками на 120 000 рублей, а также канатами и сукном на 90 000 рублей. В 1786 году Сэмюэль изготовил несколько байдаков общей стоимостью в одиннадцать тысяч рублей. К тому времени, как Бентам уехал, объёмы производства сукна утроились, а снаряжения – удвоились. К 1786 году многие фабрики стали весьма прибыльными: коньячное производство ежегодно приносило 25 000 рублей, 172 ткацких станка – ещё 25 000 рублей, а канатная фабрика изготовляла 1000 пудов (шестнадцать тонн) продукции в неделю, принося таким образом выручку порядка 12 000 рублей [77]. Однако отчёты о доходах и расходах не имели большого значения для Потёмкина: единственно важным для него было то, что

способно принести славу и мощь империи – то есть армия, флот и города. С этой точки зрения императорский склад и фабрика были фантастически успешными.

Внезапно в 1787 году князь продал всё имение за 900 000 рублей и приобрёл на эти средства более обширные польские имения. Кричев достался ему бесплатно, и хотя он инвестировал в него немалый капитал, трудно поверить, что на английских наёмных рабочих была истрачена такая внушительная сумма. У князя с его макиавеллиевской натурой как всегда были серьёзные политические причины для продажи имения, которое он развивал с таким бережным вниманием. Некоторые фабрики он перенёс в свои поместья в Кременчуге, а другие оставил новым хозяевам. Когда сделка совершилась, кричевские евреи предприняли попытку собрать денег для выкупа имения, чтобы «Сэм[юэль Бентам] смог приобрести этот городок». Но из этой затеи ничего не вышло.

Так окончилось кричевское приключение Иеремии Бентама и его британских работников. Но для Сэмюэля Бентама и Уильяма Гульда, двух самых близких Потёмкину англичан, всё только начиналось. Им обоим в будущем были уготованы важные роли. До сих пор князь использовал Сэма Бентама в качестве консультанта по сибирским рудникам, управляющего фабрикой, строителя кораблей, командующего мушкетёрами, агронома и изобретателя. Теперь ему предстояло доставить вверх по реке свои корабли, предназначенные для выполнения особой миссии, а затем стать каптенармусом, специалистом по артиллерии, морским офицером, руководить производством в Сибири и заняться торговлей между Китаем и Аляской – именно в таком порядке.

Гульд, чья команда постоянно пополнялась новыми специалистами из Англии, стал неотъемлемой частью свиты Потёмкина – предвестником прибытия князя; за несколько недель до его приезда в тот или иной городок там появлялся Гульд со своими инструментами, работниками и деревьями. Передвижные штабы Потёмкина в грядущей войне было невозможно представить без гульдовских парков. Но его подлинным шедевром стал Зимний сад в Таврическом дворце.

Светлейший князь порой оставлял без внимания своих британских гостей, разрываясь между петербургскими государственными делами и южными проектами. В самом начале русских приключений Сэмюэля Бентама, когда тот вместе с Потёмкиным возвращался из Крыма, князь пообещал приехать с ним в Кричев, чтобы совместно решить, как обустроить имение. Они остановились в Кременчуге, где Потёмкина застала новость

из Петербурга, решительно всё изменившая.

Не простившись, князь покинул Кременчуг «в невероятной спешке», взяв с собой слугу [78]. На всём белом свете лишь один человек мог заставить Потёмкина вот так сорваться с места.

21. Белый негр

Притом – была и к юношам нежна
Царица, не лишенная приятности:
Похоронила только что она
Любимца своего очередного,
Хорошенького мальчика Ланского.

Дж. Байрон. «Дон Жуан», IX:47

Двадцать пятого июня 1784 года генерал-поручик Александр Ланской, двадцатишестилетний фаворит Екатерины, скончался в Царском Селе. Императрица находилась при нём. Его болезнь была внезапной: он слёг с больным горлом всего за неделю до смерти. Ланской будто знал, что скоро умрёт (хотя Екатерина и пыталась разубедить его), и до конца сохранил тихое достоинство, с которым он принимал своё непростое положение [1]. Однако вскоре широко распространились самые зловещие слухи о его кончине: он умер «на месте» с Екатериной, он истощил своё слабое здоровье, принимая опасные афродизиаки для удовлетворения старой нимфоманки-любовницы. О моменте его смерти утверждали, что он «в буквальном смысле слова лопнул – у него лопнул живот». Вскоре после того «его ноги отвалились. Зловоние было невыносимо. Клавшие его в гроб… умерли». Ходили слухи об отравлении: не убил ли Потёмкин, уже обвинявшийся в доведении графа Орлова до сумасшествия медленно действующим ядом, ещё одного соперника? Судя по трагическому рассказу Екатерины Гримму и сообщениям других свидетелей, Ланской, вероятно, умер от дифтерии. Знойное лето и задержка похорон, на которые Екатерина долго не могла решиться, вполне могут объяснить зловоние. Известно также, что внутренности непогребённых трупов нередко раздуваются на жаре [2].

Императрица была убита горем. Придворные никогда раньше не видели её в таком состоянии. Лейб-медик Роджерсон и сановник Безбородко, собутыльники и карточные партнёры, встретились посоветоваться – несомненно, тем скорым шёпотом, который должен был быть фоновой музыкой всякого дворцового

кризиса. Роджерсон уже пустил в ход свои, нередко смертоносные, слабительные и кровопускания, но и тот и другой чувствовали, что эмоциональное воздействие окажется для неё более целебным[84]. Императрица, естественно, думала о своём «супруге» и «дражайшем друге». В отчаянии она раз за разом трогательно спрашивала, сообщили ли новость Потёмкину. Роджерсон сказал Безбородко, что «нужнее всего» стараться успокоить печаль и беспокойство императрицы. «К сему одно нам известное есть средство – скорейший приезд Его Светлости». Как только Ланской умер, Безбородко отправил на юг самого быстрого курьера. Екатерина, как ребёнок, спрашивала, скоро ли можно ожидать князя. Да, уверенно отвечали ей, князь уже в пути [3].

Курьер нашёл Потёмкина в сопровождении Сэмюэля Бентама в Кременчуге, где тот организовывал строительство Севастополя и управление Кричевом. Князь немедленно выехал. Его действиями, как всегда, руководили два неразделимых мотива: любимая подруга нуждалась в нём и его власть зависела от этого. Потёмкин гордился тем, что быстрее всех ездил по России. Обычно курьеры проезжали этот путь за десять дней, а он домчался за семь. 10 июля он прибыл в Царское Село.

Пока Потёмкин нёсся по степям, Екатерина несла тяжкое бремя потери фаворита, принёсшего ей наивысшее счастье. «Веселонравный, честный и мягкосердечный» Ланской был её любимым учеником, предметом приложения её материнских и педагогических инстинктов, и настоящим членом их с Потёмкиным семьи. Он был чрезвычайно красив: его портреты показывают нам тонкие юношеские черты. Екатерина считала, что нашла в нём свой Грааль, спутника на всю оставшуюся жизнь. «Я надеялась, – писала она Гримму, – что он будет опорой моей старости» [4]. Потёмкин нашёл двор парализованным из-за лежавшей в прострации императрицы, заполненным духом разлагавшегося тела непогребённого Ланского и заражённым чумой мерзкой злорадной лжи. Екатерина была безутешна. «Я погружена в тягчайшую скорбь, и мне нет больше счастья», – писала она Гримму; Ланской «разделял мои печали и радовался моим радостям» [5]. И в Петербурге, и в Царском Селе аристократы выражали беспокойство из-за эмоционального срыва Екатерины. Шли недели, а придворные сообщали, что «государыня всё так же страдает, как и в первый день по кончине г. Ланского». Екатерина, обезумев от горя, то и дело спрашивала о теле своего любовника, как будто надеялась, что его смерть окажется ложной. Она три недели не покидала постели, а когда наконец встала, то никуда не выходила. Её не видели месяц за

месяцем. При дворе не было развлечений, там «царила печаль». Екатерина заболела. Доктор Роджерсон пустил ей кровь и прописал свою обычную панацею, что, несомненно, объясняет её слабость и «ветры». Первое время её видели только Потёмкин и Безбородко. Затем вечерами стал появляться Фёдор Орлов, добрейший из братьев. Князь же утешал Екатерину, деля её скорбь: говорили, что придворные слышали, как Потёмкин и Екатерина вместе «воют» по покойном фаворите.

Екатерине казалось, что никто не может представить её страдания. Поначалу её ранило даже сочувствие Потёмкина, но в конце концов его забота вывела её из глубин несчастья, и «так он пробудил нас от мёртвого сна» [6]. Он был при ней каждое утро и каждый вечер, практически живя с ней все эти недели [7]. Это, по-видимому, был один из тех кризисов, когда, как граф Кобенцль говорил Иосифу II, Потёмкин возвращался к своей былой роли мужа и любовника [8]. Их отношения не укладываются в наши современные схемы, но ближе всего они к галльскому *amitié amoureuse* [любовная дружба, дружба-любовь (*фр.*). – *Прим. перев.*]. Это был период, может быть, не столько занятий любовью, сколько утешения любовью. Именно в такие моменты Потёмкин достигал «неограниченной власти», как он однажды сказал Гаррису: «Когда дела идут гладко, моё влияние невелико; но когда она встречается с трудностями, то всегда нуждается во мне, и тогда моё влияние больше, чем когда-либо».[10]

Постепенно положение улучшалось. В отсутствие Екатерины Ланского похоронили в Царском Селе через месяц с лишним после его смерти. Сама Екатерина, оставляя пятого сентября свою летнюю резиденцию, сказала, что никогда не сможет туда вернуться. В столице она была не в силах жить в собственных покоях, где всё напоминало о Ланском, и перебралась в Эрмитаж. Более года после смерти Ланского у неё не было фаворита. Екатерина была в трауре, а Потёмкин находился с ней. В некотором смысле они снова были вместе. Через три дня после возвращения в Петербург Екатерина отправилась в церковь. К общему облегчению, она наконец появилась на публике. Двор не видел её два с половиной месяца.

В январе 1785 года Потёмкин вновь уехал на юг, где его ждали неоконченные проекты. Даже на таком расстоянии он продолжал утешать её. Некоторые из их писем друг другу, предположительно датируемых этим периодом, напоминают по куртуазности и игривости их роман десятилетней давности, но им не хватает той самозабвенной страсти и полноты смеха. В этом возрождении романтических чувств ощущалось нечто закатное, как будто они оба чувствовали себя постаревшими. Для

начала он послал ей прекрасную табакерку, и она поблагодарила его «от всего сердца». Затем он отправил ей платье, сшитое из шёлка с его южных фабрик, и любовным жестом пригласил её отправиться к нему на юг по «шелками устланному пути» [11].

Светлейший князь вернулся в начале лета 1785 года, когда Екатерина снова была в форме. Старые любовники опять играли в привычные игры. «Я на пути теперь к исповеди. Простите, меня, матушка Государыня, в чём согрешил пред Вами ведением и неведением», – писал Потёмкин церковнославянским письмом. Очевидно, князь совершил нечто неблаговидное. Екатерина отвечала: «Прошу равномерное прощение и с Вами Бог. Прочее же вышеописанное я разбираю хорошо, но ничего не понимаю или весьма мало; читаючи, много смеялась» [12]. В этом весь Потёмкин: часто неудобопонятный, но всегда занимательный. Смех немало помог её выздоровлению. Но всё же она скучала по нему в те шесть месяцев, что он был на юге.

Должность фаворита при Екатерине стала почти официальной, и придворные так привыкли к этому, что теперь ожидали предстоящего заполнения вакансии. Возможно, она чувствовала своеобразное давление – ей необходимо было найти кого-то ещё. Прошёл год после кончины Ланского, и Потёмкин понимал, что она, неспособная «быть ни на час охотно без любви», нуждалась в любви более постоянной, чем он мог ей дать. Чтобы достичь славы на службе империи, Потёмкин должен был найти кого-то, кто позаботился бы о Екатерине. Теперь, когда она приходила в церковь, молодые люди красовались там, стоя навытяжку в лучших мундирах, надеясь, что она их заметит. Как говорил ещё Казанова, Екатерине всегда было трудно сосредоточиться в церкви. Зрелище было недостойное, но понятное. Такая демонстрация себя доказывает, что Потёмкин не утверждал кандидатов в фавориты, как говорили злые языки; она просто замечала их при дворе, хотя умный покровитель мог бы намеренно помещать их на пути у Екатерины [14]. Так или иначе, охота началась. После смерти Ланского начался апогей екатерининского великолепия, но в то же время стало угасать её достоинство. Никто из её следующих любовников больше не был ей равен.

Когда светлейший князь вернулся в столицу, Екатерина всё же обратила внимание на некоторых дежурных офицеров. Это были князь Павел Дашков, сын княгини Дашковой, выпускник Эдинбургского университета и приятель Бентама, а также гвардейцы Александр Петрович Ермолов и Александр Матвеевич Дмитриев-Мамонов, дальний свойственник Потёмкина. Все трое служили в свите князя. Началось нечто вроде общеимперского

конкурса красоты, награда в котором должна была быть объявлена на балу-маскараде.

Некоторое время Екатерина отдавала предпочтение Дашкову, регулярно упоминая его «прекрасное сердце» [15]. Пятью годами раньше князь Орлов неожиданно встретил в Брюсселе княгиню Дашкову, путешествовавшую с сыном и находившуюся в чем-то вроде ссылки. Орлов поддразнил чопорную княгиню, обрисовав юноше возможность стать фаворитом. Отослав сына из комнаты, Дашкова обрушила на Орлова ханжеский выговор: как он смел говорить семнадцатилетнему мальчику о таких отвратительных вещах? «Что же касается ее любовников, – заключила она, – о которых я меньше всего думала, попросила его не упоминать о них в моем, а тем более в присутствии моего сына». Грубый ответ Орлова на эту высокомерную отповедь «не стоил повторять его», но был вполне заслужен [16]. Ныне Орлова не было в живых, княгиня Дашкова вернулась из многолетних странствий, а её сыну было двадцать три года.

Трудно избежать впечатления, что княгиня Дашкова, хотя и смотрела на фаворитизм с плохо скрываемым презрением, не смогла побороть честолюбивого желания – увидеть своего сына фаворитом. Потёмкин продолжал смешить Екатерину, передразнивая высших сановников, но подражание высокопарной Дашковой было его коронным номером, и Екатерина часто специально просила его об этом. Так что светлейший князь особенно наслаждался, обращая против лицемерки её собственное оружие [17].

Княгиня Дашкова нанесла Потёмкину визит и была чрезвычайно любезна. Потёмкин притворно поддержал княгиню в её амбициях, коварно подав ей надежду, что семья Дашковых будет избрана. В перерывах между этими беседами Потёмкин, надо полагать, заглядывал в покои Екатерины, чтобы под взрывы монаршего хохота издевательски передразнивать княгиню. Дашкова не знала, что в это же время Екатерина заигрывала с Ермоловым и Мамоновым. Оба также были привлекательны и к тому же не имели столь жуткой матери. Каждое семейство возлагало большие надежды на своего кандидата, хотя Потёмкин как будто никому не отдавал предпочтения.

Княгиня Дашкова праздновала своё возвращение в фавор. В «Записках» она утверждает, что в послеобеденный «час любовников» Потёмкин отправил своего племянника Самойлова, чтобы «спросить, дома ли князь Дашков». Его не было. Самойлов передал сообщение, что Потёмкин желает видеть его у себя дома как можно скорее. Много лет спустя княгиня писала, что Потёмкин предлагал её сыну отвратительную роль фаворита,

которую она отвергла, сказав: «при всей моей любви и преданности Екатерине я слишком уважаю себя… чтобы принимать участие в подобном деле». И если её сын станет фаворитом, добавила Дашкова, она лишь в одном случае воспользуется его влиянием – «чтобы взять заграничный паспорт и уехать из России».

Эта сомнительная история породила миф о том, что Потёмкин в «час любовников» посылал к Екатерине молодых людей. Но поскольку Дашков был его адъютантом, в таком вызове не было ничего предосудительного. Скорее всего, Потёмкин просто дразнил княгиню. И нет сомнений, что её ответ он немедленно повторил Екатерине, изобразив «голос Дашковой» [18].

Светлейший князь устроил маскарад в принадлежавшем ему Аничковом дворце. В этом огромном здании на углу Невского проспекта и Фонтанки он никогда не жил[85], а держал там свою библиотеку и проводил увеселения. Он приказал архитектору Старову надстроить третий этаж и изменить фасад, добавив его любимых дорических колонн. Когда Потёмкин стал испытывать денежные трудности, то вернул долг своему знакомому купцу Никите Шемякину, отдав ему Аничков дворец, но Екатерина выкупила дворец для него. Подобные выплаты долгов дворцами случались не раз, и императрица всегда оказывала такую услугу.

Две тысячи человек, наряженных в богатые костюмы и домино, съезжались весь вечер. В огромной овальной галерее, вокруг богато украшенной пирамиды располагался оркестр. Более ста музыкантов под управлением Росетти играли на духовых инструментах и аккомпанировали певцам. Звездой оркестра был «в богатой одежде литаврщик арап», поставленный на верху пирамиды. Зал разделял занавес. Пары танцевали кадриль, и придворные наблюдали, как князь Дашков приглашал впервые появившуюся в свете прекрасную юную княжну Барятинскую. Позже она стала одной из последних любовниц Потёмкина.

Когда прибыли императрица с великим князем Павлом, все напряженно следили, будет ли отличён кто-либо из троих молодых людей. Лев Энгельгардт, оставивший живописную заметку об этом вечере, обратил внимание на Ермолова. Потёмкин приказал своим адъютантам быть в форме лёгкой кавалерии, однако Ермолов, презрев приказание князя, оделся в драгунский мундир. Энгельгардт устремился к нему, чтобы предостеречь его и предложить поехать домой и переодеться. «Не беспокойтесь, – уверенно ответил Ермолов, – однако ж не менее я вам благодарен за ваше доброе ко мне расположение». Эта беззаботная наглость озадачила Энгельгардта.

Княгиня Дашкова не отходила от Потёмкина, и они вместе любовались атлетической фигурой её сына. Но затем она рискнула то ли упомянуть, что её сын избран, то ли попросить князя предложить кого-то ещё из её семьи. Потёмкин при всех с саркастической улыбкой повернулся к ней и объявил, что вакансии больше нет. Место теперь занято поручиком Ермоловым. «*Кем?* – выговорила раздавленная княгиня. – *Кем?*»

Потёмкин оставил её, взял Ермолова под руку и повёл через толпу, «чего он и самых знатных бояр не удостоивал». Князь привёл его к столу, где императрица играла в вист, и поместил всего в четырёх шагах от неё, впереди всех вельмож. Теперь все, и даже Дашкова, поняли, что императрица взяла себе нового фаворита. Занавес поднялся, явив богато убранный стол. Императрица, великий князь и приближённые сели за особый круглый стол, для прочих же было выставлено ещё сорок. Бал продолжался до трёх часов ночи [20].

На следующее утро, через одиннадцать месяцев после так долго оплакивавшейся смерти Ланского, Ермолов вселился в его бывшие покои в Зимнем дворце и был назначен флигель-адъютантом при императрице. Ему был тридцать один год. Высокого, белокурого молодого человека с миндалевидными глазами и плоским носом Потёмкин прозвал «Белым негром». Он не был ни так воспитан, ни так красив, как Ланской, ни так умён, как Завадовский. «Он добрый юноша, – заметил Кобенцль, – но довольно ограниченный». Ермолов был вскоре сделан генерал-майором и награжден орденом Белого орла, он приходился племянником приятелю Потёмкина Левашову, но был равно дружен и с Безбородко. Потёмкин, вероятно, был доволен, что Екатерина после года траура нашла себе кого-то приемлемого. Недалёкие историки всегда повторяли, что Потёмкин ревновал к каждому новому фавориту. Однако как видели более наблюдательные люди, вроде Кобенцля, он ценил в Ермолове то, что тот удерживал Екатерину «от впадения в меланхолию» и возбуждал её «естественную веселость» [21].

Взлёт Ермолова вознёс Потёмкина на вершину могущества. Когда через несколько дней князь заболел, Екатерина «навестила его, заставила принять лекарство и проявляла бесконечную заботу о его здоровье» [22]. Положение Потёмкина стало наконец неуязвимым. Двор пришёл в равновесие. Теперь, когда Екатерина была счастлива как женщина, князь мог вернуться к управлению своими войсками и провинциями.

К середине 1780-х годов екатерининский двор достиг вершины своей роскоши и изысканности и «соединял в себе всё

самое великолепное, самое внушительное, хороший вкус и любезность французского двора, – как писал граф де Дамá. – Азиатская роскошь также придавала красу церемониям» [23]. И Екатерина, и Потёмкин охотно устраивали грандиозные празднества, балы и маскарады, причём сама императрица особенно любила балы с переодеванием. «Надо устроить в Эрмитаже бал… Дамы должны приехать в домашних платьях, без *paniers* [фижм (*фр.*). – *Прим. перев.*] и без *grande parure* [здесь: богатых головных уборов (*фр.*). – *Прим. перев.*]… Французские актёры будут продавцами и продавщицами, они будут продавать в долг мужчинам женские платья, а женщинам мужские» [24]. Возможно, дело было в том, что в мужском костюме полная императрица выглядела изящнее.

Если бы кто-то встретил императрицу Всероссийскую на придворном балу в 1780-х годах, то увидел бы её «одетой в весьма элегантное платье с лёгкой лиловой юбкой, белыми рукавами до запястий и с открытым лифом», сидевшей «в большом кресле, покрытом пурпурным бархатом и богато украшенном», и окружённой стоящими придворными. Рукава, юбка и лиф её платьев часто были разных цветов. Екатерина теперь всегда носила старинные русские платья с длинными рукавами, которые не только скрывали её полноту, но и были намного удобнее, чем корсеты и *paniers*. Княгиня Дашкова и графиня Браницкая копировали её одежду, но другие дамы, как замечает баронесса Димсдейл, «носили [её], скорее, на французский лад». Впрочем, леди Крейвен заявляла, что «французский газ и цветочные узоры никогда не были предназначены для русских красавиц». Повсюду стояли карточные столы, где играли в вист, пока императрица обходила зал, вежливо прося всех не вставать – что, однако, те всё равно делали [25].

В течение зимы двор перемещался между петербургскими дворцами – Зимним и Летним. Жизнь каждую неделю проходила по одному расписанию: по воскресеньям большие собрания в Эрмитаже со всем дипломатическим корпусом, по понедельникам балы у великого князя и так далее. Когда Потёмкин бывал в столице, то вечером в четверг обычно заглядывал к императрице в Малый Эрмитаж, где она отдыхала со своим любовником Ермоловым и близкими друзьями вроде Нарышкина и Браницкой. Разговоры были приватными, слуги не подслушивали. За ужином гости заказывали блюда, отмечая их на грифельной доске, помещённой на особом механическом столике, который опускался к глухому официанту, через некоторое время возвращавшему его с нужным блюдом. В летние месяцы весь двор

переезжал в императорские загородные резиденции, расположенные примерно в двадцати милях от города. Екатерина больше любила лежащий на берегу Финского залива Петергоф, но двор в основном размещался в Царском Селе. Там Екатерина обычно останавливалась в похожем на свадебный торт, построенном в стиле елизаветинского барокко Екатерининском дворце, названном в честь происходившей из крестьян матери императрицы Елизаветы Петровны, супруги Петра Великого.

«Это великолепное здание, – писала баронесса Димсдейл – Его кирпичные стены оштукатурены, а ‹…› наружные колонны покрыты золотом». Некоторые из комнат выглядели просто «превосходно», одна из них, в китайском вкусе, поразила баронессу. Но более всего «незабываема» была пара комнат, «похожая на зачарованный дворец», «со стенами, отделанными малиновой и зелёной фольгой так, что они ослепляют взгляд». Шёлковые обои Лионского зала оценивались в 201–250 рублей. Отделку дворца сделал для Екатерины шотландский архитектор Чарльз Камерон. Парк – разумеется, английский, с лужайками, рощами, усыпанными гравием дорожками и архитектурными капризами, а также с огромным прудом в центре, – был разбит мистером Бушем. Похожая на античный храм Камеронова галерея, будто парящая на своих опорах, производила впечатление лёгкости и простора. Внутри было установлено принадлежавшее Екатерине собрание бюстов, в том числе Демосфена и Платона. Повсюду в парке стояли памятники в память о победах России, так что это волшебное место слегка напоминало имперский вариант диснеевского тематического парка, где основноый темой было величие императрицы и империи. Чесменская колонна, спроектированная Антонио Ринальди, величаво возвышалась на островке посреди Большого пруда; Румянцевский обелиск увековечивал битву у реки Кагул. Ещё там были Сибирский, Турецкий и Китайские мосты, Китайская деревня, Башня-руина и павильон-пирамида, где были похоронены три её собаки – английские грейхаунды. Эпитафия гласила: «Здесь лежит Земира, и опечаленные Грации должны набросать цветов на ее могилу. Как Том, ее предок, как Леди, ее мать, она была постоянна в своих склонностях, легка на бегу и имела один только недостаток: была немножко сердита…» Неподалеку находился мавзолей Ланского. Были даже аттракционы вроде Катальной горы.

В Царском Селе императрица рано вставала и шла гулять со своими собаками, одетая в длинный капот, кожаные туфли и чепец, как на картине Боровиковского и в повести Пушкина «Капитанская дочка». Днём иногда проводились военные парады:

баронесса Димсдейл видела Екатерину, стоявшую на балконе и смотревшую, как Потемкин проходит с гвардией.

Князь владел в Царском Селе собственными домами, и императрица нередко в них останавливалась. Некоторые свои дворцы они строили рядом – например, Екатерина построила «Пеллу» близ его «Островков», так что они легко могли наносить друг другу визиты. Так как он чаще жил в личных покоях в императорских дворцах, то его многочисленные резиденции были подобны караван-сараям для странствующего султана. При этом он постоянно приобретал новые и строил и перестраивал их по своему капризу, следуя изменчивой английской моде. Первой была небольшая вилла на мысе Осиновая Роща у финского побережья, переданная «моему князю Потёмкину» в 1777 году. Там Екатерина остановилась, когда начинался её роман с Корсаковым. «Какой вид из каждого окна! – восклицала она в письме Гримму. – Из моего видно два озера, три холма, лес и поле» [28]. Вероятно, здесь же останавливался и Харрис, гостивший здесь с семьёй Потёмкина. Ещё одну резиденцию, на петергофской дороге[86], князь приобрёл в 1779 году. Старов снёс стоявший там барочный дворец и построил новый, в стиле классицизма.

В 1780-х годах Потёмкин полюбил британскую неоготику, образцом для которой стала вилла «Земляничный холм» Г. Уолпола. Поэтому Старов перестроил два его дворца – Озерки и Островки[87] – в готическом стиле. Дворец в Островках имел башни и шпили, арки и зубчатые стены. Сохранился только один из готических замков князя Потёмкина, расположенный в Баболовском лесу близ Царского Села, где он владел большим поместьем. В 1782–1785 гг. Илья Неелов, незадолго до этого осматривавший английские роскошные поместья, создал для него собственный «Земляничный холм». Баболовский дворец[88] был живописным асимметричным зданием с башенками, арками и арчатыми окнами. Два его крыла расходились от центральной круглой башни в средневековом вкусе. Сегодня он смотрится сквозь лес то ли как разрушенная церковь, то ли как волшебный замок [29].

Когда двору приходила пора возвращаться в Петербург, лакей в пурпурной ливрее с золотым галуном ставил перед дверцей императорской кареты, запряжённой десятью лошадьми, обитую красным бархатом табуретку. Ещё полтора десятка карет ехали следом. Всего кавалькада включала до восьмисот лошадей. Раздавались выстрелы сотни пушек, играли трубы, толпа приветствовала императрицу. По дороге в Петербург стояли путевые дворцы, где она могла отдохнуть [30].

Прошло более десяти лет с тех пор, как Потёмкин и Екатерина полюбили друг друга, и ей теперь было пятьдесят семь лет. Каждый, кто приближался к ней, писал де Дама, бывал поражён «её достоинством, благородством её осанки и приятностью её ласкового взгляда» [31]. Бентам считал «её глаза прекраснейшими из возможных, и весь её облик привлекательным» [32]. Её голубые глаза и по-мужски внушительный лоб по-прежнему производили впечатление, но она толстела, что было особенно заметно из-за ее низкого роста, и постоянно страдала от расстройства пищеварения [33].

Её отношение к власти было всё той же смесью безжалостного экспансионизма и *raison d'état* [постановка государственных интересов в основу политики, *букв.* «государственное мышление» (*фр.*). – *Прим. перев.*] с тщательно продуманной и совершенно обманчивой скромностью. Когда де Линь и Гримм начали распространять в салонах имя «Екатерина Великая», она надела привычную маску смирения: «Прошу вас не наделять меня прозвищем Екатерины Великой, поскольку я вообще не люблю прозвища и моё имя Екатерина II, и я не желаю, чтобы люди говорили обо мне, как говорят о Людовике XV, что они считают меня названной несправедливо…» [34] (Людовик к моменту своей смерти мало для кого был Возлюбленным.) Её единственной и обаятельной слабостью оставался вечный поиск любви. «Было бы лучше, если бы каждая её любовь была только телесной, – писал один французский дипломат, – но это редкость среди старых людей, и если их воображение ещё живо, то они выставляют себя в сотню раз глупее, чем юноши». С этого времени Екатерина начала ставить себя в глупое положение, насколько это возможно для самодержицы.

Потёмкин и Екатерина уже прекрасно знали, как обращаться друг с другом. К середине 1780-х годов им необходимо было быть в разлуке не меньше, чем вместе. Князь знал, «что его власть не так велика на глазах императрицы, где он разделял эту власть с нею, – объясняет де Дама. – «Вот почему за последнее время он так любил удаляться от нее. Вдали от нее ему были подчинены все подробности управления и армии» [35]. Потёмкин уважал её «необыкновенную проницательность» и способность замечать любые изъяны в аргументах, но он также следовал изречению Дизраэли о том, что коронованным особам лесть нужно поставлять целыми лопатами. «Льстите как можно больше, – советовал он Харрису. – Вы не прольёте слишком много бальзама, хваля её за то, чем она должна быть, а не за то, что она есть». Не слишком верноподданнической была и его характеристика её женственной слабости: «обращайтесь к её страстям, к её

чувствам… ей не нужно ничего, кроме похвалы и комплимента; дайте их ей, и она отдаст вам все силы своей империи» [36]. Но здесь, возможно, Потёмкин разыгрывал перед Харрисом согласованную с Екатериной роль. Если бы ключом к сердцу императрицы была лесть, то Харрис имел бы больше успеха, а Потёмкин меньше, ведь князь и императрица вечно спорили друг с другом.

В письмах он постоянно обращается к ней «кормилица», она же называет его «государем» или использует прозвище. Но она воспринимала их с ним как мифологических Пилада и Орест или Давида и Ионафана. С Потёмкиным она вела себя и как императрица, и как жена: когда он был в отъезде, она штопала локти на его кафтанах, как настоящая *Hausfrau* [домохозяйка (*нем.*). – *Прим. перев.*], без конца посылала ему тулупы и напоминала, как ребёнку, о необходимости принимать лекарства [37]. В политическом отношении она рассматривала его как ключевого деятеля своего правительства, как друга и партнёра. Она часто писала ему: «я без тебя, как без руки», или просто просила приехать в Петербург, чтобы увидеться с ней. Нередко ей хотелось, чтобы он был при ней, а не на юге, и тогда они могли бы решать сложные задачи «в полчаса». В их переписке сквозит её восхищение его изобретательностью, умом и деятельностью. Часто она беспокоится, что без него сделает что-то неправильно: «…и сама затруднения нахожу тут, где с тобою не нахаживала. Всё опасаюсь, чтоб чего не проронили» [38]. Их «два ума» были всегда «лучше одного». Она считала, что Потёмкин «умнее меня; что бы он ни делал, всё тщательно продумано» [39]. Он не мог заставить её делать то, чего она не хотела, но у них был собственный способ постепенной совместной выработки решений через спор и взаимное убеждение. Он был «единственный человек, которым императрица восхищается, одновременно ценя и опасаясь его» [40].

Екатерина была терпима к его распущенному образу жизни, снисходительна к его странностям и хорошо понимала, что он почти император. «Князь Потёмкин отбыл к себе домой в одиннадцать часов вечера под предлогом желания спать», – писала она Гримму 25 июня 1785 года из Петергофа, где жила со своим новым любовником Ермоловым, «хотя было совершенно ясно, что он собирается устроить ночное бдение» над картами и государственными делами. – «Однажды его даже назвали более чем царём» [41]. Она не испытывала иллюзий насчёт его популярности среди высшей аристократии, но нашла, казалось, тайное удовольствие в словах камердинера о том, что князя все ненавидят, кроме неё [42]. Её привлекало его презрение к

популярности, а то, что Потёмкин в конечном счёте от неё зависел, ослабляло её страх перед его властью. Не зря она любила говорить: «Если б и вся Россия… противу князя восстала, я – с ним» [43].

Возвращаясь из своих поездок в Петербург, он часто облегчал стоявшие перед ней задачи. Так, Екатерина решила назначить свою нудную соратницу по заговору княгиню Дашкову президентом Академии наук. Та написала письмо с отказом от должности, которую считала выше своих способностей, и отправилась к Потёмкину с объяснением. «Я уже слышал об этом от государыни», – прервал её Потёмкин. Светлейший князь прочитал письмо Дашковой и тут же разорвал его в клочки. «Изумленная и рассерженная», она спросила, как он смел разорвать её письмо, написанное императрице.

«Успокойтесь, княгиня, – ответил он, – и послушайте меня. Вы искренне преданны государыне… Зачем же вы хотите беспокоить и огорчать её предметом, который в эти последние два дня исключительно занимал её мысль и на который она твёрдо решилась? Если вы действительно неумолимы, вот перо, чернила и бумага – напишите новое письмо. Поверьте, я советую вам как человек, преданный вашим интересам». Затем он в своей обычной манере подсластил пилюлю: императрица, сказал он, имеет ещё одну причину держать Дашкову в Петербурге. Причина эта в том, что ей хочется чаще разговаривать с княгиней, ведь «говоря правду, она утомлена этим сборищем дураков, которые её вечно окружают». Трюк сработал. «Мой гнев… – пишет Дашкова, – почти прошёл». Светлейший князь мог быть неотразим, когда того хотел. Конечно, в результате она приняла назначение [44].

Стоило Ермолову обжиться на новом месте, как императрица в сопровождении двора, нового фаворита и Потёмкина, а также британского, французского и австрийского послов отправилась в речное путешествие от Ладожского озера до верховьев Волги. Екатерина и Потёмкин любили рассматривать свои достижения: «глаз хозяина откармливает лошадей», как выражалась императрица. Из этой поездки хорошо видно, как двор занимал себя – и как Потёмкин занимался политикой. Главной проблемой придворной жизни была скука.

Три дипломата были образцовыми умами Просвещения. Послом Австрии оставался чарующе уродливый женолюбец Людвиг Кобенцль, который, несмотря на зрелый возраст, мечтал о сцене и брал уроки пения. Прибывавшие из Вены императорские курьеры не удивлялись, заставая его поющим перед зеркалом в полном костюме графини д'Эскарбанья [45]. Аллейн Фицгерберт со своим *caractère vraiment britannique* [истинно британским

характером (*фр.*). – *Прим. перев.*] «не удивлялся выходкам князя» [46]. А вот во французском посланнике, непохожем на своих посредственных предшественников, Потёмкин нашёл нового друга. Круглолицый, с вечно приподнятыми бровями и слегка удивлённым выражением лица, как у улыбающейся обезьянки, тридцатидвухлетний Луи-Филипп граф де Сегюр был украшением той эпохи, которую так изящно описал в своих «Записках». Этот сын французского маршала и военного министра, друг Марии-Антуанетты, Дидро и д'Аламбера, ветеран американской Войны за независимость вошёл в интимный кружок Екатерины и Потёмкина.

Во время путешествия придворные развлекались игрой в карты, концертами и в особенности словесными играми. Сейчас они кажутся заумными, но тогда послы могли с помощью словесного мастерства повлиять на отношения своих королей с Россией. Например, Фицгерберт получил задание составить стихотворение, строки которого оканчивались бы словами *amour, frotte, tambour* и *garde-note*. Его ответ, сочетавший лесть, французский язык и все четыре указанных слова, показался Екатерине настолько блестящим, что она передала его Гримму:

> D'un peuple très nombreux Catherine est l'amour.
> Malheur à l'ennemi qui contre elle se frotte;
> La renommée usa pour elle – son tambour;
> L'histoire avec plaisir sera – son garde-note[89].

Некоторые из этих неуклюжих *bons mots* [шутки (*фр.*). – *Прим. перев.*] придумывались экспромтом, но чаще, как в современных комических телешоу, они тщательно продумывались за кулисами, чтобы затем как будто без усилий быть извлечёнными на публике прямо из воздуха. Но Фицгерберту не так хорошо удавались подобные шутки, как «любезному и остроумному» Сегюру, которого Екатерина признавала гением этого жанра: «он сочиняет нам стихи и песни… Князь Потёмкин умирал со смеху во всё время поездки» [47].

Пока суда плыли вниз по Волге, Сегюр наблюдал, как случайные капризы Потёмкина казалось бы, мгновенно становились политическими ходами. Иосиф II ранее оказал Потёмкину помощь в завоевании Крыма, и теперь Екатерина должна была поддержать его давно вынашиваемый план обмена Австрийских Нидерландов на Баварию. Он уже пробовал проделать это в 1778 году, но та попытка закончилась «картофельной войной» с Пруссией. И теперь снова Фридрих Великий своим прощальным поклоном со сцены, на которой он

господствовал почти полвека, разрушил план Иосифа присоединить Баварию, организовав для противодействия ему Фюрстенбунд – союз германских князей. Как раз в этот момент пришло время возобновить англо-русское торговое соглашение, и Екатерина ожидала лучших условий, чем ранее. Однако Ганновер, где электором был Георг III, присоединился к антиавстрийскому союзу Фридриха. Это был удар для Екатерины и еще больше для англофила Потёмкина.

Когда новость дошла до императорской барки, оба они разозлились. После обеда Сегюр перешёл с Потёмкиным на его галеру, где светлейший князь вскипел, обличая британское самомнение и эту «вероломную проделку». «Я уже давно говорил императрице, да она мне не верила», – сказал он. Новый премьер-министр Британии, двадцатишестилетний Уильям Питт, «который не любит её лично», явно старается препятствовать русской политике в Германии, Польше и Турции. Это был проницательный анализ подхода Питта к восточному вопросу. Князь объявил, что хочет любой ценой отплатить «вероломному Альбиону». «Как насчёт франко-русского торгового соглашения?» – предложил Сегюр. Потёмкин рассмеялся: «Не пропускайте такого благоприятного случая!» Иностранцы были склонны выставлять князя капризным ребёнком, но к этому времени он уже поощрял торговлю с Францией через Херсон, уверенный, что не Лондон, а Марсель должен быть ключом к русской коммерции на Чёрном море. Он тут же предложил Сегюру написать секретный черновик соглашения: «Можете даже не подписывать своего имени. Таким образом, вы ничем не рискуете… Прочие министры ничего не узнают… Принимайтесь за дело скорее!» По иронии судьбы, Сегюру пришлось позаимствовать письменные принадлежности у Фицгерберта, чтобы написать этот подрывной для Британии текст.

На следующий день Потёмкин влетел в каюту Сегюра и сообщил ему, что как только они вернутся в Петербург, императрица прикажет заключить договор. Действительно, после того как 28 июня поездка закончилась, Сегюр присутствовал на придворном маскараде, где к нему подошёл Безбородко и сказал ему на ухо, что получил приказание немедленно вступить с ним в переговоры. Это заняло некоторое время, но в январе 1787 года соглашение было подписано.

«Казалось, Ермолов всё более успевал снискать её доверие, – заметил Сегюр по возвращении в Петербург. – Двор, удивлённый этой переменой, как всегда, преклонился пред восходящим светилом». Весной 1786 года Ермолов, не пробыв и года в своей должности, вступил в опасную игру: молодой фаворит решил

свергнуть Потёмкина. «Родные и друзья князя уже отчаивались» [48]. Ермолов оставался креатурой Потёмкина, пока князь не поймал его дядю Левашова на жульничестве в карты. Потёмкин выставил его, а тот пожаловался надменному Ермолову. Утверждали также, что Ермолов отказывался передавать просьбы светлейшего князя о милостях. Но это Потёмкин прекрасно мог делать и сам. Более вероятно, что недалёкий Ермолов, которому не хотелось быть младшим членом семьи Екатерины и Потёмкина, завидовал власти князя и пошёл на поводу у его соперников.

Невидимые руки, управляющие интригой Ермолова, принадлежали, вероятно, Александру Воронцову (президенту Коммерц-коллегии и брату посла в Лондоне Семёна Воронцова) и бывшему фавориту Завадовскому. Оба трудились вместе с Потёмкиным, но при этом ненавидели его. Они использовали неаккуратное ведение Потёмкиным финансов, чтобы обвинить его в растрате казённых средств, а именно трёх миллионов рублей, предназначенных для развития южных земель. Но доказательством этого было только письмо низложенного крымского хана Шахина Гирея, который заявлял, что Потёмкин присваивает его пенсию [50]. Как они хорошо понимали, на самом деле это ни о чем не говорило, так как все платежи из казны (даже для Потёмкина, а не то что для Шахина Гирея) часто задерживались на целые годы. В том числе и поэтому было бессмысленно анализировать финансовые дела Потёмкина, ведь он использовал свои частные средства для государственных дел, а после, когда прибывали государственные деньги, возмещал себе потери. К тому же ему вовсе не было нужды в казнокрадстве – Екатерина и так утверждала любые его запросы. Тем не менее заговорщики подговорили Ермолова положить письмо Шахина Гирея на стол императрице. Во время пребывания двора в Царском Селе тот так и сделал и этим посеял в ней зерно сомнения. Жребий был брошен [51].

Екатерина охладела к Потёмкину. Князь, так много сделавший для обустройства южных земель, гордо отмалчивался. Они почти не разговаривали и редко встречались, однако его опалу преувеличивали. Даже в высшей точке этого конфликта, в конце мая, Екатерина сказала своему новому секретарю Александру Храповицкому: «Князь Потёмкин глядит волком и за то не очень любим, но имеет хорошую душу… сам первый станет просить против своего недруга» [52]. И всё же придворные почуяли запах крови. Его передние опустели. «Все стали от него удаляться, – вспоминал Сегюр. – Что касается до меня, то я нарочно стал чаще навещать его и оказывать ему своё внимание.

Мы видались почти ежедневно». Со стороны Сегюра это было не просто проявление дружбы, так как он догадывался, что отношения князя и императрицы основаны на некой тайной и невидимой связи. Тем не менее петля как будто затягивалась. Сегюр умолял его быть осторожнее. «Как! И вы тоже хотите, – отвечал Потёмкин, – чтобы я склонился на постыдную уступку и стерпел обидную несправедливость после всех моих заслуг? Говорят, что я себе врежу́; я это знаю, но это ложно. Будьте покойны, не мальчишке свергнуть меня!»

«Берегитесь!» – снова предупредил его Сегюр.

«Мне приятна ваша приязнь, – отвечал ему князь. – Но я слишком презираю врагов своих, чтобы их бояться» [53].

Семнадцатого июня императрица, великий князь, Потёмкин, Ермолов и Сегюр переехали из Царского Села в Пеллу. На следующий день Екатерина посетила близлежащий дворец Потёмкина в Островках – ещё одно свидетельство того, что положение Потёмкина не было столь катастрофическим, как утверждали слухи. По возвращении в Царское Село Потёмкин присутствовал на всех обедах у Екатерины в течение трёх дней. Заговорщики предположительно в это время убеждали её дать ход их улике. Потёмкин даже в залитом солнцем Екатерининском дворце хранил ледяное молчание.

На следующий день он без единого слова покинул двор и отправился в Нарву, город у Балтийского моря. Вернувшись в столицу, он обосновался у обер-шталмейстера Нарышкина, где занимался только тем, «как бы веселиться и рассеяться». «Враги запели победную песнь». Екатерина – видимо, привыкшая к приступам мрачности Потёмкина, – ничего не предпринимала. Но когда он не появился 28 июня, в годовщину её восхождения на трон, она определённо поняла, что этот искусный политик вызывает её на раскрытие карт.

«Я крайне беспокойна, здоровы ли Вы? – написала она Потёмкину по секрету, отвечая на его вызов. – Столько дней от тебя ни духа, ни слуха нету» [54]. Эта тёплая записка была одним из таких знаков, которые он прекрасно понимал. Ему оставалось только подождать ещё несколько дней.

После этого он внезапно появился при дворе – призрак Банко, оказавшийся вовсе не призраком. Князь предположительно ворвался в «ярости» [55] прямо в будуар императрицы и выкрикнул что-то вроде следующего: «Я пришёл, государыня, чтобы сообщить вашему величеству, что вашему величеству следует немедленно сделать выбор между Ермоловым и мной, и один из нас должен сей же день покинуть ваш двор. Пока вы держите при себе этого Белого негра, ноги моей не будет во

дворце» [56]. С этими словами он хлопнул дверью и уехал из Царского Села.

Пятнадцатого июля императрица дала Ермолову отставку через посредство Завадовского – одного из тех, кто дёргал его за ниточки. На следующий день «Белый негр» уехал, отягощённый грузом из четырех тысяч крестьян, ста тридцати тысяч рублей и приказом отправляться за границу[90]. В тот же вечер к Екатерине приехал вместе с Потёмкиным ещё один молодой офицер, с которым она заигрывала год назад. Александр Дмитриев-Мамонов был адъютантом Потёмкина (и приходился ему дальним свойственником). Рассказывали, что Потёмкин послал его к Екатерине с акварелью и пикантным вопросом: что она думает о картине? Та будто бы оглядела его и ответила: «Контур хорош, но выбор цветов не очень удачен». Это всего лишь легенда, но похожая на те игры, в которые только Потёмкин мог играть с императрицей. На следующий день она написала Мамонову…

Под вечер Мамонова провели мимо его приятеля Храповицкого, секретаря императрицы, к Екатерине в спальню. Встретить близкого друга в таких обстоятельствах – повод то ли для стыда, то ли для гордости. Храповицкий с поразительной точностью фиксировал в своём дневнике детали этого тесного мирка. На следующее утро дотошный секретарь оставил в нём лукавую запись: «поч[ива]ли до 9-ти ч.» – другими словами, императрица провела в постели лишние три часа. На следующий день, согласно Храповицкому, почти не отрывавшему глаз от императорской замочной скважины, «пр[итво]рили дверь. М-в был после обеда, и по обыкновению – [на ней была] пудра» [57].

Переход к Мамонову был таким гладким, что вполне возможно, ярость Потёмкина проявилась гораздо раньше, а поводом для кризиса стала не растрата, а сам Ермолов. Не исключено, что Екатерина ухаживала за Мамоновым ещё тогда, когда Ермолов и другие заговорщики праздновали победу. Это объяснило бы и необычное спокойствие Потёмкина по отношению к заговору: ещё одна сыгранная им комедия. Потёмкин в то или иное время грозил устранить каждого фаворита, начиная с Завадовского. Обычно в таких случаях Екатерина заверяла князя, что его власть вне опасности, так что ему лучше заниматься своими делами. Она заставляла фаворитов льстить ему, а он был достаточно гибок, чтобы дружить с ними и работать бок о бок. Потёмкин успешно сместил Ермолова потому, вероятно, что этот миньон отказывался жить в рамках потёмкинской системы, а также потому, что Екатерина его по-настоящему не любила. Но так или иначе, это была политическая победа.

«Матушка, обошед Петербург, Петергоф, Ораниенбаум,

возвратясь сюда, лобызаю твои ножки. Параклит привез цел, здоров, весел и любезен». Параклит – матушкин маленький помощник, Мамонов – был уже при императрице, которая и ответила: «Батинька, великий труд, барин, каков ты в своем здравьи и не спавши? Приездом весьма радуюсь» [58].

«Возвратился к[нязь] Г[ригорий] А[лександрови]ч», – записал 20 июля Храповицкий. Мамонов благодарно преподнёс князю золотой чайник с гравировкой, гласившей «Более соединены по сердцу, нежели по крови», напоминавшей о дальности их родства. Двадцатишестилетний Мамонов был образованным франкофилом из среднего слоя дворянства, имел очаровательный рот в форме бутона розы и аккуратный маленький нос. Он был куда умнее и интеллигентнее Ермолова и пользовался популярностью из-за своей внешности, обаяния и любезности. Екатерина осыпала его почестями: он был назначен её генерал-адъютантом, получил титул графа Священной Римской империи и вскоре уже владел двадцатью семью тысячами крепостных, получая сто восемьдесят тысяч рублей дохода в год и расходуя на стол тридцать шесть тысяч рублей в год. Чувствовала ли она, что по мере старения ей нужно всё щедрее одаривать своих любовников? Екатерина влюбилась в него до безумия. Она прозвала его «Красным кафтаном» – он часто носил такой кафтан, хорошо шедший к его чёрным глазам. «Красный кафтан, – восклицала она в письме Гримму от 17 декабря, – одевает существо, имеющее прекрасное сердце… ума за четверых, веселость неистощимая». Мамонов обеспечивал Екатерине счастье, а Потёмкину – прочность положения. Он вошёл в их необычную семью подобно Ланскому. Он хлопотал за племянниц Потёмкина Браницкую и Скавронскую [60] и писал ему тёплые письма, которые Екатерина вкладывала в свои собственные. Иной раз она добавляла постскриптумы к письмам Мамонова, которые он обычно подписывал «целиком преданный» [61].

Вскоре после падения «Белого негра» и восхождения «Красного кафтана» Потёмкин пригласил на обед Сегюра. «По крайней мере, на этот раз, господин дипломат, – приветствовал его князь, – согласитесь, что… мои предположения вернее ваших! – Затем, тепло обняв приятеля, Потёмкин выпалил: – Ну что, не правду ли я говорил, батюшка? Что, уронил меня мальчишка? Сгубила меня моя смелость?» [62].

Действительно, его смелость себя полностью оправдала. Светлейший князь смог вернуться на юг. Теперь его не было так долго, что полковник Михаил Гарновский, его *homme d'affaires* [*здесь*: представитель, поверенный в делах (*фр.*). – *Прим. перев.*] в Петербурге, получивший состояние благодаря герцогине

Кингстон, слал ему секретные доклады о придворной политике. Особенно внимательно Гарновский наблюдал за поведением фаворита: тот, когда произносились тосты, предусмотрительно пил только за князя. Екатерина показывала Мамонову государственные бумаги, но государственным деятелем он не был. Враги Потёмкина, Александр Воронцов и Завадовский, обхаживали его, надеясь сделать из него ещё одного Ермолова. Он держался, но страдал. Когда Екатерина оказывала знаки внимания кому-либо другому, он ревновал. Жизнь при дворе он находил скучной и жестокой, по праву сравнивая придворных с «волками в лесу» [63].

Екатерина и Потёмкин решили, что ей пришла пора проверить его достижения на юге и ещё раз продемонстрировать неуклонную решимость России добиться контроля над Чёрным морем. Срок не раз переносили, но в конце концов договорились, что Екатерина посетит Херсон и Крым летом 1787 года. Накануне этого знаменитого и блестящего путешествия светлейший князь находился на вершине своего могущества. Как писал один иностранец, он имел «в России власти больше, чем Уолси, Оливарес и Ришелье» [64]. Год за годом одни дипломаты называли его «великим визирем» [65], другие «первым министром» [66], но никто из этих людей не понимал до конца его настоящего положения. Ближе всех к реальности подошел Сен-Жан: «Люди поняли, что не могут свергнуть Потёмкина… Он был царём во всем, кроме названия» [67]. Но был ли он счастлив? Как он жил? Кто был Потёмкин-человек?

22. Один день из жизни Григория Александровича

Се ты, отважнейший из смертных!
Парящий замыслами ум!
Не шел ты средь путей известных,
Но проложил их сам – и шум
Оставил по себе в потомки;
Се ты, о чудный вождь Потёмкин!

Г.Р. Державин. «Водопад»

Утро

Князь проснулся поздно. Он ночевал в Шепелевском доме, который был соединён крытым проходом с покоями императрицы в Зимнем дворце. В приёмной уже толпились государственные деятели. Некоторых он удостоил аудиенции, приняв их в шлафроке, лёжа в постели. Встав с кровати, он любил принять прохладную ванну, после чего читал короткую утреннюю молитву. На завтрак он обычно пил горячий шоколад и рюмку ликёра.

Если князю предстояла встреча с большой аудиторией, он располагался полулёжа в своей приёмной, упорно игнорируя самых изощрённых льстецов. Большие неприятности ожидали тех, кто не удостоился его внимания. Как-то раз один молодой секретарь, выпускник Кембриджа и Оксфорда, вместе с генералами и иностранными послами ожидал князя с целым портфелем документов. Они сидели в почтительной тишине, поскольку все знали, что князь ещё спал. «Вдруг из опочивальни… дверь быстро и с шумом растворяется и в дверях показывается сам величественный Потёмкин в шлафроке и в туфлях, надетых на босые ноги, и громким голосом зовёт своего камердинера. Не успел раздаться этот голос, как вдруг, в одно мгновение, все, что было в зале, – генералы и другие знатные особы, опрометью бросились из залы наперерыв один перед другим, чтобы немедля отыскать княжеского камердинера». Все разбежались, а секретарь остался, замерев, стоять перед Потёмкиным, боясь «даже моргнуть глазами».

Светлейший князь угрюмо взглянул на него и ушёл в свои покои. Когда он вновь вышел из дверей, на этот раз в полном облачении, то спросил секретаря: «Скажи мне, Алексеев, знаешь ли ты, сколько в моём Таврическом саду находится ореховых деревьев? – Алексеев не знал. – Пойди в сад, немедля сосчитай их и доложи потом о сём мне», – приказал князь. К вечеру молодой человек вернулся и сообщил князю результат подсчётов. «Хорошо, ты скоро и точно исполнил моё приказание. А знаешь ли ты, зачем я дал тебе это поручение? Затем, чтобы научить тебя быть проворнее, ибо я заметил, что ты сегодня утром, когда я крикнул, чтобы позвать моего камердинера и когда все присутствовавшие тогда в зале генералы и прочие знатные особы бросились отыскивать его для меня, ты же, молокосос, даже не двинулся с места ‹…› С докладом же своим и бумагами зайди завтра утром, ибо сегодня я не расположен заниматься ими. Прощай!» [1]

Просителей озадачивал внешний облик и характер князя – он был непредсказуем, загадочен и внушал тревогу. Он то источал угрозу, то удивлял своим гостеприимством: мог казаться «ужасающим» [2] или сокрушительно спесивым, остроумным шутником, радушным добряком, впадающим то в манию, то в уныние. Когда Александру Рибопьеру исполнилось восемь, его представили Потёмкину, и он навсегда запомнил и животную силу князя, и его чувствительность и мягкость: «Я очень испугался, когда он вдруг поднял меня могучими своими руками. Он был огромного роста. Как теперь его вижу одетого в широкий шлафрок, с голою грудью, поросшею волосами» [3]. Де Линь говорил, что Потёмкин «высок, статен, величав, хорош собой, благороден и обаятелен», хотя иные называли его отвратительным Циклопом. Екатерина неизменно нахваливала его красоту, и он был щедро одарён сексуальной привлекательностью, если судить по обилию женских писем, которыми переполнен его архив [4]. Безусловно, ему было свойственно тщеславие, однако он стеснялся своей внешности, особенно кривого глаза. Когда кто-то отправил к нему одноглазого посыльного, светлейший князь воспринял это как насмешку и был глубоко задет этой «неблагоразумной шуткой»; это случилось в то время, когда он был наиболее влиятельным мужчиной к востоку от Вены [5]. Вот почему сохранилось так мало его портретов.

«Князь Потёмкин никогда не разрешает художникам писать свои портреты, – объясняла Гримму Екатерина, – и если где-то существует его портрет или силуэт, то он написан против его согласия» [6]. В 1784 и затем в 1791 году она убедила его позировать для Иоганна Баптиста Лампи – единственного

художника, которому он доверял [7]. Но светлейший князь, стесняясь своего глаза, позировал в ракурсе в три четверти, хотя его незрячий, полуприкрытый глаз не выглядел таким уж отвратительным[91]. Иностранцы полагали, что его глаза символизируют Россию: «один открыт, а другой закрыт, что напоминает нам о вечно открытом Понте Эвксинском [Чёрном море] и Северном океане, покрытом льдами». Лампи написал портрет Потёмкина-адмирала, покорителя Чёрного моря, показав его кипучую энергию, о которой так часто забывают историки. С поздних работ Лампи на зрителя смотрит более одутловатое и немолодое лицо [8]. Лучшим из них кажется неоконченный портрет князя в возрасте сорока с небольшим: длинное, артистичное лицо, полные губы, ямочка на подбородке, густые каштановые волосы. К концу 1780-х годов его полнота становится столь же выдающейся, как и его рост.

В любом месте, которое князь почтил своим присутствием, он приковывал к себе всеобщее внимание. «Потёмкин мог создавать, разрушать, запутывать, но и одухотворять всё что угодно, – писал Массон. – Под его взглядом ненавидевшие его аристократы превращались в пыль» [9]. Почти любой, кто встречался с князем, называл его «необыкновенным», «поразительным», «гигантом», «оригиналом» и «гением» – но даже те, кто близко знал его, затруднялись описать словами эту выдающуюся личность. И тогда, и сейчас Потёмкина можно смело назвать одним из самых головокружительных оригиналов в истории. По меньшей мере, именно таким его считала Екатерина. Наиболее внимательные наблюдатели соглашались друг с другом в том, что он был «выдающимся» – настоящим чудом природы. «Один из самых невероятных людей – они встречаются нечасто, и их натуру нелегко постичь», – считал герцог де Ришельё. Как выразился Льюис Литтлпейдж из Вирджинии, Потёмкин был «неописуемым человеком» [10].

Вся его сущность была соткана из самых резких контрастов, словно ожившая гравюра кьяроскуро. «В нем непостижимо смешаны были величие и мелочность, лень и деятельность, храбрость и робость, честолюбие и беззаботность», – писал Сегюр. Иногда он проявлял «орлиную прозорливость», а иногда был «по-детски легкомысленен». Он был «грандиозным, как сама Россия». Его разум сочетал в себе «образованность с целыми пустынями невежества, грубость одиннадцатого века и развращённость восемнадцатого, блеск изящных искусств и тьму монашеской кельи» [11]. С одной стороны, «то, чем он обладал, ему надоедало», но то, «чего он достичь не мог, – возбуждало его желания». Потёмкин «желал всего, и всё внушало ему

отвращение». Его жажда власти, буйная экстравагантность и ужасающее высокомерие уравновешивались неиссякаемыми выдающимися способностями, плутовским юмором, нежной заботой, щедростью, человеколюбием и беззлобностью. Ришельё заметил, что «по натуре он тяготел скорее к Добру, нежели ко Злу» [12]. Его завоевания упрочили славу империи – но, как предсказывал Сегюр и осознавал сам князь, «восхищение, которое они вызывали», доставалось Екатерине, а «ненависть, которую они разжигали», – Потёмкину [13].

Всё, связанное с Потёмкиным, оказывалось непростым [14]. Его выходки порой сердили императрицу, но в итоге, как заметил Сегюр, добавляли ему привлекательности в её глазах. Ришелье считал его человеком «выдающимся», но «удивительным образом сочетавшим в себе глупость и гениальность» [15]. «Временами казалось, – писал Литтлпейдж, – что он достоин быть правителем Российской империи, а порой – что не заслуживает и должности конторщика в стране лилипутов» [16]. Но из всех его эксцентричных черт самым поразительным свойством, о котором нам всегда надлежит помнить, была способность найти время и силы на немыслимые объёмы работы и сделать невозможное возможным.

Просители, ожидавшие аудиенции, не удивлялись звукам княжеского оркестра. Он любил начинать день с музыки и приказывал своим безотлучным музыкантам и какому-нибудь из его любимых хоров выступать перед ним по утрам. Они также давали представление в час дня за обедом, а к шести часам вечера должны были быть готовы играть в любом месте, куда поедет Потёмкин, – они ездили вслед за ним даже в Крыму и на войне. Музыка была чрезвычайно важна для него – он и сам занимался композиторством, и это его успокаивало. Куда бы Потемкин ни отправился, он нуждался в музыке и часто даже напевал себе под нос.

Именно он распоряжался музыкальными представлениями при дворе, что с облегчением поручила ему императрица – она признавалась, что лишена музыкального слуха. «Сарти, певец Марчезе и мадам Тоди услаждали слух не императрицы, которая была невосприимчива к музыкальной гармонии, а князя Потёмкина и нескольких просвещённых ценителей» [17], – вспоминал Сегюр об одном из концертов. Потёмкин заплатил 40 000 рублей за оркестр Разумовских. Его страсть к музыке по-настоящему проявила себя в 1784 году, когда он нанял знаменитого итальянского композитора и дирижёра Джузеппе Сарти. В составе княжеского оркестра было от шестидесяти до ста человек, и эти «мужчины и юноши» играли «замечательную

музыку»: каждый «дул в рожок, соответствующий его росту. Шестьдесят пять музыкантов исполняли весьма гармоничную мелодию, напоминавшую звучание огромного органа» [18], – вспоминала леди Крейвен. Потёмкин назначил Сарти первым руководителем музыкального отделения в ещё не построенном Екатеринославском университете. Финансовые бумаги показывают, что князь закупал духовые инструменты из-за рубежа и оплатил расходы на поездку на юг «итальянских музыкантов Конти и Дофина». Там Потёмкин выделил Сарти и трём его музыкантам 15 000 десятин земли: «Жалую деревню… четверым музыкантам… Да обретут они счастье и покой в нашей стране». Таким образом князь основал первую в истории музыкальную колонию [19].

Потёмкин и его знакомые постоянно присылали друг другу ноты новых опер, подобно тому, как сегодняшние меломаны обмениваются редкими записями. Екатерина была довольна, что Потёмкин отправлял ноты её другу Гримму, который называл его «моим музыкальным благодетелем» [20]. Музыка была одним из способов завоевать его расположение. Князь Любомирский, польский магнат, поставлявший Потёмкину лес, часто присылал ему духовую музыку: «Если такого рода музыка угодна Вашему высочеству, то я позволю себе позднее прислать вам ещё одно произведение» [21]. Австрийцы использовали музыку в дипломатических целях. Кобенцль, известный любитель оперы, сообщал Потёмкину из Вены: «До нас дошли вести о замечательном представлении» Сарти и Марчезини в Петербурге. Венская опера не сравнится с этим, почтительно отметил посол. Позднее, когда уже началась война, император Иосиф счёл целесообразным отправить Кобенцлю «две хоровые песни для оркестра князя Потёмкина» [22]. Русские послы не только пополняли княжескую коллекцию живописи и делали для него прочие покупки, но и непрерывно искали новых музыкантов для оркестра [23].

Светлейший князь гордился произведениями Сарти, особенно учитывая, что он тоже приложил руку к их сочинению. Известно, что Потёмкин сочинял любовные песни – об одной из них, написанной для Екатерины, упоминалось выше, – и религиозную музыку – к примеру, «Канон Спасителю», опубликованный его собственной типографией. Непросто оценить качество потёмкинских произведений, но поскольку его критики не высмеивали их, вероятно, у него были некоторые способности – как у Фридриха Великого к игре на флейте. В самом деле, музыкальные таланты Потемкина произвели впечатление даже на циничного путешественника и беспристрастного наблюдателя

Миранду. Приехав на юге, он познакомился с Сарти и увидел, как Потёмкин «ради развлечения поставил на нотной бумаге наугад несколько закорючек и, указав тональность и темп, предложил Сарти сочинить какую-нибудь музыку, что тот и сделал с ходу, доказав свои способности и мастерство». Вероятно, Сарти брал за основу потёмкинские идеи и создавал произведения для своего оркестра [24].

Конечно, Екатерина гордилась его талантом. «Если желаете, я отправлю вам песенку Сарти, – писала она Гримму. – Он сочинил её на основе мелодии, которую кое-как записал князь Потёмкин». Князь, всегда требовавший немедленного ответа, «с нетерпением вопрошает, доставили ли вам ту музыку, которую он отправил» [25]. Сарти и его странствующие горнисты сопровождали Потёмкина до самой его кончины, и однажды ему были предложены услуги величайшего гения своего времени – Моцарта.

Примерно в одиннадцать часов утра наступал торжественный момент, воплощавший в себе всю таинственность потёмкинского могущества. «Князь, принимая вельмож двора, как он это обыкновенно делал в то время, когда вставал, явился среди них (у всех ленты были поверх мундиров) с растрепанными волосами, в большом халате, под которым не было брюк». Посреди этой поистине восточной сцены вдруг возник *valet de chambre* [камердинер (*фр.*). – *Прим. перев.*] императрицы и прошептал что-то Потёмкину на ухо. «Он тотчас же запахнулся, поклоном отпустил всех и, проходя в дверь, которая вела в собственные покои императрицы, отправился к ней в этом простом одеянии» [26]. Сама Екатерина уже проснулась пятью часами ранее.

Затем он мог одеться – или же не одеться. По мнению де Линя, Потёмкин любил эпатировать окружающих и избирал для этого «самые привлекательные или самые отталкивающие способы». Ему нравилось одеваться и раздеваться. На торжественных мероприятиях его наряд был самым пышным – Потёмкин «речью, осанкою и движениями представлял из себя *grand seigneur* [вельможу (*фр.*). – *Прим. перев.*] времен Людовика XIV». После его смерти была составлена опись нарядов, хранившихся в его дворце: в списке числятся эполеты с рубинами стоимостью 40 000 рублей, бриллиантовые пуговицы стоимостью 62 000 рублей, а также инкрустированный бриллиантами портрет императрицы, который он всегда носил с собой, стоимостью 31 000 рублей. Одна из его шляп, стоившая 40 000 рублей, была столь щедро усыпана тяжёлыми драгоценными камнями, что её вслед за Потёмкиным нёс адъютант. Даже подвязки для его чулок

были оценены в 5 000 рублей. Стоимость всего наряда составляла 276 000 – 283 000 рублей. Однако его очень часто видели небрежно лежащим «на софе, с распущенными волосами, в халате или шубе, в шальварах». Он предпочитал меха: князь «не может жить без мехов. Он ходит либо в безрукавке и без штанов или в богато отделанной форме» [27]. Иностранцы, глядя на него, считали, что человек в халате – бездельник, но это было не так: в накидке или в военном мундире, Потёмкин обычно работал с большим трудолюбием.

Когда Сегюр прибыл в Петербург, светлейший князь привёл его в ужас: он встретил французского посла в меховой накидке. Тогда Сегюр пригласил его на обед и встретил гостя в том же наряде, чем немало позабавил князя – хотя, пожалуй, такая выходка могла сойти с рук только близкому другу Марии-Антуанетты. В этом костюмном безумии был политический умысел: церемонии при екатерининском дворе становились всё более пышными, а само аристократическое общество всё сильнее стратифицировалось, придворные соревновались в умении вызывающе наряжаться, не нарушив при этом правил этикета. Фавориты императрицы с особым усердием демонстрировали свое богатство и власть, украшая себя кружевами, перьями и бриллиантами. Костюм фаворита символизировал его влиятельность и процветание [28]. Небрежно наброшенные на плечи меха Потёмкина означали, что он уже не просто фаворит. Они подчёркивали его недосягаемый статус: князь возвышался над всем императорским двором. Он был супругом императрицы.

Князь уже несколько часов был на ногах: просматривал бумаги, которые приносил Попов, принимал просителей и беседовал с императрицей. Но случались дни, когда он пребывал в унынии и не мог даже встать с постели. Однажды он призвал Сегюра в свою спальню, объяснив, что «из-за тоски не может ни встать, ни одеться». Харрис считал, что причиной этих недомоганий был исключительно «его своеобразный образ жизни» [29]. Светлейший князь в самом деле жил в постоянном напряжении. Жизнь фаворита, а тем более тайного супруга, была полна стресса, поскольку его власть то и дело стремились свергнуть, и ему приходилось постоянно защищаться от новых претендентов на его место[92]. В эпоху, когда чиновничья система не поспевала за быстрым расширением государства, обязанности главного министра были изнуряющими – неудивительно, что такие государственные деятели, как Питт и Потёмкин, умерли в 46 и 52 года [30].

Потёмкину всё время нужно было чем-то занять руки и рот,

поэтому он «грыз либо ногти, либо яблоки и репу». Он кусал ногти даже в присутствии монархов, чем вряд ли располагал их к себе [31]. Но он слишком увлекался процессом и часто страдал от инфицирования заусенцев. Екатерина воспринимала эту черту как часть его своеобразного обаяния [32]. Когда родился великий князь Александр, императрица шутила, что младенец «жуёт свои ногти в точности как князь Потёмкин» [33].

Его настроение всё время менялось – от «подозрительности к уверенности, зависти или благодарности, сварливости или любезности», – вспоминал о нём де Линь. Кризисы и всплески трудолюбия обычно сопровождались приступами недомогания, что вызывало сочувствие у других политиков – например, у сэра Роберта Уолпола, чьи лихорадочные приступы всегда наступали сразу после того, как долгожданный успех сменял тревогу. Отчасти это было следствием малярийной лихорадки, которую он перенёс в 1772 и 1783 годах. Утомление от дальних поездок, совершавшихся в большой спешке, бесконечных инспекций, политического напряжения, жары и холода, плохой воды могло подкосить любого человека: Пётр Великий, с которым у Потёмкина было немало сходств, путешествовал чаще и стремительнее остальных русских правителей и в дороге постоянно страдал от лихорадки. Необходимость объездить всю Россию сделала жизнь Потёмкина тяжелее, поскольку зачастую ему буквально приходилось быть в двух местах одновременно.

Из-за невероятно буйного темперамента потёмкинский жаркий энтузиазм мог через мгновение смениться глубочайшей депрессией. «Иногда его охватывало безразличие, почти обездвиживая его, а иногда он был способен на невероятные усилия». Когда он находился в депрессии, то погружался в молчаливые думы, а порой и в отчаяние, напоминавшее безумие. Он мог призвать к себе двадцать адъютантов и отказаться говорить с ними. Иногда он молчал часами. «За ужином я сидела рядом с князем Потёмкиным, – вспоминала леди Крейвен, – но за исключением приглашения отведать еды и выпить я не услышала от него ни одного звука» [34].

Вероятно, он страдал циклотимическим или даже биполярным аффективным расстройством, из-за которого то опускался на самое дно депрессии, неподвижности и отчаяния, то бывал охвачен гипоманией, всплеском энергии, бурной радостью и активностью. О Потёмкине часто говорили, что он склонен к мании, и его эйфория, неуёмная говорливость, бессонница, мотовство и гиперсексуальность в самом деле призрак циклотимического расстройства. Но также ему свойственна и «неутомимая творческая энергия», благодаря которой Потёмкин

мог делать множество дел одновременно, и во время активных периодов жизни ему удавалось достичь большего, чем под силу обычному человеку. Его бесконечный оптимизм часто оказывался чем-то вроде самоисполняющегося пророчества. Он также добавлял образу князя соблазнительности и сексуальной привлекательности. С подобными людьми непросто ужиться, но они, как правило, удивительно талантливы[93]. Иногда они обладают выдающимися способностями к лидерству как раз потому, что страдают от своих маниакальных расстройств [35].

Люди, близко знавшие Потёмкина, восхищались его «живым воображением», но укоряли его за переменчивость. «Никто не соображал с такою быстротою какой-либо план, не исполнял его так медленно и так легко не забывал» [36], – писал Сегюр. Это противоречит масштабам его свершений, но именно такое впечатление Потёмкин и производил. Линь был ближе к правде, когда сказал, что светлейший князь «выглядит бездельником и беспрерывно занят».

Ему удавалось делать несколько дел одновременно: когда Сегюр навестил его, чтобы обсудить возможность содействия французскому купцу Антуану в Херсоне, князь велел дипломату зачитать свой меморандум вслух. Но Сегюр был удивлён, увидев, что пока он «читал эту записку, без сомнения достойную внимания, к князю входили один за другим священник, портной, секретарь, модистка и что всем им он давал приказания». Француз рассердился. Потёмкин с улыбкой «настоятельно просил [Сегюра] продолжать». Тот ушёл раздосадованным, однако три недели спустя он получил из Херсона письмо от Антуана, который сообщал, что все его просьбы к князю были удовлетворены. Сегюр поспешил к Потёмкину с извинениями: «Только что вошел я, как он встретил меня с распростертыми объятиями и сказал: «Ну что, *батюшка*, разве я вас не выслушал, разве я вас не понял? Поверите ли вы наконец, что я могу вдруг делать несколько дел, и перестанете ли дуться на меня?» [37]. Но он занимался лишь теми делами, которыми ему вздумается и когда ему вздумается.

Если он пребывал в унынии или просто отдыхал, то никакие бумаги не подписывались и останавливалась работа доброй половины российского правительства. Секретари потёмкинской канцелярии были в отчаянии, и однажды некий бойкий весельчак, чье «прозвание было сходно» с петухом, похвастался, что сможет подписать нужные документы у Потёмкина. Разыскав князя, он показал ему кипу срочных бумаг. «Ах!.. Ты очень кстати пришёл! Самое свободное время», – с этими словами Потёмкин ласково пригласил юношу в свой кабинет и всё подписал. Секретарь

отправился похвалиться своими успехами в канцелярии. Но когда чиновники принялись разбирать бумаги, то неудачливый юноша обнаружил, что на каждой из них Потёмкин написал следующие слова: «петух», «петушок», «петушочик», «петушишко», «петушоночек». Порой он был ребячлив до бесстыдства.

Каждый день Потемкин старательно игнорировал и презрительно отворачивался от множества князей, генералов и послов, которые толпились в приёмной в надежде снискать его милость. Лёжа на диване в меховой накидке, полуобнажённый Потёмкин подзывал их движением пальца [39]. Дипломаты боялись, что их выставят дураками, и прятались в каретах за пределами дворца, а к Потёмкину посылали подчинённых, чтобы те дожидались, пока князь соизволит принять их начальников [40].

Светлейший князь не выносил подхалимства и изобретал соответствующие наказания, чтобы поддразнить льстецов, но он уважал и щедро вознаграждал храбрость. «Как мне надоели эти подлые люди», – пожаловался он однажды. Остроумный, но льстивый писатель Денис Фонвизин воспользовался шансом и ответил: «Да на что же вы их к себе пускаете, велите им отказывать».

«Правда, – сказал князь, – завтра же я это сделаю». На следующий день Фонвизин прибыл во дворец, радуясь, что избавился от своих соперников среди потёмкинской свиты. Но швейцар не пустил его.

– Ты, верно, ошибся, – сказал Фонвизин, – ты меня принял за другого.

– Нет, – отвечал тот. – Я вас знаю, и именно его светлость приказал одного вас только и не пускать, по вашему же вчера совету.

Как-то раз один генерал, долгие часы прождав в приёмной, закричал, что он «не капрал», и потребовал, чтобы его приняли во что бы то ни стало. Потёмкин велел проводить его прямо в кабинет. Когда генерал вошёл, князь стал медленно подниматься из своих кресел – невиданная честь для гостя.

– Помилуйте, ваша светлость!.. Не беспокойтесь! – сказал восхищённый генерал.

– Ох, отвяжись, братец, – отвечал князь. – Меня на сторону понуждает»[94].

Когда обедневший старый полковник вошёл к нему в кабинет просить о пенсионе, Потёмкин рявкнул: «Гони его вон!» Адъютант направился к полковнику, но тот поверг его «на пол одною пощёчиною» и принялся избивать его. Потёмкин подбежал к

сражающимся, растащил их и проводил его до «его квартиры». Потёмкин определил его в коменданты и приказал оплатить путевые издержки и иные расходы [42].

Светлейший князь никого не боялся и ощущал, что почти царственное положение вознесло его выше, чем любого аристократа: он чувствовал куда больше общности с русским крестьянином или европейским космополитом, чем с русским дворянином. В Могилёве, играя в фараон и поймав местного губернатора на шулерстве, он схватил его за ворот и поколотил. Однажды он поднял руку на *grand seigneur* князя Волконского за то, что тот аплодировал одной из потёмкинских шуток. «Вы хлопаете мне, словно шуту! – крикнул он и отвесил Волконскому пощёчину. – Вот как следует обращаться с такими негодяями». В наказание аристократа не допускали к княжескому столу целую неделю, но вскоре он получил прощение [43].

Полдень

Как только аудиенции завершались, к князю вновь приходил Попов с кипами бумаг на подпись. Потёмкин мог соперничать с Кауницем в борьбе за звание главного ипохондрика Европы: доктора осматривали его, пока он занимался бумагами. «…На князя излился поток прошений. Не знаю, как у него хватает терпения отвечать стольким нахалам, которые набрасываются на него со всех сторон», – писал Миранда [44]. Среди этих «нахалов» были и немецкие принцы, и русские вдовы, и греческие пираты, и итальянские кардиналы. Во всех письмах встречалась фраза «настойчиво прошу», и очень часто просители желали получить земли на юге России или возможность служить в его армии. Может показаться, что Потёмкин состоял в переписке чуть ли не с каждым князем Священной Римской империи – он называл эту страну «архипелагом князей». Даже короли приносили свои извинения, если их письма оказывались слишком длинными. «Знаю по собственному опыту, – писал король Польши Станислав Август, – как нежелательны бывают длинные письма для занятого человека…»

Он получал множество курьёзных писем, полных самой невообразимой лести: к примеру, напоминавший Самграсса профессор Батай прислал оду в честь Екатерины и добавил: «Разве могу я писать, не упомянув Вашей светлости? Извольте, Ваше Сиятельство, взглянуть на плод моих трудов» [45]. На многие письма отвечали пятьдесят чиновников потёмкинской передвижной канцелярии, но тем не менее ходили слухи, что он забывал отвечать на письма таких высокопоставленных адресатов, как король Швеции; фельдмаршал Лаудон, шотландец, живший в

Австрии, жаловался Иосифу Второму, что «князь Потёмкин не соблаговолил ответить на два письма, которые тот ему отправил».

Среди прошений были также и трагические просьбы о помощи от несчастных представителей самых разных сословий. Взглянув на них, мы узнаём кое-что о повседневной жизни той эпохи: один из протеже Потёмкина благодарит князя за содействие в женитьбе на одной из девушек Нарышкиных, которая, однако, вдруг открылась жениху в том, что задолжала 20 000 рублей (очевидно, в карточных играх, например, фараоне – в те годы любовь к этой игре стала сродни героиновой зависимости). Порой к князю обращались попавшие в беду аристократы – например княгиня Барятинская, писавшая ему из Турина: «Я сражаюсь с ужасами нищеты», но «вы, мой князь, можете сделать счастливой женщину, которая всю жизнь прожила в несчастье». Немецкий граф, уволенный императрицей со службы, пишет: «Мне более не под силу содержать постоянно хворающую жену, четырнадцатилетнюю дочь и сыновей…» Некий человек без звания просит: «Умоляю вас сжалиться над нами…» Как это свойственно Потёмкину, не обошлось и без экзотики: один загадочный отправитель по имени Илайес Абэз, *soi-disant* князь Палестины, признавался ему: «Нужда в деньгах, кредитах и самых скромных предметах обихода заставляет меня умолять Ваше высочество о покровительстве и благосклонности… чтобы помочь мне уехать… зима близится». Письмо подписано по-арабски. Был ли это Вечный жид или араб с палестинских территорий Османской империи? Что он делал в Петербурге в августе? И помог ли ему Потёмкин? «Ваше высочество, – гласит следующее письмо, – соблаговолили оказать мне милосердную помощь» [47].

Многие ответы написаны рукой самого князя – его неразборчивым наклонным почерком, на русском или французском языке. Он настолько доверял Попову, что излагал ему свои пожелания, а секретарь записывал их и отправлял письма от его имени. Потёмкин чрезвычайно снисходительно относился к своим подчинённым, даже если они совершали ошибки [48]. Сначала он повторял им свой приказ. Если это не помогало, то пускал в ход едкий, но забавный сарказм. Когда адмирал Войнович принёс свои извинения за то, что посадил корабль на мель, князь ответил: «Рад услышать, что корабль “Александр” успешно столкнули с отмели, но я бы предпочёл, чтобы он там не оказался… Мне отрадна ваша уверенность в том, что эта неприятность заставит офицеров трудиться более исполнительно, но я желаю и требую исполнительности без неприятностей… Капитан Баронов называет себя опытным

моряком, но я бы охотнее поверил ему в этом, если бы он сажал на мель турецкие корабли, а не наши собственные» [49].

Перед обедом князь любил побыть около часа в одиночестве. В эти минуты отдыха ему постоянно приходили в голову политические идеи, которые столь выгодно отличали его от других советников Екатерины. Попов и другие секретари старались пореже отвлекать светлейшего. Таково было золотое правило: один из секретарей, не усвоив его, был уволен за то, что осмелился проронить слово. Отдохнув, князь требовал принести его драгоценности.

Драгоценные камни успокаивали Потёмкина не хуже, чем музыка. Он усаживался с небольшой пилкой в руках, серебряными украшениями и ларцом с бриллиантами [50]. Иногда посетители видели, как он, подобно гигантскому ребёнку, в задумчивости играет с камнями, пересыпая их в ладонях, выкладывая из них узоры и фигурки, до тех пор, пока не найдёт решение проблемы [51].

Он осыпал бриллиантами своих племянниц. Элизабет Виже-Лебрен говорила, что шкатулка с драгоценностями, которую Скавронская привезла с собой в Неаполь, была самой роскошной, которую художница когда-либо видела. Де Линь был изумлён, увидев принадлежавшую Потёмкину покрытую бриллиантами накидку стоимостью 100 000 рублей [52]. Драгоценные камни – ещё один удачный способ снискать расположение. «Посылаю вам небольшой алый рубин и синий рубин покрупнее» [53], – пишет муж Сашеньки Браницкой в одном из своих до неприличия услужливых писем. Переписка Потёмкина с его ювелирами полна нетерпеливого воодушевления с его стороны. «Посылаю Вашему высочеству рубин Святой Екатерины, – писал Алексис Деуза, вероятно, греческий мастер, работник потёмкинской камнерезной фабрики в Озерках. – Он не так хорош, как мне хотелось бы; чтобы искусно выполнить такую работу, надобен валик, а тот, что Ваше высочество заказали, будет готов только через десять… дней, и я сомневаюсь, что мне следует его дожидаться. Думается мне, что Ваше высочество желает получить рубин немедленно» [54]. Масштаб его трат свидетельствует о том, какой страстной была его тяга к бриллиантам: он задолжал многим торговцам за «бриллианты, жемчуга, аметисты, топазы и аквамарины» [55]. Драгоценности должны были быть изысканными и прекрасными. Вот лишь один из множества подобных счетов, отправленный в феврале 1784 года французским ювелиром Дювалем:

Большой сапфир в 18.¾ карата – 1500 рублей

Два бриллианта в 5.⅜ карата – 600 р.
10 бриллиантов в 20 каратов – 2200 р.
15 бриллиантов в 14.5 каратов – 912 р.
78 бриллиантов в 14.5 каратов – 725 р…. [56]

Потемкина интересовали не только драгоценные камни: в счёте, направленном его банкиром Теппером из Варшавы, упоминаются две золотых табакерки с бриллиантовой гравировкой, две пары золотых часов (одни – с репетиром и выгравированные бриллиантами), souvenir-à-brilliants [бриллиантовые сувениры (*фр.*). – *Прим. перев.*], нотные записи, восемнадцать писчих перьев, пошлины за ввоз картин из Вены, жалованье польскому агенту влияния, 15 000 рублей «еврею Осии» за исполнение неведомого поручения. Итоговая сумма по счёту составила почти 30 000 рублей [57].

К оплате своих счетов Потёмкин относился весьма небрежно, и эта небрежность тоже породила множество анекдотов. У входа в его апартаменты почти всегда в числе прочих толпились ювелиры и ремесленники, не получившие причитавшихся им денег. Говорили, что по прибытии кредитора Потёмкин подавал Попову условный знак: открытая ладонь означала, что торговцу надо заплатить, а сжатый кулак – отказать. Никто из обиженных не решался пойти на публичный конфликт с князем в присутствии придворных. Но ходили слухи, что швейцарский придворный ювелир Фаси подсунул свой счёт под тарелку Потёмкина, когда тот обедал с императрицей. Светлейший князь сперва решил, что это любовная записка, а когда прочёл, разгневался. Екатерина засмеялась, а Потёмкин, всегда уважавший смелость, всё-таки оплатил счёт. Но чтобы проучить ювелира за нахальство, он велел отсчитать ему всю сумму в медяках – их оказалось достаточно, чтобы усыпать две комнаты [58].

Обед

Около часу дня ювелиров выпроваживали, и начинали подтягиваться гости, приглашённые к Потёмкину на обед – основной приём пищи в восемнадцатом веке. Для них накрывали стол на восемнадцать персон. Обычно среди приглашённых были офицеры, приезжие гости и те, кто был в тот момент его лучшими друзьями – от Сегюра и де Линя до леди Крейвен и Сэмюэля Бентама. Потёмкин дружил с такой же страстью, как и любил, и его дружеские связи часто оканчивались разочарованием. «Самый надёжный способ добиться его дружеского расположения – не бояться его», – писал Сегюр. Когда он прибыл в Петербург и посетил Потёмкина, то был вынужден так долго ждать, что

вспылил и ушёл. На следующий день князь отправил ему письмо с извинениями, пригласил снова зайти к нему и встретил Сегюра в великолепном наряде, каждый шов которого был украшен бриллиантами. Когда Потёмкин, в очередной раз будучи в депрессии, не мог встать с постели, он сказал Сегюру: «Любезный граф, я истинно расположен к вам, и если вы сколько-нибудь любите меня, то будемте друзьями и бросим всякие церемонии». Подружившись с кем-то, он предпочитал общество этого человека компании самых высокопоставленных особ, как, например, случилось с Сэмом Бентамом [59]. Потёмкин был преданным другом: в личной беседе он держался ласково и сердечно, хотя на публике мог вести себя «надменно и высокомерно». Вероятно, это было связано с его поразительной застенчивостью [60]. Как-то раз Миранда даже увидел, как тот сконфуженно покраснел из-за раболепного внимания к своей персоне [61].

Князь был замечательным собеседником в эпоху, когда это искусство особенно ценилось. «Потёмкин то серьёзен, то весел, – вспоминал Сегюр, – всегда готов обсудить какой-нибудь богословский вопрос, от степенности легко переходит к смешливости и не кичится своими познаниями». Де Линь говорил, что если князь желал очаровать кого-то, то ему это без труда удавалось, ведь он владел «искусством завоёвывать сердца». Он был невероятно благодарным, приятным и в то же время невыносимым собеседником: «бранился или хохотал, дразнился или сквернословил, принимался капризничать или погружался в молитвы, пел или пребывал в задумчивости». Он мог быть «необыкновенно обходительным или крайне грубым». Но под его «грубостью» часто скрывалась «величайшая душевная доброта». Бентам никогда не ощущал такой «весёлости», которая сопутствовала им с Потёмкиным, когда они путешествовали в одной карете. Поэт Г.Р. Державин вспоминал, что Потёмкин «имел весьма сердце доброе и был человек отлично великодушный». Он также обладал удивительным добродушием. «Чем более я узнаю его характер, говорил Сэм Бентам Полу Кэрью, – тем более оснований имею его ценить и восхищаться им» [63].

Его гениальность причудливо сочеталась с искренним человеколюбием и заботой о простых людях, особенно солдатах, что в эпоху «пушечного мяса» было весьма редким явлением. Де Линь заметил, что князь никогда «не проявлял мстительности, просил прощения за боль, которую причинял, и сразу исправлял свои ошибки, если судил несправедливо». Приобретя польские земли князя Любомирского, он приказал: «Все находящиеся в… имении виселицы предписываю тотчас же сломать, не оставляя и

знаку оных; жителям же объявить, чтобы они исполняли приказания господские из должного повиновения, а не из страха казни» [64]. Цель его военных реформ состояла в том, чтобы сделать солдатскую жизнь более комфортной – для XVIII века это была совершенно новаторская идея; хотя в то же время князь стремился и к тому, чтобы повысить боеспособность войск. Его неоднократные распоряжения о смягчении наказаний совершенно уникальны для российской армии: вновь и вновь он приказывал ограничить физическое насилие. «…Отнюдь не позволять наказывать побоями, а понуждать ленивых палкою не более шести ударов, – писал он в одном из приказов. – Побоев жестоких не употреблять» [65]. Его неустанные распоряжения кормить войска тёплой питательной едой звучат абсолютно современно, хотя тогдашние российские генералы считали, что это разбалует солдат [66].

«Он был вовсе не мстителен, не злопамятен, а его все боялись» [67], – вспоминал в своих мемуарах Вигель, который был убеждён, что именно этим объяснялось противоречивое отношение к Потёмкину. Его терпимость и добродушие озадачивали русских людей. «…Взор его, все телодвижения, казалось, говорили присутствующим: “вы не стоите моего гнева”». Его невзыскательность, снисходительность весьма очевидно проистекали от неистощимого его презрения к людям» [68].

Обед подавали около 13:30, и даже если гостей было всего шестнадцать (как, например, на одном из обедов, который посетила леди Крейвен в Тавриде), для них играл духовой оркестр из шестидесяти человек [69]. Князь был известным эпикурейцем и гурманом – Щербатов обвинял его во «властолюбии» и «обжорливости» [70]. В периоды политической нестабильности еда, должно быть, его успокаивала, а возможно, служила ему топливом, словно уголь для паровоза. Он продолжал наслаждаться простой крестьянской пищей, однако в то же время лакомился каспийской икрой, гамбургским копчёным гусём, нижегородскими огурцами, калужской выпечкой, балтийскими устрицами, дынями и апельсинами из Астрахани и Китая и прованским инжиром. На десерт он предпочитал *pain doux de Savoie* [булочки из Савойи (*фр.*). – *Прим. перев.*] [71], и куда бы он ни приехал, всюду ему подносили его любимейшее блюдо – стерляжью уху, приготовленную из молодых осетров с Каспия. Вскоре после того, как в 1780 году Реджинальд Пол Кэрью прибыл в Петербург, он был приглашён к Потёмкину на «обычный» обед и впоследствии описывал поданные ему «изысканные деликатесы»: «замечательное белое мясо телёнка из

Архангельска, аппетитная нога ягнёнка из Бухары малой, молочный поросёнок из Польши, персидское варенье, каспийская икра» [72]. Все блюда приготовил Баллез[95], французский *chef de cuisine* [шеф-повар (*фр.*). – *Прим. перев.*] князя [73].

Светлейший князь был также большим ценителем вин – не только собственных из крымского Судака, но, как пишет Кэрью [74], из всех «европейских портов и островов Греции, с полуострова Кейп-Код и с берегов Дона». И конечно, ни одно застолье не могло обойтись без шампанского [75]. Если русский посол в Южной Европе, как, к примеру, Скавронский в Неаполе, желал заручиться покровительством князя, он отправлял ему античную колонну и несколько бочек вина [76].

Однажды на пике своей славы светлейший князь сел пообедать. Он был весел и во время обеда непрестанно шутил, а затем вдруг притих и принялся грызть ногти. Гости и слуги, замерев, ожидали, что же он скажет. Наконец он произнёс: «Может ли человек быть счастливее меня? Всё, чего бы я ни желал, все прихоти мои исполнялись, как будто каким очарованием: хотел чинов – имею, орденов – имею; любил играть – проигрывал суммы несчетные; любил давать праздники – давал великолепные; любил строить дома – построил дворцы… Словом, все страсти мои в полной мере выполнялись». С этими словами князь швырнул на пол стопку баснословно дорогих тарелок китайского фарфора, разбил их вдребезги, умчался в свои покои и заперся на ключ.

Потёмкин терзался собственной пресыщенностью: он считал себя «баловнем судьбы» и часто признавался в этом. Но порой масштаб собственных успехов внушал ему отвращение. Возможно, это глубоко русская черта: он стыдился своей безграничной власти и гордился своей мятущейся душой; его отталкивала холодная механистичная бюрократия, зато он ценил свою способность к бесконечным страданиям и самоуничижению, в которой кроется секрет величия подлинно русского характера. Его жажда славы, богатства и наслаждений была неутолима, но все эти удовольствия не приносили ему счастья. Лишь величайшие достижения в политике, войне, красоте, музыке и искусстве, или высоты религиозного мистицизма могли служить оправданием бесстыдству чистой власти [77].

Однажды он позвал адъютанта и велел подать кофе. Слуга помчался исполнять веленное. Затем он вновь отдал тот же приказ. За кофе отправили второго посыльного. Разъярившись, он повторял приказ снова и снова. Когда кофе наконец прибыл, Потёмкин сказал: «Не надобно, я только хотел чего-нибудь ожидать, но и тут лишили меня сего удовольствия!» [78].

После полудня: час любви

Послеобеденные часы в России обычно называли «временем любви» – подобно французскому *cinq-à-sept* [с пяти до семи (*фр.*). – *Прим. перев.*] и испанской сиесте. В эти часы, должно быть, сновали туда-сюда закрытые кареты, и служанки приносили в дом Потёмкина любовные записки. Всё больше замужних женщин теперь осыпали его письмами, умоляя о встрече. Одна из них неизменно приветствовала его: «Здравствуйте, мой необыкновенный друг!» Эти неопубликованные записки, написанные от руки на смеси французского и русского, не подписаны и не датированы; они занимают большую часть архива. «Я не смогла доставить вам удовольствие, поскольку мне не хватило времени – вы ушли так скоро», – пишет другая женщина круглым девичьим почерком. Те же слова повторялись и в остальных записках. В очередном письме та же женщина говорит: «С нежностью и нетерпением жду момента, когда смогу поцеловать вас. А пока я с той же нежностью целую вас в своих мечтах».

Причуды и капризы светлейшего князя доставляли много страданий его любовницам. «Вы заставляете меня сходить с ума от любви», – писала одна из них. Беспокойный характер Потемкина и долгие отъезды на юг придавали ему то особое обаяние, которое сопутствует недоступности: «Я так сердита на то, что лишена наслаждения упасть в ваши объятья, – пишет одна из женщин. – Помните: я молю вас верить в то, что я принадлежу лишь вам одному!» Но похоже, что Потёмкин недолго помнил об этом. «Не забывайте обо мне, – умоляла она его позднее. – Вы *уж позабыли*». Ещё одна женщина мелодраматически объявила, что «если бы я не жила надеждой на вашу любовь ко мне, то отдалась бы в руки Смерти». Наконец, доведённые до отчаяния тем, что Потёмкин не стремился связать себя никакими обязательствами, девушки были вынуждены сдаться и примириться с ним: «Не желаю ворошить прошлое и сотру из памяти всё, кроме того, что любила вас, и этого достаточно для того, чтобы искренне пожелать вам счастья… *Adieu, mon Prince* [Прощайте, мой князь (*фр.*). – *Прим. перев.*]» [79].

Он привык, словно султан, возлежать на своём диване в окружении женщин, и называл свой гарем «курятником». Ему всегда доставляла удовольствие женская компания, и он не считал нужным держать в узде свои «эпикурейские» аппетиты [80]. Его *maitresse en titre* [официальную любовницу (*фр.*). – *Прим. перев.*] дипломаты называли «главной султаншей». Несмотря на всё это, Потёмкин «благородно» обращался со своими

любовницами – если верить Самойлову, который, вероятно, знал, о чём говорил, поскольку его жена предположительно была одной из них: любовные связи Потёмкина всегда были движимы страстью, а не тщеславием, «как часто случается с людьми знаменитыми» [81]. Его подчинённые знали, что им следует держать своих жён подальше от глаз Потёмкина, если они хотят сохранить их честь. «Его рассеянно-прихотливый взгляд в обществах иногда останавливался или, лучше сказать, скользил на приятном лице моей матери», – вспоминал Вигель. Как-то раз один из «шутов» в княжеской свите сказал ему, что у матери Вигеля прелестные маленькие ножки. «Неужели? – удивился Потёмкин. – Я не приметил. Когда-нибудь приглашу ее к себе и попрошу показать мне без чулка». Отец Вигеля немедля отправил её в деревню [82].

Если Потёмкину становилось скучно, он часто приезжал во дворец обер-шталмейстера Льва Нарышкина, друга Екатерины и известного фигляра, где вся знать ела, пила и плясала дни и ночи напролёт. Потёмкин считал этот дом своим приватным клубом – обычно он сидел в отдельном алькове – поскольку это было идеальное место для встреч с его высокопоставленными замужними любовницами. «Это был *foyer* [приют (*фр.*). – *Прим. перев.*] веселья и, можно сказать, место свидания всех влюбленных, – писал Сегюр. – Здесь, среди веселой и шумной толпы, скорее можно было тайком пошептаться, чем на балах и в обществах, связанных этикетом». Здесь князь отдыхал, порой в молчании, порой «в весёлой беседе с женщинами – хотя в других местах он предпочитал не вступать ни с кем в разговоры». Потёмкина, «который почти никуда не выезжал», привлекали дочери Нарышкина – он «всегда» уединялся с ними «тет-а-тет». Очевидно, он старался сблизиться с ними: «в отсутствие своей племянницы он находил утешение в обществе мадам де Соллогуб, дочери мадам Нарышкиной», – писал Кобенцль своему императору. Иван Соллогуб был одним из его генералов. Всем офицерам Потёмкина приходилось содействовать его завоеваниям как на поле боя, так и в их собственном семейном кругу [83].

Князь всё ещё оставался главной фигурой в жизни всех своих племянниц и при любом удобном случае вмешивался в их семейные дела. Его «ангел плотских наслаждений» Катенька Скавронская некстати отбыла к своему романтическому мужу в Неаполь, но мы можем проследить маршрут её поездки по Европе благодаря распоряжениям, которые Потёмкин отдавал своим банкирам, оплачивая её счета. Когда она проезжала через Вену, даже император Иосиф был вынужден развлекать [84] «твоего

котёнка», как снисходительно называла её Екатерина [85]. В 1786 году Катенька была «прекраснее, чем когда-либо», если верить искушённому Кобенцлю, и всегда оставалась «любимой султаншей» дядюшкиного гарема [86].

Энергичная Сашенька Браницкая отличалась такой же властностью, что и Потёмкин: они беспрестанно спорили, даже в периоды особой близости. В 1788 году светлейший князь предпринял попытку устранить мадемуазель Гибо с её должности в одном из домов Энгельгардтов. Гибо – француженка из свиты Потёмкина, которая предположительно выкрала письмо Харриса, а затем стала компаньонкой его племянниц и управляющей княжеским сералем. Браницкая отказалась увольнять её, и Потёмкину пришлось написать со всей настойчивостью, что Гибо «желает, чтобы моя племянница навсегда оставалась дитятей». Нам неизвестно, о какой из племянниц идёт речь; все они к тому моменту уже вышли замуж. Браницкая, очевидно, заверила француженку, что та в безопасности, и это привело Потёмкина в ярость: «Я – хозяин в собственном доме, и желание моё – закон. Не возьму в толк, как графиня Браницкая посмела успокоить её против моей воли…» Князь считал, что «моё высокое положение доставляет многие выгоды моим родственникам; они всем обязаны мне и без меня прозябали бы в нищете…» В завершение он пишет: «На то есть множество причин, но наиважнейшая из них – что я этого желаю» [87].

Вечер

В половину одиннадцатого, когда императрица с фаворитом удалялись, Потёмкин, который ранним вечером обычно находился подле неё, в Малом Эрмитаже или на балу, получал свободу. Его день только начинался. Ночь была для него самым плодотворным временем, когда он по-настоящему оживал. Пожалуй, абсолютизм – это власть, которая подчиняет себе даже законы времени. Потёмкин не замечал часов, и его подчинённым приходилось поступать так же: де Линь говорил, что князь в своей непреходящей бессоннице «постоянно лежал, но не спал ни днём, ни ночью» [88].

Ночь

Сэр Джеймс Харрис испытал на себе своеобразие ночных привычек князя: «Его режим еды и сна постоянно меняется, и мы с ним нередко выезжали в полночь под дождём в открытой карете» [89]. Это звучит совершенно по-потёмкински.

Потёмкин был бесконечно любопытен и всё время задавал вопросы, дразнил и провоцировал своих собеседников, говоря о

религии, политике, искусстве и сексе – «самый усердный вопрошатель в мире». Его манера расспрашивать обо всём напомнила Ришелье о «пчеле, которая с помощью соцветий, чью пыльцу она сосёт, способна создать изысканное вещество». В данном случае «мёд» – это энергичная и язвительная беседа, которую Потёмкину удавалось вести благодаря своей безукоризненной памяти и прихотливому воображению [90].

Все, кто знал Потёмкина, и даже те, кто недолюбливали его, – признавали, что он обладал удивительным умственным багажом: «Потёмкин был одарён не только изумительной памятью, но и от природы живым, подвижным умом…» [91]. Де Линь считал, что Потёмкину были свойственны «природный ум, превосходная память, возвышенность души, коварство без злобы, хитрость без лукавства, счастливая смесь причуд…», и он умел «угадывать то, чего он сам не знает, и величайшее познание людей». Не каждому иностранцу нравился Потёмкин: сэр Джон Синклер называл его «никчёмным и опасным человеком», но даже он подтверждал, что у Потёмкина были «огромные способности» [92]. Ему вторили более проницательные русские критики Потёмкина: Семён Воронцов писал, что у князя «предостаточно ума, хитрости и влияния», но ему не хватает «знаний, прилежания и добродетели» [93].

Сегюра часто поражала широта познаний Потёмкина, и «уму его дивились все, не только люди государственные и военные, но и путешественники, *savants* [учёные (*фр.*). – *Прим. перев.*], литераторы, художники, даже ремесленники». Все знавшие его свидетельствовали, что он «прекрасно разбирался в антиквариате». Его познания в архитектуре, искусстве и музыке произвели впечатление на Миранду, его спутника в южных путешествиях. «Это человек, наделенный сильным характером и исключительной памятью, стремится, как известно, всячески развивать науки и искусства и в значительной мере преуспел в этом», – вспоминал венесуэлец их беседу о музыке Гайдна и Боккерини, полотнах Мурильо и письмах Шапп д'Отроша – как выяснилось, Потёмкин был обо всём этом отлично осведомлён [94]. Неудивительно, что Роже де Дама был обязан «странному» Потёмкину «самыми душеполезными и приятными моментами своей жизни» [95].

Его познания в русской истории тоже изумляли собеседников. «По вашей милости хронология моей «Истории России»… становится самой блестящей частью», – писала ему Екатерина, имея в виду его помощь в написании «Записок касательно российской истории». Они оба любили историю. «Я много лет посвятила изучению сего предмета, – сообщает

Екатерина Габриэлю Сенаку де Мейлану, французскому чиновнику и писателю. – Я всегда любила читать книги, которые никто больше не читает. Мне удалось найти только одного человека с такой же склонностью – это фельдмаршал князь Потёмкин» [96]. Это было одно из многих совместных увлечений, которые сближали их. Когда турки повесили переводчика «Истории Армении» – одной из любимых потёмкинских книг, «князь Потёмкин был крайне рассержен», – шутливо писала Екатерина Гримму [97].

Он всегда мечтал обзавестись собственным печатным станком, и Иеремия Бентам пытался помочь ему в поисках [98]. Перед самым началом войны Потёмкин наконец-то раздобыл станок, который затем во время военных действий возили вслед за ним повсюду, печатая политические брошюры и другие тексты на русском, французском, латыни и греческом, а также его собственные сочинения [99].

Сегюр и его приятель де Линь сообщали, что Потёмкин «черпал новые знания в беседах с людьми, а не в книгах». Это не так. Князь был весьма начитанным человеком. Пол Кэрью, который в начале десятилетия провёл подле него немало времени, заявлял, что своей образованностью Потёмкин обязан «усердному чтению в ранние годы» – отсюда и его «познания и любовь к греческому языку» [100]. Когда-то Потёмкин посоветовал Екатерине обучить юных великих князей греческому, что свидетельствует о его способности тонко чувствовать язык: «Невероятно, сколь много в оном приобретут знаний и нежного вкуса… Язык сей имеет армонию приятнейшую и в составлении слов множество игры мыслей» [101].

Он постоянно пополнял свою библиотеку и покупал книжные собрания учёных и друзей (например, архиепископа Булгариса), тем самым демонстрируя широту интересов: на его полках стояли все античные авторы от Сенеки, Горация и Плутарха до «Возлюбленных Сапфо», опубликованных в Париже в 1724 году; множество трудов по теологии, военному делу, сельскому хозяйству и экономике, в том числе «Монастырские обычаи», учебники по артиллерии, «Военные мундиры» и «Исследование о природе и причинах богатства народов» Адама Смита; целый ряд книг о Петре Великом и шедевры философской мысли – от Вольтера и Дидро до «Истории упадка и разрушения Римской империи» Гиббона. Его англофилия и страсть к английским паркам тоже оставили свой след: в библиотеке имелись книги по истории Англии, труды Локка и Ньютона, карикатуры Хогарта и, конечно, «Иллюстрированная Британия, или Виды лучших особняков и садов Великой Британии в двух томах». К концу

жизни его книжное собрание насчитывало 1065 изданий на иностранных языках и сто шесть на русском: его пришлось разместить в восемнадцати каретах [102].

Его политические убеждения были абсолютно русскими, несмотря на то, что *philosophes* [философы (*фр.*). – *Прим. перев.*] научили его терпимости, а размышления Бентама – утилитаризму. Он верил, что для такой огромной империи, как Россия, наилучшим режимом правления является абсолютизм. Правящая власть принадлежала женщине и государству, и он служил им. Три революции – американская, французская и польская – ужасали и завораживали его. Он подробно расспрашивал Сегюра об американцах, на стороне которых сражались французы, но «не верил в возможность существования республики в таких огромных размерах. Его живое воображение беспрестанно переходило от предметов важных к самым незначительным» [103]. Что же до Французской революции, Потёмкин как-то раз откровенно сказал графу де Ланжерону: «Полковник, ваши соотечественники – шайка безумцев» [104]. Князь был убеждён, что политика – это искусство безграничной гибкости и философского терпения, с помощью которых достигается определённая цель. «Запаситесь терпением, – поучал он Харриса, – и полагайтесь на него. Именно благодаря терпению, а не риторике, обстоятельства будут складываться в вашу пользу». Его политический девиз был «улучшать обстоятельства по мере их появления» [105].[96]

По словам де Линя, князь любил говорить «о богословии с генералами, а о военных делах с архиереями», а Лев Энгельгардт вспоминал, что Потёмкин «держал у себя ученых рабинов, раскольников и всякого звания ученых людей; любимое его было упражнение: когда все разъезжались, призывал их к себе и стравливал их, так сказать» [106]. Его «любимой темой» было «разделение греческой и латинской церквей», и единственным безотказным способом привлечь его внимание был разговор о «Никейском, Халкидонском и Флорентийском Соборах». Порой он мечтал основать религиозный орден, порой – стать странствующим монахом. Именно поэтому Фридрих Великий в 1770-х годах велел своему послу изучить православное богословие – верный путь к тому, чтобы подружиться с князем.

Он мог и пошутить на религиозную тему, подтрунивая над Суворовым за соблюдение постов: «Видно, граф, хотите вы въехать в рай верьхом на осетре», – но по существу был подлинным «сыном Церкви» и никогда не поддавался соблазну масонских лож [107]. И пусть он иногда колебался между монашеством и сибаритством, но без сомнения всегда оставался

глубоко верующим человеком и во время войны говорил Екатерине: «Христос Вам поможет, Он пошлет конец напастям. Пройдите Вашу жизнь, увидите, сколько неожиданных от Него благ по несчастию Вам приходило. ‹…› Апостол в Ваше вознесение пристал не на удачу», – а затем цитировал первые стихи шестнадцатой главы Послания апостола Павла к Римлянам [108]. Он часто мечтал об уходе в монастырь. «Будьте доброй матерью, приготовьте мне епископскую митру и тихую обитель…» – просил он Екатерину [109]. Религиозные догмы никогда не мешали Потёмкину получать свои удовольствия от жизни – Сегюру «случалось видеть, как он по целым утрам занимался рассматриванием образцов драгунских киверов, чепчиков и платьев для своих племянниц, митр и священнических облачений». От церковной службы он переходил к оргиям и обратно, «одной рукой крестясь, а другой приветствуя привлекательных женщин, обнимая ноги статуи Девы или алебастровую шею своей любовницы», – как писал де Линь [110]. Потёмкин, набожный человек и великий грешник, был «воплощением поразительной способности – жить внутренне праведно в оболочке непрестанного греха» [111].

Большую часть ночи Потёмкин проводил за столом, обитым зелёным сукном. Если французский был общеевропейским языком, то фараон – общеевропейской игрой: сквайр из графства Лестершир, шарлатан из Венеции, плантатор из Вирджинии и офицер из Севастополя играли в одну и ту же игру, не требующую слов. Полночная партия в фараон в потёмкинском дворце в середине 1780-х, вероятно, была очень похожа на игру в Чатсуорте, которую страстно любила Джорджиана, герцогиня Девонширская. Игроки сидели за овальным зелёным столом с деревянным бортиком, с двух сторон которого метали карты. *Tailleur* (банкомёт) сидел напротив *croup* [*здесь*: игроков (*фр.*). – *Прим. перев.*], и они делали свои ставки на карты, которые лежали лицом вверх по обе стороны бортика. Игроки могли удваивать ставки до *soixante et le va*, то есть до шестидесяти раз, сообщая об этом без слов – с помощью сложной системы загибания карт. Этим фараон особенно подходил Потёмкину: можно было идти на высокие риски и при этом не проронить ни слова.

Он вёл игру в собственной потёмкинской манере. Об одном из случаев мы читаем у Пушкина. Молодой Ш. увяз в долгах. «Князь Б. собирался пожаловаться на него самой государыне. Родня перепугалась. Кинулась к князю Потёмкину, прося его заступиться за молодого человека. Потёмкин велел Ш. быть на другой день у него, и прибавил: “Да сказать ему, чтоб он со мною

был посмелее”. Ш. явился в назначенное время. Потёмкин вышел из кабинета в обыкновенном своем наряде, не сказал никому ни слова и сел играть в карты. В это время приезжает князь Б. Потёмкин принимает его как нельзя хуже и продолжает играть. Вдруг он подзывает к себе Ш. “Скажи, брат, – говорит Потёмкин, показывая ему свои карты, – как мне тут сыграть?” – “Да мне какое дело, ваша светлость, – отвечает ему Ш., – играйте, как умеете”. – “Ах, мой батюшка, – возразил Потёмкин, – и слова тебе нельзя сказать, уж и рассердился”». Услышав это, князь Б. понял, что Ш. пользуется особым расположением Потёмкина и императрицы, и простил ему долг [112]. Игра шла на *rouleaux* [свёртки (*фр.*). – *Прим. перев.*] банкнот, но князь давным-давно позабыл цену деньгам и потому настойчиво предлагал играть на драгоценные камни, горстями выкладывая сверкающие сокровища на зелёное сукно [113]. Долговые распри между авантюристами решались на дуэли – но, разумеется, это не касалось такой важной фигуры, как Потёмкин. Тем не менее его товарищи по игре порой пытались жульничать, потому что пока Потёмкин играл в своё удовольствие, распоряжаясь бездонным кошельком Екатерины, все их семейные состояния зависели от прихоти игральных костей. Когда один игрок (вероятно, дядя Ермолова Левашов) выплатил свой проигрыш искусственными бриллиантами, Потёмкин ничего не сказал, но впоследствии отомстил ему с помощью кучера. В тот вечер была гроза, и Потёмкин поехал верхом на лошади вслед за каретой шулера. Когда карета проезжала через затопленное дождём поле, Потёмкин прокричал кучеру: «Гони!» Тот хлестнул лошадей и умчался с ними вдаль, оставив пассажира на произвол судьбы. Когда несколько часов спустя промокший насквозь шулер наконец дошёл до дома, то услышал из окон раскатистый смех Потёмкина. Об инциденте с бриллиантами больше никто не вспоминал [114].

Потёмкина нельзя было отвлекать от карт. Когда его как-то раз вызвали в Совет во время партии, он попросту отказался идти. Посланный вежливо спросил, по какой причине, и Потёмкин рявкнул: «Псалом первый, стих первый!» Когда члены Совета открыли текст псалма, то прочли: «Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum»[97], что одновременно свидетельствовало о его остроумии, отличной памяти, высокомерии, богословской эрудиции и страсти к азартным играм [115].

Так или иначе, между закатом и рассветом князь находил время и на то, чтобы разгрести завалы документов – вероятно, именно ночью он проделывал большую часть своей работы. Его секретари тоже оставались на посту, и в перерывах между

карточными партиями Попов часто стоял за спинкой стула Потёмкина с бумагой и пером, ожидая приказов и записывая идеи.

Рассвет

Когда Потёмкин наперекор своей бессоннице всё же ложился спать, иногда у Зимнего дворца на Миллионной улице можно было увидеть карету одной из его любовниц. Сидящая в карете дама с вожделением и любовью смотрела на огни свечей, всё ещё горевших в его доме до рассвета. «Я проезжала мимо вашего дома и видела большое освещение; вы, без сомнения, играли в карты. Милый князь… сделайте мне это удовольствие, любезный друг мой! Докажите мне, что можете что-нибудь для меня сделать, и не засиживайтесь, как вы это делаете, до четырёх и до пяти часов за полночь» [116].

Поскольку князь жить не мог без своих английских парков, перемещения его садовника Уильяма Гульда служили своего рода флюгером, указывавшим, куда Потёмкин намеревался двинуться дальше. В конце 1786 года английский «император парков» с комфортом отправился на юг вместе со своим «штабом» – садовниками и рабочими. Посвящённые знали, что это означало: готовилось нечто очень важное [117]. Императрица вот-вот должна была отбыть в своё грандиозное крымское путешествие и под пристальным взглядом всей Европы встретиться там с императором Священной Римской империи. В ноябре 1786 года светлейший князь, импресарио этой торжественной поездки, уехал, чтобы заняться последними приготовлениями на пути следования императрицы. Он превзошёл самого себя, выбрав себе на этот раз наиколоритнейших спутников: ими стали венесуэльский революционер-освободитель – мошенник, который вёл дневник своих украинских любовных похождений, и честолюбивый король Виды, джентльмен удачи, которого когда-то соблазнила сама королева Таити.

Часть седьмая. Апогей

1787–1790

23. Волшебный театр

Людовик XIV позавидовал бы своей сестрице Екатерине II или женился бы на ней…

Императрица приняла меня… Она напомнила мне о тысяче вещей, которые помнят лишь монархи, чья память всегда безупречна.

Принц де Линь

Седьмого декабря 1786 года в Херсоне Потёмкина ожидал Франсиско де Миранда. Этот тридцатисемилетний, образованный, циничный и распутный революционер, креол сомнительного дворянского происхождения, был изгнан из испанской армии и направлялся в Константинополь, чтобы найти поддержку в борьбе за освобождение Венесуэлы. Весь Херсон был занят подготовкой к прибытию князя, который объезжал свои владения, отдавая последние распоряжения перед визитом Екатерины II и императора Священной Римской империи. Все были в нетерпении. Пушки стояли наготове, войска – в безупречном порядке. Ходили слухи, что он вот-вот приедет, но «загадочное божество», как называл его Миранда, всё ещё не было видно. «Никто не знал, каков его маршрут». Ожидание светлейшего князя – одна из характерных примет потёмкинского правления. Без него не принимались никакие решения. Чем могущественнее он становился, тем напряжённее люди ожидали его прибытия. По приказу Екатерины Потёмкина следовало встречать с той же церемониальностью, что и царственную особу или по меньшей мере члена императорской семьи. Его прихоти были непредсказуемы, а перемещался он столь стремительно, что мог нагрянуть в город без предупреждения – потому всё должно было быть в состоянии полной готовности. «Ты летаешь, а не ездишь», – журила его Екатерина [1].

Двадцать восьмого декабря, двадцать дней спустя, Миранда всё ещё томился ожиданием. На закате дня под пушечные залпы наконец прибыл «долгожданный князь Потёмкин». Солдаты и чиновники вышли «засвидетельствовать свое почтение кумиру-фавориту» [2]. Сопровождая своих друзей, Миранда посетил экзотический двор Потёмкина, где «собрались все самые ничтожные личности, какие есть в Херсоне». «Боже мой! Ну что за орава льстецов и плутов! – писал он. – Однако меня несколько

развлекло разнообразие здешних костюмов: казаки, калмыки, греки, евреи» и посланцы пяти кавказских народов в одеждах *à la Prusse* [на прусский манер (*фр.*). – *Прим. перев.*]. Внезапно явился великан, поклонился некоторым из присутствовавших, но ни с кем не заговорил. Венесуэльца представили князю как испанского графа (которым он не был). Потёмкин едва перемолвился с ним парой слов, но Миранда заинтересовал его.

Тридцать первого декабря помощник Потёмкина вызвал Миранду, но когда венесуэлец прибыл, то обнаружил Потёмкина за чаем с принцем Карлом Нассау-Зигеном [3]. «О, Боже мой!» – мысленно воскликнул Миранда при виде принца Нассау, которого знал ещё в Испании и Константинополе и презирал его так, как авантюрист презирает авантюриста. Биографии их обоих были богаты событиями. Миранда воевал на стороне испанцев очень далеко от дома – в Алжире и на Ямайке – и несколько лет прожил в Америке, где познакомился с Вашингтоном и Джефферсоном. Сорокадвухлетний Нассау-Зиген, обедневший наследник маленького княжества, в пятнадцать лет стал солдатом удачи, присоединился к кругосветной экспедиции Бугенвиля, во время которой убил тигра, попытался стать правителем города Виды в западной Африке [4] и занимался любовью с королевой Таити. Вернувшись, он руководил солдатами в неудачной попытке Испании и Франции захватить Гибралтар в 1782 году и затеял набег на остров Джерси. Затем Нассау, безжалостный и безрассудный в сражениях и интригах, уехал на Восток. Он начал ухаживать за польской вдовой княгиней Сангушко. Каждый из них рассчитывал получить богатство партнёра, но когда они женились, то обнаружили, что обвели друг друга вокруг пальца. Тем не менее брак двух этих сильных личностей оказался счастливым, и в варшавских салонах все поражались тому, что в своём подольском поместье они содержали пятьдесят медведей, чтобы отпугивать казаков. Нассау-Зиген незадолго до этого присоединился к Потёмкину в его путешествиях – после того, как король Станислав-Август отправил его попросить светлейшего навести порядок среди его польских вассалов. Но Нассау также рассчитывал втереться в доверие к Потёмкину, чтобы заполучить право на торговлю в Херсоне [5].

Князь расспрашивал Миранду о Южной Америке, как вдруг появился Рибас, его неаполитанский придворный, и объявил, что прибыла любовница Потёмкина. Эта женщина называла себя «графиней» Севрской, однако Миранда писал, что хотя она и происходила «из добропорядочной семьи», но была «шлюхой». Впрочем, это не имело никакого значения – все наперебой ухаживали за ней. В качестве компаньонки с ней путешествовала

мадемуазель Гибо, гувернантка потёмкинских племянниц, а теперь и управляющая его южным сералем. Потёмкин поцеловал любовницу и усадил справа от себя – «он сожительствует с ней, как говорят, без всякого стеснения», – записал Миранда. Пятеро музыкантов стали играть Боккерини. Следующие несколько дней пылкий Потёмкин, устраивавший приёмы в апартаментах «графини» Севрской, никак не мог обойтись без своих новых друзей, Миранды и Нассау-Зигена. Оба они были по-своему замечательными людьми: Нассау-Зигена называли «паладином» XVIII века, а Миранду – отцом южноамериканского освобождения, так что нам чрезвычайно повезло, что последний оставил скептические и беспристрастные заметки о своих похождениях. За обсуждением алжирских пиратов и польских имений Потёмкин даже собственноручно приготовил всем фрикасе. Миранде доставляло удовольствие, что придворные «чуть не лопались» от зависти, созерцая эту новую дружбу [6].

Князь пригласил Нассау и Миранду сопровождать его в поездке по императорскому маршруту, где нужно было провести последние приготовления. Потёмкин понимал, что от успеха путешествия Екатерины будет зависеть его дальнейшая судьба – вознесётся ли он до недосягаемых высот или потерпит крах. Европейские правительства пристально следили за происходящим. Англия, Пруссия и Блистательная Порта с тревогой наблюдали, как Потёмкин возводит новые города и строит флотилии, чтобы направить их к Константинополю. Крымская поездка императрицы откладывалась из-за чумы, но ходили слухи, что на самом деле дела на юге обстояли вовсе не так успешно: «некоторые полагают, – писал Кобенцль Иосифу, – что необходимые приготовления для этой поездки ещё не завершены» [7].

Пятого января 1787 года в десять часов вечера трое удивительнейших людей своего времени – Потёмкин, Миранда и Нассау – отправились в дорогу, стремительно пересекая покрытые льдом реки. Они мчались всю ночь, трижды сменив лошадей и ненадолго остановившись в одном из домов Потёмкина, и в восемь вечера следующего дня добрались до Перекопа – въезда в Крым, проехав 160 миль за двадцать часов [8]. Короткие расстояния они преодолевали в просторной карете, но поскольку стояла середина зимы, то в пустынной заснеженной степи им часто приходилось пользоваться кибитками – лёгкими каретами на полозьях. Путешествуя в кибитке, пассажир словно лежал в космической капсуле: «Они напоминают детские колыбельки с окошками в передней части, – вспоминала леди Крейвен. – В кибитке можно сидеть или лежать, вытянувшись, и ощущать себя

ребёнком, заботливо защищённым от холода подушками и одеялами». Такие поездки были небезопасны из-за неровного рельефа и высокой скорости. Пассажиров постоянно «трясло и сильно подбрасывало… можно было размозжить даже самую крепкую голову. Моя собственная кибитка переворачивалась дважды». Но русским ямщикам всё было нипочём: они молча спешивались, снова ставили кибитку на полозья и «никогда не спрашивали, цел ли пассажир» [9]. Кибитки со свистом неслись дальше.

Князь объехал с инспекцией Крым, и Миранда своими глазами увидел новый флот, войска, города и зелёные насаждения. Его привели в восхищение дворцы, построенные для императрицы в Симферополе, Бахчисарае, Севастополе и Карасубазаре, и английские парки, которые разбил вокруг них Уильям Гульд. Когда они прибыли в Севастополь, офицеры решили дать бал в честь князя, и тот краснел, слушая хвалебные тосты в свой адрес. Миранда насмехался над «офицериками», «которые в прыжках и скачках ничем не уступали парижским *petit màitres* [щёголям (*фр.*). – *Прим. перев.*]». Затем они осмотрели Инкерман и помчались обратно в Симферополь, где развлекались охотой, пока Потёмкин работал [10].

Князя всюду сопровождали регулярные кавалерийские эскадроны татар. «Карету всегда охраняют пятьдесят всадников, – писал Нассау супруге, – и где бы мы ни проезжали, отовсюду к нам сбегались татары в таких количествах, что под ними не было видно земли, и казалось, что ты находишься на поле боя». Всё это представлялось «паладину» «великолепным» [11]. Миранда также заметил, что Потёмкин уделял особое внимание местным муфтиям. Светлейшего князя сопровождал придворный художник Иванов, который писал картины во время путешествия, а музыканты – от струнных квартетов до украинского хора – выступали для них на каждой остановке. Однажды Потёмкин показал Миранде «отличнейшее жемчужное ожерелье (или браслет), инкрустированное бриллиантами» [12]. Венесуэлец никогда в жизни не видел «более благородного и прекрасного украшения». Оно стоило так дорого, что покупатель, приобретший его у венских придворных ювелиров, фирмы Мак, сохранял инкогнито. Даже Иосифу II было любопытно, кто же купил его. Наконец Кобенцль открыл своему императору секрет: Потёмкин планировал вручить ожерелье императрице во время её визита на юг [13].

Трое путешественников выпили чаю на английской молочной ферме Потёмкина, которой управлял мистер Хендерсон и его сомнительные «племянницы», нанятые Бентамами, а затем

отправились в виноградники Судака. Потёмкин показал виноградники Нассау, и тот сразу же заказал виноградные лозы из Константинополя. На Миранду произвели сильное впечатление войска, которые они посетили с инспекцией: смотр Киевского и Таврического полков «бесспорно прошел как нельзя лучше». Затем компания посетила новый потёмкинский город Феодосию и монетный двор на месте старого рабовладельческого рынка в Кафе; монетным двором руководил иудейский торговец Цейтлин.

Светлейший князь каждую ночь и каждую поездку в карете проводил в беседах со своими спутниками – они говорили о политике и искусстве, то обсуждая достоинства живописи Мурильо, то грехи инквизиции. Сидя в потёмкинской карете со светлейшим, трое спутников хорошо поладили – может быть, даже слишком хорошо, так что князь развлекался тем, что провоцировал споры между Нассау и Мирандой. Он пытался сыграть на французско-немецком происхождении Нассау и порицал французов за их неблагодарность по отношению к России. Венесуэлец ему вторил. Нассау рассердился и сообщил Миранде, что все испанские женщины – шлюхи и большинство из них к тому же страдают от венерических заболеваний. И действительно, когда он познакомился с легендарной герцогиней Альбой, испанка сразу предупредила его, что «заражена». Миранда был возмущён, и они принялись спорить, чей народ чаще страдает от сифилиса. Несомненно Потёмкина всё это очень забавляло и помогало скоротать время в пути [14].

Двадцатого января Потёмкин со спутниками двинулись через степи обратно в Херсон: как и раньше, за ночь они преодолели перешеек и остановились передохнуть и позавтракать в Перекопе, где Миранда с восхищением осмотрел новую породу овец, выведенную по приказу Потёмкина. Было так холодно, что некоторые путешественники отморозили лица, «и они оттирали их снегом, салом и т. д., как здесь принято поступать в подобных случаях». Их дожидался адъютант Потёмкина по фамилии Бауэр – он ехал из Царского Села семь с половиной дней, чтобы сообщить князю, что императрица уже отправилась в путь и собирается встретиться с Потёмкиным в Киеве [15].

Морозным утром седьмого января, в одиннадцать часов утра, вереница из четырнадцати карет и ста двадцати четырех саней (и еще сорока запасных) под пушечные залпы выехала из Царского Села. Пятьсот шестьдесят лошадей ожидали их на каждой станции. Вместе с Екатериной путешествовала её свита из двадцати двух человек – в их числе были высшие сановники, граф де Сегюр, Кобенцль и Фицгерберт, а также послы Франции,

Австрии и Англии. Все они кутались в медвежьи шубы и носили шапки на собольем меху. Их сопровождали сотни слуг, в том числе двадцать лакеев, тридцать прачек, полировщицы серебра, аптекари, доктора и арапы.

Карету императрицы везли десять лошадей; она была такой вместительной, что пассажиры могли встать в ней во весь рост. Внутри стояли скамьи с подушками и ковры, рассчитанные на шестерых пассажиров. На эти шесть мест было немало кандидатов[98]. В день отправления в карете кроме самой императрицы ехали «Красный кафтан» Мамонов, фрейлина Протасова, обер-шталмейстер Нарышкин, обер-камергер Шувалов и Кобенцль. Распределяя места в этой тряской карете, императрице нужно было одновременно решить две задачи: не заскучать и не нарушить дипломатического этикета. Поэтому Шувалов и Нарышкин каждый день менялись местами с Сегюром и Фицгербертом, которых Екатерина назвала своими «карманными министрами». Каждый из них знал, что ему предстоит увидеть невероятное зрелище.

Холодными зимними ночами в три часа дня уже спускались сумерки, и кареты с санями мчались по заледеневшим дорогам, по сторонам которых загорались костры из кипарисов, берёз и ёлок, и от огней вокруг становилось «светлее, чем днём». Потёмкин приказал подбрасывать дрова в костры днём и ночью. Императрица старалась придерживаться того же распорядка, что и в Петербурге: она вставала в 6 утра и принималась за работу. Позавтракав со своими «карманными министрами», в девять утра она вновь отправлялась в дорогу, в два часа дня останавливалась, чтобы пообедать, и продолжала путь до семи часов вечера. На каждой остановке для неё был приготовлен путевой дворец, и печи были натоплены так, что Сегюра «больше беспокоила жара… чем холод на улице». До девяти вечера путешественники развлекались картами и беседой, а затем Екатерина удалялась, чтобы поработать и лечь спать. Сегюру нравилась поездка, хотя его непристойные шутки были под запретом; меланхолик Фицгерберт скучал, страдая от болезни печени и разлуки со своей русской любовницей. Он жаловался Иеремии Бентаму, что ему надоела «одна и та же обстановка и еда»: это тот же «Петербург, который перевозили туда-сюда по всей империи» [18]. Императрица и «Красный кафтан» останавливались во дворцах, а послы ночевали где повезёт: то в зловонных крестьянских избах, то в помещичьих особняках [19].

Они направлялись на юго-запад в сторону Киева и по пути имели возможность увидеть традиционную Россию: «за четверть часа до появления Её Величества» крестьяне «падали ниц и

вставали лишь спустя четверть часа после того, как наши кареты уедут» [20]. Собирались огромные толпы, чтобы увидеть императрицу, но она, как и Фридрих Великий, презирала их восторженность: «И медведя смотреть кучами собираются» [21]. Императрица миновала потёмкинское имение Кричев, и Иеремия Бентам видел, как её карета проехала по главной улице, «украшенной еловыми ветвями и другими вечнозелёными растениями и освещённой смоляными бочками» [22]. Каждый день на каждой остановке в честь императрицы давались балы. «Так мы и путешествуем», – с гордостью писала она Гримму [23].

Двадцать девятого января Екатерина прибыла в Киев, где весь двор был вынужден обосноваться на целых три месяца, пока не растает лёд на Днепре. Её ожидало «множество приезжих со всех сторон Европы», в том числе и принц де Линь [24]. Киевские улицы заполнили кареты знатных господ. «Никогда в жизни я не встречала столько веселья, обаяния и остроумия», – писала польская дворянка, направлявшаяся в Киев, чтобы добиться расположения Екатерины и Потёмкина[99]. «Наши скромные обеды в этих убогих еврейских трактирах чрезвычайно вкусны… Если закрыть глаза, можно представить, что ты в Париже» [25].

Екатерина получила от Потёмкина письмо из Крыма: «У нас здесь зелень на лугах начинает показываться. Я думаю, скоро и цветы пойдут. ‹…› Дай Боже, чтобы сия страна имела счастие тебе понравиться, моя кормилица. В этом состоит главное мое удовольствие. Простите, моя матушка родная, я ласкаюсь скоро предстать пред Вами» [26].

Под звуки музыки и шумных перебранок своих спутников, споривших о национальных венерических особенностях, Потёмкин день и ночь мчался в Кременчуг «с дьявольской скоростью», как выразился Нассау [27]. Несмотря на то что на его плечах лежал огромный груз ответственности, а императоры, короли и добрая половина всех придворных Европы съезжались взглянуть на результаты его трудов, князь, по всей видимости, целыми днями напролёт слушал концерты. Миранда восхищённо пишет: «снова и снова слушали музыку», сегодня рожечников, завтра ораторию Джузеппе Сарти, потом украинский хор, а затем квартеты Боккерини. Внешне беззаботный Потёмкин, однако, наверняка был занят работой и кусал ногти яростнее, чем когда бы то ни было. Не всё шло как по маслу: спустя два дня после прибытия Екатерины в Киев он поехал на смотр десяти драгунских эскадронов. «Ни один ни к черту не годится, – заметил Миранда. – Князь остался крайне недоволен». Еще один эскадрон кирасиров под Полтавой находился в таком упадке, что

даже не удостоился смотра.

Пока императрица ожидала продолжения путешествия в Киеве, у Потёмкина становилось всё больше и больше хлопот и дел, которыми он распоряжался с обычной своей непредсказуемостью. Он приказал Нассау и Миранде сопровождать его на встречу с императрицей. Четвертого февраля, покончив со смотрами войск и балами, Потёмкин встретился с Александром Маврокордатом, молдавским господарем, которого только что свергли и отправили в изгнание турки вопреки условиям Кючук-Кайнарджийского договора; это было знаком растущего напряжения между Россией и Блистательной Портой.

Миранда бросился готовить придворные наряды. Когда он вернулся в свои комнаты, то обнаружил, что слуга раздобыл для него русскую девушку, которая «в постели… ничуть не уступала самой темпераментной андалузке». На следующее утро адъютант объявил, что в пять часов утра Потёмкин сел в кибитку и уехал, «никому ничего не сказав». В три часа дня Нассау и Миранда последовали за ним, каждый в своей кибитке. Разумеется, им не удалось его догнать, поскольку в XVIII веке никто не умел так виртуозно ускорять свое передвижение, как Потёмкин. Снег был мягким. Сани застревали в сугробах или переворачивались. Пришлось заказать новых лошадей. Задержки измерялись часами. Через два дня Миранда прибыл на киевскую таможню и обнаружил, что Нассау забрал с собой сообщения от князя – этого можно было ожидать от столь бессовестного интригана. «Какой беспорядок», – пишет Миранда [28].

Киев, расположившийся на правом берегу Днепра, представлял собой «греко-скифское» видение благодаря своим «руинам, монастырям, церквям и недостроенным дворцам» – это был старинный русский город, переживавший не лучшие времена [29]. Когда все гости прибыли, перед ними предстали три роскошных *tableaux* [зрелища (*фр.*). – *Прим. перев.*]: «великолепный двор, победоносная императрица, богатая и воинственная аристократия, князья и вельможи» и всевозможные народности, проживавшие в империи: донские казаки, грузинские князья, послы от киргизов и «дикие калмыки, настоящее подобие гуннов». Сегюр назвал это «волшебным зрелищем, где, казалось, сочетались старина с новизною, просвещение с варварством» [30].

Дом Кобенцля исполнял функции мужского клуба для иностранцев, хотя двум другим «карманным министрам» тоже были выделены небольшие особняки. К Кобенцлю заходили французы, немцы, множество поляков и несколько американцев, в

том числе низкорослый человек с подходящим именем Льюис Литтлпейдж, который недавно был назначен камергером польского короля Станислава Августа. Этому уроженцу Вирджинии и другу Джорджа Вашингтона исполнилось двадцать два года; он сражался с британцами на Гибралтаре и Менорке и на любительском уровне увлекался актёрской игрой и продюсерской деятельностью. Он поставил в Польше «Севильского цирюльника» в особняке Нассау. Теперь у него была новая роль: передавать Станиславу Августу всё, что увидит при дворе Потёмкина [31]. Среди иностранцев тон задавал принц де Линь – «он улаживал любые споры, будучи дружелюбным к равным себе, любимым теми, кто младше по чину, и близко знакомым с принцами и даже государями» [32]. Впрочем, этот образец обаяния очаровывал не всех: Миранда считал его тошнотворным льстецом.

Итак, взглянем на двор Потёмкина. Князь, словно монах, расположился в огромной Киево-Печерской лавре: это был полумонастырь-полукрепость, глухой средневековый лабиринт с подземными залами, двадцати одним церковным куполом и кельями отшельников в пещерах под городом. Здесь в подземной прохладе лежали, завёрнутые в шёлк и нетронутые разложением, мощи семидесяти пяти святых. Когда Потёмкин принимал в этом монастыре придворных, посетителю казалось, будто он «присутствует при аудиенции визиря в Константинополе, Багдаде или Каире. Там господствовало молчание и какой-то страх». На публике князь появлялся в своём маршальском мундире и кружевах, бряцая медалями и драгоценностями, напудренный и завитой, а в монастыре растягивался на диване в своей любимой накидке, не расчесав свои густые волосы и притворяясь, что «усердно играл в шахматы, а потому не считал себя обязанным обращать внимание» на свою свиту из польских князьков и грузинских царевичей. Сегюр беспокоился, что будет осмеян, если «иностранцы увидят посла французского короля принужденным подчиняться вместе с прочими высокомерию и причудам Потёмкина», поэтому «поступил следующим образом». Пока Потёмкин внимательно созерцал шахматную доску, Сегюр приблизился к нему, взял в руки его львиную голову, обнял его и непринуждённо уселся рядом с ним на диван. При личном общении, в компании племянниц Браницкой и Скавронской, Нассау, Миранды и композитора Сарти «в неуклюжем щегольском наряде», Потёмкин отбрасывал своё высокомерие и вновь обретал весёлость. Он любил своего дорогого друга Сегюра «как ребёнок»[100].

Киев ненадолго превратился в столицу империи. Даже на де

Линя это произвело впечатление: «Боже мой! Какое общество! Какой шум! Сколько бриллиантов, золотых звёзд и орденов! Сколько цепочек, лент, тюрбанов и красных шапок, остроконечных и отороченных мехом!» [34]. Потёмкин увлёк своих гостей, Миранду и Нассау, в бесконечный круговорот карточных игр, обедов и танцев. Племянницам чаще, чем когда-либо, оказывали княжеские почести: в доме Браницкой, где собирались послы и русские министры, Миранда познакомился со знатными поляками, в том числе с графами Потоцкими и князем Сапегой, и был поражен их «богатством и пышностью» [35].

Четырнадцатого февраля Потёмкин представил Миранду императрице. Он произвел на Екатерину впечатление своей мужественностью, и она расспросила его об инквизиции, от рук которой он якобы пострадал. С тех пор Миранда стал вхож в узкий круг приближённых Екатерины, так же как и в ближний круг Потёмкина. Вскоре он пресытился и этой обстановкой. «Вист со своими обычными партнерами», – буднично пишет он. Нассау жаловался супруге, что ставки были для него «высоковаты – двести рублей». Чего же он ожидал, садясь за карточный стол с императрицей и светлейшим князем? Большинство вечеров заканчивалось разгульными собраниями у Льва Нарышкина, свободными от всяких церемоний – в точности как в Петербурге [36].

Как и прежде, всех невероятно интересовала интимная жизнь Екатерины и Потёмкина. Послы строчили отчёты на родину, а путешественник записывали всё, что им удавалось заметить. Екатерину повсюду сопровождал Мамонов, который, если верить Нассау, «был обязан своим состоянием Потёмкину и отдавал себе в этом отчёт», но это не помешало придворным распространять различные слухи о Миранде. «Ничто не устоит перед ним, даже императрица всея Руси, – заявлял молодой завистливый американский дипломат Стивен Сейр, – что было для меня унизительным открытием, ведь я провёл 21 месяц в её столице и ни разу не имел возможности познакомиться с внутренними частями её обширных и славных владений» [37].

Soi-disant «графиня» Севрская в сопровождении мадемуазель Гибо прибыла в Киев в качестве объекта «недолговечной страсти» Потёмкина. Там его ждали две племянницы, но «любимую султаншу» Севрскую вскоре сменили не они, а Нарышкина, которой так восхищался Миранда во время одного из нарышкинских балов [38]. В тот день с ними обедала и сама императрица. «Шла карточная игра, звучала музыка, танцевали». Екатерина играла в вист с Потёмкиным, Сегюром и Мамоновым, а затем призвала к себе Миранду, чтобы обсудить архитектурные

достоинства Гранады. Когда в десять часов вечера она по своему обыкновению удалилась, началось настоящее веселье. Нарышкина сплясала казачка, а затем «русскую», которая, как пишет Миранда, «даже сладострастнее нашего фанданго… О, как прекрасно танцует [Нарышкина], как плавны движения ее плеч и талии! Они способны воскресить умирающего!»

По всей видимости, Потёмкин разделял восторг Миранды по поводу её дара воскрешения, поскольку «более часа беседовал тет-а-тет с юной Марией Нарышкиной, излагая ей какую-то политическую материю». Миранда слышал, как в ответ на потёмкинские истории она вздыхала и говорила: «*Если бы это было правдой!*» [39]. Сомнительный источник также указывает, что Потёмкин набросился на дочь Захара Чернышева прямо у входа в комнаты Екатерины[101]. Девушка якобы закричала и разбудила императрицу. Эта сплетня кажется маловероятной, поскольку у князя не было недостатка в женском внимании [40].

Вся потёмкинская свита, включая Миранду и Нассау, разместилась вместе с ним в монастыре, хотя вели они себя отнюдь не по-монашески. Весь Киев гудел от оживления, и доходы украинских проституток весьма приумножились. Миранда и Киселёв, один из адъютантов Потёмкина, «направились к некой польской еврейке, содержащей подходящих девиц, и она обещала предоставить их на ночь», но вернувшись от фельдмаршала Румянцева-Задунайского, он обнаружил, что ему «досталась только не ахти какая полька». Миранда был удивлён, что даже провинциальные украинки были одеты по французской моде: «Ну и ну! Выходит, проклятая галльская фривольность заразила весь род людской, добравшись даже до глухих украинских сел!» Как раз в день «рандеву» Миранды и потёмкинского адъютанта между придворными началось нешуточное соперничество за услуги уставших киевских проституток: прибыли юные камергеры Екатерины и захватили себе всех девушек. Миранду объял гнев: к своим развлечениям он относился со всей серьёзностью. Наконец он нашёл польско-еврейскую сутенёршу, но когда принялся объяснять ей, какие услуги желает получить Киселёв, то русский офицер тоже вышел из себя. «О, как трудно добиться, чтобы люди были снисходительны в любовных делах!» – ворчал Миранда. Несколько дней спустя двум ловеласам улыбнулась удача – им показали нужный дом, где они встретили восемнадцатилетнюю девушку и её служанку. Киселёв занялся служанкой, а Миранда «пошел на приступ хозяйки, которая наконец согласилась за три дуката, хотя вначале просила десять». Он остался со своей «нимфой… в постели. Она была хороша, и я получал удовольствие», но, похоже, всё пошло не так, как он

мечтал: «до конца дело не доводил». Через три дня он записывает: «Страстной четверг. Утром в церкви Печерского монастыря отслужили торжественную обедню, на которую в обычный час прибыла императрица». Вот так придворные и проводили время в Киеве – то у польских евреек, то на торжественной службе подле императрицы [41].

Вокруг этих искателей наслаждений бурлили дипломатические интриги. Послы пытались разузнать, что же происходило на самом деле, но «политические секреты были известны лишь Екатерине, князю Потёмкину и графу Безбородко». Когда Сегюр объявил, что в далёком Париже король Людовик XVI созвал судьбоносное собрание нотаблей – первый шаг к французской революции, – императрица поздравила его. «Каждый из нас втайне был вдохновлён либеральными идеями и жаждал перемен». Екатерина и Потёмкин обсуждали возможность реформ, но зловещие парижские предзнаменования не прошли для них незамеченными. «Мы не слишком впечатлены», – писала Екатерина Гримму, обещая, что Потёмкин пришлёт ему «музыку дервишей» [42].

Суровая реальность состояла в том, что Екатерину и Потёмкина окружали могущественнейшие польские князьки – самые богатые и самые обеспокоенные из них. «Здесь собралась половина Польши», – сообщала императрица Гримму. Екатерина готовилась к встрече с мужчиной, который был её любовником в 1750-е годы: польским королём Станиславом Августом. Потёмкин решил первым встретить его и заранее обсудить содержание переговоров с Екатериной. Светлейший князь продолжал рассматривать Польшу как личный «договор страхования» и усердно проводить там русскую политику. С детства в нём сохранилась симпатия к полякам, которую он перенял у смоленских шляхтичей, но помимо этого перед ним стояли две вполне конкретные задачи: укрепить своё положение в качестве польского магната и заручиться поддержкой Польши в грядущей войне с турками.

Ситуация в Польше была такой запутанной и нестабильной, что Потёмкин принял решение не придерживаться какой-то последовательной политики и действовал загадочно и переменчиво. Ему удавалось одновременно воплощать в жизнь по меньшей мере три стратегии. Во-первых, он продолжал контролировать прорусски настроенную польскую партию, которая находилась в оппозиции королю Станиславу Августу; руководили партией его племянник Браницкий и несколько магнатов [43].

В конце 1786 года Потёмкин принялся реализовывать свою

вторую затею: покупку обширных имений в Польше, на которую он имел право благодаря полученному в 1775 году индигенату. (В 1783 году он продал несколько своих русских владений и собирался продать кричевский комплекс.) Теперь он сказал Миранде, что только что приобрёл польские имения общей площадью более 300 000 акров и стоимостью два миллиона рублей [44]. По Киеву ходили слухи, что на этих землях было триста деревень и шестьдесят тысяч душ [45]. В конце 1786 года светлейший князь заключил хитроумную сделку с князем Ксаверием Любомирским и купил огромные поместья Смела и Межиричи на правом берегу Днепра – они входили в состав польского пфальцграфства Киевского, которое клином вдавалось в русские территории. Одна Смела была такой обширной, что после смерти Потёмкина там насчитывалось 112 000 душ мужского пола, стало быть, всё её население было сопоставимо с населением небольшого городка XVIII века. Здесь у него был собственный роскошный двор, своё законодательство и даже отдельная армия [46].

Князь купил эти земли на собственные средства, но всё же получил он их так или иначе из государственной казны, и поэтому совершал покупку как в частных интересах, так и в интересах империи. К тому времени Любомирский уже был главным поставщиком леса для потёмкинского Черноморского флота, и теперь князь покупал материалы у своих собственных поставщиков, чтобы создать промышленный конгломерат – наполовину частный, наполовину государственный [47]. Но у него был ещё один резон: эта сделка делала его полноправным польским магнатом, а купленные земли были основой для его собственного будущего княжества за пределами России. К тому же приобретение земель в частную собственность было формой аннексии польских территорий – они превращались в своеобразного «троянского коня», который давал Потёмкину право занимать в Польше государственные должности. Ранее Екатерина уже пыталась поставить Потёмкина во главе герцогства Курляндского и нового Дакийского царства, а то и добиться для него польской короны. Секретарь императрицы в Киеве записал её слова: «Потёмкин из новокупленных в Польше земель, может быть, сделает *tertium quid* [нечто третье (*лат.*). – *Прим. перев.*], ни от России, ни от Польши не зависимое». Она понимала, какую опасность для её дорогого супруга несёт восшествие Павла на престол, однако эта сделка её беспокоила. В конце того же года князь объяснил ей, что купил эти земли, «дабы, зделавшись владельцем, иметь право входить в их дела и в начальство военное» [48]. Покупка Смелы, как и всё, имеющее отношение к

Польше, породила бездну проблем: она стала предметом нескольких судебных тяжб и семейных споров между Любимирскими, что втянуло Потёмкина в долгие переговоры и разбирательства, которые затянулись на четыре года [49].

Третье направление польской политики Потёмкина было связано с персоной короля Станислава Августа. Потемкин стремился ослабить его власть с помощью Браницкого и покупок земельных владений, но, тем не менее, всегда симпатизировал Станиславу Августу, этому бессильному эстету и деятельнейшему покровителю просвещения: их переписка проникнута более дружеским отношением, чем предписывает дипломатический этикет, по крайней мере со стороны Потёмкина. Князь был убеждён, что договор со Станиславом Августом обеспечит России польскую поддержку в борьбе с турками, позволит сохранить российское влияние в Польше и уберечь её от жадных лап Пруссии. Сам Потёмкин в этом случае на правах магната мог бы командовать польскими войсками. Всего этого можно было легко добиться через Станислава Августа.

Поляки, которые прибыли в Киев, намеревались скомпрометировать своего короля перед его встречей с Екатериной и завоевать симпатию Потёмкина. «Какими покорными и льстивыми по отношению к князю Потёмкину кажутся мне эти пресмыкающиеся перед ним высокопоставленные поляки!» – пишет Миранда после обеда, проведённого у Браницких. Все тайно плели политические и любовные интриги, и поляки «обманывались, были обмануты и обманывали друг друга, держась при этом весьма любезно, в отличие от своих жён…». Их главной целью было возвыситься в глазах Потёмкина, «но не так-то просто привлечь к себе его взгляд, – шутил де Линь, – поскольку у него всего один глаз, да и тот подслеповат» [51].

Потёмкин вовсю пользовался своей властью, оказывая предпочтение одному поляку и унижая другого. Все они боролись за его внимание. По поручению своих владык де Линь, Нассау и Льюис Литтлпейдж вели тайные переговоры с поляками. Браницкий завидовал Нассау, поскольку тот остановился у Потёмкина и потому был «хозяином на поле битвы» [52]. Браницкий и Феликс Потоцкий пытались убедить Потёмкина, что Станислав Август был настроен против приобретения им польских земель, которое, по понятным причинам, вызвало в Варшаве некоторое беспокойство [53]. Александра Браницкая была очень близкой подругой императрицы, и среди поляков ходил слух, что она приходится ей родной дочерью [54]. Светлейшего князя раздражали неуклюжие интриги Браницкого, и всё это закончилось «ужасной сценой», в результате чего

Александре сделалось дурно [55]. Однако он представил Браницкого и Феликса Потоцкого императрице, и та тепло приняла их, а на его недоброжелателей, Игнация Потоцкого и князя Сапегу, «даже не взглянула» [56].

Даже Миранда нечаянно оказался вовлечённым в польские интриги. В присутствии нескольких польских магнатов он поприветствовал Потёмкина, не вставая с места. Миранда должен был понимать, что царственные особы, к каковым фактически принадлежал Потёмкин, очень трепетно относятся к этикету. Чужестранцам не следовало принимать милости Потёмкина как должное. Вероятно, свою роль также сыграли и слухи о том, что Миранда на самом деле не был ни испанским графом, ни полковником. Потёмкин охладел к нему [57].

В начале марта князь в компании Нассау, Браницкого и русского посла в Варшаве Штакельберга отправился в город Фастов в двадцати восьми милях от Киева. Там была назначена встреча с королём Польши, который с волнением ожидал встречи с Екатериной после стольких лет разлуки [58]. Потёмкин надел мундир польского шляхтича Брацлавского пфальцграфства и достал свои польские ордена. Он обращался к королю, которого сопровождал Литтлпейдж, как к своему государю. Потёмкинское предложение заключить русско-польский союз против османов было принято. Светлейший князь поручил Штакельбергу осторожно выспросить у Станислава Августа, как тот относится к планам Потёмкина основать в Смеле собственное феодальное княжество. Король ответил, что в ответ он хотел бы заручиться согласием русских реформировать польскую конституцию. Потёмкин назвал Игнация Потоцкого «*scélérat* [негодяем (*фр.*). – *Прим. перев.*]», Феликса Потоцкого «дураком», но Браницкий, по его мнению, на самом деле был не таким уж негодяем [59]. Король «очаровал» Потёмкина [60] – пускай «лишь на мгновение» [61]. Грядущая встреча с Екатериной была одобрена.

А двумя днями позже в Киеве Миранда в волнении ожидал возвращения Потёмкина. Но князь, чьи обиды всегда были недолговечны, поприветствовал его как давнего друга: «Мы, кажется, век не виделись. Как дела?» – ласково обратился он к нему [62]. Поскольку близился отъезд Екатерины, пора было прощаться с Мирандой. Через Мамонова императрица предложила ему пост на русской службе, но он рассказал, что питает большие надежды на венесуэльское восстание против Испании. Екатерина и Потёмкин одобряли эту антибурбонскую затею. Князь шутил, что уж если инквизиция необходима, то «в качестве инквизитора можно послать» Миранду. Екатерина предложила ему поддержку всех русских представителей за

рубежом, а он нахально испросил кредит в размере десяти тысяч рублей. Мамонов сообщил Миранде, что на это потребуется согласие Потёмкина, что в очередной раз свидетельствует о том, что Екатерина и Потёмкин были почти равноправны. Потёмкин согласился. Двадцать второго апреля будущий правитель Венесуэлы (хотя правление его продлится недолго) простился с императрицей и князем. Испанцы наконец добрались до него. В конце того же года в Петербурге два посла Бурбонов пригрозили, что покинут город, если псевдограф-псевдополковник не будет выдворен из страны. Он так и не получил всей суммы кредита, но оставался на связи с Потёмкиным: из архивных бумаг следует, что из Лондона он прислал князю в подарок телескоп [63].

К этому времени Киев, который Екатерина назвала «отвратительным», всем наскучил [64], и орудийный салют возвестил, что лёд тронулся и можно начинать путь. Двадцать второго апреля 1787 года императрица взошла на командирское судно самой роскошной флотилии, которую только видали на Днепре.

24. Клеопатра

Ее корабль престолом лучезарным
Блистал на водах Кидна. Пламенела
Из кованого золота корма.
А пурпурные были паруса
Напоены таким благоуханьем,
Что ветер, млея от любви, к ним льнул.
В лад пенью флейт серебряные весла
Врезались в воду, что струилась вслед,
Влюбленная в прикосновенья эти.
Царицу же изобразить нет слов.

Уильям Шекспир. Антоний и Клеопатра

В полдень 22 апреля 1787 года Екатерина, Потёмкин и их свита вступили на борт судна-трапезной, где было приготовлено пиршество на пятьдесят персон. В три часа дня флотилия отправилась в путь. Семь гордых царственных галер князя, элегантные, комфортабельные и величественные, снаружи в золоте и пурпуре, внутри в золоте и шелках, с тремя тысячами человек команды и стражи, шли в сопровождении восьмидесяти других судов. На верхней палубе каждой галеры постоянно находился оркестр, игрой встречавший и провожавший гостей. На «Десне» Екатерины оркестром управлял потёмкинский маэстро Сарти. В её спальне стояли кровати для неё и Мамонова. На каждой галере были общая гостиная, библиотека, музыкальная комната и навес над верхней палубой. В роскошных спальнях стены были обиты шёлком, а кровати устланы тафтой; в кабинетах стояли столы из красного дерева и удобные диваны с обивкой из дорогого ситца. Уборные с индивидуальным водопроводом были новинкой и на суше, а тем более на волнах Днепра. Плавучий обеденный зал мог вместить семьдесят гостей.

Гости сохранили волнующие, почти фантастические воспоминания об этом плавании до конца своих дней. «Множество лодок и шлюпок носилось впереди и вокруг этой эскадры, которая, казалось, создана была волшебством», – вспоминал Сегюр. Множество любопытных «громкими кликами приветствовало императрицу, когда при громе пушек матросы мерно ударяли по волнам Борисфена своими блестящими, расписанными вёслами». Это было похоже на «флот Клеопатры… никогда раньше не было такого блистательного и приятного путешествия», – считал де Линь. «Поистине, – сообщал своей жене Нассау, – наше собрание на этой галере есть одна из самых необыкновенных вещей».

По берегам реки не прекращалось устроенное князем представление: мимо проплывавших под пушечные залпы и симфоническую музыку судов по равнинам маневрировали лёгкие отряды казаков. «Города, деревни, усадьбы, а иногда простые хижины так были изукрашены цветами, расписанными декорациями и триумфальными воротами, что вид их обманывал взор, и они представлялись какими-то дивными городами, волшебно созданными замками, великолепными садами».

На галере Потёмкина «Буг» размещались он сам, его племянницы с мужьями и Нассау-Зиген. Утомительный Киев остался позади, но неприязнь и злонамеренность по-прежнему обитали среди плывущих вниз по Днепру путешественников. «Мне нравится проводить время с князем, который по-настоящему любит меня, – писал Нассау жене, – несмотря на моих спутников, которые меня ненавидят». Впрочем, позже он подружился с Браницким. В своих письмах жене этот бывший любовник таитянской королевы, чуть не ставший королём Виды, описал апартаменты на своём «большом и богато украшенном» судне. Потёмкин занимал самые просторные помещения, и никто из остальных не мог попасть к себе, не пройдя через его салон. Первая встреча Екатерины призошла с королём Польши в пяти днях пути по течению, и потёмкинская галера оказалась плавучей конфедерацией польских интриг. Нассау, всё ещё действовавший в пользу Станислава Августа против Браницкого и надеявшийся сделать себе состояние, всегда вставал рано и будил Потёмкина, пока тот был один.

По утрам все были свободны. В полдень с галеры императрицы пушечным выстрелом объявляли обед, иногда всего для десяти гостей, которые подплывали на шлюпках. Позже Нассау переправлялся на галеру к Сегюру и де Линю, где последний читал вслух свои дневники. В шесть вечера – ужин, снова у императрицы. В девять она уходила на покой, и «все

отправлялись к князю Потёмкину». И всё же, несмотря на неслыханную торжественность, поездка имела и интимный характер. Однажды вечером Мамонов, которому наскучила августейшая привычка так рано ложиться, попросил Нассау и некоторых других остаться на партию в вист. Не успели они расположиться на игру в салоне Екатерины, как она сама вошла туда с распущенными волосами, с ночным чепцом в руках и в пеньюаре из тафты абрикосового цвета с голубыми лентами. Это была редкая возможность увидеть, как пожилая Екатерина выглядит перед своими молодыми любовниками за дверями спальни. «Без головного убора она казалась моложе», – отметил Нассау. Она спросила игроков, не стесняет ли их, села возле стола, извинившись за своё «дезабилье», и была «очень весела». В десять часов она ушла. Игра завершилась только в половине второго.

«Действительно, наше путешествие – нескончаемый, очаровательный праздник, – сообщал Нассау. – Общество у нас очаровательное, де Линь и Сегюр очень оживляют его». Эти двое, плывшие вместе на «Сейме», напоминали озорных школьников, всегда готовых к новым шалостям. Каждое утро де Линь стучал в тонкую переборку, разделявшую их спальни, и читал Сегюру свои стихотворные экспромты, а затем отправлял к нему лакея с письмом, содержавшим «остроумие, шутку, политику, любовь, военные анекдоты и эпиграммы». Ничто не могло быть более странным, чем эта утренняя переписка «между австрийским генералом и французским посланником, [лежавшими] стена об стену в галере, недалеко от повелительницы Севера, на волнах Борисфена, в земле казаков и на пути в страны татарские». Сегюр воспринимал поездку почти как поэтическое видение: «Прекрасная погода, великолепие нашего флота, величественная река, движение, радость зрителей, толпившихся на берегу, азиатская или воинственная пестрота в разнообразных нарядах тридцати различных народов, наконец, уверенность видеть каждый день новые, любопытные предметы – всё это возбуждало и подстрекало воображение». Очевидный успех всего представления отражался в фигуре его могущественного режиссёра: «Стихии, весна, природа и искусство, казалось, соединились для торжества этого могучего любимца» [2].

Через три дня этого достойного Клеопатры плавания императрицу встретил ждавший в Каневе на польском берегу король Станислав Август, охваченный романтическими воспоминаниями и политическими надеждами. Это была необычная встреча. Когда они виделись в последний раз, он был молодым поляком-мечтателем, а она – угнетённой женой

слабоумного грубияна. Теперь он был королём, а она императрицей. Он двадцать восемь лет не видел женщину, которую так и не разлюбил, и, вероятно, поддавался соблазну мечтать о воссоединении. «Вы легко представите, – ещё в феврале признавался король Потёмкину в не опубликованной пока записке, – с каким воодушевлением я жду минуты, которая доставит мне это наслаждение». Именно такая обречённая сентиментальность могла затронуть струну в душе Потёмкина [3].

Станислав Август по-прежнему был привлекателен, эмоционален, образован, но прежде всего он хотел сделать всё, что возможно, для блага Польши. Он разделял с Потёмкиным интерес к опере, архитектуре и литературе, но всё равно не мог позволить себе доверять ему. На долю короля не приходилось ничего, кроме огорчений и унижений. В политике ему всегда доставались наихудшие карты. Его личные способности не шли ни в какое сравнение с такими политиками, как Потёмкин. Екатерина сочла изложение его политических трудностей докучным и неуместным, а его личную откровенность – почти невыносимой. Возможно, императрица стыдилась воспоминаний о своей беспомощной наивности в те времена, когда она так любила его в тюрьме своего несчастного брака [4].

Настоящей целью этой встречи были не романтические воспоминания, а сохранение Польши. Оно стало единственной политической проблемой, перед которой терялся методичный ум Екатерины – из-за всеобщего хаоса, обманчивой величественности, твёрдой привычки к вольностям и запутанных тонкостей Речи Посполитой. Зато именно в таких условиях изворотливый Потёмкин чувствовал себя как рыба в воде. Утверждённый в Фастове план князя и короля по созданию антитурецкого союза и преобразованию польской конституции мог бы предотвратить трагедию уничтожения Польши. Но это оказался один из тех случаев, когда личная неловкость подорвала политическое взаимопонимание.

Флотилия бросила якорь около Канева. Двадцать пятого апреля в одиннадцать часов утра Безбородко и гофмаршал князь Барятинский приняли короля на борт катера. «Господа, король польский поручил мне представить вам графа Понятовского», – сказал он, принимая своё родовое имя, ведь короли Польши не могли покидать польскую землю. Когда король предстал перед императрицей, Сегюр и прочие окружили их, чтобы услышать первые слова тех, «которые находились в положении, далеко не сходном с тем, в каком они были некогда, соединённые любовью, разделённые ревностью и преследуемые ненавистью. Однако эти

ожидания были тут же разрушены. Между ними больше не было той искры. Оба монарха неловко прошлись по палубе. Вероятно, в порыве ностальгии он не смог удержаться от некоторых болезненных напоминаний о прошлом, потому что, когда они вернулись, императрица выглядела беспокойно и принуждённо, а в его глазах виднелся «отпечаток грусти». Иные говорили, что она использовала его уговоры, чтобы возбудить ревность в Мамонове. «Я тридцать лет не видела его, – писала после Екатерина, – и вы можете представить, как мы оба изменились» [5].

В этой встрече был и один трогательный момент, после того, как Станислав Август в неловкой обстановке вручил племяннику Потёмкина Энгельгардту орден Белого орла. Наступило время обеда. Король не мог найти свою шляпу, а Екатерина подала ему её. «Покрыть мне голову дважды, – пошутил он, имея в виду свою корону. – Ах, мадам, это слишком щедро и мило с вашей стороны». После отдыха на другой галере Станислав Август был перевезён на плавучую резиденцию Потёмкина. Светлейший князь попытался помирить короля с Браницким, но тот вёл себя настолько оскорбительно, что Станислав Август покинул комнату. Потёмкин поспешил следом с извинениями. Императрица и князь строго выговорили Браницкому, но этот польский агент влияния был своим и остался в их свите.

В шесть вечера король вернулся к переговорам на галере у Екатерины. Прогуливаясь по палубе, он предложил ей заключить русско-польский союз. Она обещала дать ответ. Князь, не обращая внимания, играл поблизости в карты. Екатерина была в ярости, что он не пришёл к ней на помощь. «Отчего вы с князем Потёмкиным всё время оставляете нас в такую минуту?» – отчитывала она де Линя. Станислав Август умолял Екатерину приехать на ужин к нему в Канев, где он истощил почти все свои скудные ресурсы на подготовку двухдневной программы пиршеств и фейерверков, но Екатерина отказала ему. Она сказала Потёмкину, что не желает делать дела в такой спешке, как принято у них в Польше; «всякая перемена намерения, ты сам знаешь, что мне неприятна». Потёмкин, то ли из уважения к Станиславу Августу, то ли от злости на разрушение Екатериной его польской стратегии, молча играл в карты. Екатерина сердилась всё больше и говорила всё меньше. Король мрачнел. Придворные беспокойно вертелись, подслушивая. «Князь Потёмкин ни слова не говорил, – пробурчала на следующий день Екатерина своему секретарю. – Принуждена была говорить беспрестанно, язык засох, почти осердили, прося остаться». Наконец Екатерина снизошла до того, чтобы с борта посмотреть дорогостоящие польские фейерверки.

Униженный, с разбитым сердцем, король откланялся. «Не стоит выглядеть так огорчённо, – злорадно шепнул ему де Линь. – Этим вы лишь доставляете удовольствие двору, который… ненавидит вас». Екатерина злилась на Потёмкина, а он дулся у себя на «Буге». Она слала ему одну за другой записки: «Я на тебя сержусь, ты сегодня ужасно как неловок». Флотилия задержалась, чтобы понаблюдать, как огненное представление завершается имитацией извержения Везувия. Итак, король, по неподражаемому выражению де Линя, «пробыл там три месяца и истратил три миллиона лишь для того, чтобы три часа видеть императрицу». Несколько дней спустя Станислав Август послал Потёмкину жалкую неразборчивую записку: «Я был рад увидеть императрицу. Я больше не знаю её, но, несмотря на свою печаль, рассчитываю на дружбу князя Потёмкина» [6].

Император Иосиф II и царица Екатерина II, цезари Востока, приближались друг к другу. Тридцатого апреля, с опозданием из-за сильного ветра, флотилия вошла в Кременчуг. Иосиф, кипя от военного нетерпения, ждал ниже по течению, в Кайдаке.

Деспотичные, хотя и рациональные, реформы Иосифа уже довели некоторые из его провинций до мятежа. Он не хотел ехать в Россию, но для русских его присутствие было чрезвычайно важно, так как союз с Австрией был их главным оружием против османов. «Может быть, окажется возможным, – писал Иосиф своему канцлеру Кауницу, – найти предлог не приезжать». Гордый Габсбург счёл приглашение Екатерины «весьма пренебрежительным» и указал Кауницу, что его ответ должен быть «честным, кратким, но нужно дать понять этой екатеринизованной принцессе Цербстской, что ей следует несколько более уважительно… обращаться со мной». После этого он с энтузиазмом согласился. Ему хотелось проинспектировать русские войска, хотя в глубине души он был уверен, что они, в отличие от его австрийцев, не способны к правильным действиям. С иронией он писал Потёмкину, что охотно осмотрит его «любопытные устроения и удивительные творения». Теперь этот маниакальный инспектор скрашивал себе ожидание тем, что самостоятельно изучал Херсон [7].

Екатерина беспокоилась: где же Иосиф? Кобенцль слал своему императору успокоительные письма. Потёмкин, казалось, жил текущим моментом, хотя ходили слухи, что ему не хватит лошадей на остаток пути. Императрица сошла на берег в Кременчуге, где осмотрела красивый дворец, окружённый, конечно, «очаровательным английским парком» с тенистой зеленью, текучей водой и грушевыми деревьями. Потёмкин приказал привезти издалека огромные («шириной с него самого»,

шутил де Линь) дубы и составить из них рощу. В этом месте побывал Уильям Гульд. «Здесь всё в цвету», – рассказывала императрица Гримму. Там же Екатерина проинспектировала пятнадцать тысяч солдат, в том числе семь полков организованной Потёмкиным лёгкой конницы, в которой Кобенцль высоко оценил как людей, так и коней. После бала на восемьсот человек, данного тем же вечером, Екатерина отправилась дальше по течению, навстречу своему императорскому союзнику [8].

Как только суда исчезли из вида за поворотом реки, появился Сэмюэль Бентам, оставивший брата Иеремию управлять Кричевом, со своим гордым творением – шестизвенным вермикуляром для Екатерины[102]. Посреди стольких прекрасных видов молодой англичанин, рявкавший команды в рупор с высокого мостика, должен был сам представлять не менее удивительный вид. Потёмкин приказал ему пришвартоваться около своей галеры. На следующее утро он провёл инспекцию и, по словам Сэмюэля, «был вполне доволен». Когда флотилия двинулась дальше, Бентам отправился вместе с ней. Он заявлял, что императрица обратила внимание на его суда и осталась в восхищении, но скорее Потёмкин утешал его за то, что он пропустил свой момент.

За двадцать пять миль до Кайдака, где была назначена встреча с императором, некоторые из галер сели на мель. Флотилия встала на якорь. Потёмкин понял, что пройти весь путь рекой не удастся. Возникла опасность, что замечательное предприятие скатится в позорный хаос: императрица была на мели, император неизвестно где, лошадей не хватало, а суда с запасами провизии и с кухнями застряли на песчаных отмелях. Положение спас «плавучий червь» Бентама.

Оставив императрицу позади, Потёмкин перешёл на борт вермикуляра и, к восторгу Бентама, двинулся на нём искать императора. Подойдя к Кайдаку, совсем близко от уничтоженной Запорожской Сечи, он предпочёл остаться на борту, а не в одном из своих дворцов. Следующим утром он нашёл Иосифа Второго. Вечером император отпустил комплимент в адрес Бентамова вермикуляра. Бентам раздулся от похвалы двух цезарей и князя. Впрочем, тем была гораздо более интересна встреча друг с другом, чем вид английских корабельных изобретений[103].

Потёмкин с Иосифом договорились, что император появится перед императрицей «неожиданно». Но монархи не любят неожиданностей, так что светлейший князь срочно отправил курьера, чтобы предупредить Екатерину, а Кобенцль отправил своего курьера предупредить Иосифа о том, что Екатерина

предупреждена. Таковы странности служения царям. Седьмого мая Екатерина оставила галеры и направилась в экипаже навстречу этой до боли ожидаемой «неожиданности» [9].

Екатерина в сопровождении де Линя, Мамонова и Александры Браницкой пересекла поле и столкнулась, по ее собственным словам, «нос к носу» с Иосифом, при котором был и Кобенцль. Оба величества отправились в одном экипаже в Кайдак. Там Иосиф с ужасом узнал, что кухни и повара остались далеко позади, на сидящих на мели судах. Потёмкин ускакал организовывать дела и забыл о еде. В результате царице и императору было совершенно нечего есть. «Не оказалось никого, – записал Иосиф, – чтобы готовить или подавать». Вот так вышло с императором, любившим путешествовать без церемоний. Императорская поездка грозила превратиться в фарс [10].

Но Потёмкин был мастером импровизации, а необходимость – мать изобретательности. «Князь Потёмкин сам стал *chef de cuisine* [шеф-поваром (*фр.*). – *Прим. перев.*], – со смехом рассказывала Екатерина Гримму, – принц Нассау – поварёнком, а великий гетман – кондитером». Кухонная сумятица, устроенная одноглазым русским гигантом, космополитичным паладином – победителем львов и усатым «польским храбрецом», наверняка казалась страшноватым, но забавным фрагментом кулинарного ада. Потёмкин ухитрился ещё представить *girandole* – вращающийся фейерверк с четырьмя тысячами ракет, кружащих вокруг монограммы Екатерины, а также ещё один взрывавшийся вулканом холм. Для коронованных особ XVIII века наблюдать фейерверки и эрзац-вулканы было, видимо, таким же скучным делом, как сейчас – посещать фабрики и молодёжные центры. Неизвестно, отвлекло ли это их от потёмкинской стряпни: у троих безумных поваров, как в поговорке, суп вышел плохо. По мнению Екатерины, «никогда раньше этим двум величествам не прислуживали так великолепно и так *дурно»*, но благодаря веселью «обед получился так же хорош, как и плох». Однако один участник, и самый важный, не был согласен.

«Обед состоял из несъедобных блюд», – писал фельдмаршалу Ласси император, которому всё это не показалось смешным; но, по крайней мере, «общество здесь очень хорошее». Но император, известный своим *Schadenfreude* [злорадство (*нем.*). – *Прим. перев.*], был в тайном восторге: «Сумятица, царящая в этом путешествии, невероятна». Там было, записал он, «больше вещей и людей на судах, чем могли увезти экипажи, и к тому же недоставало лошадей». Иосифу, который раздувался от чувства немецкого превосходства над неуклюжими русскими, было «любопытно, чем

всё это кончится». Но, заключал он с мученическим вздохом, «поистине тогда я буду об этом сожалеть» [11].

При первой возможности Иосиф отвёл де Линя в сторону: «Мне кажется, что эти люди хотят войны. Готовы ли они? Сомневаюсь; в любом случае я не готов». К этому времени он уже видел корабли и укрепления в Херсоне. Русские участвовали в гонке вооружений, но он считал, что всё представление устроено, «чтобы пустить нам пыль в глаза. Ничто не прочно, всё сделано в спешке и самым расточительным способом». Иосиф не мог ясно признаться себе, что увиденное произвело на него впечатление. Он был прав, если считал, что великолепие поездки и достижения Потёмкина подталкивали Екатерину к войне. «Мы и сами можем начать», – сказала она секретарю.

Потёмкин хотел обсудить перспективы войны лично с Иосифом, поэтому однажды утром он пришёл к императору и разъяснил ему понесённые Россией обиды и территориальные претензии к османам. Стеснительность не дала Потёмкину высказать всё, что он собирался, поэтому он попросил сделать это де Линя. «Я не знал, что он так много хочет, – пробормотал Иосиф. – Я полагал, что взятия Крыма будет достаточно. Но что они сделают для меня, случись у меня однажды война с Пруссией? Посмотрим, посмотрим…» [12]

Два дня спустя двое цезарей, во внушительной чёрной карете с гербом Екатерины на дверцах, с обтянутым кожей потолком и сиденьями красного бархата, прибыли к затерянным в степи первым постройкам грандиозного, по замыслу Потёмкина, Екатеринослава[104]. Когда оба величества заложили камни в основание кафедрального собора, Иосиф шепнул Сегюру: «Императрица положила первый камень, а я – последний». (Впрочем, он ошибался.) На следующий день они двинулись сквозь степи к Херсону, окружённые «огромными стадами овец и множеством лошадей» [13].

Двенадцатого числа они торжественно вступили в первый потёмкинский город через арку с надписью, в которой содержался очевидный вызов Блистательной Порте: «Путь в Константинополь». Иосиф, уже проведший инспекцию города, теперь мог проинспектировать и свиту Екатерины. «При одном только князе Потёмкине, с его безумной страстью к музыке, состоят 120 музыкантов», – заметил император. Зато «одному офицеру, которому страшно обожгло руки взрывом пороха, только через четыре дня оказали помощь». Что касается фаворита императрицы, то Иосиф счёл Мамонова «не слишком умным… всего лишь ребёнком». Сегюр ему понравился; Фицгерберта он назвал «умным», хотя и очевидно скучающим; высоко он оценил

«дипломатического жокея», обладавшего полнотой ума и *joie de vivre* [жизнерадостность, радость бытия (*фр.*). – *Прим. перев.*], которой не хватало императору: «де Линь прекрасно пришёлся здесь ко двору и хорошо блюдёт мои интересы». Однако инспекционные прогулки Иосифа и его тайная ревность не прошли мимо русских. Екатерина, закатывая глаза, говорила своему секретарю: «Всё вижу и слышу, хотя не бегаю, как император». Ничего удивительного, решила она, что он довёл до бунта брабантских и фламандских бюргеров [15].

Сегюр и де Линь были ошеломлены достижениями Потёмкина. «Мы не могли не дивиться, – пишет Сегюр, – при виде стольких новых величественных зданий». Крепость была почти окончена; имелись казармы на двадцать четыре тысячи человек; «несколько церквей прекрасной архитектуры»; в арсенале – шестьсот пушек, а в порту – двести купеческих судов и готовые к спуску два линейных корабля и фрегат. Такое удивление екатерининской свиты было, вероятно, обусловлено царившим в Петербурге почти всеобщим убеждением в том, что достижения Потёмкина были подделкой. Теперь, говорит Сегюр, все они признали «дарование и подвиги князя Потёмкина». Сама Екатерина, которой враги Потёмкина наверняка говорили, что всё это обман, писала Гримму: «Пусть в Петербурге говорят что угодно, но забота князя Потёмкина превратила эту местность, где при заключении мира [в 1774 году] не было даже хижины, в процветающий город». Иностранцы заметили и недостатки порта. «В Херсоне много построено за столь короткое время с его основания, – пишет Иосиф, – и это заметно».

Пятнадцатого числа Екатерина с Иосифом спустили на воду все три военных корабля. Они находились под навесами, украшенными «газом, кружевами, рюшами, гирляндами, жемчугами и цветами», как показалось де Линю, словно «только что из модных магазинов на улице Сент-Оноре». Один из линейных кораблей, 80-пушечный, был назван «Иосиф II» в честь императора, но тот счёл, что «дерево так зелено… мачты так дурны», что они скоро развалятся на куски. Однако этого не случилось [16].

Перед их отъездом произошло одно грозное предзнаменование. Екатерина хотела посетить стратегически важную крепость Кинбурн в устье Днепра, но по лиману крейсировала турецкая эскадра, и императрица не могла туда добраться. Русские знали о том, что за ними следят глаза турок, но не показывали этого иностранцам. Посол России при Блистательной Порте Яков Булгаков приплыл из Константинополя для обсуждения турецкой политики. Потёмкин

поддразнил Сегюра насчёт поддержки французами турок, которые «имеют повод беспокоиться» [17].

Из Херсона два цезаря отправились через голую степь в Крым. Когда Сегюр неосторожно пошутил на тему пустынь, Екатерина бросила ему: «Напрасно вы связываете себя, граф. Если вам скучно в степи, то кто же вам мешает отправиться в Париж?» [18]

Внезапно императорский экипаж окружили три тысячи донских казаков в полном обмундировании, во главе с атаманом, построенные одной линией и готовые к атаке. Среди них был эскадрон других излюбленных Потёмкиным степных всадников – свирепых калмыков, «точь-в-точь похожих на китайцев», как решил Нассау. Казаки раз за разом атаковали, издавая воинственное гиканье, от которого у потёмкинских гостей захватывало дух. Затем они разделились на две половины и вступили в сражение. Даже на Иосифа произвели впечатление их сила и выносливость: они могли проезжать до шестидесяти вёрст в день. «Ни одна кавалерия в Европе не может в этом отношении с ними сравняться», – записал Нассау.

В Кизикермене[105], в 75 верстах к северо-востоку от Херсона, они нашли каменный домик и готовый лагерь из отделанных серебром палаток с россыпью драгоценных камней на коврах. Когда на следующее утро Александра Браницкая представляла императрице казачьих офицеров, дипломатов восхитили женщины из семьи атамана: на его жене было длинное платье из «золотой и серебряной парчи» и соболья шапочка, расшитая жемчугом. Но больше всего Нассау поразили «четыре нитки жемчуга», соблазнительно качавшиеся у её щек, спускаясь до самого рта [19].

На закате Иосиф с Сегюром вышли на бескрайнюю плоскую пустошь, где не было ничего, кроме травы до самого горизонта. «Какое странное путешествие! – сказал император Священной Римской империи. – Кто бы мог подумать, что я вместе с Екатериною Второй, французским и английским посланниками буду бродить по татарским степям! Это совершенно новая страница в истории».

«Мне скорее кажется, что эта страница из “Тысячи и одной ночи”», – отвечал Сегюр.

Тут Иосиф остановился, протирая глаза: «Право, я не знаю, наяву ли это, или ваши слова о “Тысяче и одной ночи” подействовали на моё воображение: посмотрите в ту сторону!»

К ним приближался высокий шатёр, скользивший над травой как будто сам по себе. Император и граф уставились на это волшебное зрелище: перед ними было стойбище калмыков, которые переносили свои шатры, не разбирая их. Оттуда вышли

три десятка калмыков и окружили двоих людей, не догадываясь, что один из них император. Сегюр вошёл внутрь. Иосиф предпочёл остаться снаружи. Когда Сегюр наконец появился, Иосиф в шутку выразил облегчение, что француз выпущен из своего «заключения» [20].

Как только цезари въехали через Перекопскую линию в Крым, раздался грохот копыт и в облаке пыли появились тысяча двести татарских всадников. Эта «татарская засада» Потёмкина, вооружённая инкрустированными пистолетами, кривыми кинжалами с гравировкой, пиками, луками и стрелами, полностью окружила императорскую карету, казалось, путешественники вдруг перенеслись назад в тёмное прошлое Европы.

«Согласитесь, любезный Сегюр, – сказал де Линь, – что двенадцать сотен татар, которыми мы окружены, могли бы наделать тревоги на всю Европу, если бы вздумали вдруг потащить нас к берегу, посадить на суда августейшую Екатерину и могущественного римского императора Иосифа II и увезти в Константинополь, к наслаждению и удовольствию его величества Абдул-Гамета?» К счастью, Екатерина не услышала этих рассуждений де Линя. Её личную стражу теперь составляли татарские мурзы в богатой зелёной одежде с золотыми полосами. Двенадцать татарских юношей служили ей пажами [21].

Экипажи, сопровождаемые татарской конницей, ехали, казалось, всё быстрее и быстрее. Они повернули на крутой спуск, ведущий к древней столице ханов Гиреев – Бахчисараю. Лошади, вёзшие восьмиместную карету Екатерины и Иосифа, понесли и помчались в стороне от дороги. Карета опасно тряслась по камням. Скакавшие рядом татары пытались удержать её. Екатерина не выказывала никакого страха. Каким-то образом татарам удалось успокоить лошадей, и они остановились так же внезапно, как понесли, у въезда в крымскую столицу [22].

Ханский дворец представлял собой эклектичную смесь собственно дворца, гарема и мечети. Его построили украинские рабы под руководством персидских и итальянских архитекторов, одновременно в мавританском, арабском, китайском и турецком стилях, с отдельными западными нотками вроде готических дымовых труб. Планировка его подражала оттоманским дворцам Константинополя, с воротами и внутренними двориками, ведущими внутрь, в ханскую резиденцию и гарем. Во двориках царили тишина и безмятежность. Высокие стены скрывали потайные сады, освежаемые струйками хитроумных фонтанов. Толщина стен и элементы западного влияния напомнили Иосифу уединенный кармелитский монастырь. Позади ханской мечети и

её высоких минаретов располагалось исполненное благородства династическое кладбище Гиреев, где среди множества надгробных камней с искусной резьбой были построены две восьмиугольные ротонды, скрывавшие захоронения самих ханов. Из окон струились сладкие запахи ароматических церквей. Вокруг дворца, в зажатой между двумя крутыми утёсами долине, расстилался татарский город с его банями и минаретами[106]. Потёмкин иллюминировал всё это, как амфитеатр, множеством фонарей, так что путешественники могли вообразить, что действительно поселились во дворце из арабских сказок [23].

Екатерина остановилась в личных покоях хана, включавших «великолепный и необычный приёмный зал», большой и роскошно отделанный, украшенный гордой надписью – вызовом всем династиям Востока: «Что ни говори клеветники и завистники, ни в Исфахане, ни в Дамаске, ни в Стамбуле не найдем подобного». Габсбург поселился в комнатах ханского брата. Потёмкин, что неудивительно, жил в гареме вместе с де Линем, очарованным волшебством этого места. Очарована была и Екатерина. Сладкие ароматы сада – апельсиновых деревьев, роз, жасмина, граната – проникали в каждый уголок всех комнат, с их скамьями-диванами по периметру стен и с фонтанами посередине. За обедом Екатерина принимала местных муфтиев и уважительно обращалась с ними. Имамы, пять раз в день за её окнами призывавшие правоверных на молитву, вдохновили её на плохое, хоть и рифмованное, стихотворение: «…Не здесь ли место рая? Хвала тебе, мой друг!..»

После обеда Иосиф уехал инспектировать близлежащий Чуфут-Кале – обиталище караимов, известной с VIII века иудейской религиозной группы. Караимы отвергали Талмуд, верили только в изначальную Тору и жили, довольные своей изоляцией в покинутых крепостях на вершинах Крымских гор. Остававшиеся в Бахчисарае Нассау, Сегюр и де Линь исследовали город, будто освобождённые от занятий школьники. Де Линь, хоть и был на двадцать лет старше Сегюра, шалил больше всех, всё надеясь увидеть татарскую девушку с незакрытым лицом. Впрочем, этой заманчивой перспективе пришлось подождать. В гареме же Потёмкин, развалившись, наблюдал за «арабскими танцовщицами» и их, по мнению Нассау-Зигена, «отвратительными танцами» [24]. Цезари провели в Бахчисарае всего две ночи, и двадцать второго мая в девять утра в окружении пажей, татар и донских казаков уехали, чтобы увидеть величайшее из потёмкинских представлений.

Царица и император сидели за роскошным обедом в красивом дворце, построенном на Инкерманских высотах, на

выдающемся в море языке суши. Играл потёмкинский оркестр. Склоны холмов пестрели упражнявшейся в езде и в битве татарской конницей. Светлейший князь подал знак. Вмиг отдернулись занавеси и распахнулись двери на балкон. На глазах выглянувших наружу монархов отряд татарских всадников посреди столкновения разошёлся в стороны, открыв «величественное зрелище», от которого у зрителей захватило дух.

Горы здесь выстраивались амфитеатром вокруг глубокого залива, блестевшего на солнце. Посреди него на якоре, в боевом порядке, обратившись прямо к месту трапезы монархов, стоял грозный и многочисленный флот – не менее двадцати линейных кораблей и фрегатов – как решил Иосиф. По другому тайному знаку князя этот флот отсалютовал общим залпом всех пушек. Самый звук, вспоминал Сегюр, был как объявление о том, что Российская империя прибыла на юг и «не более, как через тридцать часов флаги кораблей [Екатерины] могут развеваться в виду Константинополя, а знамёна её армии – водрузиться на стенах его». Нассау писал, что этот миг был «почти волшебным». Морская база Севастополь была основана три года назад, а весь этот флот Потёмкин построил всего за два года.

Эта демонстрация грубой мощи России подвигла Екатерину встать, как только пушки замолчали, и, глядя на Иосифа, но не называя его, предложить воодушевлённый тост за её «лучшего друга»[107]. Можно представить, как морщился Иосиф от её страстности, как за презрительной маской ревниво поглядывал на успешное русское предприятие, желая самостоятельно его проинспектировать. Фицгерберт оставался совершенно невозмутим. Все взгляды обратились на Потёмкина: это был именно его успех, замечательное достижение, учитывая неповоротливость русской бюрократии, объемы его ответственности, недостаток у русских опыта в морском деле и расстояние до ближайшего строевого леса в далёкой Польше. Присутствовавшие русские наверняка подумали о завоевании Петром Великим Прибалтики и основании российского флота на Балтийском море. Кто из придворных выскажет это первым? «Мадам, – сказал Сегюр, – основанием Севастополя вы довершили на юге то, что Пётр Великий начал на севере». Нассау обнял Потёмкина и попросил разрешения поцеловать руку императрице. Та отказалась. «Князя Потёмкина, которому я всем обязана, следует поцеловать, – повторяла она. Затем она со смехом повернулась к своему милому супругу. – Надеюсь, теперь не скажут, что он ленив», – сказала она, предупреждая этим всякие намёки на то, что его достижения не настоящие. Тронутый до слёз Потемкин целовал ей руки [26].

Светлейший князь повёл царицу и императора вниз, к пристани. Там они сели на лодку и отплыли к Севастополю и к новому флоту. Остальные последовали за ними на второй шлюпке. Они прошли прямо под носами трёх 66-пушечных линейных кораблей, а также двух 50-пушечных и десяти 40-пушечных фрегатов, которые салютовали императрице ещё тремя залпами. Матросы приветствовали её. Затем они высадились на берег у каменной лестницы, ведущей прямо к адмиралтейству, где Екатерина остановилась. Вокруг лежал новый город Севастополь, «прекраснейший порт, какой я видел», как писал Иосиф. Наконец и он исполнился восхищения: «Там стояли 150 кораблей… готовых ко всем превратностям моря». Порт защищали три батареи. В городе были дома, склады, две больницы, казармы. По оценке Кобенцля, скоро должны были быть закончены двенадцать линейных кораблей. Даже Иосиф признал их «очень хорошо построенными». Сегюру казалось невероятным, что Потёмкин выполнил всё это в такое короткое время. Там, где три года назад не было ничего, теперь всё было прекрасно устроено. «Следует отдать должное князю Потёмкину», – написала в тот день Екатерина в Париж Гримму. «Императрица, – отметил Иосиф, – в полном восторге… Князь Потёмкин в настоящий момент всесилен и доволен больше, чем можно вообразить».

Оба цезаря и князь размышляли о войне. Екатерине и Потёмкину казалось, что теперь они могут с ходу разбить турок. Императрица спросила Нассау, считает ли он её корабли равными тем османским, которые он видел у Очакова. Нассау ответил, что русские суда могли бы положить турецкий флот себе в карман. «Как вы думаете, осмелюсь ли я на это?» – улыбнулась она де Линю с леденящей игривостью. Россия готова к войне, «непрестанно» говорил де Линю Потёмкин. Если бы не Франция, «мы бы начали немедленно».

«Но ваши пушки, ваши военные запасы…» – пытался обуздать его де Линь от имени своего императора.

«Всё уже здесь, – ответил светлейший князь. – Мне достаточно приказать ста тысячам солдат: марш!»

Екатерина сохранила достаточно рассудительности, чтобы через Булгакова передать султану успокоительную ноту. Ни она, ни Потёмкин не были так воинственны, как казалось. И всё же можно понять, чем было вызвано убеждение «карманных посланников», Блистательной Порты и европейских правительств в том, что Россия уже грызёт удила [27].

Екатерина удалилась, чтобы наедине обсудить с находившимся под сильным впечатлением императором сроки

предстоящей войны. Потёмкин, подчёркивая свой полуцарский статус, присоединился к ним. Иосиф, ссылаясь на Францию и Пруссию, призывал к осторожности. Фридрих-Вильгельм Прусский (Фридрих Великий скончался в 1786 году) «слишком посредствен», чтобы остановить их, заявила Екатерина. Франция будет делать «много шума», согласился Потёмкин, но «в конце концов возьмёт себе кусок пирога» – она захочет в этом дележе проглотить Египет и Кандию (Крит). Кроме того, угрожающе добавила императрица, «я так сильна, что достаточно и того, что вы этого не предотвратите». Иосиф, боясь остаться не у дел, заверил собеседников, что они могут рассчитывать на Австрию [28]. Никто из них не подозревал, что в это самое время тот же спор – война или мир – кипел на другом берегу моря, на расстоянии дня плавания, в диване Высокой Порты. Константинопольская *canaille* [чернь, сброд (*фр.*). – *Прим. перев.*] требовала войны, а по улицам шли тысячи солдат, направляясь к крепостям на Чёрном море и на Балканах.

Иосиф пригласил дипломатов прогуляться вокруг Севастополя и без посторонних обсудить загадку Потёмкина. Способность этого экзотического чудака так много сделать ставила императора в тупик. В Потёмкине «необыкновенно деятельный дух», – сказал он Нассау. «Несмотря на его странности, – заявил Иосиф Сегюру, – этот уникальный человек» не только «полезен, но и необходим» для управления таким варварским народом, как русские. Иосифу очень хотелось найти подвох, и он предположил в разговоре с Нассау, командовавшим на море, что корабли не готовы к плаванию. «Они готовы и полностью вооружены», – ответил паладин. Иосифу наконец пришлось признать поражение: «По правде говоря, нужно приехать сюда, чтобы поверить тому, что я здесь вижу» [29].

Нассау и де Линь уехали в сопровождении казаков и татар осматривать Партенит и Массандру – поместья, подаренные им князем. В Партените, владении де Линя, предположительно находился когда-то храм Артемиды, где была принесена в жертву Ифигения. Де Линь был так тронут, что посвятил Потёмкину стихотворение. Гости также посетили развалины древнего города Херсонеса [30].

25. Амазонки

Assemblage e´tonnant des dons de la nature
Qui joignez la ge´nie a` l'aˆme le plus pure
De´licat et sensible a` la voix de l'honneur
Tendre, compatissant, et rempli de candeur
Aimable, gai, distrait, pensif et penseur sombre
De ton charmant, ce dernier trait est l'ombre
Apprends-moi par quel art, tout se trouve en ta teˆte?[108]

Стихотворение принца де Линя, написанное во время крымского путешествия и посвящённое князю Потёмкину

Когда император направился с инспекцией в Балаклаву, ему навстречу выехала целая рота амазонок. Иосиф был поражён их представлением, которое как нельзя лучше демонстрировало потёмкинское режиссёрское мастерство. В Балаклаве располагалась греческая, или албанская, военная колония, и гречанки уже обзавелись не только современными пистолетами, но и неоклассическим костюмом – нагрудными доспехами и мантиями. Амазонок представляли девушки-албанки, все как на подбор «красавицы», если верить де Линю. На них были юбки из малинового бархата, обшитые золотым галуном и золотой бахромой, зелёные бархатные куртки, тоже украшенные золотым галуном, тюрбаны из белой дымки с блёстками и белыми страусиными перьями. Девушки вооружились до зубов: «мушкеты, штыки, копья, амазонские нагрудные доспехи, грациозно уложенные длинные волосы». Эта затея родилась в беседе Екатерины и Потёмкина – незадолго до поездки, ещё в Петербурге, они обсуждали сходства между современными и античными греками. Он нахваливал отвагу своих греческих воинов и их жён. Екатерина, не будучи феминисткой,

сомневалась, что от жён есть какой-то прок. Князь решил доказать ей обратное[109].

Неуклюжий император был так восхищён этим зрелищем, что наградил предводительницу амазонок, девятнадцатилетнюю красавицу и жену капитана Елену Сарданову, отнюдь не царственным поцелуем в уста. Затем он умчался обратно на встречу с императрицей. Екатерина познакомилась с потёмкинскими амазонками во время своей следующей остановки – в греческом селении Кадыковка, где она шествовала по аллее из лавровых, апельсиновых и лимонных деревьев. Потёмкин сообщил ей, что амазонки готовы продемонстрировать своё стрелковое мастерство. Но Екатерине, вероятно, уже прискучили военные демонстрации, и она отказалась. Вместо этого она обняла Сарданову, пожаловала ей бриллиантовый перстень стоимостью 1800 рублей и 10 000 рублей для её войска [1].

Амазонки присоединились к другим сопровождающим Екатерины – татарам, казакам и албанцам, которые оставались с ней до конца поездки. Императорская процессия, должно быть, представляла собой удивительное зрелище, когда катила по плодородному, скалистому юго-восточному побережью Крыма, любуясь на райские сельские пейзажи и потёмкинские виноградники. «Дороге в Византий» сопутствовал успех, и в этой благостной атмосфере цезари позволили себе расслабиться и отдохнуть. Иосиф даже признавался, что Потёмкин вынуждал его дожидаться встречи в приёмной, словно он был обычным придворным, но, тем не менее, император не мог сердиться на этого необыкновенного человека – неожиданные перемены были в характере дерзкого Габсбурга [2].

Покачиваясь в карете, Екатерина и Иосиф обсуждали темы, которые волнуют всякого главу государства. Де Линь устроился между ними и, задремав, сквозь сон слышал, как один из монархов произнёс: «У меня тридцать миллионов подданных мужеского полу», а второй признался, что властвует лишь над двадцатью миллионами. Кто-то из собеседников интересовался: «Покушался ли кто-нибудь на вашу жизнь?» Они обсуждали условия союза между своими империями. «Что же нам делать с этим проклятым Константинополем?» – спрашивал Иосиф Екатерину [3].

В Кафе, старом рабовладельческом порту, который Потёмкин переименовал в Феодосию, князь сыграл с Сегюром одну из своих шуток. Когда путешественники поутру забирались в свои кареты, Сегюр столкнулся с прелестной юной черкешенкой в народном платье. Он побледнел: девушка была точной копией его жены. «Я

на мгновение подумал, что из Франции прибыла ко мне мадам Сегюр. В стране чудес воображение не знает границ». Девушка исчезла. Вместо неё явился сияющий Потёмкин: «Разве сходство не безупречное?» – спросил он Сегюра, добавив, что видел в палатке посла портрет его жены. «Полное и невероятное сходство», – отвечал поражённый супруг. «Что ж, батюшка, – сказал Потёмкин, – эта юная черкешенка принадлежит человеку, который позволит мне распоряжаться ею как вздумается, и когда вы прибудете в Петербург, то я подарю её вам».

Сегюр попытался отказаться, потому что его жене вряд ли пришёлся бы по нраву такой романтический жест. Потёмкин был задет этим и обвинил Сегюра в ложной учтивости. Тогда Сегюр обещал принять от князя любой другой подарок[110] [4].

Спутники отправились в путь по зелёным покатым холмам полуострова, осматривая потёмкинские парки, молочные фермы, стада овец и коз и его розовый «татарский» дворец в Карасубазаре[111]. По словам англичанки, которая посетила эти места десять лет спустя, это был «один из тех сказочных дворцов», которые возникают «словно по мановению волшебной палочки по секретному распоряжению Потёмкина, чтобы всех изумить и очаровать» [5].

Здесь гостям явился настоящий островок Англии. «Умелый Браун» сразу оценил бы английские парки – «купы величественных деревьев, широкие лужайки», ведущие к «рощам, и всё это восхитительное удовольствие спланировано нашим соотечественником Гульдом»; там же располагалась английская молочная ферма Хендерсона. Идиллия Потёмкина была бы неполной без настоящего английского чая. «Племянницы» Хендерсона, которых привёз Иеремия Бентам, привлекли внимание искушённого де Линя: «два небесных создания в белых одеждах» встретили и усадили гостей за стол, усыпанный цветами, «на который они поставили масло и сливки. Это напомнило мне описания завтрака из английских романов». Иосифу предложили осмотреть казармы и солдатские полки, но, несмотря на это, он остался разочарованным. «Нам пришлось карабкаться по горным дорогам, – ворчал он в письме фельдмаршалу Ласси, – только чтобы увидеть козла, ангорскую овцу или жалкое подобие английского парка» [6].

Потёмкин устроил *feu d'artifice* [фейерверк (*фр.*). – *Прим. перев.*], который произвел впечатление даже на этих уставших от салютов высокопоставленных персон. Во время банкета в небо взлетели двадцать тысяч больших ракет, и над горами дважды зажглись вензели императрицы из пятидесяти пяти тысяч огней. В английских парках было светло, как днём. Иосиф сказал, что

никогда не видел ничего восхитительнее, и мог лишь поражаться могуществу Потёмкина, который способен воплотить в жизнь всё, что ему захочется, невзирая на цену, и Российскому государству, где всё это было возможно: «Мы в Германии или Франции никогда не решились бы затеять то, что совершается здесь… Здесь человеческая жизнь и труд ни во что не ставятся… Хозяин приказывает, раб повинуется» [7].

Когда они вновь вернулись в Бахчисарай, мысли придворных-космополитов вновь обратились к татарским девушкам. Де Линь, который в пятьдесят лет чувствовал себя моложе, чем в тридцать, более не мог сдержать любопытства. «Какой толк гулять по великолепному саду, если не позволено полюбоваться цветами? Прежде чем я покину Крым, я должен увидеть хоть одну татарскую девушку без чадры». Он попросил Сегюра присоединиться к нему в этой затее, и вместе они отправились на поиски. Вскоре им встретились три девушки, занятые стиркой; их чадры лежали на земле неподалёку. «Но увы, – сокрушался Сегюр, – ни одна из них не блистала красотой». Напротив. «Боже правый! – воскликнул де Линь. – Прав был Магомет, когда велел им закрывать свои лица». Женщины с криками убежали, а за любителями подглядывать погнались татары, изрыгая проклятия и швыряя в них камни.

На следующий день за обедом Екатерина была молчалива, а Потёмкин угрюм – вероятно, оба чрезвычайно устали. Де Линь решил развеселить их рассказом о своих проказах. Царица вознегодовала: «Господа, подобные шутки – дурной тон». Покорив эти земли, она повелела относиться к исламу с уважением. Татары отныне были её подданными и находились под защитой императрицы. Если бы её подчинённые вели себя так же ребячливо, то понесли бы заслуженное наказание [8].

Даже императора охватило сладострастное настроение. Екатерина позволила Иосифу, де Линю и Сегюру (вероятно, в утешение после выговора) присутствовать на её аудиенции, данной принцессе из рода Гиреев. Но далёкая правнучка Чингисхана разочаровала их. «Из-за густо намазанных бровей и накрашенного лица она напоминала фарфоровую статуэтку, и даже её красивые глаза не спасали положение», – писал Сегюр. «Я бы предпочёл какую-нибудь из её прислужниц», – признался Иосиф Ласси. Император был настолько пленён красотой черкесских женщин, что даже решил купить одну из них[112] – странная идея для образцового правителя эпохи Просвещения: лейтенант Цирули получил от него некую сумму, чтобы отправиться на Кубань и приобрести «хорошенькую черкешенку». Потёмкин одобрил это предприятие. Правда, исход его нам не

известен. Как бы то ни было, Иосиф привёз с собой в Вену шестилетнюю черкесскую девочку (вероятно, уже другую), которую выкупил у работорговца [9]. При крещении она получила имя Элизабет Гулеси, при дворе ей дали достойное образование, и согласно завещанию Иосифа она получала пенсион в 1000 гульденов в год – немалая сумма по сравнению с пенсионом Моцарта, которому в 1787 году выплатили лишь 800 гульденов. Позднее она вышла замуж за мажордома некоего аристократа, и следы её затерялись.

Второго июня в степях у Кизикермена их императорские величества наконец расстались. Иосиф отправился в Вену, Екатерина – в Москву. Восьмого июня императрица прибыла в Полтаву – место, где Пётр I одержал победу над войсками шведского короля Карла XII. Потёмкин воспроизвёл ход этого сражения и срежиссировал «живую движущуюся картину», как выразился Сегюр, «почти всамделишную», с участием пятидесяти тысяч солдат, исполнявших роли русских и шведов. Глаза Екатерины, наследницы Петра, сияли от гордости. Затем светлейший князь вручил ей жемчужное ожерелье, то самое, которое он показывал Миранде. В ответ Екатерина составила похвальную грамоту, где перечислила все потёмкинские достижения на юге страны, пожаловала ему сто тысяч рублей и новый титул: отныне его называли «князь Потёмкин-Таврический»[113].

«Папа, – пишет она ему девятого июня, – …надеюсь, что ты меня отпустишь завтра без больших обрядов». На следующий день, подъехав к Харькову, утомлённые партнёры расстались. В Москве Екатерина в сопровождении Браницкой, «котёнка» Скавронской и своих «карманных министров» встретилась со своими внуками Александром и Константином. Когда двадцать второго июля она прибыла в Царское Село, все участники этого волшебного путешествия «вынуждены были вернуться к скучным политическим делам» [10].

Самыми докучливыми из этих дел были непрекращавшиеся обвинения Потёмкина в том, что он обманывает Екатерину, – клеветнические слухи о «потёмкинских деревнях». Едва императрица вернулась в Петербург, как «карманных министров» тут же подвергли расспросам потёмкинские критики: они желали узнать, существуют ли в действительности Херсон, Севастополь, стада скота и черноморские флотилии. Само выражение «потёмкинские деревни» придумал человек, который никогда не бывал на юге и тем более не видел результатов работы Потёмкина своими глазами.

Уже в 1770-х начали распространяться злобные сплетни о том, что на самом деле Потёмкин ничего не добился в южных землях. Это оказалось явной ложью, поэтому теперь его недруги и недоброжелатели Российской империи нашёптывали друг другу, что всё показанное им – колоссальный мошеннический трюк. Ожесточённый саксонский посол Георг фон Гельбиг, которого не взяли в путешествие, пустил в оборот фразу «Potemkinsche Doörfer» – «потёмкинские деревни». Эта метафора политической фальсификации оказалась столь удачной, особенно для России, что вошла в обиход и приобрела значение «подделка, показуха, фальшивое достижение». Гельбиг не ограничился использованием своей остроты в дипломатических депешах: в 1790-е годы он опубликовал биографические статьи о Потёмкине в гамбургском журнале «Минерва», и их с интересом прочли враги Российского государства. Позднее эти статьи были собраны в монографию и изданы в Германии в 1809 году, а затем вышло дополненное издание на французском и английском языках. Именно эти тексты стали основой для исторического образа Потёмкина – такой же несправедливой фальсификации, каковой объявлялись его деревни. Подобный образ не подходил светлейшему князю, но эту грязь отмыть не удалось [11].

История о «потёмкинских деревнях» повествовала о круизе по Днепру: Гельбиг заявлял, что местные сёла представляли собой лишь муляжи – раскрашенные картонные фасады, – которые везли вдоль реки вслед за процессией, и императрица могла созерцать их пять или шесть раз. Гельбиг писал, что тысячи крестьян заставляли покидать свои дома в глубине страны и ночью привозили на берега реки вместе со скотом, чтобы к утреннему прибытию императрицы всё было готово – тысячи деревень опустели, наступил голод, и много людей погибло. А иностранцы попросту ежедневно видели одних и тех же крестьян.

Идея «потёмкинских деревень» возникла *за несколько лет* до этой поездки. Когда в 1782 году Кирилл Разумовский посетил Херсон, само существование города стало для него «приятным удивлением» – по всей видимости, его предупреждали о том, что вся эта затея – лишь мираж [12]. В Петербурге всем иностранцам, которые собирались поехать в южные земли, сообщали, что Потёмкин вводит их в заблуждение: *за год* до путешествия Екатерины леди Крейвен писала, что «завистники Потёмкина» уверяли её, что в Крыму нет воды – «он разместил своё правительство в Тавриде и командовал оттуда войсками, что породило злокозненные ложные слухи о его новой стране… они распространялись с целью получить свою долю похвалы, которая по праву причитается лишь ему» [13]. Приближённые наследника

и другие завистливые придворные годами рассказывали императрице, что Потёмкин просто выдумывает свои достижения. *Перед отъездом* Екатерины Гарновский сообщил князю о новой клевете, которую ей нашептали: якобы она увидит *не настоящие строения, а лишь раскрашенные ширмы*. В Киеве слухи стали распространяться ещё настойчивей. Очевидно, что Екатерина так стремилась отправиться в эту поездку не в последнюю очередь потому, что хотела всё увидеть своими глазами. Когда Потёмкин попытался задержать отправление из Киева, потому что не успел завершить все приготовления, она сообщила секретарю Храповицкому, что хочет поехать, «невзирая на неготовность» [14].

Рассказ о «потёмкинских деревнях» не находят никакого подтверждения ни в распоряжениях самого Потёмкина, ни в воспоминаниях очевидцев. Ясно, что он начал приготовления к визиту Екатерины ещё в 1784 году, поэтому нет причин подозревать, что всё это представление было срежиссировано за одну ночь: ещё тогда генерал Каховский отчитался, что для грядущего визита Екатерины построены новые дворцы и отремонтированы старые здания. Для себя Потёмкин строил путевые дворцы, но большинство дворцов Екатерины были постоянными: к примеру, херсонские резиденции простояли больше столетия. Ханский дворец в Бахчисарае надлежало «починить» и «перекрасить». На следующий год Потёмкин составил список усовершенствований, в которых нуждался Крым: в числе прочего он велел построить новые соляные магазины в Перекопе, по рекомендациям Гульда «насадить рай-дерево» и каштановые рощи в Кафе, а в Бахчисарае Каховскому поручил «большую улицу, где имеет быть въезд Ея Императорскаго Величества, застроить хорошими домами и лавками» [15]. Приказы отремонтировать уже существующие здания – это, пожалуй, единственные документы среди тысяч бумаг потёмкинского архива, которые могут служить косвенным свидетельством косметического приукрашивания действительности. Обратимся к рассказам Миранды – главного непредвзятого свидетеля, сопровождавшего Потёмкина в ходе подготовительных инспекций; он не увидел ни одной фальсификации. Напротив, он свидетельствовал об абсолютной правдивости сведений о трудах Потёмкина.

Как же обстояли дела с танцующими крестьянами и их стадами, пасущимися на берегах реки? Перевезти такое множество людей, особенно ночью, в ту эпоху было попросту невозможно. Коровы и овцы не выдержали бы такой поездки. Как мы помним, Потёмкину не удалось скрыть своё фиаско в Кайдаке,

где он потерял кухни и поваров и был вынужден сам готовить ужин для двух монархов, и это доказывает, что он не смог бы перевезти тысячи человек и животных на столько вёрст лишь для того, чтобы обмануть своих гостей [16]. Да и стада скота не были новинкой в этих местах: жившие поблизости кочевники испокон веков разводили коров и овец. Потёмкин увеличил эти стада и улучшил их качество: Миранда видел овец, пасшихся в степи [17], а за год до этого леди Крейвен писала, что речные берега и степи потёмкинских земель не нуждались в волшебстве: она видела крупные стада «лошадей, коров и овец, украшавших собой простой и величественный пейзаж, полный покоя и достатка». Здесь уже паслись стада. Они существовали на самом деле [18].

Не было нужды специально сгонять толпу желающих увидеть императрицу. После того, как шестьдесят лет назад эти места посетил Петр I, сюда не добирался ни один монарх; кто бы смог удержаться, чтоб не поглазеть на целых *двух* цезарей? Даже в Смоленске народ съезжался за десятки вёрст, чтобы посмотреть на императрицу [19]. Кроме того, местные крестьяне наверняка хотели продать свой урожай императорским поварам. Когда год назад леди Крейвен – никому не известная иностранка, путешествовавшая в одиночку, – посетила Бахчисарай, на улицы высыпали любопытные и восторжённые татары и солдаты, а их реакция на прибытие двух монархов наверняка была немного более бурной [20]. Нельзя сказать, чтобы на берегах Днепра не было совсем уж никаких представлений: напротив, Потёмкин украсил и облагородил всё, что смог. Он был политическим импрессарио, который хорошо понимал, как важно эффектно преподнести свои достижения, наслаждался политической «игрой», прекрасно отдавал себе в этом отчёт и поступал в высшей степени обдуманно [21].

Сегодня каждый визит главы государства тщательно готовится: составляется поминутный план, перекрашиваются здания, чистятся улицы, бродяг и проституток арестовывают, а улицы украшают яркими флагами. Играют духовые оркестры, танцуют местные школьные ансамбли, а остановки у ломящихся от товаров магазинов всегда срежиссированы заранее [22]. Во многих отношениях путешествие Екатерины было первым в истории подобным мероприятием. Все понимали, что амазонки, казаки и мгновенно возникающие английские парки были организованы специально – так же как королева Елизавета II понимает, что зулусские импи с дротиками-ассегаями и щитами, которые предстают перед ней в ходе её путешествий, не являются типичными обитателями Йоханнесбурга[114]. Именно это имел в виду Сегюр, когда говорил, что Потёмкин «как будто какими-то

чарами умел… преодолевать всевозможные препятствия, побеждать природу… обманывать зрение там, где были лишь однообразно песчаные равнины» [23].

Разумеется, куда бы ни отправилась императрица, местные чиновники спешно подметали улицы, подкрашивали дома и маскировали безобразия. В двух городах, Харькове и Туле, через которые не проходил намеченный Потёмкиным маршрут, губернаторы действительно многое скрыли от Екатерины и построили муляжи зданий[115]. Любопытно, что единственные доказательства существования «потёмкинских деревень» свидетельствуют о том, что они были созданы вовсе не Потёмкиным [24]. Можно сказать, что Потёмкин был родоначальником современных политических шоу, но никак не ярмарочным мошенником.

По свидетельству иностранцев, от Миранды до Иосифа, светлейшему князю *не было необходимости* фальсифицировать города и флотилии [25]. Императрица посещала лишь некоторые локации, к тому же даже Потёмкина порой обманывали его подчинённые, но император Иосиф счёл для себя обязательным осмотреть всё, что только возможно, и признал, что все отчёты были правдивыми, хотя откровенно добавил, что не поверил бы, если бы не увидел всё собственными глазами [26]. Де Линь иногда отправлялся на самостоятельные прогулки и имел возможность наблюдать «великолепные учреждения, возведение которых только что началось; развивающиеся мануфактуры, селенья с прямыми улицами, окружённые деревьями и орошаемые водой…».

Помимо прочих слухов, Екатерине поведали, что Потёмкин, реформировав кавалерию, тем самым разрушил российскую армию. Увидев его замечательную лёгкую конницу в Кременчуге, она разгневалась на тех, кто посмел лгать ей, и воскликнула, обернувшись к де Линю: «Эти негодяи обманули меня!» [27]. По этой причине Екатерина вдвойне обрадовалась, обнаружив лживость слухов, и с увлечением рассказывала об увиденном своим внукам и чиновникам (к примеру, графу Брюсу): «Как приятно видеть эти места своими глазами. Чего только не говорили мне о Крыме, предостерегая и разубеждая ехать. Прибыв сюда, я не могу уразуметь причину этих безумных предрассудков». Она даже призналась в своём «большом удивлении» из-за того, что Херсон успел стать настолько развитым городом. Однако её уверения не остановили клеветников Потёмкина [28].

«Уже распространились слухи о том, что вдоль наших дорог выстроили картонные деревни… корабли и орудия нарисовали

краской, а у конников не было лошадей», – писал де Линь в Париж. О причинах этих слухов он заметил: «Русские… раздосадованные тем, что их не взяли с нами в путешествие, будут делать вид, что всех нас обманули». Де Линь прекрасно понимал, «что такое надувательство», и знал, что свершения Потёмкина были подлинными [29]. Сам Потёмкин был вполне осведомлён о том, что недоброжелатели распространяют о нём лживые сплетни. «…Всего больше, что никогда злоба и зависть не могли мне причинить у тебя зла, и все коварства не могли иметь успеху», – писал он позднее Екатерине. Она подтвердила его правоту: «Врагам своим ты ударил по пальцам усердием ко мне и ревностию к делам Империи» [30].

Может быть, их пальцы и пострадали, однако это помогло ненадолго. Петербургские враги Потёмкина были твёрдо намерены дискредитировать его, пренебрегая фактами. Чересчур восторжённые придворные, такие как Евграф Чертков (свидетель на венчании Потёмкина и Екатерины), только усугубляли ситуацию своими восторгами: «Бог знает, что там за чудеса явилися ‹…› Я тогда ходил как во сне ‹…› Ну! надобно правду сказать, ему [Потёмкину] – ему только одному можно такие дела делать!» [31]. Именно это недоброжелатели – например, великий князь Павел – и желали услышать.

Царевич вызвал к себе де Линя и Сегюра, чтобы расспросить их о достижениях Потёмкина. Однако правда не смогла заставить его расстаться со своими предубеждениями: «Невзирая на рассказы этих двоих путешественников, он *не желает* поверить, что дела обстоят именно так, как ему о том докладывают» [32]. Когда де Линь признал, что Екатерина не смогла осмотреть всё, Павел взорвался: «О! Мне это прекрасно известно. Потому-то этот пропащий народ и не хочет, чтобы им правила женщина!» [33]. Такая убеждённость придворных и стала причиной устойчивости слухов, хотя они и противоречили словам очевидцев. Ложь умножалась усилиями тех, кто был настроен против расширения Российской империи. Легко представить, как после смерти Потёмкина и Екатерины этот хорошо продуманный обман постепенно стал частью официальной истории. Даже английский перевод книги Гельбига, вышедший в 1813 году, провозглашал: «Зависть, жертвами которой становятся великие люди, преувеличивает то, что было лишь видимостью, и умаляет подлинное» [34]. Потёмкин пострадал из-за собственного невероятного успеха. Идея «потёмкинских деревень» сама является одной из крупнейших исторических фикций.

Новоиспечённого князя Таврического вновь охватило

депрессивное изнеможение – следствие разрядки напряжённости после такой маниакальной работы и головокружительного успеха. Он задержался на несколько дней в Кременчуге и в середине июля переехал со своей свитой в Херсон, где вдруг занемог, подолгу лежал на диване в раздумьях и играл с драгоценными камнями. Это был не самый подходящий момент для депрессии. Ещё в октябре на его плечи легла ответственность за политику в отношении Османской империи – он был «вершителем судеб», от которого зависело, ждёт Россию «война или мир». Османская империя склонялась к войне. С момента утраты Крыма и Грузии и признания российской власти в дунайских княжествах османы искали возможность вернуть себе всё, что с таким позором уступили [35].

С марта по май в Стамбуле бушевал мятеж. «Народ здесь говорит только о войне», – сообщал Потёмкину его лучший осведомитель Н. Пизани, отпрыск одного из стамбульских дипломатических семейств, которое переводило и шпионило для многих заказчиков. Султан Абдул-Гамид, подстрекаемый своим воинственно настроенным великим визирем Юсуф-Пашой и муфтиями, намеренно испытывал терпение русских: в 1786 году молдавский господарь Маврокордат был изгнан и нашёл приют в России. Местный паша напал на грузинского царя Ираклия. Турки оказали также поддержку шейху Мансуру и его чеченцам, и Потёмкину пришлось укреплять Азово-Моздокскую линию. Порта в свою очередь оснастила все свои крепости от Кубани до Дуная, от Анапы и Батуми до Бендер и Исмаила, отремонтировала флот и устроила показательные манёвры в Очакове во время визита Екатерины. «Воины день ото дня ведут себя всё более вызывающе и позволяют себе всевозможные выходки», – добавлял Пизани [36].

Новый флот и скорый визит Екатерины подняли боевой дух Потёмкина, и он определённо сыграл свою роль в этой напряжённой конфронтации. В декабре 1786 года он приказал Булгакову, российскому послу в Порте, велеть османам немедленно прекратить все свои выходки в дунайских княжествах и на Кавказе [37]. Он предложил им выбор – либо война, либо гарантия сохранения российских приобретений на Чёрном море в обмен на безопасность Османской империи. В тот момент Блистательная Порта была более заинтересована в безопасности. Потёмкин выразился жёстко, но не слишком провокативно – в противном случае османы нанесли бы удар во время прибытия Екатерины. Кобенцль даже счёл требования Потёмкина «слишком мягкими» [38]. В марте Потёмкин пишет Булгакову: «…всё делается для истощения всех способов, чтоб не иметь войны,

которая конечно последует, ежели не получим удовольствия ‹…› Постарайтесь довести до сведения самого Султана, сколь малы и сколь при том справедливы требования Высочайшего Двора» [39]. Когда в июне Булгаков обсуждал это с Потёмкиным в Херсоне, они стремились найти возможность избежать войны, а не спровоцировать её. В частности, в августе Потёмкин попросил Булгакова «выиграть ещё пару лет» [40]. Отсрочка была необходима, предстояло ещё немало приготовлений [41].

Потёмкин гордился российской военной мощью, и могло показаться, будто он жаждет войны, но он смог покорить Сечь, Крым и Грузию под *угрозой* войны, при этом не потеряв ни единого екатеринославского гренадера. Он знал, что рано или поздно ему придётся сражаться с турками, потому что тех всё больше возмущали новые и новые успехи России. Очевидно, однако, что он говорил о войне, лишь чтобы её избежать. Между тем именно Потёмкина обвинили в том, что его бестактная и агрессивная дипломатия стала причиной конфликта. Такой взгляд на ситуацию сложился задним числом: потомки сочли, что Россия притесняла ослабленную Турцию, хотя на самом деле Порта в это время собирала войска и флотилии, значительно усовершенствовав их после жалкого поражения в первой Русско-турецкой войне. Историки также не брали в расчёт, что Стамбул в то время был охвачен милитаристскими настроениями, а Османская империя провоцировала русских на Кавказе и на Дунае. Если князь в чём-то и повинен, то в создании Черноморского флота и организации крымского визита императрицы: эти события окончательно подтвердили, что Россия не собирается покидать черноморские берега, и в то же время сигнализировали, что для Порты настал последний шанс оттеснить русских с их позиций. В результате началась гонка вооружений, и обе стороны синхронно провоцировали друг друга. Война была вызвана обоюдным закручиванием гаек и разразилась прежде, чем оба государства успели к ней подготовиться.

Вернувшись в Стамбул, русский посол обнаружил настоящую военную лихорадку. Первого июня 1787 года, согласно свидетельству Пизани, великий визирь Юсуф-Паша при поддержке янычаров и имамов намеренно «подстрекает толпу… с тем чтобы смутить своего государя и заставить его поверить, что люди хотят войны, и если не получат желаемого, то поднимут мятеж». Чернь бунтовала. Азиатские наёмники пробирались через город по пути в Измаил, главную крепость Молдавии. Османская армия насчитывала 300 000 человек. Их сдерживал только мирный настрой султана и его влиятельного капудан-паши (командующего флотом) Хассан-Паши [42]. Пруссия, Швеция,

Британия и Франция тоже подзадоривали турок; Пизани сообщал: «В мои руки попал план по захвату Крыма, составленный для французских офицеров». Наконец сдался и султан. Порта выдвинула Булгакову невыполнимые условия – к примеру, потребовала вернуть Грузию и разместить в русских городах турецких консулов. Булгаков отверг их, пятого августа был арестован и брошен в Семибашенный замок. Двадцатого августа османские корабли напали на два русских фрегата под Очаковом. После шестичасовой битвы русские отступили. Началась война [43].

«Я думаю, у тебя на пальцах нохтей не осталось, всех сгрыз», – пишет Екатерина Потёмкину 24 августа 1787 года, обсуждая их военную стратегию и состав Военного совета [44]. Как хорошо она его знала! В тот месяц отношения Екатерины и Потёмкина вступили в новую фазу: зоны военных действий и дипломатии расширялись, а их письма друг другу становились всё длиннее. Они стали партнёрами более близкими, чем когда-либо раньше, – партнёрами в триумфе и страдании, в публичной сфере и личной жизни. Они переписывались, словно немолодые супруги, которым выпало руководить страной, – любящие, хотя порой и раздражительные. Екатерина и Потёмкин обменивались политическими идеями, сплетнями и подарками – новыми нарядами и снадобьями, подбадривали и хвалили друг друга. Но всё же в Кременчуге князь дрожал от лихорадки и всё глубже погружался в дисфорическую тьму. Вопреки россказням, он при этом не пренебрегал своими обязанностями, однако весьма уставал, поскольку в его руках сосредоточилась слишком большая власть. Это тревожило Екатерину: «Как ты все сам делаешь, то и тебе покоя нет» [45].

Не считая Петра Первого, Потёмкин был первым русским главнокомандующим военно-морских и сухопутных сил сразу в нескольких зонах военных действий. Будучи министром военных дел, он нёс ответственность за действия на всех фронтах, от шведской границы до китайской и от польской до персидской. Сражаться с турками должны были две армии. Князь взял на себя командование главной, Екатеринославской армией на центральном фронте, фельдмаршал Румянцев-Задунайский – более малочисленной Украинской армией, которая выдвинулась на запад к молдавской границе. Вдобавок Потёмкин руководил Черноморским флотом. На Кавказе и Кубани он командовал войсками в битвах с османами, чеченцами и черкесскими племенами, которых вёл в бой шейх Мансур. Ни одна из русских армий не была по-настоящему готова к войне – но это же можно было сказать и о турецкой армии. Потёмкин собирал силы и

ожидал прибытия 60 000 рекрутов: губернии поставляли по два рекрута с пятисот душ. Более того, он должен был координировать военные действия с австрийскими союзниками и всё больше внимания уделять русской политике в Польше. Такой неподъёмный труд требовал не только способности собрать необходимые силы и спланировать военные операции на суше и на море, но и стратегического таланта.

Главной целью османов был возврат Крыма, в чём им должна была помочь мощная крепость Очаков. Но сначала им нужно было захватить потёмкинский Херсон. Ключом к Херсону был Кинбурн, небольшая русская крепость, стоявшая на косе в лимане – широком устье Днепра. Потёмкин немедля приказал укрепить Кинбурн и направил туда солдат под руководством своего лучшего генерала – Александра Суворова. Четырнадцатого сентября турки попытались атаковать Кинбурн, но нападение удалось отразить. Потёмкин повелел Черноморскому флоту выйти в море и искать османские суда, которые должны были находиться в Варне [46]. Однако лихорадка и депрессия ослабили Потёмкина. «Болезнь день ото дня приводит меня в слабость», – писал он Екатерине; если недуг одолеет его, то командование всеми военными силами следует передать Румянцеву [47].

«Не дай Боже слышать, чтоб ты дошел до такой телесной болезни… чтоб ты принужден был сдавать команду графу Петру Александровичу Румянцеву, – отвечала ему Екатерина шестого сентября. – День и ночь не выходишь из мысли моей… Бога прошу и молю, да сохранит тебя живо и невредимо, и колико ты мне и Империи нужен, ты сам знаешь». Она соглашалась с ним в том, что до весны России предпочтительней занять оборонительную позицию, но партнёры беспокоились, не решатся ли турки атаковать прежде, чем русские будут готовы отразить нападение, и выполнит ли Иосиф свои обязательства [48].

Её слова приободрили его. «Ты мне покровительница пишешь подлинно, как родная мать», – отвечает он и излагает свои стратегические доводы, как всегда, весьма красноречиво: Суворов в Кинбурне будет служить «и потом, и кровью», а Каховский в Крыму «полезет на пушку с равною холодностию, как на диван». Потёмкин советовал императрице «ласкать агличан и пруссаков», предвидя, каковы будут их следующие шаги. Затем он предположил, что России следовало бы отправить балтийские суда в Средиземное море, как и было сделано в ходе прошлой войны. Но уже сочиняя это письмо, он, похоже, находился в тяжёлом состоянии: не мог спать и есть и пребывал «в слабости большой, забот миллионы, ипохондрия пресильная. Нет минуты покою. Право, не уверен, надолго ли меня станет» [49]. Письма от

него стали приходить всё реже.

И вдруг свет померк в глазах Потёмкина: девятого сентября его драгоценный Черноморский флот, его любимое детище и залог военной мощи России, был разбит бурей. Он едва не сошёл с ума. «Я, моя матушка, изнемог до крайности, – пишет он девятнадцатого сентября. – Я ни на что не годен ‹…› естли не умру с печали, то, наверно, все свои достоинства я повергну стопам твоим и скроюсь в неизвестности. Будьте милостивы, дайте мне хотя мало отдохнуть. Ей, немогу». Однако он сумел сохранить рассудок и распоряжался делами: армии комплектовались, манёвры проводились, запасы провизии пополнялись, и наконец Кинбурн был во всеоружии. Князь сделал всё, что мог, но его физическое и психическое состояние оставляло желать лучшего [50].

«Матушка Государыня, я стал несчастлив, – 24 сентября пишет императрице Потёмкин, который так доверялся воле Провидения. – При всех мерах возможных, мною предприемлемых, все идет навыворот. Флот Севастопольский разбит бурею ‹…› Бог бьет, а не турки». Водоворот чувств увлёк его циклотимическую натуру на самое дно, и это случилось в тот самый момент, к которому вела вся его прежняя карьера. Его охватило глубокое отчаяние, хотя с точки зрения истории он оказался в хорошей компании: Пётр Великий страдал от суицидальных настроений после поражения под Нарвой в 1700 году, то же произошло с Фридрихом Великим в 1740 году при Мольвице, когда он бежал с поля боя, и в 1758 году при Хохкирхе. В XX столетии [51] такие же кратковременные срывы в столь же критические моменты происходили с Иосифом Сталиным перед лицом немецкого вторжения 22 июня 1941 года и с Ицхаком Рабиным, премьер-министром Израиля в мае 1967 года, когда он планировал упреждающий удар в Шестидневной войне[116].

Князь пребывал в таком угнетённом состоянии, что признался Румянцеву-Задунайскому, своему старому наставнику: «Моя карьера окончена. Я почти потерял рассудок». В тот день он нацарапал письмо Екатерине, высказав предположение, что России нужно покинуть Крым, его трофей, за который он получил свой блестящий титул, поскольку без Севастопольского флота было бессмысленно держать солдат на полуострове. «Я просил о поручении начальства другому», – умоляет он. Видит Бог, он всегда был ей предан, но теперь – «Ей, я почти мертв…» [52]

26. Еврейские казаки и американские адмиралы: война по-потёмкински

Князь Потёмкин затеял необыкновенный проект: устроить полк из евреев… Он намеревается сделать из них казаков. Ничто не могло бы сильнее меня позабавить.

Принц де Линь

Вы были бы очарованы князем Потёмкиным, которого никто не превзойдёт в благородстве ума.

Джон Пол Джонс – маркизу Лафайету

Екатерина ободряла князя Таврического. «В эти минуты, мой дорогой друг, вы отнюдь не маленькое частное лицо, которое живёт и делает, что хочет, – объясняла она ему в тот самый день, когда он писал ей полное отчаяния письмо. – Вы принадлежите государству, вы принадлежите мне». Всё же она послала ему приказ о передаче командования Румянцеву-Задунайскому, который Потёмкин мог использовать по своему усмотрению.

Получив его лихорадочные письма, она проявила хладнокровие и здравый смысл. «Ничто не пропало, – объясняла она, будто строгая, но благосклонная немка-директриса. – «Сколько буря была вредна нам, авось-либо столько же была вредна и неприятелю». Говоря о выводе войск из Крыма, она находила, что начинать «войну эвакуацией такой провинции, которая доднесь не в опасности, кажется спешить не для чего»[117]. Его расстройство она приписала «чрезмерной… чувствительности и горячему усердию» своего «лутчего друга, воспитанника моего и ученика, который иногда и более еще имеет расположения, нежели я сама. Но на сей случай я бодрее тебя, понеже ты болен, а я здорова» [1]. В этом была вся суть их союза: тот, кто был здоров и бодр, поддерживал больного и упавшего духом. Война дала этим партнёрам больше причин для беспокойства, но и больше общего. Обсуждение военных дел часто перемежалось у них самыми тёплыми выражениями любви и верности.

Неделю спустя Потёмкин вынырнул из глубин депрессии,

частично благодаря письмам Екатерины, но скорее оттого, что выяснилось: флот не погиб, а только повреждён, и лишь один из линейных кораблей потерян. «Уничтожение флота Севастопольского такой мне нанесло удар, что я и не знаю, как я оный перенёс», – признавался он императрице. Облегчением послужила ему возможность сдать в крайнем случае дела Румянцеву. Они договорились, что Екатерина отправит для командования армией, в подчинение Потёмкину, князя Николая Репнина, талантливого военачальника и племянника Панина. Потёмкин извинился перед ней за беспокойство: «Я не виноват, что чувствителен» [2]. Ответом было сочувствие. Вполне в духе медицины XVIII века Екатерина винила его пищеварение: его спазмы «не что иное, как ветры, – объявила она. – Испытайте, прошу вас, и велите дать вам средства ветрогонные… Я знаю, каковы они мучительны, наипаче чувствительным и нетерпеливым людям, как мы с тобою» [3].

Как только Потёмкин выздоровел, война началась по-настоящему. В ночь на первое октября, после бомбардировки и нескольких ложных высадок, турки десантировали пять тысяч отборных янычар на Кинбурнской косе и пошли на штурм крепости. Турки выкопали траншеи. Русские под началом блестящего Суворова трижды атаковали и в конце концов перебили практически всю живую силу турок, но и сами понесли большие потери. Сам Суворов получил два ранения. Зато победа у Кинбурна означала, что Херсону и Крыму до весны ничего не грозит.

«Я не нахожу слов изъяснить, сколь я чувствую и почитаю вашу важную службу, Александр Васильевич» [4], – писал Потёмкин Суворову, который был на девять лет его старше. Эти два великих эксцентрика и выдающихся таланта своей эпохи были знакомы ещё с первой Турецкой войны. Их напряжённые взаимоотношения бурлили взаимным восхищением и раздражением. Суворов был маленький жилистый генерал со смуглым лицом комедианта, жестокими умными глазами и репертуаром шутовского поведения. «Полудемоном, героем и шутом» назвал его Байрон и добавил: «в мундире Арлекин» [5]. Он катался каждое утро голым по траве, делал сальто перед строем своих войск, прыгал на столы, пел посреди высшего общества, оплакивал обезглавленную индейку, пытаясь приставить ей голову обратно к шее, жил в соломенной хижине на берегу, стоял на параде на одной ноге и командовал войскам двигаться вперёд троекратным кукареканьем. Своим солдатам он задавал вопросы вроде «сколько рыб в Дунае?». Правильным был любой твёрдый ответ. «Боже упаси от немогузнаек!» – восклицал

он [6].

Вскоре после Кинбурна один молодой француз-волонтёр писал в своей палатке письмо, когда полог бесцеремонно откинули и вошло пугало, одетое в одну сорочку. Это «странное явление» спросило, кому он пишет. Сестре в Париж, отвечал тот. «Но я тоже хочу ей написать», – сказал Суворов, схватил перо и написал ей целое письмо. Получив его, сестра сказала, что большую часть не смогла прочитать, а остальное было совершенно безумно. «Я имел дело с сумасшедшим», – решил француз. Согласно легенде, однажды Суворов услышал, как Екатерина в разговоре *vis-à-vis* [с глазу на глаз (*фр.*). – *Прим. перев.*] с Потёмкиным сказала, что все великие люди чудаки. Суворов немедленно принялся демонстрировать каждый день новую странность, что в конце концов стало у него второй натурой. При этом он говорил на шести иностранных языках и был знатоком древней истории и литературы [7].

Суворов, который подобно Потёмкину предпочитал удобную неофициальную одежду и простую тактику атаки, был не похож на князя в своём безжалостном, очень русском пренебрежении жизнью своих солдат. Его любимым оружием был штык: «Холодная сталь, штык и сабля! Опрокидывай неприятеля, разбивай, не теряй ни мгновения». Не верь мушкету, «пуля – дура». Он всегда стремился штурмовать и атаковать, невзирая на потери: быстрота и натиск определяют всё. Его главные битвы, Измаил и Прага, были кровавыми банями [8]. Каждый главнокомандующий нуждается в таком Суворове. Потёмкину повезло его иметь, но он и использовал его разумно[118].

Потёмкин превознёс Суворова как «сердешного друга» и слал ему бесконечные подарки – от шинели до корзины «пирогов перигорских», то есть фуа-гра [9]. Он убеждал Екатерину продвигать Суворова вперёд старшинства: «Кто, матушка, может иметь такую львиную храбрость». Суворова следует наградить высшим орденом России – орденом Св. Андрея Первозванного: «Кто больше его заслужил отличность?! Я начинаю с себя – отдайте ему мой» [10]. Приписываемая Потёмкину ревность к успехам подчинённого стала частью суворовской мифологии, но в письмах Потёмкина нет ни следа такой ревности. Кроме того, при их жизни это казалось бы абсурдом: Потёмкин был главнокомандующим, а Суворов – лишь одним из его генералов. Суворов был так тронут страстными письмами Потёмкина, что отвечал: «…мое простонравие; как же мне не утешаться милостьми Вашей Светлости! Ключ таинства моей души всегда будет в Ваших руках» [11]. Суворов не уступал Потёмкину ни в эксцентричности, ни в талантах: вопреки мифу об их взаимной

ненависти они восхищались друг другом. Поистине их страстные, полубезумные письма напоминают переписку влюблённых. «Суворова никто не пересуворит», – шутил светлейший князь.

В одну из своих летучих поездок Потёмкин проинспектировал Херсон, Кинбурн и морские силы, а затем устроил свою ставку в Елисаветграде. Там он держал зимний двор и планировал зимнюю кампанию. При этом он продолжал инспекции: после тысячи вёрст по дорогам в ледяной мороз он жаловался Екатерине на геморрой и головные боли. Но одновременно он творил чудеса в восстановлении старого флота и постройке новой флотилии для боевых действий на Лимане.

Великий князь Павел заявил, что желает воевать с турками и взять с собой жену. Присутствие Павла было нежелательно для светлейшего князя, так как наследник мог бы попытаться подорвать его верховенство. Однако в принципе Потёмкин соглашался. Екатерина к этому времена ненавидела сына, сравнивая его с «горчицей после обеда». Несмотря на повторную просьбу, она отклонила его пожелание, использовав все возможные поводы – от неурожая до беременности великой княгини – чтобы избавить Потёмкина от этой неприятной и опасной перспективы. Остаток войны Павел провёл, муштруя в Гатчине свои войска, похожий «на прусского майора, преувеличивавшего для виду все мелочи и подробности службы». Он мучил себя размышлениями об убийстве своего отца и грозил каждому «жестокостью и мстительностью» по восхождении на трон. Ему пришлось скрепя сердце поздравлять светлейшего князя с победами, зато его жена была благодарна Потёмкину за доброту к её братьям, служившим в его армии. По мере старения Екатерины Потёмкин начал льстить Павлу, но тот оставался как всегда мрачным: «Пред великим князем и небо, и земля теперь виноваты». При каждой возможности он старался принизить партнёра своей матери перед любым, кто его слушал [12].

Иосиф ещё не подтвердил *casus foederis* [«договорный случай», ситуация, требующая исполнения обязательств по договору об оборонительном союзе (*лат.*). – *Прим. перев.*] союзного договора, но всё равно жаловался, что Потёмкин и Румянцев ничего не делают. Русские и австрийцы внимательно наблюдали друг за другом: каждая сторона хотела переложить на другую тяготы войны и при этом не упустить выгод от неё. Обе стороны засылали друг к другу шпионов [13].

Шпионом Иосифа был принц де Линь, получивший указание использовать свою дружбу с Потёмкиным, чтобы заставить русских взять на себя как можно больше боевых действий. «Вам следует докладывать мне на отдельном листе бумаги по-

французски, – гласит тайная инструкция Иосифа де Линю, – который должен быть спрятан и помещён в обычный пакет, адресованный так: только для Его Величества» [14]. «Дипломатический жокей»[15] не знал, что эта переписка попадала в руки русского «чёрного кабинета» – копии сохранились в архиве Потёмкина, но он заметил осторожность Потёмкина, когда прибыл в Елисаветград. «Принц Линь, которого я люблю, но в теперешнее время он в тягость», – писал Потёмкин Екатерине [16]. Так война разрушила их дружбу.

Елисаветград был богом забытым гарнизонным городком в 47 милях от османской границы. «Какую погоду, какую дорогу, какую зиму, какую штаб-квартиру нашёл я в Елисавет[град]е!» – писал де Линь. Он обнял Потёмкина и спросил его: «Когда в Очаков?» Это был бессмысленный вопрос, учитывая, что дело было посреди зимы и что австрийцы, так же не ожидавшие произошедшего и так же неподготовленные, как и русские, до сих пор не объявили войны. «Боже мой, – ответил всё ещё расстроенный Потёмкин, – в нём восемнадцать тысяч человек гарнизона. У меня столько нет во всей армии. Мне всего недостаёт. Я несчастнейший человек, если Бог мне не поможет». Тут Потёмкин перечислил турецкие гарнизоны в ближайших османских крепостях: Аккермане, Бендерах и Хотине. «Во всём этом не было ни слова правды», – прокомментировал де Линь. Но он ошибался [18]. Доклады Пизани из Стамбула удостоверяли, что крепость была недавно укреплена и защищалась свежими силами[119]. Потёмкин не имел намерения тратить жизни русских на спасение репутации австрийцев. Складывается впечатление, что его депрессия в какой-то степени была дипломатическим притворством для их отвлечения.

Потёмкин пышно жил в бедном Елисаветграде, в деревянном дворце у старой крепости. В замёрзший город вливались иностранцы-волонтёры: испанцы, пьемонтцы, португальцы и особенно французские аристократы, вместе с «низким сбродом мелких искателей приключений». Двенадцатого января 1788 года приехал предложить свою службу граф Роже де Дама́, сбежавший из Франции на поиски *gloire* [славы (*фр.*). – *Прим. перев.*]. К своим двадцати трём годам этот изящный и бесстрашный кузен Талейрана, с пышной гривой чёрных кудрей, побывал любовником маркизы де Куаньи, бывшей любовницы де Линя, которую Мария-Антуанетта называла «королевой Парижа». Приехав в Елисаветград, он спросил, где найти де Линя. На вершине горы, в крепости, сказали ему. Оттуда его направили во дворец Потёмкина. Пройдя мимо двух часовых, он вошёл в громадный зал, полный ординарцев. Оттуда вёл длинный ряд

комнат, освещённых так ярко, «как освещаются комнаты во время пира в столице».

В первой из этих комнат было множество адъютантов, ожидавших Потёмкина; во второй играл роговой оркестр Сарти; в третьей вокруг огромного бильярдного стола собралось тридцать или сорок генералов [19]. Слева за игорным столом сидел светлейший князь со своей племянницей и ещё одним генералом. Этот двор «не уступал многим монаршим дворам Европы». Русские генералы были до того подобострастны, что если Потёмкин что-нибудь ронял, то два десятка их толкалось, чтобы это поднять [20]. Князь поднялся навстречу де Дама, посадил его рядом с собой и пригласил на ужин за маленький стол вместе с де Линем и своей племянницей, в то время как генералы поместились за большим. Ещё три месяца де Дама провёл в роскоши и нетерпении, ежедневно ужиная с Потёмкиным [21]. Де Линь служил утешением для иностранцев – «дитя в обществе, ловелас с женщинами». А в тех не было недостатка.

Потёмкин никогда не мог выносить войну без женщин. К нему на зиму вскоре собрался кружок богинь, каждой чуть меньше или чуть больше двадцати лет, приехавших к своим мужьям в армию. Среди них была Русская Афродита – княгиня Екатерина Долгорукая, жена одного из офицеров и дочь князя Фёдора Барятинского, сановника Екатерины Второй. Её превозносили за «красоту, изящество, тонкий вкус, такт, юмор и талант». Ещё там была стройная и ветреная Екатерина Самойлова, жена племянника Потёмкина и дочь князя Сергея Трубецкого. В эту «прелестнейшую женщину» де Линь вскоре влюбился и писал ей стихи, отражавшие скуку тамошней жизни: «дромадеры, лошади; запорожцы, овцы: вот и всё, что мы здесь видим» [22]. Третьей в этой упряжке красавиц была супруга Павла Потёмкина Прасковья [23]. Сегюр из Петербурга дразнил Потёмкина, рассказывая о своём романе с девушкой с «прекрасными чёрными глазами, с которой, как говорят, нужны двенадцать подвигов Геракла» [24]. По мнению де Дама, Потёмкин «подчинял личным своим страстям военное искусство, политику и управление государством» [25]. Вся эта галактика Венер вращалась вокруг Потёмкина: кому быть следующей султаншей?

Потёмкин с де Линем испытывали друг друга: Потёмкин давил на австрийцев, чтобы они вступили в войну «против нашего общего врага» [26]. Де Линь размахивал письмом Иосифа, содержавшим план войны, и требовал от Потёмкина стратегии. Потёмкин замедлил с ответом, а через две недели, как заявлял де

Линь, отделался таким ответом: «С Божьей помощью я атакую всё, что есть между Бугом и Днестром». Здесь де Линь опять солгал. В одном неопубликованном письме к нему Потёмкин вполне ясно изложил русский план: «мы начнём осаду Очакова, в то время как Украинская армия займётся Бендерами», а Кавказский и Кубанский корпуса будут воевать с племенами горцев и нападающими с востока османами [27].

Впрочем, де Линь не преувеличивал невозможную переменчивость светлейшего князя по отношению к его персоне: он был «иногда хорош, иногда плох, то на ножах, то бесспорный фаворит, иногда я играл с ним, болтал или не разговаривал; бодрствовал до шести утра». Де Линь говорил, что был нянькой этому «испорченному дитяти», и притом зловредной. Но и Потёмкин оказался сыт по горло «злодейской неблагодарностью» де Линя, ведь его «чёрный кабинет» вскрывал все лживые письма де Линя к его друзьям. Светлейший князь бурчал Екатерине, что «дипломатический жокей» никак не определится с мыслями: «я у него иногда Ферсит, а иногда Ахилесс», то есть, то презренный Терсит из «Троила и Крессиды», то героический Ахилл «Илиады». Таким образом, в их отношениях любовь мешалась с ненавистью [28].

Потемкин соблазнял замужних женщин, смеялся, глядя на верблюдов, играл на бильярде и в то же время готовил новое чудо к следующему году. Он дожидался подхода резервов и новой партии рекрутов, так что постепенно в Елисаветграде собралась армия в сорок – пятьдесят тысяч человек. Его офицеры набирали людей по всему Средиземноморью, а особенно в Греции и в Италии. Рассказывают, что на Корсике один молодой человек пришел записываться на службу к русскому рекрутёру, генералу И.А. Заборовскому. Этот корсиканец потребовал себе русский чин, соответствующий его положению в Национальной гвардии Корсики. Он даже писал об этом своему генералу Тамаре[120]. Однако его просьба была отклонена, и он остался во Франции. Имя этого несостоявшегося новобранца потёмкинской армии было Наполеон Бонапарт [29].

Светлейший князь занимался и созданием нового казачьего войска, что он планировал сделать с самого момента упразднения Запорожской Сечи. Потемкин, почётный запорожец, питал «страсть к казакам». Их было много в его свите, в том числе его старые друзья по первой турецкой войне: Сидор Белый, Чепега и Головатый. Потёмкин считал, что старая тяжёлая кавалерия – кирасиры – устарела и не годилась для войны на юге. Казаки подражали в обращении с лошадьми татарам, и Потёмкин организовал свою лёгкую конницу по казачьему образцу. Ещё он

решил вернуть на службу самих запорожских казаков, завлекая обратно тех из них, кто переметнулся к туркам. «Употребите всемерное старание к приумножению казаков, – приказывал он Белому. – Я… каждого буду смотреть». Кроме того, он пополнял их ряды набором новых казаков из поляков, старообрядцев и даже из ямщиков и мещан. Преодолев настороженность Екатерины, он основал новое Черноморское и Екатеринославское войско под началом Белого и избранных им казаков. Позже оно стало называться Кубанским войском и оставалось до революции вторым по величине после Донского. Именно Потёмкин сделал казаков опорой царского режима [30].

Потёмкин решил вооружить против турок еще и евреев. Этот «необыкновенный проект», идея которого предположительно принадлежала его еврейскому приятелю Цейтлину, родился в богословском споре с князем и начался с набора кавалерийского эскадрона из евреев, живших в его кричевском поместье. В декабре он учредил еврейский полк под названием «Израиловский», похожим на название Измайловского гвардейского полка. Впрочем, на этом сходство заканчивалось. Шефом полка должен быть стать принц Фердинанд Брауншвейгский, а конечной целью – освобождение Иерусалима для евреев, подобно тому, как Потёмкин собирался завоевать Константинополь для православных. Это проявление редкого филосемитизма Потёмкина и влияния Цейтлина было неожиданной, учитывая распространённый среди русских и особенно среди казаков антисемитизм, и уж точно первой попыткой другой державы вооружить евреев со времён разрушения храма Титом.

Князь хотел сделать Израиловский полк наполовину пехотным, наполовину конным, причём вторая половина должна была использовать запорожские пики. «У нас уже есть один эскадрон, – сообщал де Линь Иосифу Второму. – Бороды у них доходят до коленей, так коротки их стремена, а в седле они сидят с таким страхом, что напоминают обезьян». Иосифа, снявшего часть ограничений с собственных подданных-евреев, это должно было позабавить.

В марте 1788 года обучение проходили тридцать пять таких бородатых евреев-казаков. Вскоре их было два эскадрона. Де Линь был настроен скептически, хотя признавал, что видал среди евреев отличных почтальонов и даже форейторов. Израиловцы, по-видимому, ездили на патрулирование с другими кавалеристами, так как де Линь писал, что они боялись своих лошадей не меньше, чем вражеских. Пять месяцев спустя Потёмкин распустил Израиловский полк. Де Линь пошутил, что

он не решился продолжать этот проект из страха «впасть в противоречие со Священным Писанием». Так окончился этот необычный эксперимент, много говорящий об оригинальности и воображении Потёмкина[121]. По мнению де Линя, евреи-казаки оказались «слишком нелепыми». Вместо них Потёмкин сосредоточился на «большом количестве запорожцев и других добровольцев-казаков», прибывавших на формирование нового Черноморского войска [31].

Принц-маршал, как его называли иностранцы, занимался ремонтом пострадавшего флота и одновременно готовил огромную новую флотилию для боевых действий в Лимане, за Очаковом. Русские на Лимане все еще были не защищены. Природа этого мелкого водоёма требовала других действий и других судов. Потёмкин и подчинённый ему контр-адмирал Мордвинов обратились для этого к самому изобретательному из известных им кораблестроителей. Вермикулярные суда Сэмюэля Бентама были оставлены и забыты после того, как императрица двинулась в Херсон, а самому ему пришлось плестись следом[122]. Теперь он снова оказался нужен, вот только обнаружилось, что светлейший князь забыл ему заплатить. Эту оплошность быстро исправили, но от стыда Потёмкин почти не разговаривал с Бентамом. «Приказанием его светлости» Сэм был зачислен во флот [32], хотя сам он «предпочёл бы остаться на terra firma» [твёрдой земле (*лат.*). – *Прим. перев.*] [33]. Потёмкин приказал ему создать флотилию лёгких судов для действий против турок на лимане [34]. Архивы демонстрируют, что в то время как Потёмкин, казалось, предавался ничегонеделанию в Елисаветграде и то и дело ссорился с де Линем, он всеми силами продвигал строительство этого флота. «Старайтесь оные как наискорее привесть в полную исправность, оснасткою и всем вооружением, – приказывал он Мордвинову, – не теряя ни мало времени» [35].

Иосиф тем временем признал casus foederis [исполнение обязательств в рамках союзнического договора (*лат.*) – *Прим. перев.*] и нанёс плохо организованный упреждающий удар по османской крепости Белграду в нынешней Сербии. Операция с треском провалилась, так как переодетые австрийские коммандос потерялись в тумане. Потёмкин выразил де Линю свою «ярость» по поводу этой военной клоунады, но всё же она сняла часть груза с плеч русских. «То хотя для них не очень хорошо, – писала Потёмкину Екатерина, – но для нас добро». Иосиф выставил 245 тысяч солдат, но в оборонительной линии через всю Центральную Европу. Это, по крайней мере, связало турок, дав Потёмкину время на битву за лиман [37].

Стратегия Потёмкина приводила австрийцев в отчаяние. Он твёрдо писал Екатерине, что «никто меня не побудит к предприятию, ежели нет пользы, и никто не отведёт, когда представится полезный случай». Де Линь пробовал переубедить его, но он лишь зловеще рассмеялся: «Вы думаете, что прибыли сюда мною командовать?» [39]. В это же время австрийский генерал принц Фридрих Иосия Саксен-Кобург-Заальфельдский не смог взять Хотин. Второй рывок на Белград даже не начался. Для австрийцев война шла не слишком хорошо [40].

Поэтому Потёмкин угостил де Линя двумя не опубликованными пока меморандумами, которые «дипломатический жокей» не упоминает в своих знаменитых письмах, так как они твёрдо определяют австрийско-русский баланс успехов: «похоже, что в нескольких случаях не было проявлено достаточной бдительности». Далее светлейший князь объяснял турецкую манеру ведения войны: «Они стараются окружить неприятеля со всех сторон…» Потёмкин советовал концентрировать силы, а не распылять их по кордонной системе, как делал Иосиф. Но если тот и увидел эти документы, то действовал именно тем способом, против которого предостерегал его Потёмкин, и с катастрофическими результатами [41].

Всё, что оставалось де Линю, – это обвинять князя в тщеславной погоне за орденами и принизить ложью его победы. Когда прибыл курьер с известием об одной победе на Кавказе, Потёмкин обрадовался: «Смотрите, как я ничего не делаю! Я только что истребил десять тысяч черкесов, абиссинцев, имеретинцев и грузин; и я ещё раньше истребил пять тысяч турок при Кинбурне». Де Линь назвал это ложью, но подчинённые князю военачальники Текели и Павел Потёмкин действительно одержали в сентябре и ноябре ряд побед на Кубани над союзником османов шейхом Мансуром [42]. Де Линь просто не представлял, как широко простиралось командование Потёмкина[123].

На этот раз на время потеряла уверенность Екатерина, и настала очередь Потёмкина поддерживать в ней веру в то, что над ними двоими есть особое благословение. Христос поможет, как Он делал всегда. «Были обстоятельствы, – ободрял он её, – где способы казались пресечены. Тут вдруг выходила удача. Положите на Него всю надежду». Тут же он благодарил за посланную шубу. Ей сильно его не хватало, тем более в такое трудное время: «Я без тебя, как без руки, и сама затруднения нахожу тут, где с тобою не нахаживала. Всё опасаюсь, чтоб чего не проронили» [43]. Позже весной в постскриптуме к одной записке она поблагодарила его за ободрения: «заблагоразсудила

сказать, что я тебя, мой друг, очень люблю запросто». Они были так близки друг другу, что не только думали одинаково, но нередко и страдали от одних болезней [44].

В Елисаветград прибыла польская делегация. Потёмкин заставил её ждать несколько дней, а затем шокировал поляков, приняв их в халате и без штанов. Тем не менее Потёмкин уделял серьёзное внимание польскому вопросу. Трещавшей по швам Речи Посполитой предстоял так называемый Четырёхлетний сейм – долго заседавший парламент, возглавивший Польскую революцию и сбросивший русский протекторат. Этого можно было избежать, если бы состоялся союз, который планировали Потёмкин и Станислав Август. «Решите Польшу предпринять войну с нами», – заклинал Екатерину Потёмкин [45]. Он предлагал полякам пятьдесят тысяч ружей для польской армии, которая включала бы двенадцать тысяч кавалерии, направляемой на войну с турками. Потёмкин хотел сам командовать частью этих польских сил. «Хотя бы одну бригаду. Я столько же поляк, как и они!» – восклицал он, намекая на свои смоленские корни и свой *indigenat* [*здесь*: привилегия в Польше, по которой иностранец мог пользоваться теми же правами, как и природные польские дворяне. – *Прим. перев.*] как польского дворянина.

Эта просьба о командовании польскими войсками была не случайна. Потёмкин строил свои гибкие планы, касавшиеся отношений с Польшей и его собственного будущего при правлении Павла, в которых немалое значение имели его новые подольские владения [46]. В любом случае Екатерина не доверяла этой идее, возможно, испытывая беспокойство насчёт его обширных земель в Польше и хитроумных планов. Она только предложила договор, который оговаривал сохранение той конституции, которая делала Польшу слабой и разрозненной, что служило интересам России. Этот договор подписан не был.

Даже на войне светлейшего князя сопровождала комедия. Однажды его казаки захватили четверых татар, и пленные ожидали смерти. Но Потёмкин добродушно приказал окунуть их в бочку с водой и объявил, что они крещены. Когда приехал близкий к старческому слабоумию француз, назвавшийся экспертом в осадном деле, князь расспросил его, но оказалось, что этот мудрец забыл большую часть того, что знал. «Я хотел бы заглянуть… и ещё раз изучить труды, которые я позабыл», – сказал старик. Потёмкин, всегда «добрый и дружелюбный» к занятным персонажам, рассмеялся и предложил ему отдохнуть: «не убивайте себя чтением…» [47]

Сэмюэль Бентам, работавший в Херсоне под командованием контр-адмирала Мордвинова и генерала Суворова, употребил всю

свою изобретательность при постройке гребной флотилии[124]. Он переделал «проклятые» царские галеры Екатерины в канонерские лодки, но его главным делом было восстановление целого кладбища старых пушек и установка их на все лёгкие суда, которые можно было найти готовыми или построить. «Льщу себя мыслью, что мне принадлежит главная роль в подготовке этих галер и меньших судов», – писал он [48].

Шедевром Бентама стала мысль вооружить эти суда значительно более мощными пушками, чем обычно на канонерках [49]. «Применить большие 36-фунтовые и даже 48-фунтовые орудия на таких мелких судах, как корабельные баркасы, – по заслугам хвалился Бентам брату, – было полностью моей идеей» [50]. Следует отдать должное и Потёмкину: когда в октябре он прибыл на инспекцию, то мгновенно оценил значение идеи Бентама и применил её в строительстве всех фрегатов и канонерок, включая двадцать пять запорожских «чаек» [51], которые отдельно строил его верный помощник Фалеев. «Во флоте бдят калибр пушек, а не число» [52], – объяснял Потёмкин Екатерине. Он также заставил себя преодолеть неловкость и публично выразил благодарность Бентаму за всё, что тот совершил [53]. Бентам был в восторге.

К весне Потёмкин практически из ничего создал флотилию из примерно сотни тяжеловооружённых лёгких судов [54]. Даже де Линь признал, что «потребовались великие достоинства князя, чтобы вообразить, построить и вооружить» этот флот в такой короткий срок [55]. Рождение Лиманской флотилии – ещё одного «возлюбленного дитяти» – было, возможно, «самой важной службой, которую Потёмкин сослужил России» [56]. Но кого было поставить во главе ее? На Новый год в Елисаветград приехал жаждавший службы Нассау-Зиген. Потёмкин ценил его жизненный путь – от постели таитянской королевы до рейда на Джерси в американскую Войну за независимость, – но знал и его недостатки. Он назвал Нассау «почти моряком» [57], так что тот идеально подходил для лиманского «почти флота». Двадцать шестого марта Потемкин назначил Нассау, чья «храбрость» была «общеизвестна», командовать гребной флотилией [58].

Светлейший маниакально проводил инспекцию за инспекцией. «Благодаря его авторитету и страху, который он внушал, и немедленному выполнению его намерений его объезды редко являлись необходимыми» [59]. К концу марта всё было почти готово. «И тогда мы пойдем танцевать», – заявил Нассау [60]. Но в тот момент, когда вопрос о командующем казался решённым, на Лимане объявился американский адмирал.

«Пол Джонс приехал, – написала Екатерина Гримму 25

апреля 1788 года. – Сегодня я с ним виделась. Полагаю, что он совершит для нас чудесные дела» [61]. Екатерина вообразила, что Джонс пройдёт как нож сквозь масло прямо к Константинополю. Джон Пол Джонс, сын садовника, родился на острове у шотландского побережья. Он был самым прославленным моряком своего времени и до сих пор считается одним из основателей Военно-морского флота США. Его крошечная эскадра терроризировала британские берега во время американской Войны за независимость. Его самым безумным деянием был рейд по шотландскому побережью, включавший захват в заложники обитателей одного поместья. Это заработало ему в Америке завидную репутацию как героя свободы, во Франции – как удалого сердцееда, а в Англии – как мерзкого пирата. В продаже были гравюры с его портретом; английские няньки пугали детей рассказами об этом кровожадном людоеде. Когда в 1783 году Война за независимость окончилась, живший в Париже Джонс оказался не у дел. Гримм, Томас Джефферсон и личный виргинец польского короля Льюис Литтлпейдж вместе помогли ему направиться к Екатерине, которая понимала, что России нужны моряки, и которая никогда не могла отказаться от западной знаменитости. Обычно считается, что Екатерина приняла Джонса на службу, не посоветовавшись с Потёмкиным. Однако архивы показывают, что Потёмкин вёл с ним переговоры в это же время. «Если сей офицер ныне во Франции, – писал он пятого марта Симолину, русскому посланнику в Париже, – прошу Ваше Превосходительство убедить его прибыть как можно ранее, дабы его таланты обращены были при открытии кампании в нашу пользу» [62].

Джонс исправно прибыл в Царское Село, но адмирал Сэмюэль Грейг и служившие на Балтийском флоте офицеры-британцы отказались служить вместе с известным дурной славой корсаром, так что Екатерина переправила Джонса в Елисаветград. Девятнадцатого мая 1788 года Потёмкин назначил контр-адмирала Павла Ивановича Джонеса командующим над одиннадцатью кораблями, при этом принцу Нассау осталась гребная флотилия [63]. Джонс был не единственным американцем, воевавшим под началом Потёмкина: Льюис Литтлпейдж, которого князь помнил по Киеву, служил шпионом польского короля в русской ставке. В битве за Лиман он командовал дивизионом канонерок. Князь также назначил командовать эскадрами у Нассау графа Дама, Бентама и ещё одного английского волонтёра, джентльмена из Ланкашира Генри Фэншоу, которого называл «Фенишем». «Подполковники Фениш и Бентам согласятся конечно быть на судах», – сообщал Потёмкин

Мордвинову.

Эти трое, как и Нассау, оказались удачным выбором для флотилии, а вот два американца – не очень. Джонс плодил вокруг себя волнение и обиду: Фэншоу и Бентам не были очарованы «прославленным, но только дурной славой» Джонсом. Первый заявил, что «лишь близость неприятеля могла подвигнуть бы нас служить *рядом* с ним, и вовсе никакое соображение не могло бы заставить нас служить *под его командой*» [65]. Сегюр написал Потёмкину из Петербурга очень современное, хотя и лестное, письмо о Славе: «Я не предполагал, что после того, как я воевал в Америке вместе с храбрым Полом Джонсом, встречу его здесь, так далеко от дома, но Слава привлекает Славу, и я не удивляюсь, видя, как все, кто любит отличия… приходят, чтобы соединить свои лавры с вашими». Но при этом Сегюр предусмотрительно просил Потёмкина быть справедливым к Джонсу и никогда «не осуждать его, не выслушав» [66].

Двадцатого мая 1788 года Нассау увидел на лимане, близ Очакова лес мачт османского флота. «Нам есть чем заставить капудан-пашу поплясать», – похвалился он жене [67]. Он также поклялся де Дама, что в течение двух месяцев тот либо будет убит, либо получит Георгиевский крест [68].

Капудан-паша Гази Хасан-паша имел под командой восемнадцать линейных кораблей, около сорока фрегатов и несколько десятков галер – всего сто девять кораблей, значительно больше русского флота как по количеству судов, так и по тоннажу [69]. Сам капудан-паша, сын православного раба-грузина и перебежчик, действовавший в своё время на Варварийском берегу, был одним из лучших османских военачальников конца XVIII века, последним в традиции алжирских пиратов, часто приходивших на помощь султану. Этот «алжирский ренегат», легко узнаваемый по «красивой белой бороде», вырвался из чесменского ада, чтобы рвануться на защиту Стамбула; он подавлял в Египте восстания против султана и заслужил прозвище «Крокодил морских сражений» [70]. Он был кумиром стамбульской толпы. Леди Крейвен, посетившая его дом в 1786 году, поведала о великолепии его образа жизни и о щедро украшенном алмазами тюрбане его жены [71]. С собой он всегда водил ручного льва, ложившегося по его команде.

У Потёмкина вновь сдали нервы, и он спросил Екатерину, не следует ли ему эвакуировать Крым. «Когда кто сидит на коне, – ответила она, – тогда сойдет ли с оного, чтоб держаться за хвост». Потёмкин и сам скорее ждал от императрицы ободрения, а не приказа отступать из Крыма, и он получил желаемое [72].

Лиман, или днепровский эстуарий – это длинный, узкий и

коварный залив, тянущийся на тридцать миль к западу и открывающийся в Чёрное море. В ширину он имеет восемь миль, а в устье – всего две. Южный берег, заканчивающийся узкой Кинбурнской косой, принадлежал России, но над устьем доминировали массивные укрепления османской крепости Очакова. Из-за огромной стратегической значимости Очаков был для русских основной целью первой кампании. Но он не мог быть взят, пока османы контролировали лиман. Более того, поражение в битве за лиман дало бы возможность туркам вновь атаковать Кинбурн, пройти вверх по течению пятнадцать миль до Херсона и затем, возможно, захватить Крым. План Потёмкина был завоевать господство на водах лимана и затем осадить могучий Очаков, взятие которого открыло бы путь между Херсоном и Севастополем, защитило Крым и дало доступ к дальнейшему продвижению по побережью. Исход зависел от принца Нассау-Зигена, контр-адмирала Джона Пола Джонса и Крокодила морских сражений.

Двадцать седьмого мая Потёмкин выступил с армией из Елисаветграда, в то время как капудан-паша стягивал свой флот. Утром седьмого июня капудан-паша двинулся вдоль лимана, прикрывая гребную флотилию военными кораблями. Это было красивое и внушительное зрелище: «лучше, чем бал в Варшаве, – решил Нассау, – и я уверен, что мы повеселимся не хуже, чем когда князь Сапега танцевал аллеманду». Нассау и де Дама показали друг другу портреты ждавших их дома женщин. Турки открыли огонь. Эскадра Джонса была задержана встречным ветром, а Нассау послал лёгкие запорожские «чайки» со своего левого крыла в атаку по всей линии. Турки в беспорядке отошли. Капудан-паша стрелял по собственным отступающим силам. Он был как-никак тем человеком, который решил в Стамбуле проблему ленивых пожарных тем, что швырнул четверых из них в огонь *pour encourager les autres* [для воодушевления других (*фр.*). – *Прим. перев.*].

Нассау и Джонс отправили каждый свои флотилии в погоню. Бентам, командовавший дивизионом из семи галер и двух канонерок, увидел триумф своей тяжёлой артиллерии, но от разрыва одной из пушек ему опалило брови [73]. Первая битва за лиман окончилась скорее ничьей, чем разгромом противника, но всё же начало было многообещающим.

«Это от Бога!» – воскликнул, обняв де Линя, светлейший князь, чья армия стояла лагерем у Новогригорьевска. Там он посвятил церковь своему покровителю святому Георгию [74]. Неожиданно для человека, известного своей ленью, потёмкинский

метод командования был всеохватен и сочетался с глубоким проникновением в детали. Он контролировал манёвры флотилии, её построения и систему сигналов между кораблями и Кинбурнской крепостью. Для него на первом месте стояли нужды простых солдат: он приказал Нассау выдавать каждому ежедневно по порции *eau de vie* [*букв.* «живой воды» (*фр.*). – *Прим. перев.*] (то есть водки) и требовал, чтобы пища была всегда горячей, выдавалась всегда вовремя и, кроме овощного супа, включала по праздникам мясо. С наступлением лета солдаты должны были ежедневно мыться. Но самыми примечательными были его взгляды на дисциплину. «Я совершенно убеждён, – писал он, – что "человеческие чувства" благоприятно влияют на здоровье войск и качество службы. Чтобы преуспеть в этом, я рекомендую вам запретить битьё солдат. Лучшее средство – это точно и ясно разъяснить, что сделано». Современники видели в гуманности и щедрости Потёмкина к своим подчинённым безумное и опасное небрежение. В Королевском флоте и полвека спустя такое отношение сочли бы баловством [75].

Нассау и Джонс стали злейшими врагами: бесшабашный паладин был не в восторге от осторожного стремления Джонса сохранять свои корабли, а сам Джонс считал, что Нассау ненавидит его из-за того, что он «вызволил его из беды, в которую он сам себя впутал» [76]. Оба жаловались друг на друга князю, а тот старался поддерживать мир, втайне держа сторону Нассау. «Одному вам, – писал он два дня спустя, – я приписываю эту победу» [77]. Но при этом он указал Нассау помириться с Джонсом: «умерьте несколько свой благородный пыл» [78].

Шестнадцатого июня Крокодил решил разорвать патовую ситуацию и ввёл в лиман весь свой флот, включая линейные корабли. «Ничто не представило бы более грозного строя, чем эта линия, протянувшаяся от берега до берега», – писал Фэншоу. Суда расположились так близко, что он не видел даже промежутков между их парусами. Атака выглядела неминуемой. Ночью, после подхода ещё двадцати двух русских канонерок, Нассау собрал военный совет. Джонс заявил: «В ваших глазах я вижу души героев», – но рекомендовал осторожность. Нассау потерял терпение, сообщил американцу, что тот может, если ему угодно, оставаться со своими кораблями позади, и приказал нанести на рассвете упреждающий удар. Каждый из двух адмиралов теперь вёл собственную войну.

Де Дама со своими галерами, плавучими батареями и бомбардирскими судами возглавлял атаку на правом крыле, а Бентам и Фэншоу при поддержке кораблей Джонса «Владимир» и «Александр» атаковали медлительные турецкие линейные

корабли. Турки двигались навстречу под звуки труб, звон цимбал и призывы к Аллаху, но, испуганные упреждающим ударом русских, вскоре попытались отступить. Флагманы их вице-адмирала, а затем и самого Гази Хасана сели на мель. На них набросились канонерки де Дама, но туркам огнём удалось потопить одно из мелких русских судов. Джонс, заметив мели, остановил свои линейные корабли. Эта предусмотрительность не прибавила ему друзей. Бентам, Фэншоу и прочие продолжили преследование на своих лёгких канонерках. *Pièce de résistance* [высший успех (*фр.*). – *Прим. перев.*] настал в полдень, когда де Дама удалось уничтожить флагман Крокодила. Его взрыв был «величественным зрелищем», вспоминал Фэншоу. «Алжирский ренегат» продолжал командовать с ближайшей косы. С наступлением ночи молодые англичане ускорили погоню. Турки отошли под защиту пушек Очакова, оставив позади два погибших линейных корабля и шесть канонерок.

Ночью старый Крокодил повёл назад корабли, с которыми проиграл битву, но когда они проходили мимо Кинбурнской косы, с устроенной там как раз на такой случай батареи открыл огонь Суворов. Два линейных корабля и пять фрегатов, пытаясь уклониться от бомбардировки, наскочили на мель. В лунном свете они ясно выделялись. Во время возникшей паузы Джонс совершил скрытную разведку и написал мелом на корме одного из кораблей: «Сжечь. Пол Джонс, 17/28 июня». Джонс, Бентам и Дама собрались на флагмане у Нассау. Между адмиралами снова случился спор. «Я не хуже вас знаю, как захватывать корабли!» – кричал Нассау. «А я доказал, что способен захватывать корабли не только у турок», – многозначительно ответил Джонс. Такие замечания и создавали ему врагов, готовых на всё, чтобы уничтожить его [80].

Нассау и молодые горячие головы решили атаковать и наудачу ринулись бомбардировать этих выброшенных на берег китов. «У нас было не больше дисциплины, – писал Бентам, – чем у лондонской толпы». Сэмюэль сделал столько выстрелов, что за дымом перестал видеть цели. Один линейный корабль он захватил, но «лондонская толпа» так жаждала крови, что остальные турецкие корабли были взорваны вместе с тремя тысячами прикованных к вёслам рабов. Их крики, наверное, были ужасающи. «Ещё две недели после того на воде плавали мёртвые тела», – сообщал Бентам отцу [81]. Остаток турецкого флота укрылся под стенами Очакова. Капудан-паша казнил часть собственных офицеров [82].

«Мы одержали полную победу, и это заслуга моей флотилии», – объявил Нассау, *soi-disant* «хозяин лимана». После

второй битвы за лиман турки оказались без десяти кораблей и пяти галер, потеряли 1673 человека пленными и более трёх тысяч убитыми, в то время как потери русских составили только один фрегат, восемнадцать убитых и шестьдесят семь раненых. Де Дама был удостоен чести доставить весть князю, собиравшемуся форсировать Буг у Новогригорьевска [83]. Потёмкин был вне себя от радости. Он снова расцеловал де Линя: «Что я вам говорил о Новогригорьевске? Вот снова! Разве не замечательно? Я – испорченное дитя Божье!» Де Линь прохладно заметил, что это был «самый исключительный человек из когда-либо живших» [84]. Князь Таврический радовался как ребёнок: «Лодки бьют корабли… Я без ума от радости!» [85]

Той же ночью упоённый триумфом Потёмкин прибыл на флагман Джонса «Владимир», где состоялся пир с участием Нассау и Льюиса Литтлпейджа. На корабле был поднят флаг главнокомандующего Черноморским и Каспийским флотами. Нассау с Джонсом по-прежнему были на ножах. «Столь блистательный во втором ранге, – заметил Нассау о Джонсе, – затмевается в первом» [86]. «Принц-маршал» убедил Нассау извиниться перед обидчивым американцем, но сам был уверен, что победы принадлежат Нассау. «Сколько его трудов и усердия», – докладывал он Екатерине. Что же касается «пирата» Джонса, то он «не совоин» [87]. Сэмюэль Бентам, конечно, считал, что победа была одержана не столько благодаря «толпе» Нассау, сколько благодаря его, Бентама, артиллерии. Сам он получил полковничий чин[125] и был награждён орденом Святого Георгия, а также шпагой с золотым эфесом [88]. Потёмкину Екатерина послала золотую шпагу, «украшенную тремя крупными алмазами, прекраснейшую из вещей», и золотое блюдо с надписью: «Фельдмаршалу князю Потёмкину-Таврическому, командующему сухопутною и морскою силою, победителю на лимане и строителю военных судов» [89]. Едкий Джонс получил меньше, чем нахальный Нассау, что было для него явным щелчком по носу. Униженный Крокодил морских сражений с остатками своего флота ушёл в море.

Как раз когда дела пошли на лад, от Екатерины пришли тревожные вести: двадцать первого июня король Швеции Густав III напал на Россию, устроив в качестве предлога нападение шведских солдат в русской форме на свою границу [90]. Уезжая из Стокгольма к войскам в Финляндию, Густав хвастался, что скоро будет «обедать в Санкт-Петербурге». Столица была слабо защищена, так как лучшие русские силы ушли на юг, хотя Потёмкин оставил для защиты границы обсервационный корпус и отправил для отпугивания шведов калмыков и башкир,

вооружённых копьями, луками и стрелами (впрочем, русские их боялись не меньше). К счастью, Балтийский флот под командой Грейга так и не отправился в Средиземное море на войну с турками. Потёмкин назначил командующим против Густава на Финском фронте графа Мусина-Пушкина. Вскоре в Петербург приехал Алексей Орлов-Чесменский, желая использовать предполагаемую халатность Потёмкина. По выражению Екатерины, он «грянул, как снег на голову» [91]. Петербург вскоре приобрёл вид укреплённого города, как она сообщала Потёмкину. Первое морское сражение состоялось шестого июля у Готланда и окончилось победой русских. «Таким образом, мой друг, – писала она своему супругу, – я тоже нюхала порох» [92]. Однако на суше Густав продолжал наступать. Потёмкин, время от времени задумывавший безжалостные принудительные эвакуации, полушутя предложил расселить всю Финляндию и сделать её пустынной и непроходимой [93].

К сожалению, шведское нападение было только вершиной айсберга. Англия, Голландия и Пруссия уже собирались заключить откровенно антироссийский Тройственный союз. Франция была парализована надвигающейся революцией. Однако Екатерина оказалась верхом на двух главных линиях разлома тогдашней Европы: Россия против Турции и Австрия против Пруссии. Ревнивая Пруссия с её новым королём Фридрихом-Вильгельмом была намерена выбить себе долю из русско-австрийской добычи, взятой от Турции, а также хотела ещё попировать над сочным пирогом Польши. Это меню пожеланий прусский канцлер граф фон Герцберг изложил в одноимённом ему плане. Австрия опасалась удара сзади со стороны Пруссии, но Россия заверяла Иосифа, что не допустит этого. Давление на Потёмкина вновь возросло; Россия опять вошла в кризис [94].

Первого июля Потёмкин повёл свою армию через Буг, намереваясь осадить Очаков. Нассау устроил рейд на остававшиеся под стенами корабли: после боя турки оставили их и сбежались обратно в крепость. Через два часа Фэншоу услышал, как Потёмкин пошёл на приступ города [95]. Светлейший князь сел на коня и двинулся на Очаков во главе тринадцати тысяч казаков и четырех тысяч гусар. Гарнизон приветствовал их ураганным огнём, а затем вылазкой шестисот сипахов и трёх сотен пехоты. Князь немедленно установил на равнине перед крепостью двадцать пушек и лично направлял огонь, причём «многочисленные бриллианты прекрасного портрета императрицы, который он всегда носит в петлице, привлекали огонь». Рядом с ним были убиты две лошади и возчик.

Де Линь похвалил «великолепную доблесть» Потёмкина, а вот

Екатерина не была в восторге. «Уморя себя, – писала она, – уморишь и меня. Зделай милость, впредь удержись от подобной потехи» [96]. Так началась осада Очакова.

27. Смута: штурм Очакова

И ты, гой еси, наш батюшка!
Ой прехрабрый предводитель наш,
Лишь рукой махни – Очаков взят,
Слово вымолви – Стамбул падет,
Мы пойдем с тобой в огонь и полымя,
Пройдем пропасти подземныя!

Солдатская песня «Штурм Очакова»

Неприступная крепость Очаков была самым важным приобретением России 1788 года, ведь она контролировала устья Днепра и Буга. Кроме того, она была ключом к Херсону, а значит, и ко всему Крыму. Поэтому турки укрепили сеть своих оборонных сооружений по совету французского инженера Лафита. «Город, – писал Фэншоу, – имеет форму вытянутого прямоугольника, спускается с вершины горы к морю, со всех сторон окружен стеной значительной толщины, двойным рвом и имеет шесть бастионов; на оконечности песчаной косы, начинающейся у его западной стены и вдающейся в лиман, поставлена укрепленная батарея» [1]. В городе было много мечетей, дворцов, садов и казарм, в которых размещалось от восьми до двенадцати тысяч всадников и янычар, одетых в зеленые куртки и туники, в панталонах и тюрбанах, оснащенных щитами, кривыми кинжалами, топорами и пиками[126]. Даже Иосиф Второй, проинспектировавший Очаков в ходе своего визита, отметил, что он не поддастся *coup de main* [внезапное нападение (*фр.*). – *Прим. перев.*] [2].

Начав осаду крепости, светлейший князь настоял на том, чтобы вместе с де Линем, Нассау и своей свитой отправиться на гребной лодке произвести разведку и проверить мортиры. Очаков ответил князю бомбардировкой и отправил эскадрон турок в небольших лодках. Потёмкин высокомерно проигнорировал их. «Не было никого более благородного и радостно бесстрашного,

чем князь, – писал де Линь. – Я был влюблен в него до беспамятства в тот день» [3]. Потёмкинская демонстрация отваги впечатлила каждого – особенно когда через несколько недель Синельников, губернатор Екатеринослава, был ранен пушечным ядром в пах, стоя между невозмутимым Потёмкиным и восхищенным де Линем. Светлейший князь приказал оттеснить турок до садов паши. Так началось столкновение, которое Потёмкин и 200 его придворных наблюдали с заграждения. «Я не видел человека, – писал Нассау, – который бы лучше чувствовал себя под огнем, чем он» [4]. Потёмкин кинулся на помощь Синельникову, который, будучи настоящим придворным даже в минуты агонии, попросил «не подвергать себя такой опасности, потому что в России есть только один Потёмкин». Боль была так ужасна, что он просил Потёмкина застрелить его [5]. Синельников умер через два дня [6].

Потёмкин выстроил оба крыла своих войск полукругом вокруг города и приказал начать бомбардировку. Все ждали начала штурма, особенно Суворов, который всегда был готов обнажить свой штык, а то и «дуру» – мушкет.

На следующий день, 27 июля, пятьдесят турецких всадников совершили вылазку. Суворов, «пьяный после обеда», самовольно атаковал их, отправляя все новых и новых солдат в жестокую сечу. Турки бежали, но вернулись с новыми силами, отбросив Суворова и его солдат обратно на их рубежи, обезглавив множество отличных воинов. Говорят, что когда Потёмкин отправил записку, чтобы узнать, что происходит, Суворов ответил стишком: «Я на камушке сижу, на Очаков я гляжу» [7]. Три тысячи турок пустились в погоню за бегущими русскими. Де Дама назвал это «бесполезной бойней» [8]. Суворов был ранен, а остатки его отряда смогли спастись только благодаря отвлекающему маневру князя Репнина. Головы русских выставили на пиках вокруг Очакова.

Светлейший князь оплакивал бессмысленную потерю двухсот солдат. «Человечное и сострадательное сердце», – написал о нем его секретарь Цебриков. «Мой Бог! – кричал Потёмкин. – Вы всех рады отдать на жертву сим варварам!» Он зло отчитал Суворова, говоря, что «солдаты не так дешевы, чтобы ими жертвовать по пустякам» [9]. Суворов обиделся и отправился в Кинбурн[127].

Потёмкин не штурмовал Очаков. Давление на него возрастало с каждой минутой: восемнадцатого августа турки сделали еще одну вылазку. Генерал Михаил Голенищев-Кутузов, в будущем легендарный герой войны 1812 года и победитель Наполеона, был ранен в голову второй раз – как и Потёмкин, он ослеп на один глаз[128]. Нассау отпугнул турок, ударив по их

флангам пушками своей флотилии, стоявшей в устье реки. Приближалась зима, и иностранцы – де Линь и Нассау – горько жаловались на потёмкинские промедление и некомпетентность. Нассау написал, что Потёмкин «самый невоенный человек на свете и вдобавок слишком гордый, чтобы прислушиваться к чьему-либо мнению»[129]. Де Линь говорил, что князь теряет «время и людей», и в шифровке Кобенцлю ругал Потёмкина – хотя и не отваживался наябедничать Екатерине [10]. «Такое множество упущений, – предполагал де Дама, который считал, что батареи расположены по городу нехорошо, – не может не объясняться тем, что князь Потёмкин имеет какие-то личные причины… откладывать дело». Но эти иностранцы предубежденно относились к России. Резоны Потёмкина были политическими и военными [11]. Светлейший князь был рад, что первые османские атаки пришлись на австрийцев, особенно учитывая, что Иосиф не дал оправдаться его планам, не считая сомнительного трофея в виде Сабаша, и потому ушел в оборону. Екатерина была полностью согласна: «Лутче тише, но здорово, нежели скоро, но подвергаться опасности либо потере многолюдной» [12]. Принимая во внимание войну со Швецией, рост недружелюбия со стороны англо-прусского альянса и удивительно удачное выступление османских армий против Австрии, Потёмкин знал, что Очаковым война не кончится: нужно было собирать ресурсы до конца года.

Светлейший князь был не гением движения, а скорее, Фабием Кунтактором, терпеливо выжидающим и откладывающим. В эту эпоху военные вроде де Линя и Суворова считали, что война – это блистательная игра отступлений и наступлений, независимо от того, сколько людей будет в процессе потеряно. Потёмкин отказался от традиционного западного военного искусства и сражался таким образом, который подходил природе его врагов – и его собственной. Он предпочитал выигрывать сражения, не участвуя в них, как в 1783 в Крыму. В случае осады он предпочитал торговаться, вести переговоры и заставлять крепости сдаваться, моря их жителей голодом. Он не был сумасбродом, и современные генералы оценили бы его гуманность и рассудительность [13]. Потёмкин решил, что он не будет штурмовать Очаков, пока это не станет абсолютно необходимо, чтобы сохранить жизни своих солдат. «Я все употреблю, – писал он Суворову, – …чтобы достался он дешево» [14]. Эмиссары Потёмкина постоянно метались между ним и турками, ведя переговоры. Светлейший князь был «убежден, что противник желает сдаться» [15]. Штурм был для него крайней мерой[130]. Иностранцы плохо понимали, как велики его возможности, как

обширны армии, растянувшиеся от Кавказа до Финского залива, как грандиозны планы: от управления польской политикой до направления Фалеева для создания еще одной флотилии в преддверии битв на Дунае, которые должны были произойти в следующем году [16].

«Меня не обманут русские, которые хотят оставить меня одного нести свое бремя» [17], – с горечью писал Иосиф де Линю. Отчаянное желание Иосифа разделить тяжесть ноши объясняло непрекращающиеся ядовитые попытки де Линя заставить Потёмкина либо штурмовать Очаков, либо взять на себя вину за неудачи Иосифа. В сентябре османский полководец великий визирь Юсуф-паша застал Иосифа врасплох в его лагере, и император едва спас собственную жизнь, отступив в Вену. На горьком опыте Иосиф понял, что он не Фридрих Великий. «Союзник наш, где сам ни присутствует, везде идет худо», – шутил Потёмкин[131]. Турки намного улучшили свои военные навыки с прошлой войны. «Одним словом сказать – не те турки, – писал Потёмкин Екатерине, – и чорт их научил». Австрийцы не понимали, почему Екатерина не прикажет Потёмкину штурмовать, но «она советовалась с ним во всем». Он часто даже не отвечал на ее письма. «Он решил делать то, что хотел» [18].

Князь часто играл в бильярд с де Линем до шести утра или просто оставался побеседовать. Однажды де Линь дал в его честь ужин на пятьдесят персон для генералов и всех необычных друзей светлейшего князя [19]. Потёмкин часто грустил, и тогда он «обматывал голову носовым платком, смоченным в лавандовой воде, – знак его ипохондрии». Когда была жара, он угощал гостей мороженым и сорбетами. Вечерами де Линь и остальные слушали «великолепный концерт под управлением знаменитого Сарти». Говорят, что однажды на таком приеме, когда играл духовой оркестр, Потёмкин, одетый в домашний халат, спросил одного немецкого артиллерийского офицера: «Что вы думаете об Очакове?» «Я думаю, – отвечал тот, – что вы верите, будто стены очаковские, подобно иерихонским, падут от звука труб» [20].

Воюющих утешали женщины. К ним присоединились три грации, которых де Линь называл самыми красивыми девушками империи [21]. Князь начал влюбляться в жену Павла Потёмкина. Прасковья Андреевна, урождённая Закревская, не отличалась хорошей фигурой, но имела «восхитительное лицо, белоснежную кожу и прекрасные глаза; не обладая особенным умом, она была очень самоуверенна». В архивах можно найти её записки к Потёмкину: «Вы смеетесь надо мной, дорогой кузен, извиняя себя тем, что вы ждете моего приказа, чтобы навестить меня… Я всегда вам рада» [22]. Де Дама был не менее очарован бойкой

женой племянника Потёмкина, двадцатипятилетней Екатериной Самойловой. Ее портрет кисти Лампи показывает самоуверенную чувственную красотку в тюрбане, с полными губами и драгоценностями в волосах. Позже, когда у нее уже были дети, остряки шутили, что её муж, Самойлов, никогда не проводил с ней время, но она все равно умудрялась предоставить «весомые доказательства своей плодовитости» [23]. После холодного дня, проведенного в траншеях, де Дама, лихо носивший то французскую, то русскую форму, посещал шатер дам: «Я надеялся, что усиленная осада заставит их сдаться быстрее, чем крепость». Вскоре он преуспел в отношении Самойловой, но затем снова был ранен. Потёмкин утешил своего протеже, приведя к его постели еще одну новоприбывшую даму – Скавронскую [24]. Князь не хотел, чтобы де Дама «оказался лишен общества прекраснейших женщин Европы»[132].

Третьего июля капудан-паша встретил Севастопольский флот у Фидониса, недалеко от дельты Дуная, и детище Потёмкина прошло первую проверку – правда, с трудом. Гази Хасан отступил и вернулся спасать Очаков. Крокодил доставил в гарнизон припасы и еще 1500 янычар. К стыду адмиралов и ярости Потёмкина, припасы поступали в крепость еще дважды. Но весь турецкий флот был заперт под стенами Очакова и таким образом не спасся: как обычно, в кажущемся безумии Потёмкина была система.

Пятого сентября князь, Нассау, де Дама и де Линь отправились в лиман посмотреть на редут Хасана-паши и обсудить план Нассау по высадке 2000 человек под стенами города. Турки открыли огонь картечью и ядрами. Потёмкин сидел на корме один, его медали сияли на солнце, а на лице было выражение «спокойного достоинства» [25].

Свита Потёмкина, особенно его странное сборище молодых адмиралов и иностранных шпионов, начала распадаться и разочаровываться друг в друге. Жизнь у осажденного Очакова становилась все сложнее. «Нет воды, – писал де Линь, – мы питаемся мухами; ближайший рынок от нас за тысячу лье. Пьем только вино ‹…› спим по четыре часа». Рано наступила холодная зима. Де Линь пустил свою карету на дрова. Лагерь утопал в «снегу и экскрементах». Даже лиман позеленел от мертвых тел турок [26].

Сэмюэль Бентам, подавленный зловонием распада и дизентерии, назвал войну «отвратительным делом». Потёмкин милостиво отправил его на Дальний Восток[133] с поручением, которое было по душе им обоим [27]. Шпион польского короля Литтлпейдж в ярости отбыл, когда Потёмкин заподозрил его в

попытках подорвать авторитет Нассау. Американец заявил, что не пытался сеять раздор. Светлейший князь утешил его и отправил обратно к Станиславу Августу [28]. Жертвой этого раздора стал известный американский моряк Джон Пол Джонс, чье темное происхождение постоянно заставляло его доказывать, на что он способен. Его ранимость и педантичность не нравились светлейшему князю. Когда Нассау получил звание контр-адмирала, Джонс принялся скандалить по поводу собственного старшинства и званий и перечислил целых шесть причин, по которым он не должен был отдавать Нассау честь первым.

Вскоре бедного Джонса стали обвинять во всех неудачах на море. Потёмкин приказал американцу уничтожить корабли, севшие на мель близ Очакова, или хотя бы вывести из строя их пушки. Джонс пытался это сделать дважды, но по какой-то причине не преуспел. Потёмкин дал тот же приказ Антону Головатому и своим любимым запорожским казакам, и они справились с заданием. Джонс грубо пожаловался князю, на что тот ответил: «Заверяю вас, г. Контр-Адмирал, что в вопросах командования никогда не вхожу в личности, но оцениваю заслуги по справедливости ‹…› Что же касается моих приказов, я не обязан давать в них отчет и могу переменять судя по обстоятельствам ‹…› Я командую уже давно и правила мне знакомы» [29]. Светлейший князь решил, что Джонс «неспособен к начальству», и попросил Екатерину отозвать его [30]. «Я вечно буду сожалеть о том, что утратил ваше расположение, – писал Пол Джонс Потёмкину 20 октября. – Осмелюсь сказать, что если таких же умелых моряков, как я, можно найти, то вы никогда не встретите сердца более верного и преданного…» [31]

При последней встрече Джонс горько упрекал Потёмкина в том, что тот разделил командование. «Согласен, – отвечал князь, – но теперь поздно о том говорить» [32]. Двадцать девятого октября Джонс отправился в Петербург [33], где скоро узнал, как опасно заводить могущественных врагов.

После очередной попытки захватить крепость с земли и моря Нассау, раздраженный задержками и впавший в немилость у Потёмкина, после того, как тот раскрыл его коварную ложь, уехал в Варшаву. «Счастье [ему] не послужило», – писал Потёмкин Екатерине [34].

Уехал и шпион Иосифа де Линь. Потёмкин написал ему «любезнейшее, очаровательнейшее, трогательнейшее» прощальное письмо. Де Линь извинился, что ранил чувства друга, в неопубликованной и плохо читаемой записке: «прости, тысячекратно прости, мой князь», – пишет он в день отъезда, как будто прощаясь с возлюбленным [35]. Потёмкин, «лучший из

людей», как будто очнулся ото сна, чтобы попрощаться с де Линем: «он обнял меня и долго не отпускал, несколько раз пускался за мной вслед, глядел на меня и наконец с болью отпустил». Однако добравшись до Вены, де Линь начал говорить всем, что Очаков никогда не возьмут, и принялся разрушать репутацию Потёмкина [36]. Так молодой Роже де Дама потерял сразу двоих покровителей. Князь предложил заменить их в роли «друга и защитника». Таким образом, Потёмкин, который мгновенно переходил от «совершенной любезности» к «мрачной грубости», мог одновременно вызвать «благодарность, преданность и ненависть» [37].

Екатерина беспокоилась о славе своего князя и утешала супруга: она прислала ему памятное блюдо и меч, а еще – драгоценности и шубу. Потёмкин был в восторге: «Благодарю, матушка…. Первое – от щедрот монарших – милость. А вторая – от матернего попечения. Это, – добавлял он с чувством, – мне дороже бисера и злата» [38].

В конце октября испортились и погода в Очакове, и ход европейской политики. Холод стал невыносимым. Когда Потёмкин инспектировал траншеи, он говорил солдатам не вставать перед ним: ««Главное – не лягте под турецкими пушками». Вскоре страдания армии стали «непереносимыми», температура опустилась до минус пятнадцати градусов по Цельсию. Люди свернули палатки и переместились в норы в земле, которые шокировали де Дама, хотя на самом деле землянки были традиционным русским способом стоять лагерем в холода. Не было ни еды, ни мяса, ни алкоголя. Потёмкин и де Дама получили последние новости из Франции. Потёмкин спросил де Дама, считает ли тот, что когда король созовёт Генеральные штаты, он сможет обедать в удобное ему время? Де Дама отвечал, что король будет есть только с их разрешения.

Вскоре ситуация стала настолько плохой, что даже Самойлова была вынуждена удалиться в лагерь своего мужа, командовавшего левым флангом. Это создало множество неудобств для ее любовника де Дама: «Пробираясь к ней, чтобы оказывать ей знаки внимания, которые она благоволила принимать, я рисковал замерзнуть в снегу» [39].

Кобенцль писал Иосифу, что плачевное состояние, в котором находится русская армия, было исключительно виной князя Потёмкина: «Он потерял целый год под Очаковым, где от болезней и недостатка продовольствия его армия пострадала больше, чем в двух сражениях» [40]. Критики Потёмкина, особенно австрийцы, заявляли, что его промедление стало причиной смерти двадцати тысяч солдат и двух тысяч лошадей, –

так говорил предубежденный француз граф де Ланжерон, которого даже не было на месте событий [41]. Ходили слухи, что в госпиталях каждый день умирают от сорока до пятидесяти человек [42]. «От дизентерии не излечивается почти никто» [43]. Теперь сложно оценить, сколько человек умерло на самом деле, но Потёмкин явно потерял меньше солдат, чем генералы Миних и Румянцев-Задунайский до него. У тех обе армии были практически истреблены и почти не могли вести боевые действия. Австрийцы, осуждавшие то, как велась осада Очакова, были не в том положении, чтобы кого-то критиковать: в то же самое время 172 000 их солдат болело, а 33 000 – погибло, что было больше, чем вся потёмкинская армия [44].

Однако иностранцы, высмеивая щедрость Потёмкина и заботу о своих войсках, в то же время жаловались на его невероятное равнодушие. Самойлов, живший со своими войсками, подтверждал, что морозы «весьма сильны», но армия не страдает, потому что Потёмкин обеспечил ее тулупами, шапками и кеньгами – овчинными или войлочными галошами, которые носили поверх ботинок, а также теплыми палатками. Выдавали мясо, водку и «горячий пунш с рижским бальзамом» [45].

Светлейший князь раздал солдатам много денег, «что избаловало их… не облегчив их нужд», как писал де Дама со свойственным ему потрясающим аристократическим предубеждением и презрением к рядовым солдатам [46]. Русские понимали князя намного лучше. Потёмкин, – писал его секретарь, – «от природы человеколюбив». Что же касается заботы об умирающих, Цебриков описывает сорок медицинских палаток, разбитых подле шатра Потёмкина по его личному срочному приказу, чтобы оказывать раненым наилучший уход: князь проводил в них проверки и так заботился о состоянии солдат, как не заботились британские генералы и шестьдесят лет спустя во время Крымской войны. Но описывает Цебриков и военный поезд, возвращавшийся с линии фронта, в каждой карете которого было по три-четыре тела [47]. Армия страдала, многие умирали, но медицинское обслуживание, деньги, провиант и одежда, выделяемые Потёмкиным, его непревзойденная гуманность – вот что объясняет выживание армии.

Наконец один дезертир сообщил светлейшему князю, что турецкий сераскир (командующий армией) ни за что не сдастся и казнил тех офицеров, с которыми он вел переговоры [48]. Однако князь продолжал выжидать.

Сама императрица начала беспокоиться. Россия по-прежнему вела войну на два фронта, но шведский фронт выглядел уже лучше благодаря победе Грейга над шведским флотом при

Готланде и вмешательству Дании, которая атаковала Швецию с тыла. В августе Англия, Пруссия и Голландия заключили Тройственный союз. В Польше доселе подавляемое недовольство российским владычеством взорвалось празднованием освобождения. «Ненависть противу нас в Польше возстала великая», – пишет Екатерина Потёмкину двадцать седьмого ноября [49]. Она пыталась вести переговоры с Польшей традиционным способом, но Пруссия переиграла ее, предложив договор, который давал полякам надежду на более свободную конституцию и свободу от России. Екатерина теряла Польшу, но Потёмкин мог развязать ей руки, заключив быстрый мир с турками.

«О сем, пожалуй, напиши ко мне подробнее и скорее, – пишет императрица князю, – чтоб не проронить мне чего нужного, а пуще всего по взятии Очакова старайся заводить мирные договоры» [50]. Умеющий приспосабливаться к любой ситуации Потёмкин уже предупредил Екатерину, чтобы она перебросила силы ближе к Польше, и предложил ей свой вариант союза с Польшей. Императрица проигнорировала эти предложения, но его предупреждение оказалось правильным. Он снова решил отойти от дел [51]. Поляки при поддержке Пруссии потребовали отзыва всех российских войск со своей территории. При этом российская армия на юге зависела от Польши – там располагались ее зимние гарнизоны и почти все припасы. Это стало еще одним ударом. «Естьли ты возьмешь покой, – пишет Екатерина, – то о том весьма жалеть буду и прийму сие за смертельный удар». Она умоляла его взять Очаков и поместить армию на зимние квартиры. «Ничего на свете так не хочу, как чтоб ты мог по взятьи Очакова и по окончаньи зимних распоряжений в течение зимы приехать на час сюда, чтоб, во-первых, иметь удовольствие тебя видеть по столь долгой разлуке, да второе, чтоб с тобою о многом изустно переговорить» [52].

Князь не удержался, чтобы не сказать Екатерине, что он ее предупреждал: «в Польше худо, чего бы не было, конечно, по моему проекту. Но быть так». Он предлагал обезоружить Тройственный союз, «притворив мирный и дружеский вид к Пруссии» и Англии и заключив мир со Швецией. Его письмо читается как приказ императрице: «Вы увидите после, как можно будет отомстить» [53]. Секретные рапорты его *homme d'affaires* [поверенного (*фр.*). – *Прим. перев.*] Гарновского из Петербурга позволяют предполагать, что возмущение тем, как Потёмкин ведет себя в Очакове, дошло и до Екатерины. Двор был недоволен промедлением еще с августа. Александр Воронцов и Завадовский плели интриги против Потёмкина и выступали против его

желания сблизиться с Англией и Пруссией. Екатерина «выказывала неудовольствие» [54]. Только прибытие самого светлейшего князя ко двору могло помочь ей преодолеть замешательство и колебания [55].

Четвертого ноября, когда остатки турецкого флота вернулись в порт на зиму, оставив гарнизон, Потёмкин начал планировать [56]. В конце ноября вся кавалерия была отпущена на зимние квартиры и отправилась сквозь снежные пустоши в грустный и даже смертельный путь [57]. Одиннадцатого ноября осажденные турки провели вылазку против одной из потёмкинских батарей, убили генерала С.П. Максимовича и выставили его голову на зубчатой крепостной стене [58]. Обильные снегопады не позволяли перейти к решительным действиям[134].

Двадцать седьмого ноября Екатерина умоляла князя: «Возьми Очаков и зделай мир с турками» [59]. Первого декабря Потёмкин подписал план штурма крепости шестью колоннами примерно по пять тысяч человек в каждой, что составляло тридцать тысяч человек, но Фэншоу заявил, что осталось всего четырнадцать тысяч пятьсот [60]. Самойлов, возглавлявший одну из колонн, считал, что князь намеренно ждал до тех пор, пока лиман замерзнет, чтобы Очаков можно было атаковать и с моря [61]. Пятого декабря на военном совете было определено боевое построение. Де Дама был назначен командующим колонной, штурмовавшей Стамбульские ворота. Он приготовился к смерти: написал своей сестре, вернул любовные письма маркизе де Куаньи, своей парижской любовнице, и провел вечер с русской, Самойловой, у которой оставался до двух часов ночи, после чего вернулся в свою палатку.

Сам князь провел самую важную на тот момент ночь в своей жизни в землянке у передовых траншей. Упрямый камердинер князя даже отказался пустить к нему Репнина, прибывшего сообщить, что штурм вот-вот начнется, потому что не осмеливался разбудить светлейшего: «высшая степень пассивного послушания, о котором, кроме России, нигде не имеют представления». Когда войска пошли на штурм, князь Таврический молился [62].

В четыре часа утра шестого декабря был дан сигнал к атаке с помощью трех бомб. С криками «ура!» колонны двинулись к траншеям. Турки бешено отбивались. Русские не давали им пощады. Де Дама штурмовал Стамбульские ворота со своими гренадерами. Как только им удалось ворваться, началась «ужаснейшая неподражаемая резня», что позволило Фридриху Великому дать русским солдатам прозвище «урсуманы» – наполовину медведи, наполовину сумасшедшие [63].

Российские солдаты, охваченные яростью, вели себя как безумные: даже когда гарнизон сдался, они продолжали носиться по улицам, убивая мужчин, женщин и детей (всего от восьми до одиннадцати тысяч турок), как «вихрь самый сильный, – писал Потёмкин Екатерине, – обративши в короткое время людей во гроб, а город верх дном» [64]. Это был самый настоящий хаос, который русские оправдывали тем, что вели священную войну против безбожников. Турок убивали в таких количествах, что они валялись кучами, по которым шли де Дама и его солдаты, проваливаясь по колено в кровавые тела. «Мы очутились внутри города, покрытые кровью и мозгом», – пишет де Дама. Тела лежали так близко друг к другу, что де Дама был вынужден идти прямо по ним, его левая нога «попала в промежуток глубиною в три или четыре трупа» и угодила в рот раненому турку. Тот сцепил зубы на пятке, и де Дама смог освободиться, только вырвав кусок ботинка [65].

Был учинен невероятный грабеж, солдаты хватали горстями бриллианты, жемчуга и золотые украшения, которые на следующий день за бесценок продавали вокруг лагеря. Серебро никто даже не брал. Потёмкин взял себе изумруд размером с яйцо, чтобы подарить его императрице [66]. «Полилась рекой кровь турецкая, – пели русские солдаты на марше в следующем столетии. – И паша упал пред Потёмкиным».

Сераскир Очакова, старый паша, предстал перед светлейшим с обнаженной головой. Князь переходил от горечи к экзальтации. Он сказал паше, что такая жуткая бойня произошла только из-за упрямства турок. Если бы Очаков сдался, всего этого можно было бы избежать. Сераскир был удивлен, что российский командующий так потрясен гибелью солдат. Он отвечал, что выполнял свой долг, а Потёмкин – выполнял свой, и судьба улыбнулась русским. С восточной вежливостью паша добавил, что он сопротивлялся, только чтобы победа светлейшего князя была еще более прекрасной. Потёмкин приказал найти в развалинах тюрбан, который потерял сераскир.

К семи утра, после четырех часов ожесточенных боев, Очаков стал русским[135]. Потёмкин приказал остановить бойню, и приказ был моментально приведен в исполнение. Были приняты особые меры, чтобы сохранить одежды и драгоценности женщин и обеспечить уход за ранеными. Все свидетели, даже иностранцы, соглашались, что нападение Потёмкина было «великолепным» и практично спланированным с учетом фортификации [68].

Князь вошел в Очаков со своей свитой и сералем – «прелестными амазонками», которые, по словам учителя великого князя по математике Чарльза Массона, «находили интерес в

посещении полей сражений и восхищались прекрасными трупами турок, лежащими на спинах, с саблями в руках» [69]. Еще прежде чем до Петербурга дошли подробные отчеты, начали распространяться истории о том, как Потемкин пренебрегал интересами раненых. «Как про меня редко доносят правду, то и тут солгали», – писал он Екатерине. Светлейший князь превратил свой шатер в госпиталь, а сам переехал в маленькую «кибитку» [70].

Де Дама присоединился к Потёмкину и его «племянницам», особенно к Екатерине Самойловой, которая, очевидно, достойно его вознаградила. «Такого рода счастье… никогда никому не служило такой быстрой наградой за такое жестокое счастливое утро. Подобного наслаждения обыкновенно приходится ждать до возвращения на квартиры или в столицу», – несомненно, это относилось и к несчастному мужу Самойловой [71].

Подполковник Боур, самый быстрый путешественник в России, галопом помчался в столицу, чтобы известить императрицу. Когда он прибыл, Екатерина спала, будучи больной и утомленной. Мамонов ее разбудил. «Я была больна, – писала императрица, – но ты меня излечил». На следующий день Потёмкин пишет: «Поздравляю Вас с крепостию». Были захвачены 310 пушек и 180 стягов, убито 9500 турок и 2500 русских. «Ой, как мне их жаль», – пишет князь [72].

Резню легко устроить и сложно после нее восстановиться. Турецких тел было так много, что их не представлялось возможным похоронить, даже если бы земля была достаточно мягкой. Трупы сваливали на телеги и везли к лиману, а там грудами оставляли на льду. Русские дамы приказали отвезти себя туда на санях, чтобы восхититься [73].

Екатерина ликовала: «За ушки взяв обеими руками, мысленно тебя цалую, друг мой сердечный Князь Григорий Александрович, за присланную с полковником Бауром весть о взятьи Очакова. […] Всем, друг мой сердечный, ты рот закрыл, и сим благополучным случаем доставляется тебе еще способ оказать великодушие слепо и ветренно тебя осуждающим» [74]. Австрийцы, потерявшие возможность скрывать свое неумение воевать за жалобами на бездействие Потёмкина, были почти разочарованы. «Взятие Очакова очень выгодно для продления войны, – говорил Иосиф Кауницу в Вене, – а не для заключения мира» [75]. Придворные начали смеяться над де Линем, который во всеуслышание заявлял, что Очаков в этом году взят не будет [76]. Прежние критики Потёмкина кинулись писать льстивые письма [77]. «Этот человек никогда не идет проторенной дорогой, – говорил Литтлпейдж, – но всегда приходит к цели»

[78].

Шестнадцатого декабря отслужили благодарственный молебен и выпустили салют из ста одной пушки. «Все люди вообще чрезвычайно сим щастливым произшествием обрадованы», – писала Екатерина. Боур получил чин полковника, золотую табакерку с бриллиантами и был отправлен обратно. С собой он вез предназначенные князю Таврическому, бриллиантовый крест Святого Георгия и инкрустированную алмазами шпагу стоимостью 60 000 рублей [79]. Потёмкин очень устал, но не собирался почивать на лаврах. Перед возвращением в Петербург предстояло сделать еще многое. Когда его посетила очередная вспышка эйфорической энергии, он проинспектировал судостроительные верфи в Витовке, решил основать новый город Николаев, посетил Херсон с проверкой флота. Но важнее всего было разместить гарнизон в Очакове, отправить флот обратно в Севастополь, превратить турецкие трофеи в линейные корабли, оснащенные шестюдесятью двумя пушками каждый, и разместить армию на зимних квартирах. Эти задачи были непростыми, особенно учитывая рост недовольства в Польше, подогреваемый англо-прусским альянсом.

Князь призывал к *détente* [политике разрядки напряженности (*фр.*). – *Прим. перев.*] в отношениях с Пруссией. Екатерина не соглашалась и говорила, что отношения с Западной Европой – ее забота. «Государыня, я не космополит, до Европы мало мне нужды, – отвечал Потёмкин, – а когда доходит от нее помешательство в делах мне вверенных, тут нельзя быть равнодушну». Здесь мы явно видим, как разграничивались сферы ответственности двух партнеров и как Потёмкин не хотел оказаться связанным этими границами. Что же до Пруссии, то Потёмкин пишет: «Не влюблен я в Прусского Короля, не боюсь его войск, но всегда скажу, что они всех протчих менее должны быть презираемы» [80].

Наконец светлейший князь выехал в Петербург. «Я вас туда и отвезу, – сказал он де Дама. – Не покидайте меня больше, я беру на себя все устроить для вас. Отправьте только вперед все, что вам необходимо, а остальное предоставьте мне [81]. Сани были готовы. Князь и де Дама взобрались в них и укрылись шкурами и мехами, как будто легли в колыбель. «Вы готовы? – спросил Потёмкин де Дама. – Я отдал приказ, чтобы вы не отставали от меня». Лакей устроился на санях и хлестнул лошадей, которые поскакали в ночь, сопровождаемые со всех сторон казаками с зажженными факелами. Де Дама немного отстал и нагнал спутника лишь в Могилеве. Он устал и хотел спать, но где бы ни оказывался князь, местные губернаторы и знать устраивали

парады и празднества. Де Дама прямо из саней ввели в залу, «где весь город и весь гарнизон собрались на бал». Князь не принимал никаких извинений по поводу туалета или усталости, познакомил его со всеми дамами и, как сообщает де Дама, «не спросив меня, подвел мне одну из них, и я, покорившись участи, стал танцевать и уже не покидал бала до 6 час. утра». В полдень они снова были в пути [82].

Петербург ожидал возвращения князя с ужасом и нетерпением, как будто это было Второе пришествие. «Город волнуется, ожидая его светлости, – писал Гарновский. – Все только об этом и говорят». Дипломаты, особенно прусские и английские, следили за дорогой. Британский дипломат напился в гостях у Нарышкина и прокричал тост за Потёмкина. Разочарованный, но по-прежнему полный надежд американский пират Джон Пол Джонс тоже ждал князя с нетерпением, ведь тот мог решить его судьбу. «Причины, по которой столь продолжителен приезд княжий, мы не знаем и отгадать не можем, – жаловался Завадовский фельдмаршалу Румянцеву-Задунайскому, – между тем дела, также как люди, в ожидании» [83].

Екатерина следила за его перемещениями: «Переезд твой из Кременчуга в Могилев был подобен птичьему перелету, а там диви[шь]ся, что устал. Ты никак не бережешься, а унимать тебя некому: буде приедешь сюда больной, то сколько ни обрадуюсь твоему приезду, однако при первом свиданьи за уши подеру, будь уверен» [84].

Тем не менее Екатерина по-прежнему со всех сторон была осаждена войнами, коалициями, придворными интригами и оставалась неспокойной. Мамонов приносил успокоение, но не помогал в государственных делах: к тому же теперь он всегда был болен. Екатерина беспокоилась о том, чтобы достойно принять своего супруга, особенно когда поняла, что воздвигла триумфальные арки в честь князя Орлова и Румянцева-Задунайского, но забыла о светлейшем князе. «Ваше Величество так его знать изволите, – заметил её секретарь Храповицкий, – что сами никакого с ним расчета не делаете». – «То так, – отвечала Екатерина, – однако же все человек, может быть, ему захочется». Поэтому она приказала иллюминовать мраморные ворота в Царском Селе и украсить их стихами из «Оды на Очаков» придворного поэта Петрова: «Ты в плесках внидешь в храм Софии». Это было отсылкой к Святой Софии в Стамбуле. Екатерина грезила, что Потёмкин «будет в нынешнем году в Цареграде», и предупреждала Храповицкого: «о том только не

вдруг мне скажите» [85]. Дорога к Царскому Селу освещалась на шесть миль днем и ночью. Должны были дать залп из пушек крепости, что обычно было прерогативой монарха. «Скажи, пожалуй, любят ли в городе князя?» – спросила императрица своего камердинера Захара Зотова. «Один только Бог да вы», – смело ответил тот. Екатерину это не смущало. Она заявила, что слишком больна, чтобы снова отпустить его на юг. «Боже мой, – говорила она, – как мне князь теперь нужен» [86].

В шесть вечера в воскресенье, четвертого февраля, светлейший князь прибыл в Петербург посреди бала в честь дня рождения дочери великого князя Павла. Потёмкин сразу проследовал в свои покои, в дом, примыкавший к Зимнему дворцу. Императрица покинула празднество и застала князя за переодеванием. Она долго оставалась с ним наедине [87].

28. «Успехи мои принадлежат прямо тебе»

…А Потёмкина прославим:
Мы сплетём ему венец
От своих, братцы, сердец.

Русская солдатская песня о походе князя Потёмкина-Таврического в Молдавию в 1790 году

Жуану льстила царская любовь,
Хотя ему порой бывало трудно,
Но, будучи и молод и здоров,
Справлялся он с обязанностью чудно.

Дж. Байрон. «Дон Жуан», IX:47

Одиннадцатого февраля 1789 года эскадрон лейб-гвардии в сопровождении четырёх трубачей прошествовал вдоль Зимнего дворца, неся двести османских стягов из Очакова. После этого парада был дан роскошный ужин в честь Потёмкина [1]. «Князя видим весьма приветливого и ко всем преласкового; прибытие его повседневно празднуем», – едко заметил Завадовский в письме к Румянцеву-Задунайскому. «Вся вера *к одному*» [2]. Потёмкин получил ещё 100 000 рублей на отделку Таврического дворца, усыпанный алмазами жезл и, что самое важное, отставку Румянцева-Задунайского, командующего Украинской армией. Князю были вверены обе русские армии.

Потёмкин щедро наградил своих помощников: по его настоянию Суворов, которого он привёз с собой в Петербург, получил алмазное перо на шляпу с вензелем «К» – в честь Кинбурна [3]. Он направил своего любимого генерала в бывшую армию Румянцева, которую уже вновь собирались атаковать турки[136]. Князь пообещал Суворову поручить ему командование отдельными войсками [4].

Однако торжества не отменяли ни сложного международного

положения России, ни душевной боли Екатерины. В тот вечер после ужина Екатерина рассорилась со своим фаворитом Мамоновым. «Слёзы, не выходили ни в церковь, ни за стол, ни на бал», – записал в своём дневнике Храповицкий. Мамонов вёл себя подозрительно: часто сказывался больным, был неприветлив и попросту отсутствовал. Когда Екатерина спросила об этом князя, тот ответил: «Не ревновали ли вы к княжне Щербатовы? – Добавив: – Нет ли амуришки, – а затем «сотню раз» повторил: – Ох, матушка, плюнь ты на нево» [5]. Потёмкин высказал своё мнение о её любовнике предельно ясно, но уставшая, уже почти шестидесятилетняя Екатерина не поняла, что тот хотел сказать.

Все говорили императрице лишь то, что она хотела услышать, и она привыкла к этому, как привыкла и к совместной жизни с Мамоновым – поэтому предупреждения Потёмкина пропали втуне. К тому же в тот или иной момент светлейший князь восставал против каждого нового фаворита. Неприятности с Мамоновым продолжались; «Слёзы ‹…› Весь день тоже», – записал Храповицкий на следующий день. Екатерина весь день провела в постели, и супруг пришёл ей на помощь. «После обеда К. Г.А. Потёмкин Таврической миротворствовал» [6], но ему удалось лишь замаскировать, а не залечить глубокие трещины в отношениях государыни с фаворитом. Не мог князь и решить все проблемы, стоявшие перед Российской империей.

Правительство разрывалось на части, пытаясь спасти бедственное положение России. Россия упорно сражалась на турецком и шведском фронтах, но стремительно утрачивала своё влияние в Польше. Польский Четырёхлетний сейм получил поддержку Берлина и наивно прикладывал все усилия, чтобы избавиться от российского протектората и броситься в объятия Пруссии. «Ненависть противу нас в Польше… великая» [7] подталкивала поляков к реформе своей конституции и войне с Екатериной. Пруссия цинично разжигала идеализм польских «патриотов», хотя на самом деле Фридрих-Вильгельм был заинтересован в разделе, а не реформировании Польши.

Но и это было не всё: Пруссия и Англия старались сделать так, чтобы войны со Швецией и Турцией продлились как можно больше. Питт рассчитывал пригласить Польшу присоединиться к «федеративной системе» и сражаться против двух империй. Это обеспокоило Вену и расстроило Иосифа, страдавшего от «кровавой рвоты». Австрийцы волновались, не стал ли Потёмкин сочувствовать Пруссии. Но всё, что Иосиф мог сделать, – это посоветовать своему послу всячески льстить тщеславию «всемогущего существа» [8].

Стоило ли России ввязываться в войну с Пруссией или надо

было достичь с ней соглашения (для чего пришлось бы заключить мир с турками, предать ослабленную Австрию и, вероятно, учинить очередной раздел Польши, который, впрочем, окупился бы захваченными османскими территориями)? Долгожданное прибытие Потёмкина должно было рассечь этот гордиев узел.

Потёмкин уже некоторое время советовал Екатерине умерить ее стойкую неприязнь к Фридриху Вильгельму. Совет ожидал, что Потёмкин вновь попробует убедить её согласиться на переговоры, ведь князь понимал, что Россия не сможет помимо Турции и Швеции сражаться ещё и с Пруссией и Польшей. Поскольку перемирие с султаном было бы ещё преждевременным, Потёмкину приходилось искать способ избежать других войн. Светлейший князь не желал возвращаться к прусской системе Панина, поэтому посоветовал Екатерине: «Затейте Прусского Короля что-нибудь взять у Польши» [9]. Если бы ему удалось спровоцировать прусского короля на то, чтобы тот обнаружил свои подлинные намерения в отношении Польши, скрытые за всем этим маскарадом, поляки охладели бы к Пруссии [10]. Он писал своему соратнику Безбородко: [11] «Откровенность в политике излишня» [12].

Во время этого пребывания в Петербурге закончилась дружба Потемкина с французским послом Сегюром, который, подобно де Линю и Кобенцлю, был недоволен штурмом Очакова. Сегюр оскорбился в лучших чувствах: «Ваша привязанность ко мне уж не та, что прежде, но моя дружба к вам никогда не остынет. Я предан вам до конца жизни» [13]. Они обсуждали с князем возможность союза с Бурбонами и Габсбургами [14], но если Британия была в расцвете сил, то французская монархия – слаба как никогда. «Я посоветовал бы моей государыне заключить союз с Людовиком Толстым, Людовиком Младшим, Людовиком Святым, рассудительным Людовиком XI, мудрым Людовиком XII, Людовиком Великим и даже с Людовиком Возлюбленным, – поддразнил светлейший князь Сегюра, – но только не с Людовиком Демократом» [15].

Несчастный Сегюр, играя с князем в шахматы, был вынужден весь вечер терпеть антифранцузские выходки придворного шута – русские аристократические семейства до сих пор содержали собственных шутов. Впрочем, француз нашёл способ отыграться: он подкупил шута, и тот отпустил остроту по поводу оплошностей русских войск. Потёмкин опрокинул стол и швырнул шахматные фигурки в улепётывавшего шута, однако оценил шутку Сегюра, и вечер прошёл «весьма радостно» [16].

Сегюру пришлось, словно сыщику, рыскать по борделям и кабакам Петербурга по поручению потёмкинского американского

«пирата» Джонса. В апреле, когда Потёмкин собирался «осчастливить» Джонса новой должностью, американца арестовали и обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Эта история напоминала современный бульварный секс-скандал. Джонс воззвал к Потёмкину: «Падшая женщина обвиняет меня в развращении её дочери!» Хуже того, дочери якобы было всего девять лет. Он умолял Потёмкина о помощи: «Неужто в России доверяют женщине дурного поведения, которая сбежала от мужа и семьи, выкрала собственную дочь, живёт с ней в публичном доме и ведёт разгульную и прелюбодейную жизнь, и её жалоба, не подкреплённая никакими доказательствами, может запятнать честь благородного генерала, который удостоился американских, французских и российских наград?» Джонс, некогда слывший парижским ловеласом, признался Потёмкину: «Я люблю женщин» и «наслаждения, что дарит нам женский пол, но мысль добиваться желаемого насилием внушает мне ужас» [17].

Потёмкин, заваленный государственными делами и испытывавший неприязнь к Джонсу, не ответил на эти мольбы. Вся столица отвернулась от Джонса. Детектив Сегюр был единственным, который поддержал старого приятеля, и решил разузнать, кто же подставил американца. Он выяснил, что Джонс действительно сказал Потёмкину правду – истица была сутенёршей, которая развернула торговлю молоденькими девушками «в ужасающих масштабах». Самой девочке, Катерине Гольцварт, оказалось не то двенадцать, не то четырнадцать лет. Она продавала масло гостям лондонской таверны – постоялого двора, где жил Джонс. Три дня спустя после инцидента Джонс дал показания полиции и признался в том, что «развратная девица» несколько раз приходила к нему в комнаты. Он неизменно платил ей за услуги. По словам американца, он не лишал её девственности, но «всякий раз, приходя *chez moi* [ко мне (*фр.*). – *Прим. перев.*], она по доброй воле предлагала делать с собой всё, что мужчине заблагорассудится».

Сегюр обратился к Потёмкину с просьбой восстановить Джонса в правах и снять с него обвинение. Последнее было возможно, первое – нет. «Благодарю за то, что вы постарались сделать для Пола Джонса, хоть вам и не удалось выполнить мою просьбу, – писал Сегюр князю. – Пол Джонс не более виновен, чем я сам, и никогда человек его положения не сносил подобного унижения от женщины, чей муж подтверждает, что она сутенёрша, а дочь предлагает свои услуги в гостиницах» [18]. Благодаря расследованиям Сегюра и неохотному содействию Потёмкина Джонсу не предъявили иска. Двадцать шестого июня 1789 года его в последний раз приняла у себя Екатерина. Кто

хотел насолить Джонсу? Потёмкин был выше подобных вендетт. Английские офицеры ненавидели американского корсара и были вполне способны на этот поступок, но детектив Сегюр заключил, что это дело рук принца Нассау-Зигена.

Вновь оказавшись в Париже, Джонс написал хвастливые мемуары о лиманской битве и принялся досаждать Потёмкину мольбами о медалях, которые он якобы заслужил. «Время покажет вам, мой господин, – писал он светлейшему князю 13 июля 1790 года, – что я не мошенник и не обманщик, но человек преданный и честный» [19].

Двадцать седьмого марта султан Абдул-Хамид I, миролюбивый ценитель вин, скончался. Это ухудшило положение России, поскольку его восемнадцатилетний наследник Селим III оказался напористым и образованным реформатором, чей воинственный настрой поддержали мусульманские фанатики, а также послы Пруссии, Англии и Швеции. Австрия и Россия предпочли бы провести с ним переговоры о мире, чтобы избежать возможного участия пруссаков в Русско-турецкой войне, но прогноз был неутешительным. Австрийский канцлер Кауниц написал Потёмкину письмо, в котором поведал о жестокости Селима: увидев однажды на улицах Стамбула польского еврея в жёлтых туфлях (которые ему не полагалось носить), он велел отрубить ему голову прежде, чем несчастный успел объяснить, что прибыл из-за границы [20]. Добиться мира можно было только в новых сражениях следующей военной кампании Потёмкина – потому Екатерина так тревожилась.

Потёмкин и Екатерина всё ещё флиртовали друг с другом. После торжества в честь дня рождения императрицы, которое состоялось двенадцатого апреля, князь с нежностью пытался подбодрить её, осыпая комплиментами «мать твоих подданных, а мне – наипаче», и её внука Александра: «князя с ангельскими свойствами», первенца «из птенцов орлих» [21]. Перед отъездом он оставил для неё восхитительный подарок – «так называнную безделку, которая красоты редкой или луче сказать безподобна, каков ты сам. Ей и тебе дивлюсь. Вы же сами – воплощение остроумия» [22].

Шестого мая 1789 года, составив вместе с Екатериной планы действий на случай разных вариантов развития событий, в том числе начала войны с Пруссией и Польшей, князь Таврический покинул Царское Село и отправился на юг. Партнёры не увидят друг друга целых два года [23].

Потёмкин поспешил на фронт, где разделил Украинскую и Екатеринославскую армии численностью 60 000 человек и

составил из них свою собственную центральную армию и четыре отдельных корпуса. Стратегической замысел состоял в том, чтобы продвигаться вокруг Чёрного моря в юго-западном направлении через княжества Молдавию и Валахию (ныне Молдова и Румыния) и брать штурмом крепости на Днестре, Пруте и Дунае. Потёмкинская армия должна была сражаться на Днестре и вытеснить турков к верховьям Дуная (на территорию современной Болгарии), а затем к самому Константинополю [24].

Главная австрийская армия под командованием одного из своих многочисленных офицеров-шотландцев, фельдмаршала Лаудона, должна была атаковать Белград (ныне столица Сербии), а принц Фридрих Иосия Саксен-Кобург-Заальфельдский – сражаться вместе с русскими в Валахии и Молдавии. Основной военной силой, не считая потёмкинской армии, выступал суворовский летучий (третий) корпус: он должен был защищать «петлю» – пространство справа от австрийских войск и слева от русских. Суворов со своими солдатами расположился в ожидании между тремя параллельно текущими реками – Серетом, Берладом и Прутом.

Новый великий визирь Кетхюда Хасан-паша стоял во главе стотысячной османской армии; он планировал разбить австрийцев в том месте, где связь между союзниками была наиболее хрупкой, – у рек Прут и Серет, рядом с суворовской «петлёй», а в это время новая армада должна была высадиться в Крыму. Бывший капудан-паша и белобородый Крокодил морских сражений, Джезаирли Гази Хасан-паша принял командование сухопутными войсками численностью в 30 000 человек; его задачей было отвлечь главную потёмкинскую армию, пока её будет атаковать визирь. Манёвры турок были на удивление искусными, но русские не теряли бдительности. Одиннадцатого мая Потёмкин переправился через Буг, собрал все силы под Ольвиополем и затем двинулся на Бендеры – мощную османскую крепость на Днестре.

Тем временем на западе всё стремительно менялось. Пока Потёмкин обустраивал свой новый штаб в Ольвиополе, третьего (14) июля парижская толпа взяла штурмом Бастилию. Пятнадцатого (26) августа Национальное собрание приняло Декларацию прав человека и гражданина [25]. Французская революция воодушевила антирусски настроенных польских патриотов – Варшаве было по душе хрупкое торжество свободы и надежды. Польша потребовала, чтобы Россия вывела из страны свои войска и увезла склады боеприпасов. Потёмкин внимательно следил за ситуацией в Польше, но не мог предпринять ничего иного, кроме как согласиться на эти условия [26]. Он всё ещё

придерживался своей политической линии в отношении Польши, настойчиво умножая число черноморских казаков: когда настанет решающий момент, им суждено будет стать авангардом православного войска, которое поднимет на бой всех сторонников России на востоке Речи Посполитой [27].

Потёмкин «летал» между своим штабом в Ольвиополе, где встречались русские, поляки и турки, Херсоном, Очаковым и Елисаветградом; он проверял и осматривал всю линию фронта, пока не «ослабел крайне»: «гемороид и лихорадка одолели, – пишет он Екатерине, – но меня ничто не остановит, кроме смерти» [28]. Она решила поднять князю настроение, отправив ему одну из наград за Очаковский штурм – усыпанный бриллиантами фельдмаршальский жезл.

Великий визирь с тридцатитысячным войском осторожно продвигался вперёд, планируя нанести удар австрийским войскам принца Кобурга, прежде чем те присоединятся к русским дивизиям. В этот решающий момент обезумевшая императрица отправила Потёмкину длинное и страдальческое секретное письмо. В то время как турки подобрались к самой уязвимой точке потёмкинской линии фронта, отношения Екатерины и Мамонова унизительнейшим образом рассыпались в прах.

Императрице наконец стало ясно, что Мамонов несчастлив, и его трудно за это осудить. Фаворит неизменно жаловался, что служить при дворе – всё равно что пытаться выжить в джунглях [29]. Он уже успел свыкнуться с роскошью, и ему прискучило положение компаньона пожилой дамы. Потёмкин закрыл ему доступ ко всем политическим должностям: во время своего последнего визита князь отклонил просьбу Мамонова назначить его придворным вице-канцлером. Сексуальные обязанности фаворита стали утомительными и даже неприятными.

Екатерине исполнилось шестьдесят лет. На людях она держалась величественно, а с близкими была открыта и весела. «На протяжении десяти лет я виделся с ней один или два раза в неделю, – писал Массон, – и каждый раз она неизменно вызывала восхищение». Её скромность в обращении с подчинёнными была поистине поразительна: графиня Головина вспоминала, как однажды обедала вместе с другими фрейлинами, и вдруг «кончила есть и, не поворачивая головы, отдала свою тарелку, и была очень удивлена, увидав, что ее приняла прекрасная рука с великолепным бриллиантом на пальце. Графиня узнала императрицу и вскрикнула». Она тщательно ухаживала за собой, берегла свою прекрасную кожу и очаровательные руки. Поседевшие ныне волосы она собирала в аккуратную причёску. Однако Екатерина весьма располнела, и её грузные ноги

«потеряли форму». Её архитекторы, в том числе Чарльз Камерон, работавший в Царском Селе, а также аристократы, в чьих домах она часто бывала, со временем начали устанавливать *pentes douces* [пандусы (*фр.*). – *Прим. перев.*], чтобы императрице было легче заходить в здания. Её голос становился всё более хриплым, нос – «чрезмерно греческим» или орлиным, она страдала от метеоризма и несварения желудка и, вероятно, утратила несколько зубов. Императрица старела[137], но время усугубило страстность её натуры и потребность в эмоциональной поддержке [30].

Императрица отправила Мамонову письмо, великодушно предлагая дать ему отставку и обустроить его счастье, обвенчав с одной из богатейших наследниц в России. Его ответ поверг Екатерину в отчаяние. Он признался, что уже полтора года влюблён в фрейлину – княжну Дарью Щербатову – и попросил позволения жениться на ней. Узнав об этом бесстыдном предательстве, Екатерина, оскорблённая в лучших чувствах, ахнула и упала как подкошенная. Мамонов поспешил к ней, пал к её ногам и искренне рассказал обо всём. Подруга Екатерины Анна Нарышкина накинулась на фаворита с криками. Екатерина была глубоко уязвлена, но, сохраняя свою неизменную доброту к любимцам, согласилась на брак Мамонова с Щербатовой.

Поначалу она скрывала этот кризис от Потёмкина – возможно, причиной тому было смущение или желание сперва найти замену Мамонову среди других молодых приближённых. Но 29 июня она объявила придворным, что готовится писать Потёмкину в Ольвиополь. К тому времени, как письмо добралось до адресата, она уже успела поприсутствовать на свадьбе Мамонова первого июля: жених получил 2250 душ и 100 000 рублей. Екатерина утирала слёзы, глядя на молодожёнов. «Я ничей тиран никогда не была и принуждения ненавидую, – с грустью писала она Потёмкину. – Возможно ли, чтобы вы не знали меня до такой степени и чтобы великодушие моего характера совершенно вышло у вас из головы и вы сочли меня дрянной эгоисткой. Вы исцелили бы меня сразу, сказав правду». Она вспомнила предупреждения Потёмкина («матушка, плюнь ты на нево»), к которым напрасно не прислушалась. «Если вы знали об этой любви, почему не сказали мне о ней прямо?» [31]

Светлейший князь на это ответил: «Я, слыша прошлого году, что он из-за стола посылывал ей фрукты, тотчас сметил, но, не имея точных улик, не мог утверждать перед тобою, матушка. Однако ж намекнул. Мне жаль было тебя, кормилица, видеть, а паче несносна была его грубость и притворные болезни». Потёмкин презирал Мамонова за его «смесь безразличия и

эгоизма», из-за которой тот «сделался Нарциссом до крайней степени», и советовал императрице отправить этого неблагодарного послом в Швейцарию [32]. Вместо этого граф и графиня Мамоновы уехали в Москву вариться там в собственном соку.

«Место свято пусто не бывает», – справедливо заметил Завадовский [33]. Екатерина уже выбрала кандидата на замену Мамонову, однако прежде, чем сообщить Потёмкину, хотела убедиться, что не ошиблась в выборе. Ещё в первом её письме Потёмкин, должно быть, обратил внимание на слова о молодом человеке – новом знакомом, которого она называла «le Noiraud», «Чернявый». Спустя три дня после признания Мамонова Екатерина стала всё чаще видеться с Чернявым: её камердинер и секретарь заподозрили, что это может быть началом нового романа [34]. Молодой человек был протеже Анны Нарышкиной и графа Николая Салтыкова: тот руководил двором великого князя Павла и критиковал Потёмкина. Поскольку все придворные знали, что Мамонов был влюблён в Щербатову, Нарышкина и Салтыков начали заранее способствовать сближению императрицы и Чернявого – они понимали, что Потёмкин тотчас вмешается, если они упустят момент. Князь не мог сам назначать фаворитов Екатерины, однако всегда старался убедиться, что они ему не враждебны. Вне всякого сомнения, сторонники Чернявого рассчитывали ослабить власть Потёмкина, зная, что из-за войны он не сможет так же быстро приехать в столицу, как после смерти Ланского. В июне 1789 года занемогшая императрица, терзаемая войной и расстройством желудка, охотнее, чем когда-либо, согласилась бы на любое предложение. Возможно, счастье стало для неё важнее, чем чувство собственного достоинства.

Под именем Чернявого скрывался Платон Александрович Зубов, последний фаворит Екатерины и, пожалуй, самый красивый из всех её любимцев. Двадцатидвухлетний Зубов был мускулист, хотя и строен; хорошо сложен и темноволос – за что и получил своё прозвище, – однако выглядел холодным, нервным и надменным. Его хрупкое здоровье позволяло Екатерине утолить свой материнский инстинкт. Он воспитывался при дворе с одиннадцати лет, и Екатерина когда-то оплатила его обучение за границей. Этот щёголь, несомненно, обладал умом, но его знания были поверхностны, и ему недоставало воображения, любознательности и талантов; им руководили лишь жадность и амбициозность. Впрочем, положение фаворита не требовало выдающихся способностей. Потёмкин помогал ей управлять империей и вести войны, а Зубов был компаньоном и учеником в государственных делах. «Я делаю и государству не малую

пользу, – с сарказмом говорила Екатерина, – воспитывая молодых людей» [35].

Восхождение Зубова к власти началось в привычном ритме: однажды вечером придворные заметили, как молодой человек подаёт руку императрице. На нём был новенький мундир, а в шляпе – большое перо. После партии в карты он был приглашён в покои Екатерины и разместился в комнатах фаворита, где, вероятно, обнаружил денежный подарок. На следующий день в передней «нового кумира» уже столпились просители [36]. Третьего июля Зубов получил должность полковника Конной гвардии и генерал-адъютанта, и следует отметить, что он подарил часы стоимостью 2000 рублей своей покровительнице Нарышкиной. Сторонники Зубова уже опасались реакции Потёмкина и советовали фавориту выказывать всяческое уважение «его светлости» [37].

Екатерина была влюблена [38]. Её буквально переполняло восхищение. «Мы любим этого ребенка, он действительно очень интересен», – объявила она со всей торжественностью. Её восклицаниям свойственна слащавость пожилой женщины, охваченной плотской страстью к молодому человеку на сорок лет младше её; она пишет Потёмкину: «Я здорова и весела и как муха ожила» [39]. Заказывая у своего секретаря купить французские книги для Зубова, она даже отпустила тяжеловесную, но неожиданно пикантную остроту. Одна из книг в каталоге называлась «Люсин. Sine concubito [Непорочное зачатие]. Письмо, где разъясняется, что женщина может родить дитя без соития с мужчиной». Екатерина рассмеялась: «Какое облегчение, а в древние времена у язычников отговоркою служили Марс, Юпитер и прочие боги» [40]. Однако она с волнением ждала, что скажет о новом избраннике князь Таврический.

«Всего нужней Ваш покой, – осторожно ответил ей Потёмкин, – …он мне всего дороже. ‹…› Я у Вас в милости, так что ни по каким обстоятельствам вреда себе не ожидаю» [41]. Но Потёмкин не высказал своего мнения о Зубове. В письмах Екатерина не решилась назвать его по имени, но не могла удержаться, чтобы не отметить с восторгом его красоту: «Чернявый имеет весьма прекрасные глаза». Она вновь уверяет Потёмкина в святости их тайных уз: «Правду говоришь, когда пишешь, что ты у меня в милости ни по каким обстоятельствам, кои вреда тебе причинить не могут ‹…› Злодеи твои, конечно, у меня успеха иметь не могут». Взамен она умоляет Потёмкина дать добро её новому избраннику: «Утешь ты меня, приласкай нас» [42].

Вскоре она усадила Зубова писать льстивые письма

Потёмкину, чтобы вернуть себе тепло «семейного» кружка: «При сем прилагаю к тебе письмо рекомендательное самой невинной души, которая в возможно лутчем расположении, с добрым сердцем и приятным умоначертанием. – И с надеждой прибавила: – А без сего человека, вздумай сам, в каком бы я могла быть для здоровья моем фатальном положении. Adieu, mon ami. Приласкай нас, чтоб мы совершенно были веселы» [43]. Когда он и в самом деле проявил «ласку», императрица была ему чрезвычайно благодарна: «Мне очень приятно, мой друг, что вы довольны мною и маленьким Чернявым ‹…› надеюсь, [он] не избалуется» [44]. Но этим надеждам не суждено было сбыться. Зубов часами просиживал перед зеркалом, завивая волосы. Он нахально позволял своей ручной мартышке срывать парики с голов почтенных просителей. «Своим высоким положением Потёмкин обязан, в сущности, одному лишь себе, – вспоминал Массон, который был знаком с обоими фаворитами. – Зубов же возвысился благодаря слабоволию Екатерины» [45].

Принято считать, что успехи Зубова стали политической катастрофой для Потёмкина, однако потомки преувеличивали их значимость. Потёмкину было прежде всего необходимо, чтобы Екатерина нашла себе подходящего фаворита, что позволило бы князю править империей, а государыню сделало бы счастливой. Именно Потёмкин когда-то предложил кандидатуру Мамонова, но его не опечалила его отставка – поскольку Мамонов стал относиться к Екатерине без уважения. Говорили, что, приехав в Петербург в феврале, он выдвинул нового кандидата в фавориты [46] – по одному из свидетельств, это был младший брат Зубова Валериан, из чего можно заключить, что Зубовы не были к нему враждебны, несмотря на то, что среди их друзей были критики Потёмкина. В самом деле, князь симпатизировал отважному и способному Валериану и продвигал его по службе при всякой возможности [47]. Де Дама, который в то время был рядом с Потёмкиным, не отметил никакой неприязни по отношению к Зубовым [48].

Итак, между Потёмкиным и Зубовым завязалась дежурная переписка: молодой фаворит заискивал перед пожилым супругом. Каждый любимец когда-то надеялся заменить собой светлейшего князя. Теперь эта угроза была серьёзнее из-за почтенного возраста императрицы. Но в ходе войны престиж и могущество Потёмкина всё усиливались, поэтому Зубов хотя и не был идеальным выбором в политическом отношении, но казался не опаснее булавочного укола.

Светлейший князь не сразу дал своё одобрение: «Матушка моя родная, могу ли я не любить искренно человека, который

тебе угождает. Вы можете быть уверены, что я к нему нелестную буду иметь дружбу за его к Вам привязанность». Куда больше волнения в нём вызывала другая новость: победа [49].

Тридцать тысяч османских солдат внезапно совершили бросок к молдавским Фокшанам, где 12 000 австрийцев охраняли потёмкинское войско с правого фланга. Их неповоротливый главнокомандующий принц Кобург трезво оценил свои силы и обратился за помощью к русским. Ранее Потёмкин приказывал Суворову не допускать сосредоточения турецких войск и попыток вторгнуться между армиями союзников. Как только Суворов получил письмо принца Кобурга, он поставил об этом в известность Потёмкина и столь решительно двинул в бой 5000 своих солдат, что турецкий командующий решил, что это всего лишь авангард многочисленной армии. Двадцатого – двадцать первого июля 1789 года в битве при Фокшанах крошечный, но вымуштрованный суворовский корпус при содействии австрийцев наголову разбил турок: те потеряли более 1500 воинов, а союзники – лишь пару сотен. Турки отступили к Бухаресту [50].

Бесчисленная армия великого визиря снова двинулась в путь. Суворов поспешил обратно на прежние позиции. Двенадцатого августа Потёмкин пересёк Днестр и повернул на юг, чтобы устроить главный штаб в Дубоссарах. Все следили за действиями великого визиря: Потёмкин оставил свою армию между Дубоссарами и Кишинёвом, а сам поспешил в Очаков и Херсон, чтобы подготовиться к грядущей турецкой атаке с моря.

В Дубоссарах светлейший князь обосновался в роскошной резиденции – «великолепной, как у визиря». Уильям Гульд, император садов, немедленно обустроил рядом английский парк. Оркестр Сарти играл целыми днями. Многие генералы путешествовали вместе с любовницами и прислугой, но только Потёмкин отправлялся на войну с целой армией садовников и скрипачей. Казалось, он собирался провести там остаток своих дней [52].

Визирь был прав, сочтя «петлю» между союзническими армиями «ахиллесовой пятой» Потёмкина, и потому решил нанести двойной удар. Старый Крокодил Гази Хасан покинул Измаил с тридцатитысячным войском, переправился через Прут и приблизился к главной потёмкинской армии. Но русские войска были в полной готовности, и Потёмкин отправил армию Репнина отразить удар и даже попытаться захватить могущественный Измаил: под натиском Репнина бывший алжирский мореход и его воины отступили обратно к стенам своей крепости. Но Репнин, добравшись до Измаила, бездействовал и напрасно терял время.

Первого сентября Потёмкин дал Суворову особые указания по

поводу армии визиря: «…естьли бы где в Вашей дирекции неприятель оказался, то, Божию испрося милость, атакуйте, не дав скопляться» [53]. Четвертого сентября Суворов получил этот приказ, и сразу же к нему вновь обратился за помощью Фридрих Кобург. Девяносто тысяч воинов великого визиря подходили к Фокшанам, надвигаясь на восемнадцатитысячное австрийское войско. Кобург получил ответ: «Иду. Суворов» [54]. Отправив гонца к князю, Суворов со своими 7000 солдат немедленно двинулся в путь, переправляясь через полноводные реки и по-спартански преодолев сотню вёрст за два с половиной дня.

Потёмкин беспокоился, что они не успеют вовремя [55]. В тот же день, когда князь отдал приказ Суворову быть в боевой готовности, он разработал сложный и амбициозный план нападения на одну из важнейших османских крепостей – Хаджибей, будущую Одессу. Из Очакова были направлены сухопутные войска, и в помощь им снарядили флотилию из запорожских «чаек» и других гребных судов под командованием талантливого неаполитанского авантюриста Хосе де Рибаса; с тыла флотилию прикрывали линкоры Черноморского флота. Сам Потёмкин со своими войсками отправился к Каушанам, на случай, если Репнину или Суворову понадобится помощь. Из-за этих сложных манёвров сложилось неверное представление о некомпетентности Потёмкина как командующего [56].

Суворов встретился с Кобургом, когда тот испуганно глядел на лагерь великого визиря на реке Рымник. Турецких воинов было в четыре раза больше, чем солдат союзнических войск. Восьмого сентября Потёмкин дал новый приказ Суворову: «Содействие Ваше Принцу Кобурху для атаки неприятеля я нахожу нужным: но не для дефензивы» [обороны. – *Прим. перев.*]. Одиннадцатого сентября союзники нанесли первый удар. Турки сражались все так же фанатично, бросая на суворовские каре новые и новые волны янычар и сипахов. Союзники продержались два часа, а затем, славя своих государей, перешли в наступление. Новые лёгкие войска Потёмкина – егеря (стрелковая пехота) и конники (карабинеры и казаки) – оказались не менее ловкими и стремительными, чем османские воины. Турки понесли сокрушительное поражение: 5 000 человек полегли «по жестоком сражении» [57]. «Великий визирь бежал, как мальчишка», – с гордостью сообщил Потёмкин своему тогдашнему другу де Линю [58]. Светлейший князь, ликуя, осыпал похвалами Суворова: «Объемлю тебя лобызанием искренним и крупными словами свидетельствую мою благодарность; ты, мой друг любезный, неутомимой своею ревностию возбуждаешь во мне желание иметь тебя повсеместно». Суворов тоже ответил лобызанием:

«Драгоценное письмо Ваше цалую! Остаюсь с глубочайшим почтением, Светлейший Князь, Милостивый Государь!» Их бурная радость была проникнута взаимным уважением: стратегию продумал Потёмкин, а тактические решения принимал гениальный Суворов. Тринадцатого сентября, вскоре после суворовского триумфа, Потёмкин взял Каушаны, а на следующий день Рибас захватил Хаджибей. Князь приказал Севастопольскому флоту выйти в море и нанести удар по османским судам.

Затем он двинулся к двум самым мощным османским крепостям на Днестре. Потёмкин рассчитывал, что память об очаковской кровавой бане ещё свежа и победа обойдётся «дёшево». Сначала он направился к неприступным валам Аккермана (ныне Белгород-Днестровский), который царил над устьем реки. Когда турецкий флот отплыл в Стамбул, Потёмкин приказал начать штурм Аккермана. Тридцатого сентября крепость сдалась. Князь поспешил осмотреть её и затем вернулся обратно через Кишинёв: поскольку Польша закрыла свои границы, ему нужно было искать иные способы прокормить армию[138].

Теперь светлейший князь обратил свой взор на жемчужину Днестра – знаменитую крепость в Бендерах, построенную на уступе над рекой. Прекрасно укреплённый замок, квадратный в плане и оснащённый четырьмя великолепными башнями, охранялся целой армией в 20 000 воинов [59]. Потёмкин окружил крепость, но в то же время попытался вступить в переговоры. Четвертого ноября он получил желаемое. Несколько дней спустя он с удовольствием поведал Екатерине о «чудесном случае»: «В городе восемь бим-башей над конницей их: в один день шестеро видели один сон, не зная еще о Белграде Днестровском. В ту ночь, как взят, приснилось, что пришли люди и говорят: “Отдайте Бендеры, когда потребуют, иначе пропадете”». Сновидцы рассказали об этом Паше. Очевидно, турки искали соответствующего знамения, которое позволило бы им избежать русского штурма, и это спасительное видение позабавило Потёмкина [60]. Бендеры сдались, и Потёмкин заполучил триста пушек в обмен на разрешение гарнизону уйти. Акт о капитуляции, который ныне хранится в потёмкинском архиве, [61] свидетельствует не только о церемонности бессмысленной османской бюрократии, но и о том, что к светлейшему князю турки обращались не как к великому визирю, а как к самому султану[139].

Бендеры стали идеальной победой Потёмкина – она не стоила русским ни одной жизни. Успех был заразителен: Иосиф направил Потёмкину дежурное поздравление, однако в неопубликованном письме де Линю удачно высказался о

подлинном значении этой победы: «Осада и штурм крепостей требуют мастерства… но воцариться в крепости так, как это сделал он, – высшее искусство». Это событие должно было стать «величайшим триумфом» Потёмкина [62].

Великий визирь был бы с этим не согласен: после битвы при Рымнике султан казнил его в Шумле, а тем временем в Стамбуле обезглавили бендерского сераскира. Четыре месяца спустя британский посол видел его голову, которая всё ещё висела возле сераля [63].

«Ну, матушка, сбылось ли по моему плану?» [64] – спрашивал Екатерину торжествующий Потёмкин. Победа развеселила его, и он даже сочинил для неё стихотворение:

> Nous avons pris neuf lanc¸ons
> Sans perdre un garc¸on
> Et Bender avec trois Pashas
> Sans perdre un chat[140]. [65]

После победы при Рымнике светлейший князь был более чем великодушен к Суворову: «…ей, матушка, он заслуживает Вашу милость и дело важное. Я думаю, что бы ему ‹…› Петр Великий графами за ничто жаловал. Коли бы его с придатком Рымникский?» [66]. Потёмкин гордился тем, что русские спасли австрийцев, которые чуть было не бежали с поля боя. Он просил государыню «быть милостивой к Александру Васильевичу» и «тем посрамить тунеядцев генералов, из которых многие не стоят того жалования, что получают» [67].

Екатерина согласилась. Она пожаловала Суворову титул и украшенную бриллиантами шпагу с гравировкой «За разбитие Визиря». Потёмкин поблагодарил её за этот жест (Иосиф тоже наградил Суворова графским достоинством Священной Римской империи) и дал каждому солдату по рублю [68]. Суворову была отправлена «целая телега с бриллиантами» и орден «Егорья Большаго креста» [69], а к этим наградам Потёмкин приложил письмо: «Вы, конечно, во всякое время равно бы приобрели славу и победы, но не всякий начальник с удовольствием, моему равным, сообщил бы Вам воздаяния». Эти блистательные и чересчур эмоциональные эксцентрики вновь принялись соревноваться в любезности. «Насилу вижу свет от источника радостных слёз, – пишет Суворов-Рымникский Василию Попову. – Долгий век Князю Григорию Александровичу! ‹…› Он честный человек, он добрый человек, он великий человек!» [70]

Потёмкин стал героем дня, переходя «от победы к победе», как сообщила Екатерина де Линю: теперь князь овладел всеми

землями на Днестре и Буге, а также территорией между ними [71]. В Петербурге пели «Тебе Бога хвалим», 101 пушка дала залп в его честь. Если власть можно сравнить с афродизиаком, то победа – это подлинная любовь; Екатерина писала ему такие нежные письма, как будто они вновь стали любовниками: «Спасибо тебе и преспасибо, кампания твоя нынешняя щегольская! ‹…› я здорова и весела и тебя очень, очень люблю» [72]. Но они всё ещё не могли решить, как отразить нападки Пруссии, которая стремилась оспорить российские приобретения в войне с турками. Императрица писала Потёмкину, что слушается его совета: «Мы пруссаков ласкаем», хотя ей было нелегко терпеть их «грубости». Екатерина сообщила, что Зубов мечтал увидеть потёмкинскую коллекцию и осмотреть его дом на Миллионной, и она отвела его на экскурсию, заодно заметив, что обстановка в особняке была слишком неопрятна для героя-завоевателя. Императрица велела «прибрать» комнаты, украсить спальню белыми шелками и всюду развесить полотна из его коллекции. В тот день она отправила светлейшему князю несколько писем, подписав одно из них: «Прощайте, мой друг, я вас люблю всем сердцем» [73].

Между тем девятнадцатого сентября австрийские войска, теперь под надёжным руководством фельдмаршала Лаудона, захватили балканский Белград, а Кобург взял Бухарест. В Петербурге одновременно звучали «Тебе Бога хвалим» в честь обоих Белградов (вторым был Аккерман – Белгород-Днестровский).

Благодаря этим победам князя всё чаще прославляли в образе Марса. Екатерина изготовила медальон с его профилем в память о штурме Очакова. Скульптор Шубин работал над его бюстом [74]. Императрица, словно благоразумная мать, давала Потёмкину наставления о том, как подобает себя вести столь знаменитому человеку. «Прошу тебя не спесивься, – писала она, – не возгордися, но покажи свету великость твоей души» [75]. Потёмкин же считал, что «успехи подает Бог», и советы Екатерины его задели. Он вновь грозил удалиться в «тихую обитель» [76]. Императрица ответила: «Монастырь никогда не будет жилищем человека, которого имя раздается в Азии и Европе – это слишком мало для него» [77].

В Вене, где даже Иосиф приобрёл теперь некоторое признание, князя прославляли в театрах, а женщины носили ремни и кольца с надписью «Потёмкин». Он не удержался, чтобы не поведать об этом Екатерине, и отправил ей «потёмкинское» кольцо принцессы Эстерхази. После того назидательного письма он старался не слишком похваляться перед императрицей,

которая жаждала славы не меньше, чем он сам: «Как я твой, то и успехи мои принадлежат прямо тебе» [78].

Занедуживший император настаивал, чтобы Потёмкин заключил мир, который становился всё более желанным из-за «дурных замыслов наших общих недругов» – поляков. Теперь турки наверняка были согласны на мирный договор. Потёмкин перевёз свой двор в Яссы, молдавскую столицу, чтобы перезимовать по-султански, наслаждаясь обществом любовниц, возводя города, учреждая новые полки и ведя переговоры с Блистательной Портой. Он был властелином всех завоёванных территорий. Он жил в турецких дворцах, а его свита стала ещё экзотичнее прежней, пополнившись кабардинскими князьями и персидскими посланниками. Его любовницы, русские ли, иностранки ли, вели себя как наложницы. Жаркий климат и удалённость этих мест, а также годы, проведённые вдали от столицы, изменили Потёмкина. Недоброжелатели уподобляли его Сарданапалу – полумифическому ассирийскому тирану, жившему в VII веке до н. э. и прославившемуся своими экстравагантными причудами, сладострастной распущенностью и военными победами.

29. «Утончённый и бессердечный»: Сарданапал

То, возмечтав, что я султан,
Вселенну устрашаю взглядом…

Г.Р. Державин. «Ода к Фелице»

Деспотизм порока,
Бессилье и безнравственность излишеств,
Безделье, безразличье, сладострастье
И лень – рождают тысячи тиранов.

Дж. Байрон. «Сарданапал»

«Будьте внимательны к князю, – шепнула княгиня Екатерина Долгорукая своей подруге, графине Варваре Головиной, когда та приехала ко двору светлейшего князя в столицу Молдавии Яссы. – Он здесь пользуется властью государя» [1]. Избранная Потёмкиным столица Яссы (ныне Яши в Румынии) как будто была создана для него. Она была окружена тремя империями – Османской, Российской и габсбургской, исповедовала три религии (ислам, православие и иудаизм) и говорила на трёх языках: греческом, турецком и французском. На её рынках, где господствовали евреи, греки и итальянцы, предлагались «все товары Востока в изобилии» [2]. В её утончённости, вознаградившей де Линя в 1788 году за очаковские лишения, было «достаточно восточного, чтобы получился азиатский *piquant* [пряный вкус (*фр.*). – *Прим. перев.*], и достаточно цивилизации, чтобы придать ему европейских достоинств» [3].

Князья, или господари, правившие двумя Дунайскими княжествами – Валахией и Молдавией, были греки, родом из константинопольского округа Фанар, причём некоторые из них происходили от византийских императоров. Эти богатые

фанариоты на время покупали себе трон у османского султана. Их православно-мусульманские, византийско-османские коронации, проходившие в Стамбуле, были, вероятно, единственным примером коронации правителя в стране, которой он не собирался править [4]. Добравшись до Ясс или Бухареста, эти греко-турецкие господари облагали свои временные царства податью, чтобы наполнить себе сундуки и выплатить султану огромную сумму за престол: «такой князь покидает Константинополь с тремя миллионами пиастров долга, а через четыре года… возвращается, имея шесть миллионов» [5]. Жили они как величественные пародии на османских и византийских императоров, окружённые придворными-фанариотами. Их первый министр звался великим постельником, начальник полиции – великим спатарем, а главный судья – великим гетманом. Нередко они правили в обоих местах или же в одном по несколько раз.

Аристократия, или бояре, была из румын, но потеснённые богатыми фанариотскими родами, некоторые из которых обосновались в Яссах и построили там изящные классицистские дворцы. Эти греки-бояре, похожие на «обезьян на лошадях, покрытых рубинами», ходили в турецких халатах и шароварах, отпускали бороды, брили головы и щеголяли в отороченных мехом и украшенных жемчугами шапках. Они отмахивались от мух метёлками, потягивали шербет и читали Вольтера. Их женщины изнывали, лёжа на диванах, в усыпанных алмазами тюрбанах и коротких прозрачных одеждах с газовыми рукавами, в которые были вшиты жемчуга и монеты. Они помахивали веероподобными чётками из алмазов, жемчугов, кораллов, лазурита и редких пород дерева. Такие ценители женщин, как де Линь, были очарованы этими «красивыми, нежными и безразличными» принцессами, единственным недостатком которых был выдающийся живот, считавшийся признаком красоты. Де Линь утверждал, что на фоне их моральных качеств Париж «Опасных связей» выглядел монастырём и что сам господарь разрешал своим друзьям «посещать» женщин из дома своей супруги, но только после медицинского осмотра. «Люди брали друг друга, оставляли друг друга, и не было ни ревности, ни злости» [6].

Потёмкину здесь подходили не только роскошь и космополитичность, но и политическая обстановка. Молдавский престол был не только весьма доходным, но и чрезвычайно опасным местом: потерять на нём голову было так же легко, как и нажить состояние. Де Линь однажды подслушал, как дамы при дворе вздыхали: «Здесь моего отца убили по приказу Порты, здесь – мою сестру по приказу господаря». Обе Русско-турецкие

войны, проходившие в этих краях, ставили господарей в очень трудное положение. Им приходилось вести хитрую двойную игру, балансируя на канате между православным Богом и мусульманским султаном. В первой Русско-турецкой войне Россия завоевала право назначать своих консулов в эти княжества. Одним из главных поводов к началу войны в 1787 году было свержение османами молдавского господаря Александра Маврокордата, который получил в России убежище и слал Потёмкину книги и просьбы о деньгах, прибавляя: «философия одна меня поддерживает». Непостоянство этих господарей, их греческое происхождение и православное вероисповедание народа – всё это привлекало Потёмкина [7].

Светлейший князь правил в Яссах так, как будто наконец нашёл себе царство. Дакия предназначалась ему ещё по Греческому проекту 1782 года. Слухи о возможных коронах для Потёмкина со временем становились всё экзотичнее: герцогство в Лифляндии, греческое королевство Морея и даже проект покупки у Неаполитанского королевства двух итальянских островов – Лампедузы и Линозы – и основания там рыцарского ордена (весьма в духе Потёмкина). Впрочем, Дакия была наиболее вероятным вариантом [8]. Потёмкин «считал Молдавию своим личным владением» [9].

Пока господари Молдавии и Валахии из турецкого лагеря писали Потёмкину письма с просьбами о мире [10], князь сам усвоил присущий им блеск. Он правил через состоявший из бояр диван, возглавляемый его энергичным переговорщиком по грузинским делам [11] Сергеем Лашкарёвым[141]. И турки, и западноевропейцы понимали, что Потёмкин хочет получить Молдавию: он очаровывал и уговаривал бояр, а те [12] чуть ли не сами предлагали ему трон [13]. Их письма этого времени полны благодарностей за избавление «от турецкой тирании. Просим Вашу Светлость не отвращать своего бдительного ока от скромных нужд нашей страны, для коей Ваша Светлость навсегда останется Освободителем». Князь Кантакузин, потомок византийских императоров, прославил наступившую «эру благоденствия – и мы смеем стремиться к свету мудрости Вашей Светлости, героя сего столетия» [14].

Светлейший князь предпринял вполне современный шаг, решив стать газетным магнатом. Он редактировал и издавал собственную газету «*Le courrier de Moldavie*» [«Вестник Молдавии» (*фр.*). – *Прим. перев.*]. «Le Courrier», печатавшийся на потемкинском собственном передвижном печатном станке в таблоидном формате и украшенный молдавским гербом, сообщал как международные, так и местные новости. Статьи там были

умеренно либеральны, бешено клеймили Французскую революцию и осторожно поддерживали идею независимого румынского государства во главе с Потёмкиным [15]. Некоторые считали даже, что он планирует создать для Молдавии армию из отборных русских полков [16]. Племянник Потемкина генерал Самойлов, часто сопровождавший его в этот период, утверждает, что он не желал заключать мир иначе как при условии предоставления независимости Молдавии, то есть Дакии[142] [17].

Князь был не из тех, кому война, зима или такая мелочь, как новое царство, мешает наслаждаться. «Господин монах, без монашества», – с царским преуменьшением поддразнила его Екатерина [18]. Он жил во дворцах то князя Кантакузина, то князя Гики, а жаркие дни проводил в Чердаке за городом[143]. Его сопровождали десять тульских механиков, двенадцать повозок книг, двадцать ювелиров, двадцать три ткачихи ковров и сотня вышивальщиц [19], мимическая труппа, двести музыкантов-рожечников (чтобы играть написанный Сарти на взятие Очакова гимн «Тебе Бога хвалим» под аккомпанемент пушечной стрельбы – эту идею позже использовал Чайковский в увертюре «1812 год»), хор из трёхсот певцов, кордебалет [20], садовник Гульд, архитектор Старов [21], племянники, племянницы и секретарь Попов.

Лишь его английские повара отказались ехать, так что ему пришлось обходиться английскими садами и французскими обедами – впрочем, вероятно, это и к лучшему. В утешение он получал корзины [23] с английскими лакомствами. В одну такую посылку (опись есть в его архивах) входили копчёный лосось, вяленый лосось, маринованный лосось, голландская сельдь, лифляндские анчоусы, прочие копчёности, миноги, угри, два бочонка яблок, две бутылки с мидиями, две бутылки испанского красного вина, две бутылки «Лакрима Кристи», две – шампанского, шесть – «Эрмитажа», по три – красного и белого бургундского, три – ямайского рома, и это ещё не всё.

«Беспрерывно устраивались вечеринки, балы, театр, балет». Когда князь прослышал, что один офицер в семистах верстах виртуозно играет на скрипке, то отправил за ним курьера, с удовольствием послушал его игру, одарил и тут же отослал обратно [24]. В этом выразилось донаполеоновское представление Потёмкина о том, что армия марширует за счёт веселья, а не желудка. «Унылое войско не токмо бывает неспособно к трудным предприятиям, но и легко подвергается разным болезням» [25].

Петербургские красавицы слетались, чтобы развлечь его и заодно обмануть мужей. Прасковья Потёмкина, с её безупречной

кожей и идеальным лицом, утвердилась в качестве «любимой султанши» [26], и в её передней собирались просители [27]. В Яссах Прасковья с князем наслаждались бурным романом. «Утеха моя и и сокровище безценная, ты, ты дар Божий для меня», – писал он ей и прибавлял, что его любовь к ней выражается не безумной пылкостью или опьянением, но «непрерывным нежнейшим чувствованием». В разлуке «со мною только половина меня… ты душа души моей… моя Парашинька». Ему всегда нравилось выбирать платья племянницам и придумывать облачения монахам, а Прасковья, должно быть, особенно привлекательно смотрелась в мундире, так как он писал ей: «Знаешь ли ты, прекрасная голубушка, что ты кирасиром у меня в полку! Куда как шапка к тебе пристала; и я прав, что к тебе всё пристанет. Сегодня надену на тебя архиерейскую шапку… Утешь меня, беспримерная красавица, зделай каленкоровое платье с малиновым атласом». Он указывал ей, какие надевать драгоценности – какие нитками, какие собирать в диадему. Он даже спланировал их воображаемый домик любви, в котором открывается трогательная оригинальность этого странного, чувствительного человека: «Рисовал я тебе узоры, нашивал брилианты, а теперь рисую домик и сад; дом в ориентальном вкусе со всеми роскошами чудесными…» В доме была бы большая зала с журчащим фонтаном. Наверху была бы освещённая галерея с картинами, изображающими «любовь Еро и Леандра, Аполона и Дафны… самыя пылкие стихи влюблённой Сафы». Будет и эротическое изображение самой Прасковьи: «белое платьеце, длинное, как сорочка, покроет корпус, опояшется самым нежным поясом лилового цвета; грудь открытая, волосы, без пудры, распущенные; сорочка у грудей схватится большим яхонтом…» Кровать в комнате с аквамариновыми окнами будет убрана так, что «завесы будут казаться тонким дымом». «Но ежели где роскошь истощится, то ето в бане», увешанной зеркалами, с фонтанами вод «розовой, лилейной, и ясминной, туберозной и померанцовой». Светлейший был «весел – когда ты весела, и сыт – когда сыта ты» [28].

Когда князь был влюблен, то мог сделать для возлюбленной всё что угодно. В марте и апреле 1790 года он даже приказал Фалееву переименовать в честь Прасковьи два его корабля [29]. «Её прелести украшали драгоценности, бриллианты и все сокровища четырёх частей света». Когда она хотела драгоценностей, полковник Бауэр мчался в Париж; стоило ей заговорить о духах, как майор Ламсдорф отправился во Флоренцию и вернулся с двумя источающими ароматы повозками [30].

Ниже приводится список покупок в Париже в одну из этих легендарных поездок, составленный, вероятно, для Прасковьи и других «султанш» в июле 1790 года, на втором году Французской революции. Курьером послужил Ламсдорф. Когда он приезжал в Париж, русский посланник барон Симолин должен был бросать все дела. «Я не прекращаю заниматься вместе с ним исполнением поручений, которые Ваша Светлость пожелала дать в Париже, и помогать ему как моими советами, так и оными знакомой мне дамы». Похоже, что Симолин привлёк собственную любовницу, чтобы не ошибиться с выбором чулок. Действительно, «мы позаботились о том, чтобы исполнить всё согласно последней моде». Без этой дамы и Ламсдорфа, признавался Симолин, он не смог бы закупить следующее:

> модные вещи [т. е. бальные платья], сделанные мадемуазелями Госфит и мадам де Мод – на 14333 ливра;
>
> модные вещи [т. е. бальные платья], сделанные Анри Дезрейе – на 9488 ливров;
>
> отрез индийского муслина, индийские вышивки из шёлка и серебра, от Анри Дезрейе – на 2400 ливров;
>
> [модные вещи от] мадам Плюмсфёр – на 724 ливра;
>
> продавцу рубинов – 1224 ливра;
>
> госпоже флористке – 826 ливров;
>
> модистке за 4 корсета – 255 ливров;
>
> сапожникам за 72 пары обуви [бальных туфель] – 446 ливров;
>
> вышивальщицам за 12 пар обуви [бальных туфель] – 288 ливров;
>
> пара тёплых наушников – 132 ливра;
>
> чулочнику за 6 дюжин пар – 648 ливров;
>
> рубины – на 248 ливров;
>
> госпоже продавщице газовой ткани – 858 ливров;
>
> упаковщику Бокё – 1200 ливров [31].

Можно заподозрить, что не всё из этого предназначалось для самого князя. Как только все мастера и швеи заканчивали работу, Ламсдорф спешил обратно в Яссы. Эти легкомысленные поездки приносили и пользу: курьеры, доставлявшие из Парижа платья и лакомства, везли обширную потёмкинскую корреспонденцию – двадцать-тридцать писем в день – а также собирали информацию и ответы на запросы. Так, Штакельберг сообщал из Варшавы, что быстрейший из курьеров Потёмкина доставил ему по пути на Запад срочную депешу [32]. Здесь соединялись дипломатия, шпионаж и доставка еды и одежды.

Светлейший князь, несомненно, был расточителен. В вышеупомянутой поездке было истрачено по четырнадцати пунктам сорок четыре тысячи ливров, то есть около двух тысяч фунтов стерлингов, а в то время английский джентльмен мог безбедно прожить на триста фунтов в год. Это было больше, чем годовое жалованье русского фельдмаршала – семь тысяч рублей [33]. Такие задания были довольно часты. Потёмкин даже Гримму регулярно посылал списки для покупки женской одежды, карт и музыкальных инструментов, которые *philosophe* Екатерины прилежно доставлял [34]. Правда, печально известная неаккуратность Потёмкина в платежах доводила Симолина до исступления. Двадцать пятого декабря 1788 года ему даже пришлось обратиться к Безбородко, чтобы добиться от князя оплаты ещё одной закупки на тридцать две тысячи ливров [35].

С 1774 года Потёмкин жил по-царски, если не по-императорски, владея «состоянием больше, чем у некоторых королей» [36]. Точные суммы назвать невозможно: даже после смерти Светлейшего его наследство не поддавалось оценке. Князь был «невероятно богат, не имея ни гроша», писал де Линь, он «предпочитает щедрость платежа регулярности» [37]. Это было верно почти до буквальности, так как он был по сути членом императорского дома и казна была его личным банком. «Потёмкин, правда, заимствовал деньги непосредственно из государственной казны, – заявлял Массон, – но он немало расходовал на нужды империи и был не только любовником Екатерины, но и великим правителем России» [38]. Позже Пушкин записал рассказ о том, как чиновнику казначейства, запросившему у Потёмкина подтверждения его очередному требованию денег, тот написал: «дать е… м…». Говорили, что Екатерина приказала казначейству принимать его требования как её собственные, но это было не совсем так [39].

Нет свидетельств о том, что Екатерина когда-либо отклоняла запросы Потёмкина о деньгах, но ему всё равно приходилось делать эти запросы, хотя он и знал, что они будут удовлетворены. Строя города и флоты, ведя войны, Потемкин прокачивал через свои руки огромные суммы денег, однако представление о том, что он разбазаривал общественные средства, не подтверждается архивами. Последние показывают, как деньги выделялись Екатериной через генерал-прокурора Вяземского, а затем распределялись Потёмкиным через подчинённые ему учреждения и чиновников (например, Фалеева, Цейтлина и Попова), доходя до самих полков и флотов. Немалая их часть не попадала к самому князю, хотя он был слишком высокого полёта, чтобы заботиться о мелких суммах, так что Вяземский жаловался

императрице, что он пренебрегает полным учётом. Это касается вопроса о его финансовой порядочности. В его случае это было бессмысленное понятие: светлейший князь расходовал свои деньги на государственные нужды, а казённые – на себя и не видел большой разницы между теми и другими [40].

Князь любил иметь деньги и тратить их, но это не было для него самоцелью. Ему приходилось много тратить, чтобы поддерживать уровень супруга императрицы, при том, что даже высшие сановники надрывались, пытаясь сохранить представительность. Более того, задержки выплат из казны заставляли его тратить собственные деньги на продвижение своих проектов и организацию войск. К тому же его жадность дополнительно страховала его от рисков, связанных с восшествием Павла на престол; в том числе и для этого он вкладывал деньги в земли в Польше.

Однажды Потемкин, водя по одному из своих дворцов неких офицеров, показал им золотую ванну. Те так бурно стали ею восхищаться, что он закричал: «Если сможете насрать доверху, возьмите себе!» Когда один льстец превозносил блеск устроенного им бала, Потёмкин отрезал: «Как, сударь, вы полагаете, что знаете глубину моего кошелька?» Потёмкин и сам никогда не знал этой глубины. Но он знал, что она практически бесконечна: его состояние оценивали то в девять миллионов рублей, то в шестнадцать, то в сорок, то в пятьдесят. Однако, учитывая, что и во время войны, и во время мира через его канцелярию проходили целиком бюджеты военного ведомства и развития южных земель, эти оценки всё равно бесполезны, и его долги были огромны [41].

Потёмкин мучил своими гигантскими займами Ричарда Сутерланда[144], банкира шотландского происхождения, который разбогател на его делах и в конце концов возвысился до положения придворного банкира Екатерины и баронского титула. Банкиры и коммерсанты коршунами кружили над Потёмкиным, наперебой предлагая товары и кредиты [42]. Сутерланд сильнее всех старался добиться работы с ним, но и страдал больше. Тринадцатого сентября 1783 года он «нижайше» просил «снизойти до распоряжения совершить выплату мне по обязательствам, которые я имею честь выслать ему, и которые составляют 167 029 рублей 60 копеек», в основном истраченных на государственные дела, в частности на устройство хозяйства переселенцев. Измученный банкир объяснял: «Я позволю себе ещё раз напомнить Вашей Светлости, что мой кредит зависит, и притом сильно, от возвращения этих денег» [43]. Сутерланд был в явном отчаянии, так как у него были долги перед другими

банкирами, в Варшаве и дальше. Часто кажется, что ещё немного, и Потёмкин запустил бы цепную реакцию банковских крахов по всей Европе. Однако следует заметить, что большая часть этих денег тратилась не на бирюльки. При помощи Сутерланда Потёмкин финансировал обустройство переселенцев на новых местах, поставки леса, строительство городов – так что это лучший пример того, как переплетались его личные и государственные траты.

К 1788 году Потёмкин был должен Сутерланду пятьсот тысяч рублей. Три недели спустя Сутерланд клялся, что дела достигли такой «критической и тревожной точки», что он вынужден «докучать своего первому благодетелю… чтобы получить… сумму, без которой я не буду знать, как исполнять свои обязательства». Потёмкин собственноручно нацарапал на его письме по-французски: «Скажите ему, что он получит двести тысяч рублей».

Потёмкин был далеко не скуп – напротив, чрезвычайно щедр. Экономия была чужда его натуре. Только его смерть создала своего рода стоп-кадр его состояния, но все равно этот вопрос не до конца разрешен. Как и сама императрица, он был воплощением государства, и его состоянием была вся империя [44].

Врагов у страны тем больше, чем больше успехов. Враги России, обеспокоенные угрожающими победами Потёмкина, делали всё возможное, чтобы османы продолжали войну. Тем временем военная активность России оказалась парализована перспективой конфликта не только с Турцией и Швецией, но ещё и с Пруссией, Польшей и Англией. Поэтому конец 1789 года и большую часть следующего Потёмкин провёл в переговорах с Высокой Портой. Поначалу турки казались искренними в своём желании заключить мир. Султан Селим освободил русского посла из Семибашенного замка и назначил «славимого Алжирского рыцаря» [45], бывшего капудан-пашу Гази Хасан-пашу, вести мирные переговоры в качестве великого визиря.

Однако прусская дипломатия стремилась подорвать политику России и выполнить так называемый план Герцберга, названный в честь прусского канцлера. По нему Пруссии доставались польские города Торунь (Торн) и Гданьск (Данциг), в то время как Австрия должна была отдать Польше Галицию, а Россия вернуть Турции Дунайские княжества. Для этого требовалось составить коалицию против России, поэтому султану предлагался союз, который вернул бы ему Крым. Швеции предлагали Ливонию с Ригой. Союзнице России Австрии угрожали прусским вторжением. Самой же России пришлось отступить из Польши, оставив ее Пруссии,

которая оказалась в двусмысленном положении, имея наибольшее влияние в той самой стране, которую собиралась разделить. Только теперь, когда Польше была предложена конституционная реформа и союз в обмен на Торунь и Гданьск, поляки поняли, что их обманули: Пруссия оказалась даже более плотоядной, чем Россия. Тем не менее они были вынуждены принять предложения Пруссии и обратиться против русских. Англия, в свою очередь, поддерживала Пруссию в ее требовании к России и Австрии заключить мир с Портой на условиях *status quo ante bellum* [положение, существовавшее до войны (*лат.*). – *Прим. перев.*]. России нельзя было и подумать о военных операциях: Потёмкину даже пришлось передвинуть один корпус для защиты от возможного нападения Польши и Пруссии. Двадцать четвертого декабря 1789 года Екатерина сказала секретарю: «Теперь мы в кризисе: или мир, или тройная война», то есть война ещё и с Пруссией [46].

Своим агентом на мирные переговоры Потёмкин отправил решительного дипломата и деятеля поистине левантийской хитрости Ивана Степановича Барощци, который был четверным агентом – России, Турции, Австрии и Пруссии одновременно. После таинственных и непростых консультаций с Потёмкиным в Яссах, где Барощци был шокирован развратным поведением князя, он отправился в ставку великого визиря в Шумле, чтобы передать российские условия [47]. Новая граница должна была пройти по Днестру. Крепости Аккерман и Бендеры были бы срыты. Княжества получили бы «независимость»[145].

Барощци прибыл в Шумлу 26 декабря 1789 года. Документы князя демонстрируют, как колёса такого рода обсуждений смазывались обильными *бакшишами*. Для разных турецких чиновников было предназначены не менее шестнадцати перстней, золотых часов, цепочек и табакерок, например, «перстень с голубым яхонтом и бриллиантом для турецкого посланника Овни Есфиру». Сам Барощци получил «перстень с большим изумрудом» то ли в качестве подарка, то ли для ношения на переговорах с визирем [48]. Потёмкин даже предлагал построить в Москве мечеть. Но как бы чарующе ни выглядели бриллианты, условия Потёмкина не понравились «алжирскому ренегату». Светлейший князь, которого тоже не устроили встречные предложения, 27 февраля 1790 года дал новые условия. «Мои предложения коротки, – указывал он, – и не требуют многих истолкований». Перемирия не будет: это «всё такия вещи, которыя показывают болше желание выиграть время, нежели зделать мир, притом я очень знаю турецкие ухватки». Далее стоит типично потёмкинское: «турки за зайцами на фурах ездят». Лучше быть

побитым, чем обманутым, считал князь [49].

Потёмкин был прав, что не возлагал все надежды на ведомые Бароцци переговоры. От австрийцев и своих стамбульских шпионов князь знал, что султан Селим рассматривал мирную миссию великого визиря как вторичную, параллельную переговорам с прусским послом Дитцем в самом Константинополе. Получив помощь от Пруссии и Польши, турки смогли бы воевать дальше. К моменту ответа Потёмкина султан уже заключил двадцатого января 1790 года наступательный союз с Пруссией, который требовал от Фридриха-Вильгельма помощи в отвоевании Крыма и вступления в войну против Екатерины.

В то время как вокруг России стягивалась эта петля, «здоровье императора» было «тяжелейшей из всех бурь, собирающихся на политическом небе», писал тогда же в январе Потёмкин Кауницу. Иосиф II страдал телесно – от туберкулёза, а также политически – от мятежей по всей его империи, от Венгрии до Нидерландов. Он, казалось, начал выздоравливать, когда ему пришлось перенести мучительную операцию на ректальном абсцессе, окончательно подорвавшую его силы. Сцена его смерти была трагической. «Заплакал ли обо мне кто-нибудь?» – спросил он. «Де Линь был в слезах», – сказали ему. «Я и не думал, что стою такой привязанности», – ответил император. Он попросил себе такую эпитафию: «Здесь лежит правитель, намерения которого были чисты, но который имел несчастье увидеть крушение всех своих начинаний». «Об союзнике моём я много жалею, – писала Екатерина. – Теперь он умирает ненавидим всеми» [50]. Когда 9-го (20) февраля Иосиф скончался, Кауниц якобы пробормотал: «И правильно сделал» [51].

Для Габсбургской монархии это, может быть, и было правильно, но для России стало новым ударом. Восемнадцатого (29) марта Пруссия ещё сильнее сжала кольцо, заключив военный союз с Польшей. Фридрих-Вильгельм выдвинул сорок тысяч солдат на север, в Лифляндию, и ещё сорок тысяч в Силезию, собрав также сто тысяч резерва. Новый монарх Габсбург Леопольд, носивший пока, до избрания императором, титул короля Венгрии, был встревожен и сразу написал Потёмкину: «Вы потеряли друга в моём брате, его величестве императоре, но нашли нового во мне, который более всех чтит ваш гений и ваше благородство». Светлейший князь согласовал с Леопольдом план совместной защиты Галиции от поляков, но больше всего короля Венгрии беспокоило предотвращение прусского вторжения «в согласии с Польшей» и спасение монархии Габсбургов. Он просил Потёмкина заключить мир, который уже ускользнул [52].

Посреди этих потрясений князь узнал, что близ Херсона

умирает от лихорадки один достойный восхищения англичанин. Джон Говард, самоотверженный реформатор тюремной системы, осмелился предать огласке ужасы тюрем и больниц, виденных им по всему свету, и не в последнюю очередь в потёмкинском вице-королевстве. Светлейший князь послал к нему врача, но Говард всё равно умер. Герцог Лидс, британский министр иностранных дел, написал Потёмкину, что «британская нация никогда не забудет» такую *sensibilité* [чувствительность (*фр.*). – *Прим. перев.*]. Потёмкин ответил: «Г-н Говард имел полное право на моё внимание. Он был знаменитым другом человечества и британским подданным, а этого, господин герцог, достаточно, чтобы приобрести моё почтение». Говард стал российским и советским героем [53].

Теперь князь Таврический направил оружие и воображение против вечного врага России – Польши. Варшаву контролировала так называемая патриотическая партия, ликующая при мысли о возможности обрести сильную конституцию, изгнать русских и получить от Австрии Галицию. Удар из-за потери Польши не прошел даром как для Екатерины, так и для Потёмкина: он страдал от ногтееда и ревматизма. Екатерина послала ему «аптеку целую моих лекарств», а также «лисью шубу да соболью шапку» [54]. Если дело дойдёт до войны с Пруссией и Польшей, то «я сам приму командование», – писал Потёмкин Леопольду [55]. Австрийцы паниковали и просили российской помощи, а военные операции против турок были приостановлены.

Екатерина считала Польшу таким противником, с которым можно при случае разобраться, а вот Потёмкин в своём многогранном воображении уже некоторое время разрабатывал план доставки в Речь Посполитую троянского коня. Этим конём должен был стать он сам, поддерживаемый единоверцами-православными в Восточной Польше и его новым казачьим войском. Он собирался поднять за Россию и против католического центра православную часть Польши (Брацлавское, Киевское и Подольское воеводства), где лежали его владения, возродив казацкую традицию времён гетмана Богдана Хмельницкого. Поэтому после взятия Бендер он попросил себе у Екатерины новый титул, имевший особое историческое значение, – титул великого гетмана [56].

«План твой очень хорош», – ответила императрица, хотя и опасалась, что учреждение гетманства возбудит в Сейме дополнительную ненависть [57]. И всё же в январе она назначила его «великим гетманом Черноморского и Екатеринославского казачьих войск». Потёмкин был в восторге, придумал себе новый щегольской наряд и красовался в нём вокруг Ясс [58]. Его натура,

подчас склонявшаяся к монашеству, страдала от собственной расточительности: он был достаточно внимателен, чтобы заметить, что небогатым офицерам не хватает средств, и приказал всем, включая себя, носить мундиры из простого сукна. Похоже на Спарту, сказал он Екатерине [59]. Он также стал достаточно осторожен и начал делить свою славу с императрицей. Когда она назвала его «мой гетман», он ответил: «Конечно, твой. Могу похвалиться, что ничем, кроме тебя, никому не должен» [60].

Потёмкин, и так, по сути, управлявший турецкой и австрийской политикой России, начал брать под свой контроль ещё и польскую. Он требовал прогнать российского посла в Варшаве Штакельберга, называя его напуганным «кроликом» [61]. Екатерина сменила его на верного Потёмкину Булгакова [62]. Она понимала, что у Потёмкина есть свои интересы в Польше, и по-прежнему болезненно относилась к возможному возникновению независимого герцогства на его тамошних владениях. Он же уверял её: «я тут себе ничего не хочу», а что касается гетманского звания, «ежели б не польза Ваша требовала», ему был бы ни к чему «фантом, больше смешной, нежели отличающий». Тем временем он проводил весну в устроении собственного казачьего войска, склонив даже многих запорожцев-холостяков к женитьбе [63].

Гетманство Потёмкина действительно разъярило представителей патриотической партии в Варшаве. Вновь усилились слухи о его планах стать польским королём. В письме Безбородко князь возмущённо отрицал это: «Простительно слабому королю [Польши] думать, что я хочу его места. По мне – черт тамо будь. И как не грех, ежели думают, что в других могу быть интересах, кроме государственных?» [64]. По-видимому, Потёмкин говорил правду: польская корона была шутовским колпаком. Украинское или молдавское герцогство, слабо привязанное к Польше, было бы более удобно. Кроме того, он давно внушил себе тщеславное убеждение, свойственное государственным мужам: что хорошо для Потёмкина, то хорошо для России.

Французская и Польская революции изменили не только внешнюю политику Екатерины, но и атмосферу при её дворе. Она была встревожена распространением французских идей («яда», как она их называла) и была полна решимости не допустить их проникновения в Россию. В мае 1790 года, когда Россия почти потеряла Австрию как союзника, положение на шведской войне было угрожающим, а прусско-польский союз грозил открыть новый фронт; молодой дворянин Александр Радищев

опубликовал анонимно книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», представлявшую собой завуалированный памфлет против Екатерины, крепостного права и Потёмкина, которого он считал восточным деспотом. Её привели в ярость не только нападки на Потёмкина, но и попытки применить к России французские революционные принципы. Радищев был арестован, обвинён в измене и *Lèse-majesté* [оскорблении величества (*фр.*). – *Прим. перев.*] и приговорён к смерти.

Князь вступился за писателя, несмотря даже на то, что в это революционное время было весьма опасно подрывать основы режима, и на то, что он сам оказался под атакой, и на него было оказано давление. «Я прочитал присланную мне книгу. Не сержусь… Кажется, матушка! он и на Вас возводил какой-то поклеп. Верно и Вы не понегодуете. Ваши деяния – Ваш щит». Великодушная реакция Потёмкина и общее чувство меры успокоили Екатерину. Она смягчила приговор, и Радищев был сослан в Сибирь. «Сия Монаршая милость, – писал благодарный брат сочинителя, – исходатайствована Князем Григорием Александровичем» [65].

Князь продолжал переговоры с великим визирем. Учитывая новое соглашение Порты с Пруссией, Екатерина сочла чрезмерным требование дать Молдавии независимость и собственного правителя (а именно Потёмкина). Гибкий как всегда Потёмкин тут же сменил политику и предложил отдать Молдавию Польше как приманку, чтобы вновь привлечь Речь Посполитую к России. На этом он ничего не терял, так как Молдавия всё равно могла бы стать его личным герцогством в рамках Польши [66]. Светлейший князь страдал. «Забота в такой неизвестности погрузила меня в несказанную слабость: лишась сна и пищи, – писал он Екатерине, – я хуже младенца». При этом он не забывал и о Зубове, говоря, что любит её юного любовника «паче и паче… за его Вам угодность» [67].

С того момента, как султан Селим решился при поддержке Пруссии продолжать войну, мирная политика великого визиря устарела. Бывший капудан-паша был слишком уважаем, чтобы убить его открыто, так что 18 марта 1790 года Крокодил морских сражений умер при странных обстоятельствах, вероятно отравленный султаном. Это встревожило Екатерину. «Поберегись Христа ради, – предупреждала она Потёмкина, – от своего турка… чтоб он тебя не окормил. У них таковые штуки водятся… А к сему пруссаки повод и, может быть, и умысл подали» уничтожить человека, «которого более всего опасаются» [68]. Тем временем в Молдавии турки не упустили шанса разбить австрийскую армию Кобурга, что вызвало у Потёмкина характерный взрыв в письме к

Екатерине: австрийский фельдмаршал «пошел как дурак и разбит как шлюха». Однако непостоянный король Пруссии, изумлённый тем, что новый договор с Портой обязывает его вступить в войну с Россией, разорвал союз, отозвав с позором своего посла Дитца. Фридрих-Вильгельм больше хотел воевать с австрийцами. В мае он сам принял командование армией [69].

Габсбурги отступили перед прусской угрозой. Леопольд отказался от надежд Иосифа на завоевание турецких земель в пользу восстановления порядка в собственных провинциях и договорился с Пруссией о примирении, тем самым выйдя из турецкой войны. Шестнадцатого (27) июля в Рейхенбахе Леопольд принял англо-прусские требования о немедленном прекращении военных действий на основе status quo ante bellum. Пруссия отпраздновала эту победу повышением ставок: Фридрих-Вильгельм всё же ратифицировал Дитцево соглашение с Турцией. Россия осталась одна в холодной войне против Пруссии, Англии и Польши и в горячей – против Турции и Швеции.

Двадцать восьмого июня шведы впервые одержали победу над русским флотом, которым теперь командовал Нассау. При Рочинсальме (Свенсксунд) его подвело безрассудство. Екатерина, которая терпеть не могла признавать неудачи, три недели не сообщала об этом Потёмкину [71]. Впрочем, в этом была и хорошая сторона: победа шведов спасла репутацию Густава и позволила ему предложить почётный мир, также на основе status quo ante bellum, который и был подписан третьего (14) августа в Вереле. «Одну лапу мы из грязи вытащили, – радовалась Екатерина в письме к Потёмкину. – Как вытащим другую, то пропоем Аллилуйя» [72].

Выход Австрии из войны временно ослабил и прусскую угрозу. Потёмкин и Екатерина понимали, что пока Пруссия и Англия готовят следующий ход, есть шанс сломить турок, укрепивших свои силы на Дунае и Кавказе. Князь, «уставши как собака», вернулся из тысячевёрстной поездки в Херсон, Очаков и новую морскую базу Николаев, где он осматривал корабли. Несмотря на усталость, он составил комплексный план по нейтрализации турецких крепостей на Дунае, которая открыла бы дорогу на Константинополь [73]. Флоту следовало патрулировать Чёрное море, а армии – взять крепости. Флотилия – по-потёмкински собранная из переделанных царских галер, бентамовских канонерок, запорожских «чаек» и одного марсельского «купца», замаскированного под военный корабль, под командой де Рибаса и с лоскутным экипажем из «греческих разбойников, перебежчиков с Корфу и итальянских графов» [74], – должна была пробиться вверх по Дунаю и соединиться с

армией под самой грозной турецкой крепостью в Европе – Измаилом.

Потёмкин лично разработал программу обучения в течение лета войск морского десанта, предназначенных для флотилии де Рибаса: его инструкции, предвосхитившие куда более знаменитую «Науку побеждать» Суворова, демонстрируют современность мышления, воображение и военный опыт. «Узнать, кто имеет способность цельно стрелять, кто легче в бегу и кто мастер плавать». Из этого требования видно, что он придумал то, что мы сейчас назвали бы легковооружённым и высококвалифицированным спецназом морской пехоты. Командующим же кубанскими и кавказскими войсками он приказал уничтожить сорокатысячную армию Батал-паши, а затем двинуться на хорошо укрепленную османскую крепость Анапу [75].

В августе князь Таврический учредил новую штаб-квартиру в Бендерах, недавно захваченной крепости на Днестре – удобном месте для наблюдения за сухопутными и морскими силами на всех фронтах без потери контакта с Варшавой, Веной и Петербургом. Здесь, в окружённом степью полуразрушенном татарском городке, он погрузился в сарданапалову роскошь, по сравнению с которой даже его ясский двор казался нищенским.

Новая кампания – новая возлюбленная: в Яссах завершились его отношения с Прасковьей Потёмкиной, которую он любил в течение двух лет, и она была отправлена к покладистому мужу в полевой лагерь. Пока армии маршировали, галеры шли на вёслах, а корабли под парусами, Потёмкин, возможно, насладился краткой интрижкой с Екатериной Самойловой, женой своего племянника, которая сама крутила любовь с де Дама под Очаковом. Де Линь в письме признавался Потёмкину в «нежной любви» и жалел, что больше не видит «прекрасных глаз, прекрасной улыбки и благородного безразличия мадам Самойловой».

Однако она продержалась недолго, и место Прасковьи как «любимой султанши» заняла 21-летняя княгиня Екатерина Долгорукая, которую называли красивейшей девушкой в России. «Красота [её] поразила меня, – писала художница Виже-Лебрен. – Черты её имели в себе нечто греческое с примесью еврейского, особливо в профиле». Её беззаботно распущенные длинные тёмные волосы свободно спадали на плечи. У неё были полные губы, светлые серо-голубые глаза, кожа цвета слоновой кости и роскошная фигура [76]. Потёмкинский двор оживляли ещё и изгнанники, прибывавшие из революционной Франции, чтобы вступить в войну на стороне России.

Одним из них был граф Александр де Ланжерон, ветеран американской войны и представитель того типа галлоцентричных аристократов, которые вечно кривились в адрес примитивных русских. Он был в такой ярости от сибаритского великолепия Потёмкина, что в своих записках дословно воспроизвел каждую злобную клевету, которую он слышал. Критические воспоминания Ланжерона (а также де Линя) о Потёмкине до сих пор доминируют в сложившемся на Западе образе последнего. При этом карьера Ланжерона закончилась чередой огорчений: он был несправедливо уволен со службы Александром I после битвы при Аустерлице, затем прощён и позже назначен генерал-губернатором на юге, продержавшись на этой должности один год. «Неспособный командовать корпусом, – писал Вигель, – он получил под команду целую страну». Только после этих неудач он поднялся до того, чтобы признать величие Потёмкина и написать ему страстную похвалу.

К Ланжерону присоединился и его более одарённый соотечественник – 24-летний Арман дю Плесси, герцог Ришельё, оставивший нам более свободные от предубеждений записки о жизни при светлейшем князе. Этот восхитительный аристократ с кудрявыми волосами, тонкими и серьёзными чертами лица и ироничными глазами приходился прапраправнучатым племянником кардиналу Людовика XIII и внуком – удалому маршалу Людовика Пятнадцатого. От первого он унаследовал холодную проницательность, а от второго – космополитическую терпимость [77].

Десять дней и ночей в дороге, ночёвки на тускло освещённых постоялых дворах не приготовили Ришельё к зрелищу, поразившему его в салоне князя во дворце паши в Бендерах: «златотканый диван под великолепным балдахином и пять очаровательных женщин, убранных со всем возможным вкусом и беззаботным изяществом; и шестая, одетая со всей величественностью греческого костюма, лежавшая по-восточному на подушках». Даже в ковёр были вплетены золотые нити. Повсюду были разбросаны цветы, золото и драгоценные камни. Филигранные коробочки источали изысканные аравийские ароматы, создавая «азиатское волшебство». Сам Потёмкин, на котором, кроме просторного отороченного соболем кафтана с бриллиантовыми звёздами орденов Святого Андрея Первозванного и Святого Георгия, мало что было надето, восседал посреди них, но ближе всего к княгине Долгорукой в вызывающем костюме турецкой одалиски (не хватало только шаровар). Она не отходила от него ни на шаг.

В большом зале был накрыт ужин. Блюда разносили рослые

кирасиры в кирасах и с посеребрёнными поясами, в красных накидках и высоких меховых шапках с султанами. Они шли «по двое… подобно страже в трагедиях». Играл оркестр. Ришельё был представлен Потёмкину, который неловко его приветствовал. Поле этого француз смог раствориться в толпе, где он встретил своих друзей де Дама и Ланжерона [78]. Положение князя, писал Ришельё, превосходило «всё, что воображение может представить как абсолютное. Ничего нет ему неподвластного, он ныне начальствует от Кавказских гор до Дуная, а кроме того, делит с императрицей управление остальной империей» [79].

В дальнем конце ярко освещённого салона князя учтиво ожидали около пятидесяти офицеров. «Здесь можно было увидеть свергнутого султана, уже три года как обосновавшегося в передних князя, потом другого государя, ставшего казачьим полковником, там – отступника-пашу, здесь – македонянина, а за ними – персидских послов» [80], а посреди этого восточного базара сидел Сэмюэль Бентам, ожидая бумаг для отъезда домой. Потёмкин чувствовал, что его двору не хватает живописца, особенно того, единственного, которому позволялось полноценно его изображать – Лампи. Поэтому он написал в Вену Кауницу, прося отправить художника в Бендеры: «Я отдыхаю умом, когда на моих глазах работают хорошие живописцы» [81].

«Всё, что служит к удовольствию столиц, – замечает Ришельё, – сопровождает князя Потёмкина посреди лагеря и бурления войск» [82]. Эта похожая на сон жизнь напоминала петербургскую, с ужинами, концертами, романами, сценами ревности, «всем, что красота возбуждает в том, кто изыскан, бессердечен и вероломен» [83]. Князь жил в странном мире, таком уникальном, что «слову “невозможно” больше нет места в словаре». Говорили, что великолепие, которым он украсил свою любовь к Долгорукой, «превосходило всё, о чём мы читали в “Тысяче и одной ночи”» [84]. Что бы она ни захотела, из любого конца света всё получала. Пределов больше не было. Однажды княгиня сказала, что любит смотреть на пляски. Когда Потёмкин услышал о двух ротмистрах, слывших лучшими в России исполнителями цыганских плясок, то тут же отправил за ними курьера – пусть они и находились на Кавказе. Приехав, они ежедневно после обеда плясали, один одетый цыганкой, другой цыганом. «Я лучшей пляски в жизни моей не видывал», – вспоминал адъютант Потёмкина Энгельгардт [85].

Князь построил для княгини целый подземный дворец, так как ему надоело перемещаться между собственным дворцом и местами жительства своих султанш. Два гренадёрских полка две недели строили эту пещерную резиденцию. Когда она была

готова, Потёмкин украсил её интерьер греческими колоннами, бархатными диванами и «всем тем, что только роскошь может выдумать» [86]. Даже русских поразили такие излишества, но при этом вся русская армия провела зиму в землянках, причём офицерские были «удобны, как дома», с соломенными кровлями и очагами [87]. Потёмкин, конечно, пошёл гораздо дальше: у него была галерея для оркестра, со слегка «приглушённым» звуком, что только улучшало его качество. Святая святых этого подземного дома наслаждений представляла собой, как в серале, череду всё более тайных комнат. Снаружи располагались генералы. Далее само жилище разделялось на две части: в первой день и ночь шли азартные игры, а вот во второй стоял диван, где князь возлежал в окружении своего гарема, всё ближе и ближе к княгине Долгорукой.

Игнорируя правила цивилизованного адюльтера, «оживлённый страстью и окрылённый избытком деспотической власти», Потёмкин иногда забывал о присутствии посторонних и ласкал княгиню с «чрезмерной фамильярностью», как будто она была простой куртизанкой, а не одной из знатнейших женщин России. Тогда княгиня, смеясь, отталкивала его [88]. Её подруга графиня Головина, приехав сюда, почувствовала отвращение к этой «неискренней страсти, основанной на тщеславии». Добродетельная Головина поначалу поверила уверениям Долгорукой, что та не состоит в сексуальной связи со светлейшим князем, который был на тридцать лет её старше. Но Долгорукая не могла долго сдерживаться и вскоре «предалась самому возмутительному кокетству», так что всё стало ясно [89]. Её муж Василий Долгорукий старался при всякой возможности портить Потёмкину удовольствие. Ланжерон говорит, что однажды светлейший князь схватил того за воротник и закричал: «Ничтожество, это я тебе дал эти ордена, из которых ты ни одного не заслужил! Ты одна грязь, я из тебя сделаю что хочу!» «Эта сцена вызвала бы немало изумления в Париже, Лондоне или Вене», – комментирует француз [90].

Однажды (может быть, во время очаковской канонады Сарти) князь расставил в каре вокруг подземного дворца своих екатеринославских гренадеров с сорока холостыми зарядами на каждого и сотню пушек. Барабанщики били в барабаны. Сам он забавлялся с княгиней в земляном дворце и в высший момент дал сигнал открыть огонь. Когда её муж узнал об этом оргазменном салюте, то пожал плечами: «Экое кири-ку-ку» [91]. На пиру по случаю именин княгини Долгорукой Потёмкин превзошёл самого себя. Подали десерт, и гости с изумлением увидели, как в их хрустальные кубки длинными ложками накладывают алмазы

вместо *bonbons* [конфет (*фр.*). – *Прим. перев.*]. Даже на избалованную княгиню, сидевшая рядом с Потёмкиным, это произвело впечатление. «Это всё ради тебя, – шепнул он. – Я ведь праздную тебя, что же тебя удивляет?» [92]

Бездеятельность Потёмкина всегда была скорее кажущейся, но она подтверждала все иностранные предубеждения относительно русского варварства. Однако архивы удостоверяют, что в то самое время, когда, по словам Ланжерона, Потёмкин проводил время в объятиях Долгорукой, на самом деле он работал так много и занимался таким широким спектром дел, как никогда раньше. Надзирая за строительством своих городов, он доходил до таких деталей, как уточнение формы колоколов для церквей Николаева, расположение фонтанов и углы между батареями вокруг тамошнего адмиралтейства; он контролировал постройку Фалеевым новых канонерок и линейных кораблей на Ингульской верфи; проводил реорганизацию на Кавказском и Кубанском театре военных действий (уволив командующего Бибикова за провальный марш на Анапу с «неспособностью и небрежением» и назначив ему преемников); обсуждал с де Рибасом стратегию действий его флотилии и одновременно приказывал ему расследовать финансовые злоупотребления офицеров. Кроме того, он разработал новую систему сигналов для флота и программу обучения корабельных артиллеристов.

Что касалось польских дел, Потемкин наконец договорился с княгиней Любомирской о передаче ей своего владения Дубровно в зачёт платы за Смелу[146]. Он инструктировал российских послов в Варшаве (сначала Штакельберга, а позже Булгакова), получал от находившегося там же барона фон Аша секретные доклады о ходе Польской революции, разбирал жалобы короля Станислава Августа на воровство казаками польских лошадей и обсуждал с прорусскими магнатами своё гетманство и тайные планы в отношении Польши. Светлейший князь постоянно совершенствовал и реформировал армию, увеличивая лёгкую конницу и казачьи войска, но при этом ещё намеренно разбавлял аристократический состав элитных гвардейских полков, продвигая иностранцев, казаков и старообрядцев, к сильному недовольству высшей знати. Екатерине он писал, что офицеры-преображенцы «ослабли от роскоши». Таким образом, он был занят чуть больше, чем только соблазнением Долгорукой. «Мои занятия бесчисленны, – говорил он княгине Любомирской, лишь слегка преувеличивая. – Они не оставляют мне ни мгновения, чтобы думать о себе» [93].

Нельзя было забывать и о международном положении. Поляки вооружались. В случае слишком сильного их сближения с

Пруссией «должно будет приступить к твоему плану», писала Екатерина великому гетману Потёмкину [94]. Хуже всего было то, что британцы и пруссаки уже готовили войну, собираясь остановить продвижение русских. Екатерина и Потёмкин внимательно следили, как собираются тучи, хотя мир со Швецией приободрил их обоих. Екатерина признавалась, что стала настолько «веселее», что платья начали становиться ей узки и их приходится перешивать. И всё же она скучала о супруге: «Но часто, мой друг, чувствую, что во многих случаях хотелось бы с тобою говорить четверть часа» [95]. Когда на праздновании мира со Швецией прусский посланник упал в обморок и расшиб голову около трона, это показалось добрым знамением. Но «утомлённая до крайности» Екатерина всегда, как и Потёмкин, заболевала, как только спадало напряжение, а на этот раз особенно сильно. Она доверительно сообщала о «сильном поносе» и «ветряных коликах» [96].

Пруссаки и польские «патриоты», для которых князь уже стал жупелом, ополчились на его королевские амбиции; с 1789 года в сейме стали делать шаги по аннулированию его индигената и конфискации его польских поместий, что вовлекло Потемкина в новые непростые переговоры [97]. Мечтая, быть может, об уходе на покой и о безопасности, он попросил Екатерину пожаловать ему некую понравившуюся ему землю на юге: «Довольно я имел, но нет места, где б приятно мог я голову приклонить». Она исполнила просьбу и, кроме того, послала ему золотой кофейный прибор и перстень [98].

После очередного всплеска переговорной активности Потёмкин понял, что только война заставит поддерживаемых Пруссией и Англией турок пойти на мир. «Наскучили уже турецкие басни, – писал Потёмкин своему переговорщику Лашкарёву. – Вы им изъясните, что коли мириться, то скорее, иначе буду их бить». Оставалась война. В марте он лично принял командование Черноморским флотом и назначил своим заместителем контр-адмирала Фёдора Ушакова – ещё один блестящий выбор. Двадцать четвертого июня он приказал Ушакову выйти в море и «при случае сразиться с неприятелем». Осмотрев самостоятельно флот, третьего июля он снова отправил его в море: «Молитесь Богу, Он нам поможет. Положите на Него всю надежду, ободрите команду и произведите в ней желание к сражению» [100]. Ушаков нанёс туркам два поражения: восьмого июля и 28–29 августа у мыса Тендра, когда ему удалось взорвать их флагман. Прошло всего семь лет с того момента, как светлейший князь основал этот флот. «На Севере Вы умножили флот, – писал Потёмкин Екатерине, – а здесь из ничего

сотворили» [101]. Действительно, соглашалась она, это было их общее дитя, «наше заведение собственное, следственно, сердцу близко» [102]. Потёмкин отдал флотилии приказ пробиваться в устье Дуная. «Приказал я флоту Севастопольскому выйти в море, – писал он де Рибасу, – и показаться вам на вид. Вы же с вверенною вам флотилиею будьте наготове с ним соединиться, дабы идти к устьям Дуная… и старайтесь мне подавать обо всём сведения» [103]. В сентябре Потёмкин рванулся в Николаев и в Крым, проверил там флот и приказал армии двигаться на юг, к Дунаю.

С другого берега Чёрного моря тоже пришли добрые вести. Тридцатого сентября генерал-майор Герман разгромил двадцатипятитысячную турецкую армию и пленил Батал-пашу. «А мы не потеряли сорока человек!» – писал Потёмкин Безбородко [104]. Ближе к себе он приказал взять Килию, крепость на Дунае. Первая попытка провалилась, так как де Рибас ещё не успел уничтожить Дунайскую флотилию турок. Потёмкин предпринял второй штурм, и восемнадцатого октября 1790 года Килия пала [105]. Два дня спустя де Рибас прорвался в Дунай и взял Тульчу и Исакчу, продвигаясь вверх, к могучему Измаилу. Князь доверял де Рибасу и восхищался им. «Я ж, имея вас на месте, – писал он, – отдаю в полное ваше разсмотрение, что полезным найдете производить в действие» [106]. К концу ноября весь нижний Дунай до Галаца был его – кроме Измаила. Потёмкин решил брать крепость. «Я сделаю попытку на Измаил, – сказал он, – но я не желаю терять и десяти человек» [107].

Далеко на Западе Ришелье, Ланжерон и сын принца де Линя Шарль обедали в Вене, собираясь поворчать о бездеятельности Потёмкина, и узнали о поражении Батал-паши и начале осады Измаила. Тогда они бросились обратно в Бендеры, под знамёна Потёмкина. «Прошу вашу светлость позволить мне вернуться в армию перед Измаилом», – писал ему Ланжерон [108]. Ни одна горячая голова не хотела пропустить штурм – эту вершину военной карьеры Потёмкина и один из самых кровавых дней столетия.

30. Кровавое море: Измаил

Все то, чем леденит и мысль и тело
Глухих легенд причудливая тьма,
Что даже бред рисует нам несмело,
На что способен черт, сойдя с ума;
Все ужасы, которые не смела
Изобразить фантазия сама, –
Все силы ада здесь кипели страстью,
Разнузданные в буре самовластья.

Дж. Байрон. Взятие Измаила. «Дон Жуан», песнь VIII: 123

Двадцать третьего ноября 1790 года примерно тридцать одна тысяча русских солдат под предводительством генералов Ивана Гудовича, Павла Потёмкина и Александра Самойлова, а также флотилия, возглавляемая генерал-майором де Рибасом, подошли к упрямому Измаилу. Был конец года, болезни грозили скосить голодную армию. Только смелый и одаренный де Рибас был готов к штурму. Остальные три генерала все никак не могли договориться между собой. Никто из них не обладал достаточным авторитетом, чтобы штурмовать практически неприступную крепость [1]. Измаил стоял в природном амфитеатре, защищенный 265 пушками и 35 000 солдат, то есть вполне полноценной армией среднего размера. Полукругом его окружали крепкие стены, глубокие рвы, связанные друг с другом башни, отвесные скалы, а с другой стороны тёк Дунай. Французские и немецкие инженеры недавно усовершенствовали его «великолепную» защиту [2].

Потёмкин наблюдал за развитием событий из Бендер, потому что не хотел, чтобы пострадал престиж всей российской армии, если бы Измаил не пал [3]. Князю не казалось, что в столь

серьезный момент нужно жить строже. Напротив, он продолжал страдать от пресыщения изобилием на женском фронте. Его страсть к княжне Долгорукой утихла. Восходящая звезда госпожа де Витт оставалась с ним. Говорили, что к нему также едет графиня Браницкая, а «г-жа Л.» – жена генерала Львова – «должна немедленно приехать и везёт с собою молоденькую девушку, лет пятнадцати или шестнадцати, прелестную, как амур» – куртизанку и новую «жертву» князю, писал хорошо осведомленный, хотя и враждебно настроенный свидетель [4]. Князь казался таким же сибаритом, как и всегда. Он был «очарован», когда Ришельё, Ланжерон и молодой де Линь прибыли в Бендеры, но не упомянул, собирается ли штурмовать Измаил. Ланжерон спросил об этом, но никто не «раскрыл и рта». Втроем они присоединились к армии, стоявшей под Измаилом [5].

Генералы под Измаилом, как и большинство историков после них, не знали, что князь уже решил: командиры не в состоянии взять город. Поэтому он призвал того единственного, кто по его мнению был на это способен, – Суворова. «Боже, подай вам свою помощь, – пишет Потёмкин Суворову 25 ноября и добавляет: – Много там равночинных генералов, а из того выходит всегда некоторый род сейма нерешительного». Князь пишет Суворову, что считает город со стороны реки слабее, и рекомендует отправить туда только двоих: «Рибас будет вам во всем на помогу и по предприимчивости и усердию; будешь доволен и Кутузовым». По обоим пунктам будущие поколения соглашаются с суждением Потёмкина. «Остается предпринять с помощью Божией на овладение города» [6]. Суворов незамедлительно отправился в Измаил.

Стоявший под крепостью лагерь был отличной иллюстрацией российского административного хаоса и неумения управлять. Князь приказал артиллерии стрелять и потребовал взятия города «любой ценой» [7]. Двадцать пятого ноября (в тот же день, когда Потёмкин призвал Суворова) Гудович возглавил неуверенный военный совет, на котором штурма потребовал только де Рибас, остальные же колебались. Де Рибас обратился к князю, который тайно ответил ему 28 декабря, что Суворов уже едет к ним и скоро «все трудности будут сметены». Второго декабря Гудович провел еще один военный совет и дал приказ отступать. Де Рибас был вне себя от ярости. «Всё кончено» [8], – разочарованно пишет один из русских офицеров своему другу. Артиллерийские припасы снова упаковали, войска начали отступать. Де Рибас снова обратился к князю, а его флотилия отошла к Галацу [9].

В Бендерах Потёмкин по-прежнему сохранял беззаботный вид

и предавался разгулу, не рассказывая никому, что Суворов скоро приедет взять на себя командование. Говорят, что когда Потёмкин играл в карты со своим «гаремом», госпожа де Витт, будто бы предсказывая его судьбу, сообщила ему, что Измаил будет взят через три недели. Потёмкин со смехом отвечал, что у него есть более надежный способ, чем гадание, – Суворов, – как будто эта идея только что пришла ему в голову за картами. Светлейший князь любил играть в подобные игры со своими доверчивыми придворными – но у его скрытности были и иные причины. Он хвастался Екатерине, что умеет скрывать свои настоящие намерения не только от врагов, но и от собственных придворных. «Не кажут никогда того ножа, которым хотят кого зарезать, – написал он однажды. – Скрытность такая – душа войны» [10].

Когда новость о том, что Гудович отводит войска, достигла князя, он ответил ему с большой долей сарказма и отправил командовать Кавказским и Кубанским войсками: «…вижу я трактование пространное о действиях на Измаил, но не нахожу тут вредных для неприятеля положений. Канонада по городу, сколько бы она сильна ни была, не может сделать большого вреда. А как Ваше Превосходительство не примечаете, чтоб неприятель в робость приведен был, то я считаю, что сего и приметить невозможно. Конечно, не усмотрели Вы оное в Килии до самой ея сдачи, и я не приметил также никакой трусости в Очакове до самого штурма. Теперь остается ожидать благополучного успеха от крайних средств, которых исполнение возложено от меня на Г[осподина] Генерал-Аншефа и Кавалера Графа Александра Васильевича Суворова Рымникскаго» [11]. Потёмкин знал, что «пересуворить Суворова» невозможно.

Прибыв под Измаил, граф Суворов-Рымникский развернул отступавшие войска и вызвал флотилию де Рибаса обратно. Суворов, похожий больше на «татарина, чем на генерала европейской армии», прибыл в лагерь второго декабря, сопровождаемый только казаком-ординарцем [12]. Несмотря на особенности своего поведения (или, возможно, благодаря им), Суворов пел по ночам, ел на полу в неурочное время и катался голым по земле – он внушал доверие. Он перестроил артиллерийские батареи, приказал готовить лестницы и фашины для штурма рвов, начал обучать солдат тому, как взбираться на стены. Светлейший князь с нетерпением ожидал в Бендерах – но намеренно оставил Суворову небольшой путь для отступления, если бы тот решил, что Измаил действительно невозможно взять. Это было не актом неверия, а простым напоминанием Суворову о том, что не стоит рисковать русскими людьми и авторитетом

армии, если штурм окажется невозможен. В конце концов, турки действительно верили, что Измаил неприступен [13].

Седьмого декабря к крепости был отправлен трубач с ультиматумом от Потёмкина и Суворова, в котором говорилось, что Измаил должен сдаться, дабы, по словам Потёмкина, не проливать «кровь невинную жён и младенцев» [14]. Суворов был более прямолинеен: если Измаил станет сопротивляться, пощады не будет [15]. В ответ турки демонстративно прошли парадом по крепостным стенам, уже украшенным флагами. По словам Ришельё, это было «великолепное зрелище множества красиво одетых людей» [16]. Сераскир попросил о десятидневной отсрочке, но Суворов отказался следовать этой тактике. Де Рибас планировал штурм. После военного совета девятого декабря Суворов приказал штурмовать Измаил со всех сторон: шесть колонн наступали с суши и четыре – с другого берега Дуная. «Завтра, – объявил он своим войскам, – либо нас, либо турок похоронят в Измаиле» [17]. Сераскир, который считал себя уже похороненным, отвечал: «Дунай остановит свое течение и небо упадет на землю, прежде чем падет Измаил» [18].

В три часа утра одиннадцатого декабря небо действительно упало на землю. Началась массированная бомбардировка крепости, а затем сигнальная ракета возвестила о начале штурма. Турецкая артиллерия ответила убийственным огнем. Ланжерон потом вспоминал, что штурм Измаила был «ужасным и захватывающим зрелищем», стены были объяты пламенем [19]. Де Дама, командующий колонной, атаковавшей город с другого берега Дуная, одним из первых взобрался на стены: как и говорил Потёмкин, речная сторона оказалась слабее. С другой стороны первые две колонны уже ворвались в город, но отряд Кутузова дважды был отброшен назад с ужасными потерями. Говорят, что Суворов отправил ему записку с поздравлениями по поводу взятия Измаила и назначил его губернатором. Это вдохновило Кутузова броситься на стены в третий раз, оказавшийся успешным. Священник, размахивавший крестом, от которого отскакивали пули, привел резерв. К рассвету все колонны поднялись на крепостной вал, но некоторые ещё не спустились в город. Русские ворвались в Измаил «как взбесившийся горный поток». Рукопашный бой между 60 000 вооруженных солдат достиг самой кровавой стадии: даже после полудня было непонятно, кто одержит верх [20].

Измаил представлял собой кровавый ужас Дантова ада. Русские кричали «Ура!» и «Да здравствует Екатерина!», турки отступали. Русских обуяли жажда разрушения, кровавое безумие,

желание убивать всех на своем пути. «Началась ужасная бойня, – вспоминал граф де Дама. – Сточные канавы окрасились в красный цвет. Не щадили ни женщин, ни детей». Русских не останавливали детские крики. Из здания выбежал турок и направил ружье на де Дама, но оно не выстрелило, и «несчастный» был на убит на месте.

Из подземных конюшен вырвались четыре тысячи татарских лошадей, которые теперь скакали по мертвым и умирающим, безумными копытами раздирая человеческую плоть и дробя черепа до тех пор, пока их самих не убивали. Сераскир и 4000 человек по-прежнему защищали бастион под зеленым флагом. Уже перед самой сдачей английский моряк на русской службе попытался взять в плен турецкого генерала, но застрелил его и тут же был пронзен пятнадцатью шпагами. Это привело к тому, что русские перешли к смертельной оргии, методично прокладывая себе путь через все четыре тысячи турецких солдат, из которых не выжил никто.

Турки ждали своей смерти со смирением, которого Ришельё никогда не видел до этого. «Не буду даже пытаться изобразить этот ужас, при воспоминании о котором кровь до сих пор стынет в жилах», – вспоминал Ришельё. Ему удалось спасти десятилетнюю девочку, лежавшую в крови возле четырех женщин с перерезанными горлами. Двое казаков собирались убить и её, но Ришельё схватил девочку за руку и обнаружил, что «маленькая пленница не имеет ни одной раны, кроме царапины, вероятно, от сабли, зарубившей её мать». Татарский князь Каплан-Гирей и его пятеро сыновей, гордые потомки Чингисхана, сопротивлялись до самого конца: отец пал последним, окруженный телами храбрых сыновей.

Сопротивление постепенно сходило на нет, бойня напоминала макабрическую пантомиму. Пьяные от крови русские солдаты надевали на себя одежду жертв, как мужскую, так и женскую. Они раздевали своих жертв, перед тем, как их убить, чтобы сохранить их платье. Они грабили турецкие лавки, от чего аромат восточных специй распространялся в воздухе, полном криков умирающих. Казаков было не узнать; в париках и платьях они выглядели еще страшнее, чем обычно. По колено утопая в трупах и грязи, они грабили улицы, пропахшие специями и вонью внутренностей, размахивали кровавыми саблями и преследовали несчастных раздетых жителей; лошади с громким ржанием неслись по улицам, собаки лаяли, дети кричали.

В самой природе, кажется, война,
Как в разогретой зноем почве Нила,

Чудовищные формы породила.

Тела лежали такими огромными кучами, что Ланжерон оказался вынужден идти по ним. Ришельё, все еще держа девочку за руку, встретил де Дама, и им пришлось расчистить дорогу от тел, чтобы девочка могла идти с ними. Бойня продолжалась до четырех часов дня, и только тогда турки окончательно сдались.

И алый крест над полем засиял.
Не кровью искупленья он светился,
Нет – эта кровь по улицам текла,
Как от луны, от зарева светла.

Переживший осаду Измаила паша расстелил ковры на земле посреди разрушенной крепости и сел на них курить трубку так спокойно, будто находился в своем серале, а не был окружен телами убитых соотечественников. Так пал один из главных оплотов Османской империи [21]. Почти сорок тысяч человек были убиты в одном из самых крупных сражений века. На клочке бумаге, теперь пожелтевшей и, кажется, пахнущей порохом, Суворов написал Потёмкину: «Нет крепчей крепости, ни отчаяннее обороны, как Измаил, падший пред Высочайшим троном Ея Императорского Величества кровопролитным штурмом! Нижайше поздравляю Вашу Светлость» [22].

Князь был очень обрадован [23]. Он приказал салютовать из пушек в знак победы и сразу же написал Екатерине, отдав должное Суворову. Он отправил новость с братом нового фаворита, Валерианом Зубовым, который очень ему нравился. «Поздравляю тебя ото всего сердца с сим щастливым успехом», – ответила Екатерина. Враждебный князю Ланжерон возмущался, что человек, не пожелавший потерять десять тысяч человек месяцем раньше, теперь хвастал: «Что значит десять-двенадцать тысяч человек в сравнении с такой победой?» Потёмкин мог играть роль кровавого завоевателя, но о гораздо большем говорит то, что он даже не посетил Измаил, хотя собирался сделать это каждый день: он заболел, как часто происходило, когда спадало напряжение, но на самом деле просто не желал наблюдать это «ужасное зрелище», пусть даже и в роли победителя [26]. В конце концов он отправил вместо себя Попова. Он, конечно, радовался победе, но также был несказанно расстроен потерями русских – погиб его внучатый племянник полковник Александр Раевский, один из двух братьев, которые были «любимейшими

племенниками»[147]. Скорее всего, он относился к взятию Измаила как к грязной, пусть и необходимой, и хорошо сделанной работе. Потёмкин был счастлив, что город пал, так как они с Екатериной надеялись, что это заставит турок заключить более выгодный для России мир. Рад он был и узнать, что когда новости дошли до Вены, принц де Линь был вынужден захлебнуться своими желчными словами о неспособности Потёмкина к военном делу [27].

Существует легенда о том, что, приехав в Яссы, Суворов на вопрос Потёмкина: «Чем могу я вас наградить за ваши заслуги?» – отвечал: «Нет! Ваша Светлость! Я не купец и не торговаться с вами приехал. Меня наградить, кроме Бога и Всемилостивейшей Государыни, никто не может!» Это легенда, но она вошла в историю как реальный факт[148]. Два оригинала не виделись до февраля и только писали друг другу высокопарные записки. Когда они оба почти одновременно прибыли в Петербург, Потёмкин продолжил хвалить и возвышать своего любимого командующего [28].

Светлейший князь перевёл армию на зимние квартиры и отправился в свою «столицу», Яссы. Когда свита приблизилась к городу, Ришельё заметил свет, поднимавшийся от города, – это в честь Потёмкина зажгли факелы. Но в Яссах князь не задержался [29].

Потемкин хотел вернуться в Петербург, как триумфальный главнокомандующий, одержавший победы на театре войны «на пространстве, почти четверть глобуса составляющем». Он не обладал леденящим душу воинственным нравом Суворова, но как стратег и командующий морскими и сухопутными войсками не проиграл ни одной битвы. В письме к Екатерине он не смог удержаться, чтобы не сравнить свои победы с победами Евгения Савойского и Фридриха Великого, но говорил также, что старается избежать греха гордыни после её «матернего совета после прошлой кампании». Он оглядывался на свою жизнь и благодарил Екатерину за расположение, которым она одаривала его с самой его юности. И завершает: «По принадлежности моей к тебе все мои добрые успехи лично принадлежат тебе».

Екатерина и Потёмкин не были стариками, но их молодость прошла. Они постоянно находились на взводе, а годы у власти сделали их своевольными и обидчивыми. Но они продолжали любить и оберегать друг друга. Осада Измаила измотала обоих. Партнеры обменивались письмами о состоянии здоровья. «Здоровье моё поправляется. Я думаю, что это подагра, которая перешла ко мне в желудок и кишечник. Я изгоняю её перцем и

рюмкою малаги, которую пью ежедневно». Потёмкин и сам болел в Яссах, но когда услышал о нездоровье императрицы, согласился с тем, что хорошо лечиться малагой и перцем, и добавил: «Нужно держать всегда живот в тепле. Цалую Ваши ручки, моя кормилица» [30]. Потёмкин почти два года не был в Петербурге и спрашивал Екатерину, можно ли ему вернуться. «Крайне нужно мне побывать на малое время у Вас и весьма нужно, ибо описать всего невозможно», – пишет он ей из Ясс одиннадцатого января 1791 года. Вероятно, основным вопросом, который он хотел обсудить с ней лично, была Польша. «Дайте мне на себя посмотреть», – пишет он [31].

Императрица тоже хотела встретиться с князем и соглашалась, что «на словах говорить и писать, конечно, разнится», но просила ещё немного подождать. Часто это описывают как начало охлаждения отношения Екатерины к князю и её опасений, что по возвращении в Петербург он захочет сместить Зубова. Но из писем этого не следует, хотя, несомненно, между ними не всё было гладко. Потёмкина беспокоило нежелание Екатерины умиротворить Пруссию. Также от знал, что в столице пруссаки, поляки и их друзья, великий князь Павел и различные члены масонской ложи пытались оговорить князя, заявляя, что он хочет стать королем Польши. Потёмкин подозревал, что и Зубов плетет заговоры против него. Но он оставался уверен в своей вечной и «священной» связи с императрицей: «Я не сумневаюсь в Вашей непременной милости» [32].

Судя по поведению Екатерины, она не перестала питать нежные чувства к человеку, который был с ней почти всю жизнь. Напротив, она осыпала его дождём подарков и даже выкупила Таврический дворец за 460 000 рублей, чтобы заплатить его долги. Но при этом Потёмкин с удивлением обнаружил, что алмазы на присланном ему императрицей ордене Св. Андрея были поддельными и сделаны из кристаллов. Это явно свидетельствовало о забывчивости двора [33]. Она просила его подождать несколько недель на юге и не упускать шанса подписать мирный договор с турками после взятия Измаила. Падение крепости явно подкосило Стамбул [34].

Если бы с Портой был заключен мир, Россия могла бы позволить себе заняться польской проблемой – избранный на четыре года сейм готовил проект конституции, которая, как надеялись поляки, сделала бы из Польши сильное и жизнеспособное королевство, которое могло бы угрожать России. Потёмкин, управлявший российской политикой в отношении Польши и Порты, предлагал Екатерине заставить турок отдать

Молдавию Польше и таким образом настроить поляков против Пруссии [35]. Но все зависело от турок. Теперь Британия с Польшей кидали им спасательный круг – «Очаковский кризис».

Еще до падения Измаила Тройственный союз планировал помешать расширению российских границ. До сих пор коалицией против России руководила Пруссия, и только благодаря непоследовательной дипломатии Фридриха-Вильгельма интересам России не был нанесен больший вред. Теперь антироссийскую коалицию возглавила Британия, преодолевшая кризис отношений с Испанией из-за спора о заливе Нутка, – причины на то были как коммерческими, так и политическими. Ухудшение отношений между Британией и Россией началось с подписания Екатериной декларации о вооруженном нейтралитете и истечения срока действия англо-российского торгового трактата в 1786 году – годом позже Россия заключила торговое соглашение с Францией. Это заставило англичан почувствовать, что они слишком зависимы от российских морских поставок и им стоит больше торговать с Польшей. Британию беспокоило победное шествие России по Восточной Европе, особенно после падения Измаила, которое давало русским надежду на заключение победного мира с турками. Премьер-министр Уильям Питт хотел создать «федеративную систему» альянсов с Польшей, Пруссией и другими странами, чтобы заставить Россию принять мирное соглашение, узаконивающее то положение вещей, которое было до войны. Если бы Россия не согласилась отдать Очаков и другие свои завоевания, с моря ее должен был атаковать королевский флот, а с суши – Пруссия. Казалось, Британия готова была начать войну, просто чтобы «сорвать перо со шляпы императрицы» [36].

Было непохоже, что Селим III заключит мир с Россией, в тот момент, когда Британия снаряжала флот на Петербург. Султан казнил очередного великого визиря, снова назначил на этот пост агрессивного Юсуф-пашу и начал собирать новую армию. Питт и пруссаки готовили ультиматум, армии и военные корабли. Князь срочно потребовался в Петербурге – теперь он мог поехать домой.

Десятого февраля 1791 года он отправился в путь из Ясс. Говорили, что он шутил, что едет в Петербург отстранить Зубова и «вырвать зуб», хотя очевидно, что во время Очаковского кризиса у него были более важные задачи. Петербург ждал его с бóльшим нетерпением, чем когда бы то ни было. «Все министры в панике, – писал шведский посланник граф Стединг к королю Густаву III 8 февраля. – Все в волнении перед появлением этого сверхъестественного человека» [37]. Работа правительства остановилась: «Никто не осмеливается принимать решений до его

приезда» [38].

«Ваше величество, – спросил Стедингк императрицу, – надо ли верить слуху, что князь Потёмкин привезет с собой мир?» – «Не знаю, но это возможно, – отвечала Екатерина, и добавила, что светлейший князь большой оригинал и очень умён и что она позволяет ему делать всё, что он хочет. – Он любит делать мне сюрпризы», – заключила императрица.

Ему навстречу были отправлены придворные экипажи, в течение недели дороги освещались факелами каждую ночь. Приветственную делегацию возглавил граф Брюс. Он ждал приезда князя на придорожной станции Московского тракта, не решаясь даже раздеться на ночь. Навстречу Потёмкину для обсуждения тактики выехал Безбородко [39]. Фридрих-Вильгельм собрал в Восточной Пруссии 88 000 человек, лорд Гуд снарядил в Спитхеде 36 линейных кораблей и 29 кораблей поменьше – а князь Таврический, укомплектованный новой ослепительной любовницей, готовился к войне и к самому громкому балу в истории России [40].

Часть восьмая. Последний танец

1791

31. Прекрасная гречанка

«Во-первых, старайся испытать, не трус ли ты; если нет, то укрепляй врожденную смелость частым обхождением с неприятелем».

Наставление князя Потёмкина своему внучатому племяннику Н.Н. Раевскому, будущему герою Отечественной войны 1812 года и отцу друга А.С. Пушкина

Когда Потёмкин въехал в Петербург двадцать восьмого февраля 1791 года по дороге, освещенной сотнями факелов [1], императрица тотчас увиделась с ним. Она снова подарила Потёмкину только что выкупленный у него Таврический дворец. Ежедневные встречи двух старых товарищей проходили в тревожной атмосфере, так как военная угроза со стороны коалиции Англии и Пруссии стала тяжелейшим для России кризисом со времен Пугачёвского бунта. Тем временем знать и дипломаты пытались перещеголять друг друга, отмечая возвращение светлейшего князя.

«Сколь велики ни были мои ожидания, как бы я ни был наслышан о важности и влиянии этого человека, свита поклонников, шумиха и возбуждение, которые окружали его, поразили меня и по сей день стоят перед глазами, – писал шведский дипломат Ян Якоб Йеннингс. – С тех пор, как князь вернулся, в высших и средних сословиях говорят только о нем: что он делает или будет делать, обедает ли он, собирается ли обедать или уже отобедал. Интерес ‹…› общества направлен лишь на него: вельможи, ремесленники, купцы и писатели дожидаются у дверей и заполняют приемные, чтобы выразить ему почтение или преподнести дары» [2].

Князь Таврический выглядел победителем во всем. «Никогда прежде его значение и авторитет не были так велики, – отмечал шведский посол Стединг к. – Его прибытие затмило предшествующие яркие события, и вся Россия у его ног» [3]. Вельможи изливали потоки восхищения… и зависти [4]. Широкая публика, состоявшая тогда из низшего дворянства и купцов, поклонялась ему, как герою. Дамы носили его портрет в

медальонах. Державин писал:

Перлова грудь ее вздыхает,
Геройский образ оживляет. [5]

На приёмах читали специально написанную «Оду Потёмкину» [6]. Каждый дворянин обязан был дать бал в рамках так называемого «карнавала в честь князя Потёмкина» [7].

Сама Екатерина, казалось, с облегчением и восторгом встретила светлейшего князя после долгой разлуки. Она говорила Гримму: «Победа его преобразила». Потёмкин стал «красив, как день, весел, как жаворонок, сияет, как звезда, морален, как никогда, больше не грызет ногти, каждый день устраивает приёмы. Все очарованы, хоть и завидуют» [8]. Даже Августин Деболи, посол вражески настроенной революционной Польши, сообщал: Потёмкин был настолько вежлив, что озорно спрашивал всех, заметили ли они изменения в его поведении [9].

Таким был Потёмкин во времена своей наивысшей славы в марте 1791 года. «Я впервые увидел этого удивительного человека в прошлое воскресенье, в обществе Великого князя, – захлебывался чувствами Йеннингс. – Его описывали безобразным. Мне так не показалось. Напротив, он импозантен, а его кривой глаз не так уродует лицо, как можно предположить». Главнокомандующий Черноморским флотом Потёмкин носил усыпанный бриллиантами белый мундир с медалями. Стоило Потёмкину появиться, «толпа вокруг Великого князя редела и собиралась около него, словно видела в нем хозяина». Даже герцоги Вюртембергские вытягивались перед ним в струнку, «как статуи, и, не сводя глаз с великого человека, ждали, когда он соизволит одарить их взглядом» [10].

«Потёмкинский карнавал» подразумевал ежедневные празднества. Царедворцы Николай Салтыков, Петр Завадовский, Иван Чернышев, Александр Безбородко, Андрей Остерман, Александр Строганов и Яков Брюс состязались в пышности балов. Некоторые почти разорились в попытках угнаться за Строгановыми. Замешательство вызывала личность новой фаворитки князя. Придворные готовились устроить балы в честь его «султанши» княгини Долгоруковой, пока не заметили, что он так и не навестил ее. Княгиня заявила, что больна, но даже тогда Потёмкин не нанес ей визит. Придворные малодушно отменили балы, и павшая духом Долгорукова вынуждена была отправиться на покой в Москву [11]. Восемнадцатого марта принц Карл Генрих Нассау-Зиген организовал одно из самых богатых гуляний: столы ломились от осетрины и стерляди, любимых

деликатесов Потёмкина. Именно там светлейший князь, одетый в роскошную форму великого гетмана, которая была украшена драгоценными камнями и, по утверждению Деболи, стоила 900 000 рублей [12], представил свое новое увлечение – графиню де Витт, завораживающую искательницу приключений.

По свидетельствам потрясенного Йеннингса, появление этой «признанной красавицы» было «величайшей сенсацией» на балу Нассау-Зигена. Когда Потёмкин закончил игру в карты, он поспешил к графине и говорил только с ней под пристальным наблюдением других гостей. «И женщины, и мужчины были взволнованы: первые от отчаяния, раздражения и любопытства, а вторые – от вожделения и предвкушения» [13].

Двадцатипятилетняя София де Витт со светлыми локонами, благородным греческим лицом и фиалковыми глазами была «самой прелестной женщиной Европы того времени». Из юной константинопольской куртизанки она превратилась в одну из богатейших графинь Польши: в течение сорока лет София поражала и шокировала Европу своей «красотой, пороками и грехами». Она родилась в греческой деревушке на окраине «города вселенской мечты» и получила прозвища «прекрасная гречанка» и «La Belle Phanariote» [«Прекрасная фанариотка» (*фр.*). – *Прим. перев.*] по названию округа Фанар. Когда Софии было двенадцать лет, мать, торговка овощами, продала ее польскому послу, который поставлял девушек королю Станиславу Августу Понятовскому. Сестру Софии, такую же красавицу, купил османский паша. Так повелось, что каждый следующий мужчина, влюблявшийся в Софию, предлагал за нее более высокую цену. Когда София де Челиче, как она тогда себя называла, путешествовала с послом, ее заметил сын коменданта Каменецкой крепости майор Юзеф Витт. Он заплатил за девочку тысячу дукатов. Они поженились в 1779 году, когда Софии исполнилось четырнадцать лет. Витт отправил Софию в Париж, чтобы обучить манерам и французскому языку.

Прекрасная фанариотка очаровала Париж. Граф Ланжерон повстречал ее там и отметил «нежнейшие и восхитительнейшие глаза, когда-либо созданные природой», однако от него не скрылись также лукавство и «холодность сердца» [14]. Часть обаяния Софии составляла «некая оригинальность, вызванная то ли притворной наивностью, то ли невежеством». В Париже все воспевали ее «beaux yeux» [«прекрасные глаза» (*фр.*). – *Прим. перев.*]. Когда кто-то справлялся о здоровье Софии, она отвечала: «Мои beaux yeux болят», чем бесконечно забавляла окружающих [15]. После начала Русско-турецкой войны майор Витт, ставший к

тому времени комендантом Каменца, был центром шпионской сети Потёмкина в Южной Польше. Именно он вместе с маслом доставлял в Хотин разведчиков. Однако вполне возможно, что источником информации была жена Витта. Её сестра вышла замуж за правителя Хотина, а сама София стала любовницей осаждавшего крепость генерала Николая Салтыкова [16]. Наблюдательный де Рибас представил её Потёмкину в Очакове. Гости, приезжавшие в Яссы и Бендеры, отмечали греческий наряд графини и то, как она драматично позировала и «металась», чтобы произвести впечатление на светлейшего князя. София стала доверенным лицом князя во время его романа с Долгоруковой, которую вскоре вытеснила [17]. Уступчивый муж Софии получил от Потёмкина титул коменданта Херсона [18]. Вероятно, Потёмкин использовал графиню де Витт в качестве тайного агента среди поляков и турков [19].

Императрица, привыкшая к новым пассиям своего фаворита, подарила «прекрасной гречанке» пару бриллиантовых сережек [20]. Это вызвало необыкновенную гордость у мужа Софии. Он хвалился, что жена войдет в историю за дружбу с королевскими особами, и добавлял: «Князь не любовник моей жены, а лишь друг. Стань они любовниками, я разорвал бы с ним всякие отношения». Эти простодушные высказывания, должно быть, служили поводом для усмешек. Куртизанка-шпионка определенно пленила Потёмкина. Она была азиаткой, интриганкой, Венерой и гречанкой – чего-то одного вполне хватило бы, чтобы увлечь князя. Потёмкин говорил ей: «Ты единственная женщина, которая меня удивляет». На что кокетка отвечала: «Знаю. Если бы я была твоей любовницей, ты уже покинул бы меня. Но я друг и останусь им навсегда». Дамы всегда говорят так на публике, никто из близкого окружения Софии не верил в это [21]. Наверное, она нарушила собственное правило, потому что две недели спустя послы заметили, что Потёмкин внезапно начал терять к ней интерес. Неужели София забыла о благоразумии? [22]

Светлейший князь решил устроить бал, чтобы бросить вызов англо-прусской коалиции и отпраздновать успешный штурм Измаила. Предполагалось, что Потемкин обсудит с королем Густавом III возможность платы за заключение союза между Швецией и Россией. Успешные переговоры были в интересах Потёмкина, потому что Британия тоже предлагала Швеции выплаты за использование ее портов в войне с Россией. Угроза была настолько серьезной, что двадцать пятого апреля Потёмкин в качестве предупреждения послал Суворова командовать войсками у границ Швеции. Густав III пытался устроить аукцион,

Британия предлагала 200 000 фунтов. После Очаковского кризиса цена бы упала. Поэтому Потёмкин сознательно оттягивал переговоры, заставляя шведского посла Стедингка участвовать в репетициях бала в Таврическом дворце.

Таким образом Стединг получал опыт театральных постановок, но никакого дипломатического удовлетворения [23]. Светлейший князь, с ног до головы покрытый бриллиантами, интересовался, как казалось, только ими: он любовался алмазами, огромными камнями на небольшом портрете Екатерины, теребил их, пока разговоры полностью не переключались на драгоценности [24]. Потёмкин требовал, чтобы Стединг «расхаживал среди пятидесяти покоев, смотрел и восхищался всем», затем «садился к князю в карету и слушал его разговоры только о нем самом, Крыме и Черноморском флоте». А после снова присутствовал на репетициях [25]. Когда князь уставал от этих спектаклей, на его лице проступали «отвращение, скука и апатия ‹…›, следствие удовлетворения всех желаний. Князь пресытился, хотеть было больше нечего» [26].

Потёмкин приказал «200 музыкантам играть в галерее большого зала ‹…› только для двоих. Князь на седьмом небе. Приехали сто человек, они танцуют кадриль за кадрилью». Репетиции начинались в три пополудни и заканчивались в девять вечера, и «на шведского принца не оставалось ни мгновения. Вот такой государь правит империей» [27], – печально докладывал своему королю Стединг. Потёмкин всем рассказывал, что не участвует в международных делах, а стремится только развлекаться [28].

По-настоящему дела решались в покоях Екатерины, где партнеры пытались предотвратить надвигавшуюся войну с Англией и Пруссией. После двух лет разлуки Потёмкину и Екатерине приходилось снова привыкать к его заносчивому командованию и ее усталому упрямству. Шестнадцатого (27) марта британский премьер-министр Питт через Берлин отправил Петербургу ультиматум. Поступок обычно осторожного Питта выглядел опрометчивым, но тридцать девять прусских линейных кораблей были отнюдь не пустой угрозой. Императрица не намеревалась идти на уступки Пруссии и Британии.

Стремясь найти выход из западни, Потёмкин и Екатерина даже обратились к ведущему государственному деятелю ненавистной Французской революции Оноре Габриэлю Рикетти, графу де Мирабо. Потёмкин полагал, что «Франция обезумела», а Екатерина считала, что графа Мирабо нужно повесить на нескольких виселицах, *а после* колесовать. Тем не менее Потёмкин тайно контактировал с Мирабо, единственным

человеком в Европе, кто мог сравниться с ним в эксцентричном уме, физический силе и экстравагантной невоздержанности. По иронии судьбы, отец Мирабо однажды сказал о своём сыне: «Достойную пару он мог бы составить только российской императрице». Князь предложил «Мирабоше» (так он его называл) щедрую мзду за вступление Франции в союз с Россией против Британии, интересы которой граф как раз отстаивал. Мирабо, уже одаренный взятками загнанного в угол Людовика XVI, просто «употребил» деньги Потёмкина на оплату своего роскошного образа жизни, а вслед за этим занемог. Он умер в Париже 19 марта (2 апреля) 1791 года, на следующий день после бала, который устроил для Потёмкина принц Нассау [29].

Светлейший князь знал, что Россия не сможет сражаться с союзом трёх государств, Польшей и турками одновременно. Он перебрасывал войска на Западную Двину и к Киеву, чтобы двинуться по территории Польши в Пруссию, но был готов подкупить короля Фридриха Вильгельма I и попросить его о помощи при столкновении с турками и поляками. Екатерина не хотела поддаваться. Это вызывало напряжение в ее дружбе с Потёмкиным. Стедингк был убежден, что «даже Ее Величество Императрица тайно завидовала» успехам светлейшего князя. Пожалуй, поэтому Екатерина говорила, что Потёмкин делал «все, что она *ему позволяла*». Стедингк сообщал: «Императрица уже не та, что раньше ‹…› возраст и немощь подкосили её». Правительницу стало проще обмануть, сыграть на тщеславии, ввести в заблуждение. Перефразируя лорда Актона, можно сказать, что абсолютная власть огрубляет. Оба партнера стали грубее – такова судьба любого государственного служащего, который не покидает свой пост. Тем не менее Потёмкин по-прежнему горделиво воспринимал Екатерину лишь как женщину. «Чего вы хотите от женщины? – говорил он шведу. – С ней нужно искусное обращение, спешить не стоит» [30].

На самом деле проблема была не столь личной. Императрица тревожилась, оттого что в их взглядах впервые возникли настоящие расхождения. Быть может, она волновалась, что князь одержит верх и подорвёт её авторитет. Потёмкин раздражался, потому что гордыня и неуступчивость Екатерины угрожали всем их достижениям. Отступит ли она перед его выдающимися познаниями в военном деле? [31]

Князь, помимо прочего, жаждал избавиться от компаньона императрицы Платона Зубова, который все чаще участвовал в интригах против него. Это, безусловно, усиливало трения. Политик наиболее уязвим, когда считается непобедимым, ведь его противники объединяются. Интриги неизбежно сопровождали

Потёмкина. Деболи писал, что Зубов, Салтыков и Нассау уже строили заговоры, несмотря на то, что «многочисленные подобные попытки уже провалились» [32]. За Зубовым стоял его покровитель Николай Салтыков, воспитатель великих князей, связанный с Павлом, его пропрусским окружением в Гатчине и масонскими ложами (особенно розенкрейцерами), которые имели отношения с Берлином[149]. Некоторые ложи [33] объединяли недовольных режимом Екатерины и Потёмкина. Отчасти это объяснялось тем, что многие вельможи были масонами, а Потёмкин нет [34]. Сам Павел ненавидел Потёмкина и состоял в изменнической переписке с Берлином [35].

У Екатерины и Потёмкина оставалось мало времени на ностальгические нежности: они то отчаянно ссорились, то мирились, как все семнадцать лет с тех пор, как полюбили друг друга. Многолетняя уверенность Екатерины в том, что они ссорятся «о власти, а не о любви», теперь подтверждалась. Потемкин не смог убедить императрицу поменять политику и перешел к угрозам. Екатерина сопротивлялась со слезами, такими же манипулятивными, как его вспышки гнева. Нежелание предпринять шаги к примирению с сильным неприятелем, готовым войти в обессиленную Россию, несомненно, было безрассудным. Потёмкин знал реальную ситуацию и предлагал не сдаться, а усыпить бдительность Фридриха Вильгельма до тех пор, пока не будет заключен мир с турками.

Потёмкин сказал камердинеру Екатерины Захару Зотову, что откладывание решения приведет к конфликту. Она отказывалась даже вступать в переписку с Фридрихом Вильгельмом. Кроме того, светлейший князь брюзжал из-за Зубова: почему Мамонов уехал, не дав Потёмкину все организовать? Если война станет неизбежной, князь будет защищать свои турецкие завоевания, а Пруссию усмирит разделом Польши. Это было бы исключительной мерой, потому что разрушало тайные польские планы Потёмкина [36].

Екатерина и Потёмкин спорили целыми днями. Она лила слезы. Потёмкин злился. Князь грыз ногти, волнения ударили по желудку государыни. К двадцать второму марта Екатерина слегла со «спазмами и сильными коликами». Даже во время ссоры они вели себя, как старые супруги: Потёмкин настаивал на приеме лекарств, она хотела положиться «на природу». Князь усиливал давление [37].

Маленький мальчик, десятилетний сын потёмкинского камердинера, стал свидетелем обычных для любой пары спора и примирения. Князь ударил по столу и ушел, хлопнув дверью так, что задрожали стекла. Екатерина ударилась в слезы. Вдруг она

заметила напряженного ребенка, который, судя по всему, мечтал оказаться в другом месте. Она улыбнулась сквозь слезы, указала жестом в направлении Потёмкина и сказала: «Поди посмотри, как он». Мальчик побежал в покои светлейшего князя и нашел его за столом в кабинете.

– Так это она тебя прислала? – спросил князь.

– Да, – ответил мальчик с невинной чистосердечной храбростью. И добавил, что, может быть, светлейшему князю стоит пойти успокоить Её Императорское Величество, ибо она плачет и сожалеет.

– Пускай поревёт, – отмахнулся Потёмкин, но был слишком сердоболен, чтобы оставлять ее надолго.

Через несколько минут он успокоился и отправился мириться [38]. Так складывались их личные и политические отношения к концу жизни.

«Упрямство доводит до новой войны», – писал секретарь Екатерины седьмого апреля. Война на нескольких фронтах (была большая вероятность того, что Польша и Швеция присоединятся к Англии, Пруссии и Турции) насторожила Екатерину. Она сказала слугам, что «пива и портера не будет». Девятого апреля Потёмкин и граф Безбородко подготовили черновик меморандума, который должен был умилостивить Фридриха Вильгельма и отвлечь его от войны. «Как рекрутам драться с англичанами! – ворчал Потёмкин. – Разве не наскучила здесь шведская пальба?» Екатерина действительно устала от стрельбы. Она сдала позиции и согласилась тайно обновить старое соглашение с Пруссией, убедить Польшу передать Пруссии Торунь и Гданьск, заключить мир с Портой и получить при этом Очаков и земли вокруг него [39]. Однако к войне она тоже была готова. «Ты еще услышишь обо мне, если нас атакуют на земле или на море», – писала Екатерина другу в Берлин намеренно ясно, без всяких уступок [40].

Партнеры не знали, что коалиция рушится. Британия заколебалась еще до того, как предложение Екатерины достигло Берлина. Правительство Питта технически выиграло три тура дебатов об Очаковском кризисе, но проиграло спор. Восемнадцатого (29 марта) Чарльз Джеймс Фокс разгромил слабые аргументы в пользу антироссийской морской кампании в своей пылкой речи, где он спрашивал, каковы интересы Британии в Очакове. Эдмунд Берк, в свою очередь, атаковал Питта за то, что тот защищал турок, «орду азиатов-варваров». Посол Екатерины Семён Воронцов пустил в ход все возможные уловки и сплотил русское «лобби» купцов от Лидса до Лондона. Чернила и бумага оказались сильнее прусской стали и британского пороха. Даже

флот был против войны: Горацио Нельсон не видел возможности «подобраться к её флоту. Узкие моря и отсутствие дружественных портов – это нехорошо». Несколько дней спустя призыв «никакой войны с Россией» был намалёван на стенах по всему королевству. Влияние кабинета министров ослабло. Пятого (16) апреля Питт отозвал свой ультиматум и отправил тайного агента Уильяма Фокенера в Петербург, чтобы найти выход из неудачного положения, которое едва не стоило ему поста [41].

Князь и императрица ликовали. Екатерина в знак праздника установила статую Фокса в Камероновой галерее, между Демосфеном и Цицероном. Потёмкин радостно хвастался униженному британскому дипломату Чарльзу Уитворту, что они с Екатериной «баловни судьбы». Очаковский кризис впервые поставил перед британцами восточный вопрос, но они пока не были заинтересованы в выживании «умирающего человека». До джингоизма было еще далеко. Сегодня, задним числом видно, что Потёмкин был неправ, склоняя Екатерину к перемирию. В тот момент его совет был разумным. Им просто повезло. Князь верил, что они с Екатериной родились под счастливой звездой. Он говорил англичанину: «Все, что нам нужно для успеха – желание его достичь» [42].

Бал-маскарад, который Потёмкин репетировал денно и нощно с момента возвращения, должен был ознаменовать победу России над Турцией, Пруссией и Британией. Екатерина и Потёмкин демонстративно устраивали праздник в честь Провидения. Слуги князя галопом разъезжали по Петербургу и раздавали приглашения:

> Генерал-фельдмаршал князь Потёмкин-Таврический приглашает оказать ему честь визитом в понедельник, 28 апреля, в 6 часов в его дворец лейб-гвардии Конного полка на маскарад, который почтит вниманием Её Императорское Величество и Их Императорские Высочества[150] [43]

32. Карнавал и кризис

«Князь Потёмкин устроил вчера превосходное празднество, на которое я приехала в семь вечера, а уехала в 2 ночи…

Теперь пишу вам, дабы избавиться от головной боли».

Екатерина II – барону Гримму

В семь вечера 28 апреля 1791 года царская карета проехала вдоль классической колоннады Конногвардейского дома, освещённой сотнями факелов. Из кареты неспешно вышла императрица с богато украшенной диадемой и в русском платье с длинными рукавами. Шёл дождь. Потёмкин шагнул вперед, чтобы приветствовать Екатерину. Поверх темно-красного фрака он накинул кружевной черно-золотой плащ, расшитый бриллиантами. На князе было «столько бриллиантов, сколько только может поместиться на человека» [1]. Адъютант позади держал на подушке шляпу Потёмкина, такую тяжёлую от бриллиантов, что её едва ли можно было носить. Князь шел навстречу Екатерине между двумя рядами лакеев. Они были одеты в ливреи потёмкинских цветов: бледно-желтый с голубым и серебряным. Каждый лакей держал канделябр. Окутанный царственным сиянием Потёмкин опустился перед Екатериной на колено. Она приказала ему подняться. Он взял её за руку.

Раздавался невнятный рокот пятитысячной публики, больше заинтересованной в еде, чем в историческом моменте. Гости бросились к столам с бесплатной едой и напитками. Для карнавала установили качели, карусели и даже лавки, где выдавали костюмы. Однако в тот момент гости жаждали угощения. Князь приказал накрыть столы только после появления императрицы. Но дворецкий перепутал кареты и начал пир слишком рано. Едва не начался бунт. Екатерина помнила, как Великая французская революция сбросила династию Бурбонов, и толпа вызывала у нее нервозность. Ей показалось, что «почтенная публика» разбегается в панике, но люди всего лишь наполняли карманы едой, стремясь унести её домой [2].

Князь повёл свою императрицу к воротам дворца, который позже станут называть Таврическим. Дворец установил новые стандарты простоты и роскоши классицизма. «Всё было

колоссально» – это послание читалось во всём. Строгий грандиозный фасад, спроектированный архитектором Иваном Старовым, символизировал мощь и величие Потёмкина. Галерея разделялась на два длинных крыла, поддерживаемых шестью дорическими колоннами. Пара вошла в вестибюль и проследовала вдоль цепочки встречающих в зал с колоннами, где Екатерину ожидали великий князь Павел с супругой и три тысячи гостей в костюмах.

«Вообразите, если сможете!» – подзадоривала Гримма Екатерина. Овальный зал был самым большим в Европе: 21 метр в высоту, 74,5 метра в длину и 14,9 метра в ширину. Его поддерживали два ряда из тридцати шести ионических колонн. «Поэзия колонн» делала тысячи гостей крошечными. В зале легко поместились бы пять тысяч человек. Пол из ценных пород дерева украшали «удивительно большие» белые мраморные вазы. На потолке висели многоступенчатые люстры из черного хрусталя, приобретенные у герцогини Кингстон. В обоих концах зала было два ряда французских окон [3]. Весь зал горел, словно в огне, освещённый главными люстрами и пятьюдесятью шестью маленькими люстрами с шестнадцатью свечами в каждой. Горели пять тысяч факелов. Духовой оркестр из трехсот человек, притаившихся в двух галереях, начал концерт написанных специально для этого случая хоровых песен.

Императрица не могла пропустить открывавшийся перед ней знаменитый Зимний сад. Он тоже был самым большим в Европе, его площадь в шесть гектаров равнялась всей остальной территории дворца. Огромный стеклянный коридор поддерживали колонны в виде пальм. По спрятанным в пальмах трубам бежала тёплая вода. Шедевр Уильяма Гульда представлял собой упорядоченные джунгли экзотических растений: «цветы, такие как гиацинты и нарциссы, мирты, множество апельсиновых деревьев». За зеркальными стенами скрывались большие печи[151]. В искусственных гроздьях винограда, связках груш и ананасов были спрятаны лампы и алмазы, чтобы создать впечатление сияния. В стеклянных шарах плавали серебряные и красные рыбки. На куполе было изображено небо. Беседку пересекали тропинки и холмики, ведущие к статуям богинь. Самым поразительным была «бесконечная перспектива». Сквозь светлый зал с колоннами Екатерина видела тропический зимний сад, а сквозь его стеклянные стены – английский сад, где «излучистые песчаные дороги пролегают, возвышаются холмы, ниспускаются долины, протягиваются просеки, блистают стеклянные водоемы» [4], павильоны и возвышенности спускаются к Неве. Тропический лес и заснеженные холмы – что

из этого настоящее?

В центре Зимнего сада, под куполом инкрустированной бриллиантами ротонды возвышалась на алтаре статуя императрицы. Табличка у подножия скульптуры «Екатерина II – законодательница» работы Шубина гласила: «Матери моей родины и моей благодетельнице» [5]. Потёмкин проводил Екатерину на приподнятую веранду слева от зала с колоннами. Веранда была украшена персидскими коврами и выходила окнами в сад. Среди тропических растений танцевали кадриль две группы детей по двадцать четыре человека в каждой. Дети, по мнению Екатерины, были прелестнейшими в Петербурге. Детские костюмы небесно-голубого и розового цвета сплошь были осыпаны «драгоценностями со всего города и окраин». Мальчиков одели в испанские наряды, девочек – в греческие. В первой группе сложный балет, поставленный прославленным хореографом Ле Пиком, танцевал великий князь Александр, будущий император и победитель Наполеона. Великий князь Константин был во второй группе. «Ничего более восхитительного, необыкновенного и прекрасного быть не может», – писала позже Екатерина. После сам Ле Пик станцевал соло.

Когда стемнело, Потёмкин отвёл всю царскую семью в гобеленовую гостиную, где изображалась история Эсфири. Гости последовали за ними. Среди диванов и кресел сияло потёмкинское чудо: золотой слон в натуральную величину, украшенный изумрудами и рубинами. В основании слона помещались часы. Чернокожий погонщик в персидских шелках подал знак поднять занавес, и открылась сцена с амфитеатром и ложами. После двух французских комедий и балета парадом прошли все народы Российской империи, включая османских правителей крепости Измаил во всём азиатском блеске национальных костюмов. Пока гости наслаждались представлением, слуги в других залах зажгли ещё 140 000 ламп и 20 000 восковых свечей. К возвращению Екатерины зал с колоннами мерцал.

Князь за руку привёл Екатерину в Зимний сад. Когда они встали перед статуей в ротонде, он снова пал на колени и поблагодарил императрицу. Она подняла Потёмкина на ноги и нежно поцеловала в лоб в знак признания его деяний и преданности. Звучала ода Державина, посвященная победам светлейшего князя:

> Гром победы, раздавайся!
> Веселися, храбрый Росс! [6]

Потёмкин дал отмашку оркестру, и бал наконец начался. Екатерина играла в карты со своей снохой в гобеленовой гостиной, а затем отправилась отдыхать. У *него* были собственные покои во дворцах *Екатерины*, а у *неё* – в *его* дворцах. Их комнаты демонстрировали уютную интимность. Оба любили монументальные дворцы и крошечные спальни. Спальня Екатерины находилась в том же крыле, что и спальня Потемкина. Потолок в ней был расписан классическими символами изобилия, козами и пастухами. За настенным ковром скрывалась тайная дверь в прихожую, спальню и кабинет хозяина. Так партнеры могли посещать покои друг друга. Стены в строгой, удобной и светлой спальне князя были покрыты чистым шёлком[152]. Говорят, императрица иногда проводила здесь время, когда Потёмкин был дома. Она совершенно точно устраивала во дворце ужины [7].

В полночь Екатерина вышла к ужину в таком приподнятом настроении, что сорок восемь детишек снова станцевали кадриль. Покрытый золотом стол императрицы стоял в амфитеатре, где ранее играл оркестр. За четырнадцатью столами вокруг расселись сорок восемь вельмож. В других залах тоже стояли столы с закусками, освещаемые стеклянными бело-голубыми шарами. На одном из них находился огромный серебряный кубок, окруженный двумя исполинскими вазами герцогини Кингстон. Гостей обслуживали официанты в потёмкинских ливреях, а сам князь стоял у трона императрицы, словно Циклоп в самоцветах. Князь сам ухаживал за Екатериной, пока она не настояла, чтобы он сел и присоединился к трапезе. После ужина показали ещё несколько представлений, снова начался бал. В два ночи, на четыре часа позже, чем императрица обычно покидала балы, она поднялась. Князь Таврический проводил её тем же путем, каким привёл.

В вестибюле светлейший князь встал на колени: ритуальное подчинение великана в красном своей императрице на глазах придворных и европейских гостей. Он приготовил для неё спальню, если она пожелает остаться. Вероятность была мала, но он был рад возможности это предложить. Екатерина слишком устала, чтобы остаться. Оркестр подготовил две мелодии: одну, если императрица останется, другую – на случай её отъезда. Потёмкин задумал, что при отъезде он положит руку на сердце, и оркестр в тот же миг заиграет грустную любовную элегию, написанную им самим задолго до бала. Слова кантаты убеждали: «Единственное, что важно в мире – это ты». Великолепие бала, печальная песня и вид коленопреклоненного неуклюжего одноглазого гиганта растрогали императрицу. Партнёры очень

давно любили друг друга и чувствовали себя стариками. Оба залились слезами. Он снова и слова целовал её руку, они вместе поплакали, а затем Екатерина села в карету и уехала [8].

Это было похоже на прощание. Часто тот вечер интерпретируют как предвестие смерти Потёмкина. Задним числом многие события последнего его визита в Петербург воспринимаются иначе[153]. Но это, несомненно, была эмоциональная ночь, кульминация совместного приключения. Потёмкин остался на празднике, охваченный меланхолией и ностальгией, почти в трансе.

Князь подошёл попрощаться с хорошо знакомой ему дамой графиней Натальей Закревской, и она заметила его тоску. Она посочувствовала ему. «Не представляю, что станется с вами, – сказала она. – Вы моложе Властительницы. Вы переживете её, что станется тогда с вами? Вы никогда не согласитесь быть вторым мужчиной». Потёмкин рассеянно возразил: «Не тревожьтесь. Я умру раньше Властительницы. Умру совсем скоро». Больше она его не встречала [9].

«Никто другой не смог бы устроить такой роскошный праздник», – писал побывавший на вечере Стедингк [10]. Но торжество было легкомысленно дорогим. Потёмкин, предположительно, потратил за три месяца в общей сложности от 150 000 до 500 000 рублей. Было известно, что бал, как и предыдущие балы Потёмкина, оплачивался из казны. Однако вскоре распространилось мнение, что расточительность пришлась не по вкусу императрице.

Екатерина была так перевозбуждена балом, что не могла уснуть. Чтобы справиться с «легкой мигренью», она, словно юная девушка после первого бала, написала Гримму восторженное письмо о «fête superbe» [«пышном празднике» (*фр.*). – *Прим. перев.*]. Императрица рассказала, что поздно уехала, и даже нарисовала схему, чтобы показать, где она сидела. Не очень-то похоже на недовольство! Затем она намекнула на политическую подоплеку, что явно было спланировано вместе с Потёмкиным: «Вот так, месье, мы развлекаемся в Петербурге, несмотря на окружающие беды, войны и угрозы диктаторов». Под диктаторами она подразумевала прусского короля Фридриха Вильгельма Первого. Свидетельств неодобрения немыслимых трат Потёмкина не сохранилось. Но вполне вероятно, что Екатерина, как и любой из нас на её месте, была шокирована предъявленным счетом.

Пока императрица писала Гримму, из Польши пришли тревожные новости, означавшие, что Потёмкину придется задержаться в Петербурге намного дольше.

Двадцать второго апреля (3 мая) 1791 года Великий сейм

Речи Посполитой принял новую конституцию. Обсуждение было таким бурным, что один из депутатов даже вынул меч и пригрозил убить своего сына, как Авраам Исаака. Польская «Революция 3 мая» создала наследственную монархию, где трон доставался курфюрсту Саксонии или его дочери. Монарх обладал армией и мощной исполнительной властью, фактически сочетавшей в себе принципы английского королевства и американского президентства. Варшава восхищалась слоганом «Король вместе с народом». На тех, кто считал, что Речь Посполитая находилась в безвыходном положении, это произвело впечатление. Эдмунд Берк писал: «Счастливый народ, счастливый князь».

Время было удачным для русских, но злополучным для поляков, потому что англо-прусская коалиция готова была развязать России руки в отношении неудобного непокорного соседа. Екатерина и Потёмкин неприязненно относились к Великой французской революции. Императрица объявила Республику «умственным недугом» и уже начала преследовать радикальные идеи внутри России. Польская же революция была консервативной, она укрепила, а не ослабила монархию и уменьшила привлекательность революции. Однако Екатерина рассматривала её как продолжение якобинской Французской революции в ее собственной сфере влияния. «Мы полностью готовы, – зловеще сообщала она Гримму, – и, к сожалению, не отступим и перед самим дьяволом» [11].

Потёмкин почти ежедневно получал доклады от Булгакова, Браницкого и шпионов в Варшаве и тоже пристально следил за происходящим. Оно ему не нравилось [12]. Потёмкин решил захватить контроль над польской политикой и воплотить в жизнь свои тайные планы. Ему пока не удалось избавиться от Зубова. Возможно, князь считал, что османский мир и успехи в Речи Посполитой окажутся сильнее критики. Поэтому он задержался намного дольше, чем обещал Екатерине. Обсуждение ситуации в Речи Посполитой серьезно укрепило их товарищество. Однако до того, как заняться поляками, им предстояло склонить турок к соглашению и разрешить Очаковский кризис с посланником Питта Уильямом Фокенером, который должен был вот-вот прибыть.

«Ежели хочешь камень свалить с моего сердца, ежели хочешь спазмы унимать, отправь скорее в Армии курьера и разреши силам сухопутным и морским произвести действие наискорее», – писала Екатерина Потёмкину в начале мая. Это был единственный способ заключить желаемый ими обоими мир [13]. Князь в состоянии творческой эйфории раздавал приказы

офицерам и основывал новые поселения на юге. Одиннадцатого мая Потёмкин повелел адмиралу Ушакову выйти в море и преследовать врага; Репнину, который командовал основными войсками в его отсутствие, – решительно переправиться через Дунай и разбить любые концентрации турецких войск, а командиру кубанских казаков Гудовичу – захватить Анапу, самую сильную османскую крепость в том районе [14]. Партнеры тем временем строили планы, касавшиеся Речи Посполитой.

Шестнадцатого мая англо-прусский кризис все еще не был разрешен. Екатерина подписала первый рескрипт Потёмкину в отношении Речи Посполитой. Князь мог вмешаться, только если прусские войска войдут в Польшу. В этом случае он предложит полякам османское Молдавское княжество в обмен на требование дать обратный ход революции. Если это не сработает, Потёмкин пойдет на традиционные «крайние меры»: создаст конфедерацию под управлением своих польских союзников Браницкого и Потоцкого. В список одобряемых «крайних мер» Екатерина отдельно добавила «тайный план» Потёмкина поднять православных в Киеве, Подолье и Брацлаве под знаменем великого гетмана Черноморского казачьего войска [15]. Обычно считается, что Потёмкин не получил тех полномочий, которых хотел [16]. Между тем его власть простиралась довольно широко, хоть и была ограничена возможным нападением Пруссии и Англии (переговоры с Фокенером ещё не начались)[154]. К тому же Потёмкин получал приказы, не как школьник от директора, пара всегда работала над ними вместе, исправляя черновики. Рескрипты и письма показывают, что Екатерина согласилась с казачьими и молдавскими схемами Потёмкина. И соглашалась более двух лет.

Польские планы Потёмкина остаются секретом последнего года его жизни. Он создал хитросплетение нитей, которые никто не смог распутать. Его замыслы были многогранны, изменчивы и экзотичны. Князь всегда выбирал план в последний момент, а пока рассчитывал на всё сразу. Он размышлял над Польским вопросом с момента своего прихода к власти. Его политика в отношении Речи Посполитой была многоуровневой, но неотделимой от стремления править за пределами России. Все планы Потёмкина включали создание собственного королевства. Он убедил себя, что «независимое» Польское герцогство, построенное вокруг города Смела, поможет России завуалированно присоединять земли Центральной Европы и не расплачиваться с другими государствами с помщью второго раздела Польши.

Потёмкин подготовил четыре проекта. Аннексия Молдавского

княжества Речью Посполитой хорошо бы вписалась в образ Польши, нарисованный союзником Потемкина Феликсом Потоцким в его майском письме светлейшему. Он представлял её федеральной республикой полунезависимых гетманщин. Существовал еще и план конфедерации Браницкого и Потоцкого, которые отказались бы от новой конституции и заменили её старой версией или составили бы новую федеральную конституцию, предложив Молдавское княжество в качестве компенсации. Потёмкин начал обхаживать Потоцкого ещё в феврале, пригласив того на встречу «во имя благоденствия нашей общей страны» [17].

Была еще и идея войти в Речь Посполитую в качестве великого гетмана Черноморского казачьего войска, чтобы освободить православных верующих Восточной Польши. В этом плане соединились польское происхождение Потёмкина, его царские амбиции, любовь к драме, русское стремление сломить Польскую революцию и его «страсть к казакам» [18]. Ещё до того, как было создано гетманство, Потёмкин видел особую роль Черноморского казачьего войска в судьбе Польши [19]. Например, шестого июля 1787 года Екатерина разрешила князю набрать четыре эскадрона казаков в польских деревнях [20], где уже располагались его войска – конные и пешие отряды Смелы [21]. Александра Браницкая позже объясняла, что Потёмкин «хотел объединить казаков с польской армией и объявить себя королём Польши» [22].

Сейчас этот план кажется наименее реальным, но он был вполне выполним. Православные провинции Подолья и Восточной Польши под предводительством таких магнатов, как Феликс Потоцкий с его старомодным видением польской независимости, сильно отставали от искушённых католических патриотов, занимавших большинство мест в варшавском Четырёхлетнем сейме. Их новомодные взгляды на свободу были навеяны французами. К тому же они ненавидели Потёмкина. Ошибочно рассматривать вхождение в Польшу казачьего войска отдельно от остальных планов. Екатерина и Потёмкин явно связывали это с возможностью взбунтовать православное население против варшавской революции. Это, вероятно, позволило бы светлейшему князю получить собственное королевство под российским влиянием в федеративной Польше.

Четвёртый проект заключался во втором разделе Польши. Потёмкин всегда без стеснения обсуждал новый раздел и часто поддразнивал им прусских послов. Вопреки мнению националистически настроенных польских историков, это была крайняя мера. Он мог вынудить Польшу уступить Торунь и

Гданьск в апреле, чтобы предотвратить войну ещё на двух фронтах, но момент был упущен. Гордый перерожденный отпрыск шляхты понимал, что раздел разрушил его древнюю родину, «общую страну», и погубил его личный статус за пределами России. В стратегическом плане больше всех выиграла Пруссия. Династия Гогенцоллернов приблизилась к России. Потёмкин предпочитал петровскую политику сохранения независимой Речи Посполитой в качестве ослабленной и эксцентричной буферной зоны. Потёмкин хотел не разделить, а увеличить Польшу, как, например, в плане о Молдавском княжестве. Проживи князь дольше, он, возможно, смог бы предотвратить раздел. Если бы Екатерина умерла раньше Потёмкина, он, скорее всего, стал бы польским вельможей.

Потёмкин остался в Петербурге, чтобы решить Польский вопрос. Истории о его странных планах кружили по лихорадочной революционной Варшаве. Польский посол Деболи усиливал напряжение, передавая Станиславу Августу Понятовскому слухи о королевских амбициях Потёмкина. Придворные враги Потёмкина объединились, чтобы наконец свергнуть его. Предстоял тяжелейший кризис в его долгой дружбе с Екатериной.

«Мы и без вас справлялись, не правда ли?» – по утверждению враждебно настроенного Деболи так Екатерина ответила Потёмкину. Слова переданы правдиво, но говорила она их скорее как жена, иронично поддевающая мужа, а не требующая развода. Уильям Фокенер, особый посол Питта, прибыл 14 мая, но длительные переговоры о преодолении Очаковского кризиса начались только в начале июня. Екатерина и Потёмкин подолгу беседовали с послом. В неопубликованных письмах Фокенер замечал, что, несмотря на разный стиль общения, оба они говорили примерно одно и то же. Во время одной из аудиенций Екатерина хвалила удивительно хорошее настроение Потёмкина, когда её внезапно прервал собачий лай. Одна из борзых императрицы лаяла на ребенка снаружи. Екатерина успокоила мальчика, демонстративно повернулась к Фокенеру и заметила: «Лающие собаки не всегда кусают» [24].

Потёмкин же привёл на ужин испуганного английского бульдога, а английского посла ошеломил странным и непоследовательным монологом. «Он сказал, что русский и любит свою страну, но и Англию любит. А я островитянин, значит, эгоистичный и люблю только свой остров». Потёмкин сделал предложение в своем стиле: почему бы Британии не захватить Крит (Кандию) в качестве награды за Османскую кампанию? Это *pied-à-terre* [временное пристанище (*фр.*). – *Прим. пер.*] позволило бы Британии временно взять под контроль

торговлю с Египтом и Ливаном. После князь хвалился своими южными землями, почвами, народом, флотом, «великими проектами», успех которых зависел «только от него». В итоге озадаченный Фокенер доложил в Лондон, что не имел возможности вставить ни слова. У Питта не осталось сомнений ни в намерениях России оставить Черное море за собой, ни в отказе идти на компромисс в отношении Очакова [24]. К началу июля Англия и Пруссия поняли, что им придется подчиниться требованиям Екатерины.

Фокенер ещё сильнее смутился, когда в Петербург прибыл Роберт Адэр. Его в качестве неофициального посла от оппозиции прислал Чарльз Джеймс Фокс – вредный и, возможно, антигосударственный поступок. Семён Романцов обеспечил двадцативосьмилетнему послу теплый приём, сообщив Потёмкину, что сама герцогиня Девонширская Джорджиана, задававшая *ton* в обществе, «оказывает ему честь своей дружбой» [26]. Князь и императрица отлично встретили Адэра, а на прощание Потёмкин подарил ему от имени Екатерины кольцо с её портретом [27].

Преисполненный достоинства князь напоминал благородного медведя, которого травила стая собак. Екатерину подсознательно тревожило возвышение Потёмкина, и Зубов играл на этом, намекая, что князь может стать для неё угрозой. «Крылося какое-то тайное в сердце императрицы подозрение против сего фельдмаршала», – вспоминал поэт неоклассицизма и госслужащий Гавриил Державин [28]. Светлейший князь ворчал, что государыня окружена его врагами. Тем летом Потёмкин реже ездил к Екатерине в Царское Село и оставался у нее ненадолго. Приближался срок соглашения с Англией и Пруссией, Польский вопрос стоял всё более остро, и послы замечали прохладное отношение императрицы к князю. Как это часто случалось раньше, холодность вызвала надежду у врагов Потёмкина.

Зубов не только подрывал доверие Екатерины к князю. Сначала он смог отдалить Суворова от его бывшего командира, предлагая ему награды, которые Потёмкин уже рекомендовал. Таким образом, Суворов разошёлся с Потёмкиным не из зависти, а по причине интриг. Затем Зубов «от лица Императрицы» приказал Державину просить покровительства не у Потёмкина, а обращаться за любой милостью к нему.

Державин прославился одой «Фелица», где шутливо описал генерал-прокурора Вяземского вспыльчивым, а Потёмкина лентяем. Однако князь годами защищал его перед Вяземским и другими недоброжелателями [30]. Державин отплатил Потемкину за любезность жалким предательством. И едкими

стихами. (Его шедевр «Водопад», вдохновивший Пушкина, стал посмертной данью князю [31].) Зубов предложил Державину пост секретаря императрицы. Поэт принял предложение и снизил уровень восхищения Потёмкиным в своих стихах.

Прочитав одно из его новых стихотворений, Потёмкин в гневе выбежал из спальни, приказал подать карету и уехал «Бог знает куда» в разгар бури с громом и молнией. Несколько дней спустя Державин смиренно предстал перед князем. Потёмкин знал, как именно Зубов настроил его протеже против него, и принял поэта холодно, но без обиды [32].

Во время политических напряжений князь всегда вёл себя маниакально. Он грыз ногти и с неудержимым энтузиазмом заводил романы. Державин и иностранцы, такие как Деболи, заверяли, что Потёмкин сошёл с ума. Это был намёк на безумство, вызываемое последней стадией сифилиса. При этом никаких доказательств сифилиса не было. Деболи утверждал, что однажды ночью Потёмкин явился пьяным в дом графини Пушкиной и погладил её по волосам. Она пригрозила выкинуть его за порог, а он, едва шевеля языком, ответил, что ещё не отказался от идеи стать польским королём [33]. Неправдоподобная история. Кроме того, даже враги признавали – никогда раньше Потёмкин не пользовался таким успехом у женщин. Критик князя граф Ростопчин отмечал: «Женщины жаждали внимания князя Потёмкина, как мужчины жаждут чинов» [34]. Светлейший князь устроил трёхдневный прием в одном из своих домов рядом с Царским Селом «в то время, как весь город увлечён слухами о его ссоре с одной дамой, ухаживанием за другой и настоящей привязанностью к третьей», – с восторгом докладывал в Лондон Фокенер [35].

Ловушка для Потёмкина захлопывалась. Большинство историков считают, что когда Потёмкин всё же уехал из Петербурга в конце июля, он был уничтожен Зубовым, отвергнут Екатериной, повержен врагами и умирал от разбитого сердца. Совсем не похоже на правду.

В июле, когда граф был в Петергофе, Зубов решил, что вложил в голову Екатерине достаточно подозрений и его переворот произойдет уже скоро [36]. Но кто мог заменить Потёмкина в войне или политике? Кандидат был только один. Двадцать четвертого июня в столицу тайно прибыл граф Алексей Орлов-Чесменский. С 1774 года его приезды всегда совпадали с попытками свергнуть Потёмкина. Граф любил хвалиться, что едва он заходит в дверь, Потёмкин выходит через окно [37]. Но когда Орлов-Чесменский прибыл в Царское Село, Екатерина сообщила об этом в записке Потёмкину. Не похоже, что императрица

собиралась низложить князя [38]. В июне и июле Потёмкин писал из города в Царское Село о мучившей его заусенице. Царица озаботилась и ответила, подписавшись фразой «Adieu Papa» [прощай, батинька (*фр.*). – *Прим. перев.*] и вложив обычное льстивое письмо от Зубова. Потёмкин прислал ей в подарок платье [39]. Деболи рапортовал, что Екатерина любезно попросила Орлова-Чесменского не нападать на её «большого друга» [40].

Влияние Потёмкина никуда не делось. Когда Фокенер наконец предложил подписать соглашение между Россией и Англией, князь сам принял предложение, не советуясь с Екатериной. По свидетельству Деболи, это вызвало раздражение российских министров. Данный факт доказывает, что Потёмкин не потерял власть [41]. Вскоре князь объявил о нескольких победах. Девятнадцатого июня он сообщил, что Кутузов точно следовал его приказам, ударил по Бабадагу и нанёс поражение 20 000 туркам. Двадцать второго июня Гудович штурмовал Анапу и взял в плен чеченского героя, шейха Мансура, который там скрывался[155]. «Вот ключ, отворивший двери к большим ударам, – сообщил Екатерине Потёмкин второго июля. – Теперь изволишь увидеть, как заревут в Азии». В тот день императрица в компании двух Зубовых приехала из Петергофа в Петербург, возможно, чтобы примириться с князем. Они отобедали в Таврическом дворце, Екатерина произнесла тост в честь Потёмкина. Какое же это неминуемое падение [42]?

Одиннадцатого июля Очаковский кризис был разрешен. Британия и Пруссия подписали соглашение, по которому Екатерина могла забрать Очаков и земли между Западным Бугом и Днестром при условии, что турки немедленно заключат мир. Если турки откажутся, Россия может сражаться за лучшие условия. В тот же день гонец объявил, что Репнин выполнил приказ Потёмкина ударить через Дунай по скоплениям врага и одержал великолепную победу при Мачине 28 июня, разбив восьмидесятитысячное войско великого визиря и предотвратив объединение двух турецких армий. «Благодарю за прекрасные новости, мой друг, – писала Екатерина Потёмкину. – В один день, мой друг, два праздника, да сверх того ещё чудесные дела. Завтра приеду в город отметить». В Казанском соборе императрице пели «Тебе Бога хвалим». Она устраивала для Фокенера ужины и балы, которые посещал и Потёмкин [43].

Варшава и Петербург ожидали реакции Потёмкина на Конституцию третьего мая. Князь, как огромная, хоть и ржавая, пушка разворачивался к Польше. Но что он собирался делать? Вокруг него витали интриги и ожидания. Деболи был убеждён,

что Потёмкин собирается стать польским королём, устроив «гражданскую войну» путем конфедерации или казачьего вторжения [44]. Браницкий в Варшаве бравировал тем, что может создать конфедерацию или патриотично увеличить территорию Польши. Александра Браницкая хотела, чтобы Потёмкин стал наследником Станислава Августа Понятовского [45]. Варшаву годами забрасывали памфлетами с предупреждением, что Потёмкин сделает престолонаследниками детей Александры [46]. Среди угроз встречались шутки. Князь не удержался от того, чтобы подразнить Деболи на одном из приёмов. Он сказал, что поляки так любят Порту, что даже носят турецкие панталоны. Деболи обиделся за свои брюки. «Я ответил, что чужие панталоны нам не нужны, ибо у нас есть свои» [47].

Потёмкина разрывали противоречия. Долг требовал мчаться на юг и обсуждать мир с Турцией. Но интуиция просила остаться в Петербурге, на виду у Зубова, до тех пор, пока они с Екатериной не решат, как поступить с Польшей. Это снова вызвало напряжение в отношениях между двумя сверхчувствительным властителями. Они были друг другом недовольны, ими управляли «уколы взаимной зависти» [48]. Екатерина желала, чтобы Потёмкин отправился на юг.

Разогревшаяся ссора касалась и женщин. Возможно ли, что Екатерина ещё ревновала Потёмкина, хоть любила своего Чернявого? Или её просто утомили его бесконечные кутежи? Потёмкин предложил назначить нерадивого князя Михаила Голицына одним из новых членов инспекции, созданной для борьбы со злоупотреблениями в армии. «Он тебе честь в Армии не принесет», – писала Екатерина. На самом деле её больше всего не устраивала жена Голицына. Все в Петербурге знали, что прекрасная гречанка уже наскучила Потёмкину. Теперь он был очарован княгиней Прасковьей Андреевной Голицыной (в девичестве Шуваловой), начитанной, но «беспокойной» девушкой, которая стала его «последней страстью» [49]. Екатерина говорила: «Позволь сказать, что рожа жены его, какова ни есть, не стоит того, чтоб ты себя обременял таким человеком ‹…› супруга его очаровательна, но решительно ничего не выигрывается, если ухаживать за нею». Действительно, семья Голицыной защищала её добродетель, и Потёмкин мог получить мужа, не заполучив его жены. Екатерина не сдерживала себя. Оба Голицына обманывают Потёмкина: «Мой друг, я привыкла вам говорить правду. Вы мне ее также говорите, когда случай к тому представится». Императрица уговаривала князя ехать на юг: «Заключите мир, после чего вы приедете сюда и будете забавляться здесь, сколько вам будет угодно ‹…› Письмо же сие издери по прочтении» [50].

Но Потёмкин сохранил самое резкое письмо, которое Екатерина когда-либо писала ему[156].

Приступ гнева, как это часто случалось, помог выпустить пар в конце ссоры. Екатерина только что подписала второй тайный рескрипт Потёмкину от восемнадцатого июля, который разрешал их спор и позволял князю незамедлительно ехать на юг. Русские, польские и западные историки в течение двухсот лет пытаются понять значение рескрипта. Огромная власть, которой он наделял Потёмкина, не соответствует легенде о том, что князь терял влияние. После смерти Потёмкина началось возвышение Зубова. Иностранцы, приезжавшие тогда в Петербург, говорили, будто Потёмкин был разбит, власть ускользала из его рук, он «не мог вынести мысли о позоре», когда «узнал, что Платон Зубов, вероятно, полностью завладел разумом Императрицы» [51]. Но если допустить, что Екатерина и Зубов собирались избавиться от Потёмкина, как она могла одарить его властью заключать мир или развязывать войну с Турцией и Речью Посполитой? Значит ли, что она подписала липовую бумагу, чтобы обмануть князя? Эти выводы сделаны по прошествии долгого времени и не соответствуют действительности [52].

Никто из современников не верил, что Потёмкина скоро отстранят. Все знали о ссорах, но даже недоброжелательные иностранцы Деболи и британский посол Уитворт докладывали, что сила светлейшего князя растёт, а не уменьшается. Уитворт сообщал Гренвилю: «Таково оказываемое ему доверие». Потёмкин имел «полную свободу решать», продолжать ли войну с турками или заключать мир [53]. Что касается интриг Зубова, «нет никакой вероятности их успеха», ведь «расположение Императрицы к Потёмкину безгранично» [54]. Много времени спустя Зубов сам признавал, что «победил наполовину», когда Потёмкину не удалось сместить его. «Окончательно устранить с моего пути никак не мог. А устранить было необходимо, потому что императрица всегда сама шла навстречу его желаниям и просто боялась его, будто взыскательного супруга. Меня она только любила и часто указывала на Потёмкина, чтоб я брал с него пример». А потом Зубов пояснял, для чего именно ему нужна была любовь императрицы: «Потёмкин – главная причина тому, что я не вдвое богаче» [55].

Стоит только осознать, что Потёмкина не собирались отправлять в отставку, и становится понятно, что указ был его триумфом и с лихвой компенсировал неудачное соперничество с Зубовым. Как только был заключен мир с Портой, Потёмкин получил возможность развязать войну в Речи Посполитой, претворить в жизнь планы и даже выбрать форму польской

конституции. Детали можно было обсудить с Потоцким. Главное, что поляки должны пригласить к себе русских, а не наоборот. «Наши интересы требуют, чтобы это случилось как можно скорее, чтобы зло ‹…› не укоренилось» [56]. Рескрипт свидетельствует: Потёмкин убедил Екатерину, что сможет создать подчиняющееся соседнее государство без раздела Польши. Однако Екатерина дала понять, что если планы провалятся, раздел станет единственным выходом.

В последнюю ночь в Петербурге светлейший князь обедал у своей племянницы Татьяны вместе с графиней Головиной, которая считала его неприличнейшим человеком. Но в тот вечер он растрогал её. Потёмкин снова и снова убеждал графиню, что никогда её не забудет. Он был уверен, что скоро умрёт [57].

В четыре утра 24 июля 1791 года Потёмкин отправился в Царское Село. Когда князь с бешеной скоростью ускакал на юг, императрица отправила ему вслед записку, дышавшую любовью и теплом давней дружбы: «Прощайте, друг мой, целую Вас». Больше они не виделись [58].

33. Последний путь

Его племянница спросила:
«Какие новости несешь?»
«Несу великую печаль.
Оденься в черное,
Твой дядюшка мертв,
Лежит на плаще среди степей».

Солдатский марш «Смерть Потёмкина»

Прибытие Потёмкина в Могилёв по пути на юг ознаменовалось звоном колоколов и пальбой из пушек. Кареты поднимали клубы пыли. Чиновники и помещики из отдаленных уголков области и дамы в лучших нарядах ожидали в доме губернатора.

Карета Потёмкина остановилась, толпа кинулась к ступеням. Князь Таврический вышел в запылённом свободном летнем халате и проследовал мимо встречающих, ни на кого не глядя. Тем вечером светлейший князь пригласил знатного польского патриота Михаила Огинского поужинать с ним и устроил искрометное представление, рассуждая о Голландии, «которую он знал так, словно прожил там всю жизнь, об Англии, о правительстве, привычках и морали которой ему было известно всё», а после говорил о музыке и живописи, про которые «англичане не имели понятия». Когда речь зашла об искусстве войны, князь объявил, что ключ к победе – нарушать правила. Изучать стратегию недостаточно, «с этим нужно родиться» [1]. Едва ли это можно считать поведением неудавшегося политика и сломленного человека.

Пока Потёмкин приближался к Молдавии, князь Репнин вёл переговоры с Великим визирем в Галаце. Потёмкин радостно сообщил Екатерине, что предварительное соглашение достигнуто двадцать четвертого июля. Однако тридцать первого июля, всего за день до приезда светлейшего князя, Репнин подписал перемирие. Говорили, что Потёмкин был в ярости от зависти, ведь Репнин украл его славу. Однако доклады Репнина свидетельствуют, что Потёмкин был доволен тем, что его отправили на переговоры, он просто не хотел, чтобы тот подписывал соглашение. Гнев Потёмкина был обусловлен

политическими и личными причинами, но едва ли основывался на зависти. Репнин, которого Екатерина считала «хуже бабки», был племянником покойного Никиты Панина, масоном-мартинистом и участником кружка пруссофилов великого князя Павла. При этом он стал безропотной рабочей лошадкой Потёмкина. «Библия объединяет их», – объяснял де Линь. Мартинизм одного и суеверия другого «превосходно друг друга дополняют» [2]. Это осталось в прошлом. Поступок Репина поддерживали из столицы: Зубов в письмах обещал защитить его от потёмкинского гнева. По одной из версий, Потёмкин кричал: «Мартинистишка, как ты смеешь?!» [3]

Репнин подписал неправильный акт в неправильное время. Не зная о договоренности с Фокенером, он согласился на восьмимесячное перемирие, которое должно было позволить туркам перевести дух и перестроить силы, а также на требование Турции о том, чтобы Россия не обороняла переданную территорию. Кроме того, Репнин не понимал, что Потёмкин ждет новостей об Ушакове и флоте – в случае успеха ставки можно было поднять. Так вышло, что Ушаков победил османский флот в день подписания перемирия. В Константинополе запаниковали. Екатерину безмерно обрадовало известие Потёмкина о перемирии, однако она вместе с Безбородко осудила неуклюжие промахи Репнина. Узнав о триумфе Ушакова, императрица рассердилась [4]. Потёмкин мог воспользоваться этой победой, чтобы заставить турок вновь пойти в бой и тем самым избавить Россию от соглашения с Фокенером [5]. Это все ещё было возможно, хотя уступки Репнина осложнили дело.

Светлейший князь метнулся в Николаев осмотреть новые боевые корабли, затем поспешил обратно в Яссы, преодолев пятьсот вёрст всего за тридцать часов. Как часто случалось раньше, после месяцев нервного напряжения, безудержных кутежей, перегрузок и утомительных поездок Потёмкин заболел. В Константинополе был мор, на юге бушевала эпидемия лихорадки. «Я подобного не видал еще», – говорил князь Екатерине, которая, как в старые времена, волновалась о его здоровье [6]. Яссы наполнились миазмами прелых болот [7]. Все начинали болеть.

Великий визирь Юсуф-паша собрал на Дунае новое османское войско из 150 000 человек. Его посол начал переговоры об оставлении за собой Днестра, чтобы прощупать намерения Потёмкина. Князь прервал переговоры. Визирь принес извинения и предложил казнить своего посла. Потёмкин потребовал независимости Молдавии, передачи Анапы и предоставления России права утверждать господарей Валахии [8]. Он поднимал

ставки, подталкивая турок к продолжению войны, чтобы таким образом освободить Россию от договора с Фокенером. Но пришло тревожное предзнаменование.

Тринадцатого августа 1791 года один из потёмкинских офицеров Карл Александр (герцог Вюртембергский), шурин великого князя Павла, умер от лихорадки. Потёмкин, друживший с женой Павла, похоронил её брата с царскими почестями. Князь сам боролся с болезнью, его уже терзали предчувствия смерти. Он много вёрст подряд шел за кортежем по жаре, а у места погребения выпил два стакана ледяной воды. Когда в разгар похорон мимо проезжал катафалк, мучимый бредом Потёмкин перепутал его со своей каретой и попытался забраться внутрь. Для человека суеверного это был удар колокола: «Бог свидетель, что замучился». Князь упал. Когда его увозили из Галаца, он приказал Репнину выводить армию из больного города [9].

Потёмкин отдыхал в близлежащей Гуше. Попов наконец убедил его принять лекарство, возможно, кору южноамериканского хинного дерева – предшественника хинина. Князю полегчало, он даже смог назначить Самойлова, Рибаса и Лашкарёва полномочными представителями России. Екатерина боялась потерять своего незаменимого спутника: «Я Бога прошу, чтоб от тебя отвратил сию скорбь, а меня избавил от такого удара». Императрица плакала несколько дней. Двадцать девятого августа она помолилась о здоровье Потёмкина во время ночной службы в Невском монастыре, пожертвовав там золото и бриллианты. Александру Браницкую призвали к дяде. Через десять дней Потёмкин сообщал Екатерине: «Мне легче. Я не уповал уже Вас, матушка родная, Всемилостивейшая Государыня, видеть» [10]. Он вернулся в Яссы, но полностью от лихорадки не оправился.

«Не понимаю, как, в крайней слабости быв, можешь переехать из места в место», – писала Екатерина и добавляла, что Зубов «весьма безпокоился о твоей болезни и один день не знал, что и как печаль мою облегчить». Даже больной Потёмкин наверняка закатывал глаза от этой фразы, однако он до последних дней передавал поклоны «зубу», который не смог удалить. Четыре дня князь страдал от жара и головной боли, десятого сентября положение улучшилось. Потёмкин писал императрице: «Я во власти Божией, но дела Ваши не потерпят остановки до последней минуты» [11].

Он действительно следил за ходом мирных переговоров, отправлял визирю подарки [12], размещал войска на случай нового витка войны и рапортовал о возвращении флота в Севастополь. Князь не поддался на интриги Польши. Он тайно

призвал своих союзников – генерала артиллерии польской армии Феликса Потоцкого и фельд-гетмана Короны королевства Польского Северина Ржевуского: «Имею честь предложить личную аудиенцию». Встреча нужна была, чтобы сообщить об «искренних намерениях» и «особых пожеланиях» императрицы [13]. Медлить не стали. За всё лето Потёмкин ни разу не отказывался от создания колоний, кораблестроения и развлечений [14]. Он жаждал приятной музыки и оживленной компании. Двадцать седьмого августа князь писал французскому политику и историку Габриэлю Сенаку де Мейлану, что его рассуждения о Великой французской революции и Древней Греции «так привлекательны, что требуют личного обсуждения». Потёмкин приглашал: «Приезжайте ко мне в Молдавию».

В музыкальном плане здоровье Потёмкина улучшало сочинение гимнов. В его «Каноне к Спасителю» говорилось: «И ныне волнующаяся душа моя и уповающая в бездне беззаконий своих ищет помощи, но не обретает. Подаждь ей, Пречистая Дева, руку свою…» [15]. Также князь стремился нанять нового, более одаренного композитора. Российский посол в Вене Андрей Разумовский предлагал: «Хотел было я отправить к Вам первого пианиста и одного из лучших композиторов в Германии». Композитор уже получил приглашение и согласился приехать: «Он недоволен своим положением здесь и охотно предпринял бы это путешествие. Теперь он в Богемии, но его ожидают сюда обратно. Если Ваша Светлость пожелает, я могу нанять его не надолго, а так, чтобы его послушать и подержать при себе некоторое время» [16]. Ответ Потёмкина не сохранился. Композитора звали Моцарт[157].

Состояние Потёмкина ухудшалось. Сложные лабиринты увлечений отошли на второй план. Остались только отношения, которые существовали в его жизни на протяжении двадцати лет. Екатерина и светлейший князь снова писали друг другу простые любовные записки, будто не хотели упустить ни единой возможности выразить друг другу глубокую привязанность. Охваченный лихорадкой город Яссы был «сущей больницей». Многие пациенты, в том числе Репнин и Фалеев, медленно поправлялись после четырех дней лихорадочного бреда. Но не Потёмкин, которого навестили Сашенька Браницкая и София де Витт [17].

Екатерина стремилась быть в курсе болезни и следить за выздоровлением, словно Потёмкин находился в её покоях в Зимнем дворце. Но дорога занимала у курьеров от семи до двенадцати дней, поэтому полные заботы и беспокойства письма Екатерины не поспевали за событиями. Когда она думала, что

Потёмкину лучше, ему уже становилось хуже. В одном письме он сообщал, что поправляется, а в следующем – что быстро угасает. 16 сентября Екатерина получила первое письмо: «Первое меня много обрадовало, ибо видела, что тебе было лехче, а другое паки во мне умножило безпокойство, видя, что четверо сутки ты имел непрерывный жар и боль в голове. Прошу Бога, да подкрепит силы твои. ‹…› Прощай, мой друг, Христос с тобою» [18].

Екатерина не могла наслушаться вестей о Потёмкине. Она приказала Попову присылать ежедневные отчеты и попросила Браницкую: «Пожалуй, графиня, напишите ко мне, каков он, и постарайтесь, чтоб он берегся как возможно от рецидивы, коя хуже всего, когда кто от болезни уже ослаб. Я знаю, как он безпечен о своем здоровье». Браницкая и Попов наблюдали болезнь, с которой три доктора, француз Массо и два русских, мало что могли сделать [19]. Агонизирующий упадок можно проследить по письмам всё более беспокойной Екатерины и всё более слабого Потёмкина. Со временем письма сменились докладами Попова.

Потёмкин всхлипывал, читая послания Екатерины. Он думал, что поправляется, хотя признавал: «Стреляние в ухо меня мучит». Даже умирая, князь волновался о восьми тысячах больных солдат: «Слава Богу, что не мрут». Турецкие послы прибывали через четыре дня: «Много ожидаю плутовства, но я остерегусь». Потёмкина перевезли из Ясс в загородный дом [20].

Князь перестал пировать и питался скромно. Это сработало: «Здоровье его Светлости час от часу становится лутче». Потёмкин воспользовался возможностью составить маршрут, по которому русская армия будет выходить из Молдавии, потому что путь через Польшу пока был закрыт. Переговоры продолжались. Мир внимательно наблюдал: австрийцы подписали мир с Портой в Систове. Венские газеты печатали сообщения о болезни Потёмкина. Гонцы почти каждый день приносили им новости об улучшении, ухудшении, новом улучшении. В случае войны Потёмкин командовал бы сам, но пока ему требовались представители в Валахии и Молдавии. Мирные переговоры обещали быть мрачными. Князь собирался в Вену сразу после подписания мира.

Потёмкин «устал, как собака» и через Безбородко убеждал Екатерину: «Я себя не щажу» [21]. Через три дня лихорадка возобновилась с удвоенной силой. Князь дрожал и слабел. Браницкая не отходила от него ни днем, ни ночью[158]. Потёмкин отказался принимать хину. Попов докладывал: «При всем его от оных отвращении убеждаем Его Светлость к принятию Высочайшим Вашего Императорского Величества имянем».

Светлейший князь умолял Безбородко найти ему китайский шлафрок: «Оный мне крайне нужен». Екатерина поспешила выполнить пожелание и прислала в дополнение к халату шубу. Князь диктовал донесения о больных в армии в тот же день, когда патетически написал: «Сна лишился и не знаю, когда будет конец» [22].

Князь «подвержен был безпрестанным и жестоким страданиям». К двадцать пятому сентября его стенания начали угнетать окружающих. Потёмкин осознал, что лихорадка завладела им, и, казалось, решил наслаждаться уходом. По легенде он «разрушал себя», и пиры этому способствовали. Горячечный «султан» запивал ветчину, соленого гуся и трех или четырех цыплят квасом и всеми видами вина, не удерживался он и от других алкогольных напитков. Из Астрахани и Гамбурга заказывали стерлядь и копчёных гусей. Говорили, что князь специально избегает выздоровления. Когда Потёмкин становился мокрым от пота, он выливал на себя «десять флаконов одеколона». Светлейший умирал так же эксцентрично, как жил [23]. Он был слишком болен, чтобы о чем-то ещё беспокоиться.

Князь говорил о «безнадежности своей жизни». Попов печально докладывал Екатерине: «Со всеми прощался, не внемля никаким нашим вопреки сего увериниям». Потёмкина навестили архиепископ Амвросий и грузинский митрополит Иона, которые уговаривали его питаться умеренно и принимать лекарства. «Едва ли я выздоровею, – отвечал Потёмкин. – Но да будет воля Божия». Затем он повернулся к Амвросию и принялся обсуждать с ним смысл жизни, показав, что, несмотря на русские предрассудки, он был порождением Просвещения. «Ты духовник мой, – продолжал он, обращаясь к Амвросию, – и ведаешь, что я никому не желал зла. Осчастливить человека было целию моих желаний»[159]. Услышав это признание, все присутствующие ударились в слезы. Священники вышли, и доктор Массо сообщил им, что положение безнадёжное. «Глубокое отчаяние овладело нами, но нечего было делать», – писал Иона [24].

На следующий день князь оживился. Ничто не улучшало его настроение больше, чем письма императрицы. Письма прибыли вместе с мягкой шубой и халатом. Они вызвали у Потёмкина размышления об их с Екатериной прошлом и о своём будущем. Попов сообщал: «При напоминании Высочайшего Вашего Величества имяни всегда льются обильныя слезы из глаз его». Князь смог самостоятельно написать записку: «Матушка родная, жить мне больше тяжело, что тебя не вижу» [25].

Тридцатого сентября Потёмкину исполнилось пятьдесят два года. Все пытались утешить его, но он «горько плакал» о том, что

больше не увидит Екатерину. В тот день, в тысячах вёрст к северу императрица, прочитав доклады Попова, писала «другу сердечному»: «Всекрайне меня безпокоит твоя болезнь». Она умоляла «Христа ради» принимать лекарство: «Да, приняв, прошу уже и беречь себя от пищи и питья, лекарству противных». Это был ответ на донесения Попова десятидневной давности. Когда письмо отправилось из Петербурга, Потёмкин проснулся, с трудом дыша – по всей видимости, это был симптом пневмонии. Лихорадка возвратилась, князь лишился сознания. Второго октября ему стало лучше. От хины он снова отказался. Этот вечный кочевник жаждал увидеть степи и почувствовать бриз Черного моря. Попов писал: «Теперь желает Его Светлость, чтоб везли его отсюда в здоровейшее место, но я не знаю, как тронуться ему отсюда, когда все силы его изнурены до крайности» [26].

Пока окружение Потёмкина решало, что делать, князь собственноручно писал свое последнее письмо императрице – простое и учтивое выражение преданности любимой женщине:

> Матушка Всемилостивейшая Государыня! В теперешнем болезнию изнуренном состоянии моем молю Всевышнего да сохранит драгоценное здравие твое, и повергаюсь к освященным Вашим стопам
>
> *Вашего Императорского Величества*
>
> *вернейший и благодарнейший подданный*
>
> *Князь Потёмкин Таврический*
>
> *Матушка, ох как болен.*

После он лишился сознания, никого не узнавал, затем ушел в кому. Доктора девять часов не могли нащупать пульс. Его руки и ноги были холодными, как лёд [27].

Тем временем в Петербурге Екатерина читала письма от двадцать пятого и двадцать седьмого сентября: «жить мне больше тяжело, что тебя не вижу». Она плакала и изучала почерк, пытаясь найти проблески надежды. «Признаюсь, что они крайне меня безпокоят, хотя вижу, что последние три строки твои немного получе написаны, – отвечала она в последнем письме другу. – И доктора твои уверяют, что тебе полутче. Бога молю…» Браницкой Императрица написала: «Пожалуй, останься с ним… Прощай, душа, Бог с тобою» [28].

Днём Потёмкин проснулся и скомандовал ехать. Он был

уверен, что поправится, если доберется до Николаева. Ночью он не спал, но был спокоен. Утром постоянно спрашивал: «Который час? И всё ли готово?» Стоял густой туман, но князь был непоколебим. Потемкина усадили в кресло и отнесли в шестиместную карету. Там его постарались устроить поудобнее. Он продиктовал письмо Екатерине, в котором сообщил, что обессилел. Попов показал ему письмо, и внизу страницы Потёмкин смог нацарапать: «Одно спасение уехать». Подписать письмо ему не удалось.

В восемь утра карета Потёмкина в сопровождении докторов, казаков и племянницы двинулась через степи к холмам Бессарабии.

Эпилог. Жизнь после смерти

В пыли героев попирают!
Героев? – Нет! – но их дела
Из мрака и веков блистают;
Нетленна память, похвала
И из развалин вылетают;
Как холмы, гробы их цветут;
Напишется Потёмкин труд.

Г.Р. Державин. «Водопад»

На следующий день после смерти тело покойного торжественно перевезли в Яссы для вскрытия и бальзамирования. Аутопсия проводилась в его покоях во дворце Гики[160]. Разрезав величественный мягкий живот, доктор Массо с помощниками осмотрели внутренние органы и по одному извлекли их, осторожно разматывая кишечник, словно длинный шланг [1]. Они нашли органы слишком «влажными» от желчи. Печень была увеличена, и доктора констатировали разлитие желчи. Разумеется, всюду ходили слухи об отравлении, но не удалось обнаружить ни одного тому подтверждения. Вероятнее всего организм Потёмкина ослаб от лихорадки (то ли тифозной, то ли малярийной), геморроя, злоупотребления алкоголем и общей усталости, но вряд ли эта измождённость стала причиной смерти. Ушные боли, влажный кашель и затруднённое дыхание позволяют нам заключить, что он, вероятно, скончался от бронхопневмонии. Так или иначе, запах желчи был невыносим. Даже бальзамирование не помогло от него избавиться [2].

Доктора забальзамировали тело: Массо выпилил треугольное отверстие в задней части черепа и извлёк мозг, затем наполнил черепную коробку ароматическими травами и зельями, чтобы высушить и сохранить в целости эту знаменитую голову. Внутренности поместили в ящик, сердце – в золотую урну. После этого тело вновь зашили, словно мешок, и нарядили в лучший княжеский мундир.

Вокруг царил полный хаос. Потёмкинские генералы спорили, кто же возьмёт на себя командование армией. Все ожидали решений Екатерины: тело, наследство, её собственные любовные письма, война и мир в империи [3]. Семь дней спустя новость достигла Петербурга, и императрица упала в обморок, зарыдала,

ей пустили кровь, а затем она заперлась в своих покоях, будучи не в силах уснуть. Её секретарь Храповицкий оставил заметки об этих днях «слёз и отчаяния». Екатерина пыталась найти утешение, сочиняя похвальное слово для Потёмкина: «Это был человек… превосходного сердца; цели его всегда были направлены к великому. Он был человеколюбив, очень сведущ и крайне любезен. В голове его непрерывно возникали новые мысли; какой он был мастер острить, как умел сказать словцо кстати. В эту войну он выказал поразительные военные дарования: везде была ему удача; и на суше, и на море. Им никто не управлял… Одним словом, он был государственный человек: умел дать хороший совет, умел его и выполнить».

Но больше всего императрица дорожила их личными отношениями: «Его привязанность и усердие ко мне доходили до страсти; он всегда сердился и бранил меня, если, по его мнению, дело было сделано не так, как следовало… в нем были качества, встречающиеся крайне редко и отличающие его между всеми другими людьми: у него был смелый ум, смелая душа, смелое сердце. Благодаря этому мы всегда понимали друг друга и не обращали внимания на тех, кто меньше нас смыслил». Это была превосходная и справедливая похвала.

На следующий день она вновь проснулась в слезах. «Как можно мне Потёмкина заменить? – восклицала императрица. – Кто мог подумать, что его переживёт Чернышев и другие старики? ‹…›… я стара. Он настоящий был дворянин, умный человек, меня не продавал; его не можно было купить». Вновь «продолжение слёз», записывает Храповицкий [4]. Екатерина оплакивала Потёмкина как члена семьи. Между его родственниками завязалась переписка: графомания должна была помочь унять печаль. «Весь мир охвачен горем, – говорила она Попову, – но мне больно даже говорить о своей печали» [5]. Племянницы, спешившие в Яссы на похороны, испытывали те же чувства. «Папы больше нет, и я лью горестные слёзы, – пишет Екатерине его «котёнок» Катенька Скавронская. – Я привыкла полагаться на него в моём счастии…» Перед тем как до Катеньки дошло известие о её «сиротстве», она как раз получила от Потемкина сердечное письмо [6]. Варвара Голицына, которую Потёмкин так страстно полюбил сразу после расставания с Екатериной, вспоминала: «Он столь был ласков, милостив и благотворителен к нам!» [7]

Но дела не терпели отлагательств. Екатерина с подлинно монаршим себялюбием печалилась не только из-за своей утраты, но и из-за сопутствующих неудобств: «Князь Потёмкин сыграл со мной злую шутку. Теперь вся тяжесть правления лежит на мне

одной» [8]. Совет, созванный в день печального известия, отправил в Яссы Безбородко, чтобы тот довёл до конца мирные переговоры. В Константинополе великий визирь принялся уговаривать Селима III вновь начать войну, однако иностранные послы резонно сообщили ему, что коль скоро будущий король Дакии мёртв, мирное соглашение стало куда более вероятным [9].

Екатерина приказала «святому» Михаилу Потёмкину привезти из Яссы её письма и разобраться с финансовыми делами князя. Но письма императрицы были самой драгоценной реликвией, принадлежавшей Потёмкину. Михаил Потёмкин и Василий Попов принялись спорить [10]; последний настаивал, что обязан передать их императрице лично в руки. Поэтому Михаил [11] уехал без них[161].

Попытки разобраться с вопросом о наследстве, однако, заняли двадцать лет; прежде чем дело было завершено, сменилось три императора, а все подробности так никогда и не прояснились. С 1783 года Потёмкин, по-видимому, получил в общей сложности пятьдесят пять миллионов рублей – в том числе 51 352 096 рублей и 94 копейки из государственной казны на жалованье военным, постройку флота и городов, – и почти четыре миллиона – на личные нужды. Полного отчёта о том, куда он потратил все эти миллионы, в его архивных бумагах не обнаружилось[162]. Император Павел велел вновь начать расследование, но его наследник Александр, который танцевал на потёмкинском балу, отказался от этого напрасного занятия, и таким образом вопрос был закрыт [12].

В Петербурге только и было разговоров, что о мифическом богатстве Потемкина – миллионы или одни лишь долги? «Его наследство велико, и в особенности замечательны бриллианты, – сообщил граф Стедингк Густаву III, – но можно предположить, что когда все долги будут оплачены, семеро наследников получат не так уж много» [13]. Екатерине тоже были небезразличны эти подсчёты: она могла бы оставить его долги наследникам, и таким образом они истратили бы почти всю унаследованную сумму, по примерным подсчётам составлявшую семь миллионов рублей. Однако императрица понимала, что Потёмкин использовал казну в качестве банка, при этом тратя личные средства на государственные нужды, потому посчитать отдельно казённые и личные счета было попросту невозможно. «Никто еще не знает точно достатка покойникова, – писал непредвзятый Безбородко по приезде в Яссы. – Много он должен казне, но много и на казне считает». Более того, его банкир барон Сутерланд умер вслед за своим клиентом, и разразился финансовый скандал, который мог

бы нанести серьёзный вред хрупкой репутации России. Потёмкин задолжал Сутерланду 762 785 рублей [14], а всем петербургским кредиторам вместе взятым – в общей сложности 2,1 миллион рублей [15].

Екатерина занялась финансовыми делами с присущей ей щедростью: за 935 288 рублей она выкупила у наследников Таврический дворец, а вдобавок и потемкинскую коллекцию произведений искусства, стекольный завод, бриллианты на сумму в миллион рублей и несколько поместий. Она сама оплатила его долги, а основную часть наследства велела разделить между семью алчными и теперь чрезвычайно богатыми наследниками – представителями семей Энгельгардтов и Самойловых. В одной лишь Смеле каждый из них получил по 14 000 крестьян мужского пола, а в придачу к этому и русские поместья, тем не менее десять лет спустя они всё ещё делили между собой добычу [16]. Даже через двести лет, в советские времена, крестьяне в Чижове раскапывали церковный двор в надежде обнаружить потёмкинские сокровища.

Императрица приказала отменить все светские мероприятия в столице: приёмы при дворе прекратились, как и собрания в Малом Эрмитаже. «Императрица не выходила в свет» [17]. Многие восхищались искренностью её горя: Массон понимал, что «она потеряла не любовника: это был друг, гений которого не уступал ее собственному» [18]. Стедингк полагал, что *sensibilité* Екатерины были для Потёмкина похвалой лучшей, чем любой панегирик [19]. Вся столица была облечена в «показной траур», за которым нередко скрывалось ликование [20].

В то время как мелкие дворяне и младшие офицеры, чьи жёны носили на шее медальон Потёмкина, оплакивали своего героя, некоторые аристократы и военные чиновники торжествовали [21]. Ростопчин хоть и считал Зубова «дураком», был тем не менее «весьма рад» тому, что все так быстро позабыли о «падении Колосса Родосского» [22]. Великий князь Павел якобы пробормотал, что теперь в империи одним вором меньше, но нужно признать, что Потёмкин почти двадцать лет препятствовал тому, чтобы Павел смог занять своё законное место. Зубов хотя и «не торжествовал победу», всё же имел вид человека, который наконец-то смог вздохнуть свободно, выйдя из «длительного и тяжкого подчинения» [23].

Тем не менее нужно отметить, что князя оплакивали трое самых одарённых людей империи, два из которых считались его заклятыми врагами. Когда фельдмаршал Румянцев-Задунайский, незаконный сын Петра Первого, услышал известие о кончине

Потёмкина, его свита ожидала, что он возрадуется. Вместо этого он склонился перед иконой. «Что удивительного? – спросил он своих приближённых. – Князь был мне соперником, может быть, даже неприятелем, но Россия лишилась великого человека… сына бессмертного по заслугам своим!» [24]. Безбородко признавал, что «много обязан… редкому и отличному человеку» [25]. Суворов тоже опечалился и сказал, что Потёмкин был «великий человек и человек великий. Велик умом, велик и ростом: не походил на того высокого французского посла в Лондоне, о котором канцлер Бэкон сказал, что чердак обыкновенно плохо меблируют», однако в то же время он назвал светлейшего князя «образом мирских сует». Суворов понимал, что минул век героев: Потёмкин использовал его как своего собственного спартанского царя Леониду. Он дважды ездил молиться на могилу Потёмкина [26].

В Яссах Лев Энгельгардт встретил старых гренадеров и спросил, кого они любили больше – Румянцева или Потёмкина. «При батюшке нашем, графе Петре Александровиче, хотя и жутко нам было, но служба была веселая», – сообщили они, но о Потёмкине сказали, что «его светлость был нам отец, облегчил нашу службу, довольствовал нас всеми потребностями; словом сказать, мы были избалованные его дети; не будем уже мы иметь подобного ему командира; дай Бог ему вечную память!» [27]. Петербургские солдаты тоже оплакивали его [28]. Даже злобный Ростопчин признавал, что потёмкинские гренадеры пустили слезу, хотя и говорил, что их скорее опечалила утрата своих «преимуществ в воровстве» [29]. Безбородко тоже был свидетелем солдатского горя. Когда он расспрашивал их об очаковских лишениях, они обычно отвечали: «Ну тогда так нужда велела», – и тепло отзывались о покойном, который обходился с ними по-доброму [30]. Но лучшим знаком уважения к князю стали военные песни о нём, которые солдаты пели во времена Наполеоновских войн.

Не только славный лишь войной,
Здесь скрыт великий муж душой.

Г.Р. Державин. «Водопад»

Выдающаяся личность Потёмкина не могла оставить равнодушными ни современников, ни потомков, тем самым затрудняя объективный взгляд на его достижения и приводя к чудовищному искажению фактов. Недруги обвиняли его в лени, продажности, распутстве, нерешительности, эпатажности,

фальсификациях, некомпетентности в военных делах и масштабнейших обманах. Но оправданы были лишь упрёки в сибаритстве и экстравагантности. Даже враги всегда отдавали должное его интеллекту, силе характера, невероятной прозорливости, отваге, щедрости и грандиозным успехам. Кастера, один из первых биографов Екатерины, писал: «Невозможно отрицать, что положением первого министра он обязан своему уму, храбрости и энергичности вкупе с многочисленными талантами, что постепенно раскрывались во всей своей полноте». Де Линь был убеждён, что, создавая Потёмкина, природа использовала «материал, которого хватило бы на сотню человек» [31].

Благодаря успешным завоеваниям и колонизации новых земель он достоин занять место рядом со своим кумиром Петром Первым, который основал город и создал Балтийский флот, – подобно ему Потёмкин тоже возводил города и строил черноморские суда. Оба они умерли в пятьдесят два года. На этом сходство заканчивается, поскольку Потёмкин был столь же отзывчив и великодушен, сколь Пётр жесток и мстителен. Но настоящий масштаб фигуры князя можно в полной мере осознать и оценить лишь в свете его уникального, почти равноценного партнёрства с Екатериной: это был неповторимый любовный и политический союз. В его основе лежали нежная любовь и благородная дружба, но не следует забывать и об их грандиозных совместных свершениях. Ни один из знаменитых в истории романов не может сравниться с головокружительным политическим успехом Екатерины и Потёмкина.

Их отношения позволили Потёмкину превзойти иных министров-фаворитов прошлого: он держался подобно царю. Князь, над которым не было начальников, выставлял напоказ свой императорский статус и тем самым вызывал бурю негодования. Он вёл себя эксцентрично, поскольку мог себе это позволить. Но и все трудности проистекали из специфической двойственности его положения – обладая поистине царской властью, *он все-таки не был императором*. Как и всем фаворитам, ему принесло много страданий распространённое заблуждение, гласившее, что он – «злобный советник», захвативший власть над монархом; потому его первая биография получила название «Князь Тьмы». Если бы Потемкин был государем, его бы судили по делам, а не по образу жизни: коронованные особы могут вести себя как им вздумается, но эрзац-императоров общество порицает за любые слабости. «Его завоевания упрочили славу империи, – говорил Сегюр, – но восхищение, которые вызывали эти свершения, доставались ей, а ненависть, которую они разжигали, – ему» [32].

Светлейший князь был энергичен в политике, но осмотрителен на поле боя. При непосредственном командовании он медлил с принятием решений, но зато оказался выдающимся стратегом и главнокомандующим на суше *и* на море: он одним из первых предпринял совместные сухопутно-морские операции на разных участках обширной зоны военных действий. Его обвиняли в том, что в русской армии царили беспорядок и коррупция (эти упрёки были справедливы двести лет назад, справедливы они и сегодня), однако его достижения также заслуживают признания. В 1791 году Безбородко [33] осмотрел русские войска и был удивлён тому, что вопреки всем кривотолкам армия содержалась в порядке. Нужно также отметить, что противники Потёмкина поначалу были не так уж слабы: турки неоднократно одерживали победы над австрийцами, которые считались куда более искусными вояками, чем русские. Таким образом военная история недооценила фигуру Потёмкина: вместо того, чтобы причислять его к некомпетентным командирам, следует отдать ему должное как по-настоящему талантливому стратегу, впрочем, стоящему на ступень ниже его гениальных современников Фридриха Великого, Суворова или Наполеона. Как писала Гримму Екатерина, Потёмкин всегда был победителем. Редкий генерал может похвастаться тем же. Его добродушие и терпимость по отношению к солдатам уникальны для российской истории и даже для недавнего прошлого с его чеченскими войнами. «Невиданную еще дотоле в вельможе силу свою он никогда не употреблял во зло», – писал о нём Вигель.

Тридцать лет спустя граф де Ланжерон, чьи предвзятые россказни о Потёмкине повредили репутации князя не меньше, чем сочинения де Линя и Гельбига, признался: «Я слишком строго судил его, и негодование сильно повлияло на мою оценку». Затем он высказал более взвешенное мнение: «Разумеется, ему были свойственны все недостатки придворных мужей, неотёсанность парвеню и сумасбродство фаворитов, но всё это было лишь топливом, зерном для мельницы его гения. Он ничему не учился, но всё прозревал. Его ум был так же велик, как его тело. Он был способен не только измышлять, но и воплощать в жизнь невероятные чудеса, и такой человек был жизненно необходим Екатерине. Он занял Крым, покорил татар, положил начало городам Херсону, Николаеву, Севастополю, построил везде верфи, основал флот, который разбил турок; он был виновником господства России в Черном море… благодаря всем этим великолепным свершениям он достоин признания».

Александр Пушкин, который познакомился с Ланжероном в

Одессе в 1824 году, тоже полагал, что «имя странного Потёмкина будет отмечено рукой истории. Ему мы обязаны Чёрным морем» [34]. Города, корабли, казаки, само Чёрное море и переписка с Екатериной – вот подлинные памятники Потёмкину.

Замысел оды «Водопад» родился у Державина вскоре после смерти Потёмкина. Ему удалось выразить те известные ему черты, которые снискали князю прозвища Мецената и Алкивиада. Образ водопада с его чарующим величием, стремительностью и природной силой служил символом самой личности Потёмкина, а также изменчивой и преходящей земной жизни. Потёмкин был одним из самых выдающихся государственных деятелей в Российской империи, наряду с Петром Великим и самой Екатериной. Герцог Ришельё, знаток человеческих душ, который и сам занимал высокий пост, лучше иных иностранцев понимал светлейшего князя. «Совокупность его грандиозных достоинств, – писал он, – превосходила все его недостатки… Почти все его общественные деяния отмечены печатью благородства и величия» [35].

Алцибиадов прах! – И смеет
Червь ползать вкруг его главы?

Г.Р. Державин. «Водопад»

Императрица решила, что похороны князя должны состояться в Яссах. Потёмкин просил Попова похоронить его в родной деревне Чижово, но Екатерина была уверена, что его тело должно покоиться в одном из его городов [36] – Херсоне или Николаеве [37]. Странно, что она не распорядилась похоронить его в Петербурге, но возможно, императрица, дитя рационализма и Просвещения, не придавала большого значения захоронениям. Она куда больше дорожила памятными местами и общими знакомыми, которыми они обзавелись вместе. Кроме того, она знала, что чем дальше от столицы будет могила Потёмкина, тем труднее будет Павлу осквернить её после смерти императрицы.

Одиннадцатого октября для церемонии прощания тело Потёмкина перенесли в зал – вероятно, во дворце Гики. Катафалк поместили в павильон, задрапированный чёрным бархатом с серебряными кистями; ткань была подтянута серебряными шнурами. Помост покрыли богатой золотой парчой. Князь покоился в открытом гробу, обитом розовым бархатом, под балдахином из розового и чёрного бархата. Балдахин стоял на десяти древках и сверху был украшен страусиными перьями. Ордена и жезлы Потёмкина лежали на бархатных подушках и

двух пирамидах из белого атласа, стоявших по обе стороны катафалка. Его шпага, шляпа и шарф были укреплены на крышке гроба. Мерцали девятнадцать огромных свечей, и подле гроба дежурили семнадцать офицеров. Столпившиеся у катафалка военные и молдавские бояре оплакивали «своего благодетеля и защитника». Перед всей этой великолепной *mise-en-scene* [зрелищем (*фр.*). – *Прим. перев.*] располагалась чёрная доска, на которой перечислялись все потёмкинские титулы и триумфы[163].

В восемь часов утра тринадцатого октября 1791 года екатеринославские гренадеры и днепровские мушкетёры выстроились вдоль улиц, по которым должна была пройти похоронная процессия. Гремели пушечные залпы, скорбно звонили колокола; генералы вынесли гроб, за ними шли державшие балдахин лейб-гвардейцы. Процессию возглавляли эскадрон гусар и кирасирский полк Потёмкина. Далее шествовали лошади, которых вели конюхи в богатых ливреях и чёрных епанчах, а за ними – 120 солдат в траурных одеждах с факелами и 36 офицеров со свечами. Затем следовали молдавские бояре в экзотических турецких нарядах и черкесские князья. За ними – духовенство и офицеры, которые несли княжеские знаки отличия. Среди них был и миниатюрный портрет Екатерины, инкрустированный бриллиантами, который говорил о покойном больше, чем все медали и жезлы.

Гроб везли на чёрных дрогах, запряжённых восемью лошадьми в чёрных попонах; каждую из них вёл конюх в длинной траурной одежде и в шляпе. За громыхающими дрогами шли племянницы князя. Шествие замыкали любезные его сердцу казаки.

Похоронная процессия приблизилась к округлым угловым бастионам монастыря Голия и прошла через тридцатиметровую надвратную башню. Гроб внесли в церковь Вознесения, которую однажды посетил Пётр Первый. В архитектурном облике церкви с её белыми колоннами и шпилями сочетались византийские, классицистские и традиционные русские элементы, что как нельзя более подходило Потёмкину. Прозвучал последний пушечный залп [38].

С гибелью Потёмкина в жизни Екатерины образовалась зияющая брешь, которую никому бы не удалось заполнить: после Рождества она три дня не выходила из комнаты. Императрица часто говорила о нём. В честь Ясского мира она распорядилась дать салют из сто одной пушки и учредила торжественный обед, но со слезами на глазах гневно запретила произносить тосты. «Горе её столь же глубоко, как и раньше». Тридцатого января 1792

года приехал Самойлов с ратификацией мирного договора, она отпустила всех остальных и плакала с ним наедине [39]. Когда тем летом императрица вернулась из Царского Села, то сообщила во всеуслышание, что собирается жить во дворце Потёмкина, который назвала в его честь Таврическим, и в самом деле часто там останавливалась. Ей очень нравился этот дворец, и она нередко гуляла там в одиночестве по саду, будто надеясь встретить Потёмкина [40]. Год спустя она вновь горько плакала в день рождения князя и в годовщину его смерти, целый день не выходя из своих покоев. Как-то раз она посетила Таврический дворец в сопровождении Зубова и своих внуков. «Tout etait charmant [Раньше здесь было так мило (*фр.*). – *Прим. перев.*], а теперь все не ладно», – сказала она Храповицкому. В 1793 году она тоже не раз возвращалась в этот дворец, иногда тайком отправляясь туда после обеда. «Никто, – писал Храповицкий [41], – не заменит Потёмкина в глазах Её величества», но она стремилась окружить себя его приближёнными.

Попов, который уже служил её секретарём, теперь стал живым воплощением политического наследия князя. В самом деле, Попову стоило лишь сказать, что Потёмкин бы не одобрил то или иное предложение, и Екатерина отвергала его, даже не взглянув. Таково было могущество умершего. Когда она приехала в Таврический дворец, Попов пал на колени и поблагодарил её за то, что она удостоила своим присутствием жилище его «создателя». Самойлову после смерти князя Вяземского досталась должность генерал-прокурора. Исполняя приказ Потёмкина, де Рибас основал на месте Хаджибея Одессу, а Ришельё, генерал-губернатор Новороссии, превратил город в один из самых космополитичных портов в мире. В 1815 году Ришельё стал премьер-министром Франции.

Спустя два года после смерти Потёмкина принц де Линь в письме Екатерине называл его «моим дорогим и несравненным другом, достойным любви и восхищения». Де Линь так никогда и не смирился с тем, что ему не доверили командования армией, и даже просил Меттерниха позволить ему участвовать в наполеоновском походе на Россию в 1812 году – вот как он собирался отплатить за щедрость Екатерины и Потёмкина. Он прожил достаточно долго, чтобы стать почтенным украшением Венского конгресса, и прежде чем испустить последний вздох в 79 лет, успел сочинить последнюю эпиграмму: «Конгресс не марширует, а танцует» [42]. Граф де Сегюр приспособился к положению дел после Французской революции и стал главным церемониймейстером Наполеона, рекомендовал императору не идти войной на Россию в 1812 году, а после Реставрации вновь

появился на политической арене в качестве пэра. Принц Нассау-Зиген пытался убедить Наполеона разрешить ему атаковать Британскую Индию, но в 1806 году погиб в Пруссии.

Франсиско де Миранда служил генералом французской революционной армии, а затем стал «предшественником» Симона Боливара, «Освободителя» Южной Америки. В 1806 году он и двести добровольцев высадились на берег Венесуэлы, но затем ему пришлось вновь отступить. Но в 1811 году Боливар убедил его вернуться в строй в качестве генералиссимуса патриотической армии Венесуэлы. Урон, нанесённый землетрясением, и военные поражения вынудили нерешительного генералиссимуса пойти на переговоры с испанцами. Когда он попытался бежать, Боливар арестовал его и передал испанцам. Этот борец за свободу умер в 1816 году в испанской тюрьме, спустя тридцать лет после встречи со светлейшим князем. Сэр Джеймс Харрис получил титул графа Малмсбери, и Талейран называл его «самым проницательным министром своего времени». Сэр Сэмюэль Бентам стал генеральным инспектором военно-морского флота и занимался строительством кораблей, которые победили в Трафальгарском сражении. Иеремии Бентаму при содействии Георга III удалось построить свою тюрьму-паноптикум, но эксперимент не оправдал себя. Иеремия счёл, что в этом вина короля.

Джон Пол Джонс по поручению Вашингтона и Джефферсона должен был отправиться сражаться с алжирскими пиратами у Варварийского побережья, но седьмого (18) июля 1792 года в Париже он скончался в возрасте сорока пяти лет и был похоронен со всеми почестями. Потомки чтили его как создателя Военно-морского флота США. Долгое время его могила считалась утраченной, пока в 1905 году генерал Гораций Портер не обнаружил свинцовый гроб с прекрасно сохранившимися останками Джонса. Под воздействием свойственного эпохе некроимпериализма президент Теодор Рузвельт отправил за телом Джонса четыре крейсера, и шестого января 1913 года, через тысячи миль и 125 лет после пирушек с Потёмкиным, Джонс был перезахоронен в Морской академии в Аннаполисе, в мраморном саркофаге, сделанном по образцу наполеоновского саркофага в соборе Дома инвалидов; там его останки пребывают и по сей день [43].

Екатерина относилась к Браницкой как к духовной наследнице Потёмкина и потому отвела для неё потёмкинские покои в императорских дворцах, чтобы почаще видеться с ней; однако императрица велела, чтобы Сашеньке наняли другую прислугу – вид прежних лакеев Потёмкина разобьёт ей сердце [44]. Платон Зубов получил многие должности, которые раньше

занимал светлейший князь, но обнаружил свою катастрофическую непригодность к государственным делам [45]. Многие с сожалением вспоминали Потёмкина, досадуя на высокомерие и посредственность Зубовых – «отребья империи» [46].

При поддержке Потёмкина Екатерина, скорее всего, планировала лишить ненадёжного великого князя Павла права наследования и передать престол своему внуку Александру. Но без Потёмкина ей, должно быть, не хватило воли на этот поступок [47]. Пятого ноября 1796 года императрица проснулась, как обычно, рано утром. Она зашла в уборную, где с ней случился тяжелейший удар. Как и английского монарха Георга II, недуг настиг её в том положении, что объединяет королей и простолюдинов. Лакей и служанка взломали дверь и вынесли императрицу в спальню, где доктор Роджерсон сделал ей кровопускание. Из-за огромного веса Екатерину не удалось поднять на кровать, поэтому она осталась лежать на матрасе на полу. В Гатчину помчались эмиссары известить великого князя, и когда они прибыли, он решил, что его приехали арестовать. Павел сразу же отправился в Петербург. Есть сведения, что после полудня, по приезде в столицу, он вместе с Безбородко уничтожил документы, выражавшие намерение Екатерины передать трон Александру. Шестого ноября в 21:45 Екатерина скончалась, и её тело осталось лежать на полу.

Павел I отменил все достижения правления своей матери, какие только смог. Он отомстил Потёмкину, превратив Таврический дворец в казармы гвардейцев, а Зимний сад отдал под гвардейские конюшни. Из ребяческой обиды он «сослал» библиотеку Потёмкина в Казань – уникальный пример библиографической мести. Павел также приказал переименовать Григориополь. Будучи пруссофилом, как и его отец, он питал любовь к парадам, относился ко всей империи как к большой казарме и приложил все усилия, чтобы разрушить гуманную «потёмкинскую армию», которую так ненавидел [48]. Из-за своей деспотической невыдержанности он нажил себе тех же врагов, которые когда-то свергли с престола его отца Петра III. Поэтому его боязнь покушений оказалась самоисполняющимся пророчеством. (Одним из его убийц был Платон Зубов.) И хотя потёмкинские казаки ещё долго оставались опорой династии Романовых, сыновья Павла Александр I и Николай I унаследовали его прусскую парадоманию, и этот облик русской монархии сохранился до её последних времён: анархист Бакунин называл Россию «Кнуто-германской империей» [49].

София де Витт вышла замуж за богатейшего польского

«князька» Феликса Потоцкого, которого она встретила и обворожила в Яссах после смерти Потёмкина. В дальнейшем София вступила в страстную инцестуальную связь со своим пасынком Юрием Потоцким, совершив «все грехи Содома и Гоморры». Когда Ланжерон навестил её, она призналась: «Вам известно, кто я и откуда я родом, eh bien [ну так что ж (*фр.*). – *Прим. перев.*], не могу же я жить всего лишь на 60 000 дукатов в год». В 1805 году её пожилой супруг скончался, а четыре года спустя она прогнала его сына и сумела нажить немалое достояние, в одиночку воспитывая своих детей. Графиня Потоцкая умерла в 1822 году, окружённая «почётом и уважением» [50].

Сашенька Браницкая удалилась в свои имения, где занялась преумножением бессчётных богатств. «Мне неизвестна точная цифра, – говорила она, – но должно быть, у меня около двадцати восьми миллионов». Она прожила великолепную жизнь почти что царственной особы и застала смену эпох. Свидетельница последнего вздоха Потёмкина стала «носительницей его славы». В зрелые годы она оставалась такой же грациозной, стройной и свежей, но неизменно носила длинные платья в екатерининском стиле, подчёркивая свою талию поясом с крупной пряжкой. В одном из имений Браницкая устроила усыпальницу в память Потёмкина и заказала свой портрет с его бюстом на заднем плане. Её дважды посещал Александр I и пожаловал придворное звание обер-гофмейстерины. Даже спустя двадцать лет после смерти Екатерины поражённый Вигель увидел, что знатные дамы подходят к руке Браницкой, словно она была великой княгиней, и та «без всякого затруднения и преспокойно» подаёт им руку., Она скончалась в возрасте 84 лет в 1838 году, во времена правления английской королевы Виктории, к тому времени её дети уже обзавелись собственными польскими и русскими аристократическими семьями [51].

Потёмкинский «ангел» графиня Скавронская после смерти своего супруга-меломана получила долгожданную свободу и вышла замуж по любви – за итальянского рыцаря Мальтийского ордена, графа Джулио Литту [52]. Младшая из сестёр Татьяна, вдова Михаила Потёмкина, сочеталась браком с князем Николаем Юсуповым, потомком татарского хана по имени Юсуф; супруг был значительно старше её и, по слухам, владел целой деревней любовниц-крепостных. Брак княгини Юсуповой оказался несчастливым, но подобно своему дядюшке она обзавелась большой коллекцией драгоценностей, в том числе приобрела серьги Марии-Антуанетты, алмаз «Полярная звезда» и диадему сестры Наполеона Каролины Мюрат. Последний представитель

княжеского рода, Феликс Юсупов, участник убийства Распутина, гордился своим родством со светлейшим князем [53].

Образу жизни Потёмкина созвучны судьбы двух его внучатых племянниц. Дочь Браницкой Елизавета вышла замуж за князя Михаила Воронцова, сына Семёна Воронцова, потёмкинского недруга. Ранние годы Михаила прошли в Англии, и он вырос флегматичным и бесстрастным милордом. Он стал наместником Новороссии и Кавказа, как и двоюродный дедушка его жены. Ходили слухи, что Элиза унаследовала тайную брачную запись о венчании Потёмкина и Екатерины и якобы выбросила её в Чёрное море – что было бы как нельзя более подходящим жестом. «Милорд» Воронцов не смог обуздать нрав своей кокетливой и манерной княгини. У нее был тайный роман с одним из ее кузенов Раевских, когда в 1823 году она познакомилась с Александром Пушкиным, который прибыл изгнанником в Одессу. Родство с Потёмкиным усилило её привлекательность в глазах поэта: он был знаком с потёмкинскими племянницами и записал истории, которые они рассказывали. Он влюбился в княгиню Воронцову. В своих стихотворениях он намекал на их любовные встречи на черноморских пляжах. Существуют предположения, что она была прототипом многих его женских образов, в том числе и Татьяны в «Евгении Онегине». В стихотворении «Талисман» есть следующие строки: «Там, где море вечно плещет / На пустынные скалы / ‹…› Там волшебница, ласкаясь, / Мне вручила талисман». Этим талисманом было кольцо с гравировкой на иврите.

Воронцов положил конец этой любовной истории, выслав Пушкина из города. Поэт отомстил князю, написав на него эпиграмму; возможно также, что именно Пушкин был отцом дочери Воронцова Софии, которая родилась через девять месяцев после его отъезда. Таким образом породнились Пушкин и Потёмкин. Когда в 1837 году поэт погиб на дуэли, при нём всё ещё был тот самый талисман [54].

Дочь Скавронской по имени Екатерина приобрела скандальную известность во всей Европе. Её прозвали «обнажённым ангелом» за привычку носить прозрачные, похожие на вуаль платья, и «le Chat Blanc» – «Белой кошечкой» – за чувственные аппетиты. Она вышла замуж за героического генерала Петра Багратиона. Её лицо, подобно чертам её матери, была ангельски прекрасно, кожа белоснежна, глаза невероятной голубизны, а волосы спускались на плечи водопадом золотых локонов. В 1802 году в Дрездене она стала любовницей Меттерниха и родила от него дочь Клементину, которая таким образом оказалась родственницей и Потёмкину, и «кучеру

Европы». Гёте повстречал Екатерину в Карлсбаде и был охвачен восхищением, а она тем временем завела роман с принцем Людвигом Прусским. После смерти Багратиона в Бородинском сражении она отправилась щеголять и баловаться политическими делами на Венском конгрессе в 1814 году. Она ввязалась в безрассудное соперничество с герцогиней Саган за благосклонность царя Александра I: женщины поселились в двух разных крыльях дворца Палм. Австрийские полицейские, шпионившие за ней даже в её венской спальне, сообщали, что её «практические познания» невероятны. Затем Белая кошечка уехала в Париж, где прославилась склонностью к беспорядочным связям, прекрасным экипажем и потёмкинскими бриллиантами. В 1830 году она стала супругой английского генерала и дипломата лорда Хоудена. Трогательная деталь: когда тридцать пять лет спустя она приехала навестить старого Меттерниха в его изгнании в Ричмонде, его дочь не могла удержаться от смеха, поскольку «Ангел», будучи уже в годах, всё ещё носила те же прозрачные платья, в которых когда-то покоряла сердца европейских принцев. Екатерина скончалась в 1857 году, но её дочь Клементина, которая росла в доме Меттерниха, умерла молодой [55].

И наконец, дочь Самойлова София вышла замуж за сына графа Бобринского, таким образом смешав кровь Екатерины, Орловых и Потёмкиных [56].

В 1905 году в Одессе произошло восстание матросов на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический» – первый из вооружённых мятежей начавшейся революции. Эти события вдохновили Эйзенштейна на съёмки фильма, и сама фамилия Потёмкина, казалось бы, столь близкая к царской власти, стала символом большевизма[164]. Одесская Ришельевская лестница была переименована в Потёмкинскую, и теперь памятник французскому герцогу смотрит на уходящие вниз ступени, названные в честь «выдающегося человека», которым он так восхищался. Таврическому дворцу суждено было стать «лоном, цитаделью и могилой русской демократии»[165]. Именно там 6 января 1918 года прошло первое заседание Всероссийского учредительного собрания, первого по-настоящему демократического парламента в русской истории (следующий соберётся лишь в 1991 году). Члены собрания в присутствии Ленина и пьяных красногвардейцев встретились в первый и последний раз в Колонном зале дворца, где Потёмкин когда-то встал на колени перед Екатериной. Когда Ленин покинул собрание, красногвардейцы вышвырнули парламентариев и заперли Таврический дворец. В настоящее время во дворце

проходят заседания Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, и в обители человека, который присоединил новые земли к Российской империи, теперь руководят процессами дезинтеграции [58].

И конечно же, в повседневный обиход вошла фраза «потёмкинские деревни».

Двадцать третьего ноября 1791 года в Херсон прибыли не все останки Потёмкина. Когда великих людей бальзамировали, их внутренние органы хоронили отдельно. Особенно важным было место захоронения сердца. В примеру, в начале того же года на торжественных похоронах Мирабо сердце покойного пронесли по улицам Парижа в свинцовом ящичке, украшенном цветами [59].

Считается, что внутренние органы Потёмкина захоронены в церкви Вознесения в монастыре Голия в Яссах. В самом храме нет никаких примет захоронения, однако даже спустя столетия, после того, как королевство Румыния сменилось коммунистическим режимом, а тот – демократическим, некоторые знающие люди всё ещё помнят, что останки Потёмкина покоятся в золотом ящике под покрытой ковром каменной плитой, лежащей перед обитым красным бархатом средневековым троном молдавского господаря. Мозг, замысливший королевство Дакию, нашёл своё пристанище под портретом бородатого молдавского князя Василия Волка, облачённого в кафтан золотого, белого и красного цветов и в шляпу с тремя перьями [60].

Родственники Потёмкина не забыли о том месте среди бессарабских холмов, где погиб светлейший князь, а казак Головатый вонзил в землю своё копьё [62]. В 1792 году Самойлов распорядился поставить там небольшой квадратный обелиск в классическом стиле и выгравировать на нём надпись с датой смерти Потёмкина. Белый камень, из которого был сделан обелиск, и весь его облик так напоминают фонтан в Николаевском дворце, что можно заключить, что обелиск делал тот же мастер – сам Старов. Позднее, в начале XIX века, наследники Потёмкина воздвигли десятиметровую пирамиду из тёмного камня со ступенями, ведущими на её вершину[166].

Когда тело прибыло в Херсон, его похоронили не сразу: сперва оно лежало в специально сооружённой открытой раке в крипте [62], расположенной в центре Свято-Екатерининского собора. Императрица приказала спроектировать величественный мраморный памятник и воздвигнуть его на могиле светлейшего князя, но к моменту её смерти пять лет спустя памятник всё ещё не был готов. И князь – парвеню, ставший почти царственной особой, – остался незахороненным [63]. Молиться у его останков приходили и местные жители, и приезжие, в том числе и Суворов.

В 1798 году император Павел узнал об этих паломничествах и решил отомстить покойному: он пришёл в бешенство от того, что Потёмкин даже спустя семь лет после смерти умудрился бросить вызов приличиям и церковным традициям. Восемнадцатого апреля он отдал приказ вице-канцлеру князю Александру Куракину: поскольку тело не было предано земле, то «находя сие непристойным, [государь император] высочайше соизволяет, дабы все тело без дальнейшей огласки в самом же том погребу погребено было в особо вырытую яму, а погреб засыпан землею и выглажен так, как бы его никогда не бывало». Быть бесследно погребённым для человека потёмкинских масштабов – весьма печальный финал. Ходили слухи, что в устном распоряжении император велел Куракину уничтожить все памятные знаки в честь Потёмкина и выбросить его останки в расположенное неподалёку Чёртово ущелье. Под покровом ночи гробницу засыпали землёй и закрыли, но никому не известно, исполнили ли чиновники устный приказ Павла. Лежат ли кости на дне ущелья, тайно перезахоронены ли они в скромной могиле, или, быть может, их увезла графиня Браницкая? [64]. Долгое время это оставалось загадкой [65].

Четвертого июля 1818 года, когда могила снова подверглась тайному вскрытию, архиепископ Екатеринославский Иов Потёмкин, племянник светлейшего князя, поднял плиты церковного пола, открыл гроб и обнаружил, что забальзамированный труп всё ещё находится там. Оказалось, что как это зачастую и бывало, подчинённые уклонились от исполнения деспотических прихотей Павла. Однако они соблюли его приказ, представив всё так, будто бы могила действительно пуста. Говорят, что Иов Потёмкин, уезжая из этих мест, забрал что-то из захоронения и увёз в своей карете; считать ли это ограблением могилы? Или же он увёз с собой урну с останками покойного? Осталось ли тело князя в гробу после того, как туда заглянул архиепископ? [66]

С каждым новым полуночным вскрытием появлялись новые сомнения – такова природа секретности, темноты и могильного холода. В 1859 году государственная комиссия решила вновь проверить, на месте ли тело Потёмкина; когда они сняли пол в церкви, то обнаружили большой склеп, внутри которого был деревянный гроб с золотой бахромой, а в нём – свинцовый гроб. Местный чиновник Мильгоф прибрал склеп и снова закрыл его [67].

Теперь, когда все убедились, что останки покойного на месте, было принято решение воздвигнуть грандиозное надгробие. Однако никто не мог припомнить, где именно расположена

могила, поэтому с выбором места для памятника возникли трудности. Как ни странно, для пытливых любителей совать нос в чужие дела это стало поводом ещё раз вскрыть могилу. В 1873 году новая комиссия взломала церковный пол и обнаружила деревянный гроб, внутри которого покоился череп с треугольным отверстием, проделанным Массо при бальзамировании, и с прядями русых волос – остатками былой шевелюры, что славилась по всей России. Внутри также лежали три медали, одежда и шитые золотом лоскуты мундира. Комиссия вновь закрыла гробницу и примерно над ней соорудила подходящее надгробие [68]. Наконец Потёмкин, если это был он, упокоился с миром.

Затем пришёл черёд революции: большевики с ликованием раскопали кладбище при Свято-Екатерининском соборе, где были захоронены офицеры, погибшие при штурме Очакова. У местного священника до сих пор хранятся пожелтевшие фотографии, запечатлевшие эту зловещую революционную сцену: крестьяне в одеждах 1918 года показывают пальцами на высохшие скелеты с жалкими пучками волос, в остатках расшитых мундиров, штанах и сапогах екатерининских времён, а на заднем плане видны сапоги и кожанки чекистов [69].

Двенадцать лет спустя, в 1930 году молодой писатель по имени Борис Лавренев вернулся к себе на родину в Херсон, чтобы навестить больного отца. Он отправился на прогулку по крепости и возле Свято-Екатерининского собора увидел знак: «Херсонский антирелигиозный музей». Внутри он обнаружил пирамидальной формы витрину, в которой лежало «что-то круглое и коричневое». Подойдя поближе, он увидел, что это был череп; надпись рядом с ним гласила: «Череп любовника Екатерины II Потёмкина». В соседней витрине покоился ещё не до конца истлевший скелет с надписью «Останки любовника Екатерины II Потёмкина». В третьей витрине лежали клочки зелёного бархатного камзола, белых атласных панталон, чулок и обуви – костюм Потёмкина. Лавренев выбежал из церкви и отправил телеграмму в министерство, которое занималось охраной объектов искусства. Уже после того, как он вернулся в Ленинград, приятель написал ему, что «музей» закрыли. Останки Потёмкина сложили в новый гроб, опустили в склеп и замуровали его заново. «В 1930 году в Херсоне, – писал Лавренев, – фельдмаршал светлейший князь Григорий Александрович Потёмкин, бывший ранее экспонатом Херсонского антирелигиозного музея, похоронен повторно» [70].

Одиннадцатого мая 1984 года местные чиновники вновь увлеклись тайной Потёмкина: глава Херсонского областного Бюро судебно-медицинской экспертизы Л.Г. Богуславский вскрыл

могилу и обнаружил «31 человеческую кость… принадлежащую скелету мужчины, рост которого составлял около 185 сантиметров… а возраст – 52–55 лет», и этот мужчина умер около двухсот лет назад. Однако в гробу также были найдены эполеты британского офицера времён Крымской войны. Сам гроб был более современным, и на нём были начертаны два креста – не только православный, но и католический. Исследователи заключили, что останки несомненно принадлежат Потёмкину.

В июле 1986 года Богуславский вступил в переписку с Евгением Анисимовым, уважаемым специалистом по истории XVIII века, который счёл заключение экспертизы неубедительным. Анисимов задавался вопросом: если это и действительно Потёмкин, откуда появились католический крест и британские эполеты? Быть может, комиссия приняла желаемое за действительное вместо того, чтобы провести экспертный анализ? Даже если оставить в стороне волнующий вопрос о том, кем был британский офицер, владелец эполет, то хочется узнать о главном: принадлежат останки Потёмкину или нет?

Рост и возраст покойного и датировка смерти соответствовали историческим данным. Старые гробы, будь то свинцовые, позолоченные или деревянные, а также ордена, иконы и одежда исчезли после революции. В католический гроб, который был короче скелета, вероятно, останки положили в 1930 году. Британские эполеты случайно попали сюда из другого захоронения по невежеству большевиков. Итак, в 1986 году князь Таврический был вновь предан в земле – в восьмой раз, если принять в расчёт погребение внутренностей в Яссах и все остальные эксгумации, – и вновь позабыт [71].

Сегодня Свято-Екатерининский собор снова полон верующих. Первое, что увидит наблюдатель, заглянув внутрь сквозь старовскую классицистскую колоннаду, – это деревянное и железное ограждение вокруг одиноко стоящего белого мраморного надгробия. Надгробие длиной семь футов и шириной три фута располагается под куполом церкви, в самом её центре. Под большим позолоченным крестом на камне выбита надпись:

Фельдмаршал
Светлейший князь
Григорий Александрович
Потёмкин-Таврический
Родился 30 сентября 1739 года
Умер 5 октября 1791 года.
Похоронен здесь 23 ноября 1791 года

По краям мраморной плиты – семь позолоченных розеток, на

каждой из которых выгравированы названия военных побед Потемкина и его городов[167]. У входа в церковь старушка продаёт свечи. Потёмкин? «Подождите священника, отца Анатолия», – говорит она. Отец Анатолий, длинноволосый блондин с голубыми глазами, невозмутимый, как многие представители духовенства провинциальных городков, принадлежит к новому поколению молодых православных священников, выросших при коммунизме. Он рад показать иностранцу могилу Потёмкина. Никто не открывал склеп уже несколько лет, и чужестранцы никогда не заходили внутрь.

Отец Анатолий зажёг шестисвечник и открыл незаметную деревянную дверку в центре церкви. Вниз вели крутые ступени. Отец Анатолий, указывая путь, прилепил горячим воском к выступу стены первую свечу. Она осветила узкий проход. Идя вперёд, он прикреплял к стене остальные свечи, пока не подошёл к маленькой комнатке: когда-то в ней было множество икон и покоились гробы Потёмкина – серебряный, свинцовый и деревянный; «всё это было украдено коммунистами». Посреди склепа стоял на возвышении простой деревянный гроб с начертанным на нём крестом. Священник расставил остальные свечи, чтобы осветить помещение. Затем открыл крышку гроба: внутри лежал небольшой чёрный мешок, в котором хранился череп и немногочисленные кости князя Потёмкина. Вот и всё.

Нам остаётся лишь одна загадка: его сердце. Его не захоронили в Голии вместе с внутренними органами и мозгом, а поместили в золотую урну. Но где же она? Самойлов писал, что её разместили под престолом Екатерининского собора, однако отец Анатолий не видел никаких следов урны. Самым вероятным представляется сценарий, в котором сердце увёз архиепископ Иов Потёмкин в 1818 году. Куда же? – в имение Браницкой или в Чижово, где светлейший князь желал быть похоронен? По сей день чижовские крестьяне уверены, что сердце князя погребено у семейной церкви, где он когда-то учился петь и читать.

Это было бы прекрасным финалом: сегодня империя, которая стольким обязана Потёмкину, рассыпается на части, и большинство земель, завоёванных им, уже не принадлежит России. Если его внутренности покоятся в Румынии, а кости – на Украине, то, пожалуй, его сердцу самое место лежать в русской земле.

Шуми, шуми, о водопад!

Г.Р. Державин. «Водопад»

От автора

Когда речь идёт о личности, вокруг которой ещё при жизни было сочинено столько злонамеренных мифов, представляется важным сказать об источниках. Мне посчастливилось обнаружить много доселе неизвестных и не опубликованных документов в различных архивах. В XIX веке многие архивные материалы были опубликованы в СИРИО и ЗООИД, а также в исторических журналах (РА и РС) и собраниях документов, например, «Бумаги Потёмкина» Дубровина (СБВИМ). Одним из важнейших источников также послужил опубликованный «Архив Князя Воронцова». Во всех упомянутых источниках удалось найти сведения, на которые раньше не обращали внимания или попросту позабыли о них. Например, в СИРИО опубликован «Дневник моего путешествия в Германию» Ришельё и рассказ Екатерины о потёмкинском бале – тексты, крайне редко принимавшиеся во внимание западными учёными. Все эти источники бесценны и, как правило, весьма точны, хотя при всякой возможности я старался сверяться с оригинальными документами.

Недавно опубликованная В.С. Лопатиным переписка Екатерины и Потёмкина представляет собой титанический исследовательский труд, плод двадцати лет работы, и я часто обращался к этому изданию. Без него теперь нельзя обойтись ни одному специалисту по этой эпохе. Но даже в этот том, вмещающий в себя более 1000 писем, вошли не все материалы, и некоторые записки партнёров ещё подлежат каталогизации. Лопатинское собрание переписки Суворова и Потёмкина и его рассказ об их взаимоотношениях также достойны обязательного прочтения, поскольку его исследования позволили пересмотреть устоявшуюся позицию историков по этому поводу. При всём вышесказанном повествование Лопатина порой излишне романтизировано – к примеру, он полагает, что Екатерина действительно была матерью Елизаветы Тёмкиной и родила её в Москве в 1775 году, а также, что императрица посетила Чижово по пути из Могилёва. Его датировка писем всегда аккуратна и правдоподобна, но в некоторых случаях – как, например, с письмами, упоминающими Калиостро, – данные западных учёных свидетельствуют, что их следует датировать более поздним временем. С восхищением и благодарностью за проделанный Лопатиным монументальный труд я позволил себе скорректировать датировки или по крайней мере высказать свои сомнения.

В архивах (а именно в московских РГАДА, РГВИА и АВПРИ, петербургском РГИА и AGAD – Центральном архиве исторических актов в Варшаве) хранится ещё множество неопубликованных материалов. К примеру, в РГАДА я обнаружил кипу неопубликованных писем Потёмкину и от него; они касались государственных вопросов, финансовых и любовных, и среди них было много анонимных любовных записок и писем Александры Браницкой. РГВИА, Военно-исторический архив, хранит документы потёмкинской канцелярии и ряд занимательных государственных и личных бумаг, которые я использовал в работе над этой книгой. В РГИА хранятся неопубликованные письма Фридриха Великого и личные документы. В Варшаве пока ещё недостаточно исследованным остаётся огромный архив Деболи, а также там удалось найти много писем Потёмкина к Станиславу Августу. Таким образом, в этих четырёх архивах хранится обширная неопубликованная корреспонденция, к которой я часто обращался при работе над книгой: в их числе письма, написанные императором Иосифа и адресованные ему; письма принца Кауница; Фридриха Великого; короля Швеции Густава III; короля Польши Станислава Августа; принца Генриха Прусского; потёмкинских племянниц графини Александры Браницкой и княгини Татьяны Юсуповой; его племянников графа Скавронского и графа Браницкого, а также польских союзников и агентов Потёмкина; его арт-дилеров, например, лорда Кэрисфорта; иностранных путешественников – леди Крейвен, Реджинальда Пола Кэрю и Сенака де Мейлана; графа Семёна Воронцова и других русских государственных мужей; принца де Линя; графа де Сегюра; графа Малмсбери; герцога Лидса; Иеремии и сэра Сэмюэля Бентамов; принца Нассау-Зигена; Джона Пола Джонса; Льюиса Литтлпейджа; Франсиско де Миранды; тайных дипломатических агентов Потёмкина и русских послов в Вене, Париже, Константинополе; его банкиров, в том числе барона Ричарда Сутерленда; а также множество подлинных жемчужин, таких как его список покупок в Париже. Фрагменты некоторых переписок, например, со Станиславом Августом и Сутерландом, оказались рассердоточены по всем четырём архивам.

Увы, я смог использовать лишь часть найденной информации: такие объёмные сюжеты, как деятельность Потёмкина в Польше или его военные приказы, предназначены для других книг; данные из писем де Линя и Малмсбери просто добавляют некоторые любопытные детали к взаимоотношениям, которые и без того неплохо описаны. Иные документы слишком подробны или туманны.

В региональных музеях Украины и России часто хранятся

лишь копии документов, оригиналы которых давным-давно отправлены в московские РГАДА и РГВИА, но мне и там повезло обнаружить несколько раритетов – например, оригинал приглашения на потёмкинский бал в Одесском историко-краеведческом музее, вероятно, сохранившийся в единственном числе. Там накоплено огромное количество фактов и легенд, систематизацией которых никто не занимался целое столетие, а также много уникальной информации о наших героях – к примеру, данные о М.Л. Фалееве в Николаеве.

В Британии PRO (Государственный архив) хранит неопубликованные депеши Фицгерберта и Фокенера, которые проливают свет на последние месяцы, проведённые Потёмкиным в Петербурге, но при этом толком не введены в научный оборот. Часть документов из архива Бентама в Британском музее уже опубликована, но он всё ещё скрывает много невиданных сокровищ. Чрезвычайно полезными также оказались неопубликованные дневники Реджинальда Пола Кэрью, хранящиеся в архиве города Антони в Корнуолле; в этих записях Кэрью рассказал о своих визитах в Россию и о времени, проведённом с Потёмкиным. AAE (Архив Министерства иностранных дел на набережной Орсе) содержит множество интересных документов, в том числе неопубликованных, а также бесценный полный архив бумаг графа де Ланжерона. Некоторые тексты Ланжерона были опубликованы в России, и в настоящее время готовится к выпуску полное собрание его сочинений.

Публикации о Потёмкине делятся на предвзятые и непредвзятые – или, по меньшей мере на мифологизированные и документальные. Естественно, я счёл враждебно настроенными или недостоверными все источники, связанные с сочинениями Гельбига и его адаптациями (изданием «Жизнь генерал-фельдмаршала князя Григория Александровича Потёмкина-Таврического» и книгой Ж.Э. де Серенвиля «Жизнь князя Потёмкина, служившего российским фельдмаршалом в правление Екатерины II»), а также текстами Сен-Жана (чья личность до сих пор остаётся загадкой). Однако труд Кастеры оказался весьма полезным. Даже обращаясь к рассказам о совершенно нейтральных событиях, следует помнить, что тексты Чарльза Массона, Сен-Жана и Гельбига написаны «мифотворцами», а не историками. Однако сложившаяся вокруг Потёмкина мифология тоже представляет определённый интерес и может сообщить нам много ценного, хотя я, разумеется, старался проверять все данные по историческим источникам. Массон ненавидел императора Павла, и его «Секретные записки», опубликованные ещё при жизни, обрели популярность, но некоторые из его рассказов о

Потёмкине являются правдивыми. Очевидцы событий жизни князя – иностранцы де Линь, Сегюр, Корберон, Ришельё, Миранда, де Дама и Ланжерон и соотечественники Ростопчин, Цебриков, Рибопьер, Державин, Безбородко, Воронцов, Завадовский, Вигель, Энгельгардт и Самойлов, – были предвзяты и судили субъективно, но по всей вероятности, они были убеждены в правдивости того, о чём говорили. Некоторые высказывались откровенно недоброжелательно – например, Ростопчин и Воронцов; Долгоруков не только недоброжелателен, но и склонен к фантазиям; другие, подобно Самойлову, являлись сторонниками князя. Многие находились где-то посередине между двумя полюсами. Скажем, Безбородко в своих высказываниях был неожиданно точен и справедлив. Исторические произведения А.С. Пушкина – «Table-talk» («Застольные беседы»), «История Пугачёва» и исторические заметки – тоже были незаслуженно обделены вниманием исследователей. Поэт был очарован фигурой Потёмкина, знаком с его родственниками и приближёнными и бережно записывал их рассказы, и я рассматриваю его сочинения как ценные сборники устных историй, полученных напрямую от тех, кто знал Потёмкина лично. Что же касается иностранцев, то критические высказывания де Линя и Ланжерона о потёмкинских военных достижениях безнадёжно испортили его репутацию в глазах всех последующих поколений. Однако они тоже представляют ценность, особенно если принять во внимание более поздние тексты Ланжерона, где он отдаёт Потёмкину должное. В случае с де Линем неопубликованные письма из потёмкинского архива позволяют нам объективно оценить степень его предвзятости. Ришельё, Стедингк и Миранда оставили куда более положительные заметки о тех же временах, однако их свидетельства часто упускали из виду, тем самым нарушая баланс мнений.

За уточнениями я обращался к публикациям следующих западных историков: Изабель де Мадарьяга, Джон Торндайк Александер, Марк Раев, Дэвид Рансел, Роджер Бартлетт («Human Capital» – «Человеческий капитал»), Джон Ледонн («Ruling Russia» – «Управляя Россией»), Энтони Кросс (о британцах в России), Лорд и Замойский (о Польше), Кинросс и Мензел (о Константинополе). Из биографов Потёмкина наиболее весомым представляется труд Брикнера, а книга Соловейчика представляет интерес, но в ней отсутствуют ссылки на источники.

Даты приведены по старому стилю, или юлианскому календарю, который тогда отставал от используемого на Западе

григорианского (новый стиль) на 11 дней. В некоторых случаях приводятся оба варианта.

Деньги: в одном рубле содержалось 100 копеек. В 1780-х годах 4 рубля приблизительно равнялись 1 фунту стерлингов или 24 французским ливрам. Английский джентльмен в это время мог прожить примерно на 300 фунтов в год, а русский офицер – на 1000 рублей.

Меры расстояния и площади: верста равнялась 0,663 мили или 1,06 км. Десятина равна 2,7 акра.

Имена и названия: для большинства имён собственных я использовал наиболее узнаваемые формы, а потому абсолютная последовательность в их передаче была невозможна. Так что я заранее прошу прощения у тех, кого может оскорбить мой выбор. Герой этой книги – Potemkin, хотя по-русски его фамилия произносится скорее как Patiomkin. В большинстве случаев я использовал русские формы имён, кроме тех, которые более известны в англизированном варианте: так, цесаревич Павел Петрович обычно именуется Grand Duke Paul; Семён Романович Воронцов – Simon Vorontsov; императрица – Catherine, а не Ekaterina. Личное имя Пётр и ряд других я пишу по-английски, как Peter (а не Piotr), и т. п. Я использую русские женские формы фамилий: например, Dashkova, а не Dashkov. Польские фамилии, такие как Браницкий (произносится Branitsky), я оставляю в польском написании: Branicki. Таким образом, в женском роде я использую русское Skavronskaya, но польское Branicka. Если кто-либо известен титулом или почётной приставкой к фамилии, я стараюсь использовать их, так что А.Г. Орлов именуется Орловым-Чесменским с того момента, как он получил эту фамилию.

Список персонажей

Князь Григорий Потёмкин-Таврический, тайный супруг Екатерины II, государственный и военный деятель

Екатерина II Великая, урождённая принцесса София Цербстская, императрица России в 1762–1796 гг.

Абдул-Хамид I, османский султан в 1774–1788 гг.

Джереми Бентам, английский философ, основатель утилитаризма

Сэмюэль Бентам, его брат, изобретатель, морской офицер, кораблестроитель

Александр Безбородко, статс-секретарь Екатерины, позднее канцлер

Ксаверий Браницкий, польский сановник, женатый на племяннице Потёмкина Александре Энгельгардт

Александра Браницкая, урождённая Энгельгардт, любимая племянница Потёмкина, замужем за вышеуказанным

Алексей Бобринский, внебрачный сын Екатерины и Григория Орлова

Прасковья Брюс, конфидентка Екатерины, предполагаемая отбирательница фаворитов

Граф Калиостро, итальянец-шарлатан

Захар Чернышёв, ранний поклонник Екатерины, сановник, военный министр, союзник Орловых

Иван Чернышёв, его брат, сановник, морской министр

Граф Людвиг Кобенцль, австрийский посланник в Петербурге

Графиня Элизабет Крейвен, английская аристократка и авантюристка, путешественница, писательница

Граф де Дама, французский аристократ, офицер в армии Потёмкина

Екатерина Дашкова, урождённая Воронцова, поддерживавшая и раздражавшая Екатерину

Екатерина Долгорукая, супруга русского генерала, любовница Потёмкина

Елизавета Петровна, дочь Петра Великого, императрица в 1741–1761 гг.

Михаил Фалеев, предприниматель, снабженец, промышленник, строитель города Николаева

Фридрих II Великий, король Пруссии в 1740–1786 гг.

Фридрих-Вильгельм, его племянник, король Пруссии в 1786–1797 гг.

Михаил Гарновский, доверенное лицо герцогини Кингстон,

поверенный в делах Потёмкина

Варвара Голицына, урождённая Энгельгардт, племянница Потёмкина, замужем за князем Сергеем Голицыным

Прасковья Голицына, замужем за князем Михаилом Голицыным, «последняя любовница» Потёмкина

Уильям Гульд, устроитель английских парков Потёмкина

Сэр Джеймс Харрис, британский посол в Петербурге, позднее граф Малмсбери

Генрих Прусский, младший брат Фридриха Великого

Джон Пол Джонс, знаменитый командир американских морских сил, считающийся основателем ВМС США

Иосиф II, император Священной Римской империи в 1765–1790 гг.; соправитель, затем, в 1780–1790 гг., правитель владений Габсбургов

Александр Храповицкий, секретарь Екатерины II, автор дневника

Элизабет, герцогиня Кингстон, графиня Бристольская, английская авантюристка и двоемужница

Александр Ланской, фаворит Екатерины в 1779–1784 гг.

Леопольд, император Священной Римской империи в 1790–1792 гг., брат и наследник Иосифа II

Принц де Линь, европейский аристократ, австрийский придворный, фельдмаршал

Льюис Литтлпейдж, американец из Виргинии, польский сановник и офицер потёмкинской флотилии

Александр (Дмитриев-)Мамонов, фаворит Екатерины в 1786–1789 гг.

Мария Терезия, императрица и королева, правительница габсбургских владений в 1740–1780 гг., мать Иосифа II

Франсиско де Миранда, южноамериканский революционер, позднее диктатор Венесуэлы

Принц Нассау-Зиген, европейский аристократ и наёмник

Григорий Орлов, вождь переворота в пользу Екатерины и фаворит в 1761–1772 гг.

Алексей Орлов-Чесменский, «Меченый», его брат, убийца Петра III и победитель в Чесменской битве

Никита Панин, воспитатель великого князя Павла, затем канцлер при Екатерине

Пётр Панин, его брат, военачальник и усмиритель Пугачёвского восстания

Великий князь Павел, сын Екатерины и Петра III, император в 1796– 1801 гг., убит заговорщиками

Пётр III, племянник императрицы Елизаветы Петровны; супруг Екатерины II, император в 1761–1762 гг.

Реджинальд Пол Кэрью, английский джентльмен, путешественник и друг Потёмкина, позднее член парламента

Станислав Понятовский, второй любовник Екатерины, позднее последний король Польши под именем Станислав Август

Василий Попов, глава канцелярии Потёмкина

Павел Потёмкин, родственник князя Потёмкина, военачальник и генерал-губернатор Кавказа

Прасковья Потёмкина, его супруга, любовница князя Потёмкина

Емельян Пугачёв, казак, самозванец, вождь крестьянского восстания 1773–1774 гг.

Алексей Разумовский, казак-певчий, ставший фаворитом Елизаветы Петровны

Кирилл Разумовский, его брат, сановник, украинский гетман до 1764 г.

Хосе (Осип) де Рибас, неаполитанский искатель приключений, приятель Потёмкина и адмирал

Герцог Ришельё, офицер потёмкинской армии, позднее строитель Одессы, а также премьер-министр Франции

Иван Римский-Корсаков, фаворит Екатерины в 1778–1779 гг.

Пётр Румянцев-Задунайский, герой первой Русско-турецкой войны

Сергей Салтыков, первый любовник Екатерины

Александр Самойлов, племянник Потёмкина, военачальник, позднее генерал-прокурор

Екатерина Самойлова, его супруга и вероятная любовница Потёмкина

Граф де Сегюр, французский посланник в России

Селим III, османский султан в 1788–1807 гг.

Майор Джеймс Джордж Семпл, английский мошенник, «князь обманщиков»

Шахин-Гирей, союзник России, потомок Чингисхана, последний крымский хан

Степан Шешковский, глава тайной полиции, «кнутобоец»

Иван Шувалов, фаворит Елизаветы Петровны, пригласивший Потёмкина в Петербург

Екатерина Скавронская, урождённая Энгельгардт, «ангел» и «котёнок», племянница Потёмкина

Александр Суворов, военный герой, любимый военачальник Потёмкина

Александр Васильчиков, фаворит Екатерины в 1772–1774 гг., прозванный «замороженным супом»

Александр Вяземский, управлявший внутренними делами,

генерал- прокурор

Семён Воронцов, российский посланник в Лондоне

Александр Воронцов, его брат, министр коммерции

София де Витт, рабыня, куртизанка, любовница Потёмкина, позднее графиня Потоцкая

Александр Ермолов, фаворит Екатерины в 1786 г.

Татьяна Юсупова, урождённая Энгельгардт, замужем за Михаилом Потёмкиным, позднее за князем Юсуповым

Пётр Завадовский, фаворит Екатерины в 1776–1777 гг., сановник, министр

Иошуа Цейтлин, еврейский купец, учёный-талмудист, друг Потёмкина

Семён Зорич, фаворит Екатерины в 1777–1778 гг., основатель военного училища

Платон Зубов, последний фаворит Екатерины в 1789–1796 гг.

Благодарности

Над этой книгой я работал несколько лет, в поисках материала проделал расстояние в тысячи миль. Мне помогали самые разные люди – от крестьянской супружеской пары, занимающейся пчеловодством (они живут в той местности, где родился Потемкин, неподалеку от Смоленска) до профессоров, работников архивов и хранителей музеев в Петербурге, Москве, Париже, Варшаве, Одессе и Яссах (Румыния).

Я в неоплатном долгу перед тремя выдающимися учеными. На создание этой книги меня вдохновила Исабель де Мадариага – почетный профессор факультета славистики Лондонского университета, лучший специалист в области истории екатерининской эпохи на Западе. Её фундаментальный труд «Россия в эпоху Екатерины Великой» коренным образом изменил характер изучения личности Екатерины Второй. По достоинству оценив замечательную природу личности Потемкина и его отношений с императрицей, она заявила, что биография Потемкина заслуживает отдельного изучения. На протяжении всей работы над книгой она дарила мне идеи, предложения, давала ценные советы. Самое главное, я должен поблагодарить ее за то, что она редактировала мою книгу и вносила необходимые исправления, причем делала это с насмешливой непререкаемостью и интеллектуальной энергией, достойных самой императрицы, на которую она и вправду во многом похожа. И каждый раз во время этих встреч я чувствовал себя изможденным, а она – нет. Вся мудрость, какая есть в этой книге, принадлежит ей, а все глупости – мои. Я рад, что мне выпала возможность возложить от ее имени венок на могилу Потемкина в Херсоне (за ней, похоже, никто не ухаживает).

Я также должен поблагодарить Александра Борисовича Каменского – профессора Российского государственного гуманитарного университета в Москве, который занимается изучением истории России в Средневековье и раннее Новое время. Мудрый, обаятельный человек, он является признанным авторитетом в области изучения истории эпохи Екатерины Великой; без его практической помощи я не смог бы написать эту книгу. Выражаю глубокую благодарность В.С. Лопатину, обладателю уникальных знаний об архивах, которыми он щедро делился со мной; кроме того, Лопатин и его супруга Наташа проявили радушное гостеприимство во время моих приездов в Москву. Он тоже прочел мою книгу и сделал ценные замечания.

Я должен выразить благодарность профессору Дж. Т.

Александеру за то, что он ответил на все мои вопросы, и профессору Евгению Анисимову – за помощь, что он оказал мне, пока я находился в Петербурге. Весьма информативны оказались советы Джорджа Ф. Джусберри относительно военной деятельности Потемкина. Спасибо профессору Дереку Билзу: без него мне трудно было бы разобраться в вопросах иосифинизма и постичь тайну черкесских рабынь. Необходимо упомянуть, что он и профессор Тим Бланнинг, преподаватели колледжа Сидни-Суссекс, были моими кураторами, когда я учился в Кембриджском университете, и их исчерпывающие лекции на тему просвещенного деспотизма заложили основы данной книги. Я многим обязан трем недавним изданиям, которые я широко использовал в своей работе: «Екатерина Вторая и Г.А. Потемкин: личная переписка» В.С. Лопатина, вышеупомянутая книга Исабель де Мадариага и «Екатерина Великая» Дж. Т. Александера.

Мне хотелось бы выразить признательность целому ряду людей, без которых данная книга никогда не была бы написана. Я благодарю Его королевское высочество принца Уэльского за любезно оказанное содействие в связи с его деятельностью по реставрации памятников Петербурга и подготовке празднования 200-летия со дня рождения А.С. Пушкина. Моя благодарность Сергею Дегтяреву-Фостеру, превосходному знатоку русской истории, который во многом помогал мне в моих изысканиях на всем протяжении от Москвы до Одессы. Без Иона Флореску моя румыно-молдавская экспедиция никогда бы не увенчалась столь грандиозным успехом. Спасибо лорду Ротшильду, профессору Михаилу Пиотровскому и Джеральдин Норман – председателю, президенту и директору Фонда развития Эрмитажа – за организацию в Сормерсет-Хаусе (Лондон) постоянной экспозиции сокровищ Екатерины Великой, куда входит и знаменитый портрет Г.А. Потёмкина кисти фон Лампи.

Лорд Брабурн прочитал всю книгу, Аманда Форман, Флора Фрейзер и Эндрю Робертс – отдельные ее части, за что я перед ними в огромном долгу. А Эндрю Робертсу особая благодарность – за дельные советы и поддержку. Уильям Хэнэм ознакомился с разделами, посвященными искусству, профессор Джон Клир – евреям, Адам Замойский – Польше.

В Москве мне помогали директора и сотрудники РГАДА и РГВИА, Наташа Болотина, обладающая уникальными знаниями о Потемкине, ее мама Светлана Романовна, Игорь Федюкин, Дмитрий Фельдман, педагоги Юлия Турчанинова и Эрнст Гусинский. Галина Моисеенко, один из блестящих ученых с исторического факультета Российского государственного гуманитарного университета, помогла найти и отобрать нужные

документы и дала безукоризненно точный анализ исследуемой эпохи.

В Санкт-Петербурге мне оказывали всестороннее содействие мой друг профессор Зоя Белякова, доктор исторических наук Сергей Кузнецов, возглавляющий сектор по изучению истории Строгановского дворца – филиала Государственного Русского музея, а также сотрудники РГИА, за что я им всем крайне признателен. Я выражаю благодарность (в очередной раз) директору Государственного Эрмитажа профессору Михаилу Пиотровскому, директору Государственного Русского музея Владимиру Гусеву, заместителю директора Государственного Русского музея Людмиле Куренковой, сотруднику Государственного музея-заповедника «Павловск» А.Н. Гузанову, заведующей сектором скульптуры XVIII – начала XX в. Государственного Русского музея доктору искусствоведения Елене Вениаминовне Карповой, сотруднику отдела Западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа Марии Гарновой и Г. Комелевой, которая также является сотрудницей Эрмитажа. Инна Локотникова показала мне Аничков дворец; Л.И. Дьяченко любезно провела для меня индивидуальную экскурсию по Таврическому дворцу, о котором поведала много важного и интересного.

В Смоленске мне оказали поддержку научный сотрудник Смоленского исторического музея Анастасия Тихонова, Елена Самолюбова и заместитель начальника Департамента по образованию и науке Смоленской области Владимир Голичев. В Чижево – школьный учитель и специалист по местному фольклору Виктор Желудов, в Петрищево (селение близ Чижева) – коллектив местной школы, любезно организовавший потёмкинский пир. Спасибо им всем за это.

За помощь в поездке по югу Украины я благодарю сотрудника судоходной компании «Укмар» Виталия Сергейчука и Мишу Шерокова. В Одессе для меня много сделали Наталья Котова; профессор кафедры международных исследований Одесского государственного университета Семен Иосипович Аппатов; сотрудники Одесского историко-краеведческого музея: директор Леонила Лещинская, директор Вера Владленовна Солодова и обаятельный знаток архивного дела Адольф Николаевич Малых, возглавляющий отдел «Фелики Этерия» (ему – моя особая благодарность); директор одесского Музея торгового флота Украины Петр Клишевский и работающий там фотограф Сергей Берениныч. В Очакове мне помогли мэр Юрий Ищенко; в Херсоне – священник Свято-Екатерининского собора отец Анатолий; в Днепропетровске – Ольга Пицык; в Николаеве и

Симферополе – сотрудники музеев, в Севастополе – сотрудник Музея Черноморского флота Анастас Викторевич. И, конечно, я очень признателен Анне Абрамовне Галиченко, сотруднице Алупкинского государственного музея-заповедника и автору книги «Алупка: Дворец в парке» – она настоящий кладезь знаний.

В Румынии я многим обязан профессору факультета электротехники Политехнического университета Бухареста Развану Магуряну и Иоану Воробете, который довез нас до Ясс, всячески опекал и помог пересечь границу Молдовы. В Яссах – специалисту по монастырю Голия профессору Фанике Унгуряну и профессору географии Ясского университета Александру Унгуряну – без его помощи я никогда не нашел бы место смерти Потёмкина. В Варшаве (Польша) – Петеру Мартыну, Аркадиушу Бауц-Бентковскому и сотрудникам Главного архива древних актов. В Париже – сотрудникам Архива Министерства иностранных дел Франции, расположенного на набережной Орсэ. Карен Бланк проанализировала и перевела тексты на немецком языке. Иманол Гальфарсоро перевел с испанского дневник Миранды. В Телави (Грузия) Леван Гахехиладзе познакомил меня с Лидией Потёмкиной.

Очень много людей помогали мне, в большом и малом, в Великобритании. И я хотел бы выразить благодарность своему агенту Джорджине Кейпел, председателю правления «Orion Publishing Group» Энтони Читэму, директору издательства «Weidenfeld & Nicolson» Иону Треуину, а также лорду и леди Вайденфельд. Спасибо Джону Джилксу – за создание карт. Я в неоплатном долгу перед своим легендарным редактором Питером Джеймсом, вложившим свою мудрость в эту книгу. Моя огромная благодарность сотрудникам Британской библиотеки, Британского музея, Государственного архива, Лондонской библиотеки, библиотеки Института Восточной Европы и славяноведения, Корнуэльского и Винчестерского архивов, Энтони-Истейт. Я благодарю своего отца доктора медицины Стивена Себаг-Монтефиори – за диагностику болезней и анализ психологии Потемкина. Я благодарю свою мать Эйприл Себаг-Монтефиори – за ценные наблюдения в том, что касается личных отношений Потемкина. Моя особая благодарность вам, Галина Олексюк, моя учительница русского языка: без ваших уроков я не смог бы написать эту книгу. За помощь и ответы на вопросы мне также хотелось бы поблагодарить еще целый ряд людей. Это – Нил Ашерсон, Вадим Беньятов, Джеймс Блаунт, Ален де Боттон, доктор Джон Кейси, достопочтенный Л. Х. Л. (Тим) Коэн, профессор Энтони Кросс, сэр Эдвард Дэшвуд, Ингеборга Дапкунайте, барон Роберт Димсдейл, профессор Кристофер

Даффи, Лайза Файн, княжна Катя Голицына, князь Эммануил Голицын, Дэвид Хеншоу, профессор Линдси Хью, Таня Иллингворт, Анна Жуковская, Пол и Сафиназ Джонс, Дмитрий Ханкин, профессор Родрик Э. Макгру, Джайлз Макдоноу, Ноэл Малькольм, граф Мальмсбери, Нил Маккендрик (Гонвилл-энд-Кай-колледж, Кембридж), доктор Филипп Мансел, Сергей Александрович Медведев, Чарльз и Пэтти Палмер-Томкинсон, доктор Монро Прайс, Анна Рид, Кеннет Роуз, достопочтенная Ольга Полицци, Хайуэл Уильямс, Андре Залуский. Достоверность изложенного в книге материала – это их заслуга; вина за любые допущенные ошибки лежит полностью на мне.

И наконец я должен сказать спасибо своей жене Санте – за то, что она так долго мирилась с присутствием князя Потемкина в нашей семье.

Вклейка

Светлейший князь Григорий Александрович Потёмкин в расцвете лет: он уже стал тайным супругом Екатерины II и обретал всё большую власть в качестве её партнёра. Екатерина называла его своим «мраморным красавцем», и считалось, что он обладает самой великолепной шевелюрой во всей России. Однако он стеснялся своего кривого глаза и, желая скрыть этот недостаток, всегда требовал, чтобы его портреты делались с этого

ракурса

Екатерина Великая в гвардейском мундире 28 июня 1762 года – в тот день она захватила власть, сместив с престола своего мужа, императора Петра III. Тогда она впервые встретила Потёмкина. Выстроив свои войска у Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, она заметила, что у неё нет портупеи. Молодой Потёмкин тут же пришпорил лошадь, приблизился к ней и предложил свою портупею. И она запомнила его

Графиня Александра Васильевна Браницкая (Сашенька) – умная, грациозная и блистательная женщина, племянница Потёмкина (возможно, его любовница). Сашенька, несомненно, его самая ближайшая подруга, конечно, за исключением самой Екатерины Второй. Потёмкин умер у Браницкой на руках

Наследник престола – великий князь (позднее император) Павел Петрович, раздражительный, озлобленный сын Екатерины, который ненавидел Потёмкина столь сильно, что грозился кинуть его в темницу

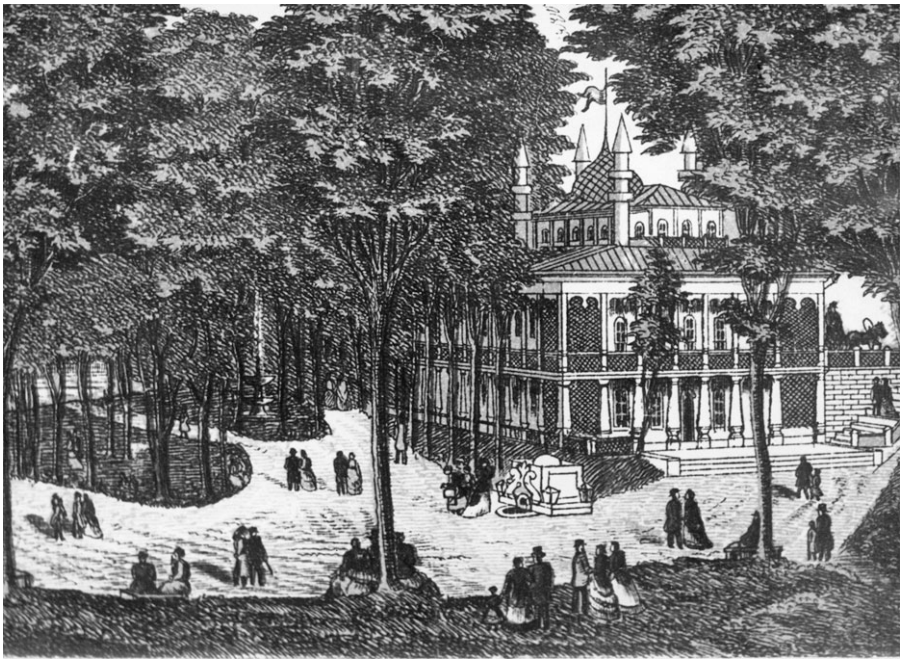
Здесь Потёмкину примерно 35 лет. Его страстный роман с Екатериной II в самом разгаре. На нём золотой нагрудник и капитанский мундир элитного воинского формирования – тяжёлой кавалерии, которая стояла на карауле у покоев императрицы

Неоклассический Таврический дворец в Санкт-Петербурге, где князь дал роскошный бал в 1791 году

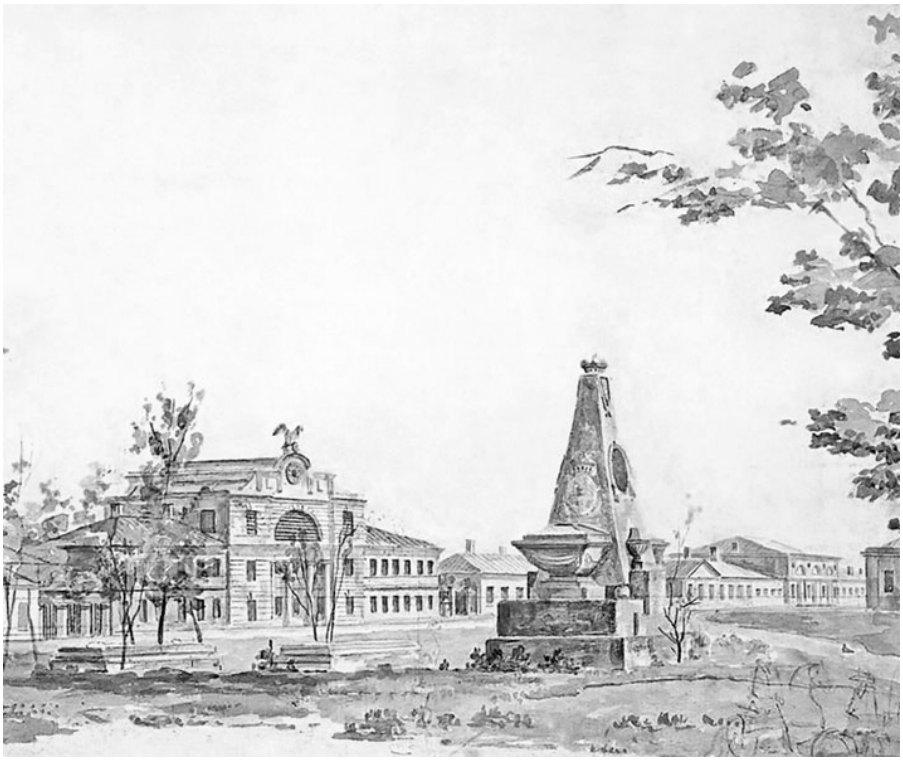
Аничков дворец в Петербурге – первый дворец князя Потёмкина

Баболовский дворец около Царского Села (ныне в руинах)

Потёмкинский дворец в Екатеринославе



Княжеский дворец в турецком стиле в Николаеве – умирая, Потёмкин мечтал доехать до этой своей обители



Дворец Григория Потёмкина в центре Херсона – его первого

города

Князь Потёмкин в шлеме руководит в 1788 году штурмом мощной турецкой крепости Очаков. При штурме погибло так много турок, что трупы сложили в пирамиды на лёд, где они промёрзли насквозь

Неотразимый, энергичный и победоносный полководец в конце 1780-х годов. Екатерина II писала, что победы делают его ещё более привлекательным, а враги признавали, что женщины падают в объятия князя Потёмкина-Таврического

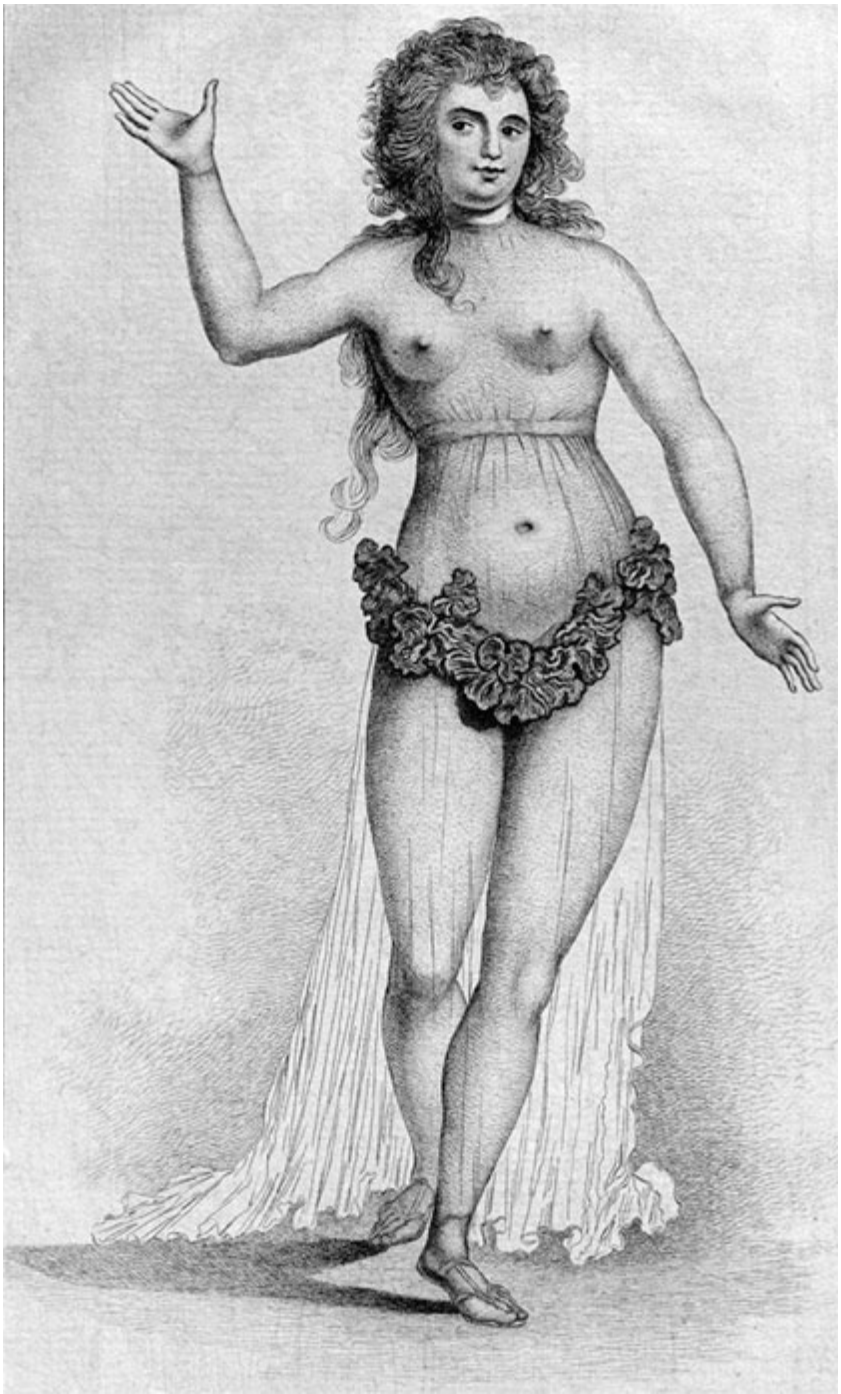
Фельдмаршал Пётр Александрович Румянцев руководит войсками в сражении с турками при Кагуле в 1770 году.

Самоотверженные подвиги генерала Григория Потёмкина во время этой кампании сделали его героем войны

Братья Орловы, которые помогли Екатерине захватить власть. Добродушный Григорий (справа) на протяжении двенадцати лет был её любовником. Жестокий Алексей со шрамом на лице (слева) участвовал в убийстве Петра III и выиграл морское сражение против турок в Чесменской бухте. Но Потёмкин положил конец политическому влиянию Орловых

Александр Дмитриевич Ланской, любовник Екатерины с 1780 по 1784 год. Он был кротким, чувствительным и не амбициозным человеком. С ним она была счастливей, чем с остальными. Когда он умер, Потёмкин примчался утешать её, и придворные слышали, как оба они рыдали от горя

Граф Александр Матвеевич Дмитриев-Мамонов, предпоследний фаворит Екатерины II и родственник Потёмкина. Она называла его «Красным кафтаном». Граф разбил сердце императрицы, влюбившись в её фрейлину. «Плюньте на него», – советовал Потёмкин



Герцогиня Кингстон (она же графиня Бристольская) приобрела известность в 1749 году, явившись обнажённой на бал венецианского посла в Лондоне. Когда эта стареющая, но любящая нахваливать себя распутница в конце 1770-х гг. прибыла в Петербург на своей роскошной яхте, ее считали самой

скандальной женщиной в Англии и обвиняли в двоемужии. Потёмкин, которого интересовала её коллекция ценных произведений искусства, подослал к ней адъютанта, чтобы тот соблазнил её

Император Священной Римской империи Иосиф II встречается с Екатериной в поле близ Кайдака во время потёмкинского путешествия по Крыму в 1787 году. Тем вечером Иосиф жаловался на стряпню Потёмкина, однако в то же время завидовал его выдающимся достижениям

Императрица Елизавета: прекрасно сложенная, голубоглазая блондинка, хитроумная и безжалостная – истинная дочь Петра Великого. Она любила мужчин, наряды и трансвеститские балы, но в то же время была набожной православной. После того, как молодого Потёмкина ей представили, он утратил интерес к учёбе…

Великая княгиня Екатерина со своим мужем-простофилей цесаревичем Петром Фёдоровичем. Супруг внушал ей отвращение

Княгиня Варвара Васильевна Голицына. Когда страсть между Потёмкиным и Екатериной утихла, он влюбился в свою кокетливую и своевольную племянницу

Графиня Екатерина Васильевна Скавронская. Томная красавица была племянницей и любовницей Потёмкина; он звал её «ангелом»

Княгиня Татьяна Васильевна Юсупова, младшая из племянниц, которая обожала своего дядюшку и писала, что без него жизнь при дворе стала чрезвычайно скучной

Графиня Екатерина Сергеевна Самойлова, дерзкая, но обворожительная племянница Потёмкина. Она соблазнила молодого графа де Дама во время осады Очакова в 1788 году. Говорят, что вскоре после этого она стала любовницей Потёмкина

Императрица в возрасте 58 лет в дорожном костюме во время великолепного путешествия по Крыму, организованного для неё Потёмкиным в 1787 году, во время которого она встретилась с Иосифом Вторым

Дарья Васильевна Потёмкина, мать князя, настроенная против его любовных связей с собственными племянницами и высказавшая ему открыто своё неодобрение. Он швырнул её письма в огонь…

Стареющая императрица в 1790-е годы: всё ещё величественная и полная достоинства, но полнеющая и страдающая одышкой. Как она признавалась Потёмкину, благодаря своей влюблённости в молодого, но бездарного любовника Зубова она «как муха ожила». Ей хотелось, чтобы он одобрил её выбор…

«Матушка» и «кормилица» Потёмкина Екатерина II в 1780-е годы – такой её могли увидеть на прогулке в парке в Царском Селе: в капоре и полуботинках со своими любимыми английскими борзыми

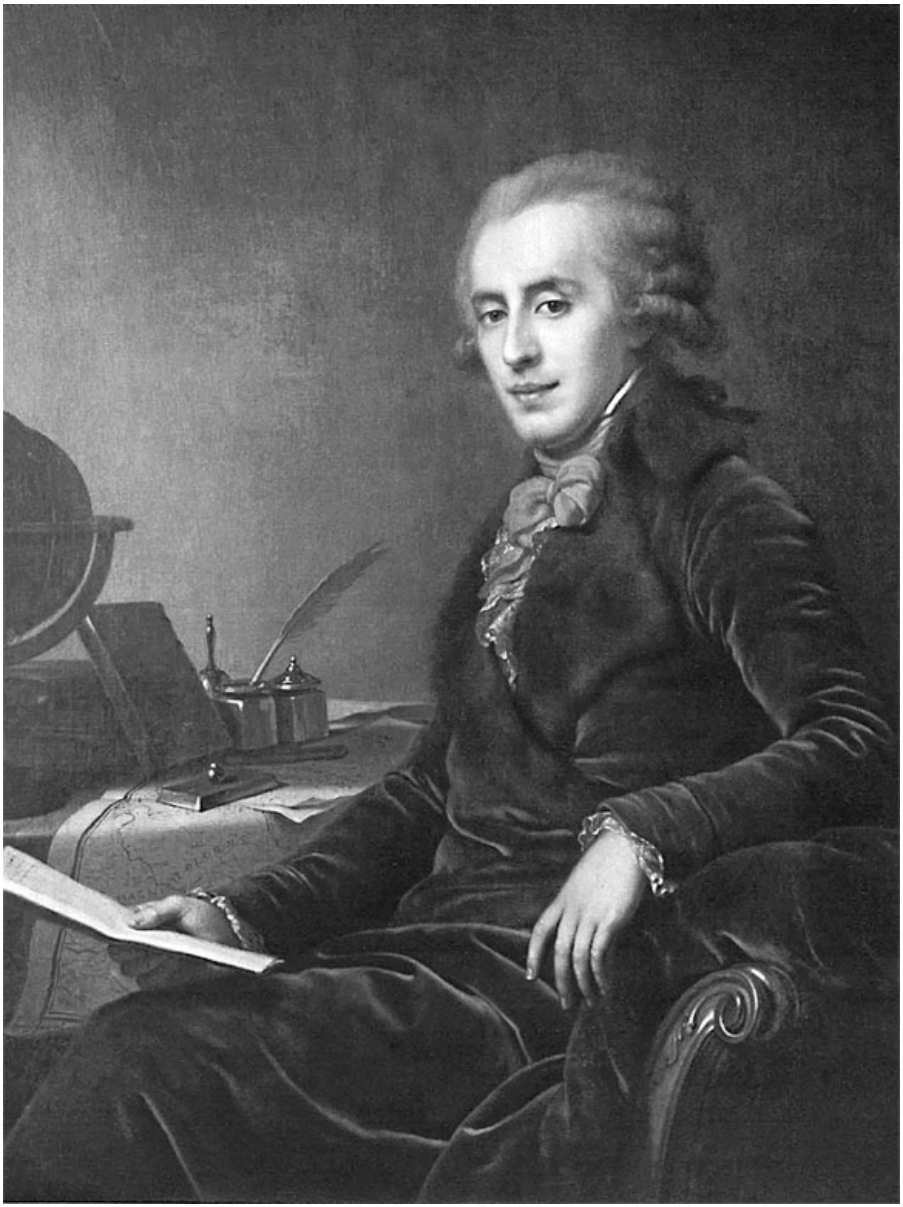
Фельдмаршал Григорий Потёмкин во время Второй русско-турецкой войны – триумфатор на вершине своего успеха. На его груди портрет Екатерины в бриллиантовом обрамлении – главное сокровище Потёмкина

Граф Александр Васильевич Суворов, наиболее выдающийся русский генерал. Стойкий, образованный и весьма эксцентричный, он каждое утро нагишом делал сальто перед своими войсками. «Суворова никто не пересуворит», – шутил Потёмкин

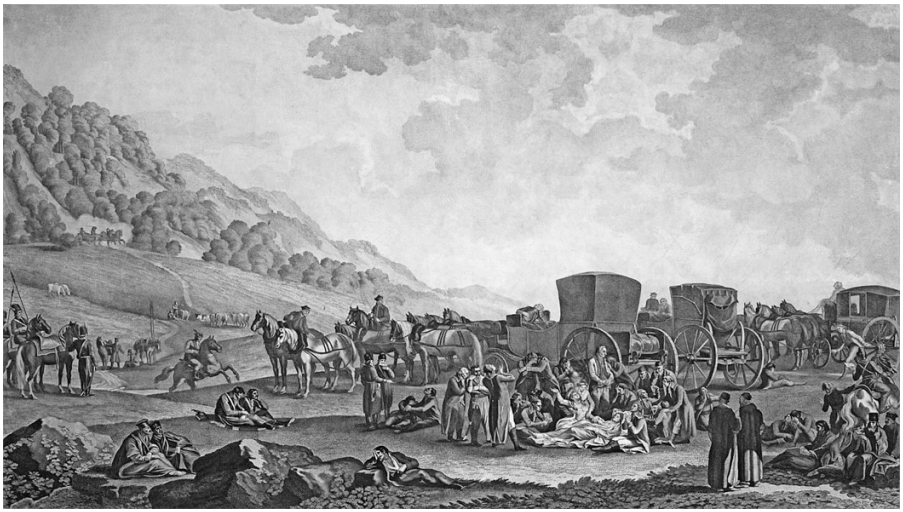
Шарль-Жозеф, принц де Линь – светский лев, австрийский вояка, знаменитый острослов, «дипломатический жокей» и один из обаятельнейших людей Европы. Как-то раз он сказал, что природе понадобился материал на сотню человек, чтобы создать одного Потёмкина

Княгиня Екатерина Фёдоровна Долгорукая, любовница Григория Потёмкина на закате его жизни. Она была эталоном аристократической красоты, и Потёмкин страстно влюбился. Он шокировал общественность, прилюдно лаская её, выстроил для неё подземный дворец, велел палить из пушек в честь их любовных встреч и подносить гостям бриллианты вместо пудинга на балу в честь её дня рождения

Графиня София Потоцкая – «прекрасная гречанка» и незаурядная авантюристка своего времени, которую называли «самой хорошенькой девушкой в Европе». Шпионка и куртизанка, известная своей «красотой, порочностью и преступлениями». В 14 лет была продана собственной матерью, константинопольской торговкой фруктами, и затем стала одной из последних любовниц Потёмкина. Позднее она вышла замуж за сказочно богатого польского графа Феликса Потоцкого, соблазнила его пасынка и сколотила себе огромное состояние



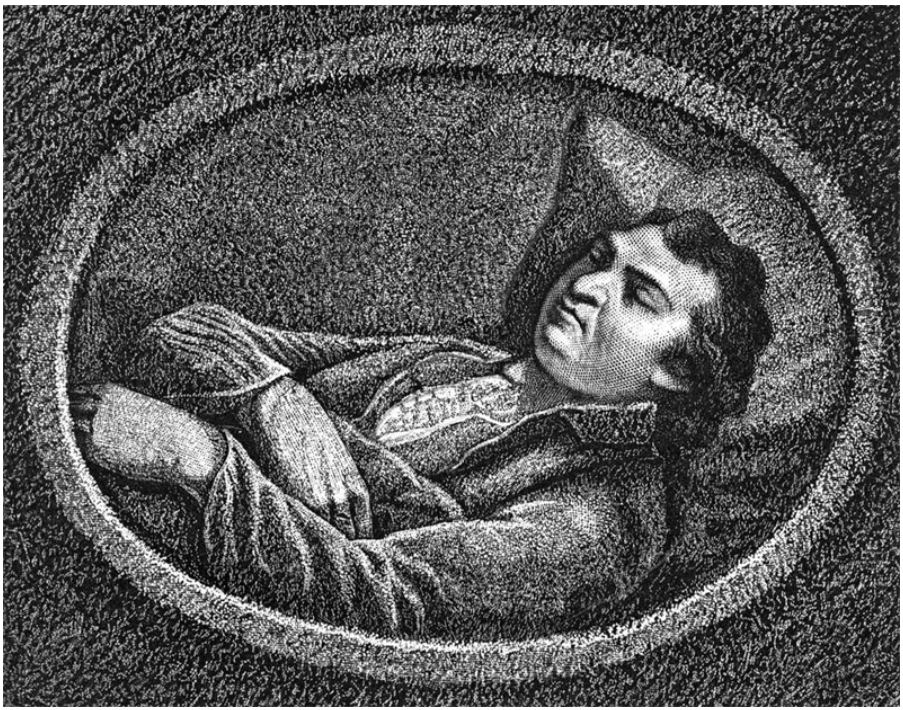
Граф Платон Александрович Зубов – последний фаворит Екатерины II, тщеславный, недалёкий человек, не имевший никаких способностей к политике. Она звала его «Чернявым». Потёмкин не сумел ослабить влияние графа на императрицу, однако, по признанию самого Зубова, светлейший князь всё ещё оставался «строгим супругом» Екатерины Великой



Смерть Григория Александровича Потёмкина. Гравюра 1793 года

Щит с объявлением о смерти Потёмкина на дороге из Ясс в Николаев. Смерть князя Потёмкина была такой же необыкновенной, как и его жизнь. Пятого октября 1791 года Потёмкин, со слезами взывая к императрице, умер в бессарабской степи у дороги, на руках своей любимой племянницы графини Александры Браницкой. Браницкая потеряла сознание. Казак,

который находился рядом, произнёс: «Жил на золоте, умер на траве»



Светлейший князь на смертном одре. Роскошнейшие похороны князя Потёмкина состоялись в Яссах. Однако судьба его останков была не менее беспокойной, чем сама его жизнь

Надгробие светлейшего князя Григория Александровича Потёмкина-Таврического в Свято-Екатерининском соборе – первом православном храме города Херсона

notes

Примечания

1

Все примечания можно найти на сайте автора http://www.simonsebagmontefiore.com и ЛитРес. Издатель и автор ради удобства читателя решили не приводить их в бумажном издании книги.

2

Под этой плитой лежит Бауер: ямщик, гони скорей!

З

Василий Степанович Попов – доверенное лицо князя Г.А. Потёмкина, действительный тайный советник.

4

Барон *Фридрих Мельхиор Гримм* – немецкий публицист эпохи Просвещения, критик и дипломат, многолетний корреспондент императрицы Екатерины Второй.

5

«В чем был гений Екатерины Великой? – спрашивал Сталин своего любимого помощника Андрея Жданова во время знаменитого разговора летом 1934 года. Сталин сам ответил на свой вопрос: – Ее величие в том, что она умела выбирать и выбрала князя Потёмкина и других талантливых любовников и государственных деятелей для управления страной». Автор узнал об этой истории, когда готовил другую свою книгу – «Сталин: двор Красного монарха», для которой брал интервью у Юрия Жданова, сына Андрея Жданова, а позже – зятя диктатора. Юрий Андреевич Жданов наблюдал эту сцену в детстве.

6

В частности, в 1994 году один известный кембриджский историк описывал политические и военные способности Потёмкина и сформулировал интересную, но совершенно ничем не подтвержденную мысль о том, что ему «недоставало уверенности в себе где-либо помимо собственной спальни».

Дата его рождения, как и многие другие детали биографии, остаётся загадкой, поскольку в точности не известно, в каком возрасте он отправился в Москву и когда был записан в конную гвардию. Существует мнение, что он родился в 1742 году: эту дату приводит его племянник Самойлов. Даты и военные документы противоречат друг другу, и аргументы обеих сторон не слишком впечатляют. Указанная выше дата наиболее правдоподобна.

8

Когда Григорий Потёмкин, которому суждено было потрясти воображение западных людей, обретал своё величие в Санкт-Петербурге, ему понадобилось обзавестись знаменитым предком. Для этих целей пригодился портрет сварливого, нетерпимого и педантичного российского посла, служившего в эпоху Короля-солнце и Весёлого короля; вероятно, он был получен в подарок от английского посольства и затем помещён в екатерининском Эрмитаже.

Такой обычай сохранялся вплоть до 1917 года. Когда враги Распутина пожаловались Николаю II, что тот ходит в баню со своими поклонницами, последний русский царь ответил, что таков обычай простолюдинов.

10

До сегодняшнего дня в потёмкинской части села кое-что сохранилось – Екатерининский источник и избушка двух восьмидесятилетних крестьян, которые пробавляются пчеловодством. В той части, где жили крепостные, остались только церковные руины. Рассказывают, что в советские годы комиссары держали в церкви скотину, но все животные заболели и погибли. Жители села всё ещё ищут клад, который называют «потёмкинским золотом», но пока не нашли ничего, кроме женских тел, захороненных на церковном кладбище в XVIII веке (предположительно, это сёстры Потёмкина).

11

В самом деле, Потёмкин заказал строительство круглого храма Вознесения Господня в Сторожах (на Большой Никитской), которая затем была перестроена его наследниками, – он умер, не успев воплотить в жизнь свои масштабные планы. Историки, полагающие, что он женился на Екатерине II в Москве, указывают, что венчание произошло именно в этой церкви.

12

Молодой император, переместивший двор из Петербурга обратно в Москву, умер в своей пригородной резиденции. Сегодня в этом здании размещается Российский государственный военно-исторический архив, где хранится большинство потёмкинских документов.

13

В течение XVII века фавориты постепенно превращались в фаворитов-министров, среди них – Оливарес в Испании, Ришелье и Мазарини во Франции. Они были не любовниками королей, но одарёнными политиками, которых избирали, чтобы держать под контролем непомерно разросшийся бюрократический аппарат. Эта эпоха подошла к концу, когда в 1661 году Людовик XIV после смерти Мазарини принял решение править самостоятельно. Но обычай переняли российские женщины-правительницы, и первой так поступила Екатерина I в 1725 году.

14

В Историческом музее Смоленска хранится такой стеклянный кубок, якобы принадлежавший Потёмкину. Легенда гласит, что из него когда-то пила Екатерина Великая, проезжая через Смоленск.

15

Алкивиад был известен своей бисексуальностью – среди его любовников был и Сократ, но не сохранилось никаких намёков на то, что Потёмкин разделял его эротические интересы. Алкивиадом (l'Alcibiade du Nord) называли и другого исторического персонажа, жившего в XVIII веке, – графа Армфельта, фаворита короля Швеции Густава III, ставшего затем другом царя Александра Первого.

16

Потёмкина иностранцы тоже описывали как гиганта. Конечно, в гвардию шли самые лучшие, но, судя по комментариям приезжих иностранцев, в то время российские мужчины отличались особой крепостью: «Русский крестьянин – это крупный, плотный, крепкий и хорошо выглядящий человек», – восторгалась леди Крейвен, путешествуя по империи.

17

Его сила была не выдумкой – баронесса Димсдейл в 1781 году пишет о том, как колесо повозки Екатерины на аттракционе «Летающая гора» (предок американских горок) соскочило с оси, и Орлов, «удивительно сильный мужчина, встал позади нее и ногой направлял ее в нужном направлении».

18

Именно это Чудо Бранденбургского дома вдохновило Гитлера и Геббельса в 1945 году в бункере в Берлине, когда смерть президента Рузвельта, казалось, должна была разъединить союзников. Фридрих вскричал: «Мессалина Севера мертва!» – и одобрил «поистине немецкое сердце» Петра Третьего.

19

Благополучие Панина зиждилось на его женитьбе на племяннице фаворита Петра Великого, князя Александра Меншикова, который начал карьеру с продажи пирогов.

20

Алексей Григорьевич Бобринский (1762–1813) был тем самым ребёнком, которого она вынашивала в то время, когда умерла Елизавета. Хотя он так и не был признан законным сыном Екатерины, она, тем не менее, позаботилась о его воспитании. Он вёл разгульную жизнь в Париже, а императрица оплачивала его счета; затем вернулся домой, чтобы вскоре вновь уехать. Позднее Павел I признал его законным братом и пожаловал ему графский титул.

21

Что, однако, не помешало одному дипломату заявить, что Потёмкин «раздобыл в Париже стеклянный глаз».

22

Брат фаворита императрицы Елизаветы был назначен на должность гетмана Украины, когда ему ещё не было двадцати пяти. Таким образом, во всё время правления Елизаветы он был губернатором формально полунезависимых казачьих земель. Разумовский поддержал екатерининский переворот, а затем высказал просьбу, чтобы гетманский пост передавался в его семье по наследству. Екатерина отказалась, отменила эту должность, заменив её Малороссийской коллегией, и сделала его фельдмаршалом.

23

Мать Румянцева родилась в 1699 году и дожила до восьмидесяти девяти лет. Эта знатнейшая придворная дама знавала герцога Мальборо и Людовика XIV, помнила Версаль и день основания Санкт-Петербурга. Всю свою жизнь она похвалялась тем, что была последней любовницей Петра Первого. Даты, безусловно, совпадали: мальчика назвали Петром в честь царя. Его законный отец также был крупной фигурой в русской истории: выходец из провинции превратился в графа, генерал-аншефа и одного из доверенных лиц Петра Великого; Пётр отправил этого головореза в Австрию выследить своего сына-беглеца, царевича Алексея, и привезти его на родину, где по приказу отца его пытали и замучили до смерти.

24

В одном из недатированных любовных писем 1774 года, которое, как считается, знаменует собой начало их романа, Екатерина пишет Потёмкину, что некий придворный, возможно, союзник Орлова, предупредил её, что её поведение по отношению к Потёмкину становится опасным, и попросил позволения отослать его обратно на фронт, с чем она и согласилась.

25

Пётр I сделал князем своего фаворита Меншикова, но это единственное исключение. После 1796 года император Павел и его преемники стали раздавать княжеские титулы направо и налево, в результате чего престиж этого звания изрядно уменьшился.

26

После смерти Александра Первого в 1825 году широко распространилось поверье, что он стал монахом и отправился странствовать по Руси.

27

О, господин Потёмкин, что за странное чудо вы содеяли, расстроив так голову, которая доселе слыла всюду одной из лучших в Европе? (*фр.*)

28

В конце XIX века художник Константин Сомов, один из основателей общества «Мир искусства», чей отец в то время был хранителем в Эрмитаже, как-то раз собрал на чаепитие свой дружеский круг. Среди них были преимущественно гомосексуалы: поэт Михаил Кузмин, вероятно, балетный импресарио Сергей Дягилев и несколько других мужчин. Как позднее рассказывал автор книги «Другой Петербург» К. Ротиков, Сомов поведал гостям, что его отец обнаружил в хранившейся в музее екатерининской коллекции огромный слепок члена Потёмкина в натуральную величину. Недоверчивых слушателей провели в другую комнату, где они с видом подлинных ценителей и затаив дыхание увидели фарфоровое «великолепное орудие» Потёмкина, завернутое в вату и шелк и лежавшее в деревянном ларце. Затем слепок вернули в Эрмитаж, где, надо заметить, его больше никто не видел. Когда автор сей книги посетил Эрмитаж с целью осмотреть коллекцию Потёмкина, о слепке сведений не обнаружилось – что, впрочем, объяснимо, ведь музей такой огромный.

Эта баня, как и их покои, до наших дней не сохранилась, погибнув в пожаре 1837 года. Но взглянув снаружи, мы можем увидеть золотой купол и крест часовни. Теперь на месте бани располагается Египетский зал Эрмитажа, где и сегодня царят прохлада и влажность банных комнат.

30

Успокойтесь, друг мой, вот лучший совет, который могу вам дать (*фр.*)

31

Знаком анархии, захлестнувшей Поволжье, было то, что еще один Петр Третий, беглый крепостной, смог снарядить свою повстанческую армию, завоевать Троицк, к юго-востоку от Москвы, и основать там еще один гротескный двор.

32

В 1925 году переименован в Сталинград, в 1961-м – в Волгоград.

33

Есть и еще одна версия о московском венчании. В XIX веке коллекционер князь С. Голицын часто приглашал посетителей в свой дворец на Волхонке, заявляя, что в 1775 году здесь останавливалась Екатерина во время своего приезда в город. Он показывал гостям две иконы, которые Екатерина предположительно подарила для его часовни в память о том, что именно там она обвенчалась с Потёмкиным.

34

Дорогой супруг (*фр.*)

35

Екатерина пожаловала Дарье особняк на Пречистенке, где та прожила всю оставшуюся жизнь.

36

До 1733 года акушерские щипцы были личным секретом хирургической династии Чемберленов. В те годы даже медицинские знания передавались по наследству.

37

Говорили, что Потёмкин приложил руку к гибели княгини, нанеся тайный визит акушерке. Медицинское убийство в России – частый мотив в параноидальных политических слухах; сталинское «дело врачей» тоже возникло из страха перед «убийцами в белых халатах». Князь Орлов, великая княгиня Наталья, любовник Екатерины Александр Ланской и сам Потёмкин – все они, если верить слухам, погибли от рук своих лечащих докторов, а Потёмкин был якобы причастен к смерти первых троих.

38

Павел и Мария Федоровна обвенчались 26 сентября 1776 года. Их царственными потомками были Александр I и Николай I, который правил страной до 1855 года. Их второй сын Константин должен был также взойти на престол, но отказался, что послужило стимулом к восстанию декабристов в 1825 году.

39

Он стал первым российским министром образования при Александре I.

40

Письма с упоминаниями «духов Калиостро» В.С. Лопатин и другие исследователи склонны датировать 1774 годом, поскольку они так откровенно свидетельствуют о страсти к Потёмкину. Однако граф Калиостро в 1776–1777 годах только лишь появился в Лондоне, поэтому едва ли они могли обсуждать его «снадобья» двумя годами раньше. В 1778 году Калиостро пустился в странствия по Европе, имел большой успех в Митаве, опекая герцогское семейство и других курляндских аристократов, а затем прибыл в Петербург, где встретился с Потёмкиным; об их отношениях мы расскажем в следующей главе. Если иначе истолковать ее слова о том, что «полтора года назад» вместо «Ледяного супа» – Васильчикова – ей следовало бы обратить внимание на Потёмкина, то письмо можно датировать 1779–1780 годами, когда их воссоединение могло напомнить Екатерине о тех потерянных восемнадцати месяцах.

41

Среди адъютантов Екатерины, кроме фаворита, числились также отпрыски аристократических семейств и несколько племянников Потёмкина. Ситуация осложнялась тем, что в июне 1776 года Потёмкин учредил должность императорских флигель-адъютантов и собственноручно написал список их обязанностей (который заверила лично Екатерина), заключавшихся во всесторонней помощи адъютантам. Князь также располагал собственными флигель-адъютантами, зачастую затем переходившими в штат Екатерины.

42

Если ваш отъезд тому причиною, вы неправы (*фр.*)

43

Георг-Людвиг также был дядей ее мужа Петра III и приезжал гостить в Петербург во время его недолгого царствования. По иронии судьбы, его ординарцем был молодой Потёмкин.

44

После ее кончины недоброжелатели герцога скандировали: «La pleures-tu comme mari. Comme ta fille ou ta maîtresse?» (Ты оплакиваешь ее как муж? Горюешь по дочери или по любовнице?)

Многие из этих сокровищ Потёмкин продемонстрировал гостям на своем балу в 1791 году, о котором будет сказано ниже, в 32 главе. Большая часть потёмкинской коллекции ныне хранится в Эрмитаже, и в музее выставлено немало предметов искусства, когда-то принадлежавших герцогине Кингстон. Жадность Гарновского стала его проклятием: император Павел I бросил его в темницу за долги, и в 1810 году он умер в бедности.

46

Сегодня часы «Павлин» – жемчужина экспозиции Эрмитажа. Они все еще исправно ходят и бьют каждый час.

47

Часы-орган сегодня находятся в филиале Эрмитажа – Меншиковском дворце и бьют в полдень по воскресеньям. Когда звучит музыка, мы слышим те же звуки, что раздавались в гостиной Потёмкина два века тому назад.

48

Шотландцев и русских связывали особые отношения, и многие уроженцы Шотландии оседали в России. Бестужев, канцлер императрицы Елизаветы, вел свой род от шотландца по фамилии Бест; граф Яков Брюс происходил из семьи шотландских солдат удачи, а предок Михаила Лермонтова, Лермонт, в родной Шотландии получил прозвище «Томас-рифмоплет».

49

Когда Джордж Браун был на русской службе, один из его кузенов попал в турецкий плен, был трижды перепродан в Стамбуле, а затем стал губернатором Ливонии, занимал этот пост на протяжении почти всего екатерининского правления и умер в возрасте девяносто лет. Фельдмаршал граф Лэйси пользовался большим доверием Иосифа II как военный советник и собеседник, а граф Фрэнсис Энтони Лэйси был испанским послом в Петербурге и каталонским главнокомандующим.

50

Британский «Cabinet Noir» внушал трепет, поскольку находился на перекрестке главных дорог – в Ганновере, курфюршестве Георга III, что позволяло ему без труда перехватывать письма, идущие из самых разных концов Европы.

51

И действительно, расхожая фраза «travailler pour le roi de Prusse» означала «работать задаром».

52

Покинув Петербург, Калиостро отправился скитаться по Европе и повсюду снискал такой успех, словно бы он был поп-звездой, а не волшебником. Но в Париже из-за своего покровителя кардинала де Рогана он оказался втянут в знаменитую аферу с ожерельем королевы – скандал, который сильно повредил Марии-Антуанетте. Наполеон называл его одной из причин Французской революции. На судебном процессе, которого так опрометчиво добивалась Мария-Антуанетта и так легкомысленно одобрил Людовик XVI, Калиостро признали невиновным, но его карьера была разрушена. Он умер в 1795 году, заключенный в Италии в папской крепости Сан-Леоне.

53

Стормонт не мог не понимать, что речь идет о двух миллионах франков – сумме императорских масштабов. Эту «взятку века» министр Людовика XIV предложил герцогу Мальборо в мае 1709 года в Гааге.

Одного из его сыновей, в дальнейшем ставшего Мехмедом II, вероятно, произвела на свет любимая одалиска султана Эме дю Бюк де Ривери, кузина будущей императрицы Жозефины.

Даже лакей Потёмкина Захар Константинов был греком.

Даже Фридрих Великий называл его «сгустком дурного вкуса и скуки».

57

«Да здравствуют Великобритания и Родни. Я только что прибыл, мой дорогой Харрис. Догадайтесь, кто пишет вам и сей же час приходите».

58

Один из знаков дружбы, полученных Харрисом от Екатерины и Потёмкина, – замечательная безделица, которую до сих пор можно увидеть в Лондоне. Когда Харрис уезжал, императрица вручила ему канделябр, сделанный на одном из потёмкинских стекольных заводов. Наследник Харриса, шестой граф Малмсбери, недавно передал его лондонской «Почтенной компании торговцев кожей», в парадном зале которой он теперь и находится.

59

Свойство, состояние людского – человечность, гуманность (Даль).

60

Православный Потёмкин был счастлив от того, что Россия обрела древний крымский Херсонес, где в 988 году принял крещение Великий киевский князь Владимир и откуда христианство пришло на Русские земли.

61

Армяне в Нагорном Карабахе все еще пытались выйти из-под мусульманского влияния Азербайджанской республики и присоединиться к Республике Армении в ходе кровопролитной войны в начале 1990-х годов.

62

Когда автор книги посетил Херсон, город всё ещё страдал от засилья насекомых: кровать и потолок центрального отеля кишели комарами, так что белые простыни и стены буквально почернели.

63

Центр города сейчас выглядит почти так, как и задумывал Потёмкин. Крепость была разрушена, и сохранились только её ворота. Огромный колодец, вероятно, тот самый, который Потёмкин приказал построить полковнику Гаксу, закрыт решёткой. Во время Второй мировой войны нацисты, отступая, сбрасывали в него тела убитых русских. Роскошный потёмкинский дворец простоял до 1922 года. Сохранились также здания Арсенала, Монетного двора, Адмиралтейства, а также Свято-Екатерининский собор. В этом храме из камня песочного цвета, с колоннами и величественным старовским куполом когда-то располагался антирелигиозный музей, где на всеобщее обозрение были выставлены разлагавшиеся тела из церковных захоронений, но теперь в ней снова ведутся службы. Инженер Корсаков был похоронен при церкви. Местный священник и его паства чрезвычайно гордятся тем, что основатель церкви Потёмкин покоится здесь же, под плитами церковного пола (об этом подробнее в эпилоге).

Автор этой книги слышал историю о том, что иконы написал В.Л. Боровиковский, и они в самом деле изображали Екатерину и Потёмкина. Священник Свято-Екатерининского собора ничего не знал об этом. Как выяснилось, иконы, ранее находившиеся в соборе, теперь хранятся в Херсонском художественном музее и согласно атрибуции принадлежат кисти Михаила Шибанова. Потёмкин, побеждающий дракона, и правда легко узнаваем.

В Севастополе по сей день располагается российский Черноморский флот. Все потёмкинские постройки погибли во время англо-французской осады в ходе Крымской войны и от рук нацистов во время Второй мировой войны. Но прямо рядом с портом, полным военных кораблей, находится памятник, на котором начертано: «Здесь 3 (14) июня 1783 года заложен город Севастополь, морская крепость юга России».

66

В СССР Днепропетровск был известен как малая родина руководителей страны в 1970-е годы. В 1938 году в разгар сталинских чисток 32-летний аппаратчик по имени Леонид Брежнев прошёл по трупам своих начальников и стал главой коммунистической пропаганды в Днепропетровске. Там он собрал команду, которая будет руководить Советским Союзом в 1964–1980-е годы – «днепропетровскую мафию». Местные жители вспоминают, что Брежнев особенно любил проводить досуг в Потёмкинском дворце.

Сегодня его имя носит один из самых красивых бульваров Одессы – Дерибасовская улица.

68

Сегодня в Херсоне на месте самых первых доков стоит чудовищная бетонная скульптура – воздвигнутый в советские годы памятник отплывающему кораблю. Надпись на памятнике не упоминает Потёмкина, но отдаёт должное его достижениям: «Здесь в 1783 году построен первый 66-пушечный линейный корабль Черноморского флота “Слава Екатерины”».

69

Староверы следовали старым православным догмам и обрядам. К тому времени прошло уже сто лет с тех пор, как в результате раскола они были отстранены от общественной жизни, и многие из них поселились далеко в сибирской глуши, чтобы сохранить свою веру. Потёмкин очень интересовался старообрядчеством, защищал староверов и не позволял притеснять их.

Кем были эти «арапы»? Действительно ли Потёмкин хотел привезти в Россию черных поселенцев – рабов из Африки? «Арапы», видимо, означало «арабы-беспризорники», то есть оборванцы с улиц Лондона, которых сегодня мы зовем бродягами.

71

Самый знаменитый уроженец Ставрополя – Михаил Горбачёв. Несмотря на то, что за строительство некоторых фортов на Кубанской линии отвечал генерал Суворов и советские историки именно его восхваляли как их создателя, заказал их строительство не кто иной, как Потёмкин.

72

Шейх Мансур и лидер антирусского движения девятнадцатого века аварец Имам Шамиль – два главных кумира современных чеченских боевиков. Когда автор посетил Грозный перед Чеченской войной в 1994 году, портреты прекрасного и очень бородатого Шейха Мансура украшали кабинеты президента и его министров. Во время короткого периода независимости Чечни в 1990-х в его честь был назван аэропорт в Грозном.

73

В Херсонском государственном историческом музее есть гравюры, на которых он запечатлен в девятнадцатом веке во всей своей славе. Однако до нашего времени здание не сохранилось. Во время Гражданской войны дворец, который крестьяне ненавидели за его великолепие, разобрали на дрова.

Потёмкинский дворец по-прежнему стоит в центре Днепропетровска. В местном музее хранятся инкрустированные золотом зеркала, которыми Потёмкин хотел украсить дворец, возможно, они были сделаны на его собственных фабриках. К моменту смерти Потёмкина был закончен только один этаж. Остальное построили в соответствии с планами Старова в 1830-х: дворец стал зданием Дворянского собрания, а в 1917 году – Домом отдыха рабочих. Теперь это Дворец студентов. Он был разрушен во время войны, перестроен в 1951 году. Две оранжереи Зимнего сада в Екатеринославе рассыпались в 1794 году. Сегодня парк Гульда – теперь парк культуры – называется Потёмкинским садом и по-прежнему сохраняет налет английского духа.

75

Дворец пережил хозяина на много лет. Автор нашел то место, где стоял дворец: теперь местные жители любят купаться на этом пляже. Сохранились два пролета белокаменной лестницы, ведущей к дому, а также украшенный Старовым белый фонтан, датированный 1792 годом. На фундаменте дома стоит баскетбольный корт. В девятнадцатом веке дворец служил яхт-клубом, но был разрушен во время революции: на фотографии показано, как его разбирают на дрова. Иронично, что сейчас в пригородах Николаева повсюду растут особняки новых русских миллионеров, построенные в молдавском стиле и напоминающие о Потёмкинском дворце.

Два помощника, претворявшие планы Потёмкина в жизнь, Старов и Гульд, не бедствовали, как и все, кто с ним работал. Очевидно, светлейший князь был очень щедрым клиентом, что доказывают состояния, нажитые Фалеевым, Цейтлиным, Шемякиным, Гарновским и многими другими. Иван Старов умер в 1808 году крайне зажиточным человеком.

В 1781 году Потёмкин пригласил Пола Кэьрю вместе с ним осмотреть его промышленные предприятия, в том числе посетить стекольные и кирпичные заводы под Шлиссельбургом, ещё одну стекольную фабрику рядом с Александро-Невской лаврой и железоплавильный завод в двадцати милях от Петербурга в поместье Осиновая Роща, которым руководил англичанин мистер Хилл. Кэрью также посетил Кричев и другие владения Потёмкина ниже по течению Днепра и предложил основать английскую колонию на острове, где раньше жили запорожцы и куда Потёмкин затем поселил иммигрантов.

78

Карточные игры напрямую зависели от политических веяний. Например, граф де Сегюр в своих мемуарах рассказывает, как парижская аристократия сменила фараон на английский вист, который, по выражению Монтескьё, воплощал в себе умеренные свободы, но как только война в Америке продемонстрировала, что короли могут потерпеть поражение, в моду вошла игра «бостон».

79

В Алупке находится замечательный дворец, в котором сочетаются стиль шотландских баронов, мавританский стиль и готическая архитектура. Его построили князь Михаил Воронцов и его жена Элиза, внучатая племянница Потёмкина. Сейчас в нём расположен музей (см. эпилог).

Из архивных материалов мы можем узнать о некоторых приключениях Гульда: в 1785 году ему было выдано 1453 рубля на покупку некоего инструмента, который понадобился ему в Крыму, а на следующий год – 500 рублей для выплаты садовникам, выписанным из Англии. В 1786–1787 годах Гульд отправился из Петербурга в Крым, имея при себе 200 рублей на дорожные расходы и 225 рублей на экипаж. Затем во время войны он приехал к князю в Молдавию, потом отправился вместе с ним в Дубоссары в 1789 году (на что было истрачено 800 рублей) и в Яссы (650 рублей).

81

Циничный Горацио Уолпол насмехался над неуместностью этого сюжета, поскольку при Екатерине во имя защиты короны были убиты двое царей, причём один из них был задушен.

82

В 1792 году Паркинсон с восторгом осмотрел в Эрмитаже эти принадлежавшие Потёмкину полотна. Сегодня там не экспонируется ни одна из трёх картин Рейнольдса, но они иногда участвуют в зарубежных выставках. Когда в 1998 году автор этой книги отправился на их поиски в музейное хранилище, то нашёл их в пыльном коридоре, одиноко стоящими у стены.

83

Потёмкину так и не удалось повидать Иеремию Бентама, но у нас сегодня есть такая возможность: он сидит, мумифицированный, бледный, но вполне узнаваемый, в коридоре лондонского университетского колледжа.

84

Доктор Роджерсон как раз записал на свой счёт очередную жертву. Фельдмаршал князь Александр Голицын скончался вскоре после крушения любви Сэмюэля Бентама к его племяннице – по всей видимости, от роджерсоновых чисток кишечника и кровопусканий. «Мне кажется, – полушутя писала Потёмкину Екатерина, – кто Роджерсону ни попадёт в руки, тот уже мёртвый человек».

После его смерти дворец перешёл к Романовым и был петербургской резиденцией Екатерины, обожаемой сестры Александра I, до её смерти в 1818 году. Затем он принадлежал Николаю I до его воцарения, а после использовался императрицей для балов; там не раз танцевали Пушкин и его супруга. До 1917 года он принадлежал матери Николая II Марии Фёдоровне. В феврале 1914 года будущий убийца Распутина князь Феликс Юсупов сочетался там браком с княжной императорской крови Ириной.

Сейчас там уродливый советский кинотеатр.

Существует зловещее предание о том, что здесь некоторое время содержалась «княжна Тараканова» с ребёнком якобы от Алексея Орлова-Чесменского, но ничто из этого не имеет подтверждений. «Островки» были разрушены нацистами, но, к счастью, остались фотографии, сделанные 1930-х годах.

88

Автор нашёл его развалины в Баболовском парке. В башне его ждал сюрприз: круглая чаша из красного гранита диаметром около десяти футов. Этот старинный плавательный бассейн был построен для Александра I, который жарким царскосельским летом купался здесь в уединении.

89

Екатерина – предмет любви многочисленного народа. Не нападайте на нее: беда тому, кто ее затронет! Слава – ее барабанщик, а история – памятная книжка. (*фр.*) – *Прим. перев.*

Через год, когда Ермолов добрался до Лондона и потребовал аудиенции у Георга III, это вызвало определённую неловкость. Позже он поселился в Вене.

91

Иоганн Баптист Лампи (1751–1830) был одним из самых модных портретистов Вены; ему позировали Иосиф II и Кауниц. Видимо, Потёмкин пользовался его услугами по очереди с австрийцами и иногда писал Кауницу с просьбой прислать художника к нему. С портретов, написанных в 1791 году, незадолго до смерти князя, Рослин и другие художники позднее сделали копии и продавали отпечатки.

92

Величайшие фавориты прежних лет, такие как граф-герцог де Оливарес и кардинал Ришельё, страдали от периодических нервных срывов.

93

Оливер Кромвель, герцог Мальборо и главнокомандующий Британской Индии Роберт Клайв – вот лишь некоторые из многих талантливых руководителей, о которых говорят, что им были свойственны черты циклотимического расстройства.

94

Этот анекдот напоминает о том, как в наши дни президент Линдон Джонсон оскорбительно разговаривал с помощником, сидя на унитазе.

95

Князь любил поесть, и когда долгожданное прибытие месье Баллеза из Франции было отложено из-за того, что его судно село на мель в датском Эльсиноре, Потёмкин обратился к русскому послу и нескольким чрезвычайным посланникам и сумел быстро доставить шефа в Петербург по суше.

Эту фразу можно считать ранней и более дальновидной версией того, как британский премьер-министр Гарольд Макмиллан описывал суть политики: «Всё дело в событиях, мой мальчик, в событиях».

«Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых».

Эта поездка стала причиной ещё одной ссоры императрицы с наследником: она хотела взять с собой юных князей, Александра и Константина. Великий князь Павел был решительно против: он тоже желал поехать, но Екатерине совершенно не хотелось, чтобы «тяжёлый багаж» испортил триумфальное путешествие. Павел даже в отчаянии обратился к Потёмкину, униженно попросив оставить детей дома и тем самым признав его могущество. Потёмкин, вероятно, откликнулся на эту просьбу и проявил доброту вопреки собственной выгоде; однако Александр как раз заболел, и проблема решилась сама собой.

Этой дворянкой была графиня Урсула Мнишек, *урождённая* Замойская, племянница польского короля. Станислав Август заявлял, что в 1775 году Потёмкин предлагал ей стать его женой. По понятным причинам это было маловероятно. Теперь Потёмкин, определённо не держа на неё зла, попросил Екатерину наградить графиню орденом – так же, как и Александру Браницкую.

100

Как-то раз, завтракая в этом узком дружеском кругу, Сегюр вдруг заметил, что Потёмкин то и дело ускользает в заднюю комнату. Когда он последовал за ним, племянницы удержали его, прибегнув к «очаровательной лести». Наконец он улизнул от них и обнаружил поистине восточную сцену: комната была заполнена драгоценными камнями и запрещёнными к ввозу товарами, а меж ними толкались торговцы и зеваки. В центре помещения стоял его собственный камердинер Еврар, которого поймали с поличным за провозом контрабанды, и теперь он продавал свои богатства; Потёмкину, без сомнения, доставались лучшие драгоценности. Весьма смущённый Сегюр тут же уволил слугу, но племянницы, которым понравились новомодные парижские украшения, разубедили его. Потёмкин тоже попросил помиловать слугу. «Что же делать, – отвечал я, – когда, к удивлению моему, вы сами в числе виновников и укрывателей?» И хотя контрабанду провёз камердинер, но жертвой одной из потёмкинских шуток стал сам посол христианнейшего короля.

101

Эта история напоминает один эпизод с участием лорда Палмерстона: однажды он совершил попытку изнасилования одной из фрейлин королевы Виктории в Виндзоре. Впрочем, в отличие от Виктории Екатерина наверняка ничуть не была возмущена.

102

Весь плавучий червь имел 252 фута в длину и 17 футов в ширину, а в движение приводился 120 вёслами.

103

«Нет сомнения, – сообщал Сэмюэль Иеремии Бентаму в милом самообмане, – что император, как и все прочие, высоко оценил это изобретение».

Сейчас эта карета находится в Днепропетровском национальном историческом музее.

105

Потёмкин предпочитал называть его по-гречески – Ольвиополь.

106

Потёмкин отмечал продвижение Екатерины по Крыму через каждый десяток километров верстовыми столбами с надписями по-русски и по-турецки. Из них сохранилось только три. Один из них ныне стоит около ханского дворца в Бахчисарае. Кладбище Гиреев тоже осталось нетронутым, хотя и несколько заросло.

107

Принц де Линь увидел здесь пример всеобщего закона поведения женщин: «лесть пьянила её… неудобство с женщинами на престоле».

108

Удивительный союз подарков природы / Что присоединяется к гению чистейшей души / Утончённый и чуткий к зову чести / Нежный, сострадательный и чистосердечный / Дружелюбный, веселый, беспечный, вдумчивый и угрюмый мыслитель / Это последнее качество бросает тень на ваше обаяние / Ответьте, благодаря какому мастерству всё это соединилось в вашем уме? *(фр.) – Прим. перев.*

109

Геродот писал, что амазонки во главе со своей царицей Пентесилеей пересекли Чёрное море, обнаружили на другом его берегу скифов и, договорившись с ними, обосновались неподалёку от Азовского моря. Поэтому Потёмкин наверняка знал, что Крым был для амазонок родным домом. Когда князь привёз Миранду в Крым, они встретились с немецким полковником Шутцем, чья жена «сопровождала его на поле сражений, одетая в мужскую форму, и дважды была ранена – в её облике было нечто мужественное». Может быть, фрау Шутц помогла Потёмкину с организацией роты амазонок? Такое разнообразие амазонок на одном маленьком полуострове кажется нам причудливым совпадением.

110

Этим подарком оказался мальчик-калмык по имени Нагу, которого поймали при штурме Очакова. Сегюр обучил его французскому и затем, уже на севере, ухитрился сбыть графине Кобенцль.

111

Сегодня нам неизвестно точное местонахождение этой «обители фей», выстроенной на месте татарской хижины, где позднее Потёмкина чуть не настигнет гибель. Однако когда автор этой книги посетил Белогорск, как ныне называется Карасубазар, он обнаружил покрытую зеленью площадку у реки и фруктовый сад; они вполне соответствуют описанию, данному английской путешественницей Марией Гатри. Депортированные Сталиным татары теперь вернулись обратно в село.

112

Европейские монархи часто приобретали восточных рабынь, несмотря на всё своё отвращение к азиатской работорговле. Должно быть, девушек поставляли на Запад непрерывным потоком; их либо брали в плен во время войны, либо покупали у послов в Блистательной Порте. Потому неудивительно, что Потёмкин предложил подарить Сегюру девушку. Друг Фридриха Великого шотландец-якобит Кит, граф Маршал, брал с собой в поездки турецкую рабыню, которую взяли в плен в ходе Русско-турецких войн, а одному из самых образованных мужчин своего времени, королю Польши Станиславу Августу, регулярно присылали новых девушек.

113

Новый титул неуклюже переводится на английский («Prince Potemkin of Taurida»), но звучит удачней по-немецки («Potemkin der Taurier») и по-французски («le Taurien»). Екатерина с Гриммом обсуждали, как следует его переводить, и *philosophe* предположил, что лучше остановиться на вариантах «Tauricus» или «le Taurien».

Но даже и это не было всего лишь развлечением: когда леди Крейвен в апреле 1786 года посетила албанские селения, жители уже носили «некое подобие римских воинских костюмов» и «восточные и итальянские кинжалы», а казаки шутки ради давали для неё представление.

115

В некоторых областях страны, особенно вокруг Москвы – далеко от богатых потёмкинских южных губерний, – действительно разразился голод. Его причиной был неурожай 1786 года, и именно из-за него Екатерина поспешила вернуться в столицу. Когда она прибыла в Тулу, покинув земли Потёмкина, местный губернатор попытался скрыть нищету горожан за фальшивыми фасадами и утаил от императрицы растущие цены на еду. Когда Лев Нарышкин сообщил ей о ценах на хлеб, она отменила бал по случаю её прибытия, который должен был состояться тем вечером, и это решение делает ей честь. И Екатерина, и Потёмкин с сочувствием относились к страданиям простого народа, когда узнавали о них, но ни он, ни она не могли позволить незначительному голоду испортить впечатление от блистательного расширения границ империи и их собственного величия. Однако это было свойственно любому правителю восемнадцатого века, каким бы просвещённым монархом он ни был.

116

Когда 22 июня 1941 года гитлеровские войска нанесли удар СССР, Сталин почти исчез из виду – у него сдали нервы, он никого не принимал и, похоже, был потрясён мерой своей ответственности. Вероятно, это был приступ депрессивного расстройства. Рабин в мае 1967 года «заикался, нервничал и говорил невпопад». Его биограф цитировал слова очевидца: «казалось, что он упал духом и утратил контроль над собой».

117

Вывод собранных в Крыму 26 батальонов пехоты, 22 эскадронов кавалерии и 5 казачьих полков был не истерической трусостью, а разумным военным ходом. Потёмкин планировал дать туркам высадиться на полуострове и затем разгромить их в битве на суше. (Именно это проделал в меньшем масштабе Суворов в Кинбурне.) Если бы опасность такой высадки миновала, войска можно было вернуть. Однако Екатерина отвергла этот план по политическим соображениям.

Позже Суворов стал более чем знаменит. Князь Италийский, европейская звезда, он воевал с революционной Францией в Италии и Швейцарии. К 1799 году он стал в России не имеющим себе равных кумиром и оставался им до 1917 года. Затем, в 1941 году, Сталин вернул ему статус национального героя и учредил орден Суворова. Советские историки вновь создали ему образ народного героя. В результате насаждения этого культа даже сегодня Суворову приписывается многое из того, что на самом деле сделал Потёмкин.

Это только первый из многих случаев, когда критические суждения де Линя, широко растиражированные и принятые историками за истину, оказываются фактически ложными и основанными на его приверженности к австрийской стороне. Его по праву знаменитые сообщения о Потёмкине на войне, повторенные в тонких письмах к Иосифу, Сегюру и маркизе де Куаньи (а значит, ко всей Европе), нигде не содержат прямой лжи, но их следует читать в контексте стоявших перед ним задач: шпионить за своим другом и склонять его снимать тяжесть с плеч императора. Кроме того, он был тяжко разочарован тем, что не получил никакого командования.

120

Иногда ход истории зависит от таких мелких вопросов, связанных с чином. Граф Фёдор Ростопчин, позже генерал-губернатор Москвы, сжёгший город в 1812 году, утверждал в своей «Правде о пожаре Москвы», что видел его: «Я держал это письмо много раз в своих руках». Он сожалел, что Бонапарт не поступил на русскую службу.

Интересный вопрос, что стало с этими еврейскими казаками. Шесть лет спустя, в 1794 году, польские евреи собрали пятьсот лёгких всадников для войны с русскими. Их полковник Берек (Берко) Йоселевич в 1807 году вступил в наполеоновский Польский легион. Он заслужил орден Почётного легиона, но в 1809 году погиб в бою с австрийцами. Воевал ли за Наполеона кто-нибудь из еврейских казаков Потёмкина? Ещё позже, в середине XIX века, великий польский поэт Адам Мицкевич занимался формированием в Стамбуле из бежавших из Польши евреев ещё одного полка под названием «Гусары Израиля». Подпоручик Михал Горенштейн даже придумал для них элегантный серый мундир. В Крымскую войну эти еврейские кавалеристы воевали против русских близ Севастополя вместе с остатками османских казаков.

122

Сэмюэль был так расстроен, что написал письмо премьер-министру Питту-младшему, в котором предложил отказаться от своего «батальона из 900 честных русских солдат», если получит должность главы тюрьмы-паноптикума с «британцами-преступниками».

123

Письма де Линя содержат только половину правды. Вторую половину сообщают архивы Потёмкина. Заявления де Линя о том, что Потёмкин выдумывал себе победы на других фронтах, принимаются историками за правду, но на самом деле противоречат фактам. Шпионская сеть Потёмкина, которую открывают его архивы, снабжала его информацией о событиях на всём огромном театре военных действий. Так, он получал регулярные доклады от коменданта польской крепости Каменец-Подольский генерала де Витта, который сообщал, что смог провезти агентов в турецкий Хотин с партией сливочного масла (впрочем, в этом ему могло помочь и то, что сестра его жены-гречанки была замужем за хотинским пашой).

124

По ходу дела он изобрёл повозку-амфибию (вероятно, первое транспортное средство, способное выезжать с воды на сушу) – плавучую мину с часовым механизмом, прототип торпеды, а также бутылки с горючей жидкостью, которые следовало поджигать и метать, – за 160 лет до появления «коктейля Молотова», который, возможно, стоило бы назвать «коктейлем Бентама» или «коктейлем Потёмкина».

125

Потёмкин написал ему: «Сударь, Её Императорское величество, отличая храбрость, показанную вами против турок на Очаковском лимане… изволила пожаловать вам шпагу с надписью, увековечивающей вашу доблесть…»

Укрепления не сохранились до сегодняшних дней, но стоя на валу, где раньше были крепостные стены, можно посмотреть на лиман и место, где находился лагерь осаждавших крепость российских войск. Слева вдалеке – устье Буга. С другой стороны его узкой стрелки стоит российская крепость Кинбурн. Рядом, справа, на конце Очаковской стрелы, редут Хасана-паши, по-прежнему впечатляющий. От него остались только булыжные мостовые. За ним – современный Очаков.

127

Поскольку в российской историографии закрепилось мнение, что Суворов был военным гением, можно подумать, что он хотел штурмовать Очаков просто потому, что его раздражала потёмкинская неумелая нерешительность. Это возможно, но маловероятно, так как у Суворова не было артиллерийской поддержки. Так что на самом деле это была наскоро проведенная операция нетрезвого и неправильно себя ведущего генерала, который был способен не только на великолепные победы, но и на дорогостоящие ошибки.

128

Большая часть героев 1812 года сражались под командованием Потёмкина – будущий фельдмаршал, и князь Михаил Барклай де Толли, военный министр и командующий Первой армией под началом Кутузова при Бородино, также служил под Очаковом.

129

Но даже де Линь был вынужден признаться Иосифу, что лагерь был аккуратен, солдатам хорошо платили, а легкая кавалерия была в отличном состоянии, даже несмотря на отсутствие маневров и практики.

Существовали убедительные военные причины не штурмовать крепость до тех пор, пока флот не завладеет лиманом, и до тех пор, пока не появится артиллерия, а это произошло только в августе.

131

Не один Потёмкин был склонен откладывать дело: когда де Линь уехал, чтобы присоединиться к Румянцеву-Задунайскому, он обнаружил, что тот бездействует схожим образом, а граф Николай Салтыков намеренно откладывал взятие Хотина. Это было вполне в духе российской политики – Кутузов отлично продемонстрировал это в 1812 году.

132

Великий князь Павел, находившийся в Гатчине, оазисе пруссофилии и парадомании, испытывал отвращение к присутствию гарема на войне и с насмешкой спрашивал, где в руководстве по осаде Вобана говорилось о том, что для взятия города необходимы племянницы. Как бы то ни было, но и сам Павел брал жену на войну в 1787 году.

Полковник Бентам должен был командовать двумя батальонами на китайско-монгольской границе, создать полковую школу, открывать новые земли, формировать союзы с монголами, калмыками и киргизами и начать торговать с Японией и Аляской. Он также разработал «потёмкинский» план по захвату Китая с 100 000 человек. В 1790 году он отправился обратно в ставку Потёмкина в Бендерах через Петербург, чтобы отчитаться князю и получить разрешение вернуться в Англию, что он в итоге и сделал. Так закончилось уникальное для англо-русских отношений путешествие.

134

Но сначала, седьмого ноября, Потёмкин приказал своим запорожцам взять остров Березань, который был для Очакова последним источником поддержки и провианта: казаки приплыли туда на своих чайках и с улюлюканьем взяли остров. Они захватили 27 пушек и двухмесячный провиант для Очакова – это было мудрое решение.

135

Город больше не существует, за исключением одного здания, бывшей мечети, которая стала музеем. То, что музей посвящен Суворову, – черта, типичная для слепой советской предубежденности против Потёмкина. На самом же деле Суворов не только *не* командовал взятием Очакова – его там *попросту не было*. Однако же музей прославляет его как победителя и гения и едва упоминает Потёмкина. Такова абсурдность централизованного государственного планирования истины.

136

Говорят, что Суворов жаловался Екатерине – дескать, завистливый Потёмкин стремился не допустить его до высоких военных постов. На самом деле всё было наоборот.

Её соратники тоже были далеко не молоды: после ухода Ивана Чернышева в комнатах императрицы оставался такой отвратительный запах, что слугам приходилось каждый раз поливать полы лавандовой водой.

138

Огромная крепость Аккермана сохранилась по сию пору.

139

«Его Светлости князю Потёмкину: Представление Ахмед-паши Бендерского. Питая глубокое уважение к заслугам Вашей Светлости, великодушного, непоколебимого, милосердного, осиянного возвышенным гением, силой которого измышляются и творятся величайшие деяния, чьему могуществу сопутствует великолепное достоинство, Главному Министру, наделённому высочайшим превосходством, первому представителю Ея Императорского Величества, Падишаху России, мы представляем… Жалость к малолетним и женщинам понуждает нас принять… предложение».

140

«Мы захватили девять кораблей, не потеряв ни одного солдата, и взяли Бендеры с тремя пашами, не потеряв ни одной кошки».

141

Лашкарёв, которого на Западе сравнивали с цыганским фигляром, однажды разогнал толпу мусульман на острове Негропонте тем, что спрыгнул с балкона с тазом воды в руках, угрожая всем немедленным крещением. Позже, в 1807 году, он, будучи в свите Александра I в Тильзите, встретился с Наполеоном и выторговал для России присоединение Бессарабии (уступленной Портой по договору 1808 года) в обмен на французское доминирование в Европе.

Позже для румын Потёмкин стал олицетворением ненавистного русского империализма, но один француз, побывавший там сорок лет спустя, нашёл, что ясские бояре всё ещё считают его предвестником румынского национализма. Это логично, так как территория Дакии примерно и соответствует Румынии. Впрочем, единственным наследием этого имени стало решение президента Чаушеску назвать национального автопроизводителя Dacia.

143

Дворец Гики стоит по сей день, в нём располагается медицинский факультет Ясского университета. Он был расширен, но изначальный классический портик сохранился.

Именно его английский ростбиф Потёмкин так полюбил, что набирал с обеда к себе домой.

Потёмкин также предложил в случае поддержки турками русского кандидата на польский престол рассмотреть возможность сохранения границы по Бугу. Иными словами, Россия хотела использовать помощь османов для возвращения Польши под своё влияние, а кроме того, Потёмкин в обоих случаях имел возможность обеспечить себе корону – Польши или Дакии. Впрочем, трудно представить, чтобы даже в обмен на Польшу Потёмкин принял границу по Бугу, что означало бы отказ от Очакова.

146

Принадлежавшее Потёмкину Дубровно встречается в истории Наполеоновских войн. Император останавливался в доме княгини Любомирской в ноябре 1812 года во время отступления из Москвы.

147

Выживший брат, Николай Раевский, стал героическим генералом войны 1812 года и руководил батареей своего имени при Бородине. Позже его дети подружатся с Пушкиным, который путешествовал вместе с их семьей, слушая его истории о Потёмкине и войне 1812 года. Раевские были сыновьями сестры Самойлова.

148

Почти любая история, как русская, так и английская, рассказывает эту легенду о Суворове. Предполагается, что когда завидовавший Потёмкин получил справедливую отповедь от гениального Суворова, их отношения закончились. На самом деле, скорее всего, этого разговора просто не было. Ни один из свидетелей, бывший в Яссах (например, Ланжерон), не упоминает об этом эпизоде. После Измаила Потёмкин был в Бендерах, а не в Яссах. Недавнее исследование В.С. Лопатина, который полностью опроверг многие из устоявшихся суждений об отношениях Потёмкина и Суворова, показывает, что они встретились не раньше чем через два месяца, то есть не раньше первой недели февраля.

149

Отнюдь не совпадение, что первый и самый жесткий антипотёмкинский памфлет «Пансалвин – князь тьмы» написан еще до Георга Гельбига. Его автором был масон Иоганн Фридрих Эрнст Альбрехт, возможно, розенкрейцер. Тайные масонские общества были удивительно популярны среди парадоманов Пруссии. Толстый, недалекий и невзрачный Фридрих Вильгельм I, предположительно, проводил вечера с духами Марка Аврелия, Лейбница и Великого курфюрста, у которого надеялся научиться величию. Если это правда, урок он не выучил.

150

Автор нашел, очевидно, единственную сохранившуюся копию приглашения, адресованную графине Остерман, в Одесском историко-краеведческом музее.

151

Главный садовник Потёмкина Уильям Гульд «жил в роскоши» на вилле Палладио, которую Екатерина приказала построить для него на территории Таврического дворца и которая до сих пор носит название «дом садового мастера». Он «устраивал развлечения для знати» и умер в 1812 году в роскошном доме престарелых в городе Ормскирк графства Ланкашир.

152

Когда император Павел начал уродовать дворец после смерти матери, эти комнаты были ему настолько отвратительны, что он не стал их разрушать, а просто запер. Они единственные сохранились до наших дней.

153

Некоторые историки считают, что это действительно была их последняя встреча. На самом деле Потёмкин провёл в Петербурге ещё три насыщенных месяца.

Ряд польских историков предполагают, что это соглашение нужно было, чтобы ввести Потёмкина в заблуждение, потому что Екатерина уже знала, что войны с Пруссией не будет. Очевидно, это не так. Англия покачнулась, но не сдалась. Ограничения действий Потёмкина были вполне оправданы. Сопроводительные документы, в которых обсуждалось создание польского войска для защиты конфедерации, показывают, что партнеры работали над рескриптом совместно, перед балом в Таврическом дворце. Потёмкин написал черновик, где предлагал создать польское войско, а Екатерина добавила свои заметки на полях.

155

Мансура отослали в Петербург. Через три года он умер в подземельях Шлиссельбурга.

Есть вероятность, что некоторые процитированные выше письма Потёмкина Прасковье были адресованы Прасковье Голицыной, а не Потёмкиной.

157

Моцарт умер вскоре после этого 24 ноября (5 декабря) 1791 года.

158

Прекрасная гречанка была больше не нужна. Она исчезла с усилением болезни. Браницкая, возможно, отправила её развлекать польских магнатов, которые приезжали повидать Потёмкина.

159

Утилитарист Иеремия Бентам, который измерял успехи правителя счастьем народа, был бы доволен. Любопытно, обсуждал ли это с ним Потёмкин во время длинных поездок по югу.

160

Сегодня здесь расположен медицинский факультет Ясского университета, однако есть сведения, что вскрытие проводилось во дворце Кантакузина.

161

Михаил Потёмкин погиб по неясным причинам по пути из Ясс в столицу, сидя в собственной карете. Когда много лет спустя, когда его брат граф Павел Потёмкин был наместником на Кавказе, ему было предъявлено обвинение в убийстве и ограблении персидского принца; он написал стихотворение, уверяя в своей невиновности, и вскоре скончался от лихорадки. Поговаривали, что он совершил самоубийство.

Оценка его «личных» доходов в четыре миллиона кажется заниженной, поскольку Екатерина регулярно выкупала у него дворцы за огромные суммы порядка полумиллиона рублей. Казённые же средства намного превышали годовой доход всей Российской империи, который обычно колебался в размере от сорока до сорока четырёх миллионов рублей – впрочем, он быстро увеличивался.

163

Эта доска исчезла через несколько лет после похорон Потёмкина. Двести лет спустя, в октябре 1998 года, в церкви Голия в Яссах автор в сопровождении румынского священника и двух профессоров принялся искать доску и обнаружил её под роялем за грудой богослужебных книг: она изрядно запылилась, однако надпись осталась нетронутой.

164

Георг V был столь обеспокоен, что запретил демонстрировать фильм учащимся Итона: «Юношам не следует видеть мятежи, особенно матросские».

165

В 1906 году Государственная дума – результат вынужденной уступки Николая II революционерам 1905 года – заседала в бывшем Зимнем саду дворца. После Февральской революции там располагались Временное правительство и Петроградский совет.

В дальнейшем сведения о месте смерти Потёмкина были утрачены, а мемориал, вероятно, разрушен: в течение всего XIX столетия нет ни одной записи о посещении этого места. Оно не было отмечено на картах, и о нём не знали даже местные учёные, однако его обозначение уцелело на одной австрийской карте 1913 года; впрочем, казалось маловероятным, чтобы мемориал дожил до наших дней. Но выяснилось, что он всё ещё стоит там, у сельской дороги на бессарабских холмах. О нём знают лишь местные крестьяне, которые проводили автора этой книги к «потёмкинскому месту», пережившему русское и османское правление, эпоху Румынского королевства, аннексию этих земель Сталиным в 1940 году, немецкую оккупацию, возвращение территорий Румынии, повторное присоединение их к СССР и создание независимой Республики Молдова.

167

В верхнем ряду – «Очаков 1788, Крым и Кубань 1783, Херсон 1778». В среднем ряду – «Аккерман 1789» и «Екатеринослав 1787». Внизу – «Бендеры 1789» и «Николаев 1788».